Т23 3/52

А. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

ИЗ ДЕРЕВНИ

12
ПИСЕМ
1872-1887

25/III-40

А. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

Т23 3/52

ИЗ ДЕРЕВНИ

12
ПИСЕМ

1872–1887

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА
1937

631
Э 62

Книга является переизданием известной работы А. Н. Энгельгардта «Из деревни».

Энгельгардт в своих письмах из деревни рельефно характеризует тогдашний строй сельского хозяйства, дает часто яркие описания деревенской жизни, быта крестьян и помещиков 70—80-х годов прошлого столетия.

Книге Энгельгардта предпосылаются выдержки из произведений В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся» и «Развитие капитализма в России», дающие характеристику и оценку взглядов Энгельгардта.

447472 V

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страницы	*Строки*	*Напечатано*	*Должно быть*
22	3 снизу	Росии	России
81	1 снизу	ход	хоть
104	20 »	хоязин	хозяин
165	3 »	выходят	входят
177	12 »	торговли	торговле
231	2 снизу	1897	1879
234	7 сверху	Этот так.	Это так.
293	17 сверху	фактических	фактически
»	19 »	Что все равно,	Это все равно,
331	15 снизу	приводится	привозится
332	9 »	срубиться	срубится

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга «Из деревни» является работой известного русского публициста Александра Николаевича Энгельгардта. Государственное Социально-Экономическое Издательство выпускает книгу Энгельгардта по серии «История русской экономической мысли».

А. Н. Энгельгардт (1832—1893) по своему образованию и по первоначальной профессии—артиллерийский офицер. В 1866 г. Энгельгардт оставил военную службу и отдался целиком научной работе в области химии. Он состоял редактором первого русского «Химического журнала» (1859—1861).

С 1866 по 1869 г. Энгельгардт—профессор химии в земледельческом институте в Петербурге. Ему принадлежит ряд важных работ в области химии. В этот период он исследовал курские фосфориты, занимался вопросами применения достижений химии к сельскому хозяйству. За его работы по химии Харьковский университет присудил ему степень доктора химии honoris causa.

В 1871 г. Энгельгардт ссылается в родовое имение Батищево (Смоленская губ.), где занимается сельским хозяйством. В деревне Энгельгардт жил до конца своей жизни. (По смерти Энгельгардта имение Батищево было обращено в опытное хозяйство—«Энгельгардтовскую сельскохозяйственную опытную станцию». В настоящее время она существует как западная областная опытная станция полеводства.)

Свои взгляды и наблюдения Энгельгардт излагал в письмах «Из деревни», печатавшихся ежегодно—с 1872 по 1882 г.—в журнале «Отечественные записки». Опыты Энгельгардта над постановкой своего хозяйства совпали по времени со стремлениями интеллигенции «итти в народ». Этим объясняется, что Батищево одно время сделалось местом паломничества мо-

лодых интеллигентных людей, желавших «сесть на землю». В «Письмах» излагается общественно-реформаторская деятельность Энгельгардта, его опыты организации хозяйства, взгляды на развитие помещичьего и крестьянского хозяйств, призыв к интеллигенции итти в деревню с тем, чтобы своим примером помочь подъему хозяйства и улучшению быта крестьян.

Внимательный наблюдатель, Энгельгардт дает часто яркое описание деревенской жизни, быта крестьян и помещиков. Энгельгардт рельефно характеризует барщинное хозяйство, вскрывает глубокие противоречия внутри «общины», но в своей оценке капитализма не отличается от народников типа Н—она, Каблукова и др. Однако у него отсутствует присущая им идеализация крестьянина и его общины.

В. И. Ленин в своих экономических работах, относящихся к 90-м годам, неоднократно ссылается на книгу А. Н. Энгельгардта, цитируя отдельные ее места. Ссылки на Энгельгардта мы находим и в отдельных ленинских документах по аграрному вопросу в России (см. XIX «Ленинский сборник»).

В. И. Ленин находил письма Энгельгардта живыми, интересными, полными метких характеристик и образов, в которых просто и прямо характеризуется действительность, беспощадно вскрываются все отрицательные качества «устоев» и подкрашивание «общины». В своих произведениях «Развитие капитализма в России» и «От какого наследства мы отказываемся» В. И. Ленин, вскрывая утопичность, несостоятельность и реакционность мелкобуржуазных взглядов народников на экономику России конца XIX столетия, доказывая капиталистическую природу экономических процессов в стране, дал исчерпывающую классово-экономическую оценку взглядам и деятельности Энгельгардта. Рассматривая историю собственного хозяйства Энгельгардта в Батищеве, Ленин пишет: «...эволюция данного хозяйства как бы отражает в миниатюре основные черты эволюции всего частновладельческого хозяйства пореформенной России»*).

В противоречии с народническими взглядами Энгельгардта, исходившими из отрицания возможности в России капитали-

*) *В. И. Ленин*, Соч., т. III, изд. 3-е, стр. 159.

стического развития сельского хозяйства, находится его практическая деятельность в деревне, когда он вынужден был в силу существовавших тогда общественно-экономических отношений применять у себя капиталистическое производство. «...собственное хозяйство Энгельгардта лучше всяких рассуждений опровергает народнические теории Энгельгардта»*).

Ленин, устанавливая отрицательные, народнические, черты миросозерцания Энгельгардта, отмечает, что его можно больше причислить к просветителям, чем к народникам, что его народнические взгляды «...являются как бы сторонней, случайной вставкой, навеянной извне и не вяжущейся с основным тоном книги» **).

Письма «Из деревни», так же как и другие труды Энгельгардта—по химии сельского хозяйства—были известны Марксу по подлинникам. Из публикации о русских книгах в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса (см. «Архив Маркса и Энгельса», кн. IV, 1929 г.) видно, что Маркс чрезвычайно интересовался статьями Энгельгардта, печатавшимися в 1872 г. в журнале «Отечественные записки» («Вопросы русского сельского хозяйства» и «Химические основы земледелия»). Об этом говорят заметки и выписки в черновых тетрадях Маркса. Выписки из этих статей свидетельствуют о глубоком интересе Маркса к проблемам, связанным с применением химии к земледелию и к вопросам о перспективах применения новейших достижений химии к сельскому хозяйству.

С письмами «Из деревни» Маркс знакомился, видимо, по журналам, в которых они печатались. Принадлежавший Марксу экземпляр книги Энгельгардта «Из деревни, 11 писем», вышедшей в 1882 г. первым изданием, имеет пометки Маркса в последнем, одиннадцатом, письме—подчеркивания и прямые высказывания. (Письмо это посвящено вопросу о крестьянских настроениях, в связи с широко ходившими среди крестьянства в конце 70-х гг. толками о «вольной земле»; о роли кулаков; примерам хищнического ведения хозяйства помещиками; применению в сельском хозяйстве фосфористых туков; реформе севооборотов и др.)

---

*) Там же, стр. 161.
**) Там же, т. II, стр. 321.

Письма «Из деревни» в свое время пользовались «прочной симпатией читающей публики» (Ленин) и выдержали несколько изданий—1882, 1885 и 1897 гг.

Издаваемой нами книге предпосылаются выдержки из произведений Ленина, дающие характеристику и оценку взглядов Энгельгардта и его книги. Для лучшей ориентации читателя, параллельно страницам 2-го издания писем «Из деревни», цитируемого Лениным, редакция указывает в сносках, данных цифрами страницы настоящего издания.

Книга печатается нами по 3-му изд., сверенному со вторым (1885 г.), почти без всяких изменений (сделано незначительное сокращение, касающееся описания собак в хозяйстве Энгельгардта). По сравнению с 1-м и 2-м изданиями мы приводим из 3-го издания 12-е письмо, написанное Энгельгардтом в 1887 г. и поэтому не вошедшее в предыдущие издания. Письма 1863 г., опубликованные в 3-м издании, нами опущены, так как они не так ярки и образны, по сравнению с его последующими письмами.

Примечания в тексте книги принадлежат А. Н. Энгельгардту. Примечания Н. Энгельгардта, подготовившего 3-е издание к печати, оговорены редакцией.

В. И. ЛЕНИН

ПРИБАВКА НАРОДНИЧЕСТВА К «НАСЛЕДСТВУ» [1])

От Скалдина перейдем к Энгельгардту. Его письма «Из деревни»—тоже публицистические очерки деревни, так что и содержание и даже форма его книги очень похожи на книгу Скалдина. Энгельгардт гораздо талантливее Скалдина, его письма из деревни написаны несравненно живее, образнее. У него нет длинных рассуждений солидного автора «В захолустьи и в столице», но зато у него гораздо больше метких характеристик и других образов. Неудивительно, что книга Энгельгардта пользуется такой прочной симпатией читающей публики и недавно еще была переиздана вновь, тогда как книга Скалдина почти совсем забыта, хотя письма Энгельгардта начали печататься в «Отечеств. Записках» всего через два года спустя после выхода книги Скалдина. Поэтому нам нет никакой надобности знакомить читателя с содержанием книги Энгельгардта, а мы ограничимся лишь краткой характеристикой двух сторон его воззрений: во-1-х, воззрений, свойственных «наследству» вообще и в частности общих Энгельгардту и Скалдину; во-2-х, воззрений специфически народнических. Энгельгардт—*уже народник*, но в его взглядах так много еще черт, общих всем просветителям, так много того, что отброшено или изменено современным народничеством—что затрудняешься, куда отнести его: к представителям ли «наследства» вообще без народнической окраски, или к народникам.

С первыми Энгельгардта сближает прежде всего замечательная трезвость его взглядов, простая и прямая характеристика действительности, беспощадное вскрывание всех отрицательных качеств, «устоев» вообще и крестьянства в частности,—тех самых «устоев», фальшивая идеализация и подкрашивание которых является необходимой составной частью народничества. Народничество Энгельгардта, будучи выражено чрезвычайно слабо и робко, находится поэтому в прямом и вопиющем противоречии с той картиной *действительности* де-

[1]) Из статьи В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?», Соч., т. II, изд. 3-е, 1935 г., стр. 316—321.

ревни, которую он нарисовал с такой талантливостью, и если бы какой-нибудь экономист или публицист взял за основание своих суждений о деревне те *данные* и *наблюдения*, которые приведены Энгельгардтом*), то народнические выводы из такого материала были бы невозможны. Идеализация крестьянина и его общины—одна из необходимых составных частей народничества, и народники всех оттенков, начиная от г-на В. В. и кончая г-ном Михайловским, принесли обильную дань этому стремлению идеализации и подкрашивания «общины». У Энгельгардта нет и следа такого подкрашивания. В противоположность ходячим фразам об общинности нашего крестьянина, ходячим противопоставлениям этой «общинности»—индивидуализму городов, конкуренции в капиталистическом хозяйстве и т. д., Энгельгардт вскрывает поразительный *индивидуализм* мелкого земледельца с полной беспощадностью. Он подробно показывает, что наши «крестьяне в вопросах о собственности самые крайние собственники» (стр. 62, цит. по изд. 1885 г.)[1], что они терпеть не могут «огульной работы», ненавидя ее по мотивам узко-личным и эгоистическим: при огульной работе каждый «боится переработать» (стр. 206) [2]. Эта боязнь переработать доходит до высшей степени комизма (пожалуй, даже трагикомизма), когда автор рассказывает, как живущие в одном доме и связанные общим хозяйством и родством бабы моют каждая отдельно свою дольку стола, за которым обедают, или поочередно доят коров, собирая молоко для *своего* ребенка (опасаются утайки молока) и приготовляя отдельно каждая для своего ребенка кашу (стр. 323)[3]. Энгельгардт так подробно выясняет эти черты, подтверждает их такой массой примеров, что не может быть и речи о случайности этих фактов. Одно из двух: или Энгельгардт—никуда не годный и не заслуживающий доверия наблюдатель, или россказни об общинности и общинных качествах нашего мужика—пустая выдумка, переносящая на *хозяйство* черты, отвлеченные от формы *землевладения* (при чем от этой формы землевладения отвлечены еще все ее фискально-административные стороны). Энгельгардт показывает, что тенденция мужика в его хозяйственной деятель-

*) Мимоходом сказать: это было бы не только чрезвычайно интересно и поучительно, но и вполне законным приемом экономиста-исследователя. Если ученые доверяют материалу анкет—ответам и отзывам многих хозяев, сплошь и рядом пристрастных, малосведущих, не выработавших цельного воззрения, не продумавших своих взглядов,—то отчего не доверять наблюдениям, которые целые 11 лет собирал человек замечательной наблюдательности, безусловной искренности, человек, превосходно изучивший то, о чем он говорит.

[1] См. стр. 52 настоящ. изд.—*Ред.*

[2] См. стр. 166 настоящ. изд.—*Ред.*

[3] См. стр. 260 настоящ. изд.—*Ред.*

ности—кулачество: «известной дозой кулачества обладает каждый крестьянин» (стр. 491)[1], «кулацкие идеалы царят в крестьянской среде»... «Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации»... «Каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася». Тенденция крестьянства—вовсе не к «общинному» строю, вовсе не к «народному производству», а к самому обыкновенному, всем капиталистическим обществам свойственному, мелкобуржуазному строю—показана Энгельгардтом превосходно. Стремления зажиточного крестьянина пускаться в торговые операции (363)[2], раздавать под работу хлеб, покупать работу мужика бедного (стр. 457, 492 и др.)[3], т.-е., говоря экономическим языком, превращение хозяйственных мужичков в сельскую буржуазию Энгельгардт описал и доказал бесповоротно. «Если крестьяне не перейдут к артельному хозяйству,—говорит Энгельгардт,—и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами-крестьянами будут и безземельные и батраки. Скажу более: полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь. Несмотря на общинное владение землей, рядом с «богачами» будет много обезземеленных фактически батраков. Что же мне или моим детям в том, что я имею право на землю, когда у меня нет ни капитала, ни орудий для обработки? Это все равно, что слепому дать землю—ешь ее!» (стр. 370)[4]. «Артельное хозяйство» с какой-то грустной иронией одиноко стоит здесь, как доброе, невинное пожелание, не только не вытекающее из данных о крестьянстве, но даже прямо опровергаемое и исключаемое этими данными.

Другая черта, сближающая Энгельгардта с представителями наследства без всякой народнической окраски, это—его вера в то, что главная и коренная причина бедственного положения крестьянства лежит в остатках крепостного права и в свойственной ему регламентации. Устраните эти остатки и эту регламентацию—и дело наладится. Безусловно отрицательное отношение Энгельгардта к регламентации, его едкое высмеивание всяких попыток путем регламентации сверху облагодетельствовать мужика—стоят в самой резкой противоположности с народническими упованиями на «разум и совесть, знания и патриотизм руководящих классов» (слова г-на Южакова в «*Р. Б—ве*», 1896, № 12, стр. 106), с народническим прожектерством насчет «организации производства» и т. п. Напомним, как саркастически обрушивался Энгельгардт на пра-

[1] См. стр. 395 настоящ. изд.—*Ред.*
[2] См. стр. 291 настоящ. изд.—*Ред.*
[3] См. стр. 367, 396 настоящ. изд.—*Ред.*
[4] См. стр. 298 настоящ. изд.—*Ред.*

вило о том, что на мельнице нельзя продавать водку, правило, имеющее в виду «пользу» мужика; с каким негодованием говорит он об обязательном постановлении нескольких земств в 1880 г. не сеять рожь раньше 15 августа, об этом—вызванном тоже соображениями о пользе мужика—грубом вмешательстве кабинетных «ученых» в хозяйство «миллионов земледельцев-хозяев» (424) [1]. Указав на такие правила и распоряжения, как запрещение курить в хвойном лесу, стрелять щук весной, рубить березки на «май», разорять гнезда и т. п., Энгельгардт саркастически замечает: ...«забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут!.. Мужик глуп, сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет» (398) [2]. Скажите, читатель, мог ли бы этот писатель сочувствовать хотя бы излюбленным народниками законам о неотчуждаемости наделов? Мог ли бы он сказать что-либо подобное вышевыписанной фразе одного из столпов «Рус. Богатства»? Мог ли бы он разделить точку зрения другого столпа того же журнала, г. Н. Карышева, упрекающего наши губернские земства (в 90-х годах!) в том, что они «не находят места» «для систематических крупных, серьезных трат на организацию земледельческого труда»?*)

Укажем еще одну черту, сближающую Энгельгардта с Скалдиным: это—бессознательное отношение Энгельгардта к многим чисто буржуазным пожеланиям и мероприятиям. Не то чтобы Энгельгардт старался подкрашивать мелких буржуа, сочинять какие-нибудь отговорки (à la г. В. В.) против применения к тем или другим предпринимателям этой квалификации,—совсем нет. Энгельгардт просто, будучи практиком-хозяином, увлекается всякими прогрессами, улучшениями в хозяйстве, совершенно не замечая того, что общественная форма этих улучшений дает лучшее опровержение его же собственных теорий о невозможности у нас капитализма. Напомним, напр., как увлекается он успехами, достигнутыми им в своем хозяйстве благодаря системе *сдельной платы* рабочим (за мятье льна, за молотьбу и т. п.). Энгельгардт и не подозревает как будто, что замена повременной платы штучною есть один из самых распространенных приемов развивающегося капиталистического хозяйства, которое достигает этим приемом усиления интенсификации труда и увеличения нормы сверхстоимости. Другой пример. Энгельгардт высмеивает программу «Земле-

*) «Русское Богатство», 1896 г., № 5, май. Статья г-на Карышева о затратах губернских земств на экономические мероприятия. Стр. 20.

[1] См. стр. 341 настоящ. изд.—*Ред.*

[2] См. стр. 320 настоящ. изд.—*Ред.*

дельческой Газеты»*): «прекращение сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и проч. и проч.».—«Но ведь это все только общие фразы!»—восклицает Энгельгардт (128) [1]. И однако именно эту программу и осуществил Энгельгардт в своей хозяйственной практике, достигши технического прогресса в своем хозяйстве именно на основании батрачной организации его. Или еще: мы видели, как откровенно и как верно разоблачил Энгельгардт настоящие тенденции хозяйственного мужика; но это нисколько не помешало ему утверждать, что «нужны не фабрики и не заводы, а *маленькие* (курс. Энгельгардта) деревенские винокурни, маслобойни» и пр. (стр. 336) [2], т.-е. «нужен» переход сельской буржуазии к техническим сельскохозяйственным производствам,—переход, который везде и всегда служил одним из важнейших симптомов земледельческого капитализма. Тут сказалось то, что Энгельгардт был не теоретиком, а практиком-хозяином. Одно дело—рассуждать о возможности прогресса без капитализма, другое дело—хозяйничать самому. Задавшись целью рационально поставить свое хозяйство, Энгельгардт *вынужден* был силою окружающих обстоятельств достигать этого приемами чисто капиталистическими и оставить в стороне все свои теоретические и отвлеченные сомнения насчет «батрачества». Скалдин в теории рассуждал как типичный манчестерец, совершенно не замечая ни этого характера своих рассуждений, ни соответствия их с нуждами капиталистической эволюции России. Энгельгардт на практике вынужден был действовать как типичный манчестерец, вопреки своему теоретическому протесту против капитализма и своему желанию верить в особые пути отечества.

А у Энгельгардта была эта вера, которая и заставляет нас назвать его народником. Энгельгардт уже ясно видит *действительную* тенденцию экономического развития России и начинает *отговариваться* от противоречий этого развития. Он силится доказать невозможность в России земледельческого капитализма, доказать, что «у нас нет кнехта» (стр. 556) [3],—хотя сам же подробнейшим образом опроверг россказни о дороговизне наших рабочих, сам же показал, за какую мизерную цену работает у него скотник Петр с семьей, которому остается кроме содержания 6 рублей в год «на покупку соли, постного

*) «Земледельческая Газета»—в то время (70-е гг.) официоз министерства государственных имуществ, позже, с 1894 г., с преобразованием последнего в министерство земледелия и государственных имуществ,—официоз этого министерства (примечание редакции сочинений В. И. Ленина).

[1] См. стр. 105 настоящ. изд.—*Ред.*

[2] См. стр. 271 настоящ. изд.—*Ред.*

[3] См. стр. 448 настоящ. изд.—*Ред.*

масла, одежду» (стр. 10[1]). «А и то ему завидуют, и откажи я ему, сейчас же найдется 50 охотников занять его место» (стр. 11)[2]. Указывая на успех своего хозяйства, на умелое обращение с плугом рабочих, Энгельгардт победоносно восклицает: «и кто же пахари? Невежественные, недобросовестные русские крестьяне» (стр. 225)[3].

Опровергнув своим собственным хозяйничаньем и своим разоблачением крестьянского индивидуализма всякие иллюзии насчет «общинности», Энгельгардт однако не только «верил» в возможность перехода крестьян к артельному хозяйству, но и высказывал «убеждение», что это так и будет, что мы, русские, именно совершим это великое деяние, введем новые способы хозяйничанья. «В этом-то и заключается самобытность, оригинальность нашего хозяйства» (стр. 349)[4]. Энгельгардт-реалист превращается в Энгельгардта-романтика, возмещающего полное отсутствие «самобытности» в способах своего хозяйства и в наблюденных им способах хозяйства крестьян—«*верою*» в грядущую «самобытность»! От этой веры уже рукой подать и до ультра-народнических черт, которые—хотя и совсем единично—попадаются у Энгельгардта, до узкого национализма, граничащего с шовинизмом («И Европу расколотим», «и в Европе мужик будет за нас» (стр. 387) [5]—доказывал Энгельгардт по поводу войны одному помещику), и даже до идеализации отработков! Да, тот самый Энгельгардт, который посвятил так много превосходных страниц своей книги описанию забитого и униженного положения крестьянина, забравшего в долг денег или хлеба под работу и вынужденного работать почти задаром при самых худших условиях личной зависимости*)—этот самый Энгельгардт договорился до того, что «хорошо было бы, если б доктор (речь шла о пользе и надобности врача в деревне. *В. И.*) имел свое хозяйство, так, чтобы мужик мог отработать за леченье» (стр. 41)[6]. Комментарии излишни.

— В общем и целом, сопоставляя охарактеризованные выше положительные черты миросозерцания Энгельгардта (т.-е. общие ему с представителями «наследства» без всякой народнической окраски) и отрицательные (т.-е. народнические), мы должны признать, что первые безусловно преобладают у автора «Из деревни», тогда как последние являются как бы сторонней, случайной вставкой, навеянной извне и не вяжущейся с основным тоном книги.

*) Вспомните картинку, как староста (т.-е. управляющий помещика) зовет крестьянина на работу, когда у мужика свой хлеб сыпется, и его заставляет идти лишь упоминание о «спускании портков» в волости.

[1] См. стр. 10 настоящ. изд.—*Ред.*
[2] См. стр. 11 настоящ. изд.—*Ред.*
[3] См. стр. 181 настоящ. изд.—*Ред.*
[4] См. стр. 281 настоящ. изд.—*Ред.*
[5] См. стр. 312 настоящ. изд.—*Ред.*
[6] См. стр. 36 настоящ. изд.—*Ред.*

В. И. ЛЕНИН

ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВА ЭНГЕЛЬГАРДТА [1])

Совершенно особое место среди народников занимает Энгельгардт. Критиковать его оценку отработков и капитализма—значило бы повторять сказанное в предыдущем параграфе. Гораздо более целесообразным считаем мы противопоставить народническим взглядам Энгельгардта историю собственного хозяйства Энгельгардта. Такая критика будет иметь и положительное значение, так как эволюция данного хозяйства как бы отражает в миниатюре основные черты эволюции всего частновладельческого хозяйства пореформенной России.

Когда Энгельгардт сел на хозяйство, оно основывалось на традиционных отработках и кабале, исключающих «правильное хозяйство» («Письма из деревни», 559)[1]. Отработки обусловливали плохое скотоводство, плохую обработку земли, однообразие устарелых систем полеводства (118)[2]. «Я увидел, что хозяйничать попрежнему... невозможно» (118)[2]. Конкуренция степного хлеба понижала цены и делала хозяйство безвыгодным (83)*)[3]. Заметим, что на ряду с отработочной системой в хозяйстве с самого начала играла известную роль и капиталистическая система: наемные рабочие, хотя и в очень небольшом числе, были и при старом хозяйстве (скотник и др.), и Энгельгардт свидетельствует, что заработная плата его батрака (из наделенных землею крестьян) была «баснословно низка» (11)[4]—

---

[1]) Из книги В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», Соч., т. III, изд. 3-е, 1931 г., стр. 158—161.

*) Этот факт, что конкуренция дешевого хлеба является побудительной причиной к преобразованию техники и, *следовательно*, к замене отработков вольным наймом, заслуживает особого внимания. Конкуренция степного хлеба сказывалась и в годы высоких цен на хлеб; период же низких цен сообщает этой конкуренции особенную силу. (В журнале «Начало» последней фразы нет. *Ред.*)

[1] См. стр. 450 настоящ. изд.—*Ред.*
[2] См. стр. 97 настоящ. изд.—*Ред.*
[3] См. стр. 69 настоящ. изд.—*Ред.*
[4] См. стр. 11 настоящ. изд.—*Ред.*

низка потому, что «*больше нельзя и дать*» при плохом состоянии скотоводства. Низкая производительность труда исключала возможность повышения заработной платы. Итак, исходным пунктом в хозяйстве Энгельгардта являются знакомые уже нам черты всех русских хозяйств: отработки, кабала, самая низкая производительность труда, «неимоверно дешевая» оплата труда, рутинность земледелия.

В чем же состоят изменения, внесенные в этот порядок Энгельгардтом? Он переходит к посевам льна—торгово-промышленного растения, требующего массы рабочих рук. Усиливается, следовательно, торговый и капиталистический характер земледелия. Но как добыть рабочие руки? Энгельгардт пытался сначала к новому (торговому) земледелию применить старую систему: отработки. Дело не пошло, работали плохо, «подесятинная отработка» оказывалась не под силу крестьянам, которые всеми силами сопротивлялись «огульной» и кабальной работе. «Нужно было изменить систему. Между тем я уже оперился, завел своих лошадей, сбрую, телеги, сохи, бороны и мог уже вести батрачное хозяйство. Я начал работать лен частью своими батраками, частью сдельно, нанимая на определенные работы» (218)[1]. Итак, переход к новой системе хозяйства и к торговому земледелию требовал замены отработков капиталистической системой. Для повышения производительности труда Энгельгардт применил испытанное средство капиталистического производства: штучную работу. Бабы нанимались работать с копны, с пуда. Энгельгардт (не без некоторого наивного торжества) рассказывает об удаче этой системы; повысилась стоимость обработки (с 25 р. за 1 дес. до 35 р.), но зато повысился и доход на 10—20 р., повысилась производительность труда работниц при переходе от кабальной работы к вольнонаемной (с 20 фунтов в ночь до 1 пуда), повысился заработок работниц до 30—50 коп. в день («в наших местах—небывалый»). Местный торговец красным товаром от души похвалил Энгельгардта: «большое движение торговле изволили льном дать» (218—221)[2].

Примененный сначала к обработке торгового растения, вольнонаемный труд стал охватывать постепенно другие сельско-хозяйственные операции. Одной из первых операций, отнятых капиталом у отработков, оказалась молотьба. Известно, что и во всех вообще частновладельческих хозяйствах этот вид работ наиболее часто производится капиталистически. «Часть земли—писал Энгельгардт—я сдаю на обработку крестьянам кругами, потому что иначе мне трудно было бы справиться

---

[1] См. стр. 176 настоящ. изд.—*Ред.*

[2] См. стр. 176—178 настоящ. изд.—*Ред.*

с жнитвом ржи» (211)[1]. Отработки, следовательно, служат прямым переходом к капитализму, обеспечивая хозяину труд поденщиков в самое горячее время. Первоначально обработка кругов отдавалась с молотьбой, но и здесь дурное качество работы заставило перейти к вольнонаемному труду. Обработка кругов стала отдаваться без молотьбы, а эта последняя производилась отчасти трудом батраков, отчасти сдавалась рядчику с артелью наемных рабочих за сдельную плату. Результатом замены отработков капиталистической системой и здесь было: 1) повышение производительности труда: прежде 16 человек в день вымолачивали 9 сотен, теперь 8 человек—11 сотен; 2) повышение умолота; 3) сокращение времени молотьбы; 4) повышение заработка рабочего; 5) повышение прибыли хозяина (212)[2].

Далее, капиталистическая система охватывает и операции по обработке почвы. Вводятся плуги вместо старых сох, и работа переходит от закабаленного крестьянина к батраку. Энгельгардт, торжествуя, сообщает об успехе нововведения, о добросовестном отношении рабочих, доказывая вполне справедливо, что обычные обвинения рабочего в лености и недобросовестности есть результат «крепостного клейма» и кабальной работы «на барина», что новая организация хозяйства требует и от хозяина предприимчивости, знания людей и уменья обращаться с ними, знания работы и ее меры, знакомства с технической и коммерческой стороной земледелия,—т.-е. таких качеств, которых не было и быть не могло у Обломовых крепостной или кабальной деревни. Различные изменения в технике земледелия неразрывно связаны друг с другом и ведут неизбежно и к преобразованию экономики. «Например, положим, вы ввели посев льна и клевера,—сейчас же потребуется множество других перемен и, если не сделать их, то предприятие не пойдет на лад. Потребуется изменить пахотные орудия и вместо сохи употреблять плуг, вместо деревянной бороны—железную, а это, в свою очередь, потребует иных лошадей, *иных рабочих, иной системы хозяйства по отношению к найму рабочих* и т. д.» (154—155) *)[3].

Изменение техники земледелия оказалось таким образом неразрывно связанным с вытеснением отработков капитализмом. Особенно интересна при этом та постепенность, с которой происходит это вытеснение: система хозяйства попрежнему соединяет отработки и капитализм, но центр тяжести мало-

---

[1] См. стр. 171 настоящ. изд.—*Ред.*
[2] См. стр. 171 настоящ. изд.—*Ред.*
[3] См. стр. 126 настоящ. изд.—*Ред.*
*) Курсив принадлежит Владимиру Ильичу.—*Ред.*

по-малу передвигается с первых на второй. Вот какова была организация преобразованного хозяйства Энгельгардта:

«Нынче у меня работы множество, потому что я изменил всю систему хозяйства. Значительная часть работ производится батраками и поденщиками. Работы самые разнообразные: и ляда жгу под пшеницу, и березняки корчую под лен, и луга снял на Днепре, и клеверу насеял, и ржи пропасть, и льну много. Рук нужно бездна. Чтобы иметь работников, необходимо позаботиться заранее, потому что, когда наступит время работ, все будут заняты или дома, или по другим хозяйствам. Такая вербовка рабочих рук производится выдачей вперед денег и хлеба под работы» (116—117)[1].

Отработки и кабала остались, следовательно, и в «правильно» поставленном хозяйстве, но, во-1-х, они заняли уже подчиненное место по отношению к вольному найму, а, во-2-х, и самые отработки видоизменились; остались преимущественно отработки второго вида, предполагающие не крестьян-хозяев, а сельско-хозяйственных батраков и поденщиков.

Итак, собственное хозяйство Энгельгардта лучше всяких рассуждений опровергает народнические теории Энгельгардта. Задавшись целью поставить рациональное хозяйство,—он не мог сделать этого, при данных общественно-экономических отношениях, иначе, как посредством организации батрачного хозяйства. Повышение техники земледелия и вытеснение отработков капитализмом шло в данном хозяйстве рука об руку,—точно так же, как оно идет рука об руку и во всех вообще частновладельческих хозяйствах России. С наибольшей рельефностью сказывается этот процесс на употреблении машин в русском сельском хозяйстве*).

---

*) В журнале «Начало» последней фразы нет (*примечание редакции сочинений В. И. Ленина.—Ред.*)

[1] См. стр. 96 настоящ. изд.—*Ред.*

А. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

I

Вы хотите, чтобы я писал вам о нашем деревенском житье-бытье[1]. Исполняю, но предупреждаю, что решительно ни о чем другом ни думать, ни говорить, ни писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе... Нам ни до чего другого дела нет.

5 февраля я праздновал годовщину моего прибытия в деревню. Вот описание моего зимнего дня.

...Поужинав, я ложусь спать и, засыпая, мечтаю о том, что через три года у меня будет тринадцать десятин клеверу наместо облог, которые я теперь подымаю под лен. Во сне я вижу стадо пасущихся на клеверной отаве холмогорок, которые народятся от бычка, обещанного мне одним известным петербургским скотоводом. Просыпаюсь с мыслью о том, как бы прикупить сенца подешевле.

Проснувшись, зажигаю свечку и стучу в стену—барин, значит, проснулся, чаю хочет. «Слышу!» отвечает Авдотья и начинает возиться с самоваром. Пока баба ставит самовар, я лежу в постели, курю папироску и мечтаю о том, какая отличная пустошь выйдет, когда срубят проданный мною нынче лес. Помечтав, покурив, надеваю валенки и полушубок. Дом у меня плоховат: когда вытопят печи, к вечеру жарко до-нельзя, к утру холодно, из-под полу дует, из дверей дует, окна замерзли, совершенно как в крестьянской избе. Я было сначала носил немецкий костюм, но скоро убедился, что так нельзя, и начал носить валенки и полушубок. Тепло и удобно. Наконец, баба, позевывая, несет чай. Одета она, как и я, в валеньки и полушубок.

---

[1] «Так как у вас, вероятно, найдется свободное время, то вы могли бы употребить его с пользою... изобразив современное положение помещичьих и крестьянских хозяйств» (Из письма Салтыкова Щедрина от 31 марта 1871 года).

— Здравствуй, Авдотья. Ну, что?

— А ничего!

— Холодно?

— Не то чтобы очень; только мятет.

— Иван ушел на скотный?

— Давно ушел: чай, уж корм задали.

— Что это Лыска вчера вечером лаяла?

— А бог ё знает. Так, ничего. Волки, должно, близко подходили.

Я заказываю обед. Авдотья, жена старосты Ивана, у меня хозяйка в доме. Она готовит мне кушанье, моет белье, заведует всем хозяйством. Она же доит коров, заведует молочным скопом, бьет масло, собирает творог. Авдотья—главное лицо в моем женском персонале, и все другие бабы ей подчинены, за исключением «старухи», которая хозяйкой в застольной.

Обед заказан. Баба уходит. Я пью чай и мечтаю о том, как будет хорошо, когда нынешнею весною вычистят низины на пустошах и облогах, через что покос улучшится и сена будет больше.

Пью чай, курю и мечтаю. Иван староста пришел; одет в валенки и полушубок.

— Здравствуй, Иван. Ну, что?

— Все слава богу. Корм скоту задали. Корова бурая белобокая телилась.

— А! Благополучно?

— Славу богу. Схолилась как следует. В маленький хлевок поставили.

— Телочку телила?

— Телочку—буренькая, белоспиная... Ничего телочка.

Я достаю из стола записную книгу, записываю новорожденную телочку в список нынешних телят: «$\frac{№\ 5}{72}$ бурая белоспиная телочка $\frac{8}{11}$ 72 от № 10» и смотрю по календарю, когда телочке будет шесть недель, что отмечаю в книге.

— Что, хорошо съели вечернюю дачу?

— Хорошо съели, только былье осталось. Пустошное сено, сами изволите посмотреть, роговой скот хорошо будет съедать: кроме былья ничего не останется, потому в нем востречу нет.

— Что это Лыска вчера вечером лаяла?

— Так, ничего. Волки, должно, подходили.

Молчание. Говорить больше не о чем. Иван, выждав, сколько требует приличие, и видя, что говорить больше нечего, берет чайную посуду и уходит к Авдотье пить чай.

После чая я или пишу или читаю химические журналы,

собственно, впрочем, для очищения совести: неловко как-то, занимавшись двадцать лет химией, вдруг бросить свою науку. Но не могу не сознаться, что очень часто, читая статью о каком-нибудь паро-хлор-метаталуйдине, я задумываюсь на самом интересном месте и начинаю мечтать, как бы хорошо было, если бы удалось будущею осенью купить пудов 500 жмаков... навоз-то какой был бы!

Обутрело. Кондитер Савельич пришел печи топить. У меня печи топит кондитер, настоящий кондитер, который умеет делать настоящие конфеты. Попал этот кондитер ко мне случайно. Когда-то, лет пятьдесят или шестьдесят тому назад—за старостью, кондитер сам позабыл, сколько ему лет,—Савельич учился кондитерскому ремеслу в одной из лучших кондитерских в Москве, был кондитером в одном из московских клубов, потом был взят помещиком в деревню, где проходил различные должности: был поваром, кучером, буфетчиком, выездным лакеем, истопником, судомойкой и т. п. Жениться Савельич не успел, хозяйством и семейством не обзавелся, собственности не приобрел—у господ был всегда на застольной,—под старость оглох и по несчастному случаю потерял челюсть, которую ему вынул какой-то знаменитый хирург, вызванный из-за границы для пользования одного богатого больного барина. Случилось как раз в это время, что Савельичу ударом какого-то механизма на круподерне, где он драл крупу, раздробило левую челюсть; сделалась рана, и раздробленную челюсть пришлось вынуть, что и исполнил знаменитый хирург. Операция удалась. Савельич остался жив и исправно жует одною челюстью. Одиннадцать лет тому назад Савельич сделался вольным и с тех пор жил все больше около церкви. Сначала был церковным старостой, потом ходил с книжкой собирать на церковь. Последние же два года Савельич жил как птица небесная, со дня на день, перебиваясь кое-как. Летом и осенью нанимался за мужиков караулить церковь, за что очередной двор давал ему харчи и платил по 5 копеек за ночь, варил иногда купцам в городе варенье, за что ему тоже перепадали кое-какие деньжонки. Зимой же—самое трудное для Савельича время—жил на капитал, заработанный летом. Квартировал на своих харчах у какого-нибудь знакомого мужика и за квартиру помогал мужику в домашних работах—за водой сходит, дров нарубит, люльку качает—старик во дворе никогда не лишний; кормился же своим кондитерским ремеслом: купит на заработанные летом деньжонки несколько фунтов сахару, наделает леденцов и носит по деревням (разумеется, без торгового свидетельства). Даст «старухе» конфету для внучат—она его накормит. Разумеется, плохо ел всегда, голодал иногда, но милостыни, говорит, не просил. Ко мне Савельич попал таким образом: захожу как-то в прошедшем году великим

постом в избу, где живут работники и работницы, вижу, сидит в одной рубахе высокий, худой истощенный от плохого харча, лысый старик и трет в деревянной ступе табак. «Кто это?», спрашиваю. «А старик», говорит староста, «по знакомству зашел; я ему табак дал стереть—пообедает за это с нами». Под вечер, отдавая отчет по хозяйству, староста заговорил о старике, рассказал, что старик бывший дворовый, что он кондитер, при господах живал, господские порядки знает, и попросил позволения пригласить старика к светлому празднику разговеться, « а он за это поможет Авдотье к празднику стол готовить», прибавил староста. Я, разумеется, позволил. Авдотья была в восторге, что старик придет к празднику и поможет ей все приготовить хорменно (форменно), как у господ бывает. Чтобы все было хорменно, как у господ,—это конек Авдотьи.

Поселившись в деревне, я решился не заводить ни кучеров, ни поваров, ни лакеев, то-есть всего, что составляет принадлежность помещичьих домов, что было одною из причин разорения небогатых помещиков, не умевших после «Положения» повести свою жизнь иначе, чем прежде, что было одною из причин, почему помещики побросали хозяйства и убежали на службу. Поселившись в деревне, я повел жизнь на новый лад.

В имении я нашел старосту; у старосты, разумеется, оказалась баба, которая вела его хозяйство, готовила ему кушанье, мыла белье. Я переместил старосту с бабой из избы в дом и сделал Авдотью моею хозяйкой, кухаркой, прачкой. По хозяйству—молочное дело, выпойка телят и пр.—учить ее мне было нечему: я сам у нее учусь и должен сознаться, что от нее научился гораздо большему, чем по книгам, где говорится, что «у молочной коровы голова бывает легкая, с тонкими рогами, ноги тонкие, хвост длинный и тонкий, кожа и волосы мягкие и нежные, вообще же весь вид *женственный* и пр.»; но по части кухни я ей несколько помог. При помощи моей (недаром же я химик: все-таки, и в поваренном деле могу понять суть) Авдотья, обладающая необыкновенными кулинарными способностями и старанием, а также присущими каждой бабе знаниями, как следует печь хлеб, делать щи и пироги, стала отлично готовить мне кушанье и разные запасы на зиму—пикули, маринованные грибки, наливки, консервы из рыбы и раков, варенье, сливочные сыры. Я ей объяснил, что при приготовлении сиропа из ягод, главное—варить до такой степени, чтобы, под влиянием кислоты, кристаллический сахар перешел в виноградный и сироп сгустился настолько, чтобы брожение не могло происходить; объяснил, что гниения в консервах, плесени в пикулях и пр., как показал Пастер, не будет, если из воздуха не попадут зародыши низших организмов; объяснил действие высокой температуры на зародыши, белковину и т. п. Все это

Авдотья прекрасно поняла. Все идет у нас отлично: и масло выделываем превосходное, и бархатный сливочный сыр делаем такой, что Эрберу не грех было бы подать своим посетителям, и раков маринуем, и ветчину солим, и гусей коптим, и колбасы чиним, и рябчиков жарим не хуже, чем у Дюссо. В одном только мы с Прохоровной не сходимся: я забочусь только о вкусе, а она, кроме того, и о том, чтобы все было форменно, как у господ бывает, чтобы нас не осудили. Кондитер, который живал при господах, был для нее истинною находкой, и она с волнением ожидала, разрешу ли я пригласить кондитера к светлому празднику: праздник большой, попы приедут, а у нас не форменно будет.

Кондитер пришел за три дня до праздника. Зарезали барана; я съездил на станцию и купил крупчатки, сандалу, изюму, миндалю,—началась стряпня; кондитер вырезал из разноцветной бумаги украшения для кулича и бараньего окорока; я, вместе с одним из друзей-химиков, приехавшим из Петербурга ко мне в гости на праздник, сделали из розовой чайной бумаги цветок-розан, надушили его превосходными духами и воткнули в кулич. Все вышло отлично—и кулич, и пасха, и поросенок, и баранина, а главное, все было форменно и перед попами мы не ударили лицом в грязь. Авдотья была на верху блаженства и ходила с сияющим лицом, наряженная в яркий сарафан. Кондитер только сплоховал—взялся он сделать какой-то сладкий английский торт, но торт не вышел, т. е. вышел очень плох. Заметив на другой день, что все было съедено, за исключением английского торта, кондитер так сконфузился, что, не говоря ни слова, куда-то скрылся.

Летом кондитер жил где-то при церкви, недалеко, верстах в десяти от меня. Я про него забыл совершенно. Только в августе, когда понадобился сторож для озимей, картофеля и гороха, я вспомнил про кондитера. Дай, думаю, возьму его к себе на зиму—не объест, ведь, а все что-нибудь в доме сделает. С августа кондитер поселился у меня и оказался очень полезным человеком: осенью горох и картофель караулил, лошадей чужих с озими выгонял, конечно, ни одной лошади в потраве не поймал (стар, от худых харчей с тела спал и силу потерял), но все-таки полевой сторож,—мужики опаску имеют и лошадей так зря не пускают, а если зайдет какая по нечаянности, старик выгонит. Осенью дом конопатил, двойные рамы вставлял. Теперь печи топит, Авдотье помогает, комнаты убирает, кошек школит, если провинятся, платье чистит, посуду моет, а иногда конфеты делает.

Кондитер затопил печи. Авдотья из-под коров пришла. Хлебы в печь сажает. Стряпать собирается. Пришел Иван.

— Что?

— Надумался за Днепр сегодня съездить. Сена не удастся ли дешево купить. Говорят, с выкупными сильно нажимают. Становой в волости был. Теперь, по нужде, сено, может, кто продаст, а то как заплатят недоимки—не купишь, потому нынче и у крестьян корму везде умаление.

— Какие же теперь выкупные?

— Да это все осенние, пеньковые выбивают. Пеньку продали да не расплатились. Пеньки нынче плохи. Хлеба нет. Другой пеньку продал, а подати и выкупные не уплатил, потому что хлеба купил. Вот Федот куль-то брал—заплатил из того, что за пеньку выручил, а выкупные не внес. Теперь и нажимают.

— Ну, поезжай, покупай сено. Да в волость не заедешь ли? Что же наши оброки?

— Недавно был. Волостной обещал. Вот, говорит, казенные выберу,—за ваши примусь. У Марченка сам был.

— Ну, что ж?

— Да, что ж, ничего. Я ему говорю: что ж ты,—пеньку продал, а недоимку не несешь?

— Ну?

— Денег, говорит, нету. За пеньку двадцать рублей взял, пять осьмин хлеба купил—и хлеб показал. Сам, говорит, знаешь, что у меня шестеро детей: ведь их кормить нужно. Это ведь, говорит, не скотина, не зарежешь да не съешь, коли корму нет. Что хочешь делай, а корми.

— А другие что?

— Другие известно, что говорят: коли платить, так всем платить поровну, что следует. Коли милость барин сделает с Марченка подождать, так за что же мы будем раньше его платить. У Марченка еще бычок есть—пусть продаст. Пороть его нужно. Народил детей—умей кормить.

— Хорошо. Ну, поезжай с богом. Хлопочи насчет сена.

Получение оброков дело очень трудное. Кажется, оброк—верный доход, все равно, что жалованье, но это только кажется в Петербурге. Там, в Петербурге,—худо ли, хорошо,—отслужил месяц и ступай к казначею, получай, что следует. Откуда эти деньги, как они попали к казначею—вы этого не знаете и спокойно кладете их в карман, тем более, что вы думаете, что их заслужили, заработали. Тут же не то: извольте получить оброк с человека, который ест пушной хлеб, который кусок чистого ржаного хлеба несет в гостинец детям... Прибавьте еще к этому, что вы не можете обольщать себя тем, что заслужили, заработали эти деньги...

Конечно, получить оброк можно,—стоит только настоятельно требовать; но ведь каждый человек—человек, и, как вы себя ни настраивайте, однако, не выдержите хладнокровно, когда увидите, как рыдает баба, прощаясь с своею коровой, ко-

торую ведут на аукцион... Махнете рукой и скажете: подожду. Раз, другой, а потом и убежите куда-нибудь на службу; издали требовать оброк легче: напишете посреднику, скот продадут, раздирательных сцен вы не увидите...

Староста ушел. Я иду на скотный двор. Скот уже напоили и начинают закладывать вторую дачу корма. Я захожу в каждый хлев, смотрю, чисто ли съедена утренняя задача. Вторую задачу дают при мне. Я смотрю, как скот ест, не отбивают ли одни коровы других, не следует ли которую поставить в отдельный хлевок для поправки. Захожу в телятник, в овчарню, в скотную избу, где, кроме скотника, скотницы (его жены) и их семерых детей, помещаются еще новорожденные телята и ягнята.

Кроме старосты, у меня есть еще скотник Петр с женой Ховрой и детьми. У скотника семеро детей: Варнай—14 лет, Аксинья —11 лет, Андрей—10 лет, Прохор—8 лет, Солошка— 6 лет,Павлик—4 лет, Ховра—еще нет году. Все это семейство, до Солошки включительно, работает безустанно с утра до ночи, чтобы только прокормиться.

Сам скотник Петр летом, с 1 мая по 1 октября, пасет скот, зимой же, с 1 октября по 1 мая, кормит и поит скот. В этой работе ему помогают два старшие сына, Варнай (14 лет) и Андрей (10 лет). Летом скотник, встав на заре до солнечного восхода, выгоняет скот в поле и при помощи двух старших ребят (скота нынче будет 100 штук) пасет его (младший, Андрей, обыкновенно носит ружье против волков). В 11 часов он пригоняет скот на двор, где скот стоит до 3 часов. В 4-м часу он опять гонит скот в поле и возвращается домой на ночь. И так изо дня в день, в течение целого лета, и в будни, и в праздники, и в зной, и в дождь, и в холод. Для скотника нет праздника ни летом, ни зимой, праздник отличается у него от будничных дней только тем, что в праздничные и воскресные дни он получает порцию ($^1/_{100}$ ведра) водки перед обедом. Зимой скотник, опять-таки при помощи двух старших ребят, кормит и поит скот: встав до свету, он задает первую дачу корма; когда обутреет, бабы доят скот, после чего скотник поит скот, гоняя на водопой каждый хлев особенно. После водопоя он задает вторую дачу корма, обедает и отдыхает. Под вечер вторично поит скот и задает третью дачу корма на ночь. Ночью зимой скотник не имеет настоящего покоя, потому что, несмотря ни на мороз, ни на вьюгу, он в течение ночи должен несколько раз сходить в хлевы посмотреть скот, а когда коровы начнут телиться (декабрь, январь, февраль), он должен постоянно следить за ними и всегда быть на-чеку, потому что его дело принять теленка и принести его в теплую избу. Старшие ребята помогают скотнику раздавать корм, и даже десятилетний Андрей работает настоящим образом, по мере своих сил, запрягает лошадь, помогает брату накладывать сено на воз,—

сам скотник Петр в это время носит корм мелкому скоту, потому что для мелкого скота сено нужно выбирать, а в этом на ребят положиться нельзя,—водит лошадь и в хлевах разносит корм и закладывает его в ящики. Разумеется, Андрей, по мере сил, забирает маленькие охапочки сена; но посмотрели бы вы, как он бойко ходит между коровами, как покрикивает на быка—и бык его боится, потому что у Андрея в руках кнут. Летом Андрей носит за отцом ружье, но при случае и сам выстрелит. Раз, летом, я был в поле недалеко от стада, которое рассыпалось между кустами. Вдруг слышу выстрел. Бегу на выстрел и вижу Андрей (ему тогда только что десятый год пошел) держит в руках дымящееся ружье. «В кого ты стрелял?».—«В волка».—«Где?» «Да вот за ровком; выскочил из моложи по ту сторону ровка, остановился на бичажку, стоит и смотрит на меня, лохматый такой, я и выстрелил».—«Как же ты стрелял?»,—ружье у скотника тяжелое, длинное, одноствольное, еще с 12-го года, французское, солдатское.—«На сучок положил, да и выстрелил. Что ж? Так и подрал; да вон по полю дует». Действительно, смотрю, волк несется по паровому полю.

Жена скотника, скотница Ховра, доит коров вместе с Авдотьей и подойщицами, поит телят, кормит ягнят, готовит кушанье для своего многочисленного семейства—одного хлеба сколько нужно испечь—обмывает и обшивает детей. В этих работах ей помогает старшая дочь, Аксюта (12 лет), и младшая, Солошка (6 лет), специальная обязанность которой состоит в уходе за маленькой Ховрой, которую она качает в люльке, таскает по двору, забавляет и няньчит. Прохор (8 лет) тоже помогает по хозяйству: он рубит дрова, и так как силенки у него мало, то он целый день возится, чтобы нарубить столько дров, сколько нужно для отопления одной печки. Только Павлик и маленькая Ховра ничего не делают.

За все это скотник получает в год 60 рублей деньгами, 6 кулей 6 мер ржи, 2 куля овса, 1 $^1/_2$ куля ячменя, держит на моем корму корову и овцу, имеет маленький огород, который должен обработать сам, получает место для посева одной мерки льна и одной осьмины картофеля, получает 2 порции водки—на себя и на жену—по воскресеньям и праздникам, получает творогу, молока снятого, сколотин, сколько будет моей милости дать (этого нет в договоре). Так как скотнику на его семейство нужно не менее 11 кулей ржи в год, то ему следует прикупить еще 4 куля 2 мерки ржи, что составляет по нынешним ценам 34 р. Таким образом, за расходом на хлеб у него из 60 рублей жалованья остается всего 26 рублей, из коих он уплачивает за двор 20 рублей оброку (прежде, когда у него было меньше детей, он платил 40 рублей), а 6 рублей в год остается на покупку соли, постного масла, одежду.

Немного, как видите. Недорого оплачивается такой тяжелый труд, как труд скотника со всем его семейством. Из этого примера вы видите, что в нашей местности положение крестьян, получивших по $4^1/_2$ десятины надела, вовсе не блестящее, потому что будь какая-нибудь возможность Петру жить на своем наделе, он, разумеется, не попал бы за такую плату в должность скотника, где ему нет покоя ни днем, ни ночью. С другой стороны, положение скотоводства у помещиков незавидное, и при теперешнем его состоянии нельзя дать большую плату скотнику, так как и при такой ничтожной плате за труд скот в убыток. То же самое можно сказать и относительно других отраслей хозяйства. Помещичье хозяйство в настоящее время ведется так плохо, даже хуже, с меньшим толком и пониманием дела, чем в крепостное время, когда были хорошие старосты-хозяева—что оно только потому еще кое-как и держится, что *цены на труд баснословно низки*. Кажется, немного получает мой скотник, а и то ему завидуют, и, откажи я ему, сейчас же найдется пятьдесят охотников занять его место.

Я всегда с удовольствием бываю в скотной избе. Мне ужасно нравится этот «детский сад», где все дети постоянно заняты, веселы, никогда не скучают, не капризничают, хотя в «саду» нет никакой «Gärtnerin», которая выбивалась бы из сил, чтобы занять детей бесполезными работами и скучными сантиментальными песенками, как в петербургских детских садах, где на немецкий лад дрессируют будущих граждан земли русской.

Осмотрев все на скотном дворе, потолковав с скотником, скотницей, полюбовавшись ребятами, телятами, ягнятами,—вы не можете себе представить, как мил маленький Павлик, когда он играет на полу с ягнятами,—я возвращаюсь в дом. Авдотья, вся раскрасневшись, взволнованная, в забвении чувств, отчасти даже сердитая, хлопочет около плиты, на которой все кипит и клокочет.

— Обедать буду подавать: готово.

— Подавай.

Авдотья накрывает стол и подает обед. Подав кушанье, она стоит и в волнении ждет, что я скажу—хорошо ли. В особенности волнуется она, если подает новое какое-нибудь кушанье: в эти минуты она находится в таком же возбужденном состоянии, как ученик на экзамене, как химик, который делает сожжение какого-нибудь вновь открытого тела. Она стоит и смотрит на меня: что будет. Обыкновенно всегда бывает все очень хорошо. Авдотья на верху блаженства. Если же случится, что у меня гости, то мне даже жалко становится Авдотьи: она волнуется до такой степени, что у нее от расстройства нерв делается головная боль.

Вся жизнь Авдотьи заключается в хозяйстве, которым она заведует. Принимая все, начиная от неудавшегося масла и кончая худо вымытым чулком, к сердцу, она вечно волнуется, страдает и радуется. Скупа она до невозможности и бережет мое добро, как свое собственное. Честна безукоризненно. Откровенна, прямодушна, никогда не лжет, горда, самолюбива и вспыльчива до невероятности; она всегда была вольною, и у нее нет тех недостатков, которыми отличаются бывшие крепостные: никакого раболепства, подобострастия, фальши, забитости, страха, приниженности. В конце обеда иногда является сюрприз— это кондитер сделал что-нибудь сладкое, «на закуску», как говорит Авдотья. С кондитером у нас в некотором роде дружба; нас сближает, как мне кажется, сходство положений, что мы оба втайне чувствуем, хотя никогда друг другу не высказывались. Весь мой хозяйственный персонал—староста, скотник, лесничий, работник, хозяйка, скотница, старуха, подойщицы— из мужиков; один только кондитер Савельич из дворовых, из старинных дворовых, из природных дворовских, как говорит Авдотья. Вследствие этого Савельич, точно так же как и я, барин, пользуется особенным уважением, оказываемым «белой кости». Савельичу, точно так же как и мне, даже староста говорит «вы». Савельич сознает свою родовитость, свое превосходство по происхождению и держит себя соответственно, серьезно, строго, особняком, потому что «коли ты архиерей, то и будь архиереем». Вот, значит, первая точка сближения. Савельич человек бывалый, много жил, много видел, всего испытал, живал при господах разных, у генерала служил, бывал и в Москве, и в Питере, царя видел. Я, барин, тоже человек бывалый, много жил, много видел, бывал в положениях разных, а главное, когда-то был военным, что особенно уважается народом: «был военным, значит, видал виды, всего попробовал, всего натерпелся—и холоду, и голоду, может, и пороли в корпусе». Это вторая точка сближения. Савельич убежден, что только он, человек бывалый, при господах служивший, понимает господское обхождение, что только он знает, что и как мне нужно. Савельич убежден, что если я разговариваю с другими, если я доволен услугами мужиков, составляющих мой хозяйственный и вместе с тем придворный штат, то только по снисходительности, вследствие моей простоты. Должен сознаться, я сам чувствую к Савельичу особенное расположение и именно вследствие сходства наших положений, сходства, Савельичу неизвестного. Я—отставной профессор; он—отставной кондитер. Вместо того, чтобы читать лекции, возиться с фенолами, крезолами, бензолами, руководить в лаборатории, практикантами, я продаю и покупаю быков, дрова, лен, хлеб, вожусь с телятами и поросятами, учу Авдотью делать пикули, солить огурцы,

чинить колбасы. Он, Савельич, вместо того, чтобы делать конфеты, пирожки, безе, зефиры, караулит горох, гоняет лошадей из зелени, топит печи. Масса специальных знаний, приобретенных многолетним трудом, остается без приложения как у меня, так и у него. И он, и я многое забываем, отстаем. Разница только в том, что я еще недавно бросил свою специальность и потому не все забыл, мог бы, пожалуй, еще возвратиться к старым занятиям, хотя уже чувствую, что отстаю, годика через два, думаю, все позабуду, совсем отстану, а главное, не буду в состоянии взяться за старое дело с необходимою энергией. Он же, Савельич, давно уже бросил свое кондитерское ремесло, почти все позабыл и отстал совершенно, так что нынешний молодой кондитер стал бы смеяться над его произведениями.

После обеда я курю сигару, пью пунш и мечтаю... С января, когда солнце начинает светить по-весеннему и пригревает, после обеда я выхожу, в ясные дни, греться на солнышке. Сидишь на крылечке на солнечной стороне, и греешься. Морозец легенький, градусов в 8—10; тихо. Солнце светит ярко и пригревает. Хорошо. Нужно прожить в деревне одному октябрь, ноябрь, декабрь,—эти ужасные месяцы, когда целый день темно, никогда не видно солнца на небе, а если и проглянет, то тусклое, холодное, когда то мороз, то оттепель, то дождь, то снег, то так моросит, когда нет проезду, грязь или груда, гололедица или ростопель,—чтобы научиться ценить хороший санный путь в декабре и первый луч солнца в январе. Вы в Петербурге и понятия об этом не имеете. Вам все равно, что ноябрь, что январь, что апрель. Самые тяжелые для нас месяцы—октябрь, ноябрь, декабрь, январь—для вас, петербуржцев, суть месяцы самой кипучей деятельности, самых усиленных удовольствий и развлечений. Вы встаете в одиннадцатом часу, пьете чай, одеваетесь, к двум часам отправляетесь в какой-нибудь департамент, комиссию, комитет, *работаете* часов до пяти, обедаете в шесть, а там—театр, вечер, вечернее заседание в какой-нибудь комиссии—время летит незаметно. А здесь, что вы будете делать целый вечер, если вы помещик, сидящий одиночкой в вашем хуторе,—крестьяне, другое дело, они живут обществами,—читать? Но что же читать?

С января уже весной потягивает. На васильев вечер день прибавляется на куриный шаг, как говорит народ. В конце же января дня уже сильно прибавилось, и хотя морозы стоят крепкие, но солнце греет. В феврале—недаром он зовется бокогрей—после того, как зима с весной встретилась на сретение, в хорошие ясные дни солнце греет так сильно, что с крыш начинает капать. С каждым днем все ближе и ближе к весне. Март—уже весенний месяц. С Алдакей (1 марта—Евдокия) начинается весна и пойдут весенние дни: Герасим-«грачевник» (4 марта),

грачи прилетят; грач—первый вестник весны, дорогая, долго ожидаемая птица. Сороки (9 марта[1]), день с ночью меряется, жаворонки прилетят, весну принесут. Алексей «с гор вода» (17 марта), ручейки потекут—снег погонит, ростопель начнется, на солнце греет так, что хоть полушубок снимай, а к ночи подмораживает. Дарья «обгадь проруби» (19 марта), около прорубей, где поят зимой скот, так обтает, что сделается виден навоз, который скот зимой оставлял во время водопоя. Благовещение (25 марта)—весна зиму поборола. Федул (5 апреля)—теплый ветер подул. Родивон (8 апреля)—ледолом. Василий Парийский (12 апреля)—землю парит. Ирина «урви берега» (16 апреля), Егорий теплый (23 апреля)—уже со дня на день ждет лета. Но мы, посидев без свету три месяца, уже в феврале чувствуем приближение весны и оживаем. Чуть только ясный солнечный день, все оживает и стремится воспользоваться живительным солнечным лучом. В полдень, когда на угреве начинает капать с крыш, куры, утки и вся живность высыплет на двор—греться на солнце; воробьи тут же шмыгают между крупною птицей и весело чиликают; корова, выпущенная на водопой, остановится на солнце, зажмурится и греется. В хлеве все телята толкуться против окошка, обращенного на солнечную сторону. Быки, чувствуя приближение весны, ревут, сердятся, роют навоз ногами. Сидишь себе на крылечке в полушубке, подставив лицо теплым солнечным лучам, куришь, мечтаешь. Хорошо.

Погревшись на солнце, я второй раз отправляюсь по хозяйству и прежде всего захожу к «старухе». «Старуха»—старая баба лет семидесяти с хвостиком—она помнит разоренье и любит рассказывать, как бабы ухватами кололи француза, что не мешает ей, однако, относиться к французам дружелюбно, потому что, говорит она, французы народ добрый,—но еще здоровая, бодрая, энергичная, деятельная. «Старуха»—хозяйка в застольной, где обедают все люди за исключением скотника, который с семейством ведет свое хозяйство. «Старуха» печет хлебы и готовит кушанье для застольной, смотрит за свиньями, утками и курами, которые все состоят под ее командой, ухаживает за больным скотом, и каждая заболевшая на скотном дворе скотина передается на попечение «старухи», в ведении которой состоят хлевы, построенные подле застольной избы. «Старуха» же, как хозяйка в застольной, подает «кусочки».

У меня нет правильно организованной раздачи печеного хлеба нищим с веса, как это делается, или, лучше сказать, делалось, в некоторых господских домах. У меня просто в застольной старуха подает «кусочки», подобно тому, как подают кусочки в каждом крестьянском дворе, где есть хлеб—пока у кре-

[1] Сорок мучеников севастийских.

стьянина есть свой или покупной хлеб, он, до последней ковриги, подает кусочки. Я ничего не приказывал, ничего не знал об этих кусочках. «Старуха» сама решила, что «нам» следует подавать кусочки, и подает.

В нашей губернии, и в урожайные годы, у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, то посылают детей, стариков, старух в «кусочки» побираться по миру. В нынешнем же году у нас полнейший неурожай на все: рожь уродилась плохо и переполнена была метлой, костерем, сивцом; яровое совсем пропало, так что большею частью только семена вернули; корму—вследствие неурожая яровой соломы и плохого урожая трав от бездождия—мало, а это самое трудное для крестьян, потому что, при недостатке хлеба, самому в миру можно еще прокормиться кое-как кусочками, а лошадь в мир побираться не пошлешь. Плохо,—так плохо, что хуже быть не может. Дети еще до Кузьмы-Демьяна (1 ноября) пошли в кусочки. Холодный Егорий (26 ноября) в нышнешнем году был голодный—два Егорья в году: холодный (26 ноября) и голодный (23 апреля). Крестьяне далеко до зимнего Николы приели хлеб и начали покупать; первый куль хлеба крестьянину я продал в октябре, а мужик, ведь, известно, покупает хлеб только тогда, когда замесили последний пуд домашней муки. В конце декабря ежедневно пар до тридцати проходило побирающихся кусочками: идут и едут, дети, бабы, старики, даже здоровые ребята и молодухи. Голод не свой брат: как не поеси, так и святых продаси. Совестно молодому парню или девке, а делать нечего,—надевает суму и идет в мир побираться. В нынешнем году пошли в кусочки не только дети, бабы, старики, старухи, молодые парни и девки, но и многие хозяева. Есть нечего дома,—понимаете ли вы это? Сегодня съели последнюю ковригу, от которой вчера подавали кусочки побирающимся, съели и пошли в мир. Хлеба нет, работы нет, каждый и рад бы работать, просто из-за хлеба работать, рад бы, да нет работы. Понимаете—нет работы. «Побирающийся кусочками» и «нищий»—это два совершенно разных типа просящих милостыню. Нищий—это специалист; просить милостыню—это его ремесло. Он, большею частью, не имеет ни двора, ни собственности, ни хозяйства и вечно странствует с места на место, собирая и хлеб, и яйца, и деньги. Нищий все собранное натурой—хлеб, яйца, муку и пр.—продает, превращает в деньги. Нищий, большею частью калека, больной, неспособный к работе человек, немощный старик, дурачок. Нищий одет в лохмотья, просит милостыню громко, иногда даже назойливо, своего ремесла не стыдится. Нищий—божий человек. Нищий по мужикам редко ходит: он трется больше около купцов и господ, ходит по городам,

большим селам, ярмаркам. У нас настоящие нищие встречаются редко—взять им нечего. Совершенно иное побирающийся «кусочками». Это крестьянин из окрестностей. Предложите ему работу, и он тотчас же возьмется за нее и не будет более ходить по кусочкам. Побирающийся кусочками одет, как и всякий крестьянин, иногда даже в новом армяке, только холщевая сума через плечо; соседний же крестьянин и сумы не одевает—ему совестно, а приходит так, как будто случайно без дела зашел, как будто погреться, и хозяйка, щадя его стыдливость, подает ему незаметно, как будто невзначай, или, если в обеденное время пришел, приглашает сесть за стол; в этом отношении мужик удивительно деликатен, потому что знает,—может, и самому придется итти в кусочки. От сумы да от тюрьмы не отказывайся. Побирающийся кусочками стыдится просить и, входя в избу, перекрестившись, молча стоит у порога, проговорив обыкновенно про себя, шопотом: «подайте, Христа ради». Никто не обращает внимания на вошедшего, все делают свое дело или разговаривают, смеются, как будто никто не вошел. Только хозяйка идет к столу, берет маленький кусочек хлеба, от 2 до 5 квадратных вершков, и подает. Тот крестится и уходит. Кусочки подают всем одинаковой величины—если в 2 вершка, то всем в 2 вершка; если пришли двое за раз (побирающиеся кусочками ходят, большею частью, парами), то хозяйка спрашивает: «вместе собираете?»; если вместе, то дает кусочек в 4 вершка; если отдельно, то режет кусочек пополам.

У побирающегося кусочками есть двор, хозяйство, лошади, коровы, овцы, у его бабы есть наряды—у него только *нет в данную минуту хлеба*, когда в будущем году у него будет хлеб, то он не только не пойдет побираться, но сам будет подавать кусочки, да и теперь, если, перебившись с помощью собранных кусочков, он найдет работу, заработает денег и купит хлеба, то будет сам подавать кусочки. У крестьянина двор, на три души надела, есть три лошади, две коровы, семь овец, две свиньи, куры и проч. У жены его есть в сундуке запас ее собственных холстов, у невестки есть наряды, есть ее собственные деньги, у сына новый полушубок. С осени, когда еще есть запас ржи, едят вдоволь чистый хлеб, и разве уже очень расчетливый хозяин ест и по осени пушной хлеб—и таких я видел. Придет нищий—подают кусочки. Но вот хозяин замечает, что «хлебы коротки». Едят поменьше, не три раза в сутки, и два, а потом один. Прибавляют к хлебу мякины. Есть деньги, осталось что-нибудь от продажи пенечки, за уплатой повинностей,—хозяин покупает хлеба. Нет денег—сбивается как-нибудь, старается достать вперед под работу, призанять. Какие проценты платят при этом, можно видеть по тому, что содержатель соседнего постоялого двора, торгующий водкой, хлебом и прочими необходимыми

для мужика предметами и отпускающий эти предметы в долг, сам занимает на оборот деньги, для покупки, например, ржи целым вагоном, и платит за один месяц на пятьдесят рублей два рубля, то-есть 48%. Какой же процент берет он сам? Когда у мужика вышел весь хлеб и нечего больше есть, дети, старухи, старики надевают сумы и идут в кусочки побираться по соседним деревням. Обыкновенно на ночь маленькие дети возвращаются домой, более взрослые возвращаются, когда наберут кусочков побольше. Семья питается собранными кусочками, а что не съедят, сушат в печи про запас. Хозяин между тем хлопочет, ищет работы, достает хлеба. Хозяйка кормит скот—ей от дому отлучиться нельзя; взрослые ребята готовы стать в работу чуть не из-за хлеба. Разжился хозяин хлебом, дети уже не ходят в кусочки, и хозяйка опять подает кусочки другим. Нет возможности достать хлеба,—за детьми и стариками идут бабы, молодые девушки и уже самое плохое (это бывает с одиночками), сами хозяева; случается, что во дворе остается одна только хозяйка для присмотра за скотом. Хозяин уже не идет, а едет на лошади. Такие пробираются подальше, иногда даже в Орловскую губернию. Нынче в средине зимы часто встречаем подводу, нагруженную кусочками, и на ней мужика с бабой, девкой или мальчиком. Побирающийся на лошади собирает кусочки до тех пор, пока не наберет порядочную подводу; собранные кусочки он сушит в печи, когда его пустят ночевать в деревне. Набрав кусочков, он возвращается домой, и вся семья питается собранными кусочками, а хозяин в это время работает около дома или на стороне, если представится случай. Кусочки на исходе—опять запрягают лошадь и едут побираться. Иной так всю зиму и кормится кусочками, да еще на весну запас соберет; иногда, если в доме есть запас собранных кусочков, подают из них. Весной, когда станет тепло, опять идут в кусочки дети и бродят по ближайшим деревням. Хозяевам же весной нужно работать—вот тут-то и трудно перебиться. Иначе как в долг, достать негде, а весной опять повинности вноси. Станет теплее, грибы пойдут, но на одних грибах плохо работать. Хорошо еще, если только хлеба нет. Нет хлеба—в миру прокормиться можно *кое-как* до весны. С голоду никто не помирает, благодаря этой взаимопомощи кусочками. «Были худые годы,—говорила мне нынешнею осенью одна баба, у которой в октябре уже не было хлеба,—думали, все с голоду помрем, а вот не померли; даст бог и нынче не помрем. С голоду никто не умирает». Но вот худо, когда не только хлеба, но и корму нет для скота, как нынче. Скот в миру не прокормишь.

Вот выдержка из письма одного крестьянина к сыну, который находился в Москве на заработках (письмо сочинено самим крестьянином): «Милый сын В. И., свидетельствуем мы тебе

нижайшее почтение и уведомляем мы тебя, что у нас в доме так плохо, так худо, как хуже быть не может—нет ни корму, нет ни хлеба, словом сказать, нет ничего, сами хоть миром питаемся кое-как, а скот хоть со двора гони в чистое поле. Купить не за что, денег нет ни гроша и сам не знаю как быть». Нынешний год такая бескормица, что теперь в марте не ездят в кусочки на лошадях, как ездили в средине зимы, потому что кусочки подают, а для лошади никто клочка сена не даст. Из всего сказанного ясно, что «побирающийся кусочками» не нищий—это просто человек, у которого нет хлеба в данную минуту; ему нельзя сказать: «бог подаст», как говорят нищему, если не желают подать; ему говорят: «сами в кусочки ходим», если не могут подать; он, когда справится, сам подает, а нищий никому не подает. Не подать кусочек, когда есть хлеб,—*грех*. Поэтому и «старуха» стала подавать кусочки, не спросясь у меня, и я думаю, что если бы я запретил ей подавать кусочки, то она бы меня выбранила, да, пожалуй, и жить бы у меня не стала.

Кусочки «старуха» подает всем одинаковой величины—только солдатам (отставным, бессрочным, отпускным) старуха подает побольше, кажется, потому, что солдатам запрещается или запрещалось прежде (я этого наверно не знаю) просить милостыню.

«Старуха» командир—иначе я ее не могу назвать—в застольной избе, при которой состоят также свиньи и птицы. «Старуха» вечно возится и, кажется, даже ночью не спит. Жалостлива она до крайности и любит всякую скотину до нельзя. Зато и в порядке у нее все—и куры, и утки, и свиньи. Целый день она их кормит, поит, щупает. Хотя все утки серые, но «старуха» знает каждую утку в лицо. Летом она то и дело считает цыплят и утят, путается в счете и при этом непомерно волнуется. Пропадет цыпленок или утенок—коршак[1] унесет—«старуха» ищет, ищет, десятки раз пересчитывает всех птиц (а у меня их не мало—в течение прошедшего года я съел 83 цыпленка), и, когда все поиски оказываются тщетными, смущенная приходит доложить мне, что утенок пропал, плачет, что не досмотрела, и просит вычесть из жалованья (она получает полтора рубля в месяц). Свиньи тоже на руках у «старухи», и она с ними тоже постоянно возится: то моет поросят, то кормит, то выгоняет на солнце, то гоняет в воду купаться. Наконец, на ее же попечении находится ребенок, родившийся у одной из подойщиц и помещающийся в люльке тут же в застольной, и с ребенком «старуха» находит время возиться, но больше муштрует мать, чтобы опрятно держала соску, почаще мыла ребенка, не слишком закачивала и т. п.

---

[1] Коршун

Знает «старуха», что нужно каждой птице, каждой скотине, до тонкости. Лечит она скот превосходно. Заболеет скотина—сейчас ее к «старухе». Смотришь, через неделю, две поправилась. Просто даже удивительно. И лекарств старуха никаких не употребляет, разве что иногда припарку из каких-то трав сделает или язык корове медным купоросом помажет. Обыкновенно, возьмет корову в теплую избу, в экстренных случаях даже на ночь оставляет в избе подле своей кровати, окропит святою водой из трех сел (на крещение привозят воду из трех разных сел и берегут ее круглый год; без этой воды нельзя обойтись в хозяйстве, потому что ею надо обрызгать каждого новорожденного теленка и ягненка), окурит свечкой, вымоет и начинает кормить то тем, то другим: сенца мякинького даст, хлеба печеного, овса с мякиной, овсяной муки, мучного пойла, воды чистой. Ходит за ней, приглядывает, ласкает, замечает, что корова ест—смотришь, и поправилась. Я уверен, что даже профессор Бажанов, который написал столько книг по скотоводству, не лучше умеет ухаживать за скотом, чем моя «старуха». Сам профессор,—но у нас нет профессора-специалиста по части откармливания скота,—сам профессор Грувен, который собрал все опыты относительно кормления в своем «Kritische Darstellung aller Fütterungs-Versuche», едва ли откормит свинью, гуся или утку до такого безобразия, как «старуха». Главное, «старуха» делает все это как-то на-глаз, попросту, не развешивая кормов, не рассчитывая, сколько нужно дать протеину, углеводов и проч. У меня, должен сознаться, и весов-то нет в хозяйстве, на которых можно было бы взвешивать скот и кормы. Все делается на глазомер—так уже привыкли все. «Здесь 27 аршин будет»,—говорит плотник; меряю, выходит 27 аршин с четвертью,—не стоит и мерять, потому что четверть не имеет значения. Скотник и скотница думают, что «старуха» «знает», то-есть, что она умеет ворожить; но это вздор. «Старуха» просто-напросто, как говорят мужики, «понимает около скота», она до тонкости знает его природу, любит скот, обладает громадною опытностью, потому что пятьдесят лет жила между коровами, овцами, свиньями, курами. «Старуха» лечит скот чистым воздухом, солнечным светом, подходящим кормом, мягкою подстилкой, внимательным уходом, лаской; изучает индивидуальность каждой скотины и, сообразно этому, ставит ее в те или другие гигиенические условия, кормит тем или другим кормом. Я так верю в знания «старухи», что если она сказала: «бог даст, пройдет», я совершенно убежден, что скотина поправится. «Старухе» я поверю скорее, чем ветеринару, который думает, что его лекарства суть специфические средства против болезней.

Иногда я захожу к «старухе»—она это любит. «Старуха»

сообщает мне свои радости—такая-то курица нестись начала, больная корова, господь с ней, поправляется,— и горести—утке ногу отдавили, котенок что-то скучен—и ведет в хлевки показать свиней, гусей, уток. У «старухи» всегда все в порядке—в хлевах постлано, посуда чиста, свиньи, бог с ними, растут хорошо.

Осмотрев все у «старухи», я второй раз иду на скотный двор. Скот напоили второй раз и задают корм на ночь. Смотрю, хорошо ли съедена вторая дача, как принимается скот за вечернюю дачу. Смотрю как поят телят, доят коров.

Вечереет. Я возвращаюсь домой пить чай. Приготовить самовар к моему приходу—дело Савельича, потому что Авдотья в это время под коровами. До сих пор не было случая, чтобы кондитер запоздал с самоваром. Вхожу в кухню—самовар кипит. Это Савельич порадел.

Во время вечернего чаепития у меня доклад. Прежде всего является Авдотья и докладывает, сколько надоили молока, в каком положении коровы и телята, какие коровы причинают, какие поназначились, каков у той или другой коровы причин и проч. и проч. Так как делать зимой вечером нечего, то доклад бывает продолжительный, подробный и обстоятельный. После Авдотьи является с докладом Иван и сообщает, что сделано сегодня по хозяйству, что будет делаться завтра. С ним мы толкуем ежедневно подолгу: советуемся о настоящем, обсуждаем прошедшее, делаем предположения о будущем. Он же сообщает мне все деревенские новости.

— Сегодня, А. Н., суд в деревне был.

— По какому случаю?

— Василий вчера Ефёрову жену Хворосью избил чуть не до смерти.

— За что?

— Да за Петра. Мужики в деревне давно уже замечают, что Петр (Петр, крестьянин из чужой деревни, работает у нас на мельнице) за Хворосьей ходит. Хотели все подловить, да не удавалось, а сегодня поймали. (Мужики смотрят за бабами своей деревни, чтобы не баловались с чужими ребятами; с своими однодеревенцами ничего—это дело мужа, а с чужими—не смей.) А все Иван. Заметили в обед, что Петра в кабаке нет и Хворосьи нет. Догадались, что должно быть у Мореича в избе—того дома нет, одна старуха. Нагрянули всем миром к Мореичу. Заперто. Постучали—старуха отперла, Хворосья у ней сидит, а больше никого. Однако Иван нашел. Из-под лавки Петра вытащил. Обсмеяли.

— Что же муж. Ефёр?

— Ничего. Ефёра Петр водкой поит. А вот Василий взбеленился.

— Да Василью-то что?

— Как что? Да ведь он давно с Хворосьей живет, а она теперь Петра прихватила. Под вечер Василий подкараулил Хворосью, как та по воду пошла, выскочил из-за угла с поленом, да и ну ее возить; уж он ее бил, бил, смертным боем бил. Если бы бабы не услыхали, до смерти убил бы. Замертво домой принесли, почернела даже вся. Теперь на печке лежит, повернуться не может.

— Чем же кончилось?

— Сегодня мир собирался к Ефёру. Судили. Присудили, чтобы Василий Ефёру десять рублей заплатил, работницу к Ефёру поставил, пока Хворосья оправится, а миру за суд полведра водки. При мне и водку выпили.

— А что ж Хворосья?

— Ничего, на печке лежит, охает. Еще Листара побили. Листар выпивши, над Кузей куражиться стал. Панас ему и говорит: что ты куражишься? Листар и похвались: отчего мне не куражиться,—я ни царю, ни пану не виноват. А! говорит Панас, так ты с меня панские деньги взыскивать хочешь! Бац его в рыло. Кузя тут ввязался, Ефёр, Михалка—все на Листара навалились; уж они его били, били—а Михалка все приговаривает: не ходи к чужой жене, не ходи—в кровь избили. Я им говорю: что это, вы ребята, все на одного. Так ему, говорят, и надо: мы знаем, говорят, за что бьем.

Иван ушел, чаепитие кончилось. Скучно. Сижу один и читаю романы Дюма, которыми меня снабдил один соседний помещик. Авдотья, Иван, Савельич, напившись чаю, собираются итти ужинать. «Мы ужинать пойдем,—говорит Авдотья, вошедшая, убирать постель,—а я вам ужин поставила в столовой». Люди ушли в застольную. Я иду в столовую. Кошки, зная, что я дам им за ужином лакомый кусочек, бегут за мной. У меня две кошки—большой черно-белый кот и черно-желто-белая кошечка; такую кошечку национальпого цвета я завел для опыта. Говорят, что только кошки бывают черно-желто-белого цвета и что котов такого цвета никогда не бывает; говорят, что когда народится кот черно-желто-белого цвета, то значит скоро светопреставление. Я хочу посмотреть, правда ли это. Первый признак близости светопреставления, это, как известно, появление большого числа нытиков, то-есть, людей, которые все ноют; второй—рождение черно-желто-белого кота. После «Положения» появилось множество нытиков. Хочу посмотреть, не народится ли черно-желто-белый кот.

Кошки у меня приучены так, что когда я сажусь ужинать, то они вспрыгивают на стулья, стоящие кругом стола, за которым я ужинаю: одна садится по правую сторону меня, другая—по левую. Выпив водки, я ужинаю и во время ужина учу кошек

терпению и благонравию, чтобы они сидели чинно, не клали лапок на стол, дожидались, пока большие возьмут, и т. п.

А на дворе вьюга, метель, такая погода, про которую говорят: «хоть три дня не есть, да с печки не лезть». Ветер воет, слышен наводящий тоску отрывистый лай Лыски: «гау», «гау», через полминуты опять «гау», «гау», и так до бесконечности. Волки, значит, близко бродят.

Поужинав, я ложусь спать и мечтаю...[1]

II

Я описал вам мой зимний день. Утром чаепитие, потом прогулка на скотный двор, обед, прогулка к «старухе» и на скотный двор, вечернее чаепитие и доклад, ужин...

И так изо дня в день...

С утра до ночи голова наполнена хозяйственными соображениями. Интересов, кроме хозяйственных, никаких. Как? скажете вы. Как никаких интересов! А дворянские дела, земские дела, деятельность новых судебных учреждений, наконец, политика?!

Никаких-с. Позвольте. Во-первых, я не желаю служить— я исключительно посвятил себя хозяйству и посредством хозяйства желаю зарабатывать средства для своего существования— и потому службы по земству, мировым или дворянским учреждениям не ищу. Ни в председатели управы, ни в предводители, ни в мировые, ни даже в члены опеки я не мечу. Если раз я не желаю заполучить местечко, какое же мне дело до земства, мировых и дворянских учреждений? Какое мне дело? Ведь я, повторяю, ни в какие должности не мечу. Во-вторых, я живу в деревне, в городе никогда не бываю, следовательно, о земстве, которое находится в городе, ничего не знаю. А можно ли интересоваться тем, о чем ничего не знаешь? Как ничего не знаете?— скажете вы,—да ведь окладной лист получаете? Получаю— ну так что ж?

---

[1] Первое «Письмо» А. Н. появилось в 1871 году в «Отечественных записках», которые редактировал тогда Некрасов. Вот что говорит покойный Сергей Атава (Терпигорев) о впечатлении, которое произвело это «Письмо:» «На него тогда же все обратили внимание. С ним одни соглашались, другие нет, но его читали все, всех оно волновало, как это бывало всегда с произведением из ряда вон. Ждали следующего письма «Из деревни» но дождались его только в следующем году. С тех пор—одиннадцать лет— в одной из последних книжек «Отеч. зап.» каждого года являлось письмо «Из деревни», с которого обыкновенно и начиналось чтение этой книжки журнала... «Из деревни» должна сделаться настольной книгой каждого образованного человека... Ее обязательно должны прочитать в России все—от студента до министра» (См. «Золотая книга», «Новое время» №2321, 1882 г.). (Примеч. Н. Энгельгардта—*Ред.*).

Политика?—Но позвольте вас спросить, какое нам здесь дело до того, кто император во Франции: Тьер, Наполеон или Бисмарк?

Разумеется, не каждый день проходит совершенно одинаково. Случается, придет кто-нибудь; но, разумеется, по делу, и всегда по одному и тому же. «Мужик пришел из Починка»,— докладывает Авдотья. Я иду в кухню. Мужик кланяется и говорит:

— Здравствуйте, А. Н.

— Здравствуй. Что? хлеба?

— Ржицы бы нужно.

— Куль?

— Кулик бы.

— Восемь рублей.

— Подешевле нельзя ль?

— Нет, дешевле нельзя. Позаднюю бери без полтины.

— Да что уж позадняя. Хорошей возьму. Извольте деньги.

Мужик достает восемь засаленных билетиков—у мужиков все больше билетики (рублевые бумажки), трояки и пятерки тоже бывают, красный билет (10 руб.) редкость, четвертной (25 руб.) еще реже, а билет (100 руб.) бывает только у артелей— и идет со старостой в амбар получать хлеб.

— Мужик пришел из Дядина,—докладывает Авдотья. Иду в кухню.

— Здравствуйте, А. Н.

— Здравствуй. Что? хлеба?

— Хлебца бы нужно.

— Осьмину?

— Да хоть осьминку бы.

— Четыре рубля.

— Денег нет. Отпустите под работу. Кустиков нет ли почистить.

— Кустиков нет. Работы все сданы, только полдесятины льну не сдано.

— Знаю. Мы ленку бы взяли.

— Нельзя. Ты один с женой и дочкой, у тебя только пара лошадей. Не сделаешь.

— Да оно точно что пара.

— Нельзя. Не сделаешь. Лен, сам знаешь, много работы ко времю требует.

— Да уж сделаем. Взявшись, нельзя не сделать. Свои работы бросим, а по договору сделаем. У соседа лошадей прихвачу. Только бы теперь перебиться.

— Нет, нельзя. Не сделаешь. Тебе лен не под силу. Да и живешь далеко—за семь верст. Ищи тебя тогда. Нельзя, не сподручно.

— Оно точно не сподручно. Трудно со льном одиночке. Точно—не сделаешь. Дело-то плохо. Хлеба нет, а в кусочки итти не хочется. А тут скот продать грозятся за недоимку. Что ты будешь делать!

Мужик уходит пытать счастья в другом месте.

«Панас пришел из Бардина»,—докладывает Авдотья, Иду в кухню.

Этот уже и здравствуй не говорит, а начинает прямо.

— А. Н., дай хлеба хоть пудик—есть нечего.

— Да ведь за тобой и без того долгу много.

— Отдам. Ей-богу отдам. Сам знаешь, отдам. Дай, А. Н. Есть нечего. Жена с девочкой в кусочки пошли, много ли они выходят—старуха да девочка—разве что сами прокормятся. Сноха дома—скот убирает. Мы с сыном дрова возим. Ей-богу, сегодня, что было мучицы, последнюю замесили. Дай, А. Н. Справлюсь, отдам. Овцу бы продал—хозяйство свести не хочется. Может, как и перебьюсь, а там, даст бог, и хлебушка уродится.

— Ну, хорошо. Меру дам.

Панас доволен. Теперь он на несколько дней обеспечен, а там, может, жена с девочкой кусочков принесут, а там... но мужик без хлеба не думает о далеком будущем, потому что голодный, как мне кажется, только и может думать о том, как бы сегодня поесть.

И так каждый день. Приходит мужик: работы дай, хлеба дай, денег дай, дров дай. Нынешний год, конечно, не в пример, потому что неурожай и бескормица, но и в хорошие года к весне мужику плохо, потому что хлеба нехватает. А тут еще дрова, с проведением железной дороги, дорожают непомерно—в три года цена на дрова упятерилась, а дров ведь у мужика в наделе нет. Лугов у мужика тоже в наделе нет, или очень мало, так что и относительно покоса, и относительно выгона он в зависимости от помещика. Работы здесь около дома тоже нет, потому что помещики после «Положения» опустили хозяйства, запустили поля и луга и убежали на службу (благо, теперь мест много открылось и жалованье дают непомерно большое), кто куда мог: кто в государственную, кто в земскую. Попробуйте-ка заработать на хозяйстве 1000 рублей в год за свой труд (не считая процентов на капитал и ренты на землю)! Тут нужна, во-первых, голова да и голова, во-вторых, нужно работать с утра до вечера—не то, что отбывать службу—да еще как! Чуть не сообразил что-нибудь—у тебя рубль из кармана и вон. А между тем, тысячу рублей, ведь, дают каждому—и председателю управы, и посреднику. Понятно, что все, кто не может управиться с своими имениями,—а ведь теперь не то что прежде: недостаточно уметь только «спрашивать»,—побросали хозяйство и убежали на службу. Да что говорить:

попробуйте-ка, пусть профессор земледелия или скотоводства, получающий 2 400 рублей жалованья, заработает такие деньги на хозяйстве; пусть инспектор сельского хозяйства заработает на хозяйстве хотя половину получаемого им жалованья. Помещики хозяйством не занимаются, хозяйства свои побросали, в имениях не живут. Что же остается делать мужику? Работы нет около дома; остается бросить хозяйство и итти на заработки туда, где скопились на службе помещики—в города. Так мужики и делают...

Пришел мужик—значит, хлеба или работы просит. У меня есть только один знакомый мужик, который никогда ни хлеба, ни дров не просит—если и просит иногда, то порошку, но, впрочем, всегда предлагает за порох деньги; с этим мужиком мы никогда не говорим о хозяйстве, которое его нисколько не интересует.

Мужик этот—зовут его Костик—специалист. Он охотник и вор. Он занимается охотой и воровством. Охотится он преимущественно на волков и лисиц—ловит капканами и отравляет. Весной стреляет тетеревей и уток, собирает для меня кости (для удобрения), исполняет разные поручения—что прикажешь—ток тетеревиный высмотрит и т. п. Воровством занимается во всякое время года. Ворует что попало и где попало. У Костика есть двор, есть надел; нынче, впрочем, он двора лишился, потому что последнюю кобылу продал и сено продал. Он пашет, косит, даже берет иногда на обработку полкружка (не у меня, конечно, а у какой-нибудь помещицы), но хозяин он плохой. Так все больше перебивается. Костик пьяница, но не такой, как бывают в городах пьяницы из фабричных, чиновников, или в деревнях—из помещиков, поповских, дворовых, пьяницы, пропившие ум, совесть и потерявшие образ человеческий. Костик любит выпить, погулять; он настолько же пьяница, насколько и те, которые, налюбовавшись на Шнейдершу, ужинают и пьют у Дюссо. Вообще нужно заметить, что между мужиками-поселянами отпетые пьяницы весьма редки. Я вот уже год живу в деревне и настоящих пьяниц, с отекшими лицами, помраченным умом, трясущимися руками, между мужиками не видал. При случае мужики, бабы, девки, даже дети пьют, шпарко пьют, даже пьяные напиваются (я говорю «даже», потому что мужику много нужно, чтобы напиться пьяным—два стакана водки бабе нипочем), но это не пьяница. Ведь и мы тоже пьем—посмотрите у Елисеева, Эрбера, Дюссо и т. п.—но ведь это еще не отпетое пьянство. Начитавшись в газетах о необыкновенном развитии у нас пьянства, я был удивлен тою трезвостью, которую увидал в наших деревнях. Конечно, пьют при случае—святая, никольщина, покровщина, свадьбы, крестины, похороны, но не больше, чем пьем при случае и мы. Мне случилось бывать и на крестьянских сход-

ках, и на съездах избирателей-землевладельцев—право,не могу сказать, где больше пьют. Числом полуштофов, крестьяне, пожалуй, больше выпьют, но необходимо принять в расчет, что мужику выпить полштоф нипочем—галдеть только начнет и больше ничего. Проспится и опять за соху. Я совершенно убежден, что разные меры против пьянства—чтобы на мельнице не было кабака, чтобы кабак отстоял от волостного правления на известное число сажен (экая штука мужику пройти несколько сажен—я вот за 15 верст на станцию езжу, чтобы выпить пива, которого нет в деревне) и пр. и пр.—суть меры ненужные, стеснительные и бесполезные. Все, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, из городов. Повторяю, мужик, даже и отпетый пьяница—что весьма редко—пьющий иногда по нескольку дней без просыпу, не имеет того ужасного вида пьяниц, ведущих праздную и сидячую комнатную жизнь, пьяниц, с отекшим лицом, дрожащими руками, блуждающими глазами, помраченным рассудком. Такие пьяницы, которых встречаем между фабричными, дворовыми, отставными солдатами, писарями, чиновниками, помещиками, спившимися и опустившимися до последней степени, между крестьянами—людьми, находящимися в работе и движении на воздухе—весьма редки, и я еще ни одного здесь такого не видал, хотя, не отрицаю, при случае крестьяне пьют шпарко. Я часто угощаю крестьян водкой, даю водки помногу, но никогда ничего худого не видел. Выпьют, повеселеют, песни запоют, иной, может, и завалится, подерутся иногда, положительно говорю, ничем не хуже, как если и мы закутим у Эрбера. Например, в зажин ржи я даю вечером жнеям по два стакана водки—хозяйственный расчет: жней должно являться по 4 на десятину (плата от десятины), но придет по 2, по 3 (не штрафовать же их); если же есть угощение, то придет по 6 и отхватают половину поля в один день—и ничего. Выпьют по два стакана подряд (чтобы скорей в голову ударило), закусят, запоют песни и веселые разойдутся по деревням, пошумят, конечно, полюбезнее будут с своими парнями (а у Эрбера разве не так), а на завтра опять, как роса обсохнет, на работу, как ни в чем ни бывало.

Я уже сказал, что Костик занимается охотой. Мы с ним по этому случаю и познакомились. Сошлись мы с ним потому, что это был первый человек, от которого я услыхал в деревне химическое слово. Вскоре после моего приезда в деревню,—когда дрова, хлеб, навоз еще не вытеснили из моей головы крезол, нитрофенол, антрацен и т. п.,—Костик принес мне продавать зайца и просил—мы разговорились с ним об охоте,—чтобы я ему достал для отравы лисиц «стрихнины», которая, по его словам, действует отлично. Не скрою, слышать слово «стрихнин» мне, привыкшему толковать о дифениламинах, летицинах

и т. п., было чрезвычайно приятно, точно родное слово услыхал на чужбине. Мне кажется, что слово «стрихнин» было причиной, почему я тотчас почувствовал к Костику особенное расположение, выразившееся, разумеется, угощением водкой не в счет платы за зайца. Потом Костик стал носить мне тетеревей, уток, рябцов, весной собирал для меня кости,—кости он, однако, не носил сам, а присылал с мальчиком, потому что хозяину неловко, неприлично продавать такой пустой товар,—дрова мне рубил перед святой, чтобы заработать на несколько полуштофов к празднику.

Я сказал уже, что, кроме охоты, Костик занимается еще воровством. Он плут и вор, но не злостный вор, а добродушный, хороший. Он сплутует, смошенничает, обведет, если можно,—на то и щука в море, чтобы карась не дремал,—но сплутует добродушно. Он украдет, если плохо лежит,—не клади плохо, не вводи вора в соблазн,—но больше по случаю, без задуманной наперед цели, потому что нельзя назвать обдуманным воровство при случае. Костик всегда готов украсть, если есть случай, если что-нибудь плохо лежит: мужик зазевался, Костик у него из-за пояса топор вытащит и тотчас пропьет, да еще угостит обокраденного. Попадется—отдаст украденное или заплатит; шею ему наколотят, поймав в воровстве,—не обидится. Мне кажется, что Костик любит самый процесс воровства, любит хорошенько обделать дельце.

В нынешнем году Костику, однако, не посчастливилось в воровстве—должно быть, не удалось ничего украсть в благовещение. Известно, что на благовещение воры заворовывают для счастья на весь год, подобно тому, как на Бориса (2 мая) барышники плутуют, чтобы весь год торговать с барышом. Нынче Костик попался в порядочном воровстве, так что и кобылы последней решился; не знаю уж, как он теперь будет хозяйничать.

Раз осенью иду я на молотьбу, вдруг смотрю—Матов верхом скачет. Матов—мещанин-кулак, все покупающий и продающий, содержатель постоялого двора верстах в шести от меня. Завидев меня, Матов, который было уже проскакал мимо моего дома, остановился и соскочил с лошади.

— Здравствуй, барин.

— Здравствуй, Василий Иванович. Что?

— К тебе, барин. Бычки, говорил ты, продажные есть.

— Есть.

— Пойдем, покажи.

— Пойдем.

Мы пошли на скотный двор. Ну, думаю, не за бычками ты, брат, приехал, потому что если мещанин или мелкий купец приехал за делом, то он никогда не начнет прямо говорить о том деле, за которым приехал. Например, приехал мещанин.

Входит, крестится, кланяется, останавливается у порога, не садится, несмотря на приглашение (мелкий, значит, торгаш), и, поздоровавшись, говорит:

— Поторговаться не будет ли чем с милостью вашей?

— Что покупаете?

— Ленку нет ли продажного?

— Есть.

— А как цена будет милости вашей?

— Три.

— Нет-с. Таких цен нету. Прикажите посмотреть.

— Извольте.

Мещанин отправляется с старостой или Авдотьей в амбар смотреть лен и возвращается через несколько времени.

— Ленок не совсем-с, коротенек. Без четвертака два можно дать-с.

Начинается торг. Покупатель хает лен, говорит, что лен короток, тонок, не чисто смят, перележался, цветом не выходит, прибавляет по пяти копеек—два без двадцати, два без пятнадцати, два без гривенничка, догоняет до двух. Я хвалю лен и понемногу спускаю до двух с полтиной. Если отдам за два, то мещанин купит лен, хотя вообще льном не занимается. Но почему же не купить, если дешево: он дает небольшой задаток и тотчас же перепродает лен настоящему покупателю. Торгуя лен, мещанин мимоходом замечает:

— Кожицу и опоечек я у вас в амбаре видел. Не изволите-ль продать?

— Купите. Четыре рубля.

— Нет-с. Столько денег нет. Кожица плоховата. Третьячка. Три рублика извольте.

— Чем же плоховата? Резаная.

— Это мы видели-с, что резаная. Три десять извольте.

Начинается торг. Купец торгует лен и кожи, наконец, покупает кожу и опоечек за три с полтиной.

Он приезжал за кожами.

Не за быками, думаю, приехал Матов; но не показать быка нельзя. Идем на скотный двор. Выгоняют быка. Матов смотрит его, щупает, точно и в самом деле купить хочет. Я прошу за быка пятьдесят рублей; он дает пятнадцать, между тем как одна кожа стоит восемь. Нечего и толковать. Бык ему, очевидно, не нужен. Возвращаемся домой.

— Продай ты мне, барин, два кулика ячменя.

— Не могу.

— Сделай милость, продай. Свиней подкормить нечем.

— Не могу, самому нужен.

— Ну, прощай.

— Прощай.

Матов отвязывает лошадь и, занося ногу в стремя, обращается ко мне.

— Совсем заморился сегодня.

— Что так? Да откуда ты это едешь,—ишь лошадь как загонял.

— По делу езжу, вора ищу; у меня третьеводни четыре верха (кожа с салом) украли.

— На кого ж думаешь?

— Мужик тут есть в Бабине, Костиком зовут,—ты его не знаешь. На него думаю. Он у меня третьего дня вечером был, когда кожи пропали, а теперь вот уж две ночи дома не ночует. Пьянствует где-нибудь. Я все кабаки, кажись, объездил,—нет нигде.

— Костик? Знаю, да он сегодня у меня был.

— Костик? В какое время был?

— Да вот недавно был: пороху заходил просить.

— Пороху? Ах, он с... Ну, да теперь он недалеко должен быть—наверно, в дубовском кабаке.

Матов вскочил на лошадь и поскакал в Дубово. «Ну, думаю, этот поймает». Я пошел на молотьбу и рассказал Ивану о встрече с Матовым.

— Это Костик украл.

— Почем ты знаешь?

— Да он сегодня сюда заходил ко мне на ток. Зарядов просил у меня. Я ему говорю, что у нас у самих пороху мало. Пристает, продай, говорит, по гривеннику за заряд дам. А я смеясь и говорю: «Да ведь у тебя денег нет». «Есть»,—говорит.—«Ан, ну, покажи». Показывает: действительно—три билетика. «Вот,—говорю рабочим,—поспорь с ним, что у него в кармане денег нет. При всех деньги показал. Наверно, он кожи у Матова украл и уже где-нибудь продал. Откуда у него могут быть деньги!».

— Это костиково дело,—проговорил один из рабочих,—мы с Евменом его вчера рано утром встретили, когда на молотьбу шли. Смотрим, идет Костик и что-то несет за спиной, я еще пощупал,—мягкое что-то. «Что ты это несешь?»—спрашиваем.—«Вещи,—говорит,—нанялся со станции донести в Иваново». А это он кожи, значит, нес—в Слитье продал. Вот откуда у него деньги. Поймает же его теперь Матов, наверно в Дубове пьянствует.

Матов Костика поймал и пожаловался волостному. Через несколько времени моего старосту, гуменщика и рабочих вызвали свидетелями в волость. Был суд над Костиком. Костик сначала запирался, но в виду явных улик сознался, что украл у Матова четыре кожи, из коих две спрятал в лесу, а две продал содержателю постоялого двора. Матов и Костик помирились на том, как мне рассказывали, что Костик должен возвратить

спрятанные в лесу кожи и заплатить за две другие, им проданные. Костик же заплатил и свидетелям,—кажется, угостил их водкой.

Недавно, проездом на станцию, я зашел в кабачок Матова выпить водки. Смотрю, Костик, пьяненький, веселый, самым дружелюбным образом беседует с Матовым, который тоже пропустил одну, другую.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, А. Н. Здравствуйте, барин,—заговорил Костик, обрадованный встречей со мной.

— Здравствуй, Костик, что ты тут делаешь?

— А вот барышки запиваем: кобылку Василию Ивановичу продал.

— За кожи, значит, рассчитались?

— Нет, за кожи прежде рассчитались,—проговорил Матов,—а теперь кобылку на деньги купил. Пожалуйте. Фимья, дай бараночка закусить.

— Хозяину начинать.

Матов налил стаканчик водки, перекрестился, дунул в стакан (чтобы отогнать беса, который сидит в водке), проговорил: «будьте здоровы», отпил глоток и, наполнив стакан вровень с краем, подал мне с поклоном.

— Ну, будьте здоровы.

Костик стал мне рассказывать про свои неудачи на охоте за лисицами в нынешнем году и в особенности жаловался на то, что ему не удалось нынче взять ни одной из отравленных лисиц. А все от того, что «стрихнины» у него нет.

Не правда ли, прелестно? Просто, главное. Практично.

У Матова украли кожи. Он прежде всего раскидывает умом, кто бы мог украсть. Как содержатель кабака и постоялого двора, скупающий по деревням все, что ему подходит,—и семя, и кожи, и пеньку, и счески,—он знает на двадцать верст в округе каждого мужика до тонкости, знает всех воров. Сообразив все обстоятельства дела и заподозрив Костика, он, не говоря никому ни слова, следит за ним и узнает, что Костик пропал из дому. Подозрение превращается в уверенность. «Это он»,—говорит Матов и скачет по кабакам разузнать, где проданы кожи и где пьянствует Костик. Попадает случайно на меня,—ехал мимо, случайно увидал, отчего же не спросить,—находит важных свидетелей, которые видели у Костика деньги (а всем известно, что у Костика денег быть не может), которые видели Костика с ношей. Заручившись свидетелями, обещав им, что дела далее волости не поведет, свидетелей по судам таскать не будет и получив, таким образом, уверенность, что Костику не отвертеться, Матов жалуется в волость. Вызывают в волость Матова, Костика, свидетелей—в волость свидетелям сходить недалеко и от работы их

не отрывали, потому что суд был вечером. Свидетели уличают Костика, и тот, видя, что нельзя отвертеться, сознается. Дело кончается примирением, и все довольны. Матов получил обратно кожи, которые Костик не успел продать, наверно вдвое получил за проданные кожи, да еще, пожалуй, стянул что-нибудь с содержателя постоялого двора, который купил у Костика краденые кожи. Свидетелям Костик или заплатил, или поставил водки, а главное, их не таскали по судам, сходить же в волость, да и то вечером или в праздник (волостной, ведь, тоже мужик, и знает, что в будни днем работать нужно), свидетелям нипочем. Костик доволен, потому что раз воровство открыто, ему выгоднее заплатить за украденное, чем сидеть в остроге. Мы довольны, потому что если бы Костик посидел в остроге, то из мелкого воришки сделался бы крупным вором.

Совсем другое вышло бы, если бы Матов, вместо того, чтобы самому разыскивать вора, принес жалобу в полицию, как делают большей частью помещики и в особенности помещицы. Приехал бы становой, составил бы акт, сделал дознание, тем бы, по всей вероятности, дело и кончилось. Какие же у станового с несколькими сотскими средства открывать подобные воровства? Да если бы у станового было не 24, а 100 часов в сутки, и он бы обладал способностью вовсе не спать, то и тогда ему не было бы возможности раскрывать бесчисленное множество подобных мелких краж. Становому впору только повинности с помещиков собрать: пишет-пишет, с сотскими наказывает, сам приезжает...

Положим, помещики вызывают станового, обыкновенно ничего не разузнав о краже, и не представляют никаких данных, даже и подозрения основательного высказать не могут; но Матов, казалось бы, разузнав все предварительно и имея свидетелей, мог бы принести жалобу мировому и вообще куда следует. Как бы не так. Матов, как человек практический и сам судов боящийся, очень хорошо знает, что если бы свидетели только знали, что Матов будет судиться с Костиком и таскать их, свидетелей, по судам, так они бы притаились и ничего бы не сказали. В самом деле, представьте себе, что если бы, вследствие жалобы Матова, свидетелей, то-есть, старосту, гуменщика и работников потребовали куда-нибудь за 30 верст к становому, мировому или на съезд—благодарили ли бы они Матова? Вы представьте себе положение хозяина: старосту, у которого на руках все хозяйство, гуменщика, без которого не может итти молотьба, и рабочих потребуют свидетелями! Все работы должны остановиться, все хозяйство должно остаться без присмотра, да в это время, пока они будут свидетельствовать, не только обмолотить, но просто увезти хлеб с гумна могут. Да и кто станет держать такого старосту или скотника, который не знает мудрого правила: «нашел молчи, потерял—молчи, увидал — молчи,

услыхал—молчи», который не умеет молчать, болтает лишнее, вмешивается в чужие дела, которого будут таскать свидетелем к мировому, на мировой съезд или в окружной суд. Вы поймите только, что значит для хозяина, если у него хотя на один день возьмут старосту или скотника. Вы поймите только, что значит, если мужика оторвут от работы в такое время, когда за день нельзя взять и пять рублей: поезжай свидетелем и оставь ниву незасеянную во-время. Да если даже и не рабочее время,—очень приятно отправляться в качестве свидетеля за 25 верст, по 25-градусному морозу, или, идя в город на мировой съезд свидетелем, побираться христовым именем. Прибавьте к этому, что мужик боится суда и все думает, как бы его, свидетеля, храни бог, не засадили в острог или не отпороли. Матов ни за что не открыл бы воровства, если бы свидетели не знали Матова за человека практического, который по судам таскаться не станет. Да и какая польза была бы Матову судиться с Костиком? Посадили бы Костика в острог,—а Матову что? Кожи так бы и пропали. Костик на суде во всем заперся бы и кожи, разумеется, не отдал бы, и кому их продал—не сказал бы. Матов остался бы не при чем, в глазах же крестьян сильно бы потерял, что неблагоприятно отозвалось бы на его торговых делах. Не лучше ли кончить все полюбовно, по-божески?

У нас, к счастью, много дел кончается таким образом. Позвольте рассказать еще другой случай. Содержатель соседнего кабака должен был куда-то уехать вместе с женой. Уезжая, он запер каморку, где стояла бочка водки, и поручил смотреть за кабаком своему работнику, которому оставил четверть водки для продажи. Вечером в кабак зашли мужики, однодеревенцы работника, взяли водки, выпили и угостили работника. Закутили. Пили, пили; водки, оставленной на продажу, наконец, нехватило, а выпить хочется. Ночью, работник с двумя товарищами—пьяные, разумеется,—решились украсть водки из бочонка, запертого в каморке. Выломали топором две доски в перегородке, достали из каморки водки и баранок, заделали взлом—и ну кутить. Приезжает через несколько дней содержатель кабака и открывает воровство. Воровство со взломом, совершенное лицом, которому поручено хранение имущества, ночью, при содействии других лиц,—ведь это окружным судом и острогом пахнет. Дело, однако, окончилось благополучно: помирились на том, что работник и его товарищи обязались уплатить содержателю кабака за украденную водку вдвое.

И я, и сам содержатель кабака, и соседи-мужики—все знают, что работник, совершивший воровство со взломом, человек превосходный, каких редко, пречестнейший и добрейший человек, но любит выпить, а выпивши, хочет еще выпить, и, чтобы достать

водки, готов на воровство водки, но не чего-нибудь другого. Дело кончилось миром, и работник до сих пор живет *у того же содержателя кабака*; а пойди содержатель в суд, то ведь работника засадили бы, пожалуй, в острог. Конечно, присяжные могли бы и оправдать, но пока еще они оправдают, придется, может год сидеть в остроге, а для мужика нет ничего ужаснее острога.

«Случаи», нарушающие нашу хозяйственную тишину и заставляющие нас думать и говорить о другом, весьма редки, хотя от скуки мы рады всякому случаю. Я говорил выше, что мужики ходят обыкновенно с просьбой о работе, хлебе и дровах, но есть еще предмет, о котором тоже часто приходят просить,—это лекарства. Чуть кто-нибудь заболел на деревне, идут ко мне за лекарством. Хотя я не лечу и толку в лечении не понимаю, но все-таки обращаются ко мне с просьбой дать лекарства. Ты, говорят, человек грамотный, ученый, все больше нашего понимаешь—дай что-нибудь.

И я даю: касторовое масло, английскую соль, березовку, перцовку, чай,—что случится. Помогает.

Прошедшим летом распространился слух, что у нас будет холера. Пришел от начальства приказ, чтобы в каждой деревне выбрали избу, вымыли ее, вычистили и содержали в порядке для того, чтобы помещать в нее холерных больных,—всем этим мы обязаны, кажется, деятельности нашего земства. Мужики собрались на сходку, выбрали избу, выгнали баб ее вычистить и вымыть; но холеры, к счастию, не было, и изба простояла целое лето пустая. Заболевали поносом, гнетухой,—лето было сухое, без дождинки, работа шла сильная, харчи плохие,—многие переболели животами, но никто не умер. Приходили ко мне: тому дам стакан пуншу, тому касторового масла, тому истертого в порошок и смешанного с мелким сахаром чаю—помогало.

Насчет леченья, в случае болезни, в деревне очень плохо не только крестьянину, но и небогатому помещику. Доктор есть в городе, за 30 верст. Заболели вы,—извольте посылать в город. Нужно послать в город на тройке или, по крайней мере, на паре, в приличном экипаже, с кучером. Привезли доктора; за визит ему нужно дать 15 рублей и уже мало—10 рублей. Нужно отвезти доктора в город и привезти лекарство. Сосчитайте все—сколько это составит, а главное, нужно иметь экипаж, лошадей, кучера. Но ведь в случае серьезной болезни, одного визита мало. Очевидно, что доктор теперь доступен только богатым помещикам, которые живут по старопомещичьи, имеют экипажи, кучеров и пр., то-есть, для лиц, у которых еще осталось старое заведение, для лиц, у которых сохранились деньги или выкупные свидетельства, у которых еще есть леса, осталось много отрезков, на счет которых они ведут хозяйство, или для лиц, которые, живя в деревне, занимают какие-нибудь должности с жалованием.

Небогатые помещики, например, такие, которые имели 300 заложенных душ крестьян, арендаторы мелких имений, приказчики, управляющие отдельными хуторами, попы, содержатели постоялых дворов и тому подобные зажиточные, сравнительно с крестьянами, люди не могут посылать в город за доктором; эти большею частью пользуются хорошими, то-есть, имеющими в околотке известность, фельдшерами, преимущественно из дворовых, федьшерами, которые заведывали аптеками и больницами, имевшимися у богатых помещиков во время крепостного права. Однако и такие фельдшера для массы наших бедных крестьян тоже недоступны, потому что и фельдшеру нужно дать за визит три рубля с его лекарством, а то и пять рублей. К таким фельдшерам прибегают только очень зажиточные крестьяне. Затем следуют фельдшера второго разряда, лечащие самоучкой, самыми простыми средствами,—деды, бабы и все, кто маракует хотя немного. Остаются еще случайные доктора: какой-нибудь лекарь или медицинский студент, приехавший на побывку к родным, и т. п. Заболеет мужик—ходит, перемогается, пока есть сила. Свалился—лежит. Есть средства—сыскивает фельдшера или деда, а нет—просто лежит или к кому-нибудь из помещиков, у которых есть лекарство, пошлет попросить чего-нибудь. Иные вылеживаются, выздоравливают. Другие умирают. Лежит, лежит до тех пор, пока не умрет.

Самое худое, что, поправившись, отлежавшись, опять заболевают, и во второй раз редко уже встают, потому что, не успев хорошенько поправиться, начинают работать, простуживаются (замечу, между прочим, что у крестьян отхожих мест нет и самый трудный больной для отправления нужды выходит, выползает или его выносят на двор, какова бы ни была погода) и, главное, не получают хорошей пищи, да что говорить хорошей, не получают мало-мальски сносной пищи.

У меня есть работница Хима из соседней деревни. У нее во дворе—а двор-то бедный-пребедный, с покрова уже хлеба не было—осталась за хозяйку дочка, молоденькая, красивая девушка Аксюта, муж-хозяин и трое детей, которые всю нынешнюю зиму ходили в кусочки. Осенью, на одной свадьбе, Аксюта сильно простудилась. Сделался кашель, Аксюта стала харкать кровью и слегла. За попом посылали. Аксюте все хуже, да хуже. Ездили к какому-то бывшему дворовому человеку, который, говорят, помогает. Тот дал питье,—кислое-прекислое, говорила мне Хима,—помогло. Аксюта стала поправляться и, может, выздоровела бы, если бы ей дать питательную пищу, удобное помещение и поберечь от простуды, а то приходит раз ко мне Хима.

— Что тебе, Хима?

— Да, насчет дочки пришла.

— Что же дочка?

— Поправляться стала. Ходит. Только пушного хлеба есть не может. Пожует, пожует, да и выплюнет—проглотить не может. Прислала мальчишку, пусть, говорит, матка барина попросит, не даст ли картошки.

Пушной хлеб приготовляется из неотвеянной ржи, то-есть, смесь ржи с мякиной мелется прямо в муку, из которой обыкновенным образом приготовляется хлеб. Хлеб этот представляет тестяную массу, пронизанную тонкими иголками мякины; вкусом он ничего,—как обыкновенный хлеб, питательность его, конечно, меньше, но самое важное неудобство—это, что его трудно глотать, а непривычный человек и вовсе не проглотит, если же и проглотит, то потом все будет перхать и чувствовать какое-то неудобное ощущение во рту. И таким-то хлебом, или еще хуже, сухими, собранными месяц тому назад, пушными кусочками должен питаться выздоравливающий больной. Как же тут поправиться?

Вскоре Аксюте, которая стало было поправляться, опять стало хуже. Не оправившись от болезни, она стала носить воду, мять пеньку, убирать скот. Простудилась и опять слегла. В деревне все решили, что Аксюта умрет. Мать, которая очень любила и баловала Аксюту, относилась к этому совершенно хладнокровно, то-есть с тем, если можно так выразиться, бесчувствием, с которым сдин голодный относится к другому. «А и умрет, так что ж—все равно, по осени замуж нужно выдавать, из дому вон, умрет, так расходу будет меньше» (похоронить стоит дешевле, чем выдать замуж).

Аксюта пролежала всю зиму и умерла в марте. Бедному во всем несчастье: уж умерла бы осенью, а то целую зиму расход, а к весне, когда девка могла бы работать, умерла. Крестьяне и замуж-то девок отдают по осени, главным образом потому, что *какой же расчет*, прокормив девку зиму, отдать ее весной, перед началом работ, замуж,—это все равно, что продать дойную корову весной.

Очень часто хорошая пища, теплое помещение, избавление от работ были бы самым лучшим средством для излечения; но все-таки, я думаю, что те молодые доктора, от которых мне случалось слышать, что им нечего делать в деревнях, потому что лекарства не могут помогать, если у больного нет хлеба и пр., не совсем правы. Часто, очень часто, во-время поданная помощь могла бы принести огромную пользу. Но необходимо, чтобы доктор жил близко (нужно, чтобы в каждой волости был доктор, или, если хотите, фельдшер, но фельдшер образованный, гуманный,—не нужно много медицинских познаний, но главное, чтобы был человек образованный с независимыми мнениями), сам давал лекарства, ездил к больным в том экипаже, который при-

шлют, то-есть в простой телеге, чтобы он брал небольшую плату за визит вместе с лекарством, не требовал денег тотчас, а ожидал уплаты до осени, как, например, делают хорошие попы, в крайних случаях лечил даром, не отказывался от уплаты за леченье деревенскими продуктами, приносимыми по силе возможности (даром лечить он должен только в редких случаях, а то никакого толку не выйдет, потому что в большинстве случаев мужик не поймет, чтобы можно было давать лекарства даром), чтобы он не был казенный доктор и не ездил вскрывать трупы и вообще не участвовал при следствиях (для этого есть уездные доктора); хорошо было бы, если б доктор имел свое хозяйство, так чтобы мужик мог отработать за леченье. Понятно, что все-таки доктору волость должна была бы давать жалованье и средства для покупки лекарств и содержание больницы. Я уверен, что, хорошо взявшись за это, можно было бы устроить дело, но для этого необходимо, чтобы все лица, живущие в одной волости,—помещики, попы, мещане, арендаторы, крестьяне,—словом, все живущие на известном пространстве земли, составляли одно целое, были связаны общим интересом, лечились бы одним и тем же доктором, судились одним судьей, имели общую кассу для своих местных потребностей, выставляли в земство общего представителя (или представителей) волости и пр. и пр. Пока этого нет—и медицинской помощи в деревнях не будет, потому что земство, в теперешнем его виде, ничего настоящего по этой части не сделает—я в этом уверен. Я не могу себе представить, чтобы живущий в городе председатель управы или член (я рассуждаю вообще, не имею в виду земских лиц уезда, в котором живу, и прошу не принимать этих рассуждений на чей-либо личный счет), у которого есть под рукой доктор и аптека, мог живо принимать к сердцу положение, не говорю мужика, умирающего на печке, но хотя бы меня, лежащего без помощи, потому что я, не имея приличного экипажа (я, например, кроме телеги и беговых дрожек, другого экипажа не имею), лошадей и кучера для посылки за доктором, не имея средств платить 15 рублей за визит, да, кроме того, и физически не будучи в состоянии, за разливом рек, добыть доктора, живущего за 30 верст, вынужден, заболев, лежать и ждать, авось пройдет, или обратиться к фельдшеру, живущему в соседстве, или к моей «старухе». Я не могу себе представить, чтобы живущий в городе земский деятель мог живо принимать к сердцу положение мужика, которому нечего есть, и принимать меры к обеспечению продовольствием да и *когда* еще он узнает о том, что мужику есть нечего, да и много ли таких, которые понимают быт мужика. Я встречал здесь помещиков,—про барынь уж и не говорю,—которые лет 20 живут в деревне, а о быте крестьян, о их нравах, обычаях, положении, нуждах никакого понятия

не имеют; более скажу,—я встретил, может быть, всего только трех-четырех человек, которые понимают положение крестьян, которые понимают, что говорят крестьяне, и которые говорят так, что крестьяне их понимают. Я не могу себе представить, чтобы земские деятели, не связанные с нами, так сказать, органически, могли живо чувствовать и принимать к сердцу наши, если можно так выразиться, территориальные волостные интересы; другое дело, если бы они были представители волостей, то-есть, единиц, состоящих из людей разных сословий, живущих на одном пространстве земли и потому необходимо связанных общим интересом. Конечно, я сам выбираю гласного от землевладельцев; но зачем я его выбираю—я и сам не знаю. Приказано, потому и выбираю. Мужики тоже выбирают гласного от сельского сословия, потому что приказано, и молят: «отпустите вы нас только поскорее, потому что у нас покос, уборка хлеба». Если бы меня выбрали в гласные, то я и сам не знал бы, зачем меня выбрали и что я там буду делать. Наконец, гласный от землевладельцев, гласный от крестьян, никакой инструкции от избирателей не получает, никакого отчета им не отдает: говори там, батюшка, что хочешь; спасибо, что идешь в гласные. Мне кажется, что совсем бы другое было, если б гласный был представитель волости. Начал бы наш гласный толковать о необходимости исправлять дороги, например,—мы бы ему сейчас и сказали: что ты, любезный, толкуешь! у нас в волости всего один барин есть, у которого остались коляски и держатся кучера и которому, следовательно, нужны хорошие дороги, а мы все, и мужики, и мелкопоместные, и бывшие средней руки помещики, и попы, ездим теперь одиночками в телегах—для нас дороги хороши. Начал бы он... да он и не говорил бы того, о чем ему его избирателями не поручено. Если бы земские люди были действительно люди, излюбленные земскими обывателями, если б это действительно были представители лиц, живущих на известных пространствах, если бы это были лица, которые бы знали, для чего их избирают, если бы и избиратели знали, зачем избирают,—тогда другое дело. При теперешнем же устройстве, когда лица разных сословий, живущие в одной волости, ничего общего между собою не имеют, подчинены разным начальствам, разным судам,—ничего путного быть не может. Волостной плох, жмет крестьян, деспотствует над ними — мне что за дело? Да если бы я, по человечеству, и принял сторону крестьян, что же я могу сделать? Еще сам поплачусь—произведут меня в возмутители крестьян и отправят, куда Макар телят не гонял, а крестьян перепорют. Разумеется, в таких случаях, когда идет война между крестьянами и волостным, каждый, и зная, что крестьяне правы, отходит в сторону, да и крестьянам посоветует не горячиться. Мировой посредник плох до крестьян,

а мне что? Волостной суд пьянствует и пр. и пр., а мне что? да и что я сделаю? Поп прижимист... но мы не можем переменить попа и т. д. А вот если бы: волость—единица, волостной старшина, выборный, административное начальство в волости, которому в определенном законном отношении подчинены все живущие в волости, и крестьяне, и помещики, и попы и пр. Свой волостной судья, в волости живущий. Свои выборные попы волостные. Своя внутренняя волостная полиция. Свой волостной совет. Тогда бы скорее мог бы явиться свой волостной доктор, своя волостная школа, своя волостная ссудная касса.

Ежемесячно ко мне приезжают попы. «Попы» не значит поп во множественном числе. Словом «попы» обозначают всех принадлежащих к духовному званию, всех, кто носит длинные волосы, особенного покроя поповское платье; тут и поп, и дьякон, и дьячок, и пономарь, настоящие и заштатные, и все состоящие при селе. На святой или на роджество, где есть обычай, за попом по приходу ходит многое множество такого поповского народу. Слово «попы» имеет такое же значение, как и слово «воронье». Ворон, грач, ворона, галка, сорока, все это пернатое царство—«воронье». Я люблю, когда приезжают попы. Попы бывают у меня ежемесячно, для совершения водосвятия на скотном дворе. Обычай уже такой есть исстари (издревле, как говорит дьякон), чтобы каждый месяц совершать на скотном дворе водосвятие. Каждое первое число, или около того, приезжают попы—священник, дьякон, два или три дьячка,—совершают на скотном дворе водосвятие—на дворе; в хлеву или в избе—и обходят с пением тропаря «Спаси, господи, люди твоя» весь двор, причем священник заходит в каждый хлев и кропит святою водой. Если я дома, то обыкновенно присутствую при службе и затем приглашаю попов к себе закусить и выпить чаю. Закусываем, пьем чай, беседуем. Я люблю беседовать с попами и нахожу для себя эти беседы полезными и поучительными. Во-первых, никто так хорошо не знает быт простого народа во всех его тонкостях, как попы; кто хочет узнать настоящим образом быт народа, его положение, обычаи, нравы, понятия, худые и хорошие стороны, кто хочет узнать, что представляет это, никому неизвестное, неразгаданное существо, которое называется мужиком, тот, не ограничиваясь собственным наблюдением, должен именно между попами искать необходимых для него сведений; для данной же местности попы в этом отношении неоценимы, потому что в своем приходе знают до тонкости положение каждого крестьянина. Во-вторых, после крестьян, никто так хорошо не знает местного практического хозяйства, как попы. Попы—наши лучшие практические хозяева,—они даже выше крестьян стоят в этом отношении, и от них-то именно

можно научиться практике хозяйства в данной местности. Хозяйство для попов составляет главную статью дохода. И чем же будет жить причетник, даже дьякон, на что он будет воспитывать детей, которых у него всегда множество, если он не будет хороший сельский хозяин. Конечно,

Попов пирог с начинкою,
Попова каша с маслицом,
Поповы щи с снетком...

Но это только у попа-батьки, а не у причетника, который перебивается со дня на день.

Не знаю, как в других местах, но у нас церквей множество, приходы маленькие, крестьяне бедны, поповские доходы ничтожны. Как невелики, по крайней мере у нас, поповские доходы, видно из того, какую низкую плату получают попы за службу. За совершение ежемесячно водосвятия на скотном дворе я плачу в год три рубля, следовательно, за каждый приезд попам приходится 25 копеек. Эти 25 копеек делятся на 9 частей, следовательно, на каждую часть приходится по $2^3/_4$ копейки ($^1/_4$ копейки останется ежемесячно). Священник получает четыре части, значит 11 копеек; дьякон две части, значит $5^1/_2$ копеек, три дьячка по одной части, следовательно, по $2^3/_4$ копейки каждый. Таким образом, дьячок, приезжающий из села за семь верст, получает за это всего $2^3/_4$ копейки. Положим, что попы объедут за раз, в один день, три помещичьих дома и совершат три водосвятия, при этом им придется сделать 25 верст, то и при таких благоприятных условиях дьячок заработает $8^1/_4$ копеек, дьякон $16^1/_2$ копеек и сам священник—33 копейки. Я привел эти цифры, чтобы показать, как незначительны доходы попов в нашей местности. От крестьян попы, разумеется, получают более. У крестьян службы не совершаются ежемесячно, но два или три раза в год попы обходят все дворы. На святой, например, попы обходят все дворы своего прихода и в каждом дворе совершают одну, две, четыре службы, смотря по состоянию крестьянина—на рубль, на семь гривен, на полтинник, на двадцать копеек—это уж у самых бедняков, например, у бобылок, бобылей. Расчет делается или тотчас, или по осени, если крестьянину нечем уплатить за службу на святой. Относятся здешние попы, в этом отношении, гуманно и у нас, по крайней мере, не прижимают. Разумеется, кроме денег получают еще яйца и всю неделю, странствуя из деревни в деревню, кормятся. Так как службы совершаются быстро, и в утро попы легко обойдут семь дворов (у нас это уже порядочная деревня), то на святой ежедневный заработок порядочный, но все-таки доход в сумме ничтожный. Понятно, что при таких скудных доходах попы существуют, главным образом, своим хозяйством и потому, если дьячок,

например, плохой хозяин, то ему пропадать надо. Я заметил, что причетники, в особенности пожилые, всегда самые лучшие хозяева—подбор совершается, как и во всем.

Езжу иногда к помещикам, или, лучше сказать, к помещицам, потому что теперь в поместьях остались по преимуществу барыни, которые и ведут хозяйство. Сначала я толковал с помещиками все больше о хозяйстве, которое для нас дело самое интересное, потому что какое же нам дело до политики, не все ли нам равно, здоров принц Вельский или нет, какое нам дело до того, кто лучше поет, Лукка или Шнейдер, какое нам дело, чьего изобретения гороховая колбаса питательнее, и т. п.; но скоро я убедился, что говорить с помещиками о хозяйстве совершенно бесполезно, потому что они большею частью очень мало в этом деле смыслят. Не говорю уже о теоретических познаниях,—до сих пор я еще не встретил здесь ни одного хозяина, который бы знал, откуда растение берет азот или фосфор, который бы обладал хотя самыми элементарными познаниями в естественных науках и сознательно понимал, что у него совершается в хозяйстве,—но и практических знаний, вот что удивительно, нет. Ничего нет, понимаете. Мужик хоть практику понимает и здравый смысл в деле хозяйства имеет. Есть некоторые, которые занимаются хозяйством или, лучше сказать, разоряются *по агрономии*, как у нас говорят (здесь у практиков мелкопоместных хозяев сложилось убеждение, что, кто занимается по агрономии, тот непременно разорится, как это обыкновенно и бывает), то-есть, нахватавшись внешних форм так называемого рационального хозяйства из разных книжек, преимущественно, кажется, из «Земледельческой газеты», вводят разные новости: машины ненужные выписывают, турнепсы и лупины сеют. Разумеется, ничего путного не выходит, а если некоторые из таких агрономов еще держатся, то только благодаря отрезкам, лесам и старому заведению. О хозяйстве, значит, говорить много не приходится, разве только цены узнаешь, про ход дел у соседа спросишь.

На станцию железной дороги езжу. Там, в 100 саженях от вокзала, есть постоялик, вечно наполненный народом—покупателями и продавцами дров, приказчиками, приемщиками дров, дровокладами, возчиками. Этот постоялик—наш Дюссо, с тою только разницей, что, вместо того чтобы слышать, как у Дюссо, comme elle se gratte les hanches et les jambes—здесь вечно слышим: по пяти взял за швырок; без 20-ти семь продали на месте; он мне 70 за десятину; извольте, говорю.

Вся наша торговля сосредоточивается на дровах. Теперь только и разговору о продажах леса. Вся станция завалена дровами, все вагоны наполнены дровами, по всем дорогам к станции идут дрова, во всех лесах на двадцать верст от станции идет

пилка дров. Лес, который до сих пор не имел у нас никакой цены, пошел в ход. Владельцы лесов, помещики, поправили свои дела. Дрова дадут возможность продержаться еще десяток лет даже тем, которые ведут свое хозяйство по агрономии; те же, которые поблагоразумнее, продав леса, купят билетики и будут жить процентами, убедившись, что не господское совсем дело заниматься хозяйством. Несмотря на капиталы, приплывшие к нам по железной дороге, хозяйство нисколько не улучшается, потому что одного капитала для того, чтобы хозяйничать, недостаточно.

Вот так-то. Сижу я все у себя в деревне, никуда далее 15 верст не езжу, и даже в своем городе уездном был всего только один раз. Понятно, что я ни о чем другом, кроме хозяйства, писать не могу.

Я сказал, что постоянно сижу в своей деревне и далее 15 верст никуда не езжу... Не хочу грешить,—раз был в соседнем уезде на съезде земских избирателей для выбора гласных от землевладельцев. Поехал я на этот съезд потому, что хотел повидаться с моими родственниками и знакомыми,—я сам родом из того уезда,—которые должны были собраться на съезд. На съезде ничего интересного не было. Выбирали гласных. Прочитают имя, отчество и фамилию, закричат: «просим, просим», и начинают класть шары; кому много накидают, кому мало. Впрочем, если бы на съезде и было что интересное, то я не мог бы заметить, потому что, сами посудите: меня звал приехать на съезд один богатый родственник, который и прислал за мною лошадей в приличном экипаже с кучером. К вечеру я приехал к родственнику. Поужинали, рейнвейну, бургунского выпили; еще есть и у нас помещики, у которых можно найти и эль, и рейнвейн, и бутылочку-другую шипучего. На другой день встали на заре и отправились. Отъехав верст 12—холодно, потому что дело было в сентябре—выпили и закусили. На постоялом дворе, где нас ожидала подстава, пока перепрягали, выпили и закусили. Не доезжая верст восемь до города, нагнали старого знакомого, мирового посредника, сейчас ковер на землю—выпили и закусили. В город мы приехали к обеду и остановились в гостинице. Разумеется, выпили и закусили перед обедом (непрошенная). К обеду, за table d'hôte (каковы мы—настоящая Европа!), собралось много народу, все богатые помещики (и как одеты! какие бархатные визитки!). За обедом, разумеется, выпили. После обеда пунш, за которым просидели вечер. Поужинали—выпили. На другой день было собрание. Выбор гласных происходил в довольно большой зале, в верхнем этаже гостиницы, в той зале, где бывает table d'hôte. Через комнату от залы собрания буфет, где можно выпить и закусить; что значит образование! тут же, подле, и буфет устроен, потому

что безопасно, никто не напьется! А посмотрите у мужиков: здесь волостное правление, а кабак должен быть отставлен на 40 сажен, потому, говорят, нельзя иначе,—мужик сейчас напьется, если кабак будет рядом с волостью, а тут, все-таки же, сорок сажен нужно пройти. Выборы продолжались далеко за полночь. Обедать было некогда и негде, все закусывали. На другой день были выборы кандидатов в гласные. После выбора кандидатов обедали настоящим образом и пили хорошо. На третий день ничего не было по части общественных дел, но вечером в той же зале был бал. Танцовали. Ужинали. Пили. Я боюсь, однако, чтобы мое выражение «выпили» не было принято дурно. Оговорюсь: пил, собственно, я, да еще два-три человека, а другие были заняты *серьезным* делом—выборами гласных.

На четвертый день был съезд мировых судей. Боже мой, что это за великолепие и какая разница от присутственных мест! Большая, светлая, великолепная зала, превосходная мебель для публики; место, где восседает суд, отделано великолепно, судьи все в блестящих мундирах, украшены орденами и разными знаками—все бывшие деятели, в ополченьи, при освобождении крестьян, в Западном крае. Отлично. Разбиралось дело какого-то мужика, который украл лошадь. Мужичонка небольшой, в лаптях, в худом зипунишке, представлял такой контраст с великолепием суда,—это и хорошо: великолепие поселяет в массах уважение к предмету; за границей университет и вообще учебные заведения большею частью суть самые великолепные здания в городах. Но то-то, я думаю, мужику страшно было. Беда ведь это, крый господи, под суд попасть. Стоит мужик—его с одной стороны, его с другой, и все это так вежливо «вы» (а это еще страшнее). Прокурор стал мнение подавать—этот посердитее говорит. Ушли, потом опять пришли: в тюрьму, говорят; однако сроку сбавили. Другого подавай. Отлично.

Удивительно это хорошая вещь новое судопроизводство. Главное дело хорошо, что скоро. Год, два человек сидит, пока идет следствие и составляется обвинительный акт, а потом вдруг суд, и в один день все кончено. Обвинили: пошел опять в тюрьму—теперь уже это будет наказание, а что прежде отсидел, то не было наказание, а только мера для пресечения обвиняемому способов уклоняться от суда и следствия. Оправдали—ты свободен, живи где хочешь, разумеется, если начальство позволит. Отлично.

III

Сентябрь. Бабье лето наступило. Лес расцветился пестрыми красками, лист на деревьях сделался жесток и шумит по-осеннему, но еще не тронулся—морозов не было. Небо серо, моросит

осенний мелкий дождичек, солнышко если и выглянет, то сквозь туман, и светит, и греет плохо. Мокро; но это славу богу, потому что «коли бабье лето ненастно—осень сухая». Со дня на день ждем морозов; мы в деревне всегда чего-нибудь ждем: весною ждем первого теплого дождика, осенью—первого мороза, первого снега; хоть мороз нам вовсе не нужен, но нельзя же осенью без мороза, как-то неспокойно, что нет мороза; все думается, не было бы от этого худа. Чересчур что-то хорошо нынче: весна стала с первых чисел апреля, осень еще не началась в сентябре, пять месяцев не было морозов. К добру ли это?—ворчит «старуха»,—нет-нет морозов, а потом как хватит! Все божья воля,—прибавляет она, спохватившись, что не следует роптать... все божья воля: бог не без милости,—он милосердный, лучше нас знает, что к чему.

Но вот и бабье лето кончилось. Прошли «Федоры—замочи хвосты». Уже и по календарю наступила осень, а морозов настоящих все нет как нет,—скучно даже. Наконец на воздвижение ударил настоящий мороз; ночью сильно прихватило. Проснулся поутру—светло, ясно, весело. Смотрю в окно—все бело, подсолнечники уныло опустили головы, лист на настурциях, бобах, ипомеях почернел—только горошки и лупины еще стоят. После мороза лес пошел быстро оголяться: тронулась липа, осина; еще мороз—пошла и береза. Лист так и летит; с каждым днем в рощах все делается светлее и светлее; опавший лист шумит под ногами; летние птицы отлетели, зимние сбились в стаи, заяц начал белеть; около дома появились первые зимние гостьи—синички.

Удивительный нынче год! В конце сентября опять вернулось лето. Вот уже несколько недель стоит великолепная погода: небо ясно—ни облачка, солнце печет как в покос, только по вечерам чувствуется, что дело идет не на лето, а на зиму. Перед казанской прихватило было, но потом опять отпустило, и скот еще после родительской ходит в поле.

Как попривыкнешь, хорошо в деревне и осенью—вольно, главное.

С полей давно уже убрались. Лошадям приволье—бродят неспутанные, где хотят. Народ весел—хлеб родился хорошо; тяжелые полевые работы окончены. Конечно, мужик и теперь не без работы; но день мал, а ночь длинна—не так утомляется на работе днем и есть когда отдохнуть ночью; хлеб чистый, вольный. С огородов и овинов несутся звуки веселых осенних свадебных песен; бабы уже решили, кто на ком должен жениться, и в песнях, по своему усмотрению, сочетают имена парней и девок, которым пора жениться нынешней осенью.

В комнатах сейчас видно, что осень,—господствует тот особенный запах, который вы ощущаете осенью, входя на постоя-

лый двор или в чистую избу зажиточного мужика, попа, мещанина,—запах лука, гороха, укропа и т. п. В одном углу навален лук, в другом, на рядинах, дозревают бобы, семена настурций. В столовой весь пол завален кукурузой, подсолнечниками—все это у нас нынче выспело. На окнах, на столах, на полках разложены цветочные и огородные семена, образчики сена, льна, хлебов. Стены увешаны пучками укропа, тмина, петрушки.

Идет уборка огородного. Авдотья совсем про меня забыла; она до такой степени занята «огородным» и льном,—на обязанности Авдотьи лежит брать «спытки» льну со стлища и определять «лежился ли лен»,—что готова оставить меня без обеда. Забежит поутру.

— Я вам, А. Н., сегодня щи с бараниной сделаю.

— А еще что?

— Баранины зажарю.

— Да ты бы, Авдотья, хоть утку с рыжиками сделала, а то все баранина да баранина.

— Как прикажете,—начинает сердиться Авдотья,—вы всегда не во-время загадаете: сегодня бабы пришли капусту рубить, а тут утку... Воля ваша, как прикажете, только насчет огородного не спрашивайте. Извольте, утку сделаю, а уж капусту, значит, оставим. Понапрасну только пироги пекли.

— Ну, хорошо, хорошо, жарь баранину, да только не забудь чесночком нашпиговать.

— Не забуду,—весело отвечает Авдотья и торопливо убегает в застольную, откуда через минуту слышится ее звонкий голос:—Вы, бабочки, идите капусту возить, а я сейчас, только спыток сомну.

Через каких-нибудь полчаса Авдотья уже прибегает ко мне с двумя горстями льну.

— Какой это лен?

— Трощенков. Вчера спыток взяла; по-моему, лежился; особенно, который побуйнейший. Мелкий-то еще не совсем, а буйный хорошо лежился—сами извольте посмотреть.

— Что ж, подымать будем.

— Воля ваша, а по-моему, пора подымать—еще в кладке что-нибудь дойдет—послабеет.

Авдотья бежит на огород, откуда опять слышится ее голос:

— Вы, бабочки, как свезете капусту, позавтракайте, да и начинайте рубить, а я сейчас, только барину кушанье сготовлю.

Авдотья готовит кушанье, но мысли ее далеко—в избе, где рубят капусту. Как только кушанье готово, она чуть не в одиннадцать часов утра подает обедать, и не дождавшись, пока я кончу обед, предоставив все убрать Савельичу, бежит в застольную угощать баб водкой и пирогами, потому что

бабы пришли убирать огородное «из чести». До обеда было тихо, но, выпив водки и пообедав, бабы, работая, «кричат» песни. Долго после солнечного заката, до поздней ночи, из избы несется мерный стук сечек и слышатся звонкие песни.

Зеленая рутушка, желтый цвет,
Что тебя, Сидорка, долго нет,
Давно тебя Анисья к себе ждет...

поют бабы. Бабы решили, что Сидор, молодой парень из соседней деревни, служащий у меня в качестве кучера, огородника, мясника—он режет телят и баранов—и вообще по особым поручениям, непременно должен в нынешнем году жениться, потому что, за выходом замуж сидоровой сестры, в его двор нужна работница. Бабы решили, что Сидор должен жениться на молодой девушке из той же деревни, Анисье, которой в нынешнем году тоже следует выходить замуж. Сидор, слушая песни, ничего, только ухмыляется, но одна из моих работниц, солдатка, которая находится с Сидором в интимных отношениях, не может скрыть своей досады. Бабы это замечают и с особенным наслаждением «точат» солдатку. Прокричав «рутушку» бабы заводят:

Переманочка уточка
Переманила селезня
На свое озеро плавати,
Но не я ж-то его манила,
Сам ко мне селезень прилетел,
На меня, утицу, глядючи,
На мои тихие наплывы,
На мои серые перушки,
На сизые крылышки.
Перепросочка Анисья
Перепросила Сидора
На свою улицу гуляти.
Нет, не я его просила,
Сам молодец ко мне пришел,
На меня девицу глядючи и т. д.

Солдатка из себя выходит. Сказать бабам ничего нельзя, придраться не к чему, а бабы, понимая это, так и пробирают, так и пробирают: Анисья-то и молода, Анисья-то и хороша, Анисья-то Сидору под пару, толкуют бабы и опять заводят песню. В каких-нибудь две недели капустенских вечеров солдатка, женщина тихая и добрая, озлобилась до такой степени, что и не подходи к ней: взбесилась, как говорит Авдотья, похудела, почернела; со всеми ссорится, бранится, придирается к пустякам, а не на ком сорвать злобу, так мучит свою грудную дочку—плод преступной любви. Совсем одурела баба, да оно, впрочем, и понятно. Дошло до того, что солдатка пришла наконец ко мне просить расчета...

— Пожалуйте мне расчет, А. Н. Всем я вами довольна, а жить больше не могу. Обижают меня все.

— Кто ж тебя обижает?

— Все обижают, «старуха» обижает,—все не так, говорит, делаю; скотница обижает; все обижают.

— Изволь.

Солдатка в слезы—и плачет, и злится. Жалко мне ее стало: уж, должно быть, хорошо ее бабы пробрали, если она решилась уйти и расстаться с Сидором.

Призываю Авдотью.

— Что это, спрашиваю, с солдаткой?

— Бог ее знает. Взбесилась. И сердишься на нее, и жалко. Просто с ума сошла. Вчера дочку в хлеве бросила посреди коров. Пропадай она, говорит,—мне все равно. Еще чего не сделала бы.

— Да с чего это с ней стало?

— Совсем одурела, от дела отбилась, злится все.

— Это все ваши песни.

— Ну, конечно. Да ведь нельзя же, А. Н., рот другому зажать, а и Сидору не оставаться же холостым.

— Да какое же вам, бабам, до этого дело?

— А вот — хотят, поют; что же она бабам поделает? так вот ее и испугались! Она себе злись! — начинает сердиться Авдотья.

Кое-как успокоил солдатку, обещал дать через неделю расчет; потом дело уладилось, кончилась уборка капусты, бабы перестали к нам собираться, и солдатка успокоилась. Теперь весела, добра и расчета не спрашивает.

Во время уборки огорода Авдотья совсем меня вытеснила, точно не я и хозяин; дошло до того, что она уже и в дом переехала с своей капустой. Просыпаюсь раз поутру, слышу какой-то шум за стеной, таскают что-то, передвигают.

— Что это?—спрашиваю Авдотью.

— А капусту будем в кухне рубить.

— Какую капусту?

— Белую; будем шинковать и рубить белую капусту для вас. В застольной грязно, а для вас нужно почище сделать— я вот и надумалась в кухне рубить.

— А я-то куда денусь?

— В поле пойдете теперь, а вечером что же вам все одним сидеть. Весело будет: бабы песни играть будут,—я самых лучших игриц позвола: «Селезня» сыграем.

— А споете «Чтобы рожь была колосиста, чтобы моя жена стоючи жала, спины не ломала»?—смеюсь я.

— Сыграем и эту.—Авдотья на все согласна, лишь бы я не запретил шинковать капусту в доме: ей ужасно хочется,

чтобы капуста у нас вышла хорошая, не хуже, чем у соседних помещиц.

Я, разумеется, разрешил рубить капусту в доме. Авдотья заняла все комнаты и готова была даже в мой кабинет поставить какую-нибудь кадку, но кабинет я отстоял. Вечером было весело. В чистых двух комнатах Авдотья засадила девочек лущить бобы и перебирать лук; в кухне, на авдотьиной половине, шинковали и рубили капусту. Бабы и девочки пели песни и, наконец, покончивши с капустой, плясать пустились. Всем распоряжалась Авдотья, и даже ее муж, староста Иван, ни во что не вмешивался, потому что капуста—бабье дело. Все вышло очень хорошо: нарубили и нашинковали две огромные кадки, которые и поставили в кухне. На другой день я уехал в гости и возвратился через несколько дней. Вхожу в комнаты—вонь страшнейшая, продохнуть нельзя.

— Что это у тебя, Автодья, так воняет в комнатах?

— Помилуй господи!

— Ведь войти в дом нельзя.

— Не знаю. Ничего такого нет, разве капустой пахнет, капуста закисает, бруда идет. А то ничего нет.

Действительно, это капуста закисала.

Все «огородное» бабы из двух соседних деревень убирали у меня «из чести»; только картофель убирали «за потравы».

Работа «из чести», толокой, производится даром, бесплатно; но, разумеется, должно быть угощение, и, конечно, прежде всего водка. Загадав рубить капусту, чистить бураки и пр., Авдотья приглашает, «просит» баб притти на «помочи». Отказа никогда не бывает: из каждого двора приходит по одной, по две бабы, с раннего утра. Берут водки, пекут пироги, заготовляют обед получше, и если есть из чего, то непременно делают студень—это первое угощение. «Толочане» всегда работают превосходно, особенно бабы,—так, как никогда за поденную плату работать не станут. Каждый старается сделать как можно лучше, отличиться, так сказать. Работа сопровождается смехом, шутками, весельем, песнями. Работают как бы шутя, но, повторяю, превосходно, точно у себя дома. Это даже не называется работать а «помогать». Баба из зажиточного двора, особенно теперь, осенью, за деньги работать на поденщину не пойдет, а «из чести», «на помощь», «в толоку», придет и будет работать отлично, вполне добросовестно, по-хозяйски, еще лучше, чем баба из бедного двора, потому что в зажиточном дворе, у хорошего хозяина, и бабы в порядке, умеют все сделать, да и силы больше имеют, потому что живут на хорошем харче. Нельзя даже сказать, чтобы именно водка привлекала, потому что приходят и такие бабы, которые водки не пьют; случается даже, что приходят без зову, узнав, что есть какая-нибудь работа. Конечно,

все это происходит оттого, что мужик и теперь всегда в зависимости от соседнего помещика; мужику и дровец нужно, и лужок нужен, и «уруга» (выгон) нужна, и деньжонок перехватить иногда, может быть, придется, и посоветоваться, может быть, о чем-нибудь нужно будет, потому что все мы под богом ходим—вдруг, крый господи, к суду какому-нибудь притянут—как же не оказать при случае уважение пану! И в деревне ведь то же самое: к богатому мужику все «из чести» пойдут на толоку, потому что нельзя же—то за тем, то за другим придется к нему обратиться. Я заметил, что, чем богаче деревня, чем зажиточнее и замысловатее крестьяне, тем более стараются они о хороших отношениях к помещику, ближайшему соседу. Зажиточный мужик всегда вежлив, почтителен, готов на всякие мелкие услуги—что ему значит прислать бабу на день, на два в такое время, когда полевые работы окончены? Конечно, он не возьмется работать за бесценок, но если цена подходящая, выгодная и он взял работу, то работает превосходно.

Когда я, два года тому назад, приехал в деревню, то первую же весну, разливом реки, у меня промыло плотину и так испортило дорогу, что я, как петербуржец, думал, что по ней и ездить нельзя. Конечно, я скоро убедился, что можно ездить по всякой дороге, потому что если нельзя проехать в телеге, то можно проехать на передке,—весною обыкновенно крестьяне ездят на тележном передке, на ось которого ставится небольшая корзинка,—а верхом или пройти пешком всегда можно; но тогда, когда я был еще внове, услыхав, что староста предлагает проезжему помещику, который желал перебраться на ту сторону реки, переехать на нашей лошади верхом, причем убеждал, что это совершенно безопасно, потому что лошадь умна, осторожна, привычна, знает дорогу и переплывет где глубоко,—я был крайне смущен и порешил, тотчас как спадет вода, поправить дорогу и заделать прорву в плотине. По моему расчету, для поправки плотины и дороги не пошло бы более двадцати кубов земли, и если взять землекопов, грабаров, как их здесь называют, то работа обошлась бы рублей тридцать; но землекопов вблизи не было, а мне, как петербуржцу, казалось, что нельзя оставлять дорогу в таком виде и необходимо исправить ее тотчас же, а потому я пригласил соседних крестьян и предложил им взять на себя эту работу. Крестьяне запросили за работу сто рублей. Я предлагал тридцать, предлагал пятьдесят, отказались наотрез: менее 100 рублей не пойдем, говорят. Ну думаю, прижимают. Знают, что негде взять землекопов, и потому жмут: я ведь тогда все воображал, что дорогу-то непременно нужно тотчас чинить и что крестьяне, зная это, потому и прижимают. Теперь, когда я пишу, эти строки, мне даже смешны мои тогдашние волнения, потому что, если теперь испортилась дорога, я уже хладнокровно говорю:

придет лето, даст бог хорошую погоду, дорога сама исправится а теперь чини, кто хочет. Да и кто же весной ездит? зачем в такую пору ездить? К мировому привлечь могут—привлекай,—что ж?—можно и к мировому, мировой тоже человек, понимает, что я против стихии божьей не властен. Мировой! а разве у него в имении дорога лучше моей? Известное дело, проселочная дорога—проехать можно. Кое-как поладим, в телеге проехать можно—живет. Да и зачем нам такая дорога, чтобы удобно было в каретах ездить, когда во всем околотке существуют кареты у двух-трех человек, да и то старые, до «Положения» построенные. Да и что значит «починить» проселочную дорогу? в какой именно вид ее привести? Чтобы в каретах на лежачих рессорах можно было ездить? Но если все проселочные дороги держать в таком порядке, то и пахать некому будет: всем придется постоянно сидеть на дорогах и их чинить. Но если некому будет пахать, не будет ни у кого и карет,—зачем же тогда дороги чинить? Хочешь в каретах ездить—чини сам, а мы на колесах—есть такой экипаж, который называется «Колеса», потому что в нем, кроме колес, ничего нет,—везде проедем. Разумеется, когда начальство едет—губернатор, архиерей, исправник,—тогда, понятно, следует уважение оказать, дорогу починить, тогда не то, что худую, а и хорошую дорогу починим! Повторяю, теперь я привык ко всему этому; знаю, что осенью и весной ездить не следует, да и летом, отправляясь в дорогу, нужно перекреститься,—но тогда, внове, я ужасно волновался. Нужно чинить дорогу, а за починку требуют несообразную цену—сто рублей. Что тут делать? крестьяне так и уперлись на ста рублях.

На другой день приходит ко мне один крестьянин, с которым первым я сошелся по приезде в деревню. Крестьянин этот в крепостное время был взят из деревни в дворню и служил при мне в «мальчиках» в доме, где я воспитывался до пятнадцати лет. В малолетстве мы были друзьями и когда-то вместе играли, бегали, дрались. Потом меня отвезли в Петербург, а Степка попал в поваренки, был поваром, служил при одном из молодых господ, с которым, как он выражался, отломал два похода: венгерский и крымский. После крымской войны Степан получил вольную, служил долго в Петербурге при одной из гимназий, наконец, заболел, пролежал восемь месяцев в больнице и, поправившись, по совету доктора, отправился в деревню,—двор его зажиточный,—в несколько лет сделался совершенным крестьянином, научился пахать, косить, рубить. Человек он был—нынешней зимой он умер—очень умный, добросовестный работник, отличный хозяин, понаметался около людей, все хорошо понимал и пользовался громадным уважением в деревне. Когда я приехал в деревню, Степан явился ко мне поздравить с приездом, я ему очень обрадовался, стали мы припоминать старое время,

как вместе лазили на голубятню, вместе воровали вишни и дразнили старого садовника Осипа. Я, конечно, угостил Степана и водочкой, и чайком. Потом Степан иногда наведывался ко мне по праздникам вечерком покалякать: пили чай, болтали о Петербурге, о старом и новом времени, о хозяйстве. Степан много мне разъяснил из деревенских отношений, много дал хороших советов. «Теперь еще лучше можно хозяйничать, чем прежде, когда были крепостные,—говаривал Степан:—теперь все стало дороже, особенно как дорогу провели; вы не опасайтесь, что будет недостаток в рабочих, не бойтесь, что земля запустеет,—все обработают; делайте так, чтобы и вам было выгодно, и мужику было выгодно, тогда у вас все пойдет хорошо.

— Да как же это сделать?

— Хозяином нужно быть для этого. Коли сделаетесь хозяином, так и будет все хорошо, а если хозяином не можете сделаться, так не стоит и в деревне жить. По-деревенски только все делайте, а не по-петербургски. Здесь иначе нельзя, сами увидите.

После разговора с крестьянами насчет поправки плотины и дороги, на другой день Степан пришел ко мне и принес зайца.

— Я вот зайца убил, А. Н., вам принес—русачок.

— Спасибо, вот и отлично, сам его и зажаришь, вместе и закусим.

Степан зажарил зайца, выпили, сели закусить и, разумеется, разговорились о прорыве плотины. Я жаловался, что крестьяне прижимают и требуют сто рублей за такую работу, которая стоит много тридцать рублей.

— Не так вы сделали, А. Н.,—заговорил Степан.—Вы все по-петербургски хотите на деньги делать; здесь так нельзя.

— Да как же иначе?

— Зачем вам нанимать? Просто позовите на толоку; из чести к вам все приедут, и плотину, и дорогу поправят. Разумеется, по стаканчику водки поднесете.

— Да ведь проще, кажется, за деньги работу сделать? Чище расчет.

— То-то, оно проще по-немецки, а по-нашему выходит не проще. По-соседски, нам не следует с вас денег брать, а «из чести», все приедут,—поверьте моему слову.

— Хорошо, положим, я толоку сделаю... нужно угощение хорошее, а ты сам знаешь,—у меня никакого заведения нет, столов даже нет.

— Ничего этого не нужно. Все знают, что у вас еще нет заведения, и потому приедут позавтракавши дома; вы им поднесете по стаканчику водки,—самим вам нужно, как хозяину, на работу притти. Тут дело не в водке—«из чести» приедут; водки для того только нужно, чтобы веселее было работать.

— Мне кажется, гораздо проще за деньги делать. Теперь такое время, что работ полевых нет, все равно на печи пролежат. Цену ведь я даю хорошую?

— Конечно, цена хороша, да мужик-то «из чести» скорее сделает. Да позвольте, вот я сам: за деньги совсем не поеду на такую работу, а «из чести», конечно, приеду, да и много таких. «Из чести» все богачи приедут; что нам значит по человеку, да по лошади с двора прислать? Время теперь свободное,—все равно гуляем.

— Постой, но ведь хозяйственные же работы полевые все на деньги делаются?

— Хозяйственные, то другое дело. Там иначе нельзя.

— Не понимаю, Степан.

— Да как же. У вас плотину промыло, дорогу попортило— это, значит, от бога. Как же тут не помочь по-соседски? Да вдруг у кого—помилуй господи —овин сгорит, разве вы не поможете леском? У вас плотину прорвало—вы сейчас на деньги нанимаете, значит, по-соседски жить не желаете, значит, все по-немецки на деньги итти будет. Сегодня вам нужно плотину чинить— вы деньги платите; завтра нам что-нибудь понадобится мы вам деньги плати. Лучше же по-соседски жить—мы вам поможем, и вы нас обижать не будете. Нам без вас тоже ведь нельзя: и дровец нужно, и лужок нужен, и скотину выгнать некуда. И нам, и вам лучше жить по-соседски, по-божески.

— Ну, хорошо.

— Одно только неладно сделали, что они, дураки, деньги с вас выпросили; им бы прямо сказать: помилуйте, А. Н., что тут за деньги делать, мы и так из чести приедем. Если бы вы в нашу деревню прислали, то мы так бы и сказали. Да вы вот попробуйте: скажите, что согласны дать сто рублей, посмотрите, как головы зачешут. Они с вас сто рублей возьмут, и вы не забудете, что они вас прижали; тогда уж, значит, не по-соседски жить будем. Вот вы в грибы запретите к вам ходить; конечно, вам с грибов пользы не будет, даром погниют, еще сторожа нужно держать, а мужику без гриба нельзя. Вы и веники запретите у вас в моложах брать, и мху на постройку не дадите, и в ягоды не пустите, и скот на своей земле, чуть перейдет, брать станете в хлев. Вы со всех сторон мужика нажать можете. Сто рублей своих, конечно, не вернете, да мужику-то от вас житья не будет, и пойдут у нас с вами ссоры да неприятности. Куда лучше по-соседски, по-божески жить: и мы вам поможем, и вы нас не обидите. Дураки они, что выпросили деньги,—наши бы никогда этого не сделали. Посылайте-ка завтра, А. Н., в нашу деревню звать на толоку.

Я послушался Степана и послал старосту звать две соседние деревни на толоку поправлять плотину и чинить дорогу. На

другой день явилось двадцать пять человек, все саженные молодцы пришли, потому что и богачи прислали своих ребят, с двадцатью пятью лошадьми, и в один день все сделали. С тех пор мы стали жить по-соседски, и вот уже скоро два года ни ссор, ни неприятностей никаких не было.

Я сказал выше, что картофель у меня убирали «за потравы». Вопрос о потравах считается одним из важных в хозяйстве, и в прошедшем году предложен для разработки петербургским собранием сельских хозяев. «Второе распространенное в России зло (первое-то зло—дороговизна рабочих рук),—говорит собрание,—это потрава как лугов, так и полей, особенно где много мелких землевладельцев. Штрафы ведут только к неприятным столкновениям, а большею частью они и невозможны, так как крестьяне не всегда в состоянии бывают платить за потравы. Не могут ли быть,—спрашивает собрание,—указаны меры более прочные и обоюдовыгодные для соседей?». Я, конечно, не могу взяться за разработку предложенного собранием вопроса, ибо все, что я могу сказать, будет относиться лишь к одной местности, где сижу. Без сомнения, кто-нибудь из специалистов, чиновников департамента сельской промышленности, куда стекаются хозяйственные сведения со всех концов России, лучше разработает этот вопрос и представит собранию обстоятельный доклад, но и мне хотелось бы внести свою лепту, рассказать, как я устроился с потравами.

Начну с того, что, занимаясь хозяйством как делом, в которое влагаю душу, которым живу (да и не в материальном только отношении), я не могу легко относиться к потравам. Мои цветы, мои овощи, мой лен, мой клевер, мой хлеб дороги мне до такой степени, что, если бы мне предложили за мою капусту вдвое против того, что она стоит, лишь бы я позволил свиньям свободно рыться в моем огороде, я не согласился бы на такую сделку. Если бы мое имение находилось в такой местности, где бывают маневры, и мне бы ежегодно вытаптывали поля, то хотя бы за вытоптанное платили втрое, я все-таки бросил бы хозяйство. Все это я говорю для того, чтобы не подумали, что я легко отношусь к потравам. Повторяю, потравы я так близко принимаю к сердцу, разумеется, когда потравой нанесен существенный вред, что серьезно огорчаюсь, серьезно страдаю, если мои же куры заберутся в мой полисадник и разроют клумбы, на которых я посадил цветы. В самом деле, представьте себе, что вы задумали что-нибудь новое, ну хоть, например, удобрили лужок костями, хлопотали, заботились, и вдруг, в одно прекрасное утро, ваш лужок вытравлен. Крестьяне к потравам тоже относятся чрезвычайно строго. Известно, что крестьяне в вопросе о собственности самые крайние собственники, и ни один крестьянин не поступится ни одной своей копейкой, ни одним клочком сена. Крестья-

нин неумолим, если у него вытравят хлеб; он будет преследовать за потраву до последней степени, возьмет у бедняка последнюю рубашку, в шею наколотит, если нечего взять, но потраву не простит. Точно так же крестьянин признает, что травить чужой хлеб нельзя, что платить за потраву следует, и если потрава *действительно* сделана, то крестьянин заплатит и в претензии не будет, если вы возьмете штраф по-божески. Конечно, крестьянин не питает безусловного, во имя принципа, уважения к чужой собственности, и *если можно*, то пустит лошадь на чужой луг или поле, точно так же как вырубит чужой лес, если можно, увезет чужое сено, если можно,—все равно, помещичье или крестьянское,—точно так же,как и на чужой работе, если можно, не будет ничего делать, будет стараться свалить всю работу на товарища: поэтому крестьяне избегают, по возможности, общих огульных работ, и если вы наймете, например, четырех человек рыть канаву издельно, с платой посаженно, то они не станут рыть канаву вместе, но разделят на 4 участка, и каждый будет рыть свой участок отдельно. *Если можно*, то крестьянин будет травить помещичье поле—это без сомнения. Попавшись в потраве, крестьянин, хотя внутренно и признает, что за потравленное следует уплатить, но, разумеется, придет к помещику просить, чтобы тот простил потраву, будет говорить, что лошадь нечаянно заскочила и т. п., в надежде, что барин, по простоте, то-есть по глупости, как не хозяин, как человек, своим добром не дорожащий—известно, барин!—посердится-посердится, да и простит.

Конечно, если барин прост, не хозяин, и за потравы не будет взыскивать, то крестьяне вытравят луга и поля, и лошадей в сад будут пускать. Почему же и не кормить лошадей на господском поле, если за это не взыскивается? Почему же не пускать лошадей зря, без присмотра, если это можно? Зачем же крестьянин станет заботиться о чужом добре, когда сам хозяин не заботится.

Я никак не могу согласиться с петербургским собранием, что «штрафы ведут только к неприятным столкновениям». Никаких неприятных столкновений не будет, если хозяин требует вознаграждения за свое добро, если берет штраф соразмерно с действительной потравой, подобно тому как берет мужик с другого мужика, одна деревня с другой деревни (я до сих пор еще не видал случая, чтобы мужик не взял с другого мужика за потраву или одна деревня не взяла с другой,—и никаких неприятных столкновений между двумя мужиками или двумя деревнями при этом не бывает), если нет придирок, каприза, вымогательства, желания посредством штрафов заставить крестьян отбывать какую-нибудь работу на невыгодных для них условиях, так называемого стремления приучить крестьян к исполнению и ува-

жению закона и т. п. Причиною неприятных столкновений обыкновенно бывают каприз, прижимки, ссора.

— Не хочу, чтобы по моей земле ваши лошади ходили. Не сметь пускать лошадей на мой пар!

— А! Вы не хотите у меня работать, так я вас прижму. Носу вам показать некуда будет. Пять сторожей найму...

Начинается война, и так как мужик не любит беспокойства и в особенности судов, то обыкновенно покоряется; но я думаю, что если бы мужик уперся, то и пану пришлось бы уступить, потому что насколько мужику нужен выгон и пр., настолько же пану нужны руки.

Если вникнуть в положение крестьян, узнать деревенский быт, отбросить понятия, заимствованные из немецких книг о хозяйстве, то дело и насчет потравы разрешится довольно просто. Разумеется, когда крестьяне разбогатеют, будут сеять клевер, будут огораживать поля живыми изгородями, кормить летом скот на стойлах, тогда и потрав не будет, но теперь нужно делать так, чтобы выходило сообразно с местными условиями. Крестьянский скот всегда пасется с пастухом; конечно, пастух обыкновенно плохой, но все-таки при пастухе—если он не травит нарочно—серьезной потравы быть не может. Только в жаркое время, когда скот *зикует*, может случиться, что стадо бросится врассыпную и понесется куда глаза глядят, отыскивая или воду, или чащу, где можно было бы укрыться от зноя и оводов,—тут, конечно, пастух иногда не может удержать скот, но такие случаи вообще редки (в два года у меня только один раз был подобный случай), а если и случится что-нибудь подобное, то всегда выходит много шуму из ничего: скот пробежит по полю или по лугу и бросится в воду—потрава ничтожная. Случается, что по оплошности пастуха одна-другая корова отобьется от стада и зайдет на луг или в хлеб; тут, конечно, штраф. Крестьяне, разумеется, взыщут этот штраф с своего пастуха, точно так же как они взыскивают штраф с своего пастуха,если он потравит и их поля. Если потрава сделана скотом, который ходит с пастухом, то штрафа нельзя не взять уже потому, что деревенский пастух, видя, что барин не берет за потраву, подумает, что он прост, то-есть дурак, а дурака следует учить, и будет просто-напросто кормить скот на господском лугу (точно так же и мой пастух запустил бы скот на крестьянский луг, если бы он не был уверен, что крестьяне не простят и возьмут штраф, но так как мой пастух знает, что крестьяне не пропустят потраву даром, то он не только не пустит скот кормиться на крестьянский луг,—это ему даже и в голову притти не может,—но будет смотреть во все глаза, как бы случайно какая-нибудь скотина не заскочила). Но как ни строги крестьяне к потравам, однако, если мой скот, в зной *зикуя*, забежит на их луг, то они штрафа не

возьмут, разумеется, если между нами нет войны. Этим определяются все отношения. Потрава скотом, овцами, даже свиньями, если только усадьба не примыкает к деревне непосредственно, случается редко, когда пастух знает, что смотрят строго и потраву не простят. Другое дело—лошади. Лошади у крестьян не пасутся со скотом. В покормку крестьянин, спутав, пускает лошадей кормиться, а сам ложится отдыхать; присмотр за лошадьми при этом поручается ребятишкам, и каждый двор сам смотрит за своими лошадьми и, разумеется, *только за своими*, так что, если бы мальчик с панасова двора, стерегущий своих лошадей, увидал, что лошади с семенова двора зашли в чужой хлеб, он их не выгонит: « сам смотри за своими лошадьми, нам какое дело». Ночью лошадей гоняют в ночное, где опять-таки каждый двор смотрит за своими лошадьми. С ночного лошади чаще всего и попадаются в потраве; с вечера ребятишки, которым обыкновенно поручается надзор за лошадьми в ночном, хорошо смотрят за лошадьми, да и лошади, пока не наедятся, не отходят далеко, но потом ребятишки, набаловавшись, заснут на заре, а лошади разбредутся. Поэтому чаще всего попадаются лошади; но если присмотр хороший, если староста или сторож ежедневно на рассвете объезжает поля и луга, если хозяин сам часто бывает в поле и сам увидит, что вытравлено, а увидав, не спустит старосте, если взятых лошадей не отдают даром, то нельзя сказать, чтобы потравы случались часто. Лошади зажиточных крестьян, строгих хозяев, имеющих много и хороших лошадей, редко попадаются в потраве, потому что хозяин или сам ездит в ночное, или посылает «старика»,—в богатом дворе почти всегда есть какой-нибудь старик, дед или дядя хозяина, потому что зажиточные мужики большею частью доживают до глубокой старости,—или работника, или если и ребят, то ребята у строгого хозяина не набалованы и лошадей не упустят. Мужику не столько важен штраф, сколько потеря времени, когда лошадь окажется взятою: ищи ее, иди на панский двор, дожидайся, пока отдадут. Да кроме того и совестно: хорош хозяин, коли за лошадьми усмотреть не может. Ведь если лошадь могла уйти на чужое поле, то ее точно так же могли и украсть. Лошади зажиточных крестьян, повторяю, попадаются очень редко; гораздо чаще попадаются лошади бедняков, плохих хозяев, недоумков, или потому, что присмотреть некому, или потому, что ребята набалованы, и хозяин не умеет держать их в строгости.

Так как я знаю пословицы: «на то и щука в море, чтоб карась не дремал», «не клади плохо, не вводи вора в соблазн», так как я знаю, что всякий считает обязанностью «учить дурака» так как я из опыта знаю, что если не брать штрафа, то вытравят и поля и луга,—будут пригонять лошадей кормиться на мой луг или на мой овес,—то я всегда строго взыскиваю за потравы. А как

денег у крестьян обыкновенно не бывает, да и я не желаю брать деньги, потому что в сущности штраф берется для страху, чтобы имели опаску и лошадей зря не пускали, то лошадь, взятую в потраве, на некошенном лугу или в хлебе, староста отдает крестьянину, когда тот принесет в заклад что-нибудь: полузипунник, кушак, шапку. Весною, как выпустят скот в поле, обыкновенно на первый раз попадается много лошадей; загонят несколько штук, возьмут заклады, крестьяне станут строже смотреть за своими лошадьми. Недели три, четыре крестьяне смотрят строго, потрав нет, потом опустятся; опять загонят несколько штук, возьмут заклады, станут опять строже смотреть,—и так все лето. Осенью, когда у крестьян менее работы, староста зовет тех, чьи у него лежат заклады, копать «за потраву» картофель или убирать огородное и, по исполнении работы, возвращает заклады. Интересно, что когда позовут попавшихся в потраве копать картофель, то приходят на день, на два—картофеля у меня немного—не только те, у которых попадались лошади в потраве, но и те, у которых не попадались. Нынче одна соседняя деревня, где большая часть крестьян зажиточны, без зову прислала по бабе со двора копать картофель, хотя из этой деревни в течение целого лета не попалось в потраве ни одной лошади. Заклад, очевидно, берется только «для страху»—не будешь строго смотреть за лошадьми, можно штраф деньгами по закону взять,—потому что если «позвать», то все соседи осенью и без того придут копать картофель.

У меня потравы, как видите, не составляют «зла», и если сосчитать все, что в действительности вытравлено в течение двух лет, то едва ли я имел от потрав убытку более чем на пять рублей, которые, конечно, вознаградились с избытком сделанными «за потравы» и «из чести» разными мелкими работами. Для пояснения нужно, однако, прибавить, что соседним крестьянам, которые у меня работают, я дозволяю пасти скот и лошадей, за исключением свиней, по моему пару, по скошенным лугам и убранным полям. Кроме того, места особенно для меня дорогие—сад, огород, двор, телячий выгон,—я огородил крепкими изгородями и плетнями; наконец, посеяв нынче клевер,—чего крестьяне очень боялись,—я нанял особенного сторожа смотреть за клевером после уборки ржи, но не для того, чтобы сторож, который и жил на поле в шалаше, ловил крестьянских лошадей, а для того, чтобы он выгонял их, когда зайдут на клевер, потому что ежели крестьянам предоставлено пускать лошадей в мое ржище, то как же тут крестьянин усмотрит за тем, чтобы лошадь не взошла на те десятины, которые засеяны клевером? Лошади сначала бросились было на клеверные десятины, но сторож скоро их отучил, и они заходили на клевер только во время его отсутствия, когда сторож ходил обедать.

Мне кажется, что потравы—только воображаемое «зло», и взгляд петербургского собрания хозяев на этот предмет не совсем верен. Дело гораздо проще, если на него посмотреть вблизи. Если сам хозяин знает каждую десятину в своем поле, часто осматривает поля, умеет оценить, как велик вред, причиненный потравой, относится к потравам хладнокровно, не капризничает , не нажимает крестьян, если сторож строг, то никаких неприятных столкновений не будет. Первое зло—дороговизна рабочих; второе зло—потравы; третье зло—несоблюдение рабочих договоров,—так говорят и пишут. На деле же выходит не то: рабочие дешевы, так дешевы, что рабочий никогда не зарабатывает настолько, чтобы иметь кусок мяса за обедом, постель на ночь, сапоги и хотя сколько-нибудь досуга. Потравы?—Но с потравами, как сказано выше, *хозяин* всегда может уладить дело. Несоблюдение договоров рабочими?—Но отчего же зажиточные крестьяне, нанимая работников, никаких договоров не делают и ничего от того не происходит? Конечно, к пану мужик относится не так, как к другому мужику; конечно, у мужика существует известного рода затаенное чувство к пану.

Мужику не под силу платить повинности, а кто их наложил? Паны, говорит мужик. Продают за недоимки имущество—кто? Опять паны. Мировой присудил мужика за покражу двух возов сена к трем с половиною месяцам тюремного заключения; мужик просит написать жалобу на съезд и никак не может понять, что нельзя жаловаться на то, что за 2 воза мировой присудил к 3 ½ месяцам тюрьмы.

— За два-то воза на три с половиною месяца?

— Да, закон такой есть.

— Помилуйте, где ж такой закон? Ну, сами посудите, по-божески ли это будет!

— Понимаешь ты, в законе написано.

— В каком это законе? Кто ж этот закон писал? Все это паны написали.

И так во всем. Все—и требование недоимок, и требование поправки дорог, и требование посылать детей в школу, рекрутчина, решения судов—все от панов. Мужик не знает «законов»; он уважает только какой-то божий закон. Например, если вы, поймав мужика с возом украденного сена, отберете сено и наколотите ему в шею,—не воруй,—то он ничего; если кулак, скупающий пеньку, найдет в связке подмоченную горсть и тут же вздует мужика,—не обманывай,—ничего; это все будет по-божески. А вот тот закон, что за воз сена на 3 ½ месяца в тюрьму,—то паны написали мужику на подпор.

Живя в деревне, хозяйничая, находясь в самых близких отношениях к мужику, вы постоянно чувствуете это затаенное чувство, и вот это-то и делает деревенскую жизнь тяжелою до

крайности... Согласитесь, что тяжело жить среди общества, все члены которого, если не к вам лично, то к вам, как к пану, относятся неприязненно. Но, впрочем, оставим это...

Нынешний год у нас урожай, какого давно не было; все уродилось отлично, даже грибы и орехи. Бог, по милосердию своему, не дал Касьяну взглянуть на нас, а известно, «Касьян грозный: на что ни взглянет—все вянет», за что ему, Касьяну немилостивому, бывает в четыре года один праздник, тогда как Николе, благому чудотворцу, два праздника в году. Но лето нынешнего года для хозяина, особенно горяченького, невыработанного, было ужасное. Поверите ли, я нынешним летом чуть с ума не сошел. Вот в чем дело. Взявшись два года тому назад за хозяйство, я скоро рассчитал, что хозяйничать по-старому, то-есть сеять рожь и овес, держать скот для навоза и кормить его тем,что достанется с половины покосов,—словом, вести хозяйство, как оно до сих пор ведется в нашей местности у большинства помещиков, хозяйством не занимающихся и добывающих деньги службою государственной или земской,—не стоит. Простой расчет показал скоро, что нужно изменить систему хозяйства, ввести новые хлеба, улучшить скот. Я не буду здесь говорить о разных соображениях по этому предмету,—это завлекло бы нас слишком далеко,—скажу только, что я с первого же года хозяйства начал вводить посев льна. Крестьяне, разумеется, были против этого нововведения, говорили, что лен у нас не будет родиться, что я не найду охотников обрабатывать лен, что лен портит землю и пр. В прошедшем году я посеял две хозяйственных десятины; лен хотя и не был особенно хорош, но все-таки каждая десятина дала тридцать пять рублей чистого дохода, тогда как прежде эти десятины— лен сеется на облогах—давали не более как на 3 рубля сена. После льна посеяна рожь по небольшому удобрению—1000 пудов на хозяйственную десятину,—и зелень на этих десятинах лучшая в поле. В нынешнем году я уже сеял четыре хозяйственных десятины льну. Осенью прошедшего года я выбрал под лен четыре десятины облог, отчасти заросших березняком; с осени березняк вычистили, сожгли, золу разбросали по десятине и облоги подняли на зиму. Место было выбрано отличное, по старонавозью, земля превосходная, работа выполнена мастерски. За зиму облоги отлично промерзли и весною распушились превосходно. День для посева был отличный; посеяли и заделали как нельзя лучше. Мы сеяли лен 2,3 и 4 мая; вечером 4 мая, когда последний лен уже был заделан, прошел теплый проливной дождь, который хорошо смочил и прибил сильно распушенную землю; 5-го было пасмурно, 6-го шел дождь, 7-го начали показываться всходы, 8-го мая утром, осматривая цветы и овощи в огороде, я был поражен тем, что все молодые листья на ревене оказались сильно продыра-

вленными. Всматриваюсь—вижу на листьях сидят маленькие темнокоричневые блестящие прыгающие жучки—земляные блохи,—каких я прежде не видал, совершенно отличные от хорошо известных нам земляных блох с золотистыми полосками на спине, поедающих всходы репы и редиса. Осмотрев один огород, маленький подле дома,—белый, как называет староста, потому что в этом огороде я занимаюсь сам и развожу в нем разнообразные, господские, овощи,—я пошел в другой, серый огород, где у меня, между прочим, был засеян небольшой участок льну. Лен этот был посеян раньше полевого, хорошо взошел и уже поднялся на вершок от земли. Смотрю—на льне сидят те же земляные блохи, что и на ревене, и точат молодые листики. Это что еще, думаю, за напасть? и побежал в поле. Глянул на лен, и чуть в обморок не упал: представьте себе,—все поле покрыто неисчислимым количеством земляной блохи, которая напала на молодой всход льна; на каждом только что вышедшем из земли растеньице сидит несколько блох и точат молодые листики... Где место пониже, посырее, где лен уже поднялся,—там блохи меньше; где посуше, где лен и без того идет туго,—тут-то она, проклятая, и точит. На глазах лен пропадает. Ну, думаю, конец: в два-три дня все объест—вот тебе и лен, вот тебе и нововведение. Мы говорили, скажут, что по нашим местам льны не идут, что у нас и деды льнами не занимались. Тут, конечно, дело не в деньгах: потеря ста рублей, заплаченных за обработку четырех десятин, меня бы не разорила, но дело бы затянулось, а при введении чего-нибудь нового первая вещь—успех. Одно вышло хорошо, другое, третье вышло хорошо—и вот приобретается уважение, доверие к знанию. «Это—малый, голова»—скажут, «это хозяин», и на всякую новость будут уже смотреть с меньшим недоверием, а если в течение нескольких лет все будет итти успешно, то можно приобрести такое доверие, что всякую новость принимать будут.

Понятно, как я был поражен этой неожиданной незадачей.

Что делать? Досыта наглядевшись, как блохи едят лен, я побежал домой.

— Ну, Авдотья, пропал наш лен.

— Помилуй господи!

— Да. Уж я тебе говорю, что пропал. Где Иван?

Авдотья испугалась; она подумала, что ее муж, староста Иван, что-нибудь не подладил.

Отыскав Ивана, я, ни слова не говоря, повел его в поле ко льну.

— Видишь?—Что это такое?

Иван сначала не мог понять, о чем я его спрашиваю. Я показал ему на блоху.

— Вижу, теперь вижу, козявочки сидят.

— Да, козявочки, а видишь ли ты, что козявочки эти едят лен?

Иван усомнился; но, рассмотрев внимательнее, и он согласился, что действительно козявочки точат листики на льне.

— Это ничего.

— Как ничего? Да разве ты не видишь, что едят? ну, и съедят все. Пропадет наш лен.

— Крый господи! Зачем?

— Как зачем? Да так, что объедят все, и ничего не останется—вот тебе и лен. Ведь репу в прошедшем году всю съели.

— То репа,—репу всегда объедает, а на льне никогда этого не бывало; сколько льнов ни сеял, никогда не бывало.

— Мало ли что не бывало, а, может быть, и бывало, да вы не замечали.

— Разве что!

Иван, однако, на этот раз не убедился, что блоха действительно может съесть лен. «Так козявочки—мало ли их летом бывает».

В этот день я раз десять бегал смотреть лен—точат.

На другой день блох появилось еще более, а между тем наступила засуха. Ни дождинки; солнце жжет; каждый день дует сильный южный ветер, суховей. Земля высохла, потрескалась; лен и без того идет плохо, а блох все прибывает да прибывает. Который лен пораньше вышел из земли, тот ничего еще,—стоит, только листики подточены и росту нет; который позже начал выходить—не успеет показаться из земли—уже съеден. Даже крестьяне дивились. Блохи всюду появилось такое множество, что ею был усыпан не только лен, но всякая былинка в поле.

Я просто думал, что с ума сойду. Где бы я ни был, что бы ни делал,—всюду мне мерещились земляные блохи. Пью чай, задумаюсь, а перед глазами тучи земляных блох прыгают; бросаю недопитый стакан и бегу в поле—едят. Сон даже потерял: лягу, только забудусь,—перед глазами мириады земляных блох, которые скачут, кружатся: вот они растут, растут, вырастают величиною с слонов... Душно, жарко; измученный кошмаром, вскакиваю. Светает. Накидываю халат и бегу в поле. Роса еще не обсохла, с блохой как будто полегче, попряталась, сидит кучками на комочках земли; оживленный росой лен повеселел. Успокоенный, возвращаюсь домой и засыпаю. Проснувшись довольно поздно, зову Ивана.

— Ну, что?

Иван пожимает плечами. Сначала он считал это пустяками «так козявочки, мало ли их бывает»; но, видя, что блоха, напав на выходящие из земли первые листики (семядоли), отъедает их начисто, вследствие чего корешок засыхает, он убедился,

что блоха действительно портит всход, и тоже начал сомневаться. Но я вижу, он думает: это неспроста..

— Едят?

— Точат; с утра полегче было, должно, росы боится, а теперь опять навалилась! И откуда ее такая пропасть берется?

— Пропадает наш лен.

— Господня воля.

— Что же мы будем делать?

Иван молчит, переминается с ноги на ногу и, стараясь отклонить мои мысли от льна, заводит разговор о посеве овса, которому так благоприятствует погода. Иван, как человек бывалый, в старостах давно уже служащий, около господ понатершийся, всегда заботится о хорошем расположении духа барина. Первую зиму, когда я только что приехал, дела по хозяйству не было, и я целые дни сидел у себя в комнате, читал и писал письма, Иван всегда, бывало, подвернется вечером. «Вам должно быть скучно, А. Н.?»—Да, невесело. «Вы бы чайку попили».—Что ж, дай чаю.—Подаст Иван чаю, а сам тут же стоит. «К соседям бы съездили, познакомились,—барыни тоже есть,—а то все одни изволите сидеть».—Кто ж тут соседи?—Иван начинает пересчитывать соседей и в особенности налегает на соседок: «в А. барыня, в В. барыня, в Г. барыня—тут, почитай, все барыни; господ совсем нет: кои померли, кои на службе находятся». А то другой раз придет Иван. «Папиросы на исходе. А. Н.; я думаю бабенку позвать из деревни, пусть напробует: не мудреное дело, сделает? Дарочку думаю позвать—вот, что сегодня приходила, вы изволили видеть». Теперь Иван, думая отклонить мои мысли от льна, на другие стороны хозяйства налегает.

— Скот как отлично наедается! Новая корова, что недавно купили, должно, телится скоро. Вот если бы бог дал телку!

Я молчу.

— Отлично земля идет нынче к разделу. Редко такой сев бывает. Рожь так и прет. Если господь совершит все,—урожай будет отличный.

— Да что мне твоя рожь, если лен пропадет.

— Пшеница тоже отлично идет,—вы бы изволили сходить посмотреть.

— Я знаю, что пшеница хороша; недаром мужики так на пшеницу лезут. Отчего ей быть худой?

— Не всегда так бывает; иной раз и лядо хорошо, да не задается. Все воля господня.

Что мне рожь—я опять всю весну ни разу даже в ржаном поле не был; что мне овес—бегу смотреть лен. Едят: не успеют еще листики развернуться, как на них сидит уже целая куча блох и точат.

Что делать? Все книги перерыл, отыскивая способы уничтожения земляных блох. Способов предлагают немцы множество. «Для уничтожения ее—т. е. земляной блохи—посыпают всходы льна золою», читаю в одной книге. Зову Ивана.

— Ты, Иван, вот все не веришь, что блоха съест лен, а и в книге сказано, что всходы льна истребляет земляная блоха. Немцы вот заметили, а ты говоришь: никогда не бывало.

— Никогда не бывало, сколько льнов ни сеял.

— Да, вот ты не веришь!

— Отчего не верить, все бывает: вот у Б. барыни—сами изволите знать—нынешней весной сороки были напущены.

Сначала Иван не придавал блохам *никакого* значения, но потом, убедившись, что козявочки действительно подъедают листики, вследствие чего лен пропадает, он высказал, что это не настоящие какие-нибудь блохи, —никогда этого до сих пор не бывало,—что это не простые козявочки, а *напущенные* злыми людьми из зависти, подобно тому, как бывают напущенные сороки, крысы. Действительно, нынешней весной у одной моей соседки был такой случай—были *напущены* сороки. Ни с того, ни с сего, весною, когда скот и без того был плох, еле вставал, появилось множество сорок, которые стали летать в хлевы и расклевывать у коров спины: заберутся в хлев, усядутся у коров на спинах и клюют точно падаль—у всех коров спины изранили страшнейшим образом. Что ни делали, ничто не помогало (вот и заводи тут симентальский скот!); гоняли, стреляли, надоумил кто-то, за дедами посылали... наконец, помещица пригласила попа служить с большим требником. Потом, через несколько недель, встретив у одного богатого помещика на именинах священника, я ему рассказал о сороках.— Бывает это; все дело в том, *какие сороки*,—заметил священник глубокомысленно,—если напущенные—это нехорошо. Тоже недавно у нас был случай: у одного арендатора, поляка, появились в хлевах крысы; бегают по коровам, шерсть объедают, на спинах гнезда делают; возился-возился и, хотя католик, попов призывал для совершения на скотном дворе водосвятия, чего прежде не делалось.

— По-твоему, это значит напущенные блохи? У вас все напущенные,—рассердился я; телята дохнут—хлев не на месте стоит; корова заболела—сглазили.

— Поживите в деревне, сами изволите узнать, А. Н., все бывает. От злого человека не убережешься.

— Ну, да что тут толковать: вот и в книге сказано, что поедают. Я знаю только, что если мы ничего не будем делать, то пропадет наш лен.

— Да что же делать, А. Н.?

— Советуют посыпать золой. Ты как думаешь?

— Тэк-с.

«Для уничтожения ее посыпают всходы льна золой»,—медленно читаю я в книге.

Иван молчит.

— Что же ты молчишь?

— Как прикажете. Испытание сделать можно; бабы, может, еще не всю золу из печей повыгребли, сколько-нибудь найдется.

— Не всю повыгребли, не всю повыгребли! Ступай—ты!

Иван уходит. Действительно, откуда же взять золы, чтобы посыпать четыре десятины? Опять начинаю рыться в книгах: «в других местах распускают серный цвет с водою и поливают всходы. Равным образом большую пользу приносит в этом случае поливка всходов льна водой, в которой распущен гуано». Ну, гуано у нас достать нельзя; а не попробовать ли серный цвет? Зову Ивана.

— Вот что, Иван. Золы, конечно, теперь на четыре десятины не достанет, а вот тут в книге сказано, что хорошо поливать всходы льна серным цветом, распущенным в воде. Как ты думаешь?

Иван молчит.

— Можно послать в город купить серного цвету. Переделаем две бочки, так, чтобы удобно было поливать—ведь ты видал как поливают шоссе?

Иван молчит.

— Что же ты молчишь? Ведь ты видал, как шоссе поливают в Петербурге?

— Бочки можно приладить, досточку сзади сделаем.

— Ну, да, приладим; ведь это хорошо будет; ведь ты сам заметил, что она боится мокроты, а тут еще серный цвет.

— Много воды нужно, А. Н.

— Конечно, но ведь сам знаешь, без работы ничего не достается; жаль только, что в книге не сказано, сколько серного цвета на десятину нужно. Пуда по два, я думаю, довольно будет?

Иван молчит.

— Пошлем Сидора сегодня в город; завтра вечером он вернется—на саврасом пусть едет, тот лучше бежит,—а мы тем временем две бочки приладим.

—Как прикажете, можно Сидора послать.

— Только достанет ли он там серного цвету?

— Сколько ни на есть достанет; если в лавках нет, в аптеке можно достать. Я для собак в аптеке брал—на десять копеек порядочно в бумажку отсыпали.

Молчание. Я перелистываю книгу. Иван переминается.

— Серного цвету если не достанет, селитры можно взять: селитра в лавках всегда есть.

— Селитры? Какой селитры?

— Да что в солонину кладут; эта всегда в лавках бывает, потому что в солонину кладут: червяк не заводится,—червяк селитры боится. Тоже бура хороша, от прусаков помогает.

— Нет, не нужно; ступай.

Иван уходит. Я опять роюсь в книгах: ищу, нет ли чего в курсах огородничества. «К уничтожению этих насекомых способствуют частые вспрыскивания водой, посыпка известью или табаком; особенно действительным оказалось средство, рекомендованное Буше, а именно: вспрыскивание раствором полыни; другие хвалят вспрыскивание чесночной водой». Все не идет; где тут вспрыскивать водой—пока другую бочку привезем, первая и высохнет; извести нет, полыни нет, чесноку и для огурцов то не всегда достанешь. Табаком разве посыпать? Не идет, когда его натрешь,—да и рассыпать неудобно,—все глаза запорошит. Я начинаю беситься, проклинаю немцев, а еще больше русских составителей ученых руководств по сельскому хозяйству. «Распускают серный цвет в воде и поливают ею всходы»—скажите пожалуйста! А ведь наверно учеников заставляют все это заучивать и нули ставят, ученых степеней не дают, если они не знают средств для уничтожения вредных насекомых, этих бичей хозяйства...

Опять роюсь в книгах,—все еще старая привычка по книгам доходить,—перелистывая, даже в глазах от напряженного внимания темно стало; ну, вот кажется подходящее средство: «делают две рамы шириною в гряду и вышиною в 1′, натягивают на них прочную парусину, которую с обеих сторон намазывают очень липким веществом, например, дегтем или птичьим клеем. К передней части рамы приделывают ручки в 3′ длиною, а на задней втыкают мелкий хворост. Когда эти рамы проводят несколько раз по гряде, то множество этих прыгающих жучков прилипает к липкой поверхности парусины». Кажется, что будет хорошо; это предлагается для огородов, но, думаю, если сделать рамы побольше, обить крепким холстом, намазать дегтем и возить на колесах по полю, блохи будут подпрыгивать и прилипать к дегтю. Отлично, думаю; когда наберется много блох, рамы можно очистить, опять помазать дегтем и снова возить по полю. И блох, сколько наберется при очистке рам, не бросим—в компост употребим, ведь употребляют же немцы в компост майских жуков, которых просто обирают руками. Побежал в поле—лен покрыт блохой; ударил по земле палкой—блохи подпрыгивают. Отлично; заметил и на какую высоту они прыгают. Так, думаю, и рамы устроим.

Прибежав домой, зову Ивана и говорю ему о рамах.

Иван молчит.

— Ведь это, кажется, хорошо будет. Устроим рамы на колесах, понимаешь, намажем дегтем, и будем возить по полю.

Иван молчит.

— Как налипнут они, так и очистим скребком; только, пожалуйста, скажи ты Сидору—он будет возить рамы,—чтоб все, что очистил с рам, собирал в одно место, плетенку дай, и потом свез бы в ту кучу, куда носят... Ведь тут все азотистые вещества, а , по исследованиям вольноэкономического общества, первое дело—азотистые вещества. Компост потом для лугов употребим.

Иван молчит.

— Да что же ты молчишь? Ты скажи, как ты думаешь? Ведь не трудно же рамы устроить? Не трудно?

Иван молчит.

— Да что же ты молчишь? Ведь едят!

— Едят. На кузиной десятине, почитай, весь край объели. Так и точат.

— Ну?...

— Как прикажете, только, по-моему, А. Н., лучше бы всего за попами спосылать, богомолебствие совершить. Бог не без милости, даст дождика, и все будет хорошо; сами изволили заметить,—она божьей росы боится.

В несколько дней я совершенно измучился, от сна и еды отбился, похудел и даже заговариваться начал, в московский комитет сельскохозяйственной консультации писать хотел...

Что делать? Думал я, думал и, наконец, послав к чорту всех немцев, как настоящих, так и переводных, надумался.

— Ну, Иван, говорю, я надумался: если завтра не будет дождя, если блохи не убавятся, мы будем отсевать; выскородим опять хорошенько и отсеем,—еще не поздно.

Иван сначала воспротивился такому решению, но я его разбил на всех доводах, которые главным образом состояли в том, что может, бог даст, обойдется и так. Наконец, я ему предложил такой ультиматум: если не будет еще несколько дней дождя, то блоха съест лен, поэтому следует послать за семенами; если же ты, Иван, старый и опытный хозяин, думаешь, что отсевать не нужно, то будь по-твоему, только бери лен за себя—и барыши, и убытки твои. Если возьмешь лен за себя, то можешь делать, что хочешь: за попами посылать, за дедами, что хочешь.

Иван пошел в поле, в сотый раз осмотрел лен и вернулся с ответом:

— Нет, оставим так, не будем отсевать.

— Так, значит, ты берешь лен за себя? Хорошо—вот тебе еще до завтра день сроку: подумай, посмотри.

Иван в этот день несколько раз ходил на лен. Вечером, когда он пришел с докладом, я тотчас заметил, что и он начал сомневаться. Выслушав доклад о работах, я ни полслова обо льне. Иван сам заговорил.

— Да что же тут толковать: по-моему, лен должен пропасть, следует отсеять, и если льняных семян не достанем, то овсом отсеять; но если ты берешь лен за себя—завтра дай окончательный ответ—и будь по-твоему.

На другой день я не пошел смотреть лен. Иван это заметил.

— Что же вы, А. Н., на лен сегодня не ходили?—заговорил он.

— Да что же его смотреть. По-моему, нечего смотреть—отсевать нужно; но если ты за себя берешь—пусть будет по-твоему.

Однако, вижу, Иван трусит—Авдотья настроила. Молчу.

— Сегодня еще больше объела.

— Ну, так как же?

— Надумался и я: должно быть, отсевать придется.

— Ну, отсевать, так отсевать. Хорошо, собирайся и поезжай. Если льняного семени не достанем, овсом отсеем, или под озимь к будущему году пустим.

Пообедав, Иван поехал за 60 верст доставать семени. День был солнечный, знойный, но под вечер стало натягивать с запада, и к ночи набежала туча, которая разразилась таким проливным дождем, что щепки поплыли. На завтра задул северо-восточный ветер, стало холодно, целый день моросил дождик; блоха попряталась и лен стал оживать—откуда что берется. Когда Иван вернулся с семенами, то отсевать было уже не нужно и невозможно. Пошли дожди, блоха пропала, лен ожил, поправился, и урожай вышел хороший. Та десятина, которая была сильно подъедена, за которую мы очень боялись, дала, за вычетом семян, на 40 рублей льняного семени и на 85 рублей льну, всего на 125 рублей, а так как обработка стоит 25 руб., то с десятины получилось чистого дохода 100 рублей, то-есть втрое более, чем стоит самая земля. Интересно, что на одной из десятин, где блохи было гораздо менее,—блоха нападала на самые сильные всходы,—урожай вышел гораздо хуже. Конечно, все земля правит.

Лен дает громадный доход, и даже при плохом урожае—в прошедшем году я получил по 35 рублей чистого дохода с десятины—окупает землю; только совершенное отсутствие хозяев—все на службе, и это правильно, потому что, по моим расчетам, служба без всякого риску дает еще более дохода, чем лен—причиною, что земля пустует, зарастает березняком, вместо того чтобы призводить лен. Все земли, которые запущены после «Положения» и пустуют, могли бы быть теперь обращены под лен или пшеницу, и если бы это сделали, то народ в нашей местности

не голодал бы и не должен был бы отправляться на дальние заработки. Вы не поверите, как тяжело хозяину смотреть на такое положение: превосходные земли, которые могли бы производить лен и хмель, пустуют, зарастают кустами, березняком, а тут же рядом измученные люди болтают кое-как пустую землю, которая не дает им куска чистого хлеба. То же самое количество работы, то же число пудо-футов работы в одном случае дало бы на 100 рублей продуктов, а в другом дает только на 10 рублей. Не обидно ли, что работа прилагается так бесплодно? Мне постоянно говорят здешние хозяева, что они лен не сеют, потому что он истощает землю. Не знаю, откуда явилось такое ложное мнение (после льна хлеб родится еще лучше), но если даже допустим, что это верно, если допустим, что лен портит землю, то это все же ничего не значит. Если я получу от льна 100 руб. чистого дохода с десятины, то не все ли мне равно, что земля истощится—да хоть бы она совсем провалилась,—когда я за эти 100 рублей могу купить три таких же десятины. Но, разумеется, ведение льна требует много хлопот, затраты хотя небольшого капитала и пр. и пр. Конечно, гораздо проще быть председателем земской управы, мировым судьей—за 500 рублей можно найти писаря, который все знает, а если что-нибудь не так сделает, то на мировом съезде поправят, и т. д.

Оказалось, что мы напрасно беспокоились насчет блохи—урожай льна вышел отличный. Когда пришло время молотить, то мне просто хоть не показывайся на ток: старик-гуменщик Пахомыч проходу не давал. Чуть я на ток, он сейчас:

— Посмотрите-ка, барин, сколько льну с деминской десятины навозили, а вы говорите весною—лен пропал. Отсевать хотели: против бога итти думали. Поправлять дело божье хотели; а господь милосердый ишь сколько льну уродил. Так-то, барин.

— Однако же, Пахомыч, ты ведь сам видел, что блоха подъедала всход; если бы не пошел вдруг дождь, нужно было бы отсевать.

— Какая там блоха, выдумали блоху!

— Да ведь ты сам видел!

— Видел. Все воля господня, значит, оно так и нужно было. Господь указал блохе быть, значит, ей и нужно быть. А вы отсевать хотели, против бога думали итти, поправлять хотели. Нет, барин, все воля божья: коли бог уродит, так хорошо, а не уродит—ничего не поделаешь.

— Однако же и мужики говорят, что «навоз и у бога крадет».

— Оно так, да нет, все воля божья. Поживите—увидите. Вот и нынешний год—ведь думали, все помрем с голоду, а вот живы, новь едим и водочку с нови пьем. Так-то. Бог не без милости.

Бог не без милости, говорит народ, давно уже такого года не бывало. Бог не без милости.

Раз весной, в самую ростопель, возвращаясь домой после осмотра полей, встретил я бабу Панфилиху из соседней деревни,—везет на колесах мешок.

— Здавствуй, А. Н.

— Здравствуй, Панфилиха. Что везешь?

— Из гамазеи овес. По осьмине на двор выдали, скот кормить нечем.

— Что же так, сена нет?

— Какое сено,—соломы нет, последнюю с крыш дотравливаем. Посыпать было нечем, вот, славу богу, по осьмине на душу что наибеднейшим дали.

— Плохо дело, а ведь не скоро еще скот в поле пустим!

— Воля божья. Господь не без милости—моего одного прибрал,—все же легче.

— Которого же?

— Младшего, на-днях сховала. Бог не без милости, взглянул на нас, сирот своих грешных.

Я не выдумываю; я сообщаю факты; если не верите, вспомните, что отвечала в Тверской губернии баба комиссии, исследовавшей по поводу моей статьи, вопрос об артельных сыроварнях.

— Это вы, господа,—говорила баба,—прандуете детьми; у нас не так: живут—ладно, нет—«бог с ними».

— Да что ж тебе младший—ведь он грудной был, хлеба не просил?

— Конечно, грудной хлеба не просит, да ведь меня тянет тоже, а с пушного хлеба какое молоко, сам знаешь. И в «кусочки» ходить мешал: побольшеньких пошлешь, а сама с грудным дома. Куда с ним пойдешь?—холодно, тоже пищит. Теперь, как бог его прибрал, вольнее мне стало. Сам знаешь, сколько их Панфил настругал, а кормить не умеет. Плохо—божья воля; да бог не без милости.—И баба ударила кнутом кобыленку.

Весною нынешнего года крестьянам пришлось совсем погибать. Ни хлеба, ни корму; даже богачам пришлось прикупать хлеб; всю солому с крыш потравили, кислой капустой, у кого оставалась, овец кормили,—сами весной щавельком перебьемся, даже семя льняное, у кого было оставлено для посева, все потравили: толкли и посыпали резку. Каждый думал уже не столько о себе, сколько о скоте, как бы поддержать скот до выгона на пастбище. В конце марта и начале апреля положение было ужасное; если бы весна была обыкновенная, то большая часть скота должна была бы погибнуть от бескормицы, но бог не без милости. Весна в нынешнем году наступила так рано, как и не запомнят старики. В чистый четверг, 13 апреля, было тепло, как летом, даже жарко; прошел теплый проливной дождь, прогремел гром.

В этот день в первый раз выпустили скот в поле, и—вещь неслыханная—с 12 апреля весна установилась, и скот уже не пришлось более оставлять дома; было, правда, несколько холодных дней на святой, но с Егорья скот уже стал наедаться в поле. Весна в нынешнем году—настоящая весна, теплая, радостная, зеленая—наступила тремя неделями ранее, чем обыкновенно. Не будь этого, крестьяне совершенно бы разорились, особенно бедняки, потому что кормы были потравлены еще до Евдокей и весь март пришлось кормить скот соломенной резкой, посыпанной мукой, а муку-то нужно было покупать, так как даже богачам своего хлеба нехватило. Счастье еще, что железная дорога поддержала: был, во-первых, заработок—пилка и подвозка дров, отправляемых отсюда в Москву—а, во-вторых, вследствие подвозки хлеба по железной дороге степная рожь не подымалась выше 7 рублей, местная же шла в 8 рублях. Не будь железной дороги, рожь достигла бы, как в прежние годы, 12 рублей.

Повторяю, положение было ужасное. Крестьяне, кто победнее, продали и заложили все, что можно,—и будущий хлеб, и будущий труд. Процент за взятые взаймы деньги платили громадный, по 30 копеек с рубля и более за 6 месяцев. Мужик прежде всего старается занять, хотя бы за большой процент, лишь бы перевернуться, и уже тогда только, когда негде занять, набирает работы. В апреле ко мне пришел раз довольно зажиточный мужик, у которого нехватило хлеба, с просьбой дать ему взаймы денег на два куля ржи.

— Дай ты мне, А. Н., пятнадцать рублей денег взаймы до покрова; я тебе деньги в срок представлю, как семя продам, а за процент десятину лугу уберу.

— Не могу. А если хочешь, возьмись убрать три десятины лугу: по 5 рублей за десятину дам. Деньги все вперед.

— Нельзя, А. Н.

— Да ведь хорошую цену даю, по 5 рублей за десятину; сам знаешь, какой луг; если 100 пудов накосишь, так и слава богу.

— Цена хороша, да мне-то невыгодно. Возьму я три десятины лугу убирать, значит свой покос упустить должен,—хозяйству расстройство. Мне бы теперь только на переворотку денег, потом, бог даст, конопельку к покрову продам, тогда вот я тебе десятину уберу с удовольствием.

Действительно, крестьянину очень часто гораздо выгоднее занять денег и дать большой процент, в особенности работою, чем обязаться отрабатывать взятые деньги, хотя бы даже по высокой цене за работу. При известных условиях, мужик не может взять у вас работу, хотя бы вы ему давали непомерно высокую цену, положим два рубля в день, потому что, взяв вашу работу, он должен упустить свое хозяйство, расстроить свой двор,

каков бы он ни был; понятно, мужик держится и руками и зубами. Когда мужику нужны деньги, он дает громадный процент, лишь бы только переворотиться, а там—бог хлебушки народит: пенечка будет. Если мужик вынужден брать деньги под большие проценты, это еще не вовсе худо; а вот когда плохо,—если мужик наберет работ не под силу. В нынешнем году было множество и таких, которые готовы были взять какую угодно работу, только бы деньги вперед. Хлеба нет, корму нет, самому есть нечего, скот кормить нечем, в долг никто не дает—вот мужик и мечется из стороны в сторону: у одного берется обработать круг, у другого десятину льна, у третьего—убрать луг, лишь бы денег вперед получить, хлебушки купить «душу спасти». Положение мужика, который зимой, «спасая душу», набрал множество работы, летом самое тяжелое: его рвут во все стороны—туда ступай сеять, туда косить, —конца работы нет, а своя нива стоит.

Утро. Прелестное весеннее утро: роса, воздух наполнен ароматами, птицы начинают просыпаться. Солнце еще не взошло, но Аврора уж не спит и «из подземного чертога с ярким факелом бежит». Мужик Дема встал до свету, подъел хлебушки, запрягает на дворе лошадь в соху, думает в свою ниву ехать—у людей все вспахано, а его нива еще лежит. Не успел Дема обрядить лошадь, а уже староста из Бардина, прискакавший верхом выгонять обязавшихся работой, тут как тут, стучит в ворота.

— Эй, Дема!

— Чего?

— На скородьбу ступай. Что ж ты до сих пор на скородьбу не выезжаешь—люди выехали, а тебя нет.

— Ослобони, Гаврилыч, ей-богу своя нива не пахана.

— Что мне до твоей нивы—скородить, говорю, ступай.

— Есть ли на тебе хрест, Гаврилыч? Ей-богу, нива не вспахана—люди все подняли, а моя лежит.

— Ступай, ступай. Обязался, так ступай, а не то знаешь Сидорыча (волостной),—тот сейчас портки спустит.

Дема почесывается, но делать нечего—обязался работой, нужно ехать, волостной шутить не любит, да и староста так не уедет. Староста дожидается, пока Дема не запряжет лошадей в бороны и не выедет на улицу.

— Ну, поезжай, да хорошенько, смотри, выскороди, я ужо заверну.—Выпроводив Дему, бардинский староста поскакал в другую деревню выгонять какого-нибудь Панаса.

Едет Дема на скородьбу в Бардино и думает о своей непаханой ниве.

— Стой, Дема, куда ты?—встречает Дему фединский староста, тоже прискакавший выгонять на работу в Федино.—Что же ты не выезжаешь до сих пор лен сеять—ведь я тебе заказал вчера.

— Я, Павлыч, к вам и собирался, да вот Гаврилыч набежал, скородить в Бардино выгнал.

— Да мне-то что за дело до бардинского старосты! Ведь ты у нас обязался на лен, так и работай. Мы ведь тоже не щепками платим. Какое нам дело до бардинского старосты? Ступай лен сеять, люди все выехали, а тебя одного нет. Ступай, а не то знаешь... Сидорыч долго думать не будет.

— Ей богу, Павлыч, сейчас бардинский староста был, на скородьбу выгнал, тоже волостным пужает.

— Какое нам дело! Ступай, ступай, запрягай телегу.

Фединский староста, чтоб не упустить Дему, ждет, пока тот не запряжет, и торжественно ведет его в Федино, а барин на дворе уже сердится.

— Что же ты, Дема, так запоздал? Видишь, утро какое тихое, самый сев, ступай насыпай.

— Да я и то, Микулаич, спешил: кони на пустоши были, кобыла путы оборвала, бегал, бегал, насилу поймал,—не дается, волк ее заешь,—оттого и припозднился. Сейчас насыплюсь, нам недолго посеять, к вечеру заделаем,—уроди только господи.

На другой день Дема скородит в Бардине, а его нива стоит непаханною. Нет, уж это последнее дело, когда мужик должен набирать работы не под силу,—тут во всем хозяйстве упущение, и смотришь—через несколько лет мужик совершенно провалился. Но что же делать? за то «душу спас», зимою с голоду не умер. Единственный случай, когда мужику выгодно взять под работу, даже непосильную, это если он берет хлеб на семена. В нынешнем году весною, во время посева, овес доходил до 5 рублей за куль, так что мужик за куль овса для посева брался убрать десятину луга, и ему все-таки выгоднее, разумеется, в случае урожая, упустить свой покос, чем оставить поле неосеянным. Однако нынче все-таки много осталось нив незасеянными, потому что и за высокую плату семян добыть негде было.

Нынешняя ранняя весна всех, даже опытных стариков-крестьян, поставила в тупик. Все шло ранее обыкновенного на три недели. 13 апреля слышали первый гром, появились мухи, начали пахать под яровое, gagea расцвела, кукушки закуковали. С 15-го овцы уже стали наедаться в поле. 18-го жабник был в полном цвету. 20-го появились майские жуки. К 23-му березняк оделся, лес зазеленел, ласточки показались, крупный скот стал наедаться. 25-го лист на осине уже трясется—значит, лошади в поле будут сыты. 28-го затрубили медведки, запели соловьи. 29-го козелец зацвел на жирных местах, черемуха в полном цвету—ягнят стричь пора. К первому мая липа оделась, головли трутся. К пятому «коровий напор» был в полном цвету—самое молоко значит, рожь начала колоситься, черные

грибы показались, закричали коростели и перепела. Такой ранней весны никто не запомнит. Обыкновенно посев ярового у нас начинается с царя (21 мая, св. царей Константина и Елены). В обыкновенные годы это число совпадает у нас с полным развитием весенней теплоты, проявляющемся в известном развитии растительной и животной жизни. Овсяный сев, признаком которого считается расцветание козельца, ход головлей, появление грибов-березовиков обыкновенно бывают в 20-х числах мая. В нынешнем году, вследствие теплой, ранней весны, земля отошла ранее, растительная и животная жизнь опередила обыкновенные годы на целых две недели и не дождалась «царя».

Сеять или не сеять?—вот вопрос, который занимал всех нас. До царя еще далеко, а уже наступили все признаки овсяного сева: тепло, и козелец цветет, головли трутся и коростели кричат, а еще Никола не прошел. Неслыханное дело, чтобы у нас сеяли до Николы.

Сеять или не сеять?

Посеем рано—овес может попасть под засуху, не нальет хорошо, не своим спехом поспеет, поспеет вместе с рожью, так что два хлеба за раз убирать придется.

Опоздаем посевом—может морозом захватить овес во время налива, и тогда все пропало,—примеры этому были,—а по ранней весне можно ожидать и ранних морозов. Сделалось уже совершенно тепло, лето установилось, а еще не отошло 40 утренников, которые должны быть после сороков (9 марта, сорока мучеников),—было всего только 36 морозов, что с точностью определила моя «старуха», которая на «сороки» спекла сорок колбанов—шариков из ячной муки—и каждый день,когда мороз, давала один колбан корове. Пришло лето, а у «старухи» осталось еще 4 колбана, значит, было всего 36 морозов; можно было еще ожидать 4 мороза (примета нынче не оправдалась, все лето морозов не было).

Сеять или не сеять?

28 апреля у нас было первое совещание с Иваном насчет сева. Вечер был теплый, превосходный, совершенно майский вечер, соловьи так и заливались в олешнике подле пруда, медведки трубили во всю мочь. Хорошо весной в деревне! Право, если бы мне предложили теперь быть директором департамента, то я не согласился бы. Я сидел на балконе, наслаждался весенним вечером, курил и прихлебывал чай. Иван внизу балкона, с стаканом чаю в руках—Иван при мне *никогда* не садится, и если я ему предложу чаю, то он всегда пьет стоя—докладывал о дневных работах.

— Ну что, Иван, когда сеять будем? Не начать ли с будущей недели, ты как думаешь?

— Рано еще, А. Н. Сколько лет живу, никогда так рано не сеяли. Нельзя до Николы сеять. После Николы там что бог даст. Лен до Николы попробуем.

— Отчего же рано? Мало ли, что никогда об эту пору не сеяли—ведь никогда и весны такой ранней не было. Не ждать же царя? Зацветет козелец, и сеять.

— Зачем царя будем ждать... но все-таки рано еще. Лен посеем.

Сеять или не сеять?

Написал одному опытному хозяину,—вы не думайте, однако, что у нас вовсе нет хороших хозяев: есть такие, что так деньги и гребут,—прося его совета насчет времени сева. Тот отвечал, что ждать царя нечего, а нужно сеять, когда земля сделается «посевна», будет тепла, будет издавать «посевный запах».

«Когда земля сделается посевна!» А почем это узнать?— Вот для этого-то и нужно быть *хозяином*. Будешь хозяином, будешь и денежки загребать; это не то, что в департаменте чиркнул пером, и готово. Пожалуйте жалованье получать.

Между тем узнаю, что один из моих соседей уже посеял 29 апреля. Опять совещание с Иваном—тот уже не так упорно стоит, чтобы сеять непременно после Николы.

— Можно, говорят, и до Николы сколько-нибудь посеять.

—В Федине, говорят, посеяли.

— Слыхал, что посеяли, только у них, говорят, овес особенный, чужестранный, который рано сеют. Посеем и мы сколько-нибудь до Николы. Лен с понедельника закажу.

Обращаюсь к книгам: беру руководство к практическому сельскому хозяйству и отыскиваю статью «овес». Читаю, узнаю, что овес принадлежит к классу Triandria Dyginia, что слово Avena неизвестно откуда происходит, но Пекстон полагает, что оно происходит от цельтического слова Etan, что значит: есть; узнаю, что существует 54 разности овса, что овес можно сеять после всех хозяйственных растений, и что это служит ясным доказательством того, что овес может питаться самыми грубыми началами почвы, которые, так сказать, не годятся для питания других сельскохозяйственных растений... Ей-богу не вру, все это я буквально выписываю из книжки—не говорю из какой, потому что какую ни возьми, все равно. Просмотрев рубрики «климат», «почва», «место в севообороте», «обработка поля», нахожу, наконец, «время посева». Вот оно, вот это-то мне и нужно! Прочитал раз, прочитал другой,—чорт знает, что такое! Написана целая страница, а толку нет! «Самое лучшее время для посевов овса апрель и май».—Тэк-с «На низменных и сырых почвах его сеют в мае, а на сухих в апреле...», и все в таком роде, а в заключение сказано: «так как весьма важно определить

настоящее время овсяного посева, то потому и необходимо при этом брать во внимание многие местные условия».

Да какие же условия нужно брать во внимание?

Вот для этого-то и нужно быть хозяином. Будешь хозяином, будешь и деньги загребать, а то по книгам захотел... Странное дело, отчего это наши агрономические книги так плохи? Все-то у нас есть: и целый департамент, и два—не то три инспектора сельского хозяйства, и академия, и институт, и школы агрономические, профессоров сколько, наук сколько—домоводство, растеньеводство, скотоводство,—это главные,—да еще сколько специальных: луководство, пиявководство,—а книг хороших нет.

Уезжая из Петербурга, я взял с собою множество агрономических книг; кажется, у меня есть почти все, что издано по этой части на русском языке; получаю три хозяйственных журнала,—тоже ведь казна деньги на них отпускает,—а поверите ли, всякий раз, когда обращаюсь к книге, в конце концов дело сводится на то, что я швыряю книгу под стол. Читаешь, читаешь, написано много, а того, чего ищешь, никогда не найдешь. Единственные книги, которые мне приносили пользу,—это книги и статьи по садоводству и огородничеству Регеля, Грачева и других; даже брошюрка о разведении огородных растений, которую магазин Запевалова присылает вместе с огородными семенами, оказалась очень полезною, а из агрономических книг ничего извлечь не могу.[1] Во всей этой массе книг и журнальных статей поражает отсутствие здравого смысла, практических знаний и даже способности вообразить реальное дело. Ну, положим, самым делом не занимаешься на практике, так неужели же нельзя, пишучи статью, вообразить себя в положении человека, который должен выполнять то, о чем пишется на деле? Ну, положим, пишешь статью о разведении клевера,—неужели нельзя вообразить себя в положении человека, которому действительно приходится сеять клевер, которому нужно прежде всего купить семена, а, следовательно, нужно уметь различить, хороши ли они и т. д. Тянут, тянут, пишут, или лучше сказать, переводят—одна строчка из Шварца, другая из Шмальца—без всякого толку. Сейчас видно, что все эти книги пишутся людьми, которые никогда не хозяйничали, которые не знают, что в половине августа бывают морозы, что в сентябре бывают зазимки, при которых наваливает снегу на 3 аршина, что зимою навозная жижа замерзает, что при 30 градусах мороза нельзя работать на дворе, и если человек в такой мороз слезает с печи, то потому только, что «неволя велит и сопливого любить».

[1] Теперь в агрономической литературе, конечно, уже есть дельные сочинения по семенному хозяйству; прежде всего книги самого Александра Николаевича, а затем книги и статьи его учеников и последователей—А. С. Ермолова, П. А. Костычева, Мертвого, Мещерского и др.-*Н. Э.*

Ничего своего, все из немцев взято: такой-то немец говорит то-то—давай сюда; другой немец говорит совершенно противоположное—давай сюда; третий немец говорит... тащи сюда, вали все в кучу, кому нужно—разберет. Учености в каждой статье тьма, а дела нет. Совершенное отсутствие практических знаний и какая-то воловья вялость—точно все эти книги пишутся кастратами. Мне много раз случалось слышать от ученых агрономов, что на лекциях, в книгах и статьях нельзя излагать практическое хозяйство, но это неправда. Я теперь собственным опытом убедился, что и книги, сообщающие чисто практические сведения, даже книги, написанные чистыми практиками, вовсе не знакомыми с научными исследованиями, не знающими ни состава почвы, ни состава растений, могут быть очень полезны практику; я убедился в этом на книгах о садоводстве и огородничестве. Приехав на хозяйство, я не имел никаких практических знаний по полеводству, скотоводству и огородничеству; моим помощникам—Ивану, Сидору, Авдотье—все эти части хозяйства были известны в равной степени и даже огородничество менее всего, потому, что у наших крестьян огородничество в плохом состоянии. Мне часто приходилось обращаться к книгам за советом, и, странное дело, отчего же только книги по огородничеству, отчего статьи Грачева, Запевалова и других, людей, которые едва ли знают какой состав имеют семена репы и огурцов, не сходят у меня со стола, между тем как книги по скотоводству и полеводству, за весьма небольшими исключениями—за исключением, например, книги Советова о кормовых травах, которая оказалась мне очень полезною, хотя в научном отношении не выдерживает самой снисходительной критики (теперь мне понятно, отчего эта книга имела 3 издания),—валяются под столом? Отчего же можно написать такую статью о разведении огурцов, которая мне, практику, приносит непосредственную пользу, и нельзя написать такую же статью о разведении клевера? Отчего статью по огородничеству можно написать так, что она непосредственно относится к нашим местным условиям, а статью по полеводству так написать нельзя? Отчего Регель и Грачев дают мне такие указания относительно разведения земляники, смородины, капусты и пр., которые я могу непосредственно применить с пользою на практике, а какой-нибудь агроном или скотовод дает такие советы, которые я выполнить не могу? Отчего огородник не посоветует мне сделать то, что можно сделать только в Италии—я, разумеется, исключаю книги по огородничеству, переведенные с немецкого профессорами, и говорю только о статьях наших (иногда написанных и немцами) садоводов и огородников,—а какой-нибудь агроном, нет-нет, да и посоветует сеять рожь в конце сентября или накачивать насосом на гноевище замерзшую навозную жижу?

Отчего в статьях по садоводству и огородничеству чуется живая струя, а от агрономических статей пахнет мертвечиной, кастратскою вялостию? Отчего Авдотья верит в книги по огородничеству точно так, как верит в поваренные хозяйственные книги—вот еще книги, которые мне принесли пользу,—и часто просит меня посмотреть в «книжку», как следует посадить то-то и то-то, и не верит в книгу по скотоводству? Не оттого ли это, что статьи по огородничеству пишутся людьми, которые занимались своими огородами, а иногда от огородов своих только и получали средства для своего существования, между тем как статьи по агрономии и скотоводству пишутся людьми, которые клевер сушили только для гербариев, и много если разводили на грядках, скот видели только на выставках, а сливки видели только кипяченые—с пенками?

Мне часто думается, не это ли мертвая вялость, которою несет от книг, причиною, почему наши агрономические заведения выпускают так мало людей, идущих в практику? Мне все кажется что профессор, который никогда сам не хозяйничал, который с первых дней своей научной карьеры засел за книги и много если видел, как другие хозяйничают на образцовых фермах, который не жил хозяйственными интересами, не волновался, видя находящую в разгар покоса тучу, не страдал, видя как забило дождем его посев, который не нес материальной и нравственной ответственности за свои хозяйственные распоряжения,—мне кажется, что такой профессор, хотя бы он прочел все книги, написанные Шварцами и Шмальцами, никогда не будет чувствовать живого интереса к хозяйству, не будет иметь хозяйственных убеждений, смелости, уверенности в непреложности своих мнений, всего того, словом, что делается только «делом». Агроном, который никогда не прилагал своих знаний на деле, будет похож на химика, который изучил химию по книгам, но никогда сам в лаборатории не работал. Занятие агрономией по книгам, подобно тому как занятие химией или анатомией по книгам, есть онанизм для ума. Мне кажется, что такие профессора, сами не интересуясь живо предметом, не имея под собой почвы, не могут возбудить интереса к «делу» и в своих учениках, вследствие чего те, окончив курс в агрономическом заведении, не идут в хозяйство, а, копируя своих профессоров, поступают в чиновники. Недостаток агрономических книг у нас полнейший, хотя книг много. Беда тому, кто начнет хозяйничать при помощи этих книг; недаром сложилось у нас понятие, что, кто хозяйничает «по агрономии», тот разоряется.

Не найдя в книгах ничего путного относительно времени посева овса, выругавшись, и, разумеется, упомянув немцев—немцы-то тут, впрочем, ни в чем не виноваты, потому что они пишут для себя: вольно же нам, не пережевав, все таскать

от них в свою утробу!—я пошел бродить по полям и лугам. Весна в полном разгаре, всюду зелень и благоухание, черемуха в полном цвету, козелец зацветает, в лесу стоит весенний гул от пения птиц, жужжания насекомых, земля тепла, хоть босиком ходи, на пашне пахнет земляными червями—вот он, посевной запах. Возвращаясь домой, встретил «деда»; бежит босиком, в одной рубахе и мокрых портах , и тащит что-то в ведерочке должно быть, раков или рыбу.—Вот, думаю, кто мне, скажет насчет посева. «Дед»—старик из ближайшей деревни, совсем сивый, как у нас говорят, был уже взрослым мальчиком в разоренный год и хорошо помнит французов—«обходительный, говорит, народ!»—потому что держал лошадей, которых его отец ковал проходящим французским кавалеристам. «Дед» хороший хозяин, знает все приметы, и его мнение всегда уважается на совете «стариков», который решает, когда сеять коноплю, овесь, рожь и лен: у крестьян всегда бывает предварительное совещание, когда начать сев, особенно конопли, которую сеют все за раз, и как решат старики, так и делается. «Дед»—рыболов, летом постоянно доставляет мне рыбу и раков, а на заработанные деньги балует ребят, своих внучат, которых всегда сам возит на сельские ярмарки и там угощает на свои, рыбою и раками заработанные, деньги.

— Здравствуй, дед! что, рыбки принес?

— Рыбки, рыбки свеженькой.

— Небось, головли?

— Головлики, головлики.

— Что ж, трутся?

— Трутся, трутся.

— А ведь рано нынче пошел головль?

— Рано,—и не помню такой ранней весны.

— Сев, значит, овсяный?

— Да сев, головль трется,—скоро сев.

— Когда же сеять будем?

— А когда пора придет, когда пора придет. Рано нынче сеять будем.

— Я думаю сеять.

— Нет, нет, нет, рано еще, обожди маленько, когда матушка начнет выколашиваться; ты не смотри, что в Федине посеяли: там овес заморский; обожди маленько, а лен сей, лен сей.

Вечером, при докладе, Иван начал сдаваться насчет посева.

— Обходил рожь сегодня,—отлично набирается, скоро колоситься начнет, козелец зацветает, никогда еще такой ранней весны не было. Два сева сделаем, А. Н.,—один до Николы, а другой после Николы.

4 мая мы засеяли половину поля овса, 10-го—вторую половину, 17-го посеяли ячмень. Посев ярового окончился благо-

приятно. Заделали хорошо. Ну, теперь все кончено, можно отдохнуть, только бы бог дал благоприятную погоду. После сева вскоре наступила засуха. С утра до ночи печет солнце, постоянно дует сухой юго-западный ветер. Земля высохла, потрескалась. Скоро превосходные вначале всходы овса начали желтеть. Неделя прошла, другая—беда! если еще несколько дней засухи, то яровое выгорит, как в прошедшем году. Тяжело хозяину в такое время; ходишь, на небо посматриваешь, в поле хоть не ходи, овес заострился, желтеет, трава на лугах не растет, отцвела ранее срока, зреет не своим спехом, сохнет. Чуть сделается пасмурно, набежит тучка,—радостно смотришь на небо. Упало несколько капель дождя... Ну, слава тебе господи, наконец-то дождь! Нет, небо нахмурилось, походили тучи, погремел гром в отдалении, и опять нет дождя, опять дует суховей, опять солнце жжет, точно раскаленное железо. Вот опять набежала тучка, брызнуло несколько капель дождя, а потом опять солнце, опять зной, а по сторонам все тучи ходят. Ну, наконец, будет дождь: совсем стемнело; с запада медленно навдигается темная грозовая туча, сверкнула молния, раз, другой; громовые удары следуют один за другим, все ближе и ближе надвигается туча, «старуха» в застольной уже зажгла страстную свечу и накурила ладаном, вот пахнуло холодом, поднялся вихрь,—сейчас польет дождь. Нет, туча прошла мимо и в пяти верстах разразилась проливным дождем и градом, который отбил рожь. Нас бог помиловал, а в окрестностях много полей отбито градом, так что засевать нечем было, и крестьяне должны были покупать рожь на посев.

Уже началась вывозка навоза, а дождя нет как нет, трава посохла, овес желтеет и видимо чахнет. Наконец, на второй день возки навоза, под вечер набежала туча и разразилась проливным дождем, который хорошо промочил землю. К утру все зазеленело. На другой день с утра зарядил обкладной дождь, так что после обеда пришлось прекратить возку навоза, потому что повознички—мальчики и девочки 7—12 лет, которые водят лошадей с возами навоза,—размякли, а повознички такой народ, что как размякнут да озябнут, убегут и лошадей побросают—что с ними поделаешь?

Прошло несколько дней; яровые поправились; но травы уже не могли поправиться—отавы зато хороши были потом—все время навозов шли дожди, перемежаясь с хорошими днями. Наступило время покоса, а дожди все идут. Перед Петровым днем как-то выскочило несколько хороших дней,—начали косить. Только что подкосили лучший луг—дождь. Через день опять погода, и пошло так: вечером помочит, утром парит, только что повернем, опять дождик—сеногной. Просто измучились; луг, который обыкновенно убирался в 5 дней, убирали 2 недели,

да и то большая часть сена убрана сильно испортившегося—а травы-то и без того были плохи. Не успели еще покончить с главными покосами, наступило жнитво. Выскочило несколько хороших дней, и у меня в три дня сжали все поле; еще два хороших дня—и весь хлеб будет в сарае. Не тут-то было—пошел дождь и намочил снопы. Пришлось накрывать, расставлять, пересушивать; к счастию, выскочило три сухих дня с ветром: в два дня снопы высохли, на третий все 450 телег ржи были свезены и уложены в сарай. Уф! Когда положили последнюю телегу и Иван, замкнув сарай и перекрестившись, проговорил: «теперь только разлучи господи с дымушком», точно камень с сердца свалился. Не успели мы с Иваном дойти от сарая до дому, как пошел дождь. С уборкой ржи кончились все наши волнения. После того погода благоприятствовала всем работам: и поздние покосы, и посев озими, и уборка льнов и яровых шли хорошо. Конечно, не без того, чтобы мы не волновались; в особенности нас беспокоили льны, потому что мы, на основании того, что весна была ранняя, ожидали ранней осени и ранних зазимков; но если весна была такая, что и старики не запомнят, то осень тоже стояла превосходная, на редкость: скот ходил в поле до 1 ноября, следовательно, был в поле $6^1/_2$ месяцев.

За исключением трав и местами картофеля, все нынче уродилось хорошо.

В нынешнем году крестьяне, как я писал в первых письмах, пережили ужасную зиму—ни хлеба, ни корму. Только необыкновенно ранняя весна спасла скот. Когда скот весной рано пошел в поле, одной заботой стало меньше: нужно было только прокормиться до нови, но это-то и есть самое трудное. Зимою, кто победнее, кормились в миру кусочками; теперь же, когда наступило время работать, в кусочки ходить некогда, да теперь и не подадут, потому что у всех хлебы подобрались. Перебивались кое-как. Кто позамысловатее, как говорит Авдотья, те еще с зимы запасли хлеба на рабочее время—приберегали свой хлеб, а сами ходили в кусочки. Весною—кто скотину лишнюю продал и хлеба купил, кто работою обязался и на полученный задаток купил хлеба, кто в долг набрал до нови; но было множество и таких , которые перебивались изо дня в день. Раздобудется мужик где-нибудь пудиком мучицы, в долг возьмет, работу какую-нибудь сделает, ягненочка продаст, протянет несколько времени, работает, потом денек-другой голодает, бегая где бы еще достать хоть пудик, хоть полпудика, где-нибудь на поденщину станет,—хорошо еще, если можно хоть поденную работу найти,—заработает пуд муки и опять дома сидит, свою ниву пашет. Разумеется, тут не до хорошего хлеба; замесит баба с вечера хлеб; не успеет закиснуть—есть-то хочется, дети пищат—пресных лепешек напечет, а то и просто болтушку сделает.

В праздник в кусочки сбегает, по окрестным деревням детей пошлет, а то и так около своих однодеревенцев, у которых хлеб есть, перебивается: сработает что-нибудь—покормят, скибку хлеба дадут; иной раз и просто зайдет к кому-нибудь во время обеда—не ел, скажет, сегодня; покормят—потом в покос, в жнитво поможет, поработает. А бабы... «А что ж ты будешь делать,—говорит Авдотья:—и... не умирать же с голоду!».

Грибы пошли, полегче стало: все-таки подспорье. Нынешний год грибы показались рано и урожай на них был необыкновенный, конечно, на одних грибах, без хлеба, не наработаешь много, но все-таки же продержаться, пока достанешь хлеба, можно, да и к хлебу подспорье—все же лучше, чем один сухой хлеб. В моих рощах грибы родятся во множестве. Летом чуть свет все бабы из окрестных деревень прибегают в мои рощи за грибами, так что, наверно, каждый день в рощах перебывает человек до полутораста. Разумеется, бабы еще до свету обшарят все рощи и все грибы, в особенности белые, выберут так, что к утру ничего не останется. Авдотья, как баба, как Коробочка, по жадности все уговаривала меня заказать рощи, т. е. запретить в них брать грибы. Я на это не согласился. Мне кажется, что помещику—не говоря уже о том, что голодные только грибами и питаются,—нет расчета запрещать брать грибы в своих владениях, и что вот подобные-то запрещения и влекут к неприятным столкновениям. Известно, что народ, не только у нас, но даже в Германии, не признает лес частною собственностью и поруб леса не считает за воровство; даже и по закону у нас поруб леса не считается воровством,—что же сказать о грибах! Положим, что лес растет сам собою, по воле божьей; но так как лес растет медленно, то нужно его беречь, чтобы дождаться известного результата; я мог бы срубить 25-летний лес, но я ждал, давал ему расти до 100 лет, следовательно, так сказать, отрицательно тратил на него. Кроме того, если бы я вырубил лес, то земля из-под леса давала бы мне доход, и раз земля считается собственностью, то, если я оставляю ее под лесом, я несу известный расход.

Но что же сказать о грибах? Гриб вырастает сам собою, никто его не садит, никто за ним не ухаживает, никто даже не знает, где он вырастет; сберечь гриб нельзя—не взял его сегодня, завтра он никуда не годится; ожидать, чтобы он вырос, нельзя; помешать тому, чтобы он не вырос на известном месте тоже нельзя, да и срубить грибы, как лес, для того, чтобы воспользоваться землею, нельзя. Следовательно, если даже лес не признается собственностью, а похищение леса воровством, то похищение грибов нельзя даже поставить на одну степень с порубом. Очевидно, что гриб, по воле божьей, растет на общую потребу, и запрещать брать грибы как-то зазорно. Конечно,

владелец леса может запретить брать в его лесу грибы, но это уже значит снимать пенки... Но если даже и не принимать во внимание, так сказать, неуловимость такой собственности, как гриб, все-таки нет расчета запрещать. Если запретить брать грибы, то это неминуемо поставит владельца в военные, так сказать, отношения к крестьянам, что невыгодно; запрещение брать грибы особенно тяжко отзовется на бедняках, которые без грибов положительно существовать не могут; оно отзовется также и на работах, потому что работающие в имении и суть те, которые наиболее пользуются грибами. Наконец люди будут голодать, а грибы будут пропадать бесполезно, потому что выбрать все грибы невозможно, да и невыгодно этим заниматься. Барыни-помещицы обыкновенно запрещают брать в своих рощах грибы, потому что также плохо рассчитывают, как Авдотья, которая никак не могла понять, что мне выгоднее покупать грибы у баб, чем собирать своими работницами.—За свои-то грибы, да еще и деньги платить!—целое лето твердила Авдотья. Грибов было нынче действительно множество; Авдотья с двумя работницами не могла бы выбрать и тысячной доли того, что нарождалось. Как много грибов, видно из того, что после того, как утром по рощам пройдет до полутораста человек, да еще днем бродит много праздношатающегося, не имеющего дела разного дворового люда, все-таки вечером, объезжая верхом рощи и собирая только те грибы, которые увижу, не слезая с лошади, на опушке, я обыкновенно привозил штук 30 белых грибов, что отчасти успокаивало Авдотью.

Впрочем, и я извлек выгоду из грибов. В одной из моих рощ случился поруб; крестьяне из соседней деревни срубили 10 берез и испортили одну ель для рассохи. Призвал я их:

— Лес порубили?

— Не могим знать, А. Н.

— Мимо шли, видели?

— Шли, видели.

— Вами?

— Не могим знать.

— То-то не могим знать. Если еще будет поруб, в грибы не пущу, так и бабам скажите.

— Слушаем, А. Н., будьте покойны.

С тех пор порубов не было.

Так, грибами, добытым где-нибудь пудиком мучицы, постоянно голодая, никогда не наедаясь досыта, бедняк перебивается до «нови». Будь я художником-живописцем, сколько бы типичных картин представил я на академическую выставку! Вот мужик Дема—у него жена и двое детей,—целую весну он перебивается кое-как. Скоро—«новь», а Дема третьего дня съел последнюю крошку хлеба и побежал раздобыться ход пудиком

мучицы. Пробегав вчера целый день, он нигде не мог достать ни в долг, ни под работу; сегодня, в числе других, он пришел ко мне наниматься чистить луг. Посмотрите на эту группу: сытые двое торгуются, а голодного Дему берет нетерпение и страх, что вот я откажу работу, если не наймутся за мою цену,—он толкает локтем сытого Бабура: бери. Деме все равно, какая цена, лишь бы добыть сегодня ковригу хлеба, а завтра пудик мучицы. Если бы я умел рисовать, я нарисовал бы на выставку «жницу»» да не такую, как обыкновенно рисуют. Узенькая нивка, тощая рожь, солнце жжет, баба в одной рубахе, мокрой от поту, с осунувшимся, «почерневшим» от голоду лицом, с запекшеюся кровью на губах, жнет, зажинает первый сноп—завтра у нее хотя еще и не будет хлеба, потому что смолоть не успеет, но уже будет вдоволь каши из пареной ржи.

Тяжелее всего мужику перед «новью». Вот-вот, не сегодня, так завтра, рожь поспеет хотя на столько, что можно будет зеленую кашу есть, а вот тут-то и нет хлеба; пуд муки и то трудно достать в это время, потому что каждый запасал хлеба только до «нови». Год плохой—все жмутся.

Но вот, наконец, смолотили первую рожь и повезли «новь» на мельницы,—едва ли один из ста вернулся с мельницы не выпивши. Оно и понятно: человек голодал целый год, а теперь—хлеба—по крайней мере до покрова—вволю. Нам, которые никогда не голодали, нам , которые делаем перед обедом прогулку для возбуждения аппетита, конечно, не совсем понятно положение голодавшего мужика, который, наконец, дождался «нови». Представьте, однако, себе, что Дема, который неделю тому назад бегал, хлопотал, кланялся, на коленях ползал перед содержателем мельницы, выпрашивая пудик мучицы, теперь счастливый, гордый—сам чорт ему не брат—сидит на телеге, в которой лежат два мешка нового чистого хлеба! Содержатель мельницы, который неделю тому назад, несмотря на мольбы, не одолжил Деме пуда муки, встречает теперь его ласково, почтительно величает Павлычем. Дема, кивнув головой мельнику, медленно слезает с телеги, сваливает мешки и в ожидании очереди—«нови» то навезли на мельницу гибель,—когда придется ему засыпать, идет на мельничную избу, откуда слышатся песни и крики подгулявших замельщиков.—А! здравствуй, Демьян Павлыч! здравствуй Дема! что, «новь» привез?—Ну, сами посудите, как тут не выпить! Поймите же радость человека, который всю зиму кормился кусочками, весну пробился кое-как, почасту питаясь одной болтушкой из ржаной муки и грибами, когда у этого человека вдруг есть *целый* куль чистого хлеба,—*целый куль*! В избе Дему толпа подгулявших замельщиков зовет за свой стол. Дема требует стакан водки, калач, огурцов; ему с почтением подают и водку, и закуску, не требуя денег вперед,

как это обыкновенно водится, потому что его рожь стоит на мельнице. На тощий желудок водка действует быстро; после одного стакана Дема охмелел, требует еще водки. Через полчаса Дема уже пьян... Когда проспится, расплачивается рожью.

Так как ежегодно часть ржи пропивается крестьянами на мельницах,—что отзывается на их благосостоянии, ибо при промене на водку рожь идет по очень низкой цене: гарнец ржи за стакан водки и ломоть хлеба да пару огурцов,—так как у пьяного мужика содержатель мельницы легко может отсыпать хлеба (нужно же и ему заработать на патент, торговое свидетельство, аренду), то, для охранения народного благосостояния и нравственности, промен хлеба на водку и вообще продажа водки на мельницах воспрещается. Но на деле этого не бывает, и водка на мельницах всегда есть, и промен водки на рожь ежедневно совершается, да и нельзя иначе, потому что *на такую мельницу, где нет водки, никто не повезет молоть «новь»*. Так как мельница без водки существовать не может,—в «новьто» и бывает главный заработок на мельнице,—то правило какимнибудь образом обходят. Обыкновенно кабак устраивается в некотором расстоянии от мельницы, иногда и рядом с избой мельника, но только кабак имеет особый вход,—патент берется на другое имя. Если кабака подле мельницы нет, если, например, помещик, заботясь о благосостоянии крестьян, начитавшись в газетах о вреде пьянства, не дозволяет содержателю мельницы иметь кабак, то он торгует водкой тайно, без патента; если надзор уж очень строг, то хозяин не продает водки, но угощает по знакомству водкой замельщиков, которые к нему привозят молоть свою «новь». Разумеется, за угощение хозяину отсыпают рожью. Акцизные знают, конечно, что правило относительно непродажи водки на мельницах нигде не соблюдается и соблюдаемо быть не может, ибо никто на нее возить молоть не будет. Мне не раз случалось говорить об этом с акцизными, но они как-то странно относятся к этому. Когда доказываешь, что на мельницах водку продают и меняют на рожь, когда объясняешь, что без этого мельница существовать не может, то акцизный соглашается: нельзя не согласиться, когда факт существует; но если начнешь говорить о том, что акцизным следует представлять высшему начальству о неприменимости как этого, так и многих других правил, придуманных с целью уменьшения пьянства, но цели не достигающих, правил бесполезных, стеснительных, даже вредных, акцизный уже не то.

— Ведь мужик, когда у него есть новь, непременно выпьет с радости?

— Выпьет.

— И напьется?

— Напьется.

— Ведь если б вас сделали акцизным генералом—поставили бы вы бутылочку, другую холодненького?

— Ну, конечно,—улыбается акцизный.

— А ведь мужик генералом себя чувствует, когда везет «новь» на мельницу?

— Пожалуй.

— Нельзя же ему не выпить с «нови», и уж, конечно, он не поедет молоть туда, где нельзя раздобыться водкой?

— Пожалуй, что не поедет.

— Водка, значит, непременно должна быть на мельнице; без того и мельница существовать не может?

— Пожалуй, что так.

— Ну, почему же не дозволить торговли водкой на мельницах?

— Нет, нельзя дозволить; ведь, согласитесь, это большое зло, если дозволено будет на мельницах держать водку. Мужик привозит молоть хлеб, напивается пьян, променивает хлеб на водку, его при этом обирают, а потом зимой у него нет хлеба.

— Но ведь это зло существует, потому что правило не исполняется и исполнено быть не может, так как никто хлеба не повезет, если водку продавать в мельничной избе не дозволяется, то нужно на известном расстоянии от мельницы выстроить кабак: расход, значит, бесполезная трата денег, потому что кабак стоит только для виду, а потраченные деньги мельник все же должен выбрать с того же мужика. Следовательно, правило не достигает цели, и к тому же еще более способствует обеднению мужика, потому что всякое стеснительное правило, чтобы быть обойденным, требует некоторого расхода, который все-таки платит тот же мужик.

— Оно так, но ведь согласитесь, что продажа водки на мельницах—зло!

— По-моему, нет; да кроме того, правило не уничтожает зла: водка ведь на мельницах есть.

— Однако же...

— По этому случаю я припомнил рассказ о том, как немец показывал публике в зверинце белого медведя.

— Сей есть лев, житель знойной Африки, кушает живых быков,—говорит немец монотонным голосом, указывая палочкой на льва.

— Сей есть белый медведь, житель полярных стран, очень любит холодно; его каждый день от двух до трех раз обливают холодной водой.

— Сегодня обливали?—спрашивает кто-то из публики.

— Нэт.

— Вчера обливали?

— Нэт.

— Что ж, завтра будут обливать?

— И нэт.

— Да когда же его обливают?

— Его никогда не обливают, сей есть белый медведь житель полярных стран, очень любит холодно; его каждый день от двух до трех раз обливают холодной водой, — продолжает немец.

И сколько таких правил—белых медведей, которых каждый день обливают холодной водой.

Мы все удивительно как привыкли к этому; каждый и говорит, и делает так, как будто он не сомневается, что белого медведя, которого никогда не обливают, ежедневно от двух до трех раз обливают холодной водой. Дорога, пролегающая по моим полям, теперь у меня в большом порядке—везде прорыты канавки, сделаны мостики, хозяйственно обделано, хоть в карете шестериком поезжай, сам становой пристав похвалил. Летом, в нынешнем году разнесся слух, что будет проезжать губернатор: из волости прислали десятского, чтобы поправить дороги... через несколько времени староста, давая отчет о произведенных грабарями работах, говорит: «1 поденщина на починку дороги—45 копеек».

— Где это ты чинил?

— На горке; губернатор, говорят, поедут.

— Пойдем, покажи.

Прихожу и вижу, что подле дороги, которая достаточно хороша для проезда—по ней мимо меня очень часто проезжает богатая соседка в карете на лежачих рессорах четверкой в ряд, не дурна, значит, дорога—срезан дерн и брошен в боковую рытвину.

— Для чего ты это тут накопал? дорога и без того хороша.

— Да как же-с? губернатор поедут, чинить дорогу нужно-с.

— Так что-ж что поедет—дорога ведь хороша?

— Дорога ничего. Ф. барыня третьего дни четверкой в карете проезжали, даже не выходили.

— Так зачем же чинить, когда хороша?

— Губернатор изволят ехать.

— Наконец, какая же польза, что срезали дерн и побросали в рытвину—ведь рытвину все равно не засыпали?

— Оно так. Все-таки же чинили, уважение, значит, оказали.

И все убеждены, что когда едет губернатор или архиерей, то дорогу—хоть бы она и была хороша—нужно починить, то-есть поковырять землю то здесь, то там заступом, уважение оказать. После такой починки, где дорога была хороша и остается хороша, где была худа—и остается худа, разве только на самых непроезжих местах зачинят настолько, что дорога простоит неделю, другую.

Даже животные у нас привыкают к известным порядкам. У меня есть старый пегий конь, на котором я верхом объезжаю мои владения; конь этот чрезвычайно смирен и умен, так что им и править не нужно—бросил поводья, он сам знает, куда итти. Пеган из опыта знает, как ненадежны мостики на дорогах, и потому, если предоставить ему итти вольно, он никогда не пойдет через мостик, а старается обойти стороной. На моих полевых дорогах все мостики в исправности, но Пеган—как ни умен—все-таки обходит и мои мостики.

Попробовав «нови», народ повеселел, а тут еще урожай, осень превосходная. Но недолго ликовали крестьяне. К покрову стали требовать недоимки, разные повинности,—а все газеты виноваты, прокричали, что урожай,—да так налегли, как никогда. Прежде, бывало, ждали до Андриана, когда пеньки продадут, а теперь с покрова налегли. Обыкновенно осенью, продав по времени конопельку, семячко, лишнюю скотинку, крестьяне расплачиваются с частными долгами, а нынче все должники просят подождать до пенек, да мало того, ежедневно то тот, то другой приходят просить в долг,—в заклад коноплю, рожь ставят или берут задатки под будущие работы,—волость сильно налегает. Чтобы расплатиться теперь с повинностями, нужно тотчас же продать скот, коноплю, а цен нет. Мужик и обождал бы, пока цены подымутся—нельзя, деньги требуют, из волости нажимают, описью имущества грозят, в работу недоимщиков ставить обещают. Скупщики, зная это, попридержались, понизили цены, перестали ездить по деревням; вези к нему на дом, на постоялый двор, где он будет принимать на свою меру, отдавай, за что даст, а тут у него водочка... да и как тут не выпить! Плохо. И урожай, а все-таки поправиться бедняку вряд ли. Работа тоже подешевела, особенно сдельная, например пилка дров, потому что нечем платить—заставляйся в работу. На скот никакой цены нет, за говядину полтора рубля за пуд не дают. Весною бились, бились, чтобы как-нибудь прокормить скотину, а теперь за нее менее дают, чем сколько ее стоило прокормить прошедшей весной. Плохо. Неурожай—плохо. Урожай—тоже плохо...[1]

IV

Весна. Опять прилетели грачи, опять потекли ручейки, опять запели жаворонки, опять у крестьян нет хлеба, опять...

— Ты, что Фока?

— Осьмину бы ржицы нужно: хлебца нетути, разу укусить нечего.

---

[1] Писано в 1872 г. (Примеч. Н. Энгельгардта.—*Ред.*).

— Отдавать чем будешь?

— Деньгами отдам. К светлой отдам, брат из Москвы пришлет.

— А как не пришлет?

— Отслуживать будем, что прикажете.

— Ну, хорошо, работы у меня нынче много, разочту «что людям», то и тебе.

— Благодарим.

— Ступай за лошадью.

— Лошадь сбил лес возючи,—на себе понесу.

— Как знаешь, неси мешок.

— Мешок есть.

Фока, ухмылясь, вытаскивает мешок из-под полы: он шел с уверенностью, что отказа не будет,—нынче никому почти отказа нет,—и только для приличия, что не в свой закром идет, спрятал мешок под зипун. Фока насыпался и потащил мешок в четыре с половиною пуда на плечах.

— А ты что, Федот?

— Хлебца бы нужно.

— Ты ведь брал!

— Мало будет; еще два куля нужно до «нови».

— А чем отдавать будешь?

— Деньгами отдам по осени: половину к покрову, другую к Николе; за могарыч десятину лугу уберу.

— Что же так много могарычу сулишь, или деньги замотать хочешь?

— Зачем замотать,—отдадим. Все равно без могарычу никто в долг не даст, лучше вам пользу сделать. В третьем годе я у П*** попа два куля брал тоже за могарыч; ему сад косил, более десятины будет, а хлеб-то еще плохой, сборный с костерем. Мы с братом насоветывалися: лучше, чем на стороне брать, у вас занять: дело ближнее, покос под самой деревней, косите вы рано; нам десятину убрать ничего не стоит, лучше своему барину по соседству послужить.

— Ну, хорошо; я тебя, впрочем, облегчу,—рожь в шести с полтиной поставлю.

— За это благодарим.

— Ступай за лошадью.

— Ячменцу бы еще с осминку нужно. Я за ячмень вам отработаю.

— На какую работу?

— Что прикажете,—лен будем брать, мять будем; может, сами в город ставить будете—отвезу.

— Хорошо. Расчет «как людям».

— Благодарим.

Федот ушел и через четверть часа вернулся в сопровожде-

нии Клима, Панаса, Никиты и почти всех остальных хозяев соседней деревни: он был послан вперед разведчиком.

— Нашим всем до «нови» хлеба нужно. Мы все возьмем: Климу $1^1/_2$ куля, Панасу 1 куль, Никите 2... Мы вам за могарыч весь нижний луг скосим, каждый двор по десятине.

— Хорошо; все будете брать?

— Все.

— Как Федот?

— Как Федот.

— Половину к покрову отдать?

— К покрову, когда конопельку продадим.

— Ну, хорошо. Конопли я у вас за себя возьму. К покрову ко мне в амбар ссыпайте.

— Слушаем.

Нынче никому почти отказу нет; нынешнею весною я всем даю в долг хлеб, кому на деньги, кому под работу, кому с отдачей хлебом, кому с могарычем, кому без могарыча, смотря по соображению. Потому, во-первых, что нынче у меня у самого всего много, а продажи на хлеб нет, во-вторых, я познакомился с народом, и народ меня знает; в-третьих, я повел хозяйство на новый лад, и работы всякой у меня много.

Да, в прошедшем году преуспело-таки мое хозяйство. Во всем у меня урожай. Судите сами—вот вам сравнительная табличка моих урожаев за 1871 и 1872 годы.

Получено:	в 1871 году	в 1872 году
Ржи	110 кул.	202 кул.
Овса	145 »	265 »
Ячменя	13 »	38 »
Пшеницы	не было	19 »
Льняного семени	6 кулей	18 »
Льну	34 пуда	128 пудов

Всего уродилось вдвое, иного и втрое, против предыдущего года. Да и не в одном только хлебе урожай; в феврале прошлого года у меня было 90 ведер молока, а в феврале нынешнего—200 ведер; в прошедшем году я продал 24 пуда масла, а в нынешнем 56 пудов. В прошедшем году у меня только одна овечка принесла парочку, а в нынешнем году все овцы котили по парочке и все ярочек... Во всем нынче благодать божья—одно только нехорошо, что хлеб (то-есть рожь) дешев и никто его не покупает. Вот если бы при таком урожае да был неурожай у крестьян, да рожь поднялась бы в цене до 12 рублей... Загреб бы денег.

Нынешний год рожь уродилась отлично, но никто ржи не покупает—рад хоть в долг под работы ее распустить.

На пшеницу, лен, пеньку, льняное семя всегда есть покупатели и цены всегда стоят хорошие; на овес хотя цены низки, но тоже есть покупатели,—и я, впрочем, овса не продаю, а весь

скармливаю дома лошадям, скоту, свиньям,—но ржи никто не покупает. Лен, пенька, семя, овес покупаются для отправки в Ригу; рожь для отправки не покупали, и продать ее можно только на винокуренные заводы и крестьянам. Главные покупатели ржи—местные крестьяне, которые покупают ее для собственного пропитания.

В прошедшем, 1872-м году, у нас был урожай хороший. Конечно, крестьянам хлеба до «нови» нехватит, но все-таки же не то, что в 1871 году, когда был неурожай и на рожь, и на яровое. У богачей-крестьян ржи уродилось более, чем нужно для собственного пропитания; у зажиточных крестьян своего хлеба хватит до «нови», у тех, которые покупали с марта, хватит до июня; у тех, которые покупали с января, хватит до марта, и т. д. У помещиков рожь тоже уродилась хорошо—все хотят продать, необходимо должны продать, потому что рожь составляет главную доходную статью помещичьих хозяйств, а между тем цен нет, и, главное, нет покупателей. Вот если бы у помещиков был урожай, а у крестьян неурожай, да если бы не было железной дороги, по которой, в случае неурожая, подвезут хлеба из степи, тогда другое дело, тогда рожь поднялась бы до 12 рублей и ценность работ понизилась бы.

Крестьянин, который не может обернуться своим хлебом, который прикупает хлеба для собственного продовольствия, молит бога, чтобы хлеб был дешев. А помещик, купец-землевладелец, богач-крестьянин молит бога, чтобы хлеб был дорог. Когда погода стоит хорошая, благоприятная для хлеба, когда теплые благодатные дожди сменяются жаркими днями, бедняк-мужик радуется и благодарит бога, а богач, как выражаются крестьяне, все охает и ворчит: «Ах господи!—говорит он:—парит, а потом дождь ударит—ну, как тут быть дорогому хлебу!».

Это выражение крестьян насчет богачей-крестьян рисует положение дела. В самом деле, при существующей системе хозяйства, когда помещики ведут такое же хозяйство, как и крестьяне, т. е. сеют по-старому рожь и овес, только в меньших размерах, чем до «Положения», и вообще продолжают в уменьшенном размере ту же систему хозяйства, какая существовала прежде, помещичьи интересы идут совершенно вразрез с интересами крестьян.

Благосостояние крестьянина вполне зависит от урожая ржи потому что, даже при отличном урожае, большинству крестьян своего хлеба нехватает, и приходится покупать. Чем меньше ржи должен прикупить крестьянин, чем дешевле рожь, тем лучше для крестьянина. Помещик, напротив, всегда продает рожь, и от ржи, при существующей системе хозяйства, получает главный доход. Следовательно, чем дороже рожь, чем более ее требуется, тем для помещика лучше. Масса населения желает,чтобы

хлеб был дешев, а помещики-купцы, землевладельцы, богачи-крестьяне желают, чтобы хлеб был дорог.

Если бы благосостояние крестьян улучшилось, если бы крестьяне не нуждались в хлебе,—что делали бы помещики с своим хлебом? Заметьте при этом еще, что при урожае не только понижается цена хлеба, но, кроме того, возвышается цена работы. Если бы у крестьянина было достаточно хлеба, то разве стал бы он обрабатывать помещичьи поля по тем баснословно низким ценам, по которым обрабатывает их теперь?

Интересы одного класса идут в разрез с интересами другого. Понятно, что помещики не могут выдержать, что помещичьи хозяйства приходят в упадок, что помещичьи земли переходят в руки крестьян-кулаков, мещан, купцов...

Наше хозяйство тогда только будет на верном пути, когда каждый будет желать благодатной погоды, урожая, дешевого хлеба, когда никто не будет с сердцем говорить: «ну, как тут быть дорогому хлебу?»

Продажа ржи нынешней зимой шла очень туго; к весне крестьяне стали покупать, но если бы не распускать в долг, то большая часть хлеба осталась бы в амбаре. Конечно, отпускать в долг без толку невозможно. Мировой, конечно, свое дело делает,—мужик еще очень прост и сейчас сознается, что должен,—но ведь у мирового только бумажное дело, мировой только выдает бумагу—получай потом. В течение двух лет я ознакомился с соседними крестьянами, и они меня узнали; установилось известное взаимное доверие, хотя каждый из нас все помнит пословицу: «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». Вообще не худые отношения. Уплаты денег я никогда не задерживаю, рассчитываю верно, и если о цене не сговорились, то не нажимаю, а плачу по-божески: если же меня нет дома или я занят с гостями, то уплату производит Иван. А то приходит мужик за деньгами—нельзя теперь, барин или барыня спит; приходит другой раз—нельзя, барин с гостями занят; приходит третий раз—денег нет, подожди вот хлеб продам. Верная уплата денег—первое дело, но этого еще мало. Необходимо уметь ценить труд, знать, что чего стоит, и если случится, что мужик прошибется или по крайности, с голоду, возьмет работу за слишком дешевую цену—это часто случается,—нужно вникнуть в дело и расчесть по-божески, чтобы и себе убытку не было, и мужик остался бы доволен. Если мужик не выполняет условия, бросает работу, отказывается от обязательства, то нужно опять-таки вникнуть в дело, разобрать его с толком. Всегда окажется какая-нибудь основательная причина: изменилось семейное положение мужика, цены поднялись, работа не под силу, вообще что-нибудь подобное; мошенничество тут редко бывает. Ни с кем я не сужусь; я еще ни разу не жаловался ни мировому, ни посреднику, ни волост-

ному, а между тем большею частью даю в долг деньги и хлеб без расписок, выдаю задатки без условий, и до сих пор еще никто из крестьян меня не обманывал. Крестьяне судов не любят, и если кто часто судится, о каждой безделице жалуется в волость или мировому, у того работать не будут. Крестьянин никогда не отказывается от долга,—по крайней мере, со мною этого не случалось,—и если не может отдать в срок, просит обождать, и, справившись, отдает или отрабатывает. Да и относительно выполнения работ не могу пожаловаться, чтобы были неисправны: до сих пор все у меня делалось своевременно, но, разумеется, нужно и самому не зевать и в то же время помнить, что у каждого крестьянина есть работа и на своем поле.

Послушать, что говорят разные газетные корреспонденты, так, кажется, и хозяйничать невозможно. Мужик и пьяница, и вор, и мошенник, условий не исполняет, долгов не отдает, с работ уходит, взяв задаток, ленив, дурно работает, портит хозяйский инструмент и пр. и пр. Ничего этого нет; по крайней мере, вот уже три года, как я хозяйничаю, а ничего подобного не видал. Я, конечно, не стану доказывать, что мужик представляет идеал честности, но не нахожу, чтобы он был хуже нас, образованных людей.

Попробуйте давать в долг каждому из ваших знакомых, который попросит у вас взаймы, и посмотрите, как будут отдавать—многие ли отдадут в срок? многие ли не забудут, что должны? Живя в Петербурге, я пришел к тому, что за весьма немногими исключениями, я или вовсе не давал денег взаймы, или если и давал, то записывал деньги в расход, потому что не ожидал получения. С крестьянами же у меня не было ни одного случая обмана. Понятное дело, что я всегда вперед знаю, может ли мужик отдать; если нечем отдать, то полагаюсь на работу, делаю отсрочку, даже иногда еще ссужаю денег на поправку, чтобы дать возможность вывернуться. Разумеется, мужик прост, не знает, что от долга можно отказаться, если нет расписки, боится, как огня, судов, не надеется, что сумеет говорить у судьи, боится проговориться, попасть в тюрьму и т. д. Как бы ни был прав мужик, но он всегда боится, что с деньгами всегда можно его пересудить, да притом и сам обыкновенно не знает, прав он или виноват, а если виноват, то какому подлежит наказанию. Трудно ему это знать потому что разные суды судят по разным законам: так, мировой за неотдачу долга ничего особенного не сделает,—только присудит долг отдать, а в волости, пожалуй, сверх того и выпорют; за увоз двух возов сена мировой в тюрьму посадит на два месяца, а в волости самое большое, что под арестом продержат. Как же тут мужику не бояться? Но этого еще мало, что мужик прост, вывертов не знает (бога боится), он еще крепок земле и всегда впереди ожидает нужды. Сегодня не отдашь

долга—завтра уже не дадут, а кто же знает, что завтра не понадобятся деньги, хлеб, покос, дрова и пр. и пр. Нет, в отношении отдачи долгов мужики гораздо удобнее, чем люди нашего класса, и мне никогда не случалось столько хлопотать о получении с крестьян проданного в долг хлеба, сколько случалось прежде хлопотать о получении из иных редакций денег за статьи. Мужик, говорят, вор; старосты, приставщики, батраки—все, говорят, воры. Опять-таки скажу я: до сих пор ни одного случая воровства у себя не замечал. У старосты на руках и деньги, и хлеб, и вещи, но воровства нет. Авдотья продает творог, молоко, учесть ее нельзя, но я уверен, что она всю выручку приносит сполна. На Сидора я также во всем полагаюсь. Некогда старосте итти в амбар—он посылает работника или работницу отпустить хлеб покупателю, взять муку для телят и т. п., а в амбаре и хлеб, и гвозди, и железо, и сало, и ветчина—все цело, и никто ничего не ворует. Конечно, присмотр, учет необходим, конечно, все зависит от подбора людей, от того *духа*, который сложился в доме, но уже вот почему нельзя сказать, чтобы воровство было *развито* между крестьянами: когда летом мой сын приезжает на вакации в деревню, то он вечно играет и возится с мальчишками из соседней деревни; десятки ребят собираются к нему по праздникам, играют с ним на дворе, бегают по саду, по всем комнатам, и никогда никто из них ничего не тронул, никогда еще ничего у меня не пропало, даже в саду такие соблазнительные вещи, как клубника, горох, огурцы и пр., целы (разумеется, я всегда отдаю сыну в пользование несколько гряд огурцов, гороху, клубники, смородины и пр., а он делится с ребятами). Вот уже третий год, что я живу в деревне, и за все время только раз пропал топор, да и то нет основания предполагать, чтобы он был украден, а, может быть, и так затерялся. Мне кажется, что все зависит от *духа*, который сложился в доме. Я даже не допускаю мысли, чтобы кто-нибудь мог украсть что-нибудь, хотя домашние мои знают, что я судиться не стану, и самое большое, что скажу: «если ты не можешь не воровать, то зачем же ты ко мне нанимался—шел бы в другое место». Я уверен, что вора засмеют товарищи. Впрочем, я опять-таки не хочу идеализировать крестьянина; я знаю, что бывают и старосты, которые воруют, и работники, которые воруют, что существует поговорка: «не клади плохо, не вводи вора в соблазн»; но знаю также, что существует множество людей, которые убеждены, что каждый крестьянин вор, каждый староста вор, каждый работник вор. Вот почему, к тем немногим, которые не считают всех за воров, приходят такие люди, которые не любят воровать, а предпочитают жить спокойно, по совести; те же, которые любят воровать, идут к таким хозяевам, которые всех считают ворами и никому не доверяют. Да ведь и приятнее, должно быть, украсть у того, который всех считает ворами.

Как бы то ни было, но я думаю, что в отношении воровства мужики отнюдь не хуже людей из образованного класса. Существует поговорка: «казенного козла за хвост подержать—можно шубу сшить», и уж, конечно, не мужики создали эту поговорку.

Говорят: не присмотри только, работники при посеве сейчас украдут семена. Какая недобросовестность! Семена украсть! У меня, однако ж, еще ни разу этого не случалось, хотя присмотр не особенный; за круговыми рабочими староста еще смотрит, но *свои батраки* сеют без присмотра.

Конечно, украсть семена во время посева—это из рук вон плохо; но разве не случается, что больным в госпиталях недодают лекарства и пищу?

То же и относительно работников: жалуются, что наши работники ленивы, недобросовестны, дурно работают, не соблюдают условия, уходят с работы, забрав задатки. И в этом случае все зависит от хозяина, от его отношений к рабочим: «известно, что батрак живет хорошим харчем да ласковым словом». Конечно, есть и ленивые люди, есть и прилежные, но я совершенно убежден, что ни с какими работниками нельзя сделать того, что можно сделать с нашими. Наш работник не может, как немец, равномерно работать ежедневно в течение года—он работает порывами. Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся под влиянием тех условий, при которых у нас производятся полевые работы, которые, вследствие климатических условий, должны быть произведены в очень короткий срок. Понятно, что там, где зима коротка или ее вовсе нет, где полевые работы идут чуть не круглый год, где нет таких быстрых перемен в погоде, характер работ совершенно иной, чем у нас, где часто только то и возьмешь, что урвешь! Под влиянием этих различных условий сложился и характер нашего рабочего, который не может работать аккуратно, как немец; но при случае, когда требуется, он может сделать неимоверную работу—разумеется, если хозяин сумеет возбудить в нем необходимую для этого энергию. Люди, которые говорят, что наш работник ленив, обыкновенно не вникают в эту *особенность характера* нашего работника и, видя в нем вялость, неаккуратность к работе, мысленно сравнивая его с немцем, который в наших глазах всегда добросовестен и аккуратен, считают нашего работника недобросовестным ленивцем. Я совершенно согласен, что таких работников, какими мы *представляем себе немцев*, между русскими найти очень трудно, но зато и между немцами трудно найти таких, которые исполнили бы то, что у нас способны исполнить, при случае, например, в покос, все. В России легче найти 1 000 человек солдат, способных в зной, без воды, со всевозможными лишениями, пройти хивинские степи, чем одного жандарма, способного так

безукоризненно честно, как немец, надзирать за порученным ему преступником. Кроме того, сколько ни случалось мне слышать возгласов о лености наших рабочих, я всегда замечал, что говорящий сам не имеет понятия о работе и о той необходимости отдыха через каждые две-три минуты, какую чувствует работник. Посмотрите на производство какой-нибудь трудной работы (человек копает, косит, таскает тяжести)—и вы увидите, что наш работник, даже если он работает вольно, всегда делает работу порывисто, так сказать, через силу, и потому поминутно останавливается, чтобы перевести дух. Барин видит это и, не обращая внимания на то, как человек работает, а замечая только, что он поминутно отдыхает, думает, что он ленится. Между тем писать, например, ведь не трудная работа, а я не могу написать листа без того, чтобы не остановиться несколько раз и не покурить. Рассуждают о лености рабочих, а сами не знают меры работы или измеряют ее тем количеством работы, которое человек может выполнить при исключительных условиях. Каждый знает, что лошадь может с усилием пробежать 20 верст в час, но не может пробежать 200 верст в 10 часов; точно так же и работник может в день перетаскать на тачке 1 $^1/_2$куба земли, но не может в 10 дней перетаскать 15 кубов. Три человека могут скосить в день десятину густого клевера, но в 10 дней скосить 10 десятин не могут. Баба может в день выбрать 2, даже 3 копы льну, но не выберет в 10 дней 20 коп, а если и выберет, то убьется на работе. Хозяину все кажется, что мало сделали, потому что он хочет, чтобы всегда сделали maximum работы, а меры в работе не знает. Конечно, крестьянин, работающий на себя в покос или жнитво, делает страшно много, но зато посмотрите, как он сбивается в это время—узнать человека нельзя. Зато осенью, после уборки, он отдыхает, как никогда не отдыхает батрак, от которого требуют, чтобы он *всегда* работал усиленно и которого считают ленивым, если он не производит maximum работы.

Нет, *наш работник не ленив*, если хозяин понимает работу, знает, что можно требовать, умеет, когда нужно, возбудить энергию и не требует постоянно сверхчеловеческих усилий.

Конечно, крепостное право и тут наложило свое клеймо; под влиянием его сложился особый способ работы, называемый работою «на барина» (даже про сильно кусающих осенью мух крестьяне говорят: «летом муха работает на барина, а осенью на себя»), но теперь уже есть целое поколение молодых людей, не работавших барщины.

Опять-таки я не хочу идеализировать мужика. Конечно, если хозяин плох, если в хозяйстве нет хорошего духа, если хозяин смотрит только, чтобы «от дела не бегал», если работник всегда чувствует, что «барской работы не переделаешь», то бу-

дут и лениться и относиться к делу спустя рукава. Но в этом отношении я не нахожу, чтобы мужики были хуже, чем мы, образованные люди.

Пойдите в любой департамент и посмотрите, как работают чиновники; спросите, много ли есть добросовестно исполняющих свое дело чиновников? Не знаю, как другие, но сколько я ни присматривался, всегда выходило, что большинство относится к делу безучастно, лишь бы время отбыть да жалованье получить. Да что чиновники! много ли в университете профессоров, которые добросовестно работают, не набирают лишних мест и влагают в дело, за которое взялись, свою душу?

А мы хотим, чтобы работники, люди безграмотные, не получившие никакого образования, всю жизнь борющиеся с нуждой, получающие жалованье, которое едва обеспечивает насущный хлеб, являли собою образцы честности, трудолюбия, добросовестности!

Говорят, что батраки работают только на глазах хозяина—ушел хозяин, и работа пошла кое-как. Не спорю, часто это так и бывает: тут все зависит от того, какие подобраны люди, каков хозяин, какой дух господствует в артели. Однако пусть какой-нибудь директор департамента будет сквозь пальцы смотреть на то, ходят ли чиновники в должность—многие ли будут ходить? Пусть какой-нибудь редактор будет зря принимать переводы—много ли у него окажется хороших, добросовестно сделанных переводов? Пусть какой-нибудь редактор попробует без разбору задавать вперед деньги переводчикам или писателям!

Сколько раз мне случалось в департаменте наблюдать чиновников во время службы от 2 до 5 часов, когда они остаются без присмотра—что они делают? Папироски курят, в окна от скуки глазеют,—а и в окна-то ничего не видно, кроме стоящих на дворе курьерских тележек, около которых ямщики от скуки бьются в трынку,—слоняются из угла в угол, болтают о пустяках, словом, время проводят, службу отбывают. Но вот показался начальник—и все по местам, у всех серьезные лица; тот пишет, тот дело перелистывает. Добросовестные люди везде есть, везде есть и ленивцы. Прежде всего нужно, чтобы было настоящее, действительное дело, и потом, чтобы был и хозяин. Можно и чиновников подобрать таких, которые будут добросовестно работать; можно и переводчиков подобрать таких, которые будут доставлять добросовестно сделанные переводы, так что редактору не будет надобности и читать их; можно подобрать и батраков, которые будут добросовестно работать без присмотра.

Не знаю, как другие, но я своими батраками доволен; работают и без присмотра отлично; подойду, никто не хватается за работу; курили—продолжают курить, болтали—продолжают болтать, отдыхали—продолжают отдыхать, а за работу

возьмутся—кипит работа; но об этом я еще будут подробнее говорить в другой раз.

Нынче у меня работы множество, потому что я изменил всю систему хозяйства. Значительная часть работ производится батраками и поденщиками. Работы самые разнообразные: и ляда жгу под пшеницу, и березняки корчую под лен, и луга снял на Днепре, и клеверу насеял, и ржи пропасть, и льну много. Рук нужно бездна. Чтобы иметь работников, необходимо позаботиться заранее, потому что, когда наступит время работ, все будут заняты или дома, или по другим хозяйствам. Такая вербовка рабочих рук производится выдачею вперед денег и хлеба под работы. На определенные издельные работы, особенно на работы, цены которым более постоянны и не могут измениться летом, а устанавливаются уже с весны, а также с крестьянами дальних деревень, при выдаче денег вперед, заключаются условия; на работы же поденные, на работы, цены которым вперед определены быть не могут по их изменчивости, на работы новые, в нашей местности мало известные, словом, на такие, при которых человек, заключивший условие, может быть закрепощен и поставлен в необходимость делать работу по цене для него невыгодной, вследствие чего у него явится соблазн уйти с работы и не выполнить условие, я обыкновенно не делаю условий, а выдаю деньги под работу, с уговором выйти на работу, когда потребуется по «цене как людям». Крестьяне вообще любят такое неопределенное условие, и кому доверяют, то охотно будут работать по «цене как людям», не взяв даже денег вперед. Прошедшею осенью мне нужно было драть облоги под лен,—оповестил соседние деревни. Встречаю потом одного из зажиточных крестьян соседней деревни.

— Что, Кузьма, будешь облогу драть? Мне нынче нужно восемь десятин с осени поднять.

— Буду.

— Почем с десятины?

— Почем людям—потом и нам.

— Четыре думаю дать.

— Маловато будет.

Через несколько дней, вижу Кузьма начал драть облогу. За Кузьмой выехал Панас, потом Листар, потом Кирюха, и все дерут облоги по цене «что людям, то и нам». Так все облоги и подрали по неизвестной цене. Цена потом сложилась как-то сама собою—я даже и отчета себе не могу дать как—по пяти рублей за десятину хозяйственную в 3200 квад. сажень. И цена невысокая, потому что взодрать облогу работа не легкая. Это значит в недавно—сейчас после «Положения»—запущенных и уже задерневеших, превратившихся в луг полях, нарезать дерн полосами от 4 до 5 вершков шириною, для чего употребляется орудие,

называемое отрезом, и затем сохою повернуть полосы так, чтобы десятина была сплошь уложена дернинами, обращенными травой вниз, представляла совершенно ровную поверхность. Работа эта не только трудная, но еще и требующая большого умения со стороны пахаря.

Мне этот способ определения цены, который в первый раз довелось испытать прошлою осенью, так понравился, что нынче цена «что людям» у меня сильно в ходу. Берут деньги, хлеб, дрова, жерди, колья по установленной цене, и, кто не отдаст к светлой (1 июля), обязывается отработать, на чем придется и по цене «что людям».

Работы, повторяю, у меня теперь множество, потому что я изменил систему хозяйства, ввел новости, требующие много рук, и стремлюсь поставить дело так, чтобы быть в состоянии платить рабочим хорошо.

Я сел на хозяйство два года тому назад. Осмотревшись, сообразив условия своего хозяйства, я увидел, что хозяйничать попрежнему, хозяйничать так, как хозяйничает большинство наших помещиков, невозможно. После «Положения» прошло уже 12 лет, но система хозяйства остается у большинства все та же; сеют по-старому рожь, на которую нет цен и которую никто не покупает, чуть у крестьян порядочный урожай; овес, который у нас родится очень плохо; обрабатывают поля по-старому, нанимая крестьян с их лошадьми и орудиями; косят те же плохие лужки, скот держат, как говорится, для навоза, кормят плохо и считают скот хорошо содержанным, если коров по весне не приходится подымать. Система хозяйства не изменилась, все ведется по-старому, как было до «Положения», при крепостном праве, с тою только разницею, что запашки уменьшены более чем на половину, обработка земли производится еще хуже, чем прежде, количество кормов уменьшилось, потому что луга не очищаются, не осушаются и зарастают; скотоводство же пришло в совершенный упадок. Когда я в первом же году познакомился с состоянием окрестных хозяйств, то положение, что «так хозяйствовать невозможно», сделалось для меня еще яснее, ибо я увидал, что большинство хозяйств в течение 12 лет успело уже притти в совершенное расстройство, множество хуторов совершенно запущены, а большинство помещиков, бросив имения, убежало на службу. Действительно, проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля, если бы не было видно, что это разрушение не насильственное, но постепенное, что все рушится само собой, пропадает измором. При крепостном праве мы ничего не успели сделать в хозяйственном отношении, и потому уже от крепостного права осталось очень мало; следы его еще заметны, потому что остались березовые рощи, которые

всегда насаждались около помещичьих усадьб, и прорванные плотины, которыми запруживались речки для того, чтобы иметь подле дому «для вида», «для рыбы», «для водопоя» пруды. В моем имении видны еще остатки пяти плотин, потому что в различные времена различные бывшие владельцы этого имения, несколько раз переносившие усадьбы с одного места на другое, делали плотины на новых местах, чтобы иметь пруды подле дома.

Таким образом, и соображения, так сказать, теоретические, и наблюдения практические убедили меня, что так хозяйничать, как хозяйничает теперь большинство, невозможно, и лучшее доказательство этой невозможности то, что хозяйства все более и более приходят в упадок, а хозяева разбегаются, кто куда может.

Нужно изменить систему хозяйства, но как изменить? Рядом соображений теоретических, как человек в хозяйстве совершенно новый и, следовательно, не имеющий никаких традиций, не привыкший ни к чему, и спокойно, без боли, ломающий старое, как человек, никогда агрономией не занимавшийся, рядом логических выводов, основанных на научных истинах, я пришел к сознанию необходимости изменить систему и стал изменять. Это нехорошо, это невыгодно, какое мне дело, что так делали прежде! Это невыгодно, значит, этого делать не нужно, значит, нужно делать иначе: попробуем иначе и т. д.

Для того чтобы получить наибольшую выгоду от хозяйства, при существующей системе, необходимо, чтобы хлеб был дорог, вследствие чего работа будет дешева, то-есть необходимо, чтобы крестьяне бедствовали. Если у крестьян будет довольно хлеба, если они найдут, из чего выплатить повинности, словом, если крестьяне будут благоденствовать, то хозяйство при существующей системе немыслимо: каждый помещик, каждый приказчик, каждый староста вам скажет, что если бы крестьяне не нуждались, то он не мог бы хозяйничать. Но ведь желательно, чтобы крестьяне не голодали и, в то же время, чтобы мое хозяйство шло мне не в убыток. Нужно, значит, изменить систему. Я изменил систему хозяйства и, увидав скоро, что попал верно, пошел вперед на пролом. Присмотревшись затем к немногим существующим у нас хозяйствам, которые после «Положения» не пришли в упадок, я увидал в них до известной степени осуществление тех же положений, к которым я пришел на основании теоретических соображений. Это еще более укрепило меня, и я малопомалу стал расширять хозяйство, неуклонно держась выработанной системы. Все мне благоприятствовало, все пошло успешно, как и ожидать нельзя было. В настоящее время даже крестьяне одобряют мое хозяйство, не косятся на мои нововведения и часто говорят про меня, что я все «хозяйственное» завожу. Первый год, когда я начал сеять лен, крестьяне говорили, что лен

у нас не родится,—теперь все убедились, что лен родится отлично и приносит огромные выгоды. Говорили, что лен портит землю, а между тем после льна рожь уродилась такая, что лучшей в поле не было. Говорили, что я не найду на лен рабочих, а теперь, для выборки льна, за раз пришло 50 поденщиц. Говорят: «отчего же и не итти, когда вы цену хорошую даете».

Таким образом, придя, на основании теоретических соображений, к необходимости изменить систему хозяйства, я стал всматриваться в существующее у помещиков хозяйство и старался определить, каким образом могла удержаться еще до сих пор старая система.

Старая система, такая, по которой хозяйствовали до «Положения», еще держится в большинстве хозяйств (ее же я нашел и в своем хозяйстве), только размеры хозяйств уменьшены. Каким образом может держаться такая система?

Вникнув в положение крестьян, в их отношения к помещикам, ознакомившись с ценами на труд, поняв условия, коими определяются цены на работу и пр., я убедился, что существующая система хозяйства держится только потому, что труд неимоверно дешев, что крестьянин обрабатывает помещичьи поля по крайне низким ценам только по необходимости, по причине своего бедственного положения. Так как такой порядок вещей не может долго держаться, и человек незакрепощенный будет голодать год, два, три, но, наконец, найдет-таки себе выход, то для меня сделалось несомненным, что наступит такое время,—и скоро наступит, уже наступает,—когда крестьяне не станут обрабатывать землю за такие дешевые цены, как теперь. Ясно, что тогда старая система хозяйства должна рушиться и замениться новою—иною.

Результатом моих исследований о ценах на труд была статья «Дороговизна ли рабочих рук составляет больное место нашего хозяйства», помещенная в № 2 «Отечественных записок» за 1873 год.

В этой статье я фактами доказал, что рабочие руки у нас чрезвычайно дешевы, что крестьянин, обрабатывая издельно господские поля, еле-еле зарабатывает, буквально, корку хлеба, что не дороговизна рабочих составляет больное место нашего хозяйства, а нечто другое.

Статья моя не осталась без ответа. В «Земледельческой газете», органе министерства государственных имуществ, мне случилось прочитать рецензию на мою статью. Рецензент соглашается со мной, что рабочий у нас получает очень мало—еще бы не согласиться, когда я могу условиями, заключенными с крестьянами, подтвердить все числовые данные моей статьи!—но в то же время старается доказать, что хотя рабочий у нас получает мало, очень мало, но работа его дорога, так что в своих

жалобах на дороговизну рабочих рук правы и землевладельцы. То-есть... «принимая во внимание, с одной стороны, и имея в виду, с другой стороны», и т. д., и т. д.

Но зачем же быть несправедливым, зачем затемнять вопрос?

Никогда и нигде у нас землевладельцы не сознавали, что рабочий получает слишком мало, и никогда не жаловались *только* на дороговизну работы. Если бы землевладельцы действительно ставили вопрос так, как его ставит рецензент «Земледельческой газеты», то они не жаловались бы на *дороговизну рабочих*, но изыскивали бы средства к *удешевлению самой работы*, т. е. не только оставляя рабочему ту плату, которую он теперь получает, но даже повышая ее, старались бы введением усовершенствованных орудий и т. п. увеличить производительность работы. В этом смысле не на кого даже и жаловаться, потому что это значило бы жаловаться на самого себя, на свою неумелость. К чему жаловаться на то, что труд не производителен? Кому жаловаться и зачем? Разве хозяину кто-нибудь запрещает вводить ту или другую систему хозяйства, употреблять те или другие орудия, содержать тот или другой скот, кормить или не кормить лошадей овсом, возить навоз в повозках с железными осями? На что же тут жаловаться?

Нет, землевладельцы жалуются совсем не на то: они жалуются именно на дороговизну рабочих рук, они именно говорят, что заработная плата слишком велика, что крестьяне слишком дорого берут за обработку земли; они хотят, чтобы крестьянин брал за обработку круга не 25 рублей, а 10; они хотят таких мер, так сказать, такс, которые, противу теперешнего, понизили бы цены за обработку; они боятся того, чтобы крестьяне совсем не перестали работать по тем ценам, как теперь. Рецензент, очевидно, живет в Петербурге, близко землевладельцев не знает, в сношениях с ними не находится,—хотя, впрочем, по газетным корреспонденциям, по заявлениям хозяйственных обществ и пр. видно, что дело идет прямо об изыскании средств к уменьшению дороговизны рабочих рук и к регламентации отношений работника к хозяину. В таком именно смысле поставлен вопрос и петербургским собранием сельских хозяев, которое в своем объявлении говорит так: «самое больное место в хозяйстве настоящего времени составляет, бесспорно, дороговизна рабочих рук, а иногда и совершенное их отсутствие, притом в самую горячую пору, т. е. во время сенокоса и жатвы. Так, в Херсонской и Таврической губерниях в минувшее лето платили: за выкос десятины по 10 руб., а за уборку хлеба по 20 руб.; в Московской губернии косец стоит 75 копеек в сутки. Желательно было бы слышать доклад, в котором бы указаны были причины дороговизны рабочих рук из местной практики и соответственно этим причинам предложены были меры к удешевлению земледельче-

ского труда. При этом было бы полезно коснуться, кстати, вопроса о ненормальности во многих случаях отношений между нанимателями и рабочими, что, как известно, составляет предмет разработки особой правительственной комиссии».

Вопрос поставлен так ясно, как яснее не нужно. Очевидно, что речь идет буквально о понижении рабочей платы, а не о том, как при данной плате увеличить производительность труда и удешевить работу. Самые цифры это показывают. Цена 75 копеек косцу признается слишком высокою, и желают, чтобы она была уменьшена. Тут уже ясно, что не о малой производительности работы идет речь, потому что даже у нас,—далеко от Москвы, где сено не ценится так высоко,—при хорошем урожае травы, на покосе каждый рабочий кругом, мужчина и женщина, вырабатывает хозяину сена на 2 рубля в день. Следовательно, или хозяину мало заработать в день на каждом работнике 1 руб. 25 коп. (нужно заметить, что женщины никогда не получают 75 копеек, а самое большое 40), или он косит плохие покосы себе в убыток. Об Таврической губернии не говорю, потому что тамошних условий не знаю. Дело просто, и рецензент «Земледельческой газеты» напрасно старается повернуть вопрос в другую сторону. Неверная постановка вопроса была причиною, что рецензент, наобещав сначала много, так что можно было ожидать от него серьезной разработки вопроса, разрешился небольшой фельетонной статейкой. «В своем доме и стены помогают», говорит пословица, а так как у рецензента нет «дома», то в его статье под конец все стушевалось и сошло на-нет.

Рецензент упрекает меня, что я категорически не высказался относительно того, как выйти из настоящего положения, т. е. как повести хозяйство, чтобы иметь возможность платить рабочему больше и самому не быть в убытке. Рецензент говорит, что я высказался по этому вопросу как-то нерешительно и обычные у меня последовательность и ясность в изложении тут как бы изменяют мне.

Конечно, я не высказался, да и не хотел высказываться, даже не мог. В моей статье я хотел доказать прежде всего, что плата за земледельческий труд у нас чрезвычайно низка, что рабочий за самую тяжелую сельскую работу не получает даже столько, сколько необходимо для поддержания, посредством пищи, организма в нормальном состоянии, что нет профессии, в которой труд оплачивался бы ниже, чем тяжелый труд земледельца. Я думаю, что я это доказал; я думаю, что цифры, которые я привел, цифры, которые я могу подтвердить документально, убедили каждого, что земледельческий труд у нас чрезвычайно дешев. Затем, я старался уяснить причину такой дешевизны труда и почему именно крестьяне обрабатывают теперь помещичьи поля за такую низкую цену; я указал, что причину эту прежде всего со-

ставляет необходимость в покосах, лесе, выгонах и пр., а потом бедность и несостоятельность в уплате податей. На этом я остановился, но должен был бы прибавить, что есть и еще причина бедности земледельцев—это разобщенность в их действиях. Эта разобщенность в действиях очень важна, и я намерен говорить о ней подробно в особой статье. Теперь же я только укажу, что я понимаю под словами разобщенность в действиях. Крестьяне живут отдельными дворами и каждый двор имеет свое отдельное хозяйство, которое и ведет по собственному усмотрению. Поясню примером: в деревне, лежащей от меня в полуверсте, с бытом которой я познакомился до тонкости, находится 14 дворов. В этих 14 дворах ежедневно топится 14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых материалов, топлива и пр! Если бы все 14 дворов сообща пекли хлеб и готовили пищу, т. е. имели общую столовую, то достаточно было бы топить две печи и иметь двух хозяек. И хлеб обходился бы дешевле, и пищевых материалов тратилось бы менее. Далее, зимою каждый двор должен иметь человека для ухода за скотом, между тем как для всего деревенского скота было бы достаточно двух человек; ежедневно во время молотьбы хлеба 14 человек заняты сушкою хлеба в овинах; хлеб лежит в 14 маленьких сараях; сено—в 14 пунях и т. д. Мне, помещику, например, все обходится несравненно дешевле, чем крестьянам, потому что у меня все делается огульно, сообща. У меня ежедневно все 22 человека рабочих обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка, в одной печи. Весь скот стоит на одном дворе. Все сено, весь хлеб положены в одном сарае и т. д. Мои батраки, конечно, работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают артелью, то во многих случаях, например, при уборке сена, хлеба, молотьбе и т. п., сделают более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке на себя... Но об этом нужно будет еще поговорить подробнее в другой раз, хотя бы для того, чтобы указать, что с каждым годом разобщенность в действиях крестьян все более и более увеличивается, так что многие работы, которые еще несколько лет тому назад исполнялись сообща, огульно целою деревнею, теперь делаются отдельно каждым двором.

Но обращаюсь к своей статье: указав на дешевизну труда и причины, обусловливающие эту дешевизну, я пояснил, что только при этой дешевизне возможно существование той системы хозяйства, которую до сих пор продолжают помещики. Лишь только крестьяне станут в лучшее положение,—а это должно же когда-нибудь совершиться,—ценность издельных работ, плата за обработку земли кругами должна повыситься, да и число охотников брать круги сильно убавится. Даже и теперь крестьяне позажиточнее, хорошие работники, берут на обработку кружки,

главным образом, для того, чтобы иметь приволье для скота, но стремление к этому приволью есть следствие косности крестьян, и во многих случаях, если бы крестьяне только согласились нанять общего пастуха для лошадей, то зависимость их от помещика много убавилась бы. Каждый крестьянин очень хорошо понимает, что если бы он приложил свой труд, который употребляет для обработки круга помещику, к своей или арендованной земле, то заработал бы более. Как только ценность издельной платы за круги подымется выше известной нормы, то землевладельцы сами собой должны будут перейти к батрачному хозяйству. А батрачное хозяйство, испытанное уже многими, признается невыгодным при продолжении существующей системы хозяйства. Как же изменить эту систему? Рецензент упрекает меня в том, что я не высказался в этом отношении. Отвечу, что это, во-первых, не входило в план моей статьи, а, во-вторых, порешить подобный вопрос совсем не так просто. Рецензент, думающий иначе и полагающий, что в небольшом фельетончике можно порешить такой вопрос, сам высказался по этому поводу. Он думает, что плату рабочему можно было бы повысить, если бы ему даны были усовершенствованные орудия и пр. «Дайте работнику в руки,—говорит рецензент,—лучшую лошадь, вместо сохи—плуг и скоропашку, вместо лукошка—сеялку, вместо цепа—молотилку, и он перестанет болтать землю, ту же полезную работу будет производить в кратчайшее время и даже с меньшим физическим истомлением, тогда он может потребовать, и каждый хозяин, помимо всяких филантропических соображений, даст ему высшую поденную плату».

Так-с. Как бы хорошо было, если бы сложные хозяйственные вопросы можно было разрешать так просто.

Машины, значит, и усовершенствованные орудия завести. Но пусть же рецензент или редактор—статья не подписана и помещена в «Земледельческой газете» в виде передовой, следовательно, ее можно считать исходящей от редакции,—поймет, почему я не высказываюсь так легко относительно мер, необходимых для возвышения нашего хозяйства. Пусть он вникнет в различие наших положений. Заведите плуги, двухколесные тачки, скоропашки и пр., и вы будете в состоянии более платить работнику. Лицо, занимающееся хозяйством на бумаге, в департаменте, в редакции журнала, может, конечно, так говорить, а я не могу. Он написал статью, посоветовал хозяевам тачки или плуги, и дело кончено... Через неделю он напишет другую статью, в которой посоветует для улучшения нашего хозяйства выписывать симентальский скот; потом посоветует улучшать луга посредством компостов. Статья следует за статьей, совет за советом, номер газеты выходит за номером, исписываются кипы бумаги и больше ничего. Кто же может потребовать от поставщика

хозяйственных статей, хозяйством не занимающегося, чтобы он на деле указал применимость его советов, выражаемых притом всегда с оговорками и в общих соображениях.

Но я так поступать не могу. Я практический хозяин. Если я скажу: пашите плугами, и вы будете в состоянии платить работнику не ½ копейки за проход версты, а 3 копейки, то мне каждый, ну, хоть мой ближайший сосед, вправе сказать: «докажи это на своем хозяйстве».

Я говорю: работник у нас дешев, работник получает слишком мало, и могу доказать это документом. Если я скажу: поступайте в хозяйстве так-то и так-то, то мне скажут: ты практический хозяин—докажи. Кто же будет требовать от редактора газеты, который никакого хозяйства не ведет, практических доказательств применимости его положений? Ведь он пишет, потому что ему нужно что-нибудь писать. Ведь никто же не скажет редактору: ты проповедуешь то-то и то-то; вот тебе земля и деньги—сделай, покажи, как нужно хозяйничать. А мне каждый может сказать: ты советуешь то-то и то-то, отчего же ты этого не делаешь? Если «Земледельческая газета» не будет сообщать ничего полезного, то самое большее—ее читать не будут...

Обращаясь к частностям, скажу только, что у нас вообще слишком много значения придают усовершенствованным машинам и орудиям, тогда как машины самое последнее дело. Различные факторы в хозяйстве, по их значению, идут в таком порядке: прежде всего хоязин, потому что от него зависит вся система хозяйства и, если система дурна, то никакие машины не помогут; потом работник, потому что в живом деле живое всегда имеет перевес над мертвым; хозяйство не фабрика, где люди имеют второстепенное значение, где стругающий станок важнее, чем человек, спускающий ремень со шкива; в хозяйстве человек—прежде всего; потом лошадь, потому что на дурной лошади—плуг окажется бесполезным; потом уже машины и орудия. Но ни машины, ни симентальский скот, ни работники не могут улучшить наши хозяйства. Его улучшить могут только хозяева.

А покуда позвольте рассказать как я осенью ездил в губернию на сельскохозяйственную выставку, устроенную нашим обществом сельского хозяйства.

Получив извещение, что в нашем губернском городе будет выставка продуктов сельского хозяйства, земледельческих орудий и машин, скота, лошадей, что во время выставки будут заседания нашего общества сельского хозяйства, с целью обсуждения различных вопросов, касающихся местного хозяйства, я очень обрадовался представляющейся возможности обменяться мыслями с практическими хозяевами и учеными агрономами,

возможности посмотреть результаты улучшенных хозяйств и решился—хотя по приблизительному расчету поездка должна была обойтись рублей в тридцать—поехать на выставку, взяв с собою, в качестве практического эксперта, моего старшего работника Сидора.

Убедившись в невозможности продолжать старую систему хозяйства и приняв решение ввести новую, я убедился, что мне предстоит все до основания изменить в своем хозяйстве. В общих чертах решать подобные вопросы очень легко. «Одно из средств,—говорится в «Земледельческой газете»,—выхода из настоящего критического положения заключается в сумме тех мер, которые могут поднять хозяйство землевладельцев, вызвать улучшенное хозяйствование, следовательно, прекращение системы сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и пр. и пр». Что касается мер вызвать улучшенное хозяйствование, то я думаю, что самая лучшая мера—необходимость. Какое же может быть улучшение в хозяйствах, когда хозяева занимаются службою и в имениях не живут? Пока я находился на службе, которая давала мне средства для жизни, то я хозяйством не занимался и об улучшениях в нем не думал; но раз пришлось сесть на хозяйство—необходимость, именно необходимость дела, побудила меня вникнуть в хозяйство.

«Прекращение системы сдачи полей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и проч. и проч...»

Но ведь это все только общие фразы. Нужно изменить систему полеводства,—без этого батрачное хозяйство немыслимо,—но какою системою заменить старую? Нужно завести усовершенствованные машины и орудия,—но какие? Какие породы скота завести? Как улучшить луга? Тысячи вопросов являются сами собою,—нужно подумать обо всем, начиная от шкворня в телеге и кончая системою полеводства.

Наша хозяйственная литература не дает ответа на эти вопросы, потому что за немногими исключениями, журналы наполняются статьями, написанными людьми, которые никогда хозяйства не вели и практикою дела не занимались. Кроме того, у нас вовсе нет местной хозяйственной литературы, нет органов, в которых бы помещались статьи местных хозяев-практиков, да и вообще мало хозяев, которые бы что-нибудь сообщали печатно о своей деятельности.

А между тем мне нужно поставить хозяйство на новый лад и, главное, нужно сделать это без капитала, то-есть нужно найти средства для улучшений в самом хозяйстве.

Если бы у меня был свободный капитал, который бы я мог употребить на долгосрочные затраты, на производство опытов, по большей части никакого дохода не приносящих, если бы я не боялся стоющих денег ошибок и пр.,—тогда другое дело. Но когда я сел на хозяйство, то у меня не только свободного, но даже и необходимого оборотного капитала не было; мало того, не было средств к жизни, так что я для того, чтобы не брать капитала из хозяйства, должен был отказывать себе во всем, даже в белом хлебе, в покойном экипаже, во всех жизненных удобствах, которыми пользовался, живя в Петербурге. Я должен был найти в самом имении средства не только к жизни, не только к продолжению хозяйства, но и к тому, чтобы сделать улучшения, а эти улучшения влекли за собою изменение всей системы хозяйства. Каждая ошибка могла надолго затянуть дело. А тут еще подоспел неурожай в первый год моего хозяйства, недостаток в корме, сам я сломал ногу и больной пролежал целое лето.

Хозяйство—дело сложное, и делать изменения в системе хозяйства не шутка. Литература хозяйственная, повторяю, принесла мне мало пользы. Я читал и руководства, читал и статьи в журнале—привычку к чтению я имею, усваиваю прочитанное легко, умею отличать существенное от несущественного. Но в книгах и журналах я не находил того, что мне нужно, не мог ориентироваться в массе один другому противоречащих фактов, не находил живой воды, которой искал, а мертвечина мне была не нужна. Я уже высказался в предыдущем письме насчет нашей сельскохозяйственной литературы и повторяю теперь, что из чтения книг я ничего не извлек для себя полезного. Я зачитывался до помрачения рассудка, разыскивая нужные мне сведения, и ничего не находил. Сколько раз я приходил в уныние, полагая, что я уже отупел и оттого не нахожу в книгах разрешения моих сомнений, полагая, что я от старости не могу уже перейти к занятиям новым предметом. Вопрос «почему?» никогда не сходил у меня с языка, и я сидел над каждым агрономическим вопросом с этим «почему». Я хотел ясных ответов, хотел обточить, отделать каждое решение, уяснить себе и другим. Читаю, бывало, читаю, пойду советоваться с Авдотьей,—нет, говорит она, это не так, из этого ничего не выйдет. Я потерял веру в книги и бросил их, в чем Авдотья имела огромное влияние своим вечным «пустые эти ваши книги». И действительно, пустые.

Мои научные познания, именно знания химии и других естественных наук, мое знание людей, их ощущений, страстей, слабых сторон и пр.—вот что составляло мою силу. Научные знания, стремление во всем добиваться ясности, были важны для постройки всей системы хозяйства; знание людей принесло пользу для приобретения в рабочих себе помощников. Практические хозяйственные знания Ивана, Сидора, Авдотьи, «старухи»

составляли вторую силу. Но всего этого было мало для того, чтобы быстро двинуться вперед.

Понятно, что при таких условиях я и руками и ногами ухватился за мысль ехать на выставку и взять туда с собою Сидора для того, чтобы показать ему, что достигают в хозяйствах другие, чего мы должны достигнуть и посредством каких орудий это достигается. То-то, думал я, удивится Сидор, когда увидит настоящий скот, настоящих баранов и свиней, настоящих скотников...

Вся поездка обойдется в 30 рублей. Конечно, на эти деньги можно обработать лишнюю десятину льна и получить 50 рублей барыша. Но ведь наука никому не обходится даром и притом 30 рублей, употребленных на поездку, могут дать тысячи, если мы научимся и сумеем применить узнанное.

Более всего я рассчитывал на встречу с сельскими хозяевами, членами нашего общества. Для нас, землевладельцев, по крайней мере, для тех, которые не сумели пристроиться к какой-нибудь службе, в настоящее время вопросы хозяйственные— самые жизненные вопросы. Все жалуются и стонут,—понятно, что при таких условиях каждый воспользуется случаем совместно с другими обсудить те вопросы, которые его интересуют.

Будут заседания нашего общества, следовательно, думал я, будут и обсуждаться важные для местного хозяйства вопросы. Познакомлюсь с членами общества, послушаю опытных хозяев, послушаю, что будут говорить ученые агрономы, которые приедут на выставку, как будут они отвечать на наши практикою вызываемые вопросы. Познакомлюсь с практическими хозяевами, которые съедутся с разных концов нашей губернии познакомлюсь с учеными агрономами; в частных беседах, за стаканом вина потолкуем о хозяйстве; расспрошу все, узнаю, что где и как, какие где существуют системы хозяйства, какие изменения в хозяйстве сделаны после «Положения», как идет батрачное хозяйство, какие отношения между хозяевами и батраками, как лучше—«по-божески», или «по условиям», какая многопольная система выгоднее оказалась на практике, какие где введены усовершенствованные машины и орудия, какие породы скота признаются наиболее соответствующими нашему хозяйству, какая система улучшения скотоводства рациональнее, что выгоднее, продать ли мои 100 штук скота, стоющие много-много 1 200 рублей, и на эти деньги купить 6 штук по 200 рублей, или принять другую систему; например, продать 30 штук и на вырученные деньги купить у г. Голяшкина под Москвою швицкого быка, или, наконец, улучшить свою породу скота. Какая система скотоводства выгоднее, молочная или мясная? каким образом достигнуть того, чтобы навоз не обходился у нас так дорого, как

теперь? Как улучшить луга и выгоны? и пр. и пр. Тысячи вопросов представляются каждому, кто задумал улучшить свое хозяйство, начиная с вопроса, как устроить уздечку для рабочей лошади, имея в виду привычку крестьянина, а следовательно, и каждого работника, постоянно дергать лошадь за вожжи, и кончая вопросом о системе полеводства. На все эти вопросы я думал найти если не разрешение, то, по крайней мере, данные для обсуждения. Съедутся хозяева на выставку, познакомимся, и, разумеется, думал я, первое слово: вы сеете лен, клевер? какой у вас скот? и т. д. Наконец, и самая выставка: посмотрю выставленных рабочих лошадей, сейчас будет видно, какие лошади предпочитаются в наших хозяйствах, узнаю, откуда приобретаются рабочие лошади и по каким ценам, какие заводы рабочих лошадей считаются лучшими; может быть, даже куплю на выставке несколько хороших лошадок. Будет на выставке скот, который составляет такую важную отрасль хозяйства, что бесспорно от того или другого состояния скотоводства зависит вся доходность имения, обусловливаемая большею или меньшею ценностью навоза. При существующем скотоводстве, навоз нам, помещикам—говорю помещикам, потому что у помещиков[1] другое дело—обходится так дорого, что нельзя вести хозяйства на покупном корме; если кто станет покупать корм и им кормить скот, то навоз ему обойдется в такую цену, что у него всегда будет убыток от полеводства. Ясно, что нужно поставить скотоводство в такое положение, чтобы скот окупал корм и навоз обходился как можно дешевле. На выставке я надеялся познакомиться с породами скота, предпочитаемыми в наших улучшенных хозяйствах, надеялся узнать, чей скот лучший, откуда можно достать хороший скот, какая система содержания предпочитается практиками-скотоводами. Опять тоже думал, что Сидор увидит, как обращаются хозяева со скотом, как его кормят, чистят, познакомится со скотниками, порасспросит, что и как—малый, знаю, ловкий, все разведает. Овцы тоже чрезвычайно важная статья в крестьянском хозяйстве, потому что овца у мужика не только окупает корм и дает навоз даром, но еще доход приносит. Прокормить зиму овцу стоит не более трех рублей, а доходу она дает, если принесет парочку, рублей шесть. Устроители выставки, зная это, без сомнения, обратят особенное внимание на овцеводство, соберут овец из различных местностей. Посмотрю, что будет выставлено, и непременно постараюсь в заседаниях общества поднять вопрос о нашем овцеводстве. Будут выставлены машины и орудия—это тоже по части Сидора: он сейчас заметит, что нам можно перенять, я срисую, а потом и сделаем дома, что можно. Особенно интересовали нас с Си-

[1] Во 2 изд. вместо «у помещиков» — «у крестьян» — *Ред.*

дором, с которым у меня было длинное совещание насчет поездки, перевозочные средства: повозки, тачки, упряжь. До постоянного употребления плугов нам еще далеко, но все-таки любопытно было бы посмотреть, как пашут плугами. Надеялся я также, что выставлены будут модели и рисунки хозяйственных построек скотных дворов. На Московской выставке, говорят, был выставлен целый образцовый дом для помещика средней руки с образцовою библиотекою, в которой стояли те книги, которые обязан читать помещик средней руки. Гриша—плотник, который ходил работать на выставку,—вернувшись в деревню, рассказывал, что он строил на выставке «форменный дом» для панов. Крестьяне готовы были думать, что скоро начальники будут объезжать панские дворы, смотреть, у всех ли форменные дома. Конечно, я не поверил этому, но все-таки думал: осведомлюсь на выставке у начальников, какой это такой дом форменный на Московской выставке был? Хоть чертежик посмотрю. Может, не вышло ли какого положения, денег помещикам не дают ли для постройки форменных домов?

Посмотрю, какой хлеб выставят наши производители. Решено. Еду. Куда ни шло—30 рублей пожертвую.

Грешный человек, и проветриться захотелось; захотелось посмотреть цивилизованных людей, которые носят сюртуки, а не полузипунники, пьют шампанское, а не водку, едят разные финзербы, а не пушной хлеб, исправно получают жалованье и не платят никаких податей, не боятся не только волостного, но даже и самого исправника.

Может, и таких увижу, которых сам исправник боится. Хотелось и по мостовой проехать, и по тротуару пройти, и музыки послушать, в клуб завернуть, в театре побывать, посмотреть женщин, которые носят красивые ботинки, чистые перчатки. Странное дело, кажется, я уж привык к деревне, скоро три года только и вижу полузипунники, лапти, уродливо повязанные головы, обоняю запах капусты, навоза, сыворотки. Только и слышу: «Эй, Проська, ступай, курва, свиньям месить». «Чаго?» «Свиньям ходи месить, стерва» и т. д. Кажется, должно бы попривыкнуть, а нет,—так и тянет в город. Хоть бы на часок к Эрберу... выпить с приятелем стакан вина, съесть десяток устриц, поболтать, посидеть с женщинами, от которых не пахнет навозом и кислым молоком, как от подойщиц.

Начались сборы. Нужно было совершенно преобразиться. Дома осенью я всегда хожу в высоких сапогах, в красной фланелевой рубахе и полушубке—костюм, к которому я логически пришел в деревне, костюм, чрезвычайно удобный и даже красивый, потому что яркий красный цвет составляет приятное разнообразие в сопоставлении с серым небом, серою погодою, серыми постройками, серыми пашнями. Но явиться в таком ко-

стюме на выставку—хотя бы, кажется, этот деревенский костюм очень шел к хозяйственной выставке—я не решился, потому что это могли бы принять за оригинальничание или еще того хуже. В городе нужно быть одетым по-городски.

По обычаю, каждый помещик, приезжая в губернию, представляется начальнику, следовательно, нужно взять фрак и черную пару. Для визитов, обедов, заседаний—нужен сюртук. Для ежедневного посещения выстаки—костюм. Нужно еще было взять шубку, пальто, галоши, тонкое белье, словом, множество вещей, входящих в состав одеяния цивилизованного человека. Вещей различных набралось очень много. Предстояло еще Сидора, который ехал со мной за «человека», ознакомить с назначением и употреблением каждой вещи. Это я поручил Савельичу, который, как человек бывалый и в Петербурге у генерала служивший, знает, что и к чему. Дней за десять до отъезда начались сборы; Савельич вытащил платье, которое лежало нераспакованным со времени моего приезда в деревню, и стал учить Сидора, что, как и чем следует чистить, что после чего подавать. Оказались разные изъяны; фрак заплесневел, слежался и так измялся, что как его Савельич ни чистил, расправить не мог; наконец, после продолжительной возни Савельич объявил мне, что с фраком ничего не поделаешь, и советовал поносить фрак, чтобы проветрить и размять.

— Да где же я его буду носить?

— Гулять изволите пойти—можно надеть.

— Да смотрите, чтобы коровы не зализали, как на скотный двор пойдете,—вставила Авдотья.

Савельич, искоса, с едва заметной презрительной улыбкой, посмотрел на Авдотью.

— По саду изволите прогуляться, чтобы пообветрило, разносится, лучше сидеть будет.

— А фрак-то вам узок стал, раздобрели в деревне,—заметила Авдотья.

Несколько дней я щеголял во фраке: ходил во фраке на скотный двор, на пустошь, где производилась грабарами расчистка, гулял по саду, где шла садка кустов. Фрак действительно разносился.

С сюртуком тоже случилась оказия: вынимая его из чемодана, Савельич как-то зацепил за пряжку и разодрал рукав на самом видном месте. Что тут делать? Единственный местный портной, старик Михаил Иваныч,—настоящий ученый московский портной из прежних дворовых, такой, что мог бы не только подчинить сюртук, но даже вывернуть старый и переделать заново на первый сорт,—за которым я послал тотчас же,—не оказался дома: уехал куда-то далеко обшивать на зиму какое-то семейство. Ну, что тут делать? Разве взять с собою и отдать ко-

му-нибудь в губернии починить? Однако обошлись домашними средствами: Сидор взялся зачинить разорванный рукав. Оказалось, что Сидор—чего я не знал—швец; до поступления ко мне он летом работал дома, а зимою был швецом, то-есть ходил по деревням шить полушубки, армяки, зипуны. Когда Сидор объявил, что зачинит сюртук, я никак не мог поверить, чтобы он мог исполнить такую тонкую работу. Сидор летом постоянно работает на огороде, возит грабарские тачки земли, косит, ездит кучером и вообще исполняет всякие работы по хозяйству; кожа у него на руках такая же толстая, как у носорога; большим пальцем руки он вдавливает гвоздь в стену, зимою в 15° мороза без перчаток правит тройкой гуськом запряженных бойких лошадей.

— Да как же ты будешь чинить такую тонкую штуку?

— Съезжу в Бардино и попрошу у горничной махонькую иголочку и шелчинку.

— Маленькая иголочка и шелчинка и у меня есть, да починишь ли ты?

— Починю-с, пожалуйте иголочку самую махонькую.

И действительно починил, так хорошо починил, что когда я потом показал починку Михаилу Ивановичу, то он объявил, что и сам лучше не сделал бы, потому что теперь у него глаза стали стары.

Уложившись накануне и делая во время вечернего доклада старосты распоряжения на время моего отсутствия, я, между прочим, сказал ему, что еду в губернию, собственно, на выставку.

— А разве нынче выставка будет, А. Н.?

— Будет.

— С господ, должно быть, на выставку собирали?

— Как с господ?

— У нас ничего до сих пор не слышно. Нынче с крестьян ничего на выставку не выбивали, должно быть, только с господ сбор.

— А разве прежде крестьяне посылали что-нибудь на выставку?

— На прошлую выставку, что скоро после «Положения» была, со всех собирали, приказ был, чтобы что ни на есть лучший хлеб представить в казну на просмотр—ну и собрали. По душам, значит, разложили, с кого меру овса, с кого мерку ячменя, с кого ржи—мир раскладывал. Нам с двух душ мерку ячменя отдать досталось. Так со всех, по расчету, сколько следует, и отдали. Потом награда вышла.

— Кому?

— Нам, нашему, значит, обществу. Брат мой тогда десятским был; потребовали его в волость, говорят: тебе, Минай, награда за ячмень вышла—восемь рублей; сам посредник и деньги

отдал, похвалил, служи, говорит, хорошенько. Принес брат деньги домой, узнал мир. А нам что? говорят. Ничего не вышло; мне, говорит брат, награда за службу вышла.—Да мы, говорят, все что ни на есть лучший хлеб отдавали, за что ж тебе? Вам, должно, после будет: начальству, известное дело, прежде вышло. Ждали, ждали, ничего не выходит. Брат в волость сходил: другим, говорят, ничего не будет, а это награда за ячмень тебе, Минаю, вышла за то, что ячмень хорош,—другим ничего не будет. Все общество на брата взъелось: как, говорят, Минаю? за что Минаю? мы все, говорят, хлеб отдавали, подушно отдавали, и награду дели подушно. Брат было не хотел отдавать, боялся: посредник, говорит, сказал, что награда вышла Минаю за хороший ячмень. Куда ты! Мы, говорят, все по душам хлеб отдавали! чем наш хлеб хуже минаевского! что ни на есть лучший хлеб отсыпали, фальши не было! какой господь уродил, такой и отсыпали! коли хлеб плох, тогда было смотреть, на что же ты десятский! ты, говорят, с двух душ мерку ячменя отдавал, Ипат с души мерку овса, Силай с Ванькой с трех душ мерку ржи ссыпали, за что ж тебе награда? Все равно давали, дели восемь рублей по душам. Так и порешили делить по душам. Против миру не пойдешь,—брат отдал восемь рублей, а ему выкинули, что пришлось на две души,—рубль десять копеек пришлось.

Я объяснил старосте, что такое выставка, какое значение имеют награды, для чего устраиваются выставки.

— Отчего же бы нам, А. Н., не послать что-нибудь на выставку?

— Да что же мы пошлем?

— Семя можно послать, ячмень у вас нынче отличнейший—куда лучше нашего; если за наш восемь рублей за мерку дали, так за ваш мало-мало 10 рублей дадут.

— Нет, ячменя посылать не стоит. Там, брат, такие ячмени будут, не нашему чета.

— Конечно, если нынче крестьянского хлеба не будет, а только господские, то ячмени хорошие будут. Только и наш не худ, баб посадить можно, отобрать мерку что ни есть лучшего зерна; по крайности, уважение начальству окажем.

— Нет, нет.

— Корову белобокую изволили бы послать,—отличная корова, утробистая корова, во всех статьях! подкормить немножко—первый сорт! Или бычка сивенького—форменный бычок. Груздевский барин, говорят, в Петербург корову посылали, и не мудрая, говорят, коровенка,—так, говорят, ей награда вышла, медаль этой корове дали, золотую медаль, как у посредника. Ошейник—ихние мужики рассказывали—кожаный, такой ясный, и медаль золотом на ошейнике сделана. Отлично было бы, если б нашей белобочке медаль дали, весь бы гурт скрасила, она зав-

сегда впереди ходит. И Петре-скотнику лестно, мужики шапки снимать будут.

Я объяснил старосте значение медалей, выдаваемых на выставке, и что этих медалей носить нельзя.

— Ничего посылать не буду. Куда нам. Там все отличные вещи будут, там такие коровы будут, что нашу белобочку и показать стыдно. Я, брат, не за тем еду. Я сам хочу поучиться, хочу посмотреть, что у других есть. Вот рабочих лошадей посмотрю, узнаю, где лучше купить.

— Лошадей, известно, рабочих в Зубове на ярмарке покупать будем, если не пожалеете денег, по сорока рублей на круг за лошадь назначите, самых рабочих лошадок купим.

— Овец, скот, машины разные посмотрю, масло.

— Как изволите, но уж насчет масла лучше авдотьиного не будет. Ни один купец еще не охаил. Сам Медведев, что в прошлом году масло купил, говорил Авдотье: делай всегда такое, никогда мимо не проеду. Когда отпускали прошедший раз без вас масло, Савельич хотел, как вы приказывали, подписать на кадках, откуда масло, чтобы в городе наше масло знали, так Медведев: зачем, говорит, писать—попа и в рогожке видно.

На другой день, рано утром мы отправились на машину. Кроме Сидора, я взял еще с собой работника Никиту, который должен был пригнать обратно со станции лошадей и отвезти наше, то-есть мое и Сидора, деревенское платье, в котором мы не решались показаться в городе. До станции 15 верст, нужно было ехать на телеге, по самой отвратительной грязной дороге, и уж, конечно, тут нельзя было и думать ехать в городском платье.

Моросил осенний дождик. Дорога, которую исправляет только божия планида, да проезд губернатора, от постоянных дождей совершенно размокла. Грязь, слякоть, тряская телега, промокший и как-то осунувшийся Никита в лаптях, порыжевшие луга, тощий кустарник. Невзрачная, но все-таки милая сердцу страна... Раз как-то мне случилось ехать по железной дороге с француженкой, в первый раз ехавшей из Парижа в Москву. Дело было осенью, погода стояла ненастная, по сторонам мелькали наши известные железнодорожные осенние виды. Француженка все время смотрела в окна вагона и все время тоскливо повторяла: Ah! quel pays! pas de culture! и сам вижу, что pas de culture, а все-таки, наконец, зло взяло.—Ну да, ну pas de culture, ну так что же, что pas de culture, а вот твой Наполеон, да еще какой, настоящий, по этим самым местам бежал без оглядки, а вы с culture города сдавали прусскому улану! А ну-ка пусть попробуют три улана взять наше Батищево. Шиш возьмут. Деревню трем уланам, если бы даже в числе их был сам «рара» Мольтке, не сдадим. Разденем, сапоги снимем—зачем добро терять—и в колодезь—вот-те и pas de culture.

А нехватит силы, угоним скот в лес под Неелово—сунься-ка туда к нам! увезем хлеб, вытащим, что есть в постройках железного,—гвозди, скобы, завесы,—и зажжем. Все сожжем, и амбары, и скотный двор, и дом. Вот тебе и pas de culture, а ты город сдала трем уланам.

Да, пусть придут, пусть попробуют. Прочитав в газетах, что каждый прусский офицер снабжен биноклем для лучшего обзора местности, я на всякий случай—мы все убеждены, что немец не вытерпит и к нам сунется,—выписал себе из Петербурга хороший бинокль, 25 рублей заплатил. Прислали. Я—Сидора: «посмотри, говорю, что за штука; отлично в нее все видно». Сидор посмотрел и расхохотался. «Ишь ты, мельница к самому носу подошла». «Что, хорошо видно?». «Смешно—лес, что за полем, на самом носу». «Дай-ка сюда, я посмотрю». Я навел бинокль на отдаленное поле. «Отлично видно—я вижу в трубку, что по полю человек идет, ты видишь, Сидор?» «Вижу—это Григорий идет». Вот тебе и раз, думаю, тьфу ты пропасть! «Да разве ты можешь отсюда лицо разглядеть?» «Нет, лица не видать, а по походке вижу, что это Григорий, и полузипунишко синий его». Нет, нас не возьмут три улана!

Приехали на станцию, переоделись, пришли в вокзал, ждем поезда. Европа, цивилизация: по платформам жандармы разгуливают, начальники в красных фуражках—точно гусары—пробегают, артельщики суетятся с кладью. В пассажирском зале буфет—водочка разная, закусочка, икорка, рыбка. Подошел к стойке, потребовал два стаканчика—один себе, другой Никите,—выпили, закусили калачиком, я выкинул два пятака. «Мало-с, пятьдесят копеек пожалуйте».—За два-то шкалика—пятьдесят копеек!—вступился Никита. «Помолчи, любезный,—обратился буфетчик к Никите,—здесь не кабак, господа сидят!». Никита оторопел. Европа! за полверсты от станции в кабаке на пятьдесят копеек осьмуху дадут, а здесь за ту же цену всего два шкалика, да и шкалики-то не форменные.

Пришел поезд. Сели мы с Сидором,—я, барин, во 2-м классе, а он в 3-м. В вагоне сидят два господина и разговаривают.

— Вот из А. пишут,—говорит один,—что крестьяне С-й, Г-й, П-й волостей постановили учредить в своих волостях народные школы...

— Но что же значит по одной школе на волость?

— Конечно, мало, но все-таки отрадно видеть, что народ стремится к образованию и, сознавая необходимость его, жертвует свои трудовые деньги на устройство народных школ.

Эге, думаю, господа-то городские, и наверно из Петербурга! не знают еще, что у нас все можно, что если начальство пожелает, то крестьяне любой волости составят приговор о желании открыть в своей волости не то что школу, а университет или клас-

сическую гимназию! Захотелось мне поговорить с господами, которые верят тому, что печатается в «Ведомостях». Захотелось проверить самого себя, потому что три года тому назад, когда я был еще в Петербурге, я тоже всему верил, что пишут в газетах, верил, что народ стремится к образованию, что он устраивает школы и жертвует на них деньги, что существуют попечительства, что есть больницы и пр. и пр. Словом, верил не только тому, что в какой-то волости крестьяне постановили приговором «учредить школу», но и собственным корреспондентским рассуждениям о том, что «отрадно видеть, как стремится народ к образованию» и пр.

Да... три года тому назад я всему этому верил. Но в деревне я скоро узнал, что многое не так, и что «Ведомостям» верить нельзя; дошел до того, что перестал читать газеты и только удивлялся; для кого все это пишется?

Я ехал из Петербурга с убеждением, что в последние десять лет все изменилось, что народ быстро подвинулся вперед и пр. и пр. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда вскоре после моего водворения в деревне, ко мне раз пришел мужик с просьбою заступиться за него, потому что у него не в очередь берут сына в школу.

— Заступись, обижают,—говорит он,—сына не в очередь в школу требуют, мой сын прошлую зиму школу отбывал, нынче опять требуют.

— Да как же я могу заступиться в таком деле?—спросил я, удивленный такою просьбою.

— Заступись, тебя в деревне послухают. Обидно—не мой черед. Васькин сын еще ни разу не ходил. Нынче Васькину сыну черед в школу, а Васька спорит— у меня, говорит, старший сын в солдатах, сам я в ратниках был, за что я три службы буду несть! Мало ли что в солдатах!—у Васьки четверо, а у меня один. Мой прошлую зиму ходил, нынче опять моего—закон ли это? Заступись, научи, у кого закона просить.

Действительно, когда зимой у мужика нет хлеба, когда чуть не все дети в деревне ходят в «кусочки»,—как это было в первую зиму, которую я провел в деревне—и этими «кусочками» кормят все семейство, понятно, что мужик считает «отбывание школы» тяжкой повинностью. Но, присмотревшись, я скоро увидал, что даже и в урожайные годы совсем не так «отрадно и пр.», как пишут в «Ведомостях».

Впрочем, теперь со школами полегче стало; школы не то что уничтожаются, но как-то стушевываются. Вскоре после «Положения» на школы сильно было налегли, так что и теперь в числе двадцати, двадцатипятилетних ребят довольно много грамотных, то-есть умеющих кое-как читать и писать. Но потом со школами стало полегче, и из мальчишек в деревне уж очень мало грамот-

ных. Богачи, впрочем, и теперь учат детей, но в «своих», а не в «приговорных» школах: сговорятся между собою несколько человек в деревне, наймут на зиму какого-нибудь солдата, он и учит.

После школ пошли попечительства. Завели везде попечительства, и отчеты о них подают, но теперь и с попечительствами стало полегче.

Теперь более в ходу приговоры о пожертвованиях в пользу общества попечения о раненых, а в последнее время взяли верх приговоры об уничтожении кабаков и уменьшении пьянства. Стоит только несколько времени последить за газетами, и потом можно наизусть настрочить какую угодно корреспонденцию... «Крестьяне NN сельского общества приговором постановили, в видах уменьшения пьянства, из 4 имеющихся в селе N кабаков, уничтожить два», и затем—«отрадно, что в народе пробуждается сознание», и пр. и пр.

— Вас не обеспокоит, если закурю папироску?—обратился я к одному из пассажиров.

— Сделайте одолжение,—мы тоже закурим.

— Из Петербурга изволите ехать?

— Да, а вы, кажется, на этой станции сели?

— На этой.

— Вероятно, из местных землевладельцев?

— Да-с, есть именьишко неподалеку от станции.

— В Г. едете?

— Да-с, в Г., на сельскохозяйственную выставку.

— Мы тоже в Г.

—По судебной части, вероятно, служить изволите?

— Да.

Разговор завязался. Господа всем интересовались, стали расспрашивать о земстве, о школах и пр. и пр.

— Помилуйте, говорю, все есть, не только школы—у нас классическая гимназия в уездном городе заведена, потому что торговля большая и купечество богатое! Везде школы, попечительства, земство, больницы, мировые судьи... Общество сельскохозяйственное есть! выставка устроена!

И пошел, и пошел. Всем-то они интересуются, обо всем расспрашивают, а между тем машина все бежит да бежит; к большой станции подошла—обед.

— Да вот посмотрите, какова станция, отделка какая, цветы сервиз, прислуга.

Пообедали, опять сели и начали болтать... Распрашивают, как мы, землевладельцы, относимся к делу общественного образования.

— Сочувствуем-с, сочувствуем-с.

— А вот в других губерниях не так. Прискорбно, что иногда землевладельцы даже тормозят дело народного образования.

— Помилуйте, не может быть.

— А дело барона Корфа?

— Не знаю-с.

— Чрезвычайно интересное дело. Да вот прочитайте.

Господин достал из сумочки газету и подал мне.

Читаю: «20 мая в Александровске происходили выборы гласных из землевладельцев на 3-е трехлетие со времени открытия земских учреждений в Екатеринославской губернии, и на этих выборах забаллотирован (большинством 43 голосов против 30) известный педагог барон Н. А. Корф. Впрочем, барон Корф одержал полную победу над многочисленной партией своих противников и попрежнему остается земским деятелем. Это случилось таким образом: 1 июня происходили сельские избирательные съезды в 5 местностях Александровского уезда, и из пяти крестьянских избирательных съездов барон Н. А. Корф избран в уездные гласные от крестьян на трех съездах одновременно; при этом избирательный съезд в селении Белоцерковке избрал барона Корфа большинством 185 голосов против 12. Число избирательных голосов по всем трем съездам в средней сложности составляет четыре пятых всего числа лиц, участвовавших в выборах; эти три избирательных съезда представляют приблизительно четыре пятых всего населения уезда». «Отрадно видеть,—говорит затем корреспондент или, может быть, редакция,—что крестьяне умеют ценить заслуги людей, работающих на пользу общую, и тем прискорбнее то, что местная интеллигенция, вместо того чтобы жить одними интересами с большинством, не щадить себя самой, высказываясь двумя третями голосов против лица, за которое высказываются четыре пятых населения всего уезда».

Прочитав статью, я сложил газету и молча подал городскому господину, который с очевидным нетерпением ожидал, пока я кончу.

— Ну-с, что вы на это скажете?

— Ничего-с. Это бывает. В прошедшем году мне самому случилось быть на выборах гласных в одном из соседних уездов. Было то же самое. Некоторые лица,—люди, говорят, хорошие,—которые были забаллотированы на съезде землевладельцев, на крестьянских съездах были выбраны в гласные от крестьян огромным большинством. Это бывает-с.

— Однако это очень прискорбно, что местная интеллигенция так расходится с крестьянством, что крестьяне более ценят заслуги людей, работающих на пользу общую.

— Ну, нет, это не совсем так.

— Но вы же сами сказали, что это бывает. Разве вы не верите, что барон Корф был забаллотирован помещиками и выбран крестьянами?

— Верю, этому нельзя не верить, корреспондент не может сам сочинить факт. Верно, что крестьяне избрали барона Корфа гласным, но это еще ничего не значит.

— Как ничего не значит?

— Это еще не значит, что крестьяне умеют ценить педагогические заслуги. Вот, например, в «Ведомостях» пишут, что крестьяне и инородцы Иркутской губернии определили послать от каждого общества по сироте в Иркутскую классическую гимназию. Факт, без сомнения, верен, но неужели вы думаете, что инородцы сознают пользу классического образования?

— Отчего же?

Я с недоумением посмотрел на господина. Не понимает, вижу.

— Это, говорю, от начальства.

— Как?

— Может быть, г. барон Корф принадлежит к той партии, к которой принадлежат посредники.

— Так что же?

— А то, что если посредник похлопочет, так, конечно, не трудно быть избранным в гласные от крестьян. Это бывает. Крестьянам все равно, кого выбирать.

— Мне кажется, что вы рассуждаете как землевладелец,— прервал меня один из собеседников.

Тут уж я не выдержал.

— Нет, позвольте,—говорю,—позвольте-с. Я не имею чести лично знать барона Корфа и ничего против него не имею. Педагогикой сам я не занимаюсь, даже ясного представления о том, что такое педагог, не имею; но из газет знаю, что г. Корф известный педагог, и что это деятельность полезная. И за всем тем, допустить, чтобы крестьяне потому именно выбрали г. Корфа, что умеют ценить заслуги людей, работающих на пользу общую, не могу. Не могу допустить, чтобы крестьяне Александровского уезда были столь развиты, как полагают «Ведомости». Помилуйте, этого даже в Англии, во Франции нет!

— Однако ж?

— Позвольте. Угодно вам, выйдем на первой станции и поедем в любую деревню... Об заклад побьюсь, что вы не встретите ни одного крестьянина, который бы имел понятие о том, что такое педагог. Даже таких не найдется, которые могли бы выговорить это слово. Да что говорить о педагогах: вы редко встретите не то крестьянина, а даже дворника, целовальника, который, бы, например, понимал, что такое гласный и какая разница между гласным и присяжным заседателем. Не найдете крестьянина, который бы не боялся итти свидетелем в суд и был бы уверен, что председатель суда не может его выпороть.

— Однако ж как вы объясните выбор г. Корфа?

— Очень просто. Может быть, г. Корф, как добрый помещик, заслужил любовь соседних крестьян, и они, узнав о его желании быть гласным, избрали его в эту должность. Это возможно, это я допускаю. Но может быть и совсем другое: может быть, г. Корф имеет за себя посредника, посредник, в свою очередь, заказал кому следует выбрать г. Корфа, и вот он на трех крестьянских съездах избран в гласные от крестьян. Я не утверждаю, что было так; очень может быть, что крестьяне почему-нибудь любят г. Корфа, но вероятнее, что дело было так, как я предполагаю. Потому что обыкновенно это так бывает.

— Не может быть!

— Крестьянам все равно кого выбирать в гласные—каждый желает только, чтобы его не выбрали. А в газетах сейчас пропечатают: «отрадно видеть, что крестьяне умеют ценить» и пр., или: «прискорбно видеть, что местная интеллигенция не щадит себя самой, высказываясь против лица, за которое высказывается четыре пятых населения всего уезда» и пр.

— Значит, посредник имеет огромное значение?

— Посредник—все. И школы, и уничтожение кабаков, и пожертвования, все это от посредника. Захочет посредник, крестьяне пожелают иметь в каждой волости не то что школы,— университеты. Посредник захочет—явится приговор, что крестьяне такой-то волости, признавая пользу садоводства, постановили вносить по столько-то копеек с души в пользу какого-нибудь Гарлемского общества разведения гиацинтовых луковиц. Посредник захочет—и крестьяне любого села станут пить водку в одном кабаке, а другой закроют.

— Да как же так? Почему же так?

— Оттого, что начальство. Сами посудите. Волостной и писарь зависят от посредника, а крестьяне—от писаря и волостного...

— Однако посредников предполагается уничтожить.

— Это все равно; не будет посредников, другое начальство будет. Всегда было начальство, и теперь есть, только теперь оно новыми порядками пошло. Прежде само начальство все заводило: и больницы, и школы, и суды; а теперь через приговоры то же самое делает. Без начальства каким же образом узнает народ, что нужно избрать гласных, поправлять дороги, заводить больницы и школы, жертвовать для разных обществ?

Между тем, покуда мы разговаривали, машина летит. Грустный вид по сторонам: болота, пустота и бесконечные пространства вырубленных лесов; кое-где мелькает деревушка с серенькими избами, стадо тощих коровенок на побуревшем лугу... pas de culture, pas de culture!

Удивительный контраст! мягкий диван в вагоне, зеркальные стекла, тонкая столярная отделка, изящные сеточки на чу-

гунных красивых ручках, элегантные станции с красивыми буфетами и сервированными столами, прислуга во фраках, а отойдя полверсты от станции—серые избы, серые жупаны, серые щи, серый народ...

Стемнело, когда мы приехали в губернию. Взяли извозчика и поехали с Сидором в гостиницу. Извозчик привез в лучшую гостиницу: огромный каменный дом, широкая лестница, внизу общая зала с буфетом, сервированными столами, маленькими столиками; номер отвели, состоящий из двух комнат: побольше—приемная, с мягкою мебелью, зеркалами, поменьше—спальня с кроватью, умывальником и прочими принадлежностями. Пришла горничная—барышня! Сидору говорит «вы».

Передать трудно, какое впечатление производит вокзал железной дороги, поездка на машине, город, гостиница на европейский лад, после того как более двух лет прожил безвыездно в деревне. И не далеко, кажется, но сопоставьте-ка проселочную дорогу и езду на телеге с ездою по железной дороге, постоялик на проселке, где ничего нет, кроме водки, настоящей водки-сивухи, и ратницких селедок по 3 копейки штука, где не знают ни носовых платков, ни салфеток, ни постельного белья,—с великолепной гостиницей!

Переодевшись, я отправился к родственнику, который, я знал, принимает большое участие в устройстве выставки, и застал у него общество: двух помещиков, приехавших на выставку, и старого немца, бывшего гувернера моего родственника. Немец, старый, сморщенный, много лет живший в доме моих родных, ужасно мне обрадовался: мы с ним не видались лет десять.

— Александер Николаевиш? скольки леты, скольки зимы, скольки води утекало.

— Здравствуйте, здравствуйте, Herr Sumpf! Wi geht's?

— O, sehr gut, danke, danke.

Разговорились. Разумеется о франко-прусской войне, о papa Мольтке, об Uhlanen.

— Та,—заключил немец—мы теперь с вами поравнивались! Früher sie waren kaiserlich und ich war nur königlich, jetzt bin ich auch kaiserlich, ja'ich bin auch kaiserlich!—проговорил он с восторгом и потрепал меня по плечу.

Через несколько месяцев после этой встречи немец заболел и умер в нашем губернском городе в госпитале, и последнее его слово перед смертью было: jetzt bin ich auch kaiserlich!

Познакомился я с помещиками, которые, оказалось, привели на выставку скот. Потолковали. Оказалось, что еще многое ожидается, что пока еще прислано очень мало. Отправились в клуб. Великолепие: огромная читальная зала, лампы с абажурами, большой стол, заваленный газетами и журналами...

сколько господ, углубленных в чтение. Один опустил газету и задумался: по серьезному выражению лица, по морщинам на лбу, по сосредоточенности взгляда, устремленного на противоположную стенку, видно, что он размышляет о судьбах Наполеона IV. Другой, судя по игриво улыбающемуся лицу, очевидно, вкушает фельетон из петербургской жизни. Третий, судя по либерально-сладко-торжественной улыбке,—можно подумать, что это сам редактор газеты, ежедневно сто раз повторяющий слова «отрадно» и «прискорбно»,—читает корреспонденцию из Ташкента, в которой сообщается, что сарты, сознавая всю важность развития шелководства, положили собрать сумму в 100 000 рублей для устройства в Петербурге при ботаническом саде школы шелководства и плантации для разведения лучших пород тутовых деревьев. Взглянув на читальную залу, мы прошли далее. Вот бьются несколько партий за зелеными столами, и за одним из них—источник всех этих «отрадно», тот, который пожелает—школы сделает, пожелает—кабаки сократит, пожелает—пожертвует на устройство российского помологического сада, одним словом, мировой посредник, ловко подводит короля пик. Обошли все комнаты, потолковали с земским деятелем, который объяснил нам проект какого-то особенного банка, зашли в столовую и сели за еду. В первом часу ночи я вернулся в гостиницу. Сидор спал на диване первой комнаты, которую я предоставил на ночь в его пользование, предварив, чтобы он, ложась, снимал дегтярные сапоги. Услыхав, что я вошел, Сидор вскочил, бросился снимать с меня шубу и первое его слово было:

— Ужин требовал. Спросили, что подать. «Что варили», говорю. «Что прикажете?». «Щей бы, говорю, горяченьких с говядинкой,—барин приказал ужин господский спросить». Извольте-с. Пождал, принесли так махонькую мисочку, и хлебца два кусочка—не то хлеб, не то калач! Съел. Еще, спрашиваю, какое вариво есть? «Что прикажете?». «Неси, что на ужин варили. Да кашки, говорю, нет ли?». Принес на махонькой тарелочке—не то каша, не то горох, не то грибы,—не разберешь. Съел. Еще принесли—так кусочек говядинки. Съел. Еще принесли—куренка кусочек. Еще пряничек принесли. Сколько следует? Рубль. Как рубль, ах ты!—Не извольте кричать, говорит, а не то к мировому!—К хозяину вниз ходил: рубль, говорит! Нет, вы, А. Н., лучше суточные мне назначьте, я себе сам покупать буду, а то здесь с голоду околеешь.

На другой день я предоставил Сидору харчеваться на 30 копеек в день, как он знает. Первый день он купил десять трех копеечных булок, на другой день два фунта колбасы, на третий—хлеба, луку, квасу, постного масла и приготовил себе мурцовку. Потом норма питания установилась: калачи и мурцовка.

Улегшись в постель, я долго не мог уснуть; все думалось, сколько перемены в два года, и какая радикальная перемена! Три года тому назад я жил в Петербурге, служил профессором, получал почти 3 000 руб. жалованья, занимался исследованиями об изомерных крезолах и дифенолах, ходил в тонких сапогах, в панталонах на выпуск, жил в таком теплом доме, что в комнатах можно было хоть босиком ходить, ездил в каретах, ел устрицы у Эрбера, восхищался Лядовой в «Прекрасной Елене», верил тому, что пишут в газетах о деятельности земств, хозяйственных съездов, о стремлении народа к образованию и т. п. С нынешней деревенской жизнью я был незнаком, хотя до 16 лет воспитывался в деревне. Но то было еще до «Положения», когда даже и не очень богатые помещики жили в хоромах, ели разные финзербы, одевались по-городски, имели кареты и шестерики. Разумеется, в то время я ничего не знал о быте мужика и того мелкого люда, который расступался перед нами, когда мы, дети, с нянюшкой, в предшествии двух выездных лакеев, входили в нашу сельскую церковь. Затем я прослужил 23 года в Петербурге, откуда только иногда летом ездил для отдыха к родным в деревню. Вообще, с деревней я был знаком только по повестям, да и то по повестям, рисующим деревенский быт до «Положения», о крестьянстве же узнал только по газетным корреспонденциям, оканчивающимся «отрадно» и пр. Я верил, что мы сильно двинулись вперед за последнее десятилетие, что народ просветился, что всюду идет кипучая деятельность: строятся дороги, учреждаются школы, больницы, вводятся улучшения в хозяйстве. Всему верил, даже в сельскохозяйственные съезды, в сельскохозяйственные общества; сам членом в нескольких состою.

А теперь я живу в деревне, в настоящей деревне, из которой осенью и весной иной раз выехать невозможно. Не служу, жалованья никакого не получаю, о крезолах и дифенолах забыл, занимаюсь хозяйством, сею лен и клевер, воспитываю телят и поросят, хожу в высоких сапогах с заложенными в голенища панталонами, живу в таком доме, что не только босиком по полу пройти нельзя, но не всегда и в валенках усидишь,—а ничего, здоров. Езжу в телеге или на бегунках, не только сам правлю лошадью, но подчас и сам запрягаю, ем щи с солониной, борщ с ветчиной, по нескольку месяцев не вижу свежей говядины; и рад, если случится свежая баранина, восхищаюсь песнями, которые «кричат» бабы, и пляскою под звуки голубца, не верю тому, что пишут в газетах о деятельности земств, разных съездов, комиссий, знаю, как делаются все те «отрадные явления», которыми наполняются газеты, и пр. Удивительная разница. Представьте себе, что человек не верит ничему, что пишется в газетах, или, лучше сказать, знает, что все это совсем не так де-

лается, как оно написано, и в то же время видит, что другие всему верят, все принимают за чистую монету, ко всему относятся самым серьезнейшим образом!

Мысль переехать на жительство в деревню и заняться под старость хозяйством, которое давно уже меня интересует и для которого я работал не мало в теоретическом отношении, давно уже сидела у меня в голове. Я ждал только, пока выслужу пенсию, до которой служить оставалось недолго, и затем думал делать хозяйственные опыты, в роде Boussingault, и разрешать учено-хозяйственные вопросы...

Я глубоко убежден, что наше хозяйство не скоро подвинется, если не явятся люди, которые, будучи теоретически подготовлены, займутся им на практике. Выработанные естествознанием истины неизменны, космополитичны, составляют всеобщее достояние, но применение их к хозяйству есть дело чисто местное. Растение живет точно так же в России, как и в Англии, и здесь, и там оно требует, например, для своего развития фосфорной кислоты; кость как в России, так и в Англии состоит из фосфорно-кислой извести; в каком-нибудь сельце Сикорщине можно точно так же, как и в Эльдене, вывести кукурузу в водном растворе; но когда дело идет о практическом применении костяного удобрения или о возделывании пшеницы, то не всегда можно применить те способы, которые употребляются в Англии или Германии. Естественные науки не имеют отечества, но агрономия, как наука прикладная, чужда космополитизма. Нет химии русской, английской или немецкой, есть только общая всему свету химия, но агрономия может быть русская или английская, или немецкая. Конечно, я не хочу этим сказать, что бы мы не могли ничего заимствовать по части агрономии из Германии, но ограничиваться одною западною агрономией нельзя. Мы должны создать свою русскую агрономическую науку, и создать ее могут только совместные усилия ученых и практиков, между которыми необходимы практики, теоретически подготовленные. Нельзя себе представить, чтобы теоретик, профессор академии, не только не занимающийся практически хозяйством, но и вполне удаленный от хозяйственной практики, мог создать систему хозяйства для известной местности. И точно также трудно ожидать этого от практика, идущего вперед ощупью. Между чистыми практиками и теоретиками-учеными, из которых одни работают по данным приемам в самых хозяйствах, а другие занимаются в лабораториях разработкою агрономических вопросов, должны существовать, в качестве связующего звена, люди, способные понять ученые труды теоретиков и в то же время занимающиеся практикою.

Хозяйство меня всегда интересовало, теоретическое же занятие хозяйством не удовлетворяло, потому что хотелось

применить теорию на деле; понятно, что иное дело заниматься стратегией в кабинете и иное дело применять ее на войне. Выслужив пенсию, я сам думал уехать в деревню. Судьба решила, однако, иначе. Мне пришлось оставить службу раньше срока. Я мог при этом выбрать любое из двух: или поселиться в доме своего богатого родственника в деревне, где мне был предоставлен полный городской комфорт и где я, отлично обставленный в материальном отношении, мог бы зарыться в книгах и, отрешась от жизни, сделаться кабинетным ученым, или уехать в свое имение, страшно запущенное, не представляющее никаких удобств для жизни, и заняться там хозяйством. Я выбрал последнее.

Я решился ехать в свое имение и сесть там на хозяйство. Раз задавшись этой мыслью, я оставлял Петербург, веселый, полный надежд, с жаждой новой деятельности и работы. Уехал я в январе. Вы помните, какая ужасная зима была в 1871 году. Уезжая из Петербурга, я оделся очень тепло, но совершенно не практично: городское платье, высокие валенки, тяжелая теплая шуба, длинный шарф.

На станцию меня приехали провожать несколько родственников и друзей; в числе провожавших была одна близкая моя родственница, немолодая помещица, долго жившая и хозяйничавшая в деревне, но недавно переехавшая в Петербург искать новой деятельности. Разумеется, разговор шел о моей будущей деятельности; я был весел, строил планы, увлекался...

— Не знаю, не знаю,—говорила моя родственница,—дай тебе бог справиться с хозяйством; может быть, оно у тебя и пойдет, только не знаю... Одного боюсь: сопьешься ты в деревне.

— Отчего?

— Так. Мало ли бывало таких, которые ехали в деревню полные сил, с жаждой деятельности, а там спивались. А. спился, В. спился,—а умнейшие были люди!

— Да отчего же?

— Ты подумай только, что ты всегда будешь один; представь себе только зиму, длинные вечера... Если бы вас собралось несколько в одном месте...

— Не сопьюсь.

Я не спился, но понимаю, как спиваются и отчего спиваются.

Зазвонили. Я сел в вагон.

Холод в вагоне был неимоверный; сначала еще ничего, но в половине ночи я уже не мог вытерпеть. Хотя я был одет в теплую шубу, высокие валенки, обвязан шарфом,—словом, так укутан, что едва мог двигаться, но, проехав несколько станций в нетопленном и почти пустом вагоне,—кроме меня, был еще один только пассажир,—я не мог долее терпеть. Нельзя

было дышать таким холодным воздухом—сейчас же захватило горло. Я не выдержал, приплатил и пересел в отапливаемый вагон первого класса. Вот так деятель!—думалось мне,—что же я буду делать в деревне, как буду хозяйничать, если не могу вынести даже несколько часов на морозе? Очень меня это огорчило, и я утешился только тем, что другой пассажир, сидевший в одном со мною вагоне, еврей, тоже не выдержал,—а на что уж крепкий насчет копейки народ евреи,—и одновременно со мною пересел в отапливаемый вагон. Утром приехали на станцию, где следовало пересесть в вагоны другой линии; пришлось ждать поезда несколько часов в вокзале. Петербург еще продолжается по линии железной дороги; в вокзалах станций все глядит городом; городская мебель, буфеты с бутылками, по-господски сервированные столы, прислуга во фраках; но кто это строит такие станции? Холод в комнатах такой, что невозможно скинуть шубу, и я только удивлялся, каким образом прислуга в состоянии выдерживать такую температуру во фраках. Пообедали, напились чаю, пообогрелись немного. Под вечер пришел поезд, на котором мы должны были ехать далее; новые вагоны оказались еще хуже прежних; это маленькие вагончики, в роде четырехместных карет с дверями по обеим сторонам, устроенные по образцу прусских вагонов. Представьте себе, что в 30° мороза вы сидите в маленькой будочке, с дверями по обеим сторонам, да еще добро бы народу было много, а то мне всю дорогу пришлось ехать вдвоем с другим пассажиром. Вагоны не отапливаются, но под сиденьем на станциях кладут какие-то немецкие грелки, от которых пользы тем меньше, что поезд поминутно останавливается. Приедем на станцию, положат грелки, отъедем, и остановимся в поле. И стоим, стоим... Целую ночь мы так мучились. На рассвете приехали на большую станцию, где опять пришлось ждать поезда. Опять холодный вокзал, опять бесконечное чаепитие и скука. Пришел поезд, и мы отправились далее; тут я отдохнул. В этом поезде вагоны были большие, хорошо отапливались, пассажиров много, сидеть удобно. День случился красный, выглянуло солнышко, все оживились.

Первая встреча с новой жизнью сильно меня озадачила. Мороз в 30° так меня донял, что я положительно не мог дышать холодным воздухом: горло разболелось, самого трясет лихорадка. Тяжелая шуба и высокие валенки, которых нельзя было скидывать на станциях, мешали ходить, и я вынужден был все время сидеть неподвижно, как истукан. А посмотришь из окна вагона туда, где предстояло жить и действовать,—снег, снег и снег! Все занесено снегом, все замерзло, и если бы не дымок, выходящий из занесенных снегом избушек, мелькавших по сторонам дороги, то можно было бы подумать, что едешь по необи-

таемой тундре. Я всматривался в эти избушки, и думалось мне, как это живут там, как я буду жить, что я буду делать, как буду хозяйничать, если с первого дня уже чувствую, что не в силах выносить этот ужасный холод. Так мне было горько, что я впал в совершенное уныние и чувствовал, что энергия, с которою я оставлял Петербург, меня покидает...

Теперь, проживя три года в деревне, я ко всему приспособился, и, главное, приспособил костюм, потому что в нем вся суть дела.

В настоящее время тот, кто хочет заниматься хозяйством самолично, кто хочет сам распоряжаться как техническою, так и коммерческою стороною хозяйства, кто не имеет возможности держать множество прислуги для личных услуг, тот должен все изменить, начиная с костюма и кончая расположением построек в усадьбе, потому что у нас все было приспособленно для барской жизни с множеством прислуги.

«Положение» совершенно изменило все отношения, все условия жизни, и мне кажется, что с этим вместе естественно должен измениться и весь быт. Если в хозяйстве вы делаете какое-нибудь существенное изменение, то оно всегда влияет на все отрасли его и во всем требует изменения. В противном случае нововведение не прививается. Например, положим, вы ввели посев льна и клевера,—сейчас же потребуется множество других перемен и, если не сделать их, то предприятие не пойдет на лад. Потребуется изменить пахотные орудия и вместо сохи употреблять плуг, вместо деревянной бороны—железную, а это в свою очередь потребует иных лошадей, иных рабочих, иной системы хозяйства по отношению к найму рабочих и т. д. Понятно, что то же самое должно быть и относительно склада жизни, если случилось такое глубокое изменение в отношениях, какое вызвано «Положением». Все должно измениться, и то, что неспособно на изменение, то, что не может его вынести, должно погибнуть.

Скажу насчет костюма. Барский костюм до такой степени отличен от мужицкого, приспособленного к образу жизни всего населения страны, что человек, носящий барский костюм, по необходимости должен носить с собою и всю обстановку, соответствующую этому костюму. Даже по железной дороге, даже в губернских и уездных городах, где еще все-таки до известной степени продолжается петербургская городская жизнь, уже чувствуется несостоятельность городского барского костюма, в деревне же он положительно немыслим.

Я выехал из Петербурга, одетый в городское платье: накрахмаленная рубашка, пиджак, тонкие комнатные сапоги; сверху: тяжелая шуба, меховая шапка, валенки до колен. Непрактичность этого костюма выказалась уже во время путеше-

ствия по железной дороге. На второй день после выезда из Петербурга, я почувствовал то, о чем рассказывает Гете в «Italiänische Reise».

Torbole den 12 september 1786.

In der Abendkühle ging ich spazieren, und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben: erstlich haben die Thüren keine Schlösser; der Wirth aber versicherte mich, ich könnte ganz ruhig sein, und wenn alles was ich bei mir hätte aus Diamanten bestände; zweitens sind die Fenster mit Oelpapier statt Glasscheiben geschlossen; drittens fehlt eine höchst nöthige Bequemlichkeit, so das man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter: «quiabasso puo servirsi»(вот там можно расположиться!); ich fragte: «dove?» (где?)—«da per tutto dove vuol!» (да везде, где угодно) antwortete er freundlich. Durchaus zeigt sich die gröste Sorglosiglkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug...

Заручившись авторитетом Гете, продолжаю.

— Где?—спросил я у сторожа.

— А вон там будочка.

Конечно, как видите, мы ушли далеко вперед от Италии времен Гете, и сторож вокзала не говорит, как итальянский Hausknecht, «везде, где угодно», а указывает будочку. Отправляюсь в будочку, конечно, в шубе, потому что от вокзала до будочки 200 шагов, а мороз 30°. Вхожу—будочка из теса, все покрыто льдом. Что тут делать?

Приехав в губернский город, я остановился в лучшей немецкой гостинице. Гостиница—совершенно немецкая: хозяин немец, лакеи немцы, горничные немки, точно в Кенигсберге или Дюссельдорфе. Переночевав, спрашиваю на другой день поутру: «где?» Показали—наверху. В одном пиджаке отправляюсь по холодной лестнице, после долгих поисков нахожу комнату с надписью Retirade, вхожу—все покрыто льдом, хоть на коньках катайся. Как не простудиться при такой обстановке?

А это еще железная дорога, губернский город! Здесь все-таки хоть будочки, здесь, наконец, есть жиды-факторы, есть немцы, любящие чистоту и считающие вас «Русска свиня», а в деревне... Даже на постоялых дворах редко встречаются какие-нибудь приспособления, в крестьянских же дворах ровно ничего нет. Путешествовать в городском костюме при таких условиях очевидно возможно, только имея при себе «Петрушку». В былое время барин всегда имел при себе Петрушку или двух Петрушек и возил с собою всякую посудину. Тогда, конечно, можно было одеваться как угодно.

А теперь! Когда то еще заведутся на постоялых дворах разные приспособления, как у цивилизованных людей! А пока этого нет, нужно или выходить на мороз в пиджаке, или переменить костюм. Вообще господин, одетый в городское платье и шубу, без прислуги буквально ступить шагу не может. Не говоря о том, чтобы, например, запречь лошадь, даже править лошадью, присмотреть за нею на постоялом дворе, сводить ее на водопой,—ничего нельзя. А Петрушки нет и Селифана нет! Необходимо изменить костюм, необходимо иметь такой, который был бы тепел, легок, не стеснял движений, чтобы в нем можно было и в избе сидеть, где дует и от окон, и от дверей и на двор выйти, и около лошади присмотреть. Теплый пиджак, пиджак на меху—все это не подходит; в конце концов вы непременно придете к тому, что зимою найдете самым удобным костюмом *полушубок.*

Но надевать полушубок сверх городского платья не имеет смысла. Полушубок должен заменять пиджак. Мужик носит полушубок, как комнатное одеяние, и снимает его только во время обеда и ужина; он сидит в полушубке в избе, выходит в нем во двор, в нем же работает. Надев полушубок поутру, он не снимает его до вечера, за исключением обеда—потому что работает в полушубке на дворе, задает скоту корм, носит и рубит дрова. Хозяин находится в таком же положении: он, если и не работает сам, а только распоряжается работами, все-таки целый день должен быть на дворе. Отправляясь в дорогу, мужик сверх полушубка надевает или шубу-тулуп—в сильные морозы, или армяк—в ненастное время. Скинув шубу на морозе и оставшись в полушубке, можно делать всякую работу; приехав на постоялый двор и скинув шубу, мужик остается в полушубке, который не снимает в избе, пока не сядет за стол, в том же полушубке он выходит во двор посмотреть лошадей. Полушубок есть самая подходящая для нас зимняя одежда, когда он надет прямо сверх жилета или шерстяной рубахи гарибальдийского покроя—такая рубаха для нас тоже очень подходящий костюм и соответствует мужицкому суконному полузипуннику. В полушубке тепло и движения нисколько не стеснены; покрой его чрезвычайно рационален; рукава длинны, в локте широки и на конце узки—свободно и не продувает; на груди двойной мех, полы длинны и одна заходит за другую, талия длинная. Раз вы надели полушубок, вам нужен пояс, как у мужика, или ремень, как у бывшего дворового человека, для того, чтобы стянуть полушубок в талии. Затем на шею шерстяной шарф, рукавицы, шерстяные чулки, валенки, теплая шапка, длинные волосы, чтобы закрыть уши, башлык. Башлыки теперь сильно распространились между приказчиками, бывшими дворовыми, мещанами, купцами, ездящими по уезду; у крестьян же башлыки

встречаются редко, потому что крестьянин старается вообще ничего не покупать и обходиться своим, непокупным.

Одевшись таким образом, зимой вам удобно. Холодно или ненастно—вы надеваете шубу или армяк. Стало теплее—шубу долой. Разладилось что-нибудь в упряжи, засела лошадь в сугроб—шубу долой, в полушубке можно и на морозе наладить, помочь лошади. Приехали на постоялый двор, сидите в валенках и полушубке, потому что в избе обыкновенно отовсюду дует.

Удобно везде: дома, в хозяйстве, в дороге, в сношениях с крестьянами, попами, купцами, мещанами, вообще с людьми, которые живут, как говориться, по-русски и русский костюм не считают неприличным. Но этот же костюм неудобен в сношениях с помещиками. Ездить в гости в таком костюме нельзя. Нельзя сидеть в комнатах в валенках и полушубке; в теплой комнате, во-первых, жарко, во-вторых—валенками испачкаешь пол, а полушубком—мебель. Распростаться, снять полушубок, как делают крестьяне в теплой избе, и остаться в рубахе и жилете неприлично, и этим все будут скандализироваться. Таким образом, выходит, что или вовсе нельзя бывать у помещиков, которые живут по-барски, или нужно иметь два костюма—городской и деревенский. Я соединяю одно с другим: весною, осенью, зимой дома хожу в полушубке и валенках или высоких сапогах и в таком же костюме бываю у крестьян, прасолов, попов и помещиков средней руки, живущих подобно мне; в гости же к барам езжу в немецком платье, слегка измененном.

Как было бы хорошо носить несколько измененный русский костюм. Русская рубаха, широкие панталоны, высокие сапоги—что может быть удобнее в деревне? Сверху—летом пиджак и для защиты от пыли легкий армячок, зимою—полушубок. Русский костюм, несколько измененный, уже мало-помалу проникает в среду небогатых помещиков; когда же выкупные свидетельства и леса будут съедены, когда старые, до «Положения» построенные дома, экипажи, сбруя придут в негодность, когда не будет более места на службе, когда землевладельцы станут заниматься сами хозяйством, когда провинция опять населится, тогда, я уверен, русский костюм сделается господствующим, тем более, что и начальство, наконец, перестанет на него коситься.

Но не один только костюм не соответствует новому порядку вещей. Все нужно изменить. До сих пор все еще держится старым заведением, и это-то старое заведение одна из главных причин, почему помещики не справляются с хозяйством. Все нужно изменить и приспособить к новому порядку, потому, что все, начиная от постройки дома и кончая сапогом на ноге, при старом заведении устроено так, что требует множество прислуги. Как

я ни жался, как ни старался сократить свой штат, но все-таки еще не достиг желаемого результата, все-таки значительная часть дохода идет на содержание людей. А я еще не имею ни кучера, ни лакея, ни повара.

У меня в усадьбе четыре двора: красный двор, рабочий двор, скотный двор, хлебный двор, и все эти дворы раскинуты на огромном пространстве.

На красном дворе находятся «хоромы», т. е. дом, в котором живу я (барин), и в котором или подле которого полагалось жить моей прислуге (повар, экономка, лакей, горничная, казачок, девочки и пр. и пр.), амбары для хлеба (для того, чтобы барин мог из окна видеть, когда ходят в амбар), каретный сарай для экипажей (к сожалению, я никаких экипажей в нем не нашел, кроме зимней повозки таких громадных размеров, что и лошадей под нее не подберешь), погреб и ледник. На рабочем дворе находятся избы для рабочих и застольной, рабочий сарай. На скотном дворе изба для скотников, хлевы для скота, конюшни и пр. Все это раскинуто на горе, разумеется; есть и роща—первый признак господской усадьбы. Затем два огорода, два колодца под горой, дрова лежат в трех местах. С утра начинается хождение с одного двора на другой. Сторож, как только проснется, идет на скотный двор за лошадью и начинает возить в разные места воду; подойщицы, шлепая по грязи, отправляются доить скот, с скотного двора несут потом молоко на красный, застольная хозяйка десятки раз в день бегает с одного двора на другой, то в амбар, то в ледник, то в молочную и т. д. Ничего не приспособлено для сокращения труда, времени, для защиты от грязи, непогоды. Я думаю, что если бы приспособить все постройки и расположить их вместе на небольшом пространстве, сделать один двор, как у крестьян и купцов бывает, то число домашних рабочих можно было бы уменьшить наполовину, да и рабочим было бы удобнее, потому что не пришлось бы ходить по грязи.

Пробыв несколько дней в губернском городе, где живут любящие чистоту немцы, и несколько оправившись от лихорадки и горловой болезни, я поехал по железной дороге на станцию, в пятнадцати верстах от которой лежит мое поместье. На станцию за мной приехал староста в саночках одиночкой. Белые саночки без подрезов, плохенькая косматая лошадка, староста в валенках, полушубке и шубе, мужик с подводой на тощей лошаденке для перевозки моей клади, снег, мороз... Вот она, настоящая деревенская жизнь, подумал я. Так как я уже обтерпелся и начал привыкать к холоду, то прежнее настроение духа прошло. Опять явилась энергия, жажда новой деятельности и на душе стало как-то радостно и светло. Все мне нравилось: и саночки, и лошадка, и то, что я сам буду править. Садясь в саночки, я заметил в них ружье.

— Зачем это ружье?—спрашиваю у старосты.

— Для случаю; может, и тетеревок попадется.

Потом я увидал, что здесь зимой почти каждый ездит вооруженным для «случаю». Господа побогаче по преимуществу возят с собою револьверы. Мелкие господа, приказчики, старосты, дворовчики, крестьяне, у которых есть ружья, возят или носят с собою ружья, а у простого мужика или топор за поясом, или дубина в руках: каждый, в особенности зимой, отправляясь куда-нибудь один, берет с собой про запас что-нибудь. Не подумайте, чтобы у нас было не покойно: ни об убийствах, ни о грабежах, ни о крупных воровствах—конокрадство появилось только в последнее время—в наших местах не слышно. А между тем каждый имеет при себе «запас для случаю», неровен час, зверь или злой человек наскочит. Конечно, прежде всего зверя боятся, но и «случай» всегда имеют в виду, и каждый смотрит подозрительно на всякого встречного, точно ожидает в нем встретить разбойника. Я думаю, однако, что оружие огнестрельное, например, ружье, револьвер, в смысле его применения, вещь бесполезная, и что дубина в сильных руках гораздо лучше; но ружье имеет значение для «страху»: все-таки не так сунется, если видит в руках ружье или другой какой-нибудь запас. Применить к делу револьвер редко может встретиться надобность, потому что у нас нет специалистов по части грабежей, нет людей, которые занимались бы этим делом, как настоящие разбойники, и поджидали проезжающих на дорогах. Конечно, бывают и убийства и грабежи, но большей частью случайно, без заранее обдуманной цели, и обыкновенно совершаются выпивши, часто людьми в обыденной жизни очень хорошими. «Не клади плохо, не вводи вора в соблазн»—говорит пословица. Лежит вещь «плохо», без присмотра—сем-ка возьму, вот и воровство. Человек хороший, крестьянин-земледелец, имеющий надел, двор и семейство, не то чтобы какой-нибудь бездомный прощалыга, нравственно испорченный человек, но просто обыкновенный человек, который летом в страду работает до изнеможения, держит все посты, соблюдает «все законы», становится вором потому только, что вещь лежала плохо, без присмотра. Залезли ребята в амбар утащить кубель сала, осмину конопли, хозяин на беду проснулся, выскочил на шум, дубина под руку кому-нибудь из ребят попалась—убийство. Сидели вместе приятели, выпили, у хозяина часы хороши показались приятелю, зашедшему в гости, нож под руку попался—убийство. Выпивши был, на полушубок позарился, топор под руку попался, «он» (бес) подтолкнул—убийство. Пили вместе, деньги в кабаке у него видел, поехали вместе и т. д.

Все «случай». Повторяю, специалистов по части убийств и грабежей, настоящих разбойников нет, но каждый всегда опа-

сается «случая» и остерегается всякого, даже своего знакомого. Встретились вы с человеком в глухом месте—иди, брат, своей дорогой, отваливай прочь, кто тебя знает, что у тебя на уме, да и сам ты не знаешь, что тебе сейчас на ум придет. Встречный же, видя, что вы с «запасом», остерегается. Меня с первого раза ужасно поразила та осторожность и недоверчивость, с которой смотрит дорогой мужик на каждого встречного, особенно, если имеет при себе деньги. Едем мы вдвоем с Сидором—ничего; чуть только он заметит какого-нибудь пешехода, особенно если место глухое, лесистое,—сейчас вожжи подбирает, искоса посматривая на прохожего. Чуть что,—и по лошадям. Потому, неровен час, в нутро к человеку не влезешь, что у него на уме, не узнаешь. Ко всему этому я теперь привык, но сначала меня как-то коробило, когда я видел, что меня лично, самого меня, каждый считает способным убить, ограбить, обокрасть, обмануть, надуть, обвесить, обмерить, обсчитать. Конечно, в три года крестьяне соседних деревень, в особенности из молодых, мало-помалу стали доверчивее, видя, что я не обсчитываю, не обманываю, плачу по уговору, не прижимаю.

К вечеру я приехал в деревню. Староста обо всем уже позаботился: протопил печи, убрал дом. Только что прошел слух о моем приезде, о том, что в Б-ницко приехал на житье барин,—почему-то все думали, что я чуть не генерал и уж по крайней мере полковник,—ко мне начали являться различные люди, наниматься в ключники, буфетчики, повара, кучера, лакеи, конторщики, ключницы, экономки, прачки, горничные. Все думали, что я, как барин, поселившийся в деревне и, значит, нажившийся на службе, непременно обзаведусь, то-есть возьму экономку, куплю прежде всего лошадей, парадную сбрую, экипаж. Каково же было удивление всех, когда я перевел старосту в дом, поручил жене его готовить мне кушанье, взял для прислуги и работ молодого крестьянина, завел всего одну лошадь, стал разъезжать одиночкой, дома никакого не устраивал, но увеличил количество скота, стал расчищать луга, сеять лен...

Взволнованный воспоминаниями обо всем пережитом, я долго не мог заснуть, на другой день встал поздно и тотчас же отправился на выставку. Спешил я потому, что в этот день должно было совершиться открытие выставки, и я обещал Сидору показать архиерея.

Открытие выставки было торжественное. Молебствие совершал сам преосвященный. Публики мало. Присутствовали при открытии только начальство, распорядители выставки, которые отличались от прочих большими зелеными кокардами из шелковых ленточек—почему зелеными? потому ли, что зеленый цвет

есть цвет надежды, потому ли, что сельский хозяин летом, конечно, живет среди зелени? Человек пять-шесть экспонентов, несколько учеников земледельческого училища, присланных на выставку, несколько дам, пришедших, очевидно, для молебствия. Съехавшихся на выставку из губернии сельских хозяев изображали мы двое, то-есть я и Сидор: я был представителем земледельцев-помещиков (только один я во всей губернии нашелся, что поехал на выставку), Сидор представителем крестьянского сословия. Взглянув мельком на выставленные в главном здании хлеба и овощи, можно было подумать, что огородничество у нас в губернии процветает, потому что были выставлены такие тыквы, кукуруза, артишоки, капуста,—ума помрачение! Сидора в особенности заинтересовали тыквы, когда он узнал, что их можно есть. Большие кочни капусты ему тоже понравились, потому что у крестьян на капусте обыкновенно бывает только хворост, а если и случаются кочешочки, то не больше хорошего яблока.

— Это, должно быть, огородники выводили, А. Н.?

— Разумеется.

— Ну, так. Знают эти огородники.

У наших крестьян огородничество в крайне плохом состоянии, белой капусты даже у самого зажиточного крестьянина вы не увидите и для приготовления капусты обыкновенно употребляется свекла, зеленый капустный лист—хворост—и свекольник, вследствие чего капуста выходит серая. Крестьяне наши убеждены, что огородники, которые снимают огороды по господским домам и у которых отлично растут всякие овощи, потому выращивают хорошие овощи, что «знают», т. е. умеют наговаривать, ворожить.

Взглянув мельком на хлеба и овощи, мы с Сидором, пока преосвященный с начальством осматривали главное здание, побежали в особенное помещение, устроенное для скота: лошади и скот более всего интересовали нас, а Сидора в особенности лошади, к которым каждый крестьянин имеет пристрастие. Пришли в помещение для скота: стойла устроены как следует, но пусты. Наша губерния выставила всего только *одну* лошадь. Стоит

Одна бедняжечка, как рекрут на часах,

и попоной покрыта, должно быть, от глазу, и ярлычок прибит, на котором написано: арденско-русской породы. Попросил, чтобы сняли попону—сняли, показали: чалая кобыла, хорошая кобыла! Расспросил: говорят, родилась от простой кобылы и арденского жеребца из случной конюшни. Хорошая лошадь, как раз в жеребца уродилась, чалой масти, зад широкий, росту большого, грудь хорошая—разумеется на корму. Думал купить—не для работы, конечно, а для проезду одиночкой—не

продается. Спрашиваю, нет ли на вашем заводе еще таких лошадей на продажу? Молчит. Так толку и не добился. Таким образом, вся наша губерния только *одну* лошадь выставила, соседние губернии ничего не выставили. Этой лошади дали серебряную медаль и в отчете о выставке напечатано так: «метису арденско-русской породы, как доказывающему улучшение местного коневодства путем скрещивания с одною из лучших пород рабочих лошадей, малую серебряную медаль Московского общества улучшения скотоводства в России». Когда я прочитал отчет, то пожалел, что не послушал Ивана старосту и не послал на выставку свою корову-белобочку, может, и ей что-нибудь выкинули бы, как метису, доказывающему улучшение местного скотоводства. Медалей, говорят, было заготовлено штук 50, в том числе золотых и серебряных 36, да похвальных листов 200, может быть, и на мою долю что-нибудь бы досталось. Даже очень вероятно, что досталось бы, потому что у моей белобочки хвоста нет. Может такая уродилась, а может оторвала летом на пустоши. У нас ежегодно на пустошах штук 5 или 6 коров отрывают хвосты: начнет хвостом отмахиваться от оводов, зацепится за дерево, пастух не заметит и угонит стадо, корова рвется, рвется, оторвет хвост (так потом на деревьях хвосты и находят) и прибежит домой вся в крови, без хвоста. Может быть, хоть лист похвальный дали бы этой корове за то, что уж очень удобна для пастьбы на наших пустошах. Дивился я, читая отчет, как хорошо написано: и «метис», и «улучшение местного коневодства», и «скрещивание с лучшей породой рабочих лошадей»! И в департаменте лучше не напишут. Не достает только, чтобы в газетах напечатали: «отрадно видеть, что землевладельцы обратили внимание на улучшение местного коневодства путем скрещивания с известной арденской породой». И как это они умеют так расписывать! А дело очень просто: в губернском городе есть случная конюшня и в ней жеребец арденской породы для улучшения местной породы рабочих лошадей, привели простую кобылу, случили с этим арденским жеребцом, родился от нее жеребенок в отца—счастье — выкормили. Случилась выставка, прислали на выставку, лошадь хорошая, выставлена всего одна, медалей много, не возвращать же туда, откуда их прислали,—ну и дали медальку: по крайне мере другой раз, когда понадобится выставка, скорее что-нибудь пришлют. А тут сейчас и «метис», и «улучшение местного коневодства», и «скрещивание с одной из лучших пород рабочих лошадей».

И почему же арденская порода—одна из лучших пород рабочих лошадей для нашей губернии!? Пока я любовался на чалую кобылу, Сидор уже осмотрел лошадей, выставленных казенною фермою: четыре саврасых кобылы норвежской горной породы. Вот так лошади! Небольшого роста, крепкие, доброез-

жие, тело держат, с побежкой, самые настоящие для нас лошади,—и работать хороша, и проехать есть на чем. Осмотрев этих лошадей, я мигнул Сидору.

— Ну что?

— Хороши кобылки. Вот тех бы парочку купить, что с краю стоят, подошли бы к нашему савраске. Славная бы троечка вышла—жаль только, что кобылки, ну, да оно ничего. Я пытал старика, что при лошадях,—кобылки хорошие, говорит, доброезжие, если хорошо кормить,—зажиреют и жеребиться не будут. Только, говорит, дешево не продадут: нам, говорит, самим для показу нужны.

— А чалая?

— Не побежит.

— Что ты?

— Да уж это наверно. Маловато, однако, лошадей, лучше было нам в Зубово на ярмарку ехать, туда табуны пригоняют.

— Может, и продадут. А не продадут—по крайней мере, осмотрим хороших лошадей.

— А что же их смотреть!

— Посмотрим, узнаем, какая порода лучше. Вот эти савраски, сам говоришь, хороши, норвежской породы. Вот и будем знать, что для работы нужно купить лошадей норвежской горной породы.

— Да где же мы их купим?

— А может, у них на заводе продадут.

— Так. Только вон ту среднюю не покупайте.

—А что?

— Изъян есть, слабовата: я ей крестец давил,—сдает. Старик рассердился: зачем, говорит, трогаешь, а я ему: мы, дядюшка, купить желаем, нужно посмотреть. Барин сам не досмотрит, мне велел смотреть. Зубы, говорю, позвольте посмотреть. Не дал: у нас, говорит, начальство само знает, сколько лет какой лошади, а то всякому зубы смотреть позволь. Проваливай, говорит. Да как же, говорю: мы покупатели, а вы зубы смотреть не позволяете, изъян, должно быть , есть. Ступай, говорит, а не то начальнику пожалюсь. Он тебе изъян в шею сделает.

Спросил об соврасых лошадях—не продают. Нет ли, спрашиваю, на заводе продажных хотя жеребяток. Нет, говорит, мы еще сами разводимся, всего 11 лет как завели эту породу.

Так всего на выставке и было пять лошадей. Одну лошадь наша губерния выставила, да четыре лошади—казенная ферма. Казенным лошадям большую серебряную медаль дали, и стоит: хороши лошади.

За лошадьми следовал отдел овцеводства. Овцы, как я уже говорил, для нашей губернии вещь весьма важная, особенно

для крестьян. Помещики у нас держат мало овец—почему?—не знаю, но у крестьян овца составляет главную статью, потому что овца не только окупает корм, но еще и приносит доход, тогда как рогатый скот дохода не приносит. Овца требует мало корму, потому что весной находит траву ранее, а осенью позже, чем рогатый скот. Когда овца уже наедается, рогатый скот еще голодает. Летом тоже овца наедается на таких пастбищах, где рогатому скоту взять нечего. Овца дает шерсть и приносит пару ягнят, которые вырастают к осени без всякого за ними ухода. Естественно было ожидать, что на местной выставке овцеводство будет представлено соответственно той важности, какую оно играет в местном хозяйстве. Не тут-то было. Овцеводство было представлено еще менее, чем сословие крестьян землевладельцев, которое изображал привезенный мною Сидор—единственный крестьянин, приехавший на выставку для изучения выставленных предметов. Наша губерния не выставила *ни одной овцы*, соседние губернии тоже овец не выставили, вывезла же этот отдел казенная ферма, которая прислала мериносов—по паре чистой электоральной породы, электоральной негретини и электоральной рамбулье, и мясных овец метисов фландрско-оксфордшайрдаунской породы. Тонкорунные овцы хороши, говорят, но награды им не дали, потому что овцы были признаны мало соответствующими местным условиям хозяйства, мясным же овцам дали медную медаль, в видах поощрения мясного овцеводства. Обидно, я думаю, мясным овцам, что их наградили не так, как арденского ублюдка. Но и то сказать, овцы с казенной фермы, где и уход иной, и за деньгами не стоят. Овцы хороши слов нет,—шерсть длинная, хорошая, вес большой, хотя хорошая, крупная крестьянская ярка иногда завесит не менее. Каковы овчины—не известно, а это дело важное, но так как эти овцы разведены на казенной ферме, то сказать о значении их для нашего овцеводства ничего нельзя, потому что условия казенного хозяйства иные, чем наши.

Крупного рогатого скота на выставке тоже было очень мало. Из нашей губернии было 5 экспонентов из трех уездов, остальные же 8 уездов ничего не прислали, городские жители, у которых лучший местный скот, ничего не прислали, известные скотовладельцы, обладающие большими стадами отличного скота, тоже ничего не прислали. Три экспонента из одного уезда выставили: первый—3 штуки русско-фохтландско-альгаусской породы, которым за их типичность, хорошее содержание, а также за распространение владельцем этого скота улучшений в местном скотоводстве, присудили малую золотую медаль. Второй—4 штуки неизвестной породы. Я говорю—неизвестной, потому что специалисты не могли решить, какой породы этот скот, так как в одном отчете сказано: «метисы альгаусско-русской по-

роды», а в другом—«метисы венсишельско-русской породы». Этому экспоненту серебряную медаль выкинули за хорошее содержание, как сказано в отчете, где скот назван альгаусско-русским, в другом же отчете, где скот назван венсишельско-русским, напротив, сказано, что скот выращен и содержан худо. Так под сомнением и осталось, какая порода. Спрашивал я у мальчика-пастушка, находившегося при этом скоте, какой породы скот, на что он отвечал «паньской». Третий выставил одного бычка неизвестной породы: одни считали его голландско-русским метисом, другие—альгаусско-русским метисом. Так как хозяина самого не было, то и нельзя было решить, голландская или альгаусская порода была употреблена для улучшения русской путем скрещивания. Этому бычку ничего не присудили, хотя, по-моему, не справедливо. Я не специалист по скотоводству, не знаток в породах, и хотя могу отличить голландскую корову от альгаусской—голландская пегая, а альгаусская бурая,—но в метисах толку не понимаю и никак не могу узнать, сколько в метисе русской крови, сколько голландской, сколько альгаусской, но и специалисты наши, судя по разногласию отчетов, должно быть, тоже не очень сильны в этом отношении. Что же касается бычка, которого одни считали голландским, а другие альгаусско-русским, то мне кажется, что этот бычок такая родня голландскому, про которую мужики говорят: «да они сродни—ее дедушка с его бабушкой на одном солнце анучи сушили», но все-таки и этому бычку нужно было дать хотя похвальный лист—ведь все равно, даром же пропадут листы!—в видах поощрений хозяев, оказавших уважение начальству и прославших скот на выставку.

Четвертый экспонент выставил 3 штуки, которым за однообразие типа выкинули медную медальку, но и тут насчет породы опять вышло разногласие: в одном отчете напечатано, что эти три штуки «простой русской породы», а в другом отчете напечатано, что это «венсишельско-айширско-тирольские метисы». Кто прав—не знаю. Пятый экспонент выставил корову неизвестного происхождения, крупного типа украинского с посредственными мясными и очень плохими молочными признаками. Больше ничего и не было: с целой губернии всего 11 штук собрали, да и то почти все из одного места. Из соседней губернии было выставлено 3 штуки хорошего скота. Половина стойл осталась пустою. Выставка скотоводства, коневодства и овцеводства положительно не удалась, и по окончании осмотра этого отдела я не мог не согласиться с Сидором, что «для этого ехать не стоило».

Осмотрели скот, полюбовались курами, причем Сидору очень понравились маленькие курочки (потому, говорит, утешные курочки и для горниц лучше голубей, которые летают и

везде пакостят), взглянули мельком на выставку книг сельскохозяйственных... а между тем заиграла музыка, открылся ресторан, публики прибавилось. Зашел в ресторан, встретил двух помещиков-экспонентов, с которыми вчера познакомился. Что ж, господа, говорю, много хозяев на выставку наехало? Нет, говорят, никого еще нет; может, подъедут. Посидели, закусили, музыку послушали и пошли осматривать отдел полеводства и огородничества. Интересного мало: мешочек с пшеницей, мешочек с рожью, мешочек с овсом, а там опять мешочек с пшеницей—разумеется, все на подбор хлеб хороший. Были и хорошие коллекции, но больше все сбор разный. Всего из 6 губерний было 23 экспонента, которые выставили 182 предмета. Разумеется, тут уже все считается: один прислал лук, другой ворсильные шишки, третий пшеницу и т. д. Пока мы смотрели отделы полеводства и технический, Сидор смотрел механический отдел, где 8 экспонентов выставили 53 предмета, между которыми главное место занимали предметы из какого-то шведского склада, теперь, говорят, уже закрывшегося, и предметы местного агронома-изобретателя, выставившего плуг-соху, бороны, катки, особенные грабли. Когда мы вошли в механический отдел, Сидор, уже все пересмотревший, таинственно отвел меня в сторону.

— Тут штука есть, А. Н.

— Какая?

— Такая штука, говорят, чтобы град отводить.

— Что ты? где?

— Вот там стоит.

Действительно, местным агрономом был выставлен *градоотвод*, состоящий из шеста, на верхнем конце которого укреплено медное острие, от которого идет обвитая спирально около шеста проволока.

— Купить бы следовало на случай града, потому что, неровен час, у нас раз все поля отбило.

— Да зачем же покупать—мы и сами можем сделать, штука не мудреная.

— Сделать-то не мудрено, да пользы не будет, тут, известное дело, с наговором делано. От одного шеста какая же польза, если наговору нет! Деды такие бывают, что град отводят, наговаривают тоже, здесь тоже на шесту наговор должен быть.

— А если это простой шест, без наговору?

— Зачем же без наговору шест будут показывать! Какая же в нем без наговору польза! Разве град простого шеста испугается?

— Вот, если дадут за градоотвод медаль, так куплю.

Однако, медали за градоотвод не дали, и я его не купил. Сидор все-таки остался при убеждении, что это шест не простой.

Уже не первый раз мне случается слышать от Сидора, что и между господами есть такие, что умеют наговаривать. Есть у нас барыня, которая лечит гомеопатическими крупинками и иногда помогает—Сидор и все крестьяне убеждены, что барыня эта «знает» и наговаривает на крупинки. Сколько я ни убеждал Сидора, что тут никакого наговора нет, что это просто гомеопатические лекарства, которые можно купить и давать, когда кто заболеет, что гомеопатией все лечат, потому что это не трудно, не требует никаких знаний,—он все-таки остается при своем.

Какое ж в такой махонькой крупке лекарство может быть! Ни скусу в этой крупке нет, ни запаху, насилу в рот поймаешь,—какое тут лекарство! Известное дело, наговор, она на эти крупки наговаривает. Вот фельдшер дает лекарство,—так там видно, что лекарство либо кисло, либо солоно, либо горько. То лекарство, а тут, видимое дело, наговор!

Осмотрев все отделы, зашли в ресторан, посидели, послушали музыку, еще раз зашли в отдел скотоводства. На другой день все утро—деваться некуда, знакомых нет—опять провел на выставке. Пройдусь по залам, зайду в отдел скотоводства, постою, посмотрю, как коровы жвачку жуют, посижу подле музыки, в ресторан зайду, рюмку водки выпью, опять пойду смотреть, как коровы жвачку жуют, музыку послушаю... Каждый день приходил я на выставку—все надеялся встретиться с хозяевами, которые приедут на выставку, но так никого и не видал, потому что другого такого простака, как я, чтобы на губернскую выставку ехать, не выискалось. Придешь, бродишь по пустым залам: около полудня зайдут несколько посетителей музыку послушать или позавтракать в ресторане; если бы не было ресторана и музыки, то так все время выставка и простояла бы пустою. Пусто, уныло, видно, что вся эта выставка никому, кроме распорядителей, не нужна. Хозяев нет, никто выставкой не интересуется, потому что, какой же интерес для губернских чиновников и дам может представлять какая нибудь рожь-ваза или венсишельско-айширско-тирольская телка? Если же и приходил кое-кто на выставку, то или музыку послушать, или в ресторане закусить, или так прогуляться, для возбуждения аппетита перед обедом. Только одни распорядители—нужно им отдать справедливость—принимали живое участие в затеянном деле и, как говорится, на плечах вынесли выставку. Не говоря уже об устройстве здания и приспособлений, сколько хлопот нужно было, чтобы собрать то немногое, что было прислано на выставку, чтобы привлечь публику (устройство ресторана и музыка была в этом отношении мера самая практическая). Наконец, и во время самой выставки они не жалели сил: постоянно присутствовали и, насколько возможно, оживляли ее своею деятельностью, устраивали испытания машин, беседы, экспертизы и пр.

Конечно, испытания не удались, как это обыкновенно бывает. Пробовали, например, корчевальную машину: облюбовали в городском саду недалеко от выставки пень и задумали его вытащить, принесли корчевальную машину, наставили и пустили в ход, трах... машина сломалась, а пень так и остался, как был, ни на чуточку с места не сдвинулся. Сидор, впрочем, наперед говорил, что этого пня не вытащут, «потому, говорит, это пень такой, корень редкой, природное дерево».

— Да ты почем знаешь?—заметил я ему.

— Это по коре видно. Я, как на железной дороге был, насмотрелся. Сколько мы их тогда повытаскали! Сейчас видно, что так не вытащут,—не с той стороны машина берет, так только еловый пень вытащишь, а с березовым—шалишь, немец!

Пробовали еще конный привод пускать, тоже не поладилось, кони испугались, порвали упряжь, людей чуть не затоптали.

Агроном задумал было беседу относительно овечьей шерсти. Собралась публика: неизменные мы с Сидором, изображающие приезжих хозяев, да двое или трое из экспонентов. Начал агроном об мериносовой шерсти говорить, дощечку какую-то медную вынул шерсть пробовать, но, заметив, что никто не слушает, так и бросил.

Уныло, пусто, никому не нужно. Один только я с Сидором ходим с утра до вечера по выставке и думаем: «эк нас нелегкая понесла». Обидно даже: эта поездка мне обошлась 28 рублей 50 копеек, а за эти деньги можно десятину льну обработать. Долго потом я не мог утешиться, что поверил в выставку и потратил на поездку 28 рублей 50 копеек, которые можно было бы употребить гораздо производительнее. Утешился я только тогда, когда прочитал отчет и узнал, что земство дало на выставку 300 рублей, министерство государственных имуществ 500 рублей, министерство финансов 500 рублей, что от министерств и разных сельскохозяйственных обществ выдано 3 золотых, 7 больших серебряных, 20 малых серебряных и 6 бронзовых медалей. Значит, не я один поверил в выставку, не я один думал, что это дело серьезное. Но кто же, в самом деле, мог знать, что никто на выставку не приедет, что никто, кроме распорядителей и нескольких городских обывателей, ее посещать не будет, что будет выставлено всего одна лошадь, ни одной овцы, несколько плохих коровенок, нераспроданные машины из какого-то склада, какой-то градоотвод? Кто же мог знать, что случится такое «прискорбное» явление? Конечно, те, которые не приехали, знали, что такое губернская выставка, но я, который до сих пор только читал отчеты о выставках, где есть и метисы, и «улучшение местного коневодства» и «полезная для края деятельность»,—разве я мог знать, что и выставка есть «отрадное» явление в том же роде,

как приговоры об учреждении школ, попечительств, уничтожение кабаков, отдачи инородцев в классические гимназии и пр. и пр.

Да, близок локоть, да не укусишь,—так 28 рублей 50 копеечек и ухнули. Узнал я от знакомых, что в одной из больших гостиниц по случаю выставки будет обед, на который соберутся и члены общества, и экспоненты, и приезжие хозяева. Отправился, конечно, и я, в надежде, что тут, за обедом, можно будет потолковать об интересующих меня хозяйственных вопросах. На обед собралось довольно много народу: распорядители выставки, члены нашего сельскохозяйственного общества, постоянно живущие в городе, некоторые из экспонентов, приехавшие на выставку местные хозяева, то-есть я («Петербург», как назвал меня один знакомый за мое незнание провинциальной жизни), поверивший, что, действительно, взаправду будет выставка, что взаправду существует сельскохозяйственное общество и т. д., местные адвокаты, юристы, актеры местного театра. Ни за обедом, ни после обеда, разумеется, никаких разговоров о хозяйстве не было, и никто бы не догадался, что это обед по случаю выставки. Просто был обед. Сначала, разумеется, выпили и закусили, потом сели за стол. Пока не удовлетворили голода, было не до разговоров, потом, когда выпили, оживились, и с половины обеда стали требовать от игравшей во время стола музыки «чего-нибудь из «Прекрасной Елены», потом еще выпили, и пошло шампанское, рассказывание пикантных анекдотов и, наконец, танцы... Вспомнились мне наши обеды на съездах натуралистов—в Петербурге у Демута, в Москве у Гурина, наши ужины после заседаний химического общества—какая разница! И мы тоже пили и пели, и плясали, и веселились, но каждый обед ложился в памяти светлым воспоминанием, каждый обед еще крепче связывал в одну семью разбросанных по всей России химиков. Сколько интересных вопросов решалось за этими обедами, сколько высказывалось новых мыслей, сколько жизни было в спорах! А тут бог знает что! Главное дело, что и веселья-то настоящего нет, того веселья, которое бывает, когда люди соберутся для общего дела и сойдутся, чтобы за стаканом вина обменяться мыслями.

Обед этот произвел на меня до крайности тяжелое впечатление, потому, должно быть, что я уже почти три года ни на каких обедах не бывал. И отчего это на наших обедах, чуть только выпили, сейчас пикантные анекдоты и канкан? Случалось мне не раз в течение этих трех лет бывать на обедах у крестьян по случаю новоселья, обновления свечи в Никольщину и т. п., то-есть на таких обедах, где собираются все хозяева деревни. Никогда не слыхал я за этими обедами ничего пикантного, ничего скандального. Усядутся все чинно за стол, сидят степенно, толкуют

о хозяйстве, о погоде, об ожидаемых урожаях и заработках, о местных интересах... выпьют—загалдят, разговор делается оживленнее, но никогда не принимает скоромного направления. Начинаются мечтания о том блаженном времени, когда хлеб будет родиться хорошо,—ничего пикантного, нескромного. Видно, что у людей есть общие интересы, что им есть о чем поговорить, а у нас никакого общего интереса нет, говорить не о чем, и единственное, на чем мы сходимся, что всем нам обще и доступно—это мотивы из «Прекрасной Елены».

Усталый, измученный, пришел я в свой номер.

— Ну, что, Сидор?

— Домой бы пора ехать, А. Н. У нас, чай, уж лен начали мять.

Да, домой, домой. Но мне хотелось проделать все до конца, и потому я остался еще на день, чтобы побывать в заседании нашего сельскохозяйственного общества, назначенном по случаю выставки.

Собрались, разумеется, кто?—присутствующие городские члены общества, живущие в городе, хозяйством самолично не занимающиеся и состоящие на службе. Я так и думал, что председатель откроет заседание речью, в которой, как председатель валдайского съезда («Земледельческая газета» 1872 года, № 19), обратит внимание съезда на то, «что вообще сельское хозяйство в губернии в упадке, что немногие хозяева занимаются им с знанием и капиталом, что из этих хозяев почти никто не прибыл на съезд, а те немногие, которые присутствуют, или вовсе не имели своего хозяйства, или перестали и перестают им заниматься, что хотя управою было разослано более ста приглашений, но как настоящий, так и прошлый съезды были малолюдны, и что это, повидимому, указывает на малый интерес, возбуждаемый съездом между хозяевами, поэтому не следует ли на будущее время прекратить созыв съездов, или же принять какие-либо меры, чтобы собрания эти были полезны и возбуждали внимание сельских хозяев». Но председатель этого не сказал и, вообще, никакой речи не сказал, да и не к кому было обратиться с речью, потому что из местных землевладельцев-хозяев приехал на выставку один только я, да еще двое помещиков-экспонентов, выставивших скот. Сели. Секретарь объявил, что господин такой-то сделает сообщение об обработке паровых полей. Оказалось, что господин намерен был повторить то, что он обещал уже на бывшем два года назад сельскохозяйственном съезде и что им было напечатано в особой записке. Записка эта очень интересна, в ней господин агроном заявляет, что он получил хозяйственное образование в высшем агрономическом заведении, был послан для усовершенствования за границу и, наконец, заведывал хозяйством казенной фермы, где убедился, что у нас неприменимы те

улучшенные способы полевозделывания, которые употребляются за границею, что мы не можем употреблять улучшенные орудия, разумеется, вследствие «недобросовестности русского крестьянина», вследствие «невежества и бессовестности» батраков, вследствие «безответственности и известных нам качеств русского крестьянина относительно его пренебрежения и невнимания к чужой собственности». Дело, видите ли, в том, что когда агроном заведывал казенной фермой, то с ним случилось то, что случилось со многими хозяевами, которые без толку заводили плуги и разные улучшенные машины. Оказалось, что орудия и машины не призводили того количества работы, которое полагается, что их портили и ломали, что лошади были худы и искалечены, что в рабочем сарае не было порядка, и орудия сваливались без разбору в кучу, так «что часто рабочий, выезжая в поле, опаздывал двумя часами, собственно, за невозможностью вытащить нужное орудие, что у него в хозяйстве пошла ломка орудий с ежедневной потерей различных частей снарядов и инструментов» и т. д., и т. д. Агроном, конечно, свалил все на недобросовестность, невежество и прочие дурные качества русского крестьянина, пришел к убеждению, что с таким народом ничего не поделаешь, и забраковал все улучшенные орудия. Затем, на основании различных соображений, агроном пришел к заключению, что у нас неприменима плодосменная система, что мы не можем сеять клевер, не можем употреблять искусственные туки, улучшать скот и пр. Так что мы должны оставаться при старой трехпольной системе хозяйства, отдавать земли на обработку крестьянам издельно, с их орудиями и лошадьми, вести такое же скотоводство, как прежде, словом, делать то, что делается ныне в падающих год от году хозяйствах. Но, внушая оставаться при старой системе хозяйства, агроном все-таки предлагает некоторые улучшения, которые должны возвысить доходность имений и способствовать увеличению благосостояния крестьян. Эти улучшения состоят в том, чтобы вывозить навоз зимой и пахать яровое поле на зиму. Об этом-то, собственно, и было сделано сообщение. Ну, разумеется, поспорили, нельзя же—все-таки заседание общества!

Вся эта поездка мне обошлась 28 рублей 50 копеек, то-есть 4 куля ржи, или 9 кулей овса. Чему же я за эту сумму научился? Что узнал полезного?

А то, что и выставки, и съезды сельских хозяев, и сельскохозяйственные общества не более, как «отрадные явления», такие же, как приговоры о школах, об уничтожении кабаков и пр.

Прискорбно, однако, видеть, что есть, подобно мне, люди, которые верят и в выставки, и в съезды, и в отчеты. А какой отчет написан о нашей выставке!!

V

Я отпраздновал пятую годовщину...[1]

Зима в нынешнем году такая же лютая, как в 1870—71. Морозы стоят страшные—птицы замерзают. Декабрь. В пять часов уже темно...

Я возвратился со скотного двора, выслушал отчеты старосты, сделал распоряжения на завтра, записал приход, расход, умолот и пр., напился чаю, спросил уроки у детей и в восемь часов...

«Выпив водочки и поужинав», ложусь спать. Этой же фразой начиналось и мое первое письмо «из деревни», но приятель, которого я просил передать письмо в редакцию, вычеркнул слова: «выпив водочки». Вышло, по-моему, нескладно, а главное—неверно, потому кто же в деревне, будучи настолько богат, чтобы всегда иметь на дому водку, ложится спать, не выпив ее за ужином? Ясно, приятель вычеркнул эти слова, желая меня соблюсти. Известно, что у нас, если кто потеряет место и очутится без службы, да к тому же попадет в деревню, то он никакого дела себе найти не может, от скуки начинает пить и спивается, точно так же, как обратно мужик обыкновенно спивается, если попадет на службу, где у него никакого настоящего дела нет. Приятель, должно быть, боялся, чтобы не подумали, что я сделался в деревне пьяницей и, *соблюдая меня*, зачеркнул «выпив водочки». Обыкновенно все начинают с того, что выпивают только за ужином, потом привыкают выпивать и за обедом, потом, малопомалу, привыкают опохмеляться утром, а раз человек стал опохмеляться—недаром говорится: «пей, да не опохмеляйся»—и утром натощак вместо чаю пить водку—кончено, разумеется, кончено для человека, который не работает. Работающему мужику нипочем, даже полезно выпить стакан водки в пять часов утра перед завтраком.

Теперь за меня опасаться нечего, соблюдать меня ненужно, потому что прошло уже пять лет, и я не спился, несмотря на то, что в Петербурге перед отъездом многие предсказывали мне такой конец. Конечно, я пью и даже не водку, а «вино», в акцизном значении этого слова, а говорят, акцизное-то вино и имеет свойство делать людей пьяницами и развивать «запой», который неизвестен в чужих странах, где пьют настоящее, а не акцизное вино. Выпиваю рюмку-другую за обедом, нужно же что-нибудь пить, когда настоящего вина нет; выпиваю и за ужином, но все-таки, не спился, потому что никогда не опохмеляюсь, а отпиваюсь по утрам чаем. Поэтому, желая вновь описать мой зимний день, нисколько не опасаясь, начинаю:

---

[1] А. Н. приехал в Батищево 6 февраля 1871 г. Писано в 1875 г. (Примеч. Н. Энгельгардта.—*Ред.*).

...Вышив водочки и поужинав, я ложусь спать, уложив предварительно детей, из коих младший спит в своей комнате рядом со мною, и ночью находится специально под моим надзором, потому что у меня нет ни няньки, ни гувернантки. Засыпая, я уже не мечтаю теперь о клевере, потому что мечты исполнились, и клеверные поля существуют в Батищеве. Теперь загады мои идут далее, и я мечтаю как бы устроить винокуренный заводец, и устрою, когда акцизное дело будет настоящим образом установлено, так что можно будет рассчитывать на что-нибудь верное. Сплю я спокойно, ничто не нарушает мой покой; не слышно даже отрывистого лая Лыски, которого, увы! уже нет на свете. Да, Лыски уже не существует, и причиною этому я—я, внесший новые элементы в мирную жизнь прежних обитателей Батищева. Как ни хитер, как ни осторожен был старый Лыска, но все же попался-таки на зубы волку, а всему я причиной. Какая, казалось бы, связь могла существовать между мною, жившим в Петербурге, и Лыской, жившим в каком-то уединенном Батищеве? А вот же! не попади я из Петербурга в Батищево, не расширь я своего хозяйства, не разведи я разных новшеств, жил бы да жил старик Лыска и мирно бы почил между поленицами дров за овином. Конечно, и Лыска виноват, потому что, живи он по-старому, не увлекайся, был бы до сих пор здрав и невредим, но увлекаться так свойственно не только собаке, а и человеку, одаренному высшим разумом. Да, бедный Лыска, дорого поплатился ты за свои увлечения на старости лет!

Прежде, когда в Батищеве, кроме меня, жил только староста, скотник и Сидор, когда я описывал, как мы жили, в моем первом письме, у нас была всего только одна собака—старый Лыска. Жил тогда Лыска в сенях старухиной избы, которые на ночь аккуратно запирались, поэтому Лыска, чуя волков, мог брехать, но волки ему ничего сделать не могли, так как двери запирались плотно. Днем Лыска далеко не отходил, иногда разве, если «старуха» поскупится бросить ему хлеба—тогда «старуха» и Иван жили на своем хлебе,—побежит он, поднявши хвост крючком, мелкой рысцой, на мельницу, поест там мучной пыли, напьется в речке, а потом сейчас же вернется домой, ляжет около избы и брешет на проезжающих. Умен он был удивительно, никогда никого не укусит, но зато никого не пропустит. Чуть только заслышит колокольчик или стук телеги—нам часто и не слышно еще—тотчас начинает, лежа, отрывисто побрехивать, вот колокольчик ближе и ближе, Лыска встает, рысцой бежит к полевым воротцам, встречает проезжающего с громким лаем, провожает его по усадьбе и затем опять возвращается на свое место. Никогда он не злился, никогда не бросался под ноги лошадям, ни к кому с лаем не приставал, умнейшая собака был и совершенно хорошо понимал, что его дело только брехать и тем давать знать хозяину, что кто-то

идет или едет. Свой колокольчик, стук своей телеги, своих лошадей Лыска знал отлично и никогда не лаял на своих, как заменившие его глупые молодые собачонки, которые лают и на чужого, и на своего, даже на меня, когда я возвращаюсь домой поздно вечером. Бывало ждешь Сидора со станции, услышишь колокольчик, Лыска не лает, верно, значит, Сидор едет: Лыска узнал свой колокольчик. Идешь навстречу, чтобы поскорее получить письма и газеты—это было еще в то время, когда я верил тому, что пишут в газетах,—а Лыска уже бежит вперед и весело виляет хвостом, точно сказать хочет: это Сидор со станции едет и письма тебе везет. Лыска даже понимал, когда Сидор везет письма, а когда нет, потому что, когда везет, то, зная, что это мне доставит удовольствие и что я всегда радуюсь, когда получаю письма, Сидор едет скорее, веселее, когда же нет—едет шагом. Заслышу, бывало, колокольчик, если Лыска весело бежит к воротцам—бегу, наверно письма или, по крайней мере, журнал—журналу я тоже всегда особенно радовался. Если же Лыска бежит вяло, мелкой рысцой—и спешить не стоит: наверно одни газеты. И какой удивительный слух был у этого Лыски—у дворняг именно слух развит, а не чутье, как у охотничьих собак,—никогда не ошибется. На что уже тонок слух у Ивана старосты, все колокольчики знает, и мирового, и станового, и акцизного—вот, если бы Иван держал кабак, поймай его с вином неузаконенной крепости—за версту услышит, что акцизный едет, сейчас бух спирту в бочку—измеряй, батюшка, градусы, а уехал—опять водицы можно подбавить—и фединского барина, и волостного, но все-таки Иван колокольчик бардинской барыни от нашего отличить не может, а Лыска отличает. Под вечер Лыска никуда не выходил, разве летом иногда—Лыска отлично знал, что летом волков бояться нечего—зайдет в дом, выпросит себе какой-нибудь кусочек, съест и пойдет на свое место к старухиной избе, зимой же Лыска даже в дом не ходил, с раннего вечера в сумерки заберется в сени старухиной избы и, чуть заслышит волка, отрывисто побрехивает в сенях, не высовывая оттуда носа. Умнейшая была собака и дожила бы до глубокой старости, не случись со мною того, что случилось.

Приехал я, начал разводить хозяйство—и все изменилось. Первую зиму я прожил в Батищеве при тех же условиях, как жили прежде, но, с наступлением весны пошли перемены: быков, которые дотоле содержались в имении, я заменил коровами, следовательно, пошли молочные скопы, выпойка телят; завел пару лошадей, овец, свиней, кур, уток, словом—господский дом стал заводиться. Народу прибавилось, прибавилось и запашки, потому что начали орать пустаки под лен, пошли во всем новые порядки. Скотнику понадобилась собака. И в поле около овец без собаки нехорошо, и дома, когда есть лошади, телята и пр.,

без собаки нельзя. Да и староста тоже говорил, что раз у нас теперь будет большое заведение—без собак нельзя, потому что сторожу одному не усмотреть, а держать двух сторожей дорого будет стоить, да и двоим-то так не укараулить, как укараулят собаки. Поговорили и решили развести собак. Скотник достал откуда-то щенка-сучку. Мы решили взять сучку, во-первых, для того, чтобы иметь свой завод собак, во-вторых, потому, что на скотном дворе без сучки нехорошо. Обыкновенно, когда корова отелится и схолится, скотник выкидывает послед на задворок своей избы, где он поедается собаками, а есть примета, что если послед съест сучка, то корова следующий раз телит телочку, а если послед съест кобель—то бычка; так как каждый желает, чтобы у него родились телочки, то поэтому на скотном дворе нужно держать сучку...[1].

Первая зима прошла благополучно. Волки ни разу даже близко не подходили, хотя в шести верстах от меня волки не только собак переловили, но один из них, бешеный, перекусал людей, так что несколько человек умерли, и спасся только один, который, будучи легко ранен, прибежал тотчас к нам в деревню—я его видел и никогда выражения испуга на его лице не забуду, да и как не испугаться, зная, что через несколько дней взбесишься?—к старику пруднику Андриану, чтобы тот заговорил рану. Хотя Андриан и отказался заговорить, объяснив, что он может заговаривать только от укушения бешеной собаки, но от укушения бешеного зверя не может, силы ему такой не дано, однако указал другого старика, который успел заговорить во-время, и мужик остался жив...[2].

Когда сучка щенилась, общим советом мы решили оставить одного щенка, потому что завод хорош, и выбрали самого крупного кобелька—как две капли старик Лыска. Кобелек этот был причиною многих несчастий.

Сучка, разумеется, отлично выкормила одного щенка, потом в июне приехал на каникулы мой сын, а у ребят, известно, первое дело—играть со щенками, а играя, разумеется, что сам ест, то и щенку. Откормили щенка на славу и, не знаю как, прозвали Цуриком. Сначала манили «цуцу-цуцу», потом «цуцик», потом «цурик», так и осталось прозвище Цурик. Пес вышел огромный, толстый, с длинною шерстью, сильный и умный, но до крайности ленивый. Сначала Цурик вздумал глупить; кусаться втихомолку начал, лежит, бывало, подле дома, около крыльца, идет кто-нибудь чужой, не брехнет, пропустит мимо себя, а как тот взойдет на крыльцо, сейчас бросится без лая, схватит сзади за полу и потянет вниз, так что иной от неожидан-

---

[1] Сделано небольшое сокращение описания дворовых собак.—*Ред.*

[2] Тоже.—*Ред.*

ного нападения слетит с крыльца. Однако Савельич, который удивительный мастер школить собак и кошек, скоро отучил Цурика кусаться и прелестнейший пес стал. Одним был нехорош: ленив был очень. Лежит, бывало, посреди двора, и чуть заслышит что-нибудь, а слух у него был не хуже, чем у старика, Лыски, брехнет раза два и завоет от лени, да так громо и протяжно. Я уверен, что Цурик выл от лени; как умный пес, он понимал, что должен брехать, когда что-нибудь услышит, но брехать лень—брехнет и завоет, опять брехнет и тянет. Иван, однако, думал иначе. Ивану это вытье Цурика очень не нравилось, и, не заступись я, он бы его непременно застрелил. «Навоет он нам,—постоянно твердил Иван,—ах, уж как я этого вытья не люблю, всем пес хорош, да только держать его не следует».

— Да это он от лени воет.

— Нет. И кому это он воет? На смерть кому, или на несчастье какое, или на пожар? И все, поднявши голову, воет, не себе, значит, а кому-нибудь другому.

— Пустяки, от лени воет.

— Не говорите, А. Н., были у нас примеры. Старый наш барин охотник был до собак, сетерок у него был преотличнейший и что же бы вы думали? Вдруг стал выть, всю зиму выл, а весною «Положенье» вышло. Барин тоже все не верил, а как случилось, так и говорит мне: «правда твоя—вот он к чему выл». Вот и у нас тоже перед смертью брата сучка все выла. Я и застрелил ее, а все-таки брат умер, потом его жена померла.

Раз—это было на страстной—в числе разных бумаг сотский принес мне повестку. Я прочитал: Савельича требуют в стан для выслушания объявления прокурора К. окружного суда. Я удивился: какие такие дела могут быть у Савельича в окружном суде? Выхожу в кухню.

— Какие это, Савельич, у тебя дела в К. окружном суде?

Савельич посмотрел на меня с недоумением.

— Повестку принесли, требуют тебя в стан для выслушания объявления приговора К. окружного суда. Какое это у тебя там дело?

Савельич сконфузился и начал усиленно тереть рукою лысину—признак, что он находится в волнении. Я стал расспрашивать. Оказалось, что несколько лет тому назад, когда Савельич собирал на церковь, на каком-то постоялом дворе в К. губернии у него украли кружку с собранными деньгами, о чем он тут же заявил становому приставу. Савельич подробно рассказал, как у него во время сна украли кружку, в которой было рубля два серебряных денег, как он пожаловался становому, как его потом уже раз требовали к следователю.

— Зачем же вы жаловались?—заметил Иван, который Савельичу всегда почтительно говорит «вы».

— Рассердился очень, потому что прямо из-под рук унесли.

— Эх вы, а еще бывалый человек, у генерала служили. Ну, вот и отвечайте теперь. Маленький судок—без хлеба годок.

Савельич был сильно взволнован и в первый раз за все время своей службы попросил у меня денег на случай. Я дал ему денег и старался объяснить, что ему нечего бояться, что отвечать ему не придется, что его могут вызвать только в качестве свидетеля, вообще старался успокоить. Однако я и сам не знал: не могут ли потребовать Савельича, хотя бы и в качестве свидетеля, в К., как его туда доставят, кто его там будет кормить, не придется ли ему итти туда по этапу или так как-нибудь, питаясь христовым именем? Железной дороги в К. нет—не на почтовых же поедет Савельич? Конечно, все эти сомнения Савельичу я не высказал, что бы не обеспокоить старика, обещал не оставить его и предполагал, когда дело выяснится, съездить в стан или, если понадобится, в город. Тут уже не в первый раз, живя в деревне, я пожалел, что не обладаю даже такими элементарными юридическими познаниями.

Савельич, казалось, успокоился и мы решили, что он пойдет в стан на другой день праздника, но это спокойствие было только кажущееся... И праздник вышел Савельичу не в праздник,и страстную субботу, и первый день праздника Савельич пролежал на печке—голова, говорил, болит, только и слез с печи раз, когда «святых» принесли. Даже никакого особенного торта мне к празднику не приготовил!

На второй день праздника я уехал в гости, а Савельич без меня ушел в стан. Вечером, когда я возвратился домой, Иван доложил, что Савельич ушел.

— Не знаю, как дотащится старик, очень уже осунулся за эти дни—ведь он все время на печке лежал, почесть, ничего не ел, даже порцию на розговинах не выпил. Сегодня, как стал со всеми прощаться,—заплакал. Имущество свое—халат и сумочку—мне придоверил, просил, если не вернется, прислать к нему в острог. Собачку его, Шумилу, просил беречь. Вот оно, кому Цурик выл!—прибавил Иван.

Жалко мне было старика. Я и не подозревал, что он именно от тоски и беспокойства пролежал праздник на печке. И эта забота о своем имуществе!.. А все имущество, с которым Савельич пришел ко мне и которое во время его жизни у меня нисколько не приумножилось, состоит из старого побуревшего малинового халата и клеенчатой сумочки, набитой разной дрянью и, главным образом, обрезками разноцветной бумаги, которую Савельич употребляет для украшения приготовляемых им в торжественных случаях конфет.

Оказалось, однако, что Цурик выл не Савельичу. Через несколько дней Савельич вернулся домой веселый, радостный,

здоровый, даже несколько подгулявший. Ему объявили, что дело прекращено.

Савельич до сих пор живет у меня, и человек он для меня очень полезный: моет столовую посуду, ставит самовар; топит печи. Летом, когда соберутся дети да еще подъедет кто-нибудь из петербургских друзей, мыть посуду и ставить самовар—дело не шуточное, потому что ежедневно приходится поставить не менее семи самоваров, и Савельич все это успевает делать, «потому что презвычаен к этому,—говорит Авдотья:—его в Петербурге, когда у генерала служил, приучили—их барин, ведь, строгий был». Зимою главное занятие Савельича—топить печи в доме, на что он удивительный мастер, «оттого, что на градусы смотреть умеет», говорит Матрена, молодая баба—теперь жена Сидора, которую я взял в дом, когда дети переехали в деревню—если я, в случае отсутствия Савельича, замечу Матрене, что она нехорошо вытопила печи. Действительно, Савельич—мастер топить печи, и если бы не он, то, думаю я давно бы замерз в моем холодном доме. Савельич всегда с утра посмотрит, какова погода, откуда дует ветер, сколько градусов показывает термометр, висящий у меня в комнате, и, сообразив все, соответственно топит печи, свойства которых он изучил до тонкости. Всегда бывает достаточно тепло и скорее жарко—градусов 20 на высоте термометра,—чем холодно. Один раз только в нынешнем году Савельич оплошал. В начале декабря стояли оттепели, и Савельич, разумеется, топил слегка, 14 декабря было тепло, так что, переезжая на мелкой быстринке речку парой, гуськом на санках, я провалился, но в тот же день с обеда стало потягивать ветерком от Петербурга—самый мерзкий у нас ветер, к вечеру стало подмораживать, и за ночь мороз при сильном северном ветре усилился так, что на другой день, 15-го, было уже 25 градусов мороза, а 16-го —более тридцати градусов. Птицы замерзали. Прасол, который купил у меня скот и должен был к 17-му пригнать ко мне скот, скупленный им у разных лиц, явился везя на санях двух зарезанных коров, которые пройдя пять верст, отморозили ноги, а остальной скот он бросил на дороге в каком-то господском доме. Все работы остановились, потому что не было возможности не только возить навоз, но даже и в лес за дровами ехать. Сидор, который поехал было зачем-то в деревню без башлыка, проехав одну версту, отморозил уши. Так как накануне была оттепель, и печи были протоплены слегка, то за ночь дом сильно охолодал—ветер, главное, пронял. Поутру Савельич схватился топить печи, но, пока он их вытопил, температура в комнатах понизилась до четырех градусов тепла; к вечеру, несмотря на то, что печи были накалены так, что дотронуться нельзя было, температура комнаты, самой теплой, была 8 градусов, а к утру понизилась до шести градусов.

За ночь цветы на окнах померзли, мокрый веник, которым Савельич метет комнаты, оставленный на ночь в углу комнаты, примерз к полу. Но тут же Савельич был не виноват, потому что кто же мог предвидеть, что на другой день оттепели будет мороз в 25 градусов? Однако бабы, Авдотья и Матрена, которые вечно воюют с Савельичем, и не любят его за то, что он учит их порядку и называет мужичками, на что они отвечают: «да, мужички, халуйками не были, панских горшков не выносили», все-таки не вытерпели, попрекнули Савельичу: «не усмотрел градусы, старый»?

А что было на скотном дворе—упаси господи! Несмотря на то, что у меня хлевы довольно теплые, с соломенными потолками,—все промерзло. Коровы стоят сгорбившись и трясутся, выпустят на водопой, подбегут, хватят немного воды—еще хорошо, что вода ключевая, теплая—и назад. Не знаю, как справлялся старик-водовоз, который возит воду молодому скоту? Однако все обошлось благополучно: люди все на скотном дворе здоровы, ни одна корова ног не отморозила, даже голландская, за которую я более всего опасался, потому что она привязана как раз против ворот, ни один теленок не замерз, а скот, хотя похудел и убавил молока, но здоров.

Аккуратно исполняя свои занятия, Савельич находит время сделать кое-что и для себя, «на свои прихоти», как говорит Авдотья. То он мыло варит: собирает, при чистке подсвечников, стеарин, разные огарки, сало из кастрюль и варит мыло. Варит он мыло по-своему: сделает щелок, нальет в кастрюлю, прибавит извести, стеарину и соли и варит, пока не получится густая белая масса, которую он разливает в формы. Сколько раз я объяснял Савельичу, что так мыло варить не годится, что нужно сделать щелок, сварить с известью, дать отстояться, слить чистый едкий щелок, положить в него стеарин, сварить и отсолить, но Савельич моим советам не внимает и продолжает варить по-своему.

— Так мыла больше выходит,—говорит Савельич.

— Да, ведь, оно не мылится, никуда не годится,—говорю я.

— Ничего. Бабы берут и похваливают.

Своим мылом Савельич награждает баб и моется сам.

Вообще Савельич очень любит *свои* загады, вечно выдумывает разные штуки—«прихоти», как говорит Авдотья,—вечно над чем-нибудь возится, что-нибудь изобретает, строит насчет своих изобретений воздушные замки, в Москву собирается, когда потеплеет.

Савельич преимущественно летом в покос, когда все люди заняты, ездит иногда за письмами на станцию. Ездит он обыкновенно на беговых дрожках, на маленькой лошадке, которую он *сам* себе выбрал и потому считает лучшею из всех рабочих

лошадей. Не понравилось ему почему-то ездить на дрожках и вот задумал он сделать себе собственный экипаж. Смотрю я как-то раз—мастерит себе Савельич что-то особенное, не то ящик, не то кресло—доска, с трех сторон колышки вбиты, сидит Савельич и оплетает между колышками стеблями старого хмеля, который срезают на зиму.

— Что это, Савельич, ты делаешь?

— Штука будет, сами увидеть изволите, когда кончу, что отличнейшая штука будет,—говорит самодовольно Савельич.

— Это он экипаж себе мастерит, в Москву ехать хочет, продаст конфеты на покров, лошадь себе на кожевне купит и поедет свои пряники в Москве продавать,—замечает Матрена, проходя мимо.

— А—няжь,—дразнит ее Савельич, рассердившись,—мужло!

Ну да, мужичка и пр. Начинается перебранка.

Через несколько времени я послал Савельича на станцию. Еще накануне он снарядил свой экипаж, взял передок от телеги, поставил на него свое кресло—ящичек даже под сидением приделал: «чтобы «Ведомости» не замочило», Савельич по старинному называет газеты ведомостями—привязал веревками. На другой день утром все собрались смотреть, как поедет Савельич в своем экипаже. Савельич нисколько не сконфузился, запрег лошадь, сел в свое кресло, поставил ноги на оглобли и торжественно выехал с рабочего двора.

— Возьми, Савельич, корзиночку на колени, зачем добро терять? Подставишь лошади под хвост, когда понадобится, да и штаны чище будут,—подсмеялся кто-то.

Однако Савельич съездил да еще посылку для соседней барыни привез—ящик с чаем. Ящик этот он поставил на свое кресло-одноколку, а сам сел на ящик.

Самое любимое дело Савельича—приготовлять конфеты и при этом изобретать новые сладости из таких материалов, которые, казалось, вовсе не могут служить для приготовления кондитерских изделий, например, из сырых турецких бобов. Лишь только у Савельича заведутся деньги, он покупает сахар или сахарный песок, чего Авдотья выносить не может.

— Накупил сахару, старый прихотник, рубашек нет, а он сахар покупает. Не давайте вы ему денег А. Н., а лучше холста купите, да прикажите Химе ему рубашки сшить.

Купив сахару, Савельич начинает делать конфеты: леденцы, миндальное печенье, в которое он, вместо миндаля, кладет размоченные турецкие бобы—это изобретение Савельича,—пряники из кукурузы, из клюквенных выжимок, получаемых при приготовлении клюквенного киселя или морса,

из ягод, которые служили для настаивания наливок, цукаты из лимонных корок, тщательно им собираемых из пунша, который я иногда, когда случится ром и лимоны, пью после обеда, и т. п. У Савельича в каморке всегда мокнет и киснет в банках всякая дрянь, которую он потом переделывает на конфеты. Наготовив товару, Савельич отправляется на сельскую ярмарку и там распродает. На вырученные деньги он опять покупает сахару, опять делает конфеты и продает на следующей ярмарке, так продолжается, пока не выйдут все деньги. В конце концов торговля эта всегда Савельичу—в убыток. Купит он сахару на рубль, переделает на конфеты и продаст их за 60 копеек; купит потом сахару на 60 копеек, сделает конфеты и распродаст за 30 копеек, и так до тех пор, пока останется копеек 10 на табак. Все это происходит не от того, чтобы Савельич не умел расчесть, напротив, он превосходно все рассчитывает, знает, сколько пошло сахару,—при всех своих кондитерских приготовлениях он всегда взвешивает все материалы — сколько приготовлено конфет, почем следует продать конфеты, чтобы получить рубль на рубль барыша, и, отправляясь на ярмарку, твердо убежден, что у него товару на два рубля и что он заработает рубль за свои труды, но, возвращаясь, приносит только 60 копеек. Такая недовыручка происходит оттого, что Савельич, по своей доброте, большую часть товара раздаривает своим бесчисленным знакомым, которые все его очень любят. Как бы то ни было, это приготовление и продажа конфет составляет величайшее наслаждение для Савельича—то, что Авдотья называет его прихотями.

Своими кондитерскими изобретениями Савельич очень дорожит и, сделав какое-нибудь очень важное, по его мнению, открытие, обращается даже ко мне. Так было, когда он открыл способ приготовления миндальных пряников из турецких бобов.

Сижу я как-то после обеда на балконе, вдруг является Савельич и подносит мне на тарелке белые пряники.

— Извольте откушать.

— Благодарю. Что это, кажется, миндальное печенье?

Савельич просветлел.

— Извольте откушать.

Я попробовал. Видом похоже на миндальное печенье, но вкусом—не то.

— Из чего же это приготовлено?

— Сами извольте угадать.

Я никак не мог догадаться, но Авдотья, которая недалеко от балкона сажала лук, не вытерпела.

— Это он из бобов делает.

— Из каких бобов?

— Белые бобы размачивает.

— Что же хорошо. Савельич, только для большего сходства следовало бы немножко горького миндаля прибавлять, чтобы дух миндальный был.

Савельич согласился и как-то таинственно сообщил мне, что за эту выдумку большие бы деньги дали на московских пряничных заводах.

Впоследствии оказалось, что выдумка Савельича не так хороша, как показалось сначала, во-первых, когда пряники высохли, то их невозможно было разжевать, а во-вторых, сырые турецкие бобы производят тошноту и даже рвоту.

Савельич, однако, не упал духом и, оставив приготовление пряников, занялся изобретением какого-то особенного сбитня. Целое лето он собирал травы и мастерил свой собственный чайник из жести от сардиночных коробок, осенью во время рекрутского набора он думал итти в город торговать сбитнем, но дело как-то не состоялось.

Иногда Савельич вдруг вздумает путешествовать—скучно ему станет или бабы уж его очень проберут—и соберется или к сестре, куда-то под Вязьму, или к родственникам каким-то под Ярцево и уйдет. Обыкновенно через неделю он возвращается измученный, больной, перемерзший—стар и слаб уже становится—и опять принимается за свое дело: полы метет, сапоги чистит, самовары ставит, печи топит. Между тем бабы, попробовав, каково им без Савельича, которого они постоянно укоряют, что он—только комнатный слуга и ничего не делает, притихают, и водворяется мир.

Летом Цурик не выл и мало проживал дома—постоянно находился с рабочими в поле и на покосе, который я арендовал на Днепре, верстах в семи от моего имения. Наступила осень, и Цурик опять начал выть и на этот раз навыл. Хозяйство мое в эту пору расширилось, и насколько расширилось, можно судить по следующим данным.

В 1871 году поступило в кассу 1 562 рубля, а выпущено из кассы 1 453 рубля—всего обернулось 3 015 рублей.

В 1874 году поступило 6 047 рублей, а выпущено 5 839 руб. всего обернулось 11 886 рублей.

Так как из этой суммы расхода лишь незначительная часть идет на покупку в городе чая, сахара, табаку и прочих необходимых предметов—сумма эта мало изменилась от 1871 до 1874 года,—то большая часть расходуемых денег уплачивается тут же на месте за работы. Понятно, что место оживилось, и в Батищеве стало люднее. Случается иногда, что по воскресеньям я с утра до вечера не покидаю счетов—то и дело выплачиваю или получаю: тот приехал ржи купить, другой привез жмыхи, третий пришел просить денег под работу или

нанимается в батраки и т. д. Народу в доме прибавилось—теперь в застольной, даже зимою, редко садится за стол менее 25 человек—сделалось и люднее, и шумнее. Казалось бы, безопаснее должно быть от зверя—ан вышло наоборот. Волки, должно быть, дневного шума не боятся,—а ночью, хотя и много народа, все-таки царствует мертвая тишина—потому, что ночного пьянства и дебоша в усадьбе я не допускаю—и, надеясь на большую добычу, льнут к такому месту, где чуют более собак, птицы и всякого скота. Другие хищники, которыми изобиловало Батищево, например, совы—первый год совы жили даже на чердаке дома,—коршуны, хорьки, одичавшие коты, которые жили в амбарах и сараях, и т. п. перевелись, но зато воронья показалось множество, а за ним и волки тут-то и стали рыскать около самого дома.

Первым попался старый Лыска—осторожный, чуткий Лыска. Волки схватили его не далее, как в пятидесяти шагах от застольной, вечером, когда еще спать не ложились, в то время, когда он, после того как отужинали в застольной, шел спать в солому. Через несколько дней попался и Цурик. Этого волки взяли, когда еще не отужинали в застольной и весь народ был в сборе. Заслышав возню и догадавшись, что волки пришли брать собаку, батраки выскочили из избы—смелость русского человека известна в таких случаях, все выскакивают на помощь собакам с голыми руками, без всякого оружия, разве полено дров кому попадется, вследствие чего бывает, если случится бешеный волк, множество пораненных, о чем так часто сообщают газеты. Услыхав шум, волки испугались и бросились врассыпную, люди бросились за ними в ту сторону, куда побежало больше волков, и не заметили, как неопытный Цурик погнался за одним волком, который направился по дороге в деревню. Увидав, что нет людской погони, волк среди улицы в деревне схватился с Цуриком, долго они боролись—все это видела баба-бобылка, против избушки которой происходила борьба. Цурик не поддавался и даже брал верх над волком, молодой волчишка, должно быть, был, но подоспели товарищи волка и растерзали Цурика.

Уцелела только хитрая и проученная опытом погибели ее товарищей сучка. Иван успокоился и все твердил: вот оно, кому навыл Цурик,—вы думали, что он от лени воет.

Весною сучка наплодила опять целую кучу щенков, из которых выбрали двух: дети выкормили этих щенков на славу и прозвали одного Полканом, а другого Лайкой. К зиме у нас опять было три собаки. Хитрая сучка научила и щенков осторожности. Долгое время волки, которым опять хотелось попользоваться чем-нибудь в нашей усадьбе, хитростью старались заманить собак, но все хитрости их не удались: сучка не под-

давалась и, почуяв волка, вместе со щенками пряталась в сени, которые нарочно оставляли на ночь открытыми. Иван чуть не каждый день водил меня и детей на огород показывать по следам, как хитрят волки, где у них была засада, где ходил волк, обязанность которого состояла в том, чтобы выманить собак, и при этом все твердил:

— Доберутся волки до собак—я волчью манеру знаю. Когда увидят, что хитростью нельзя выманить собак, штурмом придут брать.

И действительно волки штурмом пришли брать собак, целым стадом пришли, штук двенадцать. Схватили Лайку и Полкана на завалине под окном старухиной избы—Лайку унесли, а Полкана выскочивший на шум Иван успел отбить, но уже мертвого с вырванным брюхом. Сучка уцелела, но, наконец, и она-таки попалась на зубы волкам и в такое время, когда менее всего этого было возможно ожидать—весною, на самого Егорья.

Когда мы сообщили сыну о горестной потере Полкана и Лайки, его выкормленников, то он, как истый классический гимназист, отвечал нам письмом следующего содержания:

Anto die nono Calendas Martiales Anno MDCCCLXXV post Christum Natum.

«Я получил твое письмо. Невозможно описать той горести, которую я испытал, узнавши о смерти доблестных защитников нашей родины, героя Полкана и Лайки. Гораций сказал, что dulce et decorum est pro patria mori. Но, ведь, Гораций не испытал этого удовольствия и потому не знал, каково оно. Может быть, оно и decorum, но вероятно, не dulce. Кланяйся Лыске, ребятам, Ивану и т. д.

Salve soror!!

Frater tuus Ешь блины и толстей.

А мы-то в эти года не только не знали, что dulce et decorum est pro patria mori, но даже и того не знали, что существовал когда-то Гораций.

Нужно отдать справедливость, хорошо теперь учат в гимназиях. Одно только меня беспокоит, что мальчик, приехав на лето в деревню, где следовало бы ему бегать, укреплять силы и набираться здоровья на вольном воздухе—ведь, придется же ему когда-нибудь отбывать солдатскую службу,— целые дни проводит за книгами, делает какие-то выписки и только по праздникам, когда деревенские ребята, свободные от работы, соберутся к нему, уходит с ними куда-нибудь в лес, на луга, где у них идут разные игры. Впрочем, влияние деревни и ребят отчасти отразилось, и, рисуя битвы героев, что, между прочим, есть одно из его любимых занятий, мальчик

берет сюжеты более из современной жизни и изображает на своих картинах Бисмарка и Мольтке, улепетывающими от русских мужиков, которые гонятся за ними с топорами и вилами в руках. Странно только, что, проживая каждое лето в деревне, где все пропитано хозяйственными интересами, мальчик нисколько хозяйством не интересуется и до сих пор, кажется, не умеет отличить ячменя от овса, не знает, как обрабатывается паровое поле, никогда не бывает на скотном дворе, которым я интересуюсь более всего.

После погибели сучки, мы остались без собак, однако не надолго. Теперь у нас опять целая стая: место старика Лыски занял старый пес Крюк, который забежал к нам откуда-то и прижился около застольной; сторож завел новую сучку; Иван завел пару гончих; у Савельича есть Шумила; у дочери есть сетерок—Мильтон; у меня мой верный пес Пегас—замечательный пес, который любит меня, как никто, для которого величайшее наслаждение в мире находиться подле меня, который тоскует и страдает, если он не ощущает моего присутствия. Пегас этот—собака ума замечательного, чутье у него удивительное. Вот несколько интересных черт сообразительности Пегаса. Я еду верхом по лесу, по пустошам, с Иваном и другими, Пегас бегает и гоняется за тетеревами, но никогда не потеряет следа моей лошади. Раз я сел на лошадь, и Пегас понюхал след лошади, на которую я сел, он уже знает этот след и, когда мы на пустоши разъедемся с Иваном, всегда он будет искать след именно моей лошади; если мы переменимся с Иваном лошадьми, то Пегас, догнав Ивана и увидав, что он едет на моей лошади, возвращается назад, отыскивает то место, где я пересел на другую лошадь, и по следу этой лошади находит меня. Однажды я поехал зимой в деревню, а Пегаса оставил дома, через несколько времени после того, как я приехал в деревню, вдруг вижу Пегаса, который вертится около избы, в которой я сидел. Савельич мне потом рассказал, что он выпустил Пегаса, несколько времени спустя после моего отъезда, и видел, как он обнюхал мой след, обнюхал то место, где стояли сани, в которые я сел, понюхал след моей лошади и, сделав несколько кругов по двору, выправился по следу моей лошади. В деревне он отличил след моей лошади, хотя он не знал, на какой я поехал, от множества следов других лошадей—в деревне была Никольщина—и прибежал именно в ту избу, где я находился. Пегас по платью, которое я надеваю, знает, возьму я его с собою или нет. Если я надеваю полушубок, значит иду по хозяйству, Пегас прыгает, радуется; если же я надеваю немецкое платье, еду в гости, Пегас поджавши хвост, прячется под стол. Если Пегас на дворе и подают тройку с колокольчиком, он уходит, поджавши хвост, в дом, но если по-

дают одиночку, остается на дворе и ждет моего выхода. Знает Пегас только меня. Если я лягу где-нибудь в поле, то Пегас не подпустит ко мне никого, не только чужого, но даже никого из своих—Ивана, Сидора, даже детей, которые его кормят и ласкают. Он никому не верит, когда считает своей обязанностью меня охранять, и думает, что я не вижу того человека, который подходит ко мне. Если я прямо смотрю на приближающегося человека и Пегас это видит, то он не залает даже и на чужого.

В деревне нам без собак никак нельзя быть, хотя иногда из-за собак, которые без разбору брешут на всех проезжающих, не различая начальства от простых смертных, случаются неприятности.

Раз—дело было весною—в самую ростопель, иду я со скотного двора, одетый в свой обычный хозяйственный костюм—зализанный коровами полушубок. Вдруг слышу колокольчик, сердце так и екнуло. Кому, как не начальству, да еще по самому экстренному делу, ехать в такую пору, когда реки в разливе!

Заслышав колокольчик, я остановился, собаки с громким лаем обступили подъезжавшую телегу, измученные лошади, которые еле тащили телегу по раскисшим снеговым сугробам, наметенным зимою около заборов усадьбы, совсем остановились.

— Эй, поди сюда!—крикнул сидевший в телеге чиновник, очевидно, принявший меня за старосту.

Я уже разглядел по форменной фуражке с кокардой, что это —не настоящее начальство, а так какой-го проезжий чиновник...

— Эй, поди сюда! не слышишь, что ли?—продолжал кричать чиновник, взбешенный ужасною дорогою по весенней ростопели.

Я подошел.

— Что это у тебя за собаки? как ты смеешь держать таких собак, что они останавливают проезжающих?—бешено кричал чиновник,—да еще в шапке смеешь стоять. Кто ты такой, вот я тебя!—накинулся он на меня.

— Позвольте, господин,—сказал я:—если собаки причинили вам вред, то вы можете жаловаться мировому судье, но кричать здесь не извольте.

— Что! Ах ты с...

— А если ты не замолчишь и не перестанешь браниться, то я позову рабочих и мы тебя так...

— Да чье это именье?—спросил озадаченный чиновник.

— Мое.

— А вы кто?—спросил он, совершенно уже другим тоном.

Я назвал себя.

— Однако ж, согласитесь, как же можно держать таких злых собак?

— Хозяйственный расчет,—отвечал я, смеясь.

— Какой же тут может быть расчет?

— Помилуйте, как же не расчет? Чтобы охранять такую разбросанную усадьбу, как моя—построена ведь при крепостном еще праве,—нужно было бы взамен собак иметь еще двух хороших сторожей, содержание сторожа обойдется сто рублей, двух сторожей 200 рублей, в пять лет 1.000 рублей. Как бы ни были злы собаки, простые дворняжки только лают и редко когда кусаются, притом же едущего в экипаже собаки не могут укусить, а пешеходы всегда берут палки, особенно подходя к усадьбе—посмотрите, как растаскали за зиму тын около огорода,—но допустим, что собаки кого-нибудь укусят, наибольший штраф, что может назначить мировой судья—сто рублей, мало вероятности, чтобы это могло случиться более одного раза в пять лет, следовательно...

Чиновник рассмеялся.

— Помилуйте, да, ведь, это—Азия.

— А вы думали, что здесь Европа? Вы куда едете?

— В Ольхино.

— Невозможно проехать—река в разливе.

— Верхом разве, вплавь на сером коне,—заметил Иван, подоспевший к концу разговора.

— Верхом, а как утонет казенный человек! Эх, ты, а еще Савельича попрекал, что он в суд втянулся.

Иван сконфузился.

— Так как же мне быть?

Я обратился к Ивану.

— Нужно ехать в Бердино: там есть лодка, лошадей оставить. У его благородия извозчик—ведь ты с ямщины?—обратился он к извозчику:—переехать на лодке, дойти пешком до Федина, а там можно взять лошадей до Ольхина. Так хорошо будет, разве на Лужице в лесу проехать нельзя будет, только не должно быть, в лесу еще не растопило—ну, да фединские знают.

— А далеко ли до Федина?

— Верст семь будет.

— Ну, семь верст эти кони не дойдут; ведь не дойдут?—обратился я к ямщику.

— Где дойти! сами знаете, какая дорога, заночуем в поле.

— Знаете что?—обратился я к чиновнику,—переночуйте у меня, а завтра посмотрим, что делать.

— Чиновник остался ночевать. Мы проболтали с ним целый вечер и он оказался премилейшим малым. Разумеется, о первых

минутах встречи и помина не было. У нас, ведь, каждый, кто имеет место, кто носит кокарду, считает себя начальством. На что уже начальник железнодорожной станции—и кокарды у него нет, только красная шапка,—а и тот считает себя начальником над всеми пассажирами пришедшего поезда. А генерал какой-нибудь из Петеребурга, тот всех считает своими подчиненными и при случае пушит начальника станции за остановку поезда. Кажется, и жить бы нельзя при таком бесчисленном множестве всякого начальства, но жить можно, если узнать, в чем фортель: ничего больше не нужно, как только самому становиться на время начальником. Закричал на вас начальник станции или почтовый чиновник, вы сейчас к нему: «ты что!»—непременно отступит и подумает, что вы-то самое начальство и есть. Даже с генералом этот прием хорош.

К сожалению, у нас до сих пор еще большинство не знает, что, если генерал ударит мужика, то мировой судья, взыщет с него, как с образованного человека, строже, чем с мужика. Напротив, большинство думает, что если генерал ударит мужика, так ему ничего не будет, а если мужик ударит генерала, то его в Сибирь сошлют.

Любопытно знать, что будет, когда, вследствие всеобщей рекрутской повинности, все обыватели будут бессрочно-отпускные солдаты? Какое значение будет тогда иметь военный генерал и какое штатский генерал, который в то же время может быть солдатом? Кто будет начальство—военный поручик или штатский генерал, который в то же время солдат, который в случае войны попадет под команду этого поручика. Голова ломится от всех этих трудно решимых вопросов. Представьте себе положение русского человека, когда он в каком-нибудь частном случае не будет знать—начальство он или нет?

Я сплю спокойно, снов никаких не вижу, но всегда просыпаюсь рано от страшного лая, который подымают собаки часу в первом ночи, когда бабы идут мять лен. Бабы со льном совершенно разорили Ивана. Не успели еще пропеть первые петухи в деревне, бабы встают и бегут, буквально бегут к нам мять лен, стараясь одна перед другою поспеть пораньше, чтобы захватить место получше, поближе к садке, и поскорее начать мять, пока не подошли бабы из дальних деревень. Льну насаживается определенное количество, а баб, когда мятье уже в разгаре, обыкновенно собирается более, чем нужно, чтобы смять насаженное количество, и потому каждая баба спешит пораньше захватить как можно более льну—а нам, чем скорее сомнут, тем лучше. Собаки на дворе подымают страшный лай. Мильтон, который спит в кухне с Авдотьей, сначала ворчит, а потом разражается громким лаем, Пегас отвечает ему глухим ворчанием из-под моей кровати. Собралось достаточное количество баб,

которая побойчее, подходит и стучит Ивану в окошко, а остальные уже отправились на овин к гуменщику, чтобы поскорее разводил теплышко: чем горячее лен, тем его легче мять. Между тем Иван уже давно проснулся, лишь только собаки залаяли, оделся, зажигает фонарь и идет в овин. Начинается мятье.

Первое время, когда я завел посев льна, я имел некоторые затруднения в приискании рабочих, но теперь, когда бабы поняли, что лен дает им выгодный заработок, когда они убедились, что я отдам заработанные ими деньги прямо им, бабам, на руки и ни в каком случае не отдам хозяевам-мужчинам, даже не зачту за долг, если кто из хозяев мне должен, дело пошло отлично, никаких затруднений в приискании рабочих нет—давай только работы. Оно и понятно: ловкая баба может в день заработать при выборке льна до 70 копеек, а дома, в тот же день, в праздник, баба, если будет собирать ягоды или грибы, заработает много-много 15 копеек. Лен у меня берут, главным образом, по праздникам—ниже объясню отчего—или по пятницам, когда бабы считают за грех брать свой лен и делать некоторые другие работы, у меня же работать им не грех, потому что грех падет на хозяина или, лучше сказать, на его поле, которое за это может быть выбито градом и т. п., чего я, хозяин, опять-таки, не опасаюсь, потому что могу перенести грех на страховые от града и огня общества, то-есть на их акционеров. При мятье льна ловкая, сильная и сытая—чем толще и плотнее, тем лучше—баба может заработать в ночь до 45 копеек, а дома, если она будет чесать волну, заработает в день 4 копейки. Понятно, что бабы сами идут мять лен, а волну отдают чесать на волноческе странствующим по деревням волночесам. Зная, как мало производительны сравнительно с машинною работою все бабьи работы, производимые бабами зимою, я уверен, что, если бы бабы находили хороший местный заработок, они перестали бы прясть зимою волну и лен и ткать холсты и сукна, а покупали бы фабричные произведения. Поэтому-то и нет никакого основания опасаться, как думают многие, что с развитием производства льна не найдется достаточно рабочих рук—рук всегда хватит, если дело выгодно и хозяин не желает все загресть в свои лапы. Мне гораздо выгоднее платить при обработке льна на круг по пятидесяти копеек за рабочий день и получать 50 рублей чистого дохода от десятины, чем платить по 15 копеек за рабочий день при обработке ржи и овса и получать нуль дохода или убыток, как это я вижу в некоторых соседних имениях; мне выгоднее платить подойщице по 3 рубля в месяц, когда она надаивает от коровы по ведру молока в день, чем платить по полтора рубля, когда она надаивает всего по 2 кружки.

Сначала я имел некоторые затруднения при введении посева льна. Крестьяне уверяли меня, что это дело не пойдет и что

я не найду охотников работать лен, на чем в особенности настаивал богач-воротила—в каждой деревне есть свой воротила—соседней деревни, которому мое хозяйство очень не по нутру. Теперь крестьяне, видя, что дело идет успешно, говорят: «Отчего не итти? С деньгами все пойдет—деньги камень долбят... да и подладился ты, Лександра!—прибавляют они.

«Ты», «Лександра»—я был на верху блаженства, когда первый раз услыхал подобные выражения, потому что они служат несомненным выражением уважения к данному хозяйству. Действительно, мое хозяйство уважается соседними крестьянами не столько за лен, сколько за хорошие урожаи ржи (нынче рожь принесла кругом сам-десять, а это превосходно на 4-й год хозяйства в имении, где урожай сам-семь считался редким) за то, что хозяйство при этом все расширяется, что все нововведения удаются, что плуги пошли сразу и нет машин, бесполезно лежащих в сараях, за то, что все делается хозяйственно. Иногда это уважение невыгодно для меня: в нынешнем году у нас урожай трав и ярового очень плох, уже с осени было видно, что корму будет недостаточно и придется пустить в корм ржаную солому, вследствие чего нехватит подстилки. Я рассчитывал, что мне удастся скупить для подстилки по деревням пеньковую костру, потому что крестьяне костру для подстилки не употребляют, говорят, что она «сушит навоз», и обыкновенно или выбрасывают на гати, в рытвины дорог, для поправки вымоин на дороге, и самое большое, если употребляют для поджигания ляд. Когда помяли пеньки, я послал Ивана скупать костру по деревням, сначала ему удалось купить несколько возов, но потом крестьяне придержались продавать. Я думал сначала, что они надеятся взять дороже, но потом оказалось, что крестьяне сами стали подстилать костру в морозы—в Батищеве стелят, значит, хорошо. Конечно, крестьяне, по самым условиям своего хозяйства, не могут перенимать многое, что могло бы им быть полезно, но они, однако, вовсе не так косны, как думают многие, и способны многое перенять, если *на деле* увидят, что это хорошо или *уверуют* в кого-нибудь.

Теперь расскажу, как я «подладился», по выражению крестьян, под лен.

Приехав в деревню и не имея первое время никакого дела по хозяйству, так как до весны хозяйство должно было итти по-старому, я старался ознакомиться с положением своего и других местных хозяйств и построил план нового хозяйства. При этом я много воспользовался примером обширного хозяйства одного из моих родственников, хозяйство которого—одно из первых в губернии по *организационному плану*. Говорю, «по организационному плану» потому, что самое исполнение

плана в деталях ниже всякой критики. Система полеводства превосходна, но лен, например, иногда выделывают так, что никуда не годится, превосходная рожь вымолачивается так, что значительное количество зерна остается в соломе, и разостланная на дворе солома, после дождя, покрывается густою зеленью, правильного учета и контроля нет, превосходные лошади сбиты и испорчены—ни надсмотра, ни порядка. По составленному мною плану, возделывание льна должно было войти в систему хозяйства. Первый год я сдал обработку льна подесятинно, по 25 рублей за десятину. Крестьяне соседней деревни взялись обработать две десятины льну по 25 рублей с тем, чтобы я им выдал половину денег в задаток. Работать взялась вся деревня огульно, и в отношении быстроты работы дело шло хорошо. Лен требует за раз много рук, например, при выборке, при молотьбе, которую нужно окончить как можно скорее, при мятье, и потому дело идет хорошо, когда работает вся деревня и за раз высылает много рук.

Работа была исполнена, но во все время работы бабы ругались немилосердно—как умеют ругаться только бабы—все кляли мужиков (мужей-мужчин—баба говорит у нас «мой мужик», «ее мужик»), зачем те взяли эту работу: «вот, взяли работу, чтобы им, чертям, пусто было», «работай теперь на них, чтоб им животы выело», и т. д. и т. д., безостановочно, целые дни. Мужики отшучивались: «не на нас работаешь, а на свою кишку—ведь жрала зимой хлеб». «Да, жрала,—ворчит баба,—чтоб тебе этот хлеб поперек горла стал—сами пьянствуете, а тут убивайся». «Ну, ну, работай,—возражает мужик,—знаю я тебя—тебе бы только сидеть да хлеб на г.... перегонять, ленива дуже». И на работе, и идучи с работы, и дома бабы без умолку точили мужчин. Те отбивались, отшучивались, однако же бабы пересилили, во всех делах, где задет бабий интерес, бабы всегда осиливают мужиков, и тот, кто заводит какое-нибудь новое дело, чтобы иметь успех, должен прежде всего обратить внимание, насколько будут задеты бабьи интересы в этом деле, потому что *вся сила в бабах*, что и понятно для каждого, кто, зная положение бабы в деревне, примет во внимание, что 1) баба не платит податей и 2) что бабу нельзя пороть. Оно, правда, и мужика нельзя выпороть без суда, но ведь устроить суд ничего не стоит. На следующий год эта деревня работать у меня лен не взяла.

В сущности обработка льна по 25 рублей за десятину для крестьянина, пожалуй, выгоднее, чем обработка круга, то-есть одной десятины ржи, одной десятины ярового и одной десятины покоса, но дело в том, что при обработке льна приходится более всего работать бабам, притом же часть работы приходится делать в то время—после филиппова заговенья,—когда бабы в де-

ревне работают уже не на хозяина, не на мужика, а *на себя*, кроме того, при обработке льна не все работы удобно разделить, а многие приходится производить огульно. Чтобы все это пояснить, расскажу, как производится работа.

Мужикам нужны были деньги на уплату повинностей, нужны они были, собственно, беднякам, но, так как и богачи по круговой поруке отвечают за бедняков, то они зрят за бедняками и часто берут работу, чтобы заставить взять и бедняков вместе. Видят, что приехал новый барин, которому хочется побаловаться льном, а барин—сосед, следует, стало быть, его ублажить, потому что уруга нужна: водопой может понадобиться, березовичку, кроме как у него, подсечь негде, скотина в потраве тоже может попасться, грибы—тоже. А Иван, который старается угодить барину и смекнул, что барину вынь да подай, а лен посей, уже наметил подходящую деревню и *дал предлог*—разумеется, с *воротилой* переговорил, а может, и водочкой его угостил. Воротила, с своей стороны сообразив, что есть недоимщики, что нужна уруга, в потраве попущение, а у него, воротилы, восемь коней, дал предлог крестьянам. Собрались мужички, погуторили и решились всей деревней взять у барина на обработку две десятины льну, заключили условие, получили половину денег в задаток и тотчас разделили деньги подворно: один взял на $\frac{1}{2}$ десятины, другой—$\frac{1}{4}$ десятины, третий—$\frac{1}{8}$ десятины, смотря по силе и надобности в деньгах. На барышки выпили водочки, которую, без того нельзя, поставил я, и веселые возвратились домой. «Ишь нализались»,—непреминули упрекнуть бабы. «Ужо как лен помнете, барин и вам поставит барышки»,—задобривали баб мужики. «Черти,—отвечали бабы,—только бы водки налопаться, душу заложить чорту рады». «Эх вы, бабье, дуры, а податя вы, что ли, платить будете? Погодите, вот приедет становой за податя ваши андараки опишет». «Не за тебя отвечать я буду». «Ты, что ли, мне андарак справлял? Я андарак свой принесла, в девках выработала».—«Знаем, чем ты его в девках выработала». «Чем ни выработала, а андарак у меня свой».—«Молчи, не то поленом убью». «Так тебе и замолчала...».

Проходит весна, нужно ехать драть облогу: староста уже два раза выгонял. Если бы на обработку была взята мягкая земля, под рожь или под яровое, то крестьяне, прежде всего, пришли бы делить землю на полдесятинники, четвертушки, осьмушки, соответственно тому, сколько кто взял денег. Дележ этот продолжался бы не менее полудня, если десятины попались треугольные, в виде трапеций, или из кусков, потому что раздел земли производится с величайшей щепетильностью, части уравниваются чуть не до квадратных вершков и притом при помощи одного только шестика. Крик, брань,

во время этого дележа страшнейшие, кажется, вот сейчас начнется драка, понять ничего нельзя, но окончился дележ, смолкли,—и посмотрите, как верно нарезаны все части. Разделив землю, бросают жребий, кому какой участок—потому жребий бросают, что участки хотя и равные, но земля не равна и местоположение не одинаковое,—и каждый начинает пахать тот участок, который ему достался.

Так было бы, если бы земля была мягкая, но под лен нужно драть облогу, то-есть луг. Хозяин не допустит, чтобы делили десятину на нивки, потому что пашня выйдет нехорошая, будет много распахов и свалов,—а в условии оговорено: «подчиняться распоряжениям хозяина»—и требует, чтобы пахали десятины сплошь огульно всею артелью. Приходится поставить на десятину 8 лошадей—4 с отрезами и 4 с сохами—и пахать вместе одному за другим. Вот уже первая причина неудовольствий.

Крестьяне обыкновенно берут работы сообща или целой деревней, или несколько товарищей, согласившись вместе. В последнее время это, однако уже, начинает выводиться, и на многие работы начинают наниматься отдельно, одиночками, обыкновенно под руководством местного воротилы, который тогда уже получает название рядчика и в некотоых случаях получает в свою пользу из заработной платы до 10 процентов, так называемых лапотных денег. Взяв работу сообща, крестьяне производят ее в раздел—каждый свою часть работает отдельно от других и получает соответствующую часть из заработной платы. При крепостном праве крестьяне многие работы производили огульно, так как во многих случаях огульная работа гораздо выгоднее, и потому первые годы после «Положения» крестьяне по старой привычке еще производили некоторые работы сообща, огульно, и не тяготились такими работами, но теперь на огульные работы иначе нельзя нанять, как при особенных условиях с ответственным рядчиком, который стоит к артели почти в тех же отношениях, как хозяин к батракам, с тою только разницею, что он артельщика, который заленился, не только выругает, но и по уху свиснет или отправит без расчета, чего хозяин сделать не может, потому что на хозяина есть суд у мирового, а на местного рядчика есть только *свой*, по особенным понятиям судящий суд. Никто из крестьян не знает, что если проступок совершон на помещичьей земле, то, по желанию одной из сторон, дело должно разбираться у мирового судьи, потому что разбору волостного суда обязательно подлежат только проступки, совершонные в пределах волости, а помещичьи земли в состав волостей не выходят, чего не знают даже многие волостные старшины и, как кажется, некоторые мировые судьи, потому что не спросив даже *где* совершон проступок, отсылают крестья-

нина в волостной суд. Укоренению таких понятий много способствует то обстоятельство, что лишь немногие владельцы живут в своих имениях и сами хозяйничают, большею же частию владельцев на месте нет, и имения управляются старостами, обыкновенно из местных крестьян, следовательно, людьми, подчиненными волостным старшинам и потому считающими страшин своими начальниками даже и в помещичьих имениях.

Итак, пахать облогу нужно всем вместе. Сговорились начать тогда-то. Выезжают утром, шестеро уже приехали, а двоих нет—проспал, выпивши вчера был, сбруя разладилась. Приехавшие стоят на десятине, поджидают опоздавших, лошадям сенца подкинули, трубочки покуривают, ругаются. Но вот приехали и остальные—кому вперед ехать?—спор, наконец установили очередь. Пашут. У одного соха разладилась—все стоят. Наладил, пошли: у одного лошадь и сбруя лучше, другой сам плох. Неудовольствие.

— Кабы я отдельно пахал, то выехал бы до свету, а то в деревне жди, пока встанут, здесь жди,—говорит один.

— Я на своих лошадях давно бы вспахал, а тут жди—ну его, этот лен,—говорит другой.

Вспахали, выскородили, засеяли и заделали. Скородят и заделывают бабы. Разумеется, ругаются, но это еще все ничего, потому что лето, с 15 апреля по 15 ноября, баба *обязана работать на хозяина*, и ей *все равно* где работать: на своем поле или на панском. Конечно, у барина будет построже, нельзя отделывать землю кое-как, как у себя дома, потому что староста переделать заставит, но в сущности-то все равно. Нужно работать от зари до зари, что здесь, что там, а барин-то, может быть, если останется доволен работой, по стаканчику поднесет «на засевки».

Пришло время брать лен, вызвали баб. Пришло их за раз штук тридцать—выберут скоро. Разумеется, тут уже сообща артелью брать не станут, а разделят десятину по числу баб на тридцать участков, и каждая баба берет свой участок отдельно. Раздел производится очень просто, хотя, разумеется, без ругани не обойдется: бабы становятся в ряд, берутся за руки или за веревку и идут по десятине, волоча ногу, бредут, чтобы оставить след, затем каждая работает на своем участке. Если в дворе несколько баб, невесток, то-есть, если двор многосемейный и еще держится стариками не в разделе, то и у себя на ниве бабы одной семьи точно так же делят ниву для того, чтобы одной не пришлось сработать более, чем другой, для того, чтобы работа шла скорей, потому что иначе сделают много меньше, так как каждая будет *бояться переработать*.

Так как выборку льна можно производить в раздел, так как работа производится в такое время, когда баба обязана ра-

ботать на хозяина, то большого неудовольствия еще нет, ругаться, конечно, ругаются, так как работа трудная и крайне неприятная, потому что лен режет руки, но все-таки еще ничего; все это—только цветочки, а ягодки будут впереди. Затем идет молотьба—тут опять разделяют работу, каждая баба счетом отбивает и расстилает известное число снопов, а пускают и веют мужчины, огульно уже пробранные бабами, и работают молча. Но вот наступило мятье, тут уже бабы окончательно выходят из себя, потому что работа производится в такое время, когда баба работает в деревне на *себя*. Лен мяли артелью, и перекорам конца не было, потому что каждая баба старалась сработать как можно менее. Тридцать баб, работая каждая на себя, в известное время намнут, например, 30 пудов льну, но те же 30 баб в то же время, работая артелью и притом, если обработка производится от десятины, намнут не более 15 пудов. Мало того, если бабы работают на себя и мнут лен сдельно за известную плату от пуда, то десятина даст, например, 35 пудов льну, если же работают подесятинно, то та же десятина даст не более 25 или 30 пудов, а 5—10 пудов льну останется в костре, пропадет бесполезно и хозяин получит от 10 до 20 рублей убытку, потому что бабе тогда все равно, сколько получится льна, и она даже будет стараться побольше спустить льну в костру, чтобы меньше было работы и чтобы легче было нести вязку льна в амбар.

Итак, при таком способе обработки льна, два обстоятельства: 1) то, что работа производится сообща, огульно, а не в раздел каждым в особняк и 2) что работа призводится в такое время, когда баба, по обычаю, дома работает на себя, а здесь ей приходится работать на своего дворового хозяина,—могут быть причиною недостатка рабочих рук. Но стоит только изменить порядок работ, и руки тотчас найдутся, особенно если увеличить заработную плату, что хозяин может сделать без ущерба своему карману. А именно, если к прежней цене за обработку десятины 25 рублей прибавить от 10 до 20 рублей, то-есть столько, сколько хозяин получит за лишнее против прежнего количества льна, которое получится от более тщательного мятья, то это уже сильно увеличит заработную плату.

Много слышно жалоб на то, что у крестьян слишком много праздников и притом в самое рабочее время. Вопрос этот даже предложен, сколько мне помнится, для обсуждения каким-то агрономическим обществом. Ну, дело ли это агрономических обществ? Да и какая же может быть польза для хозяйства от обсуждения подобных вопросов? Разве от этого число праздников уменьшится? Крестьяне, например, не работают—опять-таки не все—на Бориса (24 июля), потому что Борис сердит, как они говорят, и непременно накажет, если ему не праздновать, или баба, жавши рожь, на Бориса руку порежет, или по-

дымется буря и унесет нагребленные копны (это верно, что около Бориса обыкновенно бывают бури) и т. п. Но воры и барышники, например, всегда работают на Бориса, потому что на Бориса заворовывают и обманывают, чтобы счастливо воровать и барышничать лошадьми целый год. На Касьяна же крестьяне работают, хотя он тоже сердит, работают потому, что Касьян немилостив—не стоит ему, значит, праздновать, от чего ему, Касьяну, и бывает праздник только в четыре года раз.

Главное дело, что все преувеличивают. Говорят, например, у крестьян много праздников, а между тем, это *неправда*: *у крестьян праздников меньше, чем у чиновников*. Крестьяне празднуют, как и чиновники, все годовые праздники с тою только разницею, что на светлое воскресенье празднуют всего три дня, а во многие другие праздники не работают только до обеда, то-есть до 12 часов. Например, у меня всегда берут лен на успенье и часто случалось, что в этот день приходило до 60 баб. Кроме того, по воскресеньям, в покос, даже в жнитво, крестьяне обыкновенно работают после обеда: гребут, возят и убирают сено, возят снопы, даже жнут. Только не пашут, не косят, не молотят по воскресеньям—нужно же и отдохнуть, проработав шесть дней в неделю. Правда, у крестьян есть некоторые особенные праздники: например, они празднуют летней казанской, Илье, в некоторых местностях Фролу и некоторым другим святым, но за то крестьяне не празднуют официальных дней. Сколько я понимаю, праздновать такие дни *несовместимо с понятиями крестьян*, потому что некому праздновать: крестьяне празднуют какому-нибудь святому. Праздновать день своего рождения также вовсе не в обычае у крестьян, именины еще крестьяне, особенно побывшие в городах и при господах, празднуют, но и тогда только, когда носят имя известного святого, например, Ивана, Ильи, Кузьмы, Михаила, но если имя малоизвестное, то крестьянин большею частью и не знает, когда он—именинник.

Если все сосчитать, то окажется, что у крестьян, у батраков в господских домах праздников вовсе не так много, а у так называемых должностных лиц—старост, гуменщиков, скотников, конюхов, подойщиц и пр. и вовсе нет, потому что всем этим лицам и в церковь даже сходить некогда.

Я говорил, что баба летом обязана работать на двор, на хозяина, будет ли баба ему жена, сестра, невестка, как батрачка. К этой работе бабы большею частью, особенно в многосемейных домах, относятся, как батрачки: «хозяйской работы-де не переделаешь». Зиму баба работает на себя и главное ее занятие—прясть волну и лен ткать, сверх того, все, что баба зимою заработает на стороне, поступает в ее собственность. Мужчина ничего не дает бабе на покупку одежды, баба одевается на свой счет, мало того, баба должна одевать своего мужа и детей.

Волна от овец поступает в распоряжение баб и делится между ними[1], точно также делится между бабами лен. Вот что получает баба на свою часть из двора, да и то только до тех пор пока жив ее муж, если же муж умер и у бабы не осталось детей мужского пола, то она никакой, даже бабьей части, не получает, и к имуществу мужа не наследница. Волна и лен достаются бабе в сыром, неотделанном виде. Баба должна расчесать волну, вытрепать и вычесать лен, прясть и выткать полотно, сукно, материю для юбок. Баба должна одеть мужика, то-есть приготовить ему рубашки и портки, должна одеть себя и детей, а все, что у нее останется—деньги, вырученные от продажи сческа, лишние полотна, наметки и пр.,—составляет ее неотъемлемую собственность, на которую ни муж, ни хозяин, никто не имеет права. Точно такую же собственность бабы составляет все то, что она принесла с собою, выходя замуж, что собрала во время свадьбы, все те копейки, которые заработала, собирая ягоды и грибы летом и пр. Баба всегда падка и жадна на деньги, она всегда дорожит деньгами, всегда стремится их заработать. Между мужиками еще встречаются такие, которые работают только тогда, когда нет хлеба, а есть хлеб, проводят время в праздности слоняясь из угла в угол, между бабами—никогда. Баба подвижна, охотно идет на работу, если видит себе в том пользу, потому что у бабы нет конца желаниям, и, как бы ни был богат двор, как бы ни была богата баба, она не откажется от нескольких копеек, которые достаются на ее долю, когда дарят на свадьбе игрицам, величающим молодых и гостей. Баба всегда копит, уже маленькой девочкой она бегает за ягодами и грибами, если есть кому продать их, и копит вырученные деньги на наряды—на платки, крали. Вырастая, она копит на приданое, и деньги, и полотна, и наметки, и вышиванья. Выйдя замуж, баба копит на одежду себе, детям, мужу. Замечательно, что баба считает себя обязанною одевать мужа и мыть ему белье только *до тех пор, пока он с нею живет*. Раз муж изменил ей, сошелся с другою, первое, что баба делает, это отказывается одевать его: «живешь с ней, пусть она тебя и одевает, а я себе найду»[2]. Угроза эта обыкновенно действует очень сильно. Под

---

[1] Долю волны и льну девочка начинает получать только с того времени, когда она становится полезною в хозяйстве, например, может собирать траву свиньям. Долю на мальчика баба получает тоже только тогда, когда он может что-нибудь работать.

[2] Отношения между мужчинами и женщинами у крестьян доведены до величайшей простоты. Весною, когда соберутся батраки и батрачки, уже через две недели все отношения установились, и всем известно, кто кем занят. Обыкновенно раз установившиеся весною отношения прочно сохраняются до осени, когда все расходятся в разные стороны с тем, чтобы никогда, может быть, не встретиться. Женщина при этом пользуется полнейшей свободой, но должна прежде бросить того, с кем занята, и тогда уже она

старость баба копит себе на случай смерти: на гроб, на покров, на помин души.

В дворе нет денег для уплаты повинностей, нет хлеба, а у бабы есть и деньги, и холсты, и наряды, но все это—ее собственность, до которой хозяин не смеет дотронуться. Хозяин должен достать и денег, и хлеба, откуда хочет, а бабьего добра не смей трогать. Бабий сундук—это ее неприкосновенная собственность, подобно тому как и у нас имение жены есть ее собственность, и если хозяин, даже муж, возьмет что-нибудь из сундука, то это будет воровство, за которое накажет и суд. Еще муж, когда крайность, может взять у жены, особенно если они живут своим двором отдельно, но хозяин не муж—никогда; это произведет бунт на всю деревню, и все бабы подымутся, потому что никто так ревниво не охраняет своих прав, как бабы. По смерти мужа его имущество наследуют сыновья, по смерти бабы—по преимуществу дочери (говорю по преимуществу, потому что все это усложняется в разных частных случаях). Например, если умирает старуха, все сыновья и дочери которой уже женаты и выданы замуж, то имущество старухи поступает младшей дочери; если, умирая, баба оставляет сына и дочь несовершеннолетних, то наряды, полотна и пр. поступают дочери, а деньги—сыну, и пр. и пр.

Так как труд бабы летом принадлежит хозяину, то если хозяин на лето заставит бабу в батрачки, все следуемое ей жалованье поступает хозяину; но если баба заставится в батрачки на зиму, то жалованье поступает в ее пользу, и хозяин имеет в барышах только то, что баба не ест дома, однако волну, лен, следующие на ее часть, баба получает во всяком случае потому, что это есть плата за ее летний труд. Поэтому наем батрачек представляет гораздо более затруднений, чем наем батраков. В батрачки нанимаются преимущественно бездомные бобылки, вдовы, бездетные солдатки, вековухи, бабы, не живущие с мужьями, и т. п. Дворовые бабы нанимаются редко, только за высокую плату—харчи такая баба ни во что не считает, потому что хозяин в дворе, все равно обязан ее кормить—и притом только тогда, когда уверены, что зимнюю плату получат на руки и имеют запас холстов для того, чтобы одевать мужа. Впрочем, успех найма батрачек будет зависеть от того, сколько и какие наймутся батраки. На всех свободных должностных лиц и батраков найдутся батрачки или постоянные поденщицы—в одиночку никто жить не будет и, так или сяк, а найдет себе бабу.

свободна тут же заняться с кем хочет. Ревности никакой. Но пока женщина занята с кем-нибудь, она неприкосновенна для других мужчин, и всякая попытка в этом отношении какого-нибудь мужчины будет наказана—товарищи его побьют. На занятую женщину мужчины вовсе и не смотрят; пока она не разошлась с тем, с кем была занята, и не стала свободна.

До какой степени от всех этих отношений зависят все хозяйственные дела, приведу еще пример. Часть земли я сдаю на обработку крестьянам кругами, потому что иначе мне трудно было бы справиться с жнитвом ржи. До сих пор крестьяне брали обработку кругов с молотьбой, но давно уже я увидел, что молотьба их тяготит и что они гораздо охотнее взялись бы обрабатывать круги без молотьбы, хотя крестьяне разными причинами объясняли свою неохоту брать круги с молотьбой, но для меня было ясно, что главная причина тут заключается в том, во-первых, что молотьба производится огульно, а во-вторых, в том, что молотьба идет зимой, в то время, когда бабы работают на себя. Бабы давно уже точили мужиков и, наконец, добились-таки своего—в нынешнем году крестьяне взяли у меня круги без молотьбы. Что же вышло? И я, и крестьяне остались в барышах, хотя я заплатил за молотьбу гораздо дороже, чем она оплачивалась в кругах.

Прежде для молотьбы приходило 16 человек—8 мужчин и 8 баб—насаживали средним числом не более 9 сотен и молотили это количество целый день. Молотьба тянулась обыкновенно почти до масляной. Молотили плохо, и ничего против этого нельзя было сделать.

Часть хлеба в нынешнем году я перемолотил своими работниками, именно—овес; а большую часть—рожь—отдал молотить сдельно, по 50 коп. от куля, с тем, чтобы при молотьбе отрезать всю волоть на корм скоту. Молотьбу снял рядчик, который подобрал к себе 7 человек, так что составилась артель из 8 молодцов, под командой ловкого, сильного и умного малого, который лениться никому не давал и во всей работе сам шел впереди. Насаживали средним числом по 11 сотен, и 8 человек успевали их вымолотить засветло. Молотили превосходно в соломе не могло остаться ни одного зерна, потому что всю волоть с колосьями отрезали, отрезанную на корм волоть выбивали дочиста; молотьбитам был расчет молотить чисто, потому что плату за работу получали от куля и притом, только по окончании всей молотьбы; мякины получилось вдвое более, чем прежде. Молотьбу окончили к рождеству.

Заработок крестьян был хороший. Каждому молотьбиту в очистку, за исключением харчей, досталось по 6 руб. 50 коп. в месяц, что нужно считать хорошим заработком для таких глухих месяцев, как ноябрь и декабрь.

Я тоже был в барышах и, если все сосчитать, то молотьба, сравнительно с круговою обошлась мне, можно сказать, даром. Молотьба кончилась раньше, следовательно—вышло сбережение на содержание гуменщика, дров сожгли меньше, молотили чище, и это, по моим соображениям, увеличило умолот на один куль с десятины, что уже окупает молотьбу. Наконец, при кру-

говой молотьбе крестьяне не согласились бы отрезать волоть, так как это не в условии, а если бы за известную приплату и согласились, то производили бы это дурно, и я не имел бы столько, сколько теперь, колосовины, которая при нынешнем недостатке корма составляет большое подспорье к главному корму тем более, что я даю скоту много жмак[1].

Спросят теперь, почему же крестьяне, работая круги при артельной молотьбе, тратят, очевидно, себе в убыток, вдвое более времени, чем при такой же артельной молотьбе на отряд? А потому, что здесь 1) есть рядчик-хозяин и 2) артельщики подобрались равносильные, там же *нет хозяина*-распорядителя, мой староста только надсмотрщик в том и другом случае, и артельщики *всякие*, поэтому все работают, как самый слабосильный, чтобы *не переделать* один более другого. Все считаются в работе, сильному, например, ничего не значит снести мешок в закром, слабый же бьется, бьется, пока подымет, пока снесет, сделав свое дело, сильный все это время стоит, ждет, пока слабый не снесет, и только тогда берется за другой мешок. И так во всем.

Крестьянская община, крестьянская артель—это не пчелиный улей, в котором каждая пчела, *не считаясь с другой*, трудолюбиво работает по мере своих сил на пользу общую. Э! если бы крестьяне из своей общины сделали пчелиный улей—разве они тогда ходили бы в лаптях?

Но возвращаюсь к моему льну. На следующий год лен деревней обрабатывать не взяли, но все-таки разобрали лен на обработку подесятинно, в одиночку, разумеется, самые бедняки, чтобы получить задатки вперед и пропитать душу. Работали плохо. Хорошо еще, что облоги были у меня подняты с осени, так что снявшие десятины получили готовую поднятую землю, за это они должны были отпахать потом осенью и им весною пришлось только выскородить и засеять. Если бы им пришлось и облоги подымать весною, то они не в состоянии были бы выполнить работы на своих изморенных бескормицею лошаденках. Однако весною выскородили и засеяли исправно, конечно, бабы ругались на мужей, но не слишком, потому что работали все одиночки: следовательно, жены знали положение мужей, знали, что зимою не было хлеба, и, не взяв этой работы, достать его было не откуда, а мужья брали работу с ведома баб и с их согласия. Нечего уже было тут много ругаться, когда бабы знали, что работали, по мужицкому выражению, на свою кишку.

---

[1] Чтобы указать, как в наших хозяйствах все не установилось, достаточно будет сообщить наши цены на корм в нынешнем году. Сено 40 коп. за пуд, ржаная солома 10 коп. за пуд, да и за эти цены достать сена и соломы трудно; овес 60 к. за пуд, рожь 75 коп. за пуд, конопляная жмака 24 коп. за пуд.

Лен уродился превосходнейший, какого у меня ни до, ни после того не бывало. Когда пришлось брать лен, то обязавшиеся работой оказались совершенно несоятельными: брать пришлось по полдесятины на двор, состоящий из мужа и жены, скоро ли же одна баба выберет полдесятины льну, а лен ждать не может? Однако все-таки выработались. Выбрали лен толоками, то-есть снявший работу созывал родных и знакомых «на толоку» «на помочи», и собравшиеся толочане быстро исполняли работу.

Но и «на толоку», «на помочи» никто даром не пойдет к какому-нибудь бедняку, другое дело к барину, от которого мужик зависит и насчет леску, и насчет покосца, выгонца, грибков, потравы, или к богатому мужику, которому, нет-нет, а придется весной поклониться, чтобы вызволил хлебушком—ведь иной раз не то, что пуд муки, а и коврига хлеба дорога. «На толоку» к бедному без отработки пойдут только очень близкие родственники, посторонние же пойдут только с тем, чтобы или его жена или он сам, с своей стороны, отработали на толоках, у тех, которые были у него. Сверх того, во всяком случае, он должен накормить толочан и угостить водкой. Молотьбу льна производили толоками, но на мятье пришлось на счет подрядившихся нанять мять от пуда, потому что на мятье бедняки никого зазвать на толоку не могли, подошло то время, когда бабы работают на себя и когда хозяин не может их выслать на толоку к соседу, нанять сами тоже они не могли потому что бабы им не верили, боялись, что не разочтут и пошли только тогда, когда я объявил, что сам буду рассчитывать. Если счесть все, что потратит такой снявший работу бедняк на харчи и вино при толоках на наем мятниц, то ему собственно за его работу придется очень мало. Вся его выгода в том, что он берет работу зимой и получает задаток в такое время, когда ему крайне нужны деньги на хлеб и подати и когда он денег, ни за какие проценты иначе как под работу, достать не может а расходует на толоки в такое время, когда у него уже есть свой хлеб. Взять таким образом работу у крестьян называется «делать оборотку»; очень часто снявший работу летом передает ее другому и платит дороже, чем получил сам. Например, зимою одиночка берется сжать десятину ржи за четыре рубля, с выдачею ему денег вперед, а летом, когда приходит время жать, он сам нанимает сжать эту десятину за 4 рубля 50 копеек и платит хлебом или продает хлеб для уплаты деньгами. Это есть, собственно говоря, особый вид займа денег, причем в процент идет или та работа, которую мужик сделал сам, как в том случае, когда он обязывался на лен, или та приплата, которую он сделал. В большинстве случаев для мужика это есть единственный способ достать зимою денег и способ самый выгодный, потому что зимой в долг под расписку ему редко кто даст, а если и даст то возьмет

не менее 10 процентов в месяц, что на четыре рубля составит 2 рубля 40 копеек за шесть месяцев—ну, положим 2 рубля возьмет проценту, а взяв жнитво за 4 рубля и летом сдав его за 4 рубля 50 копеек, много за 5 рублей, он, следовательно, заплатит от 50 копеек до 1 рубля проценту. Главное же дело в том, что под работу всякий охотнее даст, потому что работу—если обязавшийся не умрет, не заболеет—мужик, так или иначе всегда выполнит, к чему его можно заставить, даже не прибегая к суду между тем как взыскать по расписке деньги и по суду очень трудно или даже, большею частью, невозможно. В самом деле, положим, что есть расписка, положим, что мужик не отказывается от долга, положим, что мировой судья присудил взыскать и выдал исполнительный лист—что же дальше? Взыскать по исполнительному листу трудно, потому что продать имущество крестьянина нельзя, когда есть недоимки, а если их и нет, то нельзя продать без разрешения его начальства, которое должно указать, что именно можно продать, не разоряя крестьянина и не лишая его возможности вести свое хозяйство. Работу же, на которую крестьянин обязался, начальство заставит его выполнить, хотя бы у него самого свой хлеб оставался несжатым.

Правда, что крестьянин почти никогда не отказывается от долга, если он действительно считает себя должным; если он не платит долг, то только потому, что ему нечем уплатить, и всегда просит рассрочки, берется выплатить долг работой и т. п. Поэтому, никто долговых дел до суда и не доводит.

Я того мнения, что если бы были устроены ссудные кассы, которые давали бы деньги взаймы за небольшой процент, то такие кассы в нашей местности, по крайней мере, не могли бы вести дела иначе, как взыскивая проценты и долг работой. Беднякам от таких касс было бы очень мало пользы, тем более, что считая кассы казенными и рассчитывая на то, что, авось, царь простит долг, без понуждений никто бы долгов в срок не платил, так что, в конце концов, ссудами из касс стали бы только пользоваться богачи, которые взятые из касс в ссуду деньги распускали бы беднякам в долг под работы за огромный процент.

Все это—только мои предположения. Касс у нас нет и я их в действии не видал, но, может быть, и эти предположения окажутся столь же верными, как мои предположения о несостоятельности артельных сыроварен, о которых теперь что-то ничего не слышно.

Нужно смотреть в корень, а мы—в том-то и худо—смотрим на цветы и восхищаемся внешностью. И что ни копнешь—везде одно и то же.

В Петербурге сколько раз мне случалось встречать, например, молодых докторов, которые прослужив несколько

времени где-нибудь в земстве, возвращались вспять, потому что находили свою медицинскую деятельность среди народа бесполезною. «Какую медицинскую помощь можно оказать народу, когда ему нечего есть?» и т. п., говорили они.

Тогда я верил этому, но теперь, прожив пять лет в деревне, я вижу каким бы благодетелем для крестьян мог быть гуманный, трудолюбивый доктор. Если бы какой-нибудь молодой доктор, умеющий сам приготовлять лекарство и делать операции, простой, гуманный, в роде тех типов, какие нам изобразили гуманные романисты сороковых годов, поселился у меня в Батищеве, то я заверяю, что у него нехватило бы 24 часов в день времени для оказания пособия всем страждущим, которые будут к нему обращаться. Не говоря уже о непосредственной медицинской помощи (одного можно спасти, отпилив ему во-время ногу, там можно спасти целое поколение, заметив во время что избу для уничтожения тараканов *прокурили мышьяком*[1], какое огромное благодеяние страждущим мог бы оказать гуманный доктор, заслуживший доверие своими нравственными утешениями! Какое громадное образовательное влияние имел бы такой человек!

Конечно, нужно быть для этого прежде всего человеком дела. Мне как-то раз случилось на одном земском собрании слушать отчет земского доктора, в котором он очень красноречиво указывал на недостатки местной больницы, причем, между прочим, сообщил, что в больнице очень много клопов, которые страшно беспокоят больных и это особенно вредно для нервных больных. Господи ты боже мой! Клопы едят больных, а доктор вместо того, чтобы взять чайник с кипятком и выварить кровати, да помазать щели скипидаром с постным маслом, оставляет клопов есть больных и красноречиво рассказывает об этом в земском собрании.

Понятно, что сдавать лен на обработку подесятинно возможно только в том случае, когда крестьяне зимою очень нуждаются. Чуть год получше, хлебушка довольно, кормецу хватит, есть подходящие зимние работы—никто обработку льна не возьмет.

---

[1] Запрещается употреблять для окрашивания обоев краски, содержащие мышьяк, потому что пыль от таких обоев вредно действует на здоровье. Представьте же себе, если избу прокурят мышьяком или смажут в ней все щели болтушкой из муки с мышьяком: тараканов в этой избе никогда не будет—бойтесь изб, где нет тараканов! Но каково это будет действовать на людей, в ней живущих! Исконные обитатели избы еще могут привыкнуть к мышьячной пыли, но свежий человек, поступающий в семью, например, невестка—умирает. Случается, что мрут невестки во дворе, да и только! А может быть оттого и мрут, что изба была когда-нибудь прокурена мышьяком.

На третий год взять обработку льна подесятинно охотников из ближайших деревень не нашлось, если поискать подальше, в бедных деревнях, то, пожалуй, еще нашелся бы кто-нибудь, но сдавать такую работу отдаленным деревням невозможно. Возвысить плату с десятины было невыгодно, потому что и при возвышенной плате остались бы все те же неудобства. Нужно было изменить систему. Между тем я уже оперился, завел своих лошадей, сбрую, телеги, сохи, бороны и мог уже вести батрачное хозяйство. Я начал работать лен частью своими батраками, частью сдельно, нанимая на определенные работы. Подъем облога я на первый раз сдал подесятинно по 5 рублей за десятину, на что осенью охотно брались те крестьяне, у которых старые лошади, ненадежные для зимовки. Крестьянину было выгодно на такой лошади, еще сытой с лета, поднять две десятины, пока лошадь на подножном корму, заработать десять рублей и, запахав лошадь, продать ее на живодерню, где и выбитая, и сытая лошадь идет в одной цене. Весною я скородил и сеял лен своими батраками, на своих лошадях. Когда пришлось брать лен, то я нанимал баб брать лен от копы, платя по 25 копеек. За эту цену являлись брать лен охотно, потому что при этом ловкая баба может заработать до 70 копеек, а средним числом зарабатывают по 50 копеек в день, в особенности много собиралось баб по воскресеньям и праздникам, потому что заработанные в праздник деньги баба получает себе. Молотьбу льна и расстилку я производил своими работниками, принимая поденщиков, а по праздникам, когда свои работники до обеда, по заведенному порядку, не работают, находились охотники молотить сдельно, с платой от копы. Мяли лен в ноябре, с платой до 30 копеек от пуда, и так как в это время бабы работают на себя, то недостатка в мятницах не было. Обработка десятины льна мне обошлась в 35 рублей; следовательно, на 10 рублей дороже, чем при сдаче подесятинно за 25 рублей, но зато льну получилось больше—от 5 до 10 пудов, то-есть на 10, на 20 рублей. Мне было выгодно, и бабам было выгодно. Все были довольны, работали отлично, не было ни ругани, ни попреков, расплата производилась тотчас же мелким серебром. Заработок от 30 до 50 копеек для бабы в наших местах—небывалый, бабы справили себе китайки, девки—кумачные сарафаны, на никольщину даже девочки все были в новых ярких платках, потому что и девочки приходили брать лен и мять, ну хоть 4 фунта намнет в день—все-таки 3 копейки, а за две недели и накопит на платок.

Следующий год местный торговец красным товаром, крестьянин соседней деревни, еще пред покровом заехал ко мне.

— Вашей милости серебреца мелкого привез на полсотни.

— Отлично, а мне—кстати. Лен скоро буду мять, баб нужно будет рассчитывать, бабы мелкое серебро любят.

— Правда, любят мелочь, легче от мужиков прятать, да и вашей милости будет приятнее—ручки не замараете. Медь марка.

— На полсотни?

— На полсотни. Я ваш лен видел. Полсотни еще мало будет, ну, да я к концу еще подвезу. Я нынче нарочно пораньше деревни объехал—пусть бабы о покрове на ярмарке покрасуются,—полкороба товару в долг распустил. Все берут: отдадим, говорят, как лен будем мять. Простых платков не берут—все парижских требуют. Большое движение торговли изволили льном дать. Ведь это не шутка: полсотни денег за одно мятье бабы возьмут, где им было это прежде заработать?

Итак, все устроилось обоюдно выгодно.

Казалось, что стоило бы только увеличить плату с 25 рублей до 35 рублей, чтобы сдавать лен подесятинно. Но, не говоря уже о том, что хозяину это будет очень невыгодно, потому что и за 35 рублей работа будет призводиться так же, как за 25 рублей, то-есть так же невнимательно и плохо, охотников работать лен все-таки не будет, да и крестьянину даже и 35 рублей взять будет невыгодно. Деревнями брать не будут без особенной крайности, потому что крестьяне всеми мерами избегают такого дела, где нужно работать сообща, и предпочитают работать, хотя бы и дешевле, но в одиночку, каждый сам по себе. Еще раз вернусь к этому вопросу и сообщу один факт. Еще недавно, несколько лет тому назад, крестьяне соседних деревень, по старой привычке, как в крепостное время, убирали у меня сообща всею деревнею покосы, частью за деньги, частью из половины. Сообща всей деревней вместе выходили на покос, вместе огульно косили, вместе убирали сено и клали его в один сарай, а потом и деньги и свою часть сена делили между собою по числу кос. Такой порядок для меня был очень удобен, потому что уборка шла дружно, в хорошую погоду быстро схватывали сено, присмотр был легкий, сено делилось за раз зимою. Теперь уже так покосов не берут ни у меня, ни у других. Теперь или каждый берет особенный участок под силу на свое семейство или, взяв целый луг, делят его на нивки, и каждый косит и убирает свой участок; сено тут же делится и развозится: одна часть в мой сарай, другую крестьянин везет к себе. Понятно, что для меня это в высшей степени неудобно. Когда покос в полном разгаре и человек 20 в разных местах убирают сено, то старосте, который должен со всеми делить сено, целый день почти не приходится слезать с лошади. Понятное дело, что в такой работе, как уборка сена, выгоднее работать артелью, и при одинаковом старании, то-есть, если бы каждый работал так, как он работает на себя

в одиночку, общее количество убранного сена было бы больше и сено вышло бы лучше, особенно если бы погода благоприятствовала уборке и при деле был бы умеющий распорядиться хозяин. Но вот в чем дело, при разделе сена все получили бы тогда поровну, по числу кос, следовательно, тот, кто силен, умеет ловко работать, старателен на работе, сообразителен, получил бы столько же, сколько и слабосильный, неловкий, ленивый, несообразительный. Вот тут-то и камень преткновения, вот тут-то и причина, почему крестьяне делят взятый на скос луг на участки, подобно тому, как делят на нивки свои поля и луга. Прежде, когда соседняя деревня косила у меня луга огульно артелью, все крестьяне на зиму были с сеном. Те, у которых было мало лошадей, даже продавали, а теперь у иных сена много а у других—мало или вовсе нет, а нет сена, нет и лошадей, нет хлеба. Одни богатеют, а другие, менее старательные, менее ловкие, менее умные, беднеют, и, обеднев, бросают землю и идут в батраки, где всякому найдется дело, где всякий годен за чужим загадом.

Таким образом даже за возвышенную до 35 рублей плату деревнями брать лен не будут, пока не промыслится разделять работу так, чтобы каждый мог получать плату особо за свой труд, т. е. пока не приищутся подрядчики, которые, сняв у помещика работу подесятинно будут, собственно говоря, делать то же что делаю теперь я, т. е. рассчитывать каждого особенно сдельно. Мне теперь обработка десятины льна обходится 35 рублей, все работающие довольны и получают хороший заработок, какого здесь на других работах не получают, но крестьянину даже многосемейному, у которого 6—7 баб во дворе невыгодно взять десятину за 35 рублей, потому что у него выйдет на работу гораздо более дней, чем у меня. Мне, получая плату от пуда, баба намнет пуд в ночь, а хозяину намнет не более 20 фунтов, а если во дворе окажется баба, которая не в силах наминать более 10 фунтов, то и все будут наминать по 10 фунтов. Когда бабы мнут дома пеньку, то, как хозяин ни ругается, а более половины не наминают против того, что могли бы намять если бы мяли на себя. Это мне говорили сами бабы: «Чаво я буду дома из сил выбиваться на хозяина, а тут я на себя работаю». Таким образом работа подесятинно невыгодна и для мужика-хозяина и для меня, потому что у него бесполезно пропадает время, а у меня вырабатываемый продукт.

Брать лен и мять его приходят не только бедные бабы, но и богатые, даже можно сказать, что богачки производят главную массу работы и забирают большую часть денег, выдаваемых за выборку и мятье. В богатых дворах бабы все сильные, рослые, здоровые, сытые, ловкие. Богач не женится на какомнибудь заморыше, а если случайно попадет на плохую ба-

бенку—ужаснее и положения нельзя себе представить, как положение такой плохой бабенки среди богатого двора, где множество здоровых невесток,—то заколотит, забьет, в гроб вгонит и тогда женится на другой. Сытые богачки наминают до $1^1/_2$ пуда льну, тогда как бабы бедняков, малорослые, тщедушные слабосильные наминают в то же время по 30 фунтов. Понятно поэтому, что богачам невыгодно работать огульно с бедняками, но и в сдельных работах бедняки должны отступить на второй план, стушеваться.

Мало-помалу чистые не заросшие кустами и березняком облоги подобрались, и я принялся за обработку под лен облог, поросших березняком до двух вершков толщиною в комле. Пришлось корчевать березняки, что увеличило ценность обработки, сверх того, облоги из-под таких березняков уже трудно было драть сохами, и я принужден был завести плуги. Теперь все облоги подымаются шведскими железными плужками без передков, которыми пашут или батраки или поденщики. Обыкновенно говорят, что трудно завести плуги, там где крестьяне привыкли пахать сохами. Нисколько. У меня плуги пошли сразу. Задумав пахать плугами, я стал высматривать у кого есть плуги, хороши ли. Все плуги казались мне неподходящими. Наконец случайно, быв в гостях у одного помещика в другом уезде, я увидал плуг, который мне понравился. Я решился попробовать этот плуг и попросил у хозяина позволения прислать к нему работника поучиться.

— А присылайте,—говорит,—я покажу.

Возвратясь домой, я через некоторое время призвал Сидора.

— Слушай, Сидор, нынешней осенью я думаю подымать облоги под лен плугом. Ты знаешь—железные сохи, что мы на выставке видели.

— Слушаю-с.

— Я у одного барина в Д. уезде видел плугами пашут—хорошо.

— Можно и нам, если хорошо.

— Так вот что, вот тебе деньги и письмо ступай сегодня на станцию, возьми билет до Ярцевой, там выйдешь и пойдешь по большой дороге—верст 20 будет до села К.; тут спросишь Х. Это самый тот барин у которого плуги недалеко от села. Придешь к барину, отдашь письмо, посмотришь плуг, посмотришь, как пашут, сам попробуешь пахать, и, когда научишься, ступай назад на Ярцеву, возьми билет в Смоленск, купи такой плуг—у барина узнаешь, в какой лавке,—и привези сюда. Облоги орать будем.

Сидор отправился на станцию, доехал на машине до Ярцевой, пешком дошел до Х., посмотрел плуг, посмотрел, как пашут, как налаживают, как запрягают, разузнал у рабочих,

в чем сила, сам попробовал пахать и на другой день объявил Х., что понял. Тот его проэкзаменовал, заставил, кажется, собрать плуг и отпустил. Сидор опять пешком дошел до Ярцевой, оттуда на машине доехал до Смоленска, разыскал лавку, купил требуемый плуг—кстати, прихватил подходящую цепь для быка, потому что наш холмогорский бык Пашка, вскормленник Сидора, уже начал баловаться и ломать кормовые ящики,— и, исполнив все поручения, возвратился домой.

— Ну, что?

— Привез.

— Пахать выучился?

— Выучился.

— Что же ты так скоро. Ведь, ты всего три дня проездил?

— А что ж там делать? Хитрого ничего нет. Работники показали, и сам барин показал тоже, как собирать. Я, А. Н., сами изволите знать, могу соху не то что наладить, а и присадить, а тут и ладить нечего—на все зарубка своя есть.

— А хорошо пашет?

— Отлично, А. Н., особенно для облог. Уж так хорошо, что лучше и быть нельзя. Сохой—куда так сделать! И пахарю легко, да и пахаря особенного не нужно, тут чистую облогу всякий будет драть, а про переломы и говорить нечего—валяй только.

— Парой будешь пахать?

— Парой. Парой легче коням будет, только коней на первый раз нужно взять посмирнее и поумнее. Я пахотных не буду брать, потому что пахотных переучивать нужно, тут один конь бороздой должен итти, а другой полем, потому, одного пахотного можно бороздой, а другого пристяжного. Если оба пахаря будут, то полевой будет отбивать пахотного бороздою.

— Так и отлично. Пару карых можно взять.

— Я тоже думал.

— Когда же ты думаешь начать?

— Завтра. Сегодня упряжь налажу, а завтра на переломе попробую. Позвольте только Михейку взять—коней поводить нужно будет, пока не привыкнут

На другой день Сидор начал пахать перелом, то-есть такую землю, на которой по обороченному пласту был посеян лен. Десятину он вспахал отлично и окончил в четыре дня—десятины хозяйственные, сытые,—несмотря на то, что было грязно и лошади были очень ленивые и не шаговитые. После перелома он переехал на чистую облогу, которую вспахал тоже в четыре дня. Затем Сидор научил пахать плугом одного из работников, который всю осень пахал облоги и переломы. Плуг работал великолепно, никаких поломок не было, только и было всего, что работник потерял ключ, да и об этом я узнал только потом, по-

тому что работник, потеряв ключ взял у Сидора другой, просил никому ничего не говорить, а в воскресенье сбегал к кузнецу, который ему сделал, на его счет, новый ключ. Как это непохоже на то, что сообщает нам в своих «Советах смоленским хозяевам» наш агроном Дмитриев, который, заведуя хозяйством казенной фермы, на опыте убедился, что у нас невозможно употреблять улучшенные орудия, вследствие «недобросовестности», «невежества» русского крестьянина!

Потом я купил еще два плуга, и теперь у меня вот уже три года—переломы и облоги под лен иначе не подымают, как плугами, да еще какие облоги—такие, которые были покрыты частым пятнадцатилетним березняком, такие, на которых что ни шаг—то корень, так что десятину менее как в одиннадцать дней не подымешь. И плуги служат вот уже три года, разумеется резцы и лемехи приходилось переменять, и никакой «ломки», никакой «потери различных частей» нет, как это было у агронома, который рабочих обвинял даже в том, что «лошади были худы до крайности», как будто рабочих можно обвинять в этом. Если лошади были худы, да еще до крайности, так это потому, что их не кормили, и что же тут удивительного, что работники «не выполняли своих уроков» на таких лошадях? Лошадь везет не кнутом, а овсом.

У меня лошади не были худы, хотя каждая пара, в прошедшем году, например, подняла по три с половиною десятины облог из под березняков, причем лошади всю осень пахали безостановочно изо дня в день. Разумеется, лошади получали ежедневно овес.

И кто же пахал? Невежественные, недобросовестные русские крестьяне—«русски свинь», как сказал бы какой-нибудь немец, управитель старого закала или вызванный из-за границы насаждать у нас агрономию профессор заведения, где прежде приготовлялись «агрономы». Пахали обыкновенно батраки, а на одной паре—так как батраков нехватало—всю осень пахал поденщик. Кормили те же батраки, потому что дело старосты только отмерить овес, насыпать в торбы и выставить торбы на галлерею подле амбара; в обед каждый берет две торбы на свою пару, которую он и кормит, и поит. Весною, когда лошадей не приводят домой, а пускают пастись во время обеда там же, где работали, батраки в поле же и задают овес, а от поля рукой подать до кабака. Кажется, как бы не пропить овес? Не пропивают.

Крестьяне приходили смотреть железную соху, дивовались немецкой хитрости и пашню одобрили.

Один из моих рабочих, Степа, вздумал было на сохе конкурировать с плугом и уверял, что он вспашет перелом и подымет облогу сохою во столько же времени, во сколько Сидор вспашет

плугом, и сделает не хуже. Действительно он вспахал десятину перелома во столько же времени, но на облоге отстал, хотя работал так, что даже трубочку на ходу курил, и далее конкурировать отказался.

Работник Степа был—теперь его у меня нет, сам хозяином сделался—отличнейший пахарь на сохе, каких редко, любящий пахоту, щеголяющий своей работой, установкою сохи, подобранною лошадью, подобно тому, как любит свою работу хороший сапожник-немец, который, сделав хорошие сапоги, кажется, жалеет расстаться с ними. Когда Степа поступил ко мне и выбрал себе лошадь для работы, то я сейчас же увидал, что это хозяин, потому что по лошади, которую выбрал работник, по манере обращаться с нею, по запряжке, тотчас же можно судить, каков человек, а раз он взял в руки соху, так уж положение его в числе рабочих объяснилось.

Большинство рабочих предпочитает лошадей бойких, форсистых, с хорошею рысью, таких лошадей, на которых можно было бы покрасоваться, лихо прокатить бабу во время возки сена, когда каждый работник берет с собою бабу, если нехватает батрачек, то поденщицу, чтобы ловчее было укладывать сено на телегу; а бабы-то на гребево, на возку сена все являются в самых лучших нарядах, разукрашенные лентами, кралями.

При разборке лошадей никому не назначаю: работники сами разбирают лошадей по своему вкусу, и потом уже постояно работают на одних и тех же лошадях. Самый сильный, ловкий работник, первый в артели загонщик, берет самую лучшую, бойкую лошадь, такую, которая, при случае, может и потрепать; второй работник берет вторую, по форсу, лошадь; третий—третью и т. д. Самые плохие лошади достаются самым плохим работникам, вахлачкам, и не потому, чтобы они не хотели бойких лошадей — каждый хотел бы самую бойкую, бешеную лошадь,— а потому, что лучшие работники в артели во всем имеют перевес, везде имеют первый голос и лошадей забирают лучших, а вахлачку—что достанется. Но работник-хозяин, хороший, ловкий, серьезный работник, не форсистый, сознающий свою силу и достоинство, гордящийся внутренним достоинством своей работы, а не внешним блеском—таких работников, разумеется мало,—выбирает и лошадь хозяйственную. Степа при разборке лошадей, хотя он и был вторым в артели, выбрал лошадь, которую все обходили, не форсистую, пегой масти, ленивую, но плотную, без рыси, но шаговитую. Лошадь, которая куплена была поздно осенью и потому в поле не работала, оказалась лучшим пахарем и во всех работах, по силе и уму имела перевес перед другими лошадьми. Степа полюбил своего пегана, холил его, кормил, гордился им, хотя пеган бегал всегда мелкой рысцой и только в редких случаях, когда, например,

нужно было ухватить сено или снопы перед заходящей тучей, пускался в галоп. Пахарь из пегана вышел удивительный, спокойный, тягучий, умный, идущий прямо на вешки, так что стоило на огороде только отметить гряды вешками, и пеган наипрямейшими линиями разъезжал борозды. Увидав плуг, Степа с усмешечкою объявил, что это вещь вовсе не нужная, что он и сохою на пегане сделает не хуже и так же скоро. И действительно сделал: Степина пахота была образцовая, для сохи отличнейшая, но все-таки уступала плужной. Степа, хотя и соглашался, что плугом сделано отчетливее, но все-таки уверял, что и на его десятине лен будет не хуже, чем на плужной. На замечание же мое, что вспахать сохой так, как вспахал он, Степа, могут лишь немногие работники, тогда как плугом будут хорошо пахать все, Степа ответил: «а кто не умеет пахать, тому и около земли заниматься не след». Степа, как истый пахарь, специалист своего дела, любящий свое искусство, повидимому, опасался, что с введением плугов потеряется искусство пахать сохой, точно так же, как наш портной, старик Михаил Иванович, ненавидит швейные машины. «Экая штука, что он машиной прострочил,—говорит М. И.—ты, вот, руками так прострочи».

— Да зачем же ему руками строчить, когда машиной можно?—замечаю я.

— Какой же он портной, если строчить не умеет? Нет, ты выстрочи! А то машиной! Слаб народ стал!

Необходимость разделывать под лен давно запущенные облоги, требующие корчевки березняков, увеличила ценность обработки льна еще на 15 рублей, так что теперь обработка десятины льна обходится уже 50 рублей, но так как лен, в средней сложности, дает 100 рублей с десятины валового дохода, то, следовательно, чистого доходу получается 50 рублей от десятины. Да сверх того в пользу хозяина остаются дрова и еще, если корчевка производится заблаговременно, на следующий год после корчевки получается хороший укос травы.

Получить 50 рублей чистого доходу с десятины, *не употребляя для этого навоза*, разве это не хорошо?

Но этого мало: после льну, по перелому, с небольшим удобрением—«потрусивши навозцу», как говорят крестьяне—получаются великолепнейшие урожаи ржи. Вот уже три года, что после льна на переломах, *удобренных только 100 возами навоза на хозяйственную десятину*, я получал по 18 кулей ржи с хозяйственной десятины, то-есть сам-12, тогда как на старопахотных землях, при 300 возах навоза, получалось только 12 кулей с десятины, то-есть сам-8. Такие же результаты получились в соседнем имении, где, по моему примеру, стали сеять лен, а после льну по перелому рожь. Хозяева, которые знают, как

дорого обходится нам навоз, поедающий все доходы с полеводства, поймут всю важность добытых мною результатов.

Стоят березняки, выросшие на десятинах, запущенных лет 15 назад, и никакой пользы для хозяйства от них нет. Нужно подождать еще 35 лет, чтобы березняки эти превратились в хороший дровяной лес, за который дадут тогда, положим, по 150 рублей за десятину, да и то в местностях, прилегающих к железным дорогам. Выкорчевываю березняки и на следующий год получаю хороший укос травы, не менее 16 коп с десятины, и потому, если отдать с половины, то мне придется 8 коп, что стоит мало-мало 10 рублей.

Сею лен. Получаю 50 рублей чистого дохода.

Удобряю 100 возами навоза и сею рожь. Получаю 18 кулей ржи с десятины, в полтора раза больше, чем сколько получается с старопахотных земель, удобренных втрое большим количеством навоза. Затем у меня остается возделанная земля, на которой я могу вести хозяйство и которая всегда дает более дохода, чем земля, находящаяся под лесом.

Кому же не известно, что годная для полевой культуры земля дает менее всего дохода, оставаясь под лесом. Если годные для культуры пространства остаются под лесами, то это первый признак низкой степени развития сельского хозяйства в стране. Леса должны оставаться только на местах, которые не годны для культуры, и лишь в таком размере, чтобы не было у населения большого недостатка в топливе.

Но, говорят, лен истощает, сушит землю, все это, как видите пустяки, что совершенно понятно каждому, кто обладает хотя элементарными познаниями из земледельческой химии.

Спросят, что же вы будете делать, когда подымите все облоги? Буду продолжать то же самое. Ежегодно я подымаю 8 десятин облог и на то место засеваю 8 десятин старопахотной земли клевером с тимофеевкой, которые и запускаю. Через шесть лет эти десятины будут представлять чистые облоги, которые опять пойдут под лен. Обработка этих десятин будет уже легка, потому что корчевать не будет надобности и подымать чистые облоги без кореньев легко. Но это уже целая система полеводства, о которой я подробно говорить буду в особой статье.

Соседние крестьяне теперь отлично поняли всю выгодность моей системы и одобряют ее вполне, и я от многих крестьян слышал, что теперь стоит просто нанимать запущенные земли, чтобы сеять лен и потом рожь. Конечно, стоит, да поди-ка, найми. Все сидят и любуются на свои березняки, а березняки все растут да растут, и скоро сделается невозможным обрабатывать их по этой системе. Тогда придется ждать, пока не вырастет дровяной лес, и, срубив лес, ждать, пока не выгниют пни настолько, чтобы земли могли итти в обработку. Но, слава

богу, с каждым годом крестьяне все более и более приобретают покупкой земли, особенно в соседнем уезде, где, замечательно, крестьяне были до крайности бедны и ели пушной хлеб, а теперь, видимо, поправились. А крестьянин на березняки и лес любоваться не станет: сейчас же вырубает и распахивает. Ведь это крестьяне сложили поговорку: «*что пень собьем, то грош найдем*».

Между землевладельцами моя система не имеет успеха. Я и статьи пишу, я и на словах проповедую каждому встречному и поперечному, так что, думаю, уже надоел многим, я и на съезд в наш уездный город ездил, подробные сообщения делал с числовыми данными, уши всем протрубил облогами и льном. Но все это глас вопиющего в пустыне...

Все относятся с каким-то недоверием и, мне кажется, думают, что я, сообщая данные об урожаях, привираю. О моем хозяйстве ходят самые нелепые слухи, и так как расширение моего хозяйства с каждым годом есть факт, против которого нельзя спорить, то, мне кажется, иные думают, что я, приехав на хозяйство, привез с собою кучу денег—известно, служил, на службе нажился—и все только трачу, трачу, покупаю корм, чтобы иметь больше навозу и щеголять своими урожаями.

Замечательно, что из местных хозяев никто ни разу даже не заехал ко мне, чтобы посмотреть мое хозяйство. Один молодой человек из Петербурга, который в нынешнем году заезжал ко мне и который перед тем несколько времени прожил в уезде, изучая разные хозяйства, говорил, что многие из лиц, сообщавших ему разные нелепости о моем хозяйстве, не могли даже указать, где именно находится мое имение.

По переломам после льну рожь родится замечательно чистою, без сорных трав и, главное, без костеря и сивца. В прошедшем году всю рожь с переломов, которая осталась от собственного посева, крестьяне в августе разобрали у меня на семена по 7 рублей 50 копеек за куль, потому что их рожь была до крайности сорна и содержала множество костеря.

По поводу костеря у крестьян—только не у богачей, заметьте,—существует мнение, что рожь перерождается в костерь и обратно. Когда я приехал в имение, то нашел хозяйство опущенным до крайности, рожь первый год уродилась крайне сорная с непомерным количеством костеря. Крестьяне говорили, что это—год такой и, на все мои убеждения, что костерь завелся в имении от нечистот семян, откуда-нибудь завезенных в старину, говорят, рожь родилась в имении чистая,—все-таки твердили свое, что это—год такой, что коли бог уродит, то и костерем посеявши, рожь получишь, а не будет благодати божьей, то и из чистой ржи костерь народится. Все мои убеждения были тщетны, даже указание на то, что в соседней богатой

деревне, у богачей, которые обращают внимание на очистку семян, рожь родится без костеря, не действовали. Там, говорили, земля другая, а на этом поле рожь всегда с костерем родится. Я старательно очистил семена, выгнал на веялке костерь по возможности, да сверх того, достал несколько кулей чистой ржи у соседнего богача-крестьянина и засеял поле очищенными семенами. Чтобы убедить Ивана, Сидора и других, что костерь не перераживается в рожь и обратно, я посадил на огороде на гряде 1 зерно ржи и 9 зерен костеря и показал, что с осени всходы были так похожи, что нельзя было отличить рожь от костеря. На другой год на огороде вырос 1 куст ржи и 9 кустов костеря, а на поле рожь была гораздо чище, хотя костерь все-таки еще был. На следующий год я опять выбрал для посева самые чистые семена и т. д. Рожь год от году все стала родиться чище. В прошедшем году рожь опять была в том же поле, в котором я ее застал, весна была самая благоприятная для развития сорных трав: у крестьян рожь была чрезвычайно сорна, а местами так просто один костерь народился, между тем у меня на старопахотных землях, костеря было очень мало, а на переломах и вовсе не было.

Не знаю, убедились ли крестьяне, что костерь не перераживается в рожь и что очистка семян дело важное, но знаю только, что в прошедшем году многие из соседних крестьян покупали у меня на семена мою чистую тяжеловесную рожь.

...Бабы ушли на овин и начали мять; собаки смолкли; все успокоилось: я опять засыпаю и сплю безмятежным сном.

Просыпаюсь я рано и начинаю кашлять: доктора говорят что это какой-то катар, а деревенские жители уверяют, что это желудочный кашель, свойственный сельским хозяевам, которые, проведя день на воздухе, ложатся спать, «выпив водочки и поужинав». Савельич, разбуженный моим кашлем, начинает возиться за стеной. Это он самовары ставит, к чему у него все припасено, и вода, и уголь, еще с вечера. Выкурив несколько папирос и откашлявшись, я одеваюсь и принимаюсь за счеты и разные вычисления или за писание статей. Савельич приносит самовар и при этом смотрит на градусы.

— Ну, что. Савельич, каково на дворе?

— Ничего.

— Морозит?

— Не то чтоб очень.

— Однакож?

— Мороз изрядный, а ветру нет.

Я пью чай и занимаюсь, пока не проснулись дети и не началось хозяйство. Авдотья приходит.

— Что готовить будем?—спрашивает она.

— Что ж готовить?

Молчание.

— Хоть бы ты когда-нибудь сама придумала, что готовить. Ведь ты лучше меня знаешь, что у нас есть!

— Почем я знаю, чего вы хотите? Все у нас есть: солонина есть, ветчина, телятина, языки есть, почки...

— Ну и отлично. Делай рассольник с почками.

— А еще что?

— Еще что?

— Дети, ведь, супу никогда не едят, им еще что-нибудь нужно.

— Что же бы еще сделать?

Молчание.

— Ну свиные котлеты сделай. Ведь, ветчина, ты говоришь, есть.

Авдотья уходит.

— А чесноку в котлеты класть?—возвращается она.

— Клади.

Уходит.

— А картофель к котлетам делать?

— Разумеется, сделай. Ты знаешь—дети, ведь, любят картофель.

— Да вы же все боитесь, чтобы не заболели.

Я пью чай и занимаюсь счетами.

Приходит Матрена и начинает отворять внутренние ставни.

— Что, обутрело?

— Нет еще, светает только.

— Сидор где?

— На скотный пошел.

— Завтракали?

— Нет, еще, собираются только. Мишка лошадей поит.

— А холодно на дворе?

— Не то чтобы очень.

— Морозит?

— Не дюже.

Матрена, открыв ставни, уходит.

Свет чуть брежжет; без свечи заниматься нельзя; самовар уже начинает потухать и издает какие-то печальные сиплые звуки.

Приходит Сидор и здоровается.

— Здравствуй. Ну, что?

— Все славу богу. Клевер заложили.

— Хорошо едят?

— Отлично.

— Ничего не телилось? Ничего не котилось?

— Ничего, только Дарка родила.

— Кого?

— Сына.
— Давно?
— А вот сейчас. Клевер закладывали, она рожала.
— Благополучно?
— Что ей сделается.
— Кто ж у нее бабил?
— «Старуха».
Молчание.
— Дарка полштоф водки просит.
— Ну, скажи Ивану, чтоб дал.
Молчание.
— А когда же крестить будут?
— Сегодня.
— Кто же будет крестить?
— Ивана Павловича просить хотят.
— А скоро лен кончат мять?
— Малость осталось.
— Что ж, дрова возить будете?
— Дрова. Позавтракали, запрягают.
— Ну, ступай.
Сидор уходит.

Стало уже светло; дети начинают пошевеливаться; самовар совсем потух; Савельич в столовой школит кошек и Мильтошку за ночные проказы.

Я пью чай и занимаюсь счетами.
— Придете телят поить,—спрашивает Авдотья.
— Не знаю, как бабы с льном поспеют.
— Поить без вас?
— Пой, да смотри, больше кружки на теленка не давать.
— Знаю, знаю.
— Хот они там разорись, а больше кружки не давать.
— Знаю. А «Белянку» нужно запустить—воля ваша.
— Рано еще.
— Самую малость дает.
— Ничего, а ты все подаивай.
— Дою, да плохо дает.
— Ничего. Я скажу, когда запустить.

Не успело еще порядочно обутреть, а уж бабы окончили мять лен. Нужно одеваться и итти в амбар вешать лен.

Так как бабы мнут лен каждая на себя с платою от пуда, то и вешать лен нужно у каждой бабы отдельно. Даже родные сестры, не говоря уже о женах родных братьев, мнут лен в раздел, каждая на себя, и не согласятся класть лен в одну кучу и вешать вместе, а заработную плату делить пополам, потому что сила и ловкость неровная, да и стараться так не будут и, работая вместе, наминать будут менее, чем работая каждая по-

розь. Только мать с дочерью иногда вешают вместе, но и это лишь тогда, когда мать работает на дочь и все деньги идут дочери.

Взвешивает лен староста Иван, а я только осматриваю вязки, чисто ли отделано, и записываю вес каждой бабы. Замечу здесь, кстати, что лен, доставляя большие выгоды, требует, однако, много внимания со стороны хозяина. Если хозяин сам не занимается делом или не имеет надежного человека, которому нужно дать полную волю действовать, то у него со льном будут частые неудачи. В моем соседстве многие пробовали сеять лен, но большей частию от невнимательности терпели неудачи: лен то западает снегом, тогда все пропало, то недолежится, то перележится, то дурно смят, то неровно смят—одна вязка хороша, а другая нет,—что сильно понижает цену всей партии. В нынешнем году, например, льны, даже у крестьян, почти повсеместно запали снегом, а у меня весь лен был поднят своевременно и вышел отличного качества. В прошедшем году льны тоже запали, у меня запало лишь ничтожное количество. У других купец иначе не купит лен, как пересмотрев его самым тщательным образом, а у меня купит ранее, чем еще лен смят, по первым образцам. Все эти неудачи происходят от невнимания самих хозяев, оттого, что все делается несвоевременно и кое-как. Главное—нужно спешить выборкой и молотьбой, жертвуя качеством семени, если на то уже пошло, потому что волокно дороже семени и потеря волокна влечет за собою более убытку, чем дурное качество семени. Важно только получить хорошие семена для себя, а гуртовое семя на продажу, если будет низшего достоинства, то потеря на нем ничтожна, сравнительно с потерей волокна, поэтому необходимо сеять для себя на семена отдельные десятины.

Обыкновенно я сам присутствую при взвешивании льна и записываю, потому что Иван грамоте не знает. Из 25 человек, живущих в настоящее время в Батищеве, грамоте знает только один Савельич, да и то плохо. «Тихо очень он пишет,—говорит Иван,—примеряется, примеряется, а потом вдруг письнет, ан настоящее и не выписалось, замарает и опять налаживается—тоска даже возьмет». Но если меня нет дома или мне почему-нибудь нельзя притти в амбар, Иван сам отмечает, кто сколько намял. Иван грамоте не знает, писать не умеет, а между тем он заведует амбаром, принимает и отпускает хлеб, лен, сало, масло, крупу, жмыхи, считает летом сено, навоз, сноны и пр. и пр. Счетоводство у меня в порядке; приход и расход всего и ход всех работ записывается до малейших подробностей и все это ведется мною при посредстве Ивана, который ежедневно подает счет по большей части предметов, а по некоторым подает счет в конце месяца. Все свои счеты Иван отмечал, заре-

зывал прежде на бирках, т. е. четырехгранных палочках, которые у него имелись отдельные для каждого предмета, а теперь пишет карандашом на узких листочках толстой бумаги—он употребляет для этого коробки от папиросных гильз,—употребляя особые письмена, кресты, палочки, кружки, точки, ему одному известные. Вечером, отдавая отчет, Иван вынимает бумажку, долго ее рассматривает и, водя по ней пальцем, начинает: в застольную муки 2 пуда, круп яичных 3 фунта, сала 1 фунт, солонины 15 фунтов и т. д. В конце месяца Иван является с целым пучком палочек и отсчитывается, диктуя, например, по овсяной палочке:

— Птицам 5 мерок, лошадям 1 куль, Мишке в город 4 гарнца, климовским лошадям 1 мерка, вам в город 1 мерка, ямщику, что привозил петербургского барина черненького, мерка, Петра Иваныча лошадям 4 гарнца и т. д. Всего 6 кулей.

— Теперь рожь: Панасу куль, дуровскому крестьянину 2 куля, Фоке осьмина, лужковской бабе куль, для себя смололи 5 кулей, Роде куль, бабе из Ольховки три меры и т. д. Всего 38 кулей, 3 мерки.

Принимая от баб лен, если меня нет, Иван по-своему отмечает, сколько какая баба намяла и, отдавая вечером отчет, диктует мне по своей бумажке:

— Дарочка 33 фунта, Акулина 1 пуд 8 фунтов, Семениха Деминская 39 фунтов, Козлиха с дочкой 1 пуд 22 фунта, Немая 27 фунтов, Семениха Анципёровская 1 пуд, Катька 30 фунтов, Катька-солдатка 1 пуд, Хворосья 23 фунта, Фруза 29 фунтов, Матрена 1 пуд 20 фунтов и т. д.

Лен мнут от 30 до 40 баб, и никогда никакой ошибки, а тут всякая ошибка сейчас будет замечена, потому что каждая баба отлично помнит, сколько она когда намяла, и при окончательном расчете отлично знает, сколько ею всего намято и сколько приходится получить денег.

— Ты сколько намяла, Катька?—спрашиваю я при расчете.

— Вам по книжке лучше видно, А. Н.

— По твоему счету сколько?

— Три пуда двадцать два фунта.

— Так.

— А сколько тебе денег приходится?

— Вы лучше знаете.

— Сколько приходится?

— Рубль, да шесть копеек, да грош.

— Получай рубль семь копеек, грош лишнего—свечку поставь.

Если при расчете приходится передать лишнего, то чтобы другие бабы не обижались, что которой-нибудь пришлось

лишнего, переданное полагается на свечку богу. Баба это исполнит и первый раз, что пойдет к обедне, подавая копеечную свечку, если ей перешло полкопейки, «подумает в мыслях», как выражается Иван, что полсвечки идет за нее, а полсвечки за меня. «И это вам зачтется»,—говорит Иван.

Отмечая на своих бумажках приход и расход, Иван обозначает своими письменами только количество отпущенного и принятого, но кому отпущено, от кого принято, все это он *помнит*. Вообще у крестьян-прасолов и т. п. люда память для предметов, с которыми они имеют дело, и способность измерять глазомером, ощупью, развита до невероятности, и сверх того все крестьяне удивительно верно считают.

Каждый крестьянский мальчик, каждая девочка умеют считать до известного числа. «Петька умеет считать до 10», «Акулина умеет считать до 30», «Михей до 100 умеет считать». «Умеет считать до 10», вовсе не значит, что Петька умеет перечесть раз, два, три и т. д. до 10; нет; «умеет считать до 10», это *значит, что он умеет делать все арифметические действия над числами до 10*. Несколько мальчишек принесут, например, продавать раков, сотню или полторы. Они знают, сколько им следует получить денег за всех раков и, получив деньги, разделяют их совершенно верно между собою, по количеству раков, пойманных каждым.

При обучении крестьянских мальчиков арифметике учитель всегда должен это иметь в виду, и ему предстоит только, воспользовавшись имеющимся материалом и поняв, как считает мальчик, развить счет далее и показать, что «считать можно до бесконечности». Крестьянские мальчики считают гораздо лучше, чем господские дети. Сообразительность, память, глазомер, слух, обоняние развиты у них неизмеримо выше, чем у наших детей, так что, видя нашего ребенка, особенно городского, среди крестьянских детей, можно подумать, что у него нет ни ушей, ни глаз, ни ног, ни рук.

Крестьяне, по крайней мере, нашей местности, до крайности невежественны в вопросах религиозных, политических, экономических, юридических. Тут вы увидите, что на обновление Цареграда крестьянин молился «царю-граду», чтобы не отбило хлеб градом; что девки серьезно испугались и поверили, когда, после бракосочетания нашей великой княжны с английским принцем, распространился слух, будто самых красивых девок будут забирать и, если они честные, отправлять в Англию, потому что царь отдал их в приданое за своей дочкой, чтобы они там, в Англии, вышли замуж за англичан и обратили их в нашу веру,—этому верили не только девки, но и серьезные, пожилые крестьяне, даже отпускные солдаты. Тут вы услышите мнение крестьян, что немцы гораздо беднее нас, русских, пото-

му-де, что у нас покупают хлеб, и что, если бы запретили панам продавать хлеб в Ригу, немцы померли бы с голоду; что, когда успеют наделать сколько нужно новых бумажек, то податей брать не будут и т. п. Что же касается знания своих прав и обязанностей, то, несмотря на десятилетнее существование гласного суда, мировых учреждений, никто никакого понятия о своих правах не имеет. Во всех этих отношениях крестьяне, даже торгующие мещане и купцы, невежественны до крайности. Даже попы—не говорю священники, между которыми еще встречаются люди более или менее образованные, хотя и редко,—то-есть все лица духовного звания, дьячки, пономари штатные и сверхштатные, разные их братцы, племянники, словом, весь проживающий в селах, ничего не работающий, пьяный, долгогривый люд в подрясниках и кожаных поясах—не далеко ушли от крестьян в понимании вопросов религиозных, политических, юридических.

Но что касается уменья считать, производить самые скрупулезные расчеты, то на это крестьяне мастера первой руки. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть, как крестьяне делят землю, рассчитываются, возвратясь из извоза. Конечно, вы тут ничего не поймете, если вам неизвестен метод счета, вы услышите только крик, брань и подумаете: как они бестолковы, ну, точно как в рассказе Н. Успенского «Обоз»! У. схватил только внешнюю сторону, но его рассказ грешит тем, что читатель, незнакомый с народом, выносит впечатление о совершенной бестолковости, глупости изображенных в рассказе мужиков-извозчиков. Но подождите конца, посмотрите, как сделан расчет, и вы увидите, к какому результату привели эти бестолковые крики и споры,—земля окажется разделенною так верно, что и землемер лучше не разделит.

Какая разница в этом отношении между рассказами Тургенева и Успенского, рисующими русского крестьянина! Сравните тургеневских «Певцов» с «Обозом» Успенского. Внешняя сторона у Успенского вернее, чем у Тургенева, и, попав в среду крестьян, вы в первый момент подумаете, что картина Успенского есть действительность, «голая правда», а картина Тургенева—подкрашенный, наряженный вымысел. Но подождите, и через несколько времени вы убедитесь, что певцы Тургенева *есть*, а извозчиков Успенского *нет*. В деревне вы услышите этих «Певцов» и в песне косцов, возвращающихся с покоса, и в безобразном трепаке подгулявшей пары, возвращающейся с ярмарки, и в хоре калек перехожих, поющих о «блудном сыне», но «Обоза» вы нигде не увидите и не услышите. Один из наших критиков, кажется, г. Анненков,—сравнивая Успенского с Тургеневым, как изобразителей народа, сказал, что Н. Успенский в нашей литературе занимает почти такое же

место, какое в истории живописи занимает Теньер. Так ли это? Успенский выставил нам русского простолюдина простофилей. Но это-то, я думаю, и неверно, недаром есть поговорка: «мужик сер, да не чорт его ум съел». Ум то есть, только знаний нет, и круг приложения ума очень тесен, а дайте-ка ему простор!..

Но, что меня больше всего поражает, это необыкновенная память у крестьян. Неграмотный сельский староста помнит, сколько за кем есть недоимки, сколько с кого и когда он получил денег и пр. Разносчик, торгующий бабьим товаром—платками, кралями и разною мелочью,—на сто верст в округе раздает свой товар в долг и помнит, где какая баба сколько ему должна и что именно брала. Наконец, и в извозе: пришло время ехать в извоз, столковались крестьяне в деревне. Один из деревни, разумеется, голова-воротило, отправляется в город искать работы. Найдя в городе работу, он подряжается, например, вести пеньку из Д. в С., торгуется с купцом, уславливается насчет цены и количеста подвод. Через несколько дней крестьяне всей деревней отправляются в город, под навалку—кто на четверке, кто на тройке, кто на паре. Наваливаются. На каждую лошадь кладут взвешанное количество пеньки, различное, смотря по силе лошади; все это делается в присутствии рядчика, который получает от купца накладную и задаток. Рядчик должен запомнить, сколько пеньки навалено каждому хозяину и, следовательно, сколько денег тому придется получить при окончательном расчете. Навалившись, разумеется, зашли в кабачок, выпили, взяли по селедочке, по калачику—за все платит рядчик из задатка, потому что ни у кого из крестьян денег с собой нет. Отправились в путь. Всю дорогу расход ведет рядчик, который на постоялых дворах, в кабаках, платит один за всех за взятое сено, харчи, водку и все эти расходы помнит. Доставили товар. Опять взвесили, недовес, положим, оказался против накладной, купец-приемщик вычел из следующей за провоз платы ценность недостающего товара и отдал причитающиеся деньги рядчику. Зашли в кабак, выпили по стаканчику, кому нужно, взяли у рядчика денег на покупки в городе, справили все дела и отправились домой. Дома расчет. Сосчитали, сколько на кого было положено пеньки и сколько кому причитается денег, сколько у кого было недовесу, сколько кто взял дорогой, сколько в городе и сколько кому остается получить.

Мужик отлично понимает счет, отлично понимает все хозяйственные расчеты, он—вовсе не простофиля. Конечно, не все мужики умны, конечно, есть между ними и идиоты, и дураки, и простофили, неспособные вести хозяйство, но так как дураки, при крестьянской обстановке, неминуемо должны гибнуть от бедности, вследствие своей неспособности хозяй-

ничать, то понятно, что встретить в деревне между крестьянами дурака случается редко, и каждый, сталкиваясь с серым народом, выносит впечатление о его несомненной сметливости, сообразительности.

Чрезвычайно интересные типы сметливых, умных, обладающих необыкновенною памятью, людей представляют все крестьяне, занимающиеся специальными профессиями. Один из любопытнейших типов подобного рода представляют странствующие коновалы—наши доморощенные ветеринары. В нашей губернии почти нет местных коновалов, да и те, которые есть, преимущественно из бывших крепостных, обученных в то время, когда каждый зажиточный помещик стремился иметь все свое, не пользуются хорошей репутацией. Между тем никакое хозяйство без коновала обойтись не может, потому что в известное время года, например, ранней весною, в каждом хозяйстве бывает необходимо кастрировать каких-нибудь животных: поросят, баранчиков, бычков, жеребчиков. Без коновала никто поэтому обойтись не может. Необходимость вызвала и людей, специалистов-коновалов, занимающихся кастрированием животных и отчасти их лечением, насколько это возможно для таких странствующих ветеринаров. К нам коновалы приходят издалека. Есть где-то целые селения—кажется, в Тверской губернии,—где крестьяне специально занимаются коновальством, выучиваясь этому ремеслу преемственно друг от друга. Два раза в году—весной и осенью—коновалы отправляются из своих сел на работу, работают весной и возвращаются домой к покосу; потом опять расходятся на осень и возвращаются на зиму домой. Каждый коновал идет по известной линии, из году в год всегда по одной и той же, заходя в лежащие на его дороге деревни и господские дома, следовательно, каждый коновал имеет свою постоянную практику, и, обратно, каждая деревня, каждый хозяин имеет своего коновала, который побывает у него четыре раза в год: два раза весною—идя туда и обратно—и два раза осенью. Коновал заходит в каждый дом и кастрирует все, что требуется, понятно, что он знает все *свои* деревни и в деревнях всех хозяев *поименно*. Обыкновенно, идя весною вперед, коновал только работает, но платы за работы—по крайней мере, у крестьян—не получает, потому что, если операция была неудачна, платы не полагается. Проработав весну и возвращаясь домой, коновал на обратном пути опять заходит ко всем, у кого он работал, и собирает следующий ему за труды гонорар. Часто случается, что коновал и на обратном пути весною не получает денег от бедных крестьян, у которых весною редко бывают деньги, тогда он ждет до осени, когда у мужика будет «новь», когда он разбогатеет, и получает весенние долги во вторую свою экскурсию, причем берет не только деньгами, но

и хлебом, салом, яйцами, для чего обыкновенно имеет с собою лошадь. Пройдя сотню верст, обойдя тысячи крестьянских дворов, кастрировав несметное число баранчиков, поросят, бычков, коновал помнит, где, сколько и чего он сделал и сколько остается ему должен каждый хозяин, у которого он работал. Коновалы представляют интереснейший пример того, как потребность вызывает необходимых деятелей. Кастрирование домашних животных такая потребность, без которой не может существовать ни одно хозяйство, и вот эта потребность создала целый класс деятелей, достигших в этом деле замечательного искусства, и устроила его необыкновенно практично, просто, удобно.

В производстве самой операции кастрирования коновалы достигли большой ловкости, что совершенно понятно ввиду той огромной практики, которую они имеют. Заходящий ко мне коновал Иван Андреевич—коновалы пользуются большим почетом у крестьян и их обыкновенно зовут по отчеству—в течение пяти лет кастрировал у меня множество различных животных, и не было ни одного несчастного случая, все животные после операции выхаживались легко и скоро. Точно так же ни от одного из соседних крестьян я не слыхал, что бы когда-нибудь коновал сделал операцию неудачно, чтобы животное околело вследствие операции. Это и понятно, так как коновал дорожит своей репутацией, то, осмотрев животных до операции и заметив, что которое-нибудь нездорово, он предупреждает об этом хозяина, указывает в чем болезнь, для того, чтобы потом не подумали, что животное заболело от операции. Впрочем, хозяину нечего опасаться, потому что если он пожелает, то может у того же коновала *застраховать* свое животное. За свою работу коновалы берут недорого: за кастрирование баранчика—5 копеек, за боровка—5 копеек, за бычка—10 копеек и сверх того, если работы много, коновал получает полштофа водки и кусок сала, в котором он, по окончании работы, жарит себе на закуску поступающие в его пользу органы, вынутые при операции. Впрочем, коновал выпивает водку и съедает приготовленное им жаркое не один, а вместе с рабочими, которые помогали ему при работе, ловили и держали оперируемых быков. Какой ветеринар согласится кастрировать животных за такие цены!

Конечно, коновал получает такую незначительную плату лишь за обыкновенную *работу*. Если же нужно кастрировать старых быков, боровов, жеребцов, то плата коновалу возвышается: он получает рубль, пять, десять, двадать пять рублей, смотря по трудности операции, по ценности животного и т. д. Тут уже нет определенных цен, но цена устанавливается по взаимному соглашению, потому что в этих случаях, как выражается

наш Иван Андреевич, коновал берет деньги *не за работу, а за изделие.* Кастрировать баранчиков, поросят может каждый коновал-мальчишка, обучающийся при своем отце или брате, кастрировать бычков уже труднее, жеребчиков еще труднее, а труднее всего кастрировать старых животных. Тут уже коновал действует гораздо осмотрительнее, внимательно изучает животное, созывает на консилиум других коновалов, идущих по параллельным линиям и о месте пребывания которых он всегда знает, потому что, вероятно, есть пункты, в которых идущие по разным линиям коновалы сходятся. Часто случается, что и после консилиума коновалы объясняют, что кастрировать животное нельзя, потому что они, дорожа своею репутацией, вообще очень осмотрительны в своем деле и дорожат своею практикою, своими линиями, к которым привыкли. Коновалы занимаются также и лечением животных, но значение их в этом отношении ничтожно, потому что они проходят только в известное время года. Но самое дорогое то, что, поручая ваше животное коновалу, вы можете его *страховать* у того же самого коновала. Если вы не хотите рисковать, если вы очень дорожите животным, если вы не верите коновалу, то вы оцениваете ваше животное, и когда коновал вносит вам назначенную сумму в заклад и затем делает операцию, если животное пропадает, то внесенная коновалом сумма остается в вашу пользу. Понятно, что при страховании плата за операцию гораздо выше и тем выше, чем более заклада вы потребуете от коновала. Если коновал раз признал возможным сделать операцию, то он всегда возьмется страховать животное, если вы того пожелаете, потому что если даже у него самого нет денег, то он найдет других коновалов и соберет требуемую сумму.

Мне как-то случилось читать в газетах, что наши незнающие грамоте коновалы—большое зло, потому что берутся лечить животных, не обладая научными ветеринарными сведениями, что поэтому следовало бы требовать от коновалов ветеринарного образования и дозволять практиковать только тем из них, которые выдержали установленный экзамен и получили ветеринарное свидетельство. Если будет установлено что-нибудь в этом роде, то, разумеется, только стеснит дело и возвысит цены—ну, какой же ветеринар согласится обходить деревни и кастрировать баранчиков по 5 копеек от штуки?—а добра никакого не выйдет. Да и чего же лучше желать, не все ли мне равно, держал коновал экзамен, имеет ли он от начальства ветеринарное свидетельство, когда он, приступая к операции, кладет, если я того пожелаю, в заклад определенную сумму денег, которая меня вполне обеспечивает. Разве заклад не лучше всякого ветеринарного свидетельства! Животные—не люди и всегда имеют определенную цену. Конечно, не мешало бы, если бы

коновалы были более образованы, более сведущи, но для этого следовало бы воспользоваться имеющимся материалом и, не нарушая установившихся отношений, учредить в селениях, населенных коновалами, которые обыкновенно люди зажиточные, элементарные школы, в которых бы преподавание было приноровлено к будущей специальности учеников, но страшно, все-таки, что если возьмутся за это петербургские деятели, то сейчас пойдут разные регламентации, убивающие всякое живое дело.

...Взвесив лен, я захожу в дом закусить и потом отправляюсь на скотный двор. Я хотел описать мой зимний день, день только начинается, а я уже написал целую тетрадь. Это уже вовсе не похоже на наш короткий зимний день. Не лучше ли на этом кончить?

VI[1]

Несколько лет тому назад, я писал вам в моем первом письме из деревни: «Вы хотите, чтобы я писал о нашем деревенском жите-бытье. Исполняю, но предупреждаю, что решительно ни о чем другом ни думать, ни говорить, ни писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе... Нам ни до чего другого дела нет».

Семь лет тому назад оно так и было, сидели мы, зарывшись в навозе, исполняли, что требуется, и ни до чего другого нам дела не было. Но вот и в наше захолустье стали врываться струи иного воздуха и полегоньку нас пошевеливать...

Коробочник Михайла, который прежде носил платки с изображениями петухов, голубков и разных неведомых зверей и цветов, вдруг предлагает платки с изображениями «предводителей и героев сербского восстания в Боснии и Герцоговине, бьющихся за веру христа и освобождение отечества от варваров». Ну, как не купить! За 20 копеек вы получаете платок, на котором отпечатана приведенная надпись и 12 портретов с подписями же—тут и «генерал М. Г. Черняев», и «Лазарь Сочица», и «князь Милан сербский»...

На приезжей из Петербурга барыне—трехцветный сине-красно-белый галстук... Помощник начальника железнодорожной станции поступил в добровольцы и уехал в Сербию биться за веру христа... Так называемый «Венгерец», торгующий в разнос мелким товаром, предлагает трехцветные—сине-красно-белые—славянско-русские карандаши...

---

[1] Напечатано в «Отечественных записках» 1878 г., март, № 3. (Примеч. Н. Энгельгардта—*Ред.*).

Как-то случилось заехать в соседний кабачок, вхожу и слышу: «Черняев—это герой! Понимаете вы? Так ведь, в—дие, я говорю?»,—обращается ко мне Фомин, бессрочно отпускной уланский вахмистр, окруженный толпою крестьян, которым он объяснял сербские дела.

Сегодня в ночь забрали бессрочно-отпускных, в том числе и моего гуменщика Федосеича. Только что гуменщик спустил последнее «теплушко», прискакали с приказом из волости. Староста разбудил и меня, дело экстренное, приказ с «перышком». Бородка гусиного перышка прилеплена к сургучной печати, значит, гони, чтоб живо!.. Нужно ночью сделать расчет, уплатить Федосеичу заработанное жалованье, поднести на дорогу водочки, поставить нового гуменщика. Прощаются, плачут, подводчик торопит, чтобы поспеть к свету в город: «беспременно приказано к свету быть». Федосеич тоже торопится, нужно еще заехать в деревню, рубаху переменить, сапоги и мундир захватить, с женой и детьми попрощаться.

— Ну прощай, Федосеич.

— Счастливо оставаться, ваше в—дие.

— Выпей еще стаканчик, да и ты, подводчик, выпей.

— Благодарим покорно, ваше в—дие.

— Прощайте, Иван Павлыч, прощайте, Андрияныч, прощайте, Прохоровна, счастливо оставаться, ваше в—дие. Насчет мальчишки, ваше в—дие, что просил, возьмите в пастушки на лето.

— Хорошо, хорошо. Прощай, Федосеич.

— Счастливо оставаться, ваше в—дие.

Опять будят ночью. Приказ из волости—лошадей требуют завтра в волость, всех лошадей, чтоб беспременно к свету быть...

Федосеич вернулся из города, веселый, сияющий.

— Ну, что?

— Не взяли, ваше в—дие.

— Что ж? Опять овин топить будешь?

— Опять буду топить, ваше в—дие,—радуется Федосеич.

— Ну, ступай, кури. Акеню опять на скотный двор поставить, а Фоку отпустить.

— Слушаю, ваше в—дие. Благодарим покорно, что принимаете.

— Отчего хорошего человека не принять?

— В других местах не принимают. Возись, говорят, с вашими бессрочными по ночам. Сегодня стоишь, а завтра тебя спросят. Беспокойство одно. Так и не принимают.

— А многих отпустили?

— Многих. Самую малость взяли.

— А спрашивали всех?

— Всех, всех в городе собрали.

Холсты выбирают на раненых... Бабы было заартачились, не хотели давать, но мужики заставили...

Сельский староста пришел. Выхожу. Вынимает что-то из-за пазухи, развертывает тряпицу—книжка с красным крестом.

— Нет, брат, своя есть!

Я иду в кабинет и торжественно выношу такую же книжку с красным крестом.

—Много ли собрал?

— Самую малость! Какие теперь весною у мужика деньги, хлеба у иного нет.

— И у меня собрано мало, господа тоже мало дают.

— Собирателей много.

Опять лошадей требуют.

Покос. День жаркий. Валят клевер. Косцы присели отдохнуть и трубочки покурить. На дороге показалась пыль, скачет кто-то... Иван-староста на жеребчике.

— За мной, должно быть, говорит Митрофан.

Митрофан—бессрочно-отпускной унтер-офицер из местной уездной команды.

— За тобой! Мещанки разве в городе взбунтовались?— смеется кто-то из косцов.—Зачем тебя возьмут! Ты и службы-то никакой не знаешь, арестантов только водил.

— Митрофана требуют,—объявляет Иван, соскакивая с лошади.

Идем домой, нужно сделать расчет. У Митрофана—жена, двое детей—один грудной,слепая старуха, мать жены. У него есть в деревне своя избушка, своя холупинка, как говорит «старуха», корова, маленький огородец. Митрофан кормит семейство своим заработком, нанимаясь зимою резать дрова, а летом в батраки. По расчету Митрофану приходится получить всего 1 руб. 40 коп., потому что он все жалованье забирал мукой и крупой для прокормления семейства. Если Митрофана возьмут, то семейство его останется без всяких средств к существованию и должно будет кормиться в миру, если не выйдет пособия.

Колокольчик. Телега парой несется во весь дух. Остановились у застольной. Из телеги выскакивает Фролченок, бессрочно-отпускной молодой унтер-офицер, стрелок, со множеством разных нашивок на погонах.

— Попрощаться с вами заехал, А. Н.

Фролченок в покос иногда поденно работал у нас.

— Нужно ж водочки выпить на дорогу.

— Благодарим покорно.

Пьем водку, подносим старухе, матери Фролченка, которая едет его провожать в город, подводчику. Все они уже и без того выпивши.

— Счастливо оставаться, ваше в—дие.

Фролченок вскакивает в телегу... Пошел! Телега вскачь летит под гору.

Через два дня Митрофан и Фролченок возвращаются из города. Ошибка. Требовали зачем-то отставных: значит, «нашего царя неустойка», стало быть, бессрочных и подавно следует выгнать.

Митрофан молча опять взялся за косу, рад был, что дешево отделался. Фролченок хорохорился.—Я, говорит, со старшины искать буду, я все платье распродал за бесценок.

— А зонтик продал?—подсмеиваюсь я.

Фролченок ходил в вольном платье и всегда носил с собой зонтик. Он служил в Москве у кого-то в камердинерах, при хорошем месте был, приехал в деревню в гости, а тут его и оставили дожидаться, пока потребуют на войну. Работал он у нас поденно. Клевер приходил косить, сено убирать. Мужицкую работу он, разумеется, знает, работник здоровый. Детей у него нет, жена с ним не живет. Ну, скосил десятину клевера, получил два рубля—гуляй с бабами. Прогуляет деньги, пальто и зонтик в сундук, косу в руки—и пошел махать. А тут потребовали, продал пальто и зонтик—и вдруг вернули. Обидно.

Потребовали опять всех бессрочных, продержали в городе несколько дней, Федосеича и Фролченка вернули, а Митрофана угнали.

Ополченцев взяли.

Турок пленных в город привезли. Савельич не утерпел, отпросился в город сапоги покупать, но «умысел другой тут был»: Савельич ходил турок смотреть, *калачик им подал.*

— Сулеймана разбили,—докладывает староста Иван.

— Что ты!

— Я нарочно затем и вернулся, чтобы вам сообщить. На перекрестках Осипа Ильича встретил, из города едет, веселый такой. Что?—спрашиваю. «Турок, говорит, побили. В городе флаги навешаны, богомоленье, во всех лавках газеты читают. Султана разбили, говорит». А я ему говорю, должно быть, Сулеймана... «Так, говорит, так—он у них вроде царя».

— Михей! валяй скорей на станцию за газетами.

Это было известие о поражении Мухтара-паши.

Митрофаниха пришла.

— Что тебе, Митрофаниха?

— Письмо от мужа пришла прочитать...

— Хорошо. Давай, прочитаю.

—«Милой и любезной и дрожайшей моей родительницы, матушки Арины Филипьевны, от сына вашего Митрофана в первых строках моего письма посылаю я тебе свое заочное почтение и низкий поклон от лица и до сырой земли и заочно

я прошу у вас вашего родительского мир-благословения и прошу у вас, матушка моя, проси господа бога обо мне, чтобы меня господь спас. Ваша материнская молитва помогает весьма. Еще милому и любезному моему братцу» и т. д. следуют поклоны всем родственникам и потом: «еще, мои родители, уведомляю я вас, что я прибыл на место четыреста верст за Кавказ, стою теперь в лагерях под Карцеем в Турции и вижу свою смерть в двадцать верстах, а только судьбы своей не знаю; слышу я турецкие бомбы и вижу дым и ожидаю час на час в бой поступить...». Затем опять поклоны жене, детям, теще и наконец: «пропиши ты мне, как ты живешь и насчет выборки льна не было-ль тебе какого-нибудь препятствия, уплатил ли тебе барин мои остальные деньги или вычел за харчи; еще уведомь меня, как твое дело насчет детского пособия».

Митрофан еще зимой взял вперед деньги под жнитво ржи у меня и под выборку льна у соседней помещицы. Жена его, оставшаяся с слепой старухой-матерью и двумя детьми без всяких средств к существованию, потому что ее кормил своим заработком муж, должна была еще выполнить работы, на которые обязалась. И выполнила.

— Плевну взяли!

Приказано насушить по ведру капусты с души.

Приходил сотский. Требуют сведения о количестве владельческой земли, числе построек, примерном числе жителей и пр.

— Сегодня я в деревне на сходку попал,—докладывает Иван.

— Об чем же сходка?

— Да вот, насчет того, что сотский приходил. Он об чем бумагу-то приносил?

— Спрашивают—сколько земли, построек...

— Так. А мужики толкуют, сотский бумагу насчет нового «Положения» приносил. Говорят, что весной землемеры прйедут землю делить.

— Ну!

— Я им смеялся, клевер-то, говорю, хоть нам оставьте. Да и загвоздку запустил.

— Как?

— Чему радуетесь?—говорю.—И за эту-то землю еле успеваете уплачивать, а как еще нарежут, чем платить будете?

— Что ж они?

— Сердятся. Ты, говорят, всегда так разведешь. Панам, говорят, казна теми деньгами заплатит, что с турок возьмет Ты знаешь ли, говорят, какую бумагу сотский приносил?

— «Не знаю».—То-то. Бумага-то насчет земли.

— Да они почем же знают, какую бумагу?

— Сотский на мельницу заходил, рассказывал, должно быть.

В тот же день вечером загадал притти ко мне зачем-то Егоренок, первый богач у нас в деревне: тысяч пять, говорят, у него в кубышке есть. Понятно, что насчет земли и бумаги, что сотский приносил, расспросить хотел. Разговорились.

— Что ж, говорю, земли поделим, а вот когда твою кубышку делить станем?

Смеется.

— Моя кубышка при мне. Это Иван Павлыч пустое на смех поднял. Мало ли что болтают. Разговор всякий идет. Совсем не то.

— Так как же ты понимаешь?

— А вот, говорят, все земли будут обложены—это верно. А кто не в состоянии платить, что будет положено, так другой может за себя взять, если ему есть чем заплатить.

— Понимаю.

— Верно так. Теперь таких хозяйств, как ваше, много ли?—Одно, два в уезде, а у других все земли пустуют. Чем же он подати платить будет? А мужичок заплатит, у мужичков еще много денег есть, вот в Холмянке какие богачи есть, в Хромцове тоже, в Семенишках, да мало ли—почитай, в каждой деревне один, два найдется.

— Ну, и ты тоже, при случае, земельку возьмешь?

— И я тоже. Вот так-то из кубышек деньги и повытащим, понемножку, понемножку, все и повытащим,—смеется он.

Молодого, рябого кобеля прозвали Мухтаром. Все зовут его теперь Мухтаркой, Мухтаром, только один Кирей, пастух, по-старому зовет Соколом.

Коробочник Михайла принес военные картины, и «Чудесный обед генерала Скобелева под неприятельским огнем», и «Штурм Карса», и «Взятие Плевны». Все картины Михайла знает в подробности и, как прежде объяснял достоинства своих ситцев и платков, так теперь он рассказывает свои картины.

— Вот это,—объясняет он в застольной собравшимся около него бабам и батракам,—вот это Скобелев—генерал, Плевну взял. Вот сам Скобелев стоит и пальцем показывает солдатам, чтобы скорее бежали ворота в Плевну захватывать. Вон, видишь, ворота, вон солдаты наши бегут. Вот Османа-пашу под руки ведут—ишь скрючился! Вот наши Карс взяли, видишь, наш солдат турецкое знамя схватил?—указывает Михайла на солдата, водружающего на стене крепости знамя с двухглавым орлом.

— Это русское знамя, а не турецкое,—замечаю я.

— Нет, турецкое. Видите, на нем орел написан, а на русском крест был бы.

— Вот Скобелев обедает...

Сидор привез из города календарь. Иван, Авдотья, Михей, все пришли Гуркин портрет смотреть. У нас давно уже были все карточки и Черняева, и Скобелева и других, но Гуркиной не было. А Гуркинова портрета все ждали с нетерпением, потому что в народе ходит слух, что в действительности никакого Гурки нет, что Гурко—это переодетый Черняев, которому приказано называться Гуркой, потому что Черняева не любят, что как приехал Черняев, так и пошли турок бить. Слух, что Гурко переодетый Черняев, распространили *раненые солдаты*, отпущенные домой на поправку. Понятно, что раненому солдату верят, как никому.

Опять Митрофаниха пришла. Еще письмо от Митрофана.

После обычных поклонов, просьбы, о «мир-благословения» и т. д., он пишет: «мы пострадали на войне, приняли голоду и холоду при городе Карсе. Мы на него наступали в ночь с 5-го на 6-е ноября. Так как пошли наступать, нас турок стретил сильным огнем, мы на евто не взирали, шли прямо на огонь ихний, подошли к крепости, лишились своего ротного командира и полковника и убили командира бригадного, ну наши солдаты не унывали и всех турок из крепости выбили штыками. Такая была драка, нашего брата много легло, ну турок наколотили все равно, как в лесу валежнику наваляли; ночь была холодная, раненые очень пострадали больше от холоду» И далее: «еще, милая моя супруга, уведоми меня, как ты находишься с детьми и все ли живы и благополучны; еще припиши мне насчет коровы, продала или нет; если корова цела, то прошу не продавать, не обойдешься ли так как-нибудь, может господь даст, не возвращусь ли на весну домой. А если трудно будет прожить, то продай сани, себя голодом не мори».

— Ну, что ж, Митрофаниха, нужно ответ-то писать?

— Напишите, А. Н., вы лучше знаете, как писать.

— Вот ты все боялась, что Митрофан убит, а он, слава богу, жив. На радости можно водочки выпить.

Митрофаниха улыбается.

— Михей, поднеси-ка Митрофанихе красненькой. Ну, как же ты живешь?

— Перебиваемся кое-как. Вот насчет дров трудно: с осени валежник в лесу подбирали... Ишь: «турок как валежнику в лесу наваляли!»—засмеялась Митрофаниха, вспомнив про письмо:—а теперь снегом занесло.

— А насчет пособия—подала старшине просьбу?

— Подала.

— Что ж он сказал?

— Рассердился. Наругал—сами знаете, какой он ругатель—тебя, говорит, в холодную посадить следует. Что выду-

мали!.. Прошение! Вы этак надумаетесь еще в город итти с прошениями. Вот я вас!

— А прошение взял?

— Взял. Писарь прочел. Эх, говорит, хорошо написано, и бумага какая белая! Ступай домой, дожидайся, когда выйдет от начальства положение, тогда позовем. Матку тоже слепую приписали. Зачем? Это твоя матка, а не солдатова. Солдатова матка с другим сыном живет.

— Да ведь и солдатова матка тоже в «кусочки» ходит.

— Разговаривай еще.

Положение многих солдаток, оставшихся после бессрочных, вытребованных на войну, поистине, бедственное. Прошло уже более года, а деревенским солдаткам—городским солдаткам выдают пособия—до сих пор еще нет никакого пособия, ни от волости, ни от земства, ни от приходских попечительств, существующих, большею частью, только на бумаге. Частная благотворительность выражается только «кусочками». Что было, распродали и съели, остается питаться в миру, ходить в «кусочки». Бездетная солдатка еще может наняться где-нибудь в работницы, хотя нынче зимой и в работницы место найти трудно, или *присоседиться* к кому-нибудь—вот и взыскивай потом солдат, что ребенка нажила,—или, наконец, итти в мир, питаться «кусочками», хотя нынче и в миру плохо подают. Но что делать солдатке с малолетними детьми, не имеющей ничего, кроме «изобки»? В работницы зимой даже из-за куска никто не возьмет. Итти в «кусочки»,—на кого бросить детей. Остается одно. Оставив детей в «изобке», которую и топить-то нечем, потому что *валежник в лесу занесло снегом*,— побираться по своей деревне. Ну, а много ли подадут в деревне! Хорошо еще, если деревня большая.

Вот они—многострадальные матери!

К тому же нынче у нас полнейший неурожай. Я продаю сухую овинную рожь по 9 рублей за четверть. Степная, затхлая, проросшая рожь 7 рублей, 7 с полтиной. Мука 1 рубль, 1 рубль 10 копеек за пуд. Мало того, ржи в продаже нет, здешнюю рожь всю распродали, приели, степной не подвозят. Крестьяне начали покупать хлеб еще с октября. Уже в конце ноября я прекратил огульную продажу ржи и продаю хлеб только знакомым крестьянам из соседних деревень: стараюсь задержать хлеб до весны, потому что иначе некому будет работать. При таких обстоятельствах много ли подадут «побирающимся», а их является ежедневно более 20 человек. В соседней деревне из 14 дворов подают только в трех, да и какие кусочки подают—три раза укусить, как по закону полагается. Много ли же соберет солдатка, у которой двое детей, если ей нельзя итти далее своей деревни?

Вчера ко мне пришли пять солдаток за советом—что им делать?

— В волость ходили. Наругали, накричали. Нет, говорят, вам пособия, потому что за вашим обществом недоимок много. А я ему: что же мне-то делать? Не убить же детей? Вот принесу детей, да и кину тут, в волости.—А мы их в рощу вон в снег выбросим, ты же отвечать будешь,—говорит писарь.

— Да вы бы просили у волости свидетельств, что вы действительно солдатки с детьми. Куда бы ни пришла, теперь солдатке везде бы подали. Муж где?

— В Турции, пишет, за горами. И то просили свидетельств. Не дают. Не приказано, говорят, выдавать. А то выдай вам свидетельство, вы и почнете в город таскаться, начальство беспокоить. Сам становой сказал *не приказано выдавать*. У меня и мирской приговор есть, что я солдатка с тремя детьми, да печатей не приложено. Не прикладывают в волости. Коли б печати—в город бы пошла.

— Чем же питаетесь?

— Что было, распродали, у меня две коровы было—за ничто пошли, теперь в миру побираемся. Мало подают—сам знаешь, какой нынче год.

— Вы бы в город, в земскую управу сходили.

— Ходила я. Вышел начальник, книгу вынес: ты, говорит, здесь с детьми записана, только у нас денег нет, не из своего же жалованья нам давать и мировым судьям жалованья платить нечем. Нет, говорит, в управе денег. Что нам делать? Посоветуй ты нам.

Я посоветовал отправиться к губернатору. И что же можно еще посоветовать? Кто же может помочь, кроме начальства? В миру только «кусочки» подают, но куда же она денет детей, чтобы итти за кусочками?

Начальство и холсты выбирает, начальство и капусту сушит, начальство и солдаткам поможет. Что же мы можем сделать без начальства?

Михей привез со станции известие, что Сулеймана—в этот раз заправду Сулеймана—разбили. В газетах еще ничего нет, а слух уже есть.

Дочь моя приехала из Петербурга и привезла карточку Гурко, большого формата. Все пришли смотреть. «Ишь какой большой,—замечает Иван,—который, разумеется, не верит, что Гурко переодетый Черняев,—его нужно рядом с Скобелевым на стену повесить, пусть двое повыше будут». У нас в столовой на стене прибиты карточки всех героев и вождей нынешней войны и рядом царские манифесты.

Сегодня метель, вьюга, так и несет. Мать Митрофана, родная мать, та, которую он просит в письме, чтобы она молила

господа бога об нем, потому что материнская молитва помогает весьма, побираясь по миру, забрела и к нам, мы, по обычаю, тоже подаем кусочки.

Мирская помощь кусочками—право, отличная помощь. По крайней мере, тут не спрашивают: кто? что? зачем? почему? как спрашивают в благотворительных комитетах. Подают «всем», молча, ничего не спрашивая, не залезая в душу. Надета холщевая сума,—значит, по миру побираются, хозяйка режет кусочек и подает. Если бы не было мирской помощи кусочками, то *многие солдатки давно бы с голоду померли*. Когда еще выйдет пособие, а есть нужно.

Митрофанова матка, узнав от Ивана старосты, что получено от Митрофана письмо, что он жив, заплакала, обрадовалась: «не знала,—говорит,—за здравие или за упокой поминать», и заявила, что хотела бы послать сыну рубль, только при ней нет, в деревню же за десять верст теперь, в метель, итти далеко. Иван ее успокоил и обещал послать свой рубль.

Вечером Иван принес мне рубль и просил послать Митрофану от матери. Через неделю Митрофанова матка опять пришла в «кусочки» и принесла Ивану долг—рубль. Чтобы добыть этот рубль, она продала холстину.

Вспомните Некрасова:

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы—
То слезы бедных матерей:
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве.

Шипкинскую армию Скобелев взял! Гурко-Черняев взял Филиппополь!

Сегодня Михей привез газеты! Мир! Мы тотчас же подняли флаг.

Все спрашивают, что значит флаг?—Мир!—Ну, слава тебе господи!—крестится каждый.—А Костиполь взяли наши?—Нет.—Недоумение на лице.—А много наши турецкой земли забрали?—Много.—Третью часть забрали?..—Больше. — Ну, слава тебе, господи!

За здравие Скобелева подавали. Поп не принимает, имя, говорит, скажи.

— Михаил, Михаил Дмитриевич.

Разнесся слух, что безземельных будут на турецкую землю переселять. У меня два мальчика служат: Михей и Матвей. Оба безземельные, незаконнорожденные. Матвей—по черной работе, ходит зимой на скотном дворе, летом на полевой работе, Михей в доме прислуживает. Когда разнесся слух, что безземельных будут на турецкую землю переселять, говорю Михею: вот, Михей, посадят тебя на землю, а ты ни косить, ни пахать

не умеешь. Матвей-то умеет, а ты нет.—Ничего, говорит, и там, в Турции, господа будут, и там прислуга нужна будет.

Вот он, практический русский ум!

И Михей не боится, что его, безземельного, в турецкую землю переселят, потому что и там «господа будут», а Матвей боится, не хочет, потому что в турецкой земле «на волах пашут»...

Мир!

Давно уже собирался писать вам. Последующее, большею частию, написано еще осенью прошлого, 1875 года, но я все не решался послать. Не такое время было. А теперь примите, и если что переписал или не дописал, не кляните.

...*Декабрь 1876 года*... Конечно, мы и теперь занимаемся все тем же, чем и прежде: молотим хлеб, мнем лен, кормим скот, а все-таки не то. «Оно тое,—говорит, почесываясь, наш смоленский мужик,—оно тое, да не!» Прежде, бывало холмогорская телка *сама по себе* представляла интерес, я радовался, что она здорова, хорошо ест, хорошо растет, любовался, как она пережевывает жвачку и маячит хвостом. А теперь, что мне телка! Все так же я ее ласкаю, кормлю хлебом, но в тот момент, когда я чешу за ухом протянутую ко мне красивую белую голову, мысли мои далеко.

Бывало, приняв поутру смятый на ночь лен, я иду в дом, закусываю, потом иду смотреть, как бабы новый овин льну насаживают, потом иду на скотный двор, потом обедаю, отдыхаю. А теперь совсем не то пошло.

Придешь домой после приемки льна, чтобы закусить, да на скотный двор... Нет. Не терпит душа.

— А что, Колька, не поехать ли нам покататься?—спрашиваю я у своего маленького сына.

Колька начинает визжать и прыгать от радости.

— Поедем. Сегодня погода хорошая, да и жеребчика нужно проездить.

Через несколько минут подают жеребчика, мы едем кататься и всякий раз непременно заезжаем в соседний кабачок. И я, и Колька очень любили этот кабачок: Колька—потому что в кабачке продавались баранки и конфеты, я—потому что в кабачке всегда можно было услыхать самые свежие политические новости, именно, самые *свежие политические* новости, хотя в кабачке никаких газет не получалось. К сожалению, кабачок этот в нынешнем году закрылся и причиной этого опять-таки была война, которая так взбудоражила нашу тихую до того времени однообразную жизнь с ее исключительно хозяйственными интересами.

Кабачок помещался на земле соседнего владельца—дворянина, у которого на 90 десятинах принадлежащей ему земли,

ничего, кроме этого кабачка, не было. Сам владелец служил на железной дороге старшим ремонтным рабочим, земля пустовала, а кабачок держал бессрочно-отпускной уланский вахмистр, который с женой жил и торговал тут. Вахмистра, точно так же, как и моего гуменщика Федосеича, несколько раз призывали на службу, хватали по ночам, возили в город, но всегда отпускали по ненадобности. Хотя вахмистр в конце концов остался дома, но, додержав патент до конца года, должен был прикрыть свою торговлю, потому что брать патент при таких обстоятельствах было невозможно, да и кредита, необходимого для торговли, не могло быть. Прикрыв кабачок, он поселился в деревне у родственников и жил, как Фролченок, со дня на день поджидая, что не сегодня-завтра его возьмут и отправят куда-нибудь под Карс или Плевну.

Кабачок[1] помещался в старой, покачнувшейся на бок, маленькой, полусгнившей избушке, каких не найти и у самого бедного крестьянина. Все помещение кабачка восемь аршин в длину и столько же в ширину. Большая часть этого пространства занята печью, конуркой хозяев, стойкой, полками, на которых расставлена посуда, бутыли очищенной, бальзама—напитка приятного и полезного—и всякая дрянь. Для посетителей остается пространство в 4 аршина длиной и 3 шириной, в котором скамейки около стен и столик. В кабачке грязно, темно, накурено махоркой, холодно, тесно и всегда полно—по пословице: «не красна изба углами, а красна пирогами»—и не пирогами, а приветливостью хозяев. Пироги, как и во всяком кабаке, известно какие: вино, простое вино, зелено вино, акцизное вино неузаконенной крепости, даже не вино, а водка «сладко-горькая», как гласит ярлык, наклеенный на бочке, сельди-ратники, баранки, пряники, конфеты по 20 копеек за фунт. Но хозяин-вахмистр с хозяйкой Сашей своею приветливостью, честностью, отсутствием свойственной кабатчикам жадности к наживе привлекали всех. И вахмистр и его жена, Саша, были люди умные, не кулаки, с божьей искрой, как говорят мужики. Главное же, в кабачке всегда можно было узнать самые животрепещущие новости. Сам хозяин бессрочно-отпускной, понятно, жаждал новостей, как человек, близко заинтересованный в деле, человек, которого не сегодня-завтра могут схватить и угнать. Как бывший мужик, не разорвавший с мужиками связи и теперь обращающийся в мужицкой среде, он понимал смысл мужицкой речи, смысл мужицких слухов, как солдат он понимал и солдата, как уланский вахмистр, ясно—человек не глупый, интеллигентный, цивилизованный, он интересовался

---

[1] На месте этого кабачка впоследствие основался Буковский интеллигентный поселок. Н. Э.

газетными известиями, назначениями и пр. Говорил он превосходно, энергично, в особенности когда говорил о Черняеве, о кавалерийских маневрах, молодецких переходах и пр.

Стройная фигура этого белокурого, с блестящими глазами и энергичными жестами солдата, в розовой ситцевой рубахе, и теперь, как живая, стоит перед моими глазами. «Черняев—это герой!»—слышится мне.

Я уже говорил в моих письмах, что мы, люди, не привыкшие к крестьянской речи, манере и способу выражения мыслей, мимике, присутствуя при каком-нибудь разделе земли или каком-нибудь расчете между крестьянами, никогда ничего не поймем. Слыша отрывочные, бессвязные восклицания, бесконечные споры с повторением одного какого-нибудь слова, слыша это галдение, повидимому, бестолковой, кричащей, считающей или измеряющей толпы, подумаем, что тут и век не сочтутся, век не придут к какому-нибудь результату. Между тем подождите конца и вы увидите, что раздел произведен математически точно—и мера, и качество почвы, и уклон поля, и расстояние от усадьбы, все принято в расчет, что счет сведен верно и, главное, каждый из присутствующих, заинтересованных в деле людей, убежден в верности раздела или счета. Крик, шум, галдение не прекращаются до тех пор, пока есть *хоть один* сомневающийся.

То же самое и при обсуждении миром какого-нибудь вопроса. Нет ни речей, ни дебатов, ни подачи голосов. Кричат, шумят, ругаются—вот подерутся, кажется, галдят самым, повидимому, бестолковейшим образом. Другой молчит, молчит, а там вдруг ввернет слово—одно только слово, восклицание,—и этим словом, этим восклицанием, перевернет все вверх дном. В конце концов, смотришь, постановлено превосходнейшее решение и опят-таки, главное, решение единогласное.

Еще труднее нам понять смысл политических слухов, ходящих в народе, и выяснить себе его воззрения на совершающиеся события.

Зная, сколь невежественны крестьяне, зная, что они не обладают даже самыми элементарными географическими, историческими, политическими познаниями, зная, что крестьяне 11 мая празднуют и молятся *царю-граду*, чтобы град не отбил поля, зная, что не всякий поп объяснит, что это за «обновленне Цареграда», о котором прописано в календаре под 11 мая, зная, что и дьячок, распевающий за молебном «аллилуя» и «радуйся», тоже убежден, что молятся царю-граду и усердно кладет поклоны, чтобы и его рожь не отбило градом,—право, не можешь себе представить, чтобы у этих людей могли быть какие-нибудь представления о совершающихся политических событиях.

Казалось бы, можно ли интересоваться тем, чего не знаешь, можно ли сочувствовать войне, понимать ее значение, когда не знаешь, что такое Царьград?

А между тем, неся все тягости войны, которых не может не чувствовать мужик, слыша всюду толки о победах, о поражениях, находясь, посредством писем, в тесной связи с сражающимися под Плевной, Карсом своими детьми и братьями, может ли мужик оставаться равнодушным ко всему этому? Его неподвижность, безучастие мы принимаем за равнодушие к делу... но не кажущееся ли это равнодушие?

Подумайте! Возможно ли, чтобы эта неподвижная, серая масса не имела никаких представлений о том, что так близко касается ее непосредственных интересов? Возможно ли, чтобы все делалось так, как оно делается, если бы не было сочувствия к делу, или, лучше сказать, сознания необходимости сделать что-то?

Каждая отдельная личность как-будто совершенно равнодушна, как-будто совершенно безучастна, не имеет никакого представления о деле, повинуется толко приказанию нести деньги, сушить капусту, везти в город сына или мужа...

Однако же Сидор, например, выслушав рассказ о том, что турки схватили болгарина с женой и ребенком, изрубили ребенка, зажарили и заставили отца съесть, нисколько, повидимому, не возмущаясь таким ужасным зверством, не ахая, не охая, совершенно спокойно, замечает, зачем же он ел?

Брат Фоки, Дмитрок, солдат, находящийся где-то там, около Шипки, просит прислать денег: «трудно без денег,—пишет он,—потому что иной раз сухарей не подвезут и голодать приходится, а будь деньги, купил бы у болгарина хлебец!» Но у Фоки ничего нет. Он еле прокармливает свое семейство в нынешний голодный год, когда и в «кусочках» плохо подают. Узнав о письме, деревня *сама*, по собственной инициативе, без всякого побуждения со стороны начальства, решила имеющиеся у нее общественные деньги, три рубля, предназначавшиеся на выпивку, послать *от мира* Дмитроку. На-днях крестьянин Иван Кадет пришел просить Семеныча (молодой человек, обучавшийся в земледельческом училище, теперь изучающий у меня практическое хозяйство в качестве работника) написать Дмитроку письмо.

— Напишите ему поклон от братца Фоки Леонтьевича с супругой... и т. д. и т. д. все поклоны... Мир посылает ему поклон.

— Написать, что мир кланяется?

— Мир *посылает поклон* и три рубля денег от мира: от всех домохозяинов, значит.

Прислушайтесь к рассуждениям отдельных лиц—ничего не поймете. Высказываются самые, повидимому, бессмысленные

вещи, смешные даже: Китай за нас подымется. Царь Китаю не верит, боится, чтоб не обманул, говорит ему: ты, Китай, свой берег Черного моря стереги, а я, говорит, буду свой стеречь. *Она* от себя железную дорогу подземную в Плевну сделала и по ней турку войско и харч доставляла, а он-то, Черняев, англичанкину дорогу сейчас увидал и засыпать приказал. Ну, сейчас тогда Плевну и взяли, и. т. д.

Но масса в общей сложности имеет совершенно определенные убеждения.

Турок надоел до смерти, все из-за его бунтов выходит. Но отношение к турку какое-то незлобливое, как к ребенку: несостоятельный, значит, человек, все бунтует. Нужно его усмирить, он отдышется, опять бунтовать станет, опять будет война, опять потребуют лошадей, подводы, холсты, опять капусту выбирать станут. Нужно с ним покончить раз навсегда. В тот момент, когда одни газеты говорят о необходимости мира, другие—робко заявляют о необходимости движения в Царьград, какой-нибудь мужик-коробочник, объясняющий, что это турецкое знамя, потому что на нем орел написан, а на русском был бы крест, с полным убеждением говорит, что нужно «конец положить». Говорит: «оно там, что Бог даст, а нужно до Костиполя дойти». «И дойдем,—говорит,—только бы кто другой не вчепился. А вчепится она—ей в хвост ударит, вот только бы Китай поддержал. Царь-то вот Китаю не верит». Никакой ненависти к турку, вся злоба на *нее*, на англичанку. Турка просто игнорируют, а пленных турок жалеют, *калачики им подают*. Подают—кто? мужики. А мещане, те издеваются—не все, конечно,—и побить бы готовы, если бы не полиция. Странно, что в отношениях к пленным туркам сходятся, с одной стороны, барыни и мужики, а с другой—купцы, мещане, чиновники-*либералы*.

Раздел земли произведен правильно, счет сведен верно. Каждый в отдельности не может объяснить вам, почему именно земля разделена так, а не иначе, но раздел сделан математически верно, как не сделает никакой землемер. *Землемер делает один, а тут работают все.*

И что меня поражало, когда я слышал мужицкие рассуждения на сходках—это свобода, с которой говорят мужики. Мы говорим и оглядываемся, можно ли это сказать? а вдруг притянут и спросят. А мужик ничего не боится. Публично, всенародно, на улице, среди деревни мужик обсуждает всевозможные политические и социальные вопросы и всегда говорит при этом открыто все, что думает. Мужик, когда он ни царю, ни пану не виноват, то-есть заплатил все, что полагается, спокоен.

Ну, а мы за то ничего не платим.

Возвращаюсь к моему кабачку. Я говорил, что там всегда можно узнать самые животрепещущие новости, действительно,

несмотря на то, что я получаю две газеты, в кабачке я всегда узнаю что-нибудь новое. В кабачок, во-первых, приходят народные слухи, которые всегда опережают газетные известия и распространяются с неимоверной быстротой, во-вторых, я получал только две газеты, а в кабачок приносят известия из всех газет, получаемых на станции, и, наконец, в кабачок известия приходят ранее. Обыкновенно я посылаю за газетами два раза в неделю и только в самый разгар военных действий в Сербии посылал ежедневно, а в кабачок известия приходят ежедневно и притом рано утром. Привозящий газеты поезд приходит на станцию ночью, служащие на станции, разумеется, тотчас прочитывают газеты. От высших лиц известия переходят к низшим и, распространяясь с неимоверной быстротой по линии, доходят до сторожей, ремонтных рабочих, дровокладов, подводчиков, которыми и разносятся по деревням, конечно, не минуя кабачка. Все эти известия передаются в совершенно своеобразной форме и притом передаются не только факты, но и газетные мнения, предположения, известным образом освещенные, так что при некотором навыке легко различить, откуда почерпнуто известие: из «Голоса», «Московских ведомостей» или «Биржевых ведомостей». Еще я ничего не знал о низвержении султана, а в кабаке уже это было известно, и первое слово, когда я заехал туда, было: «Слышали, А. Н., что министры султана зарезали?»

— Нет не слыхал.

— Верно. Ну, теперь большой бунт пойдет. Теперь, должно быть, бессрочных потребуют.

Замечательно, что это известие о низвержении султана укоренилось так прочно, что, несмотря на то, что тотчас же был посажен новый султан, до сих пор, по общему мнению, султана не существует, точно уничтожено самое, так сказать, звание султана, точно непременно нужно, чтобы *султан был посажен нами*.

Началась мобилизация: лошадей брали, бессрочных брали; наш полк выступил, по железной дороге прекратилось товарное движение, началось передвижение войск. Около станции разложены костры, толпа баб, дожидающихся того или другого поезда, чтобы в последний раз взглянуть на сына, мужа, сунуть ему рублик, какую-нибудь рубаху, поднести стаканчик водки.

— И моего сегодня ночью увезли,—проговорила Саша и заплакала.

— Может, даст Бог, и воротится. Вон Федосеич вернулся.

— Слышала. Только, говорят, конницу набирают, а мой-то в уланском полку был.

— Да, может, еще и войны не будет.

— Давай-то господи. Только нет, не на то идет.

— А может и уладится.

— Хорошо бы. Толкуют вот, Китай за нас против англичанки подымается, только царь ему не верит—боится, как бы не обманул, на нас потом не повернул. А что в газетах про Китай пишут?

— Я ничего не читал.

— Толкуют, что Китай за нас подымается. Дай-то господи?

— А как же ты будешь, Саша, если Филиппа возьмут?

— Додержу патент до нового года, долги соберу.

— А потом что?

— К мужнину брату в деревню перейду. Мне одной кабак не держать. А там, даст Бог, вернется с войны муж, мельницу у вас снимем. Ему-то и служить немного осталось.

Тянет съездить в кабачок, узнать, нет ли чего новенького, а там в кабачке заговоришься и просидишь вплоть до обеда, после обеда, чем итти по хозяйству, думаешь: «Михей на станцию поехал, к вечеру газеты привезет, дай-ка вздремну часок-другой, чтобы вечером посвежее быть». Проснешься, нет еще Михея, пойдешь на скотный двор, смотришь, как задают корм скоту, а сам думаешь: «да скоро ли же это Михей со станции приедет?» Поят телят, обыкновенно я сам всегда присутствовал при пойке, а тут приехал Михей,—забываешь и пойку.

— Напой ты, Авдотья, без меня, а я пойду газеты читать.

— Хорошо, хорошо, идите.

— Только не ошибись ты, пожалуйста: тем трем маленьким по кружке, красоткиному две кружки, старшим в подклети по 4 кружки—1 молока, 3 воды,—торопливо напоминаю я Авдотье, которая иногда, когда захватается, забывает, какое пойло идет каждому теленку.

— Помню, помню, не ошибусь.

— А если который не будет пить, пожалуйста, не упрашивай—сейчас шайку прочь, сейчас прочь.

— Хорошо, хорошо.

Бегу домой, бросаюсь на газеты. Разумеется, прежде всего просматриваешь телеграммы, биржевые известия, потом уже читаешь корреспонденции, политические известия, пробежишь и провинциальные корреспонденции, которые, бывало, занимали в газетах целые страницы, а теперь помещаются—по крайней мере, в моей газете—где-нибудь на конце и занимают каких-нибудь два, много три, столбца.

Это уж не то, что прежде. Бывало, в кои-то веки пошлешь на станцию, получишь за раз десяток нумеров газеты, подберешь их по порядку, сложишь стопочкой на письменном столе и почитываешь в свободное время, а не успеешь прочитать, пока привезут новую стопочку, и так остается. Прежде, бывало, газета огромная, что твоя скатерть, а читать нечего, до полити-

ческих известий нам дела не было, и интереса никакого они для нас не представляли; казалось бы, чего ближе—внутренние известия, провинциальные корреспонденции, но и их мы читать не могли, потому что мы видим настоящую деревенскую жизнь, как она есть, а корреспонденты описывают выдуманную, фальшивую жизнь такую, какою она им представляется в городах с их чиновничьей точки зрения. Когда-то в Петербурге я, интересуясь внутренней народной жизнью, читал газетные корреспонденции, внутренние обозрения, земские отчеты, статьи разных земцев и пр. Каюсь, я тогда верил всему, я имел то фальшивое представление о внутреннем нашем положении, которое создано людьми, доподлинного положения не знающими. Когда я попал в деревню—а дело было зимою, и зима была лютая, с 25-градусными морозами,—когда я увидал эти занесенные снегом избушки, узнал действительную жизнь, с ее «кусочками», «приговорами», я был поражен. Скоро, очень скоро, я увидел, что, живя совершенно другою жизнью, не зная вовсе народной жизни, народного положения, мы составили себе какое-то, если можно так выразиться, *висячее в воздухе* представление об этой жизни.

Войдя по своим хозяйственным делам в непосредственное соприкосновение с разным деревенским людом, интересуясь деревенскою жизнью, изучая ее во всех ее проявлениях, доступных моему наблюдению,—а наблюдать можно, оставаясь и барином,—живя с простыми людьми, я скоро увидал, что все мои петербургские представления о народной жизни совершенно фальшивы.

Познакомился я с помещиками, и богатыми, и бедными, познакомился с помещиками, которые много лет живут в деревне и занимаются хозяйством, и тут, в разговорах с ними, впервые стал понимать, что, кроме настоящей жизни, существует в воображении нашем (*всех* людей интеллигентного класса, за исключением немногих, которые *чутьем* поняли суть) иная воображаемая жизнь, существует совершенно цельное, но фальшивое представление, так что человек за этим миражем совсем-таки не видит действительности.

Меня все интересовало. Мне хотелось все знать. Мне хотелось знать и отношение мужика к его жене и детям, и отношение одного двора к другому, и экономическое положение мужика, его религиозные и нравственные воззрения, словом—все. Я не уходил далеко, не разбрасывался, ограничился маленьким районом своей волости, даже менее—своего прихода. Звал меня мужик крестить, я шел крестить; звали меня на никольщину, на свадьбу, на молебны, я шел на никольщину, на свадьбу, сохраняя, однако, свое положение барина настолько, что пригласивший меня на никольщину или крестины мужик, зная, что

я не держу постов, готовил *для меня* скоромное кушанье. Я ходил всюду, гулял на свадьбе у мужика, высиживал бесконечный обед у дьячка на поминках, *прощался* на масляной с кумой-солдаткой, пил шампанское на именинном обеде у богатого помещика, распивал полштоф с волостным писарем, видел, как составляются приговоры, как выбираются гласные в земство.

Часто мне приходило в голову: не помешался ли я?.. До такой степени велик был разлад между действительностью и тем, что я себе представлял в Петербурге.

Сидишь у какого-нибудь богатого помещика, давно уже живущего в деревне, разговор коснется мужицкого дела и быта—понятно, кого что интересует, тот о том и говорит,—и вдруг слышишь такие несообразности, такие недействительные представления о народе, его жизни, что удивляешься только... точно эти люди живут не на земле, а в воздухе.

А дома берешь газету, читаешь корреспонденцию, в которой описываются *отрадные* и *прискорбные* явления, и видишь, что и тут те же воздушные, фальшивые представления. То вдруг прочтешь, что крестьяне и инородцы Иркутской губернии определили послать от каждого общества по сироте в иркутскую классическую гимназию, то по случаю выбора Н. А. Корфа гласным прочтешь: «отрадно видет, что крестьяне умеют ценить заслуги людей, работающих на пользу общую».

Бывал и на земских собраниях. Говорит кто-нибудь из гласных, доказывая что-либо, и непременно обращается за подтверждением к гласным крестьянам. Замечательно, что все к гласным крестьянам обращаются, точно инстинктивно сознавая, что только крестьяне знают действительную жизнь. Большею частью те соглашаются, но я, зная, что крестьянин не может разделять таких мнений, говорю потом с тем же крестьянином-гласным и, разумеется, слышу от него совершенно другое, действительное...

Бывал и в камерах мировых судей, и на сельскохозяйственных съездах, и на выставках... и всюду, всюду одно и то же. В действительности приведена на выставку одна единственная в губернии кобыла—кобыле дают медаль и в отчете пишут: «метису арденско-русской породы, как *доказывающему* улучшение местного коневодства». И все так: в действительности одно, а в отчетах, статьях, разговорах совершенно другое. И все *верят* этим отчетам, статьям,—те, которые читают, и те, которые пишут. Никто не лжет, как не лжет тот, кто неправильно называет цвета, потому что не различает цветов. Знаете ли вы один простой опыт? Возьмите шарик из хлеба, положите его на стол, сложите пальцы накрест, один на другой, средний палец на указательный палец, и водите сложенными пальцами по шарику, так, чтобы наружные стороны обоих пальцев касались

шарика, вы будете чувствовать под рукой два шарика. Вы видите на столе один шарик, но под пальцами чувствуете два и готовы побожиться, что шариков два.

Вот то же самое и тут. Повторяю, эти люди, которые описывают отрадные и прискорбные явления, дают медали метисам, и пр. и пр., не лгут, они сами верят всему, они *чувствуют два шарика*, но не знают, что шарик только один...

Я положительно думал, что схожу с ума, и тогда только стал несколько спокойнее, когда познакомился с такими людьми, которые знают действительность, когда узнал попа, станового и волостного писаря.

Становой, поп, писарь—вот они знают, что в действительности *шарик только один*, знают, что если начальству хочется, чтобы шариков было два, то нужно только известным образом сложить пальцы,—«все можно» и попечительства, и школы и пожертвования на раненых, и сушеная капуста, и арденские метисы, «все можно».

Да, положительно, иной раз кажется, не сошел ли с ума? Действительно ли под пальцами один шарик?

Смотришь—один, подзываешь других, показываешь,—один, говорят. Что же это такое?

Несколько лет тому назад я бросил читать газеты и весь погрузился в навоз, дрова, телят. Нынче—не то.

— А вон Михей со станции едет,—говорит скотница Солоха. Бросаешь пойку телят и бежишь читать газеты. В самом деле, даже самые близкие хозяйственные интересы задеты!

Полуимпериал—8 рублей. Позвольте! Что вы думаете? У меня льну-сырца 400 пудов, трепаный лен был полуимпериал за пуд. Теперь полуимпериал 8 рублей. Немец-то, ведь, золотом платит. Значит, за пуд трепаного льну 8 рублей дадут. А если трепаный лен дороже, то и сырец дороже. Сырец мы обыкновенно продавали по 2 рубля за пуд, если теперь по 3 рубля дадут—это ведь 400 рублей лишнего. Ну, хотя по два с полтиной—это 200 рублей. Дороже полуимпериал—больше возьмем за лен, рассуждаем мы. А нам то все равно, хоть бумажками, только бы побольше, потому что подати, акциз за вино, табак, соль, все это мы платим бумажками. Конечно, не все так выходит, как казалось бы по курсу денег должно выходить, потому что «цены бог строит».

Газеты, большие журналы предсказывали, что вследствие войны вследствие выпуска бумажек и падения кредитного рубля, цены на все подымутся, что цена говядины может дойти до 60 копеек за фунт—давай-то господи? Вашими бы устами мед пить—и чиновники очутятся в несчастном положении. И отлично бы: нечего будет есть—землю пахать станут. А ежели и не будут пахать—пусть так живут, мы и платить будем, лишь бы только

они нам не предписывали, не определяли, куда нам плевать, направо или налево.

Однако предсказания о дороговизне вовсе не сбылись. Никогда, кажется, говядина не была так дешева, как в прошлом и нынешнем году. Осенью доходила до 80 копеек за пуд и стоила дешевле ржаной муки. А главное, на скот вовсе не было покупателей, ни в нынешнем, ни в прошлом году.

То же насчет молока, сыра. Мы продаем молоко на сыроварню, которая делает из него *швейцарские* сыры. Сыры у нас делаются превосходные. Нужно быть специалистом-сыроваром, чтобы отличить наш сыр от настоящего сыра, продаваемого в Петербурге в фруктовых лавках. Очень может быть, что наш сыр продается там за швейцарский и действительно привозится из-за границы, куда идет и наш сыр. Казалось бы, что с повышением ценности полуимпериала и со введением золотых пошлин наши сыры должны бы вздорожать. Ничуть не бывало. За последние два года требование на сыры уменьшилось, ценность сыров упала, доход сыроваров уменьшился, и они понизили цены на молоко—вместо 32 коп., сыровар дает мне теперь за зимнее молоко только 27 коп. И лен тоже дешев, и покупателей на него нет.

То же насчет дров, цена на дрова упала, и требования на них нет. Точно так же упала цена на мануфактурные изделия: ситцы, кумачи, платки и пр.

Только на хлеб цена поднялась. Зимою прошлого года, несмотря на падение кредитного рубля, цены на хлеб стояли низкие, рожь была 5—6 рублей, но весною, в конце марта, хлеб вдруг поднялся в цене, и рожь достигла 8—9 рублей.

Журналы думали, что цены на все повысятся и чиновнику придется плохо. Ничуть не бывало. Чиновнику отлично. Хлеб только подорожал, а много ли хлеба он ест? Фунта не скушает. Какая его работа? Чиновник хлеба не ест, он больше говядину, молочко, дичь всякую, сыр, а все это в последние два года дешево было.

Вот для мужика—другое дело. Как отвезет, например, бессрочного в город за 30 верст, повытрясется, так захочет поесть—а хлебушка то дорог. Мы рассчитываем, что вот по окончании войны будет и на нашей улице праздник. После войны, думаем мы, хлеб будет дешев. И Брюсов календарь предсказывает на 1878 год: «Мирный договор. Хлеба для продажи навезут отовсюду множество, и будет дешев». А дрова, говядина, молоко, сыр и прочий городской, чиновничий харч будет дорог.

После войны, надеемся мы, городу, чиновнику, будет труднее жить, а деревне, мужику, напротив, легче.

После войны—чиновнику, городу будет хуже, а Петербургу хуже всех, мужику, деревне будет лучше, а глухой де-

ревне лучше всех. Так оно и должно быть: мужик питается хлебом, а хлебушка будет дешев. Продает же мужик труд, труд и труд, по малости—мясо, молоко, пеньку, лен, кожу, а больше всего труд, труд, а труд-то после войны будет дорог, потому что когда хлеб дешев, а говядина дорога, то и труд, слава богу, дорог.

Недаром же Петербург, чиновник, *боялся* войны, чего, чего ни говорили: и солдат наш плох, и денег-то у нас нет, и Европа-то вся против нас будет. Такого страху напустили, что ай!

Точно чиновник предчувствовал, что после войны ему хуже будет.

А мужик войны не боялся и страхов никаких не разводил. «Неужто ж наша сила не возьмет, когда на рукопаш пойдет?». «Как денег нет?» «Зачем деньги?» «Нехватит денег, царь еще велит наделать». «Случись у нашего царя неустойка—набор сделает, а то все пойдем, коли прикажет». Да, мужик—тот мужик, который умирал на Балканах, который возил бессрочного, кормил «кусочками» мать героя,—ничего не боялся. Неужели же ему не станет легче? Будет легче, думается мне.

В то время, когда шло всеобщее нытье, один мужик стоял, как дуб. Требовали лошадей—он вел своих косматых лошаденок в волость, простаивал там сутки, двое, пока конское *начальство* разберет, что и куда. Приказывали вести лошадок в город к высшему начальству на просмотр, и там опять простаивал сутки, двое, пока не ослобонят. И все это он делал безропотно, хотя и без всяких видимых сочувствий, криков, гимнов, флагов. Требовали бессрочных, мужик снаряжал брата, сына, зятя, вез его в город, награждал последним рублишком. Требовали деньги, холсты, капусту—мужик давал и это. А теперь кто кормит своими «кусочками» солдатских жен, детей? Все тот же мужик. Кстати, замечу здесь, что для мужика расход на «кусочки» вовсе не маленький: в мужицком дворе, ежедневно всем подающем «кусочки», в нынешний голодный год выходит рубля на три в месяц. Многие ли чиновники жертвуют на бедных по три рубля в месяц!

Все в газетах было для меня интересно, одними биржевыми известиями удовлетвориться нельзя, потому что на них ничего не построишь. Полуимпериал—8 рублей, а лен—5 рублей! Отчего? И вот бросаешься на политические и военные известия. Читаешь, соображаешь, отчего, что и как.

Привез Михей газеты, не успеешь напиться чаю, все уже прочитано. Журналы теперь не занимают, как прежде, и откладываются в сторону для прочтения в свободное время.

Газета заняла первое место. Напьешся чаю, приходит Иван записывать умолот, расход, и первое слово: что нового в газетах? Что Скобелев, Гурко? А там Федосеич в кухне до-

жидается—пришел узнать, «чья пошибка берет». Отдашь газеты, в кухне громко читают. Иван, Авдотья, Михей слушают с величайшим интресом корреспонденцию про Скобелева и всегда наперед спрашивают—есть ли что-нибудь от того, который «про Скобелева пишет». Федосеич объясняет, что такое ложемент, траншея, дивизия, стрелковая рота. Да, с этой войной большой бунт в хозяйстве пошел. Конечно, все сделалось не вдруг.

О войне стали поговаривать уже давно—года три, четыре тому назад. Носились разные слухи, в которых на первом месте фигурировала «англичанка».

Потом стали говорить, что будет набор из девок, что этих девок царь отдает в приданое за дочкой, которая идет к англичанке в дом. Девок, толковали, выдадут замуж за англичан, чтобы девки их в нашу веру повернули.

Поднесение принцу Эдинбургскому смоленской иконы божьей матери дало обильную пищу толкам и слухам, которые все можно свести к одной мысли—мы стремимся перевести англичанку в нашу веру.

Осенью 1875 года мне случилось быть на свадьбе у одного крестьянина. За обедом один из родственников невесты, старый солдат, посаженный подле меня хозяином, чтобы занимать меня, как почетного гостя, обратился ко мне с вопросом: что слышно о войне?

— Ничего не слышно.

— А вот у нас, ваше в-дие, ходит слух, что быть войне с англичанкой.

— Не знаю. Да отчего же с англичанкой?

— Не приняла...—как-то таинственно понизив голос, проговорил солдат, выразительно взглянув на меня.

Меня это заинтересовало.

— Ну?—произнес я, тоже понизив голос.

— В нашу веру не переходит...

В эту минуту хозяин прервал наш разговор, поднеся водку. Начался длинный процесс питья первого стакана водки с дутьем в рюмку, поклонами на все стороны, приговариванием «будьте здоровы», замечаниями, что водка что-то не того, сорна, молодые при этом целуются, то-есть, лучше сказать—молодая целует мужа, который сидит, как истукан, а она привстает, берет его руками за голову, поворачивает и звонко целует в губы. Молодая должна выказывать любовь к мужу, а он только принимает ее ласки: если муж нравится молодой и она целует его по охоте, то выходит очень эффектно.

— Да,—обратился я к солдату, желая возобновить прерванный разговор,—что-нибудь да будет.

— Что и говорить!

— Только по газетам ничего не слышно.

— В народе толкуют.

— Да.

— Икону подносили,—проговорил он, опять понизив голос.

— Ну.

— Не принял... рассердился... плюнул...—прошептал он мне на ухо.

— Что ты? Не может быть!

— Я и сам не верю, потому что, если б так... неужели же она, матушка царица небесная, и святые угодники не разразили бы его тут же на месте.

— Вот оно что!

— В народе толкуют, мужицкие слухи, ваше в-дие! Говорят, будет война. Вот и по волостям ужасно строго насчет бессрочных приказано. Чтобы каждый староста знал, где, кто, подводчики чтобы были наряжены и все прочее.

Хозяин опять прервал. Опять пошли поклоны, пожелания здоровья хозяину, молодым, замечания, что водка сорна. Опять княгиня целует своего молодого князя.

— А у нас теперь крынкины ружья, ваше в-дие?

— Да.

— А вот, говорят, новые, берданки пошли.

— Да это у стрелков, а ты где служил?

— В Староингерманландском.

— Ты, кажется, ведь в отставке!

— Да, в чистой, слава тебе господи! Всегда при себе имею тут—и он ударил рукой по карману.

— Как! С собой носишь?

— С собой, вот тут,—и он показал мне точеный деревянный цилиндрический пенальчик, в котором у него хранился билет об отставке.

— Зачем?

— Да чтобы не пропала как-нибудь, при себе вернее.

Слухи о войне упорно держались в народе—о войне с англичанкой. Как ни нелепы были эти слухи и рассказы, но общий смысл их был такой: вся загвоздка в англичанке. Чтобы вышло что-нибудь, нужно соединиться с англичанкой, а чтобы соединиться, нужно ее в свою веру перевести. Не удастся же перевести англичанку в свою веру—война.

Пришла весна 1876 года. Пошли слухи о том, что турок против грека бунтует.

— Не против грека,—заметил дьякон на угощении после молебствия у одного крестьянина,—а против... как бишь его зовут, еще ему деньги собирали, да—против серба. Так, кажется, А. Н.?

Султана зарезали. Платки с портретами Лазаря Сочицы и других коробочники носить стали. Черняев проявился...

Но все это не настоящее дело было. Ко всему этому относились, как к пустякам. А вот, что англичанка, Китай?

Наступила зима, началась мобилизация, и все также слухи об англичанке, о Китае. Все были убеждены, что весною откроется война с англичанкой. Общий смысл такой: враг—англичанка, союзник—Китай, бунтует против грека (понимай *славяне*)—турок, грек, какой-то беспомощный.

Началась война. Сначала разговоров было мало. Спросит разве кто, «чья пошибка берет?» или заметит: «должно быть, нашего царя неустойка, что ополченцев спросили», но потом уже отовсюду только и слышалось: «что Плевна?». Но и тут опять-таки англичанка.

— Кузьма-то наш ушел в Турцию,—сообщил мне как-то Иван-староста.

— В Турцию? Зачем?

— В земляную работу нанялся. Пятьдесят рублей в месяц. И жену, и детей оставил, ушел, нанялся к подрядчику дорогу засыпать.

— Какую дорогу засыпать?

— Толкуют мужики, что от англичанки к Плевне подземная дорога железная сделана, что она по этой дороге ему в Плевну войско и харч представляла...

— Ну!

— Теперь, говорят, эту дорогу Скобелев с Гуркой открыли. Засыпать будут. Рядчики народ для этого и нанимали.

Когда взяли Плевну, я напоминил Ивану про эту дорогу от англичанки.

— Чтож, говорю, Кузьма, должно быть, засыпал дорогу?

— Засыпали,—хохочет он,—только вот тот, что «про Скобелева пишет», ничего об дороге не говорит.

Восстание в Герцеговине, война в Сербии, Черняев, добровольцы, сборы на сербов и черногорцев—все это было пустяки, вроде водевиля, который дается в начале бенефиса, пока еще публика не съехалась. Какой водевиль будет дан на разъезд—мы еще не знаем. Те, которые забрались сначала, хохочут, хлопают, но настоящего нет. Настоящая пьеса еще не началась. Все эти прелиминарии никакого существенного значения для нас не имели и интересов наших не затрагивали. Мы чуяли что-то недоброе, но все надеялись, авось, бог поможет агличанку в нашу веру превратить.

Но вот началась мобилизация.

Прошел слух, что будут лошадей брать. Конечно, никто путем не знал, в чем будет состоять конская повинность. Не только масса населения, крестьяне, но и мы, владельцы, даже сам конский начальник, ничего не знали, что и как будет. Говорили, что будут забирать коней для войска—и только.

Все думали сначала, что будет просто набор коней, подобно тому,как бывает рекрутский набор.

Все терялись в догадках, как это будет. Говорили, что лошадей будут брать с тех, кто имеет по четверке, а если не хватит, то с тех, у кого по тройке. Потом говорили, что будет просто назначено, сколько лошадей должна выставить волость,а там уж, как хочешь, делай: своих выставляй, либо покупных, либо деньги внеси и раскладку делай, как знаешь. Одно только неизвестно было, как насчет панских лошадей.

Когда сделалось известно, что за лошадей, взятых под войска, будут платить, то крестьяне говорили, что платить будут после, по окончании войны, и притом за тех только лошадей, которые не вернутся. Это подобно тому, полагали, будет, как было после крымской войны, когда за невернувшихся домой ратников выдавали зачетные квитанции, которые крестьяне потом продавали.

Положительно никто ничего не знал, и я сам никаких никому объяснений дать не мог и никак не предполагал, что дело будет устроено так, как оно вышло, и что казна будет платить за лошадей такие огромные деньги, а мы будем *совершенно бесполезно* нести такие большие расходы. Я говорю о тех невидимых, несчитанных расходах, которые понес каждый вследствие того, что и лошадей, и людей отрывали от работы для представления на просмотр начальству. Нужно сказать, что вся мобилизация производилась чрезвычайно *не экономно* и стоила народу *очень дорого*. Начальство, разумеется, ближайшее начальство—конский начальник, как прозвали заведующего участком,—также ничего не знало и по обыкновению не сочло нужным даже ознакомиться с уставом, потому что дело начальства только *приказывать*—зачем ему устав знать. Все сделают, а в городе высшее начальство разберет все, как следует, что и к чему. Одно: «гони, чтобы круто».

Пришло известие, что приедут выбирать лошадей. Известие ночью принес какой-то сторож или десятский, толком ничего не объяснил, спешил очень, говорит только: «приедут выбирать коней, приедут, чтобы дома все были». Староста, однако, меня ночью не разбудил и доложил только, когда я встал.

— Чего же ты толком не спросил, когда приедут.

— Приедут, говорит.

— Да когда же? Как же мы теперь будем?

— Спешил он очень, в Федоровщину, говорил, бежать нужно.

— Но кто же приедет?

— Становой, говорит, офицер, начальники все.

— Да где же становой?

— У барыни Семеновской.

— Ну, это близко, скоро, значит, будет. Они в один день успеют осмотреть. На работу запрягать не нужно, не в лес же начальству итти лошадей смотреть. Санки вели приготовить, верно, проезжать будут.

— А батракам что прикажете делать?

— Пусть дрова колют.

— А за водой ехать?

— Конечно.

На дворе снег, метель. Ждать пришлось недолго. Приехали рано утром: становой, артиллерийский офицер, конский начальник. Я, разумеется, честь честью, предложил закусить. Отказались, некогда, говорят. Прикажите лучше лошадей поскорей привести.

— По одиночке приводить?

— Нет, всех за раз, поскорее только.

Я распорядился. Становой спросил, сколько у меня лошадей, сколько жеребцов, кобыл, меринов, и все записал в книжечку. Между тем привели лошадей. Мы вышли на крыльцо, метель так в глаза и лепит, становой остался на крыльце, а офицер взял мерку—мерка такая черная у них с собой была, тоже знак, что конское начальство, как у старшины медаль, у сотского бляха, у землемера астролябия, мужики эту мерку носили *с особенным почтением*—и стал прикидывать к лошадям, что-то при этом выкрикивая, а становой отмечал в книжечку. Тем весь смотр и кончился, ничего больше не смотрели, спешили ужасно, даже закусить отказались, чести не отдали, а в столовой уже все было приготовлено. Авдотья обиделась, ей хотелось, чтобы офицер нашу ветчину попробовал.

— Станут они наше есть,—заметила она, убирая непочатую тарелку,—они к городскому привыкли. Только, воля ваша, А. Н., а и городская ветчина не лучше нашей, я пробовала шестидесятикопеечную, что Георгий Данилыч из Петербурга привозили. Знаю!

И от комиссии я ничего не узнал, ничего не сказали, которая лошадь годная, которая негодная, которую возьмут, которую не возьмут.

— А в работу всех можно запрягать?

— Можно, можно.

— А если продать?

— Можно.

— Да которых же возьмете?

Не говорят. Э, думаю, боятся, должно быть, что тех, которых облюбовали, я кормить хуже буду, овса не стану давать! Спешили ужасно. Покатили в Федоровщину, а оттуда в волость, куда были согнаны все крестьянские лошади. Всех в один день осмотрели, а мало ли лошадей в волости. Спасибо, что хоть скоро,

всего один день пропал, ну, а все-таки, считайте хотя по 40 копеек на лошадь.

Все мы потом удивлялись, для чего делался этот смотр, а главное, для чего приезжал офицер, ни лет лошадям не определяли, ни ног не осматривали, ничего! Только мерку прикидывали. Ну, зачем тут офицер? Становой с десятским все это сделали бы преотличнейшим манером, даже лучше, потому что десятского и лошади не так бы боялись, да и сам он был бы смелее и вертче: известно, мужик. А то офицер в пальто с ясными пуговицами, с меховым воротником, сапоги со шпорами, в калошах, с черной меркой, а подле самого крыльца сугробы снегу в 2 аршина. Разумеется, лошадь боится, пятится, вот, думаешь, свистнет задом и убьет. Мужики тоже подсмеивались, офицер-то, говорили, должно быть, очень в лошадях-то знает: ни в зубы не посмотрит, ни запречь не велит, глянул—и готово, чирк в книжечку.

И зачем тут офицер?—недоумевали мы.

— Для того, чтобы *форменно* было, решил кто-то.

— Да, да,—подхватили все.

— Вот и «Положение» когда вышло, тоже офицеры приезжали. А теперь насчет лошадей положение—вот и присланы офицеры, чтобы верно, значит.

— Да если бы для форменности,—заикнулся было я,—так офицер бы на крыльце стоял, неволя ему снег месить, а становой бы лошадей мерил.

— Оно так,—задумался Иван.

— Нет, так, так, офицер для того, чтобы форменно было. Это человек такой простой попался, добродушный, значит, человек, ну, и молоденький, а становому-то в снег не хочется. Наш-то ведь—о!

Так и порешили, что офицер для того ездил, чтобы везде знали, что коней *действительно царь требует*, чтобы, значит, верно...

Для чего присылали офицера, не знаю. Вероятно, уж так нужно было, не нам судить.

Но польза от офицера была, офицер *закрепил* конское положение, *офицер от царя*. Все убедились, что коней брать *царю будут*, что это царское *положение*.

Впоследствии мы узнали, что комиссия только статистику собирала, что она должна была только сосчитать, сколько, какого роста лошадей имеется в уезде. Офицер был послан, поняли мы, для того, чтобы становой сделал статистику верно, а конский начальник,—чтобы комиссия состояла из трех. Собрали статистику, тем дело и кончилось. Что там было далее—не знаем. Комиссия нам ничего не объяснила, да и сама, вероятно, толком еще ничего не знала. Говорили, что приедет еще дру-

гая комиссия, с другим офицером, который настоящее в лошадях знает.

Ничего, однако, не было. Вдруг потребовались лошади.

Однажды ночью пришел из волости приказ привести рано утром в волость всех крестьянских лошадей, за исключением жеребят, и взять с собой харчей и корму на три дня.

— В город погонят,—объясняли десятские,—на три дня харчу и корму забирайте, на смотр в город погонят.

Мы, землевладельцы, никакого приказа относительно лошадей не получали. На другой день рано утром я поехал в волость узнать, что такое, и посмотреть, как будут выбирать лошадей. Все крестьянские лошади были уже собраны. Площадь была заставлена возами с сеном, лошадьми. Кабак, стоящий от волости на *узаконенном расстоянии*, был полон, торговля вином и сельдями шла шибко, в чистой половине тоже было довольно народу, преимущественно лесных приказчиков, потому что все лесные работы, перевозка дров и пр. остановились, так как все лошади и люди были вытребованы в волость.

На площади опять мерили лошадей, но на этот раз уже не становой с офицером, а волостной старшина. Лошадей, которые не выходили ростом, отпускали домой. Я обратился к старшине с вопросом, что и как: сколько требуется лошадей, почем будут платить за лошадь?

— Ничего акрётно не знаю,—отвечал старшина,—заведующий конским участком, получили из города бумагу и тотчас же приказали собрать сегодня рано утром всех крестьянских лошадей в волость.

— А сам заведующий участком где?

— Сами, как получили бумагу, еще вчера вечером уехали в город узнавать, что такое и что нужно делать, а мне приказали обмерить лошадей, которые не выходят ростом—отпустить, а остальных—дожидаться, пока сам не вернется из города.

— Да когда же он вернется?

— Обещались к десяти часам быть.

— Ну, а насчет наших лошадей, когда им будет смотр?

— Не знаю. Насчет господских лошадей ничего не известно. Приказано собрать только крестьянских.

— Да где же приемка лошадей будет?

— В городе.

— А сколько лошадей требуется?

— Ничего не знаю. Слыхал, что шесть лошадей требуется, а верно—не знаю.

Я прошел по площади и посмотрел оставленных лошадей. Действительно, оставлены были все лошади, которые выходили мерой—и старые, и хромые, и запаленные. Ясно было, что что-нибудь да не так. Невозможно было предполагать, что та-

ких лошадей возьмут не только в артиллерию, но даже в обоз. Мы слышали, что цены за лошадей назначены большие, не дураки же, в самом деле, приемщики и начальники, что будут набирать всякую дрянь и старье. По крайней мере половина оставленных лошадей была негодных. Не так что-нибудь, думалось мне, не может быть, чтобы там, где составляли правила о приемке, не понимали, какой убыток для хозяина, если он бесполезно поведет своих рабочих лошадей в город и потеряет несколько дней. Я высказал свои сомнения старшине.

— Всех, всех в город требуют.

— Да куда же это дермо годится,—указал я на старую белую клячу, уныло стоящую, опустив грибы.—Ей лет тридцать будет, да и зубов у нее нет.

— Всех, всех требуют. Заведующий участком сказали: «чем больше лошадей приведем в город, тем лучше».

— Ишь грибы распустила,—ткнул я лошадь в бок.—Не хочется, небось, на старости лет под турка итти.

Мужики расхохотались. Старшина строго взглянул на них.

— Начальство знает, что к чему.

Ждали заведующего участком. Ждали. Нет. Да и близкое ли дело? До города 35 верст. А на дворе мороз, холодный северный ветер, промерзли все, стоя на площади. Ну, как не зайти к Борисычу в кабак погреться? Народу в кабаке и в чистую половину набралось пропасть. Борисыч только руки потирал, да в душе бога молил, чтобы начальник подольше не приезжал. Все нет-нет, либо тот, либо другой забежит и опрокинет стаканчик.

Стало вечереть, начальника все нет. Стемнело. Я уехал домой, так ничего и не узнав.

Ночью я получил повестку—и все это *непременно ночью*!—привести к утру лошадей в волость. Приказ был строгий. В повестке были указаны цены, какие будут выплачивать за лошадей, цены назначены очень высокие, так что у меня ни одной лошади подходящей не было. За самую лучшую у меня лошадь заплачено 60 рублей лет шесть тому назад, остальные 30—40, было несколько лошадей, купленных по 6 рублей 50 копеек, лошади все старые, с пороками, годные только для сельской работы. Ясно было, что мои лошади даже в обоз не годятся, и с какой стати казна будет платить 60—90 рублей за лошадь, которую можно купить за 20. Однако, в исполнение предписания отправил со старостой всех лошадей в волость, оставив только одну для возки воды скоту—не оставить же скот непоенным!—и вслед за ним отправился сам на тройке.

В волости я нашел своих лошадей, да еще лошадей из имений *небогатых* помещиков, которые сами в деревне не живут, несколько поповских лошадей. Лошадей *богатых* владельцев

не было. Волостной старшина уже обмерил моих лошадей и велел всех, которые выходят ростом, как можно скорее вести в город, но староста мой остался ожидать моего приезда: *нам*де волостной—не начальство, у нас свое начальство есть. Тогда ни я, ни староста, ни *сам волостной*, не знали, что волостной есть помощник заведующего участком, а потому он, хотя и не начальство нам, как волостной, но *начальство, как помощник заведующего*.

Волостной опять ничего объяснить не мог. Только и твердил одно:

— Приказано всех лошадей, которые выходят мерой, в город отправлять. Вчера крестьянских погнали, сегодня господских приказано.

— Да посуди ты сам, ведь ты сам понимаешь толк в лошадях—ну, вот, буланый... ну, куда он годится? ведь ему 20 лет.

— Вижу. Приказано.

— Ну, гнедой, смотри, видишь, в ноге порок?

— Еще бы не видеть!

— Эти, саврасый, бурый—запалены.

— Приказано...

— Что же приказано, да приказано—твердит одно! Вы ведь сами знаете, какие цены на лошадей назначены. Ну, за что же казна будет за таких лошадей деньги платить? Что я, на смех, что ли, таких лошадей в город поведу? Веди теперь 10 лошадей—да зачем же я будут тратиться? Ведь это мне мало-мало 20 рублей обойдется.

— Приказано.

— Составьте акт, тогда и поведу. Пойдемте к писарю—покажите мне правила, у вас должны быть печатные правила.

— У нас правил нет, у заведующего участком есть правила, а нам он не оставил.

Мы отправились в волостное правление. Писарь тоже ничего не знает или делает вид, что не знает.

— Позвольте инструкцию?

— У нас нет.

— Да где же заведующий участком?

— Дома. Да и нам тоже нужно сейчас ехать, осматривать лошадей к П., Ф., О...

— Зачем? Разве тех лошадей сюда не приведут?

Волостной замолк.

— Тех на дому будем осматривать.

Вот оно что!—подумал я. У богатых, знатных владельцев лошадей на дому будут осматривать, а мы должны в волость вести. Нет, брат, постой—что-нибудь да не так!

— Почему же так?—спрашиваю.

— Приказано.

— У Б. лошади теперь работают, а я должен был привести всех лошадей, работники мои гуляют. Ведь это все убытки. Ведь и у Б. не заводские жеребцы, а такие же рабочие лошади.

Волостной переглянулся с писарем.

— Я вам говорил, что так будет,—заметил писарь.

— Пригласите священника, Борисыча, составим акт. Я тогда лошадей в город отправлю.

— Нет, уж я лучше за заведующим спосылаю.

Послали за заведующим. Я остался дожидаться заведующего. Остались и другие: управляющий соседнего имения, дьякон и пр. Никому, конечно, не хотелось вести лошадей в город понапрасну. Мы отправились к Борисычу выпить и закусить. Через несколько времени приехал заведующий участком и стал извиняться, что меня побеспокоили по ошибке, что он и у меня хотел осмотреть лошадей на дому, заезжал даже по дороге, да я уже уехал и пр.

Я просил дать мне прочитать печатную инструкцию. Заведующий, пока я ее читал, пошел осматривать моих лошадей. Пробежав инструкцию, я тотчас увидел, что все делалось не так, как предписывает инструкция.

А между тем заведующий, забраковав нескольких, остальных лошадей велел вести в город. Выйдя опять на площадь, я указал ему, что между отобранными лошадьми есть лошади с пороками и что вообще ни одна лошадь не стоит более половины той цены, которая назначена. Он все твердил: «чем больше приведут в город лошадей, тем лучше», и не обращал никакого внимания на мои замечания, что водить лошадей понапрасну убыточно для хозяина, убыточно для государства, что разорять производителей и плательщиков, на которых падает вся тяжесть войны, вовсе не расчет и не в видах правительства. А он все свое: «чем больше приведут лошадей, тем лучше». Я спросил у него, сколько требуется лошадей, сколько представлено лошадей добровольно, старался объяснить, что он ведет дело неправильно, не по инструкции, заявил, что я добровольно таких лошадей на смех не представлю, а если он желает и имеет право их взять, то пусть возьмет, о чем и составит акт. Из разговора с ним я убедился, что он или не читал инструкции, или ее не понял—вернее, что не читал. Горячились, горячились, однако я все-таки лошадей отстоял, в город не повел и даже расписку взял, что я все исполнил, что требовалось.

Все потом мне завидовали. Оказалось, разумеется, что лошадей сводили напрасно и только потратились. Трудно, конечно, счесть все расходы, которые понесли по преимуществу крестьяне. Но расходы были не малые, если принять в расчет время, которое прогуляли лошади и люди. Кабатчикам и по волостям, и в городе, конечно, доход.

Лошадей набирали для обоза. Говорят, что попало много и дряни, но я сам не видал, слышал только от крестьян и прасолов, что спустили дешевых и старых лошадей. Для многих эта конская повинность была очень выгодна, потому что лошади прошлой осенью были дешевы. Говорят, потом, когда этих сборных несъезженных лошадей запрягли в военные повозки, возня была с ними ужасная—одна не идет, другая бьет, что народу, говорят, побило... Я опять-таки ничего этого не видал, но солдаты проходящие рассказывали.

Правила о конской повинности составлены хорошо. Видно, что составляющие их имели в виду, по возможности, облегчить исполнение воинской повинности. Цены на лошадей назначены настоящие, а если принять во внимание, что на красоту, выездку, на года обращали мало внимания, то цены можно считать высокими, по крайней мере, для нашей местности. Притом же каждому предоставляется добровольно поставить лошадей, и тогда набавляется 20% к назначенной цене, к жеребьевке должны приступать лишь тогда, если нет охотников добровольно поставить лошадей. Все дело должно вестись публично, гласно. Обращено внимание на то, чтобы лошадей не гоняли напрасно, не держали бесполезно; даже о том прописано, чтобы начальник, при осмотре лошадей, имел при себе инструкцию. Составлявшие правила, очевидно, понимали, что не следует наперед бесполезно разорять людей, на которых падет вся тяжесть войны. Но исполнители, ближайшие начальники, старшины, старосты ни о чем этом не думают, знают только одно: «гони, приказано».

Все это совершенно понятно. Безграмотный старшина, не знающий никаких законов, не имеющий никакого понятия о законности, почти всегда пьяный, знает только одно—приказание начальства, и от мужика требует только безусловного исполнения его, старшины, приказаний.

В настоящее время все сельское начальство отличнейшим образом нашколено и, что бы ему ни приказали, оно все исполнит без всякого рассуждения; возьми такого-то и привези в город—привезет, возьми такого-то и выпори—выпорет. И старшина, и староста ни о чем другом не думают, ни о чем не заботятся, как только о безусловном исполнении приказаний начальства. Дисциплина доведена до совершенства. «Гони приказано!».

Призыв бессрочно-отпускных, призыв ополченцев—все это было совершено великолепно. Все было нашколено, дисциплинировано, и я думаю, что ни в какой стране мобилизация не могла бы быть произведена так быстро, так отчетливо, как у нас. Все было подготовлено заблаговременно. Старшинам все было объяснено наперед, объяснено акретно, обстоятельно, по-русски

с крепким словцом, чуть ли даже не были старшинам наперед показаны будущие «медали». В свою очередь, старшины нашколили старост, десятских, все им «акретно» объяснили; придет приказ, «бери, гони, чтоб круто, а не то...». А у старшины-то кулак здоровый. Все было подготовлено, в волостном правлении постоянно дежурили сторожа, которые должны были развезти приказы до ближайших деревень. Сельские старосты знали всех бессрочных и ополченцев своей волости, где кто находился, далеко отходить на заработки не позволялось: пропитывайся тут, в округе, и *зрили* за ними плотно. Десятские по деревням тоже были нашколены, везде были наряжены лошади, подводчики. Пришел приказ, гонцы летели по деревням, подводчики моментально запрягали лошадей, скакали, как на пожар, хватали бессрочных и живо доставляли их в город к назначенному сроку. Никто не спрашивал: почему, зачем? Приказано: хватай, вези, гони. Сельское начальство выполнило свое дело безупречно, ошибок с его стороны было мало. Только раз, получив приказ о требовании отставных, а этого не предвидели, да и отставные заартачились: «у нас, говорят, чистые отставки, мы отслужили, на сколько присягали, не пойдем»,— старшина сообразил, что если отставных требуют, значит, «нашего царя неустойка», бессрочных и подавно следует выгнать, и послал бессрочных. Намылили же ему за это голову: *не рассуждай*. Хорошо еще, что бессрочные на радости, что их отпустили, искать с старшины убытков не стали. Впрочем, через несколько дней потребовали и этих бессрочных, так что и искать некогда было. Да все равно, ничего бы не сыскали. Ведь тоже—начальство.

— У нас в отношении бессрочных был порядок, и если многих требовали понапрасну и потом возвращали, то это уже была вина не сельского начальства. Мы не знаем—отчего не требовали поименно. Вытребуют всех, а потом одних оставят, других отпустят. Иных раза по три требовали и затем вовсе оставили. Разумеется, оставленный на радости, что его не увезли—кому же охота от сохи да под Карс?—ничего не искал, хотя и нес убытки. Подводчики тоже не искали, что лишний раз съездили. Приказно: гони, чтобы круто.

Да, отлично все было устроено. Одно только не сумели сделать, своевременно помочь солдатским женам, детям и матерям...

Митрофаниха приходила—ребенок грудной умер. Все же легче, может, в работницы заставится, а девочка будет слепую бабку по миру водить. Все же легче...

Сегодня, возвращаясь из деревни, встретил на плотине митрофанову родную матку, выбирается по миру вместе с другой невесткой, женой митрофанова брата.

— Здравствуйте, барин.

— Здравствуй. Откуда идешь?

— «В кусочки» ходила. У невестки была. Мальчик-то помер.

— Знаю, слышал.

— Помер. Я ей сколько раз говорила: «смотри, не кляни ты его! Знаю, что тебе трудно, только не кляни, не ровен час, неизвестно в какой час попадешь!»—Я, говорит, мамочка, никогда не кляну, пусть живет, бог с ним! Помер. Ну, да оно лучше, все же легче.

— Все легче.

VII[1]

Как-то осенью—а дело было еще вскоре после того, как я поступил на хозяйство,—случилось мне пойти посмотреть граборские работы. В эту осень граборы работали у меня поденно и занимались чисткой лужков, заросших лозняком.

Граборы сидели у огонька и обедали.

— Хлеб-соль!

— Милости просим.

Я подсел к огоньку. Обед граборов состоял из вареного картофеля. Это меня удивило, потому что я слыхал, что граборы народ зажиточный, трудолюбивый, получающий обыкновенно высшую, почти двойную против обыкновенных сельских рабочих плату, и едят хорошо.

— Что это? Вы, кажется, одну картошку едите?—обратился я к рядчику.

— Одну картошку.

— Что ж так?

— Да не стоит лучше есть, когда с поденщины работаешь.

— Вот как! А мне говорили, что граборы хорошо едят.

— Да и то! Мы хорошо едим, когда сдельно работаем, когда канавы роем, землю от куба возим, чистку от десятины снимаем.

— Что же вы тогда едите?

— Тогда? Щи с ветчиной едим, кашу. Прочную, значит, пищу едим, густую. На картошке много ли сделаешь?

— Да разве вам все равно, что есть? Ветчина, каша ведь вкуснее.

Рядчик посмотрел на меня с недоумением. Его, видимо, удивило, как это я не понимаю такой простой вещи, и он стал мне пояснять.

— Нам не стоит хорошо есть теперь, когда мы работаем с поденщины, потому что нам все равно, сколько мы ни сделаем, заработок тот же, все те же 45 копеек в день. Вот если бы мы

[1] Напечатано в «Отечественных записках за 1897 г. (Примеч. Н. Энгельгардта—*Ред.*).

заработали сдельно—канавы рыли, землю возили,—это другое дело, тогда нам было бы выгоднее больше сделать, сработать на 75 копеек, на рубль в день, а этого на одной картошке не выработаешь. Тогда бы мы ели прочную пищу—сало, кашу. Известно, как поедаешь, так и поработаешь. Ешь картошку—на картошку сработаешь, ешь кашу—на кашу сработаешь.

— Ну, а если бы я возвысил поденную плату и потребовал, чтобы вы лучше ели?

— Что же, это можно. Отчего же? Если такое будет ваше желание—можно,—усмехнулся рядчик.

— Ну, а работа спорее бы шла тогда?

— Пожалуй, что спорее.

— А выгоднее ли бы мне было?

— Не знаю.

— Почему же?

— Работа такая. Работа огульная, сообща, счесть ее нельзя. Мы и теперь не сидим сложа руки, работаем положенное, залогу делаем, как по закону полагается. И тогда так же бы работали—ну, приналегли бы иногда, чтобы удовольствие вам сделать, особенно, если б вы ребятам водочки поднесли. Так ведь, ребята?

Ребята, то-есть граборы-артельщики, засмеялись...

— Работа не такая,—продолжал рядчик—работа тут ручная, огульная, счесть ее нельзя. Работаем, да не так, как сдельно, все же каждый себя приберегает—не убиться же на работе,—меры тут нет, да и плата все равно поденно.

— Да ведь харч был бы хороший!

— Так что ж? Харч работать не заставит, когда сам не наляжешь. Харч, сам знаешь, только на баловство порет, а на работу нет... А из-за чего налегать-то, плата поденная, счесть работу нельзя, работаем сообща—я налягу, а другой нет. Счесть нельзя, вот что. Тут и сам себя приналечь не заставишь, да и как налечь, сколько? Разделил бы на нивки, чтобы каждый свою нивку гнал—нельзя, лужаечки все такие маленькие, тесные неровные, куст разный. Вот если бы можно было от десятины чистить, на отряд, это другое дело. Мы и сами этих поденщин не любим, заработок плохой, работы настоящей нет, скучно. То ли дело сдельная работа,—нам самим приятней. На сдельной работе вольней, хозяину до нас дела нет, что сработали, за то и платит,залогуем,когда хотим по своей воле...—Рядчик помолчал.

— Нет,—продолжал он,—нет, харч работать не заставит, вам невыгодно будет, и так положенное работаем. Тогда бы у нас харч в жир пошел, мы бы тогда у вас за осень во как отъелись, ребята ни одной бабе проходу не дали бы!

Граборы засмеялись.

— Ну, а при сдельной работе?

— То другое совсем дело. При сдельной работе, каждый на себя работает, каждый свою дольку канавы роет, каждый свою долю земли возит, каждый на себя старается, сколько сработает, столько и получает. Да и работа там мерная, хотим—на рубль в день выгоняем, хотим—на семь гривен, как согласие артели.

— Так и сдельно не всегда одинаково работаете?

— Еще бы! И сдельно не всегда одинаково. В весеннюю упряжку с начала весны работаем побольше, на рубль в день выгоняем, а к концу работаем полегче, гривен на восемь и того меньше—к покосу себя приберегаем. Нам, сами знаете, домашний покос дело самое важное, тут мы во всю силу работаем. Погони-ка всю весеннюю упряжку на земляной, денег заработаешь много, да косить-то потом дома как будешь? Все нужно с расчетом. На чугунке вон как гоняют на земляной, да что толку-то потом. Наши оттого на чугунку и не ходят.

— То-то у меня нынче в Петровки грабор канавы рыл, я удивился, что он так мало выгоняет—гривен на шесть в день. Я думал, он не умеет, не настоящий грабор, ан канавы сделал хорошо.

— У вас нынче Фетис работал?

— Да, Фетис.

— Нет, это грабор настоящий, не меньше всякого другого сделает. Только они разделившись. Фетис одиночка, жена, дети маленькие. В артель ему стать нельзя, далеко от дому отойти нельзя. Он и ходит в одиночку, отсеевшись. Найдет поблизости от дому работу—и слава богу. Дома у него в покос работы много, вот он и приберегает себя.

— Оттого, должно быть, вы и на чугунку не ходите, что там приберегать себя нельзя, гнать нужно?

— Оттого. Пробовали наши и на чугунку ходить. Заработать там много можно, если бог здоровья даст, да что толку. В одно лето так собьешься, что потом в год не поправишься. Там, на чугунке, сибирная работа, сверхсильная, до кровавого пота—за непочтение к родителям такую работу делать. Там работают с загонщиками—гони за ним. А загонщиками-то подобраны молодцы, притешают их тоже. Ну, и убивается народ. Нет, наши граборы на чугунку не ходят—туда безрасчетный народ идет, за большими заработками гонятся, или от нужды, на задатки их тоже ловят. И много их там пропадет, умрет, либо калекой вернется.

Все, что я слышал от граборов теперь и впоследствии, когда обратил особенное внимание на этих замечательных рабочих, было для меня ново. Не знаю, как другие, но я, по крайней мере, никогда до того не слыхал и не читал о том, что иногда бывает, что *не стоит хорошо есть*.

Не стоит хорошо есть, потому что работаем с поденщины. Значит, хорошо едят только тогда, когда это стоит, т. е. только для того, чтобы хорошо работать? Нет работы, дешева работа, плата не зависит от количества работы, поденщина—и есть хорошо не стоит. Да, это так: когда глубокой осенью нет работы для лошадей, им овса не дают, весною, когда много работы, дают овес. Этот так.

Харч хороший работать не заставит, если нет *личной* выгоды сработать более. Если нет выгоды более сработать, если работаешь не на себя, если не работаешь вольно, если работу сам учесть не можешь, то и не заставишь себя более сделать,— все будешь прилениваться, приберегать себя, в жир пойдешь, отъедаться станешь.

Чтобы хорошо работать, каждый должен *работать на себя*. Поэтому-то в артели, если только есть возможность разделить работу, ее делят, и каждый работает свою дольку, каждый получает, сколько заработал. Отец с сыном, брат с братом при рытье канавы делят ее на участки и каждый отдельно гонит свой участок.

Работая, можно *приберегать* себя, можно работать и на рубль, и на восемь гривен, и на полтину. Даже *следует приберегать*, если предстоит другая, более выгодная работа. Всех денег не заберешь, работая сверх сил, только себя надсадишь и это на тебе же потом отзовется, тебе же в убыток будет.

Люди точно знают, *на какой пище сколько* сработаешь, *какая пища к какой работе подходит*. Если при пище, состоящей из щей с солониной и гречневой каши с салом, вывезешь в известное время, положим, один куб земли, то при замене гречневой каши ячною вывезешь менее, примерно, куб без осьмушки, на картофеле—еще меньше, например, три четверти куба и т. д. Все это грабору, резчику дров, пильщику, *совершенно точно известно*, так что, зная цену харчей и работы, он может совершенно точно расчесть, какой ему харч выгоднее,—и рассчитывает. Это точно паровая машина. Свою машину он знает, я думаю, еще лучше, чем машинист паровую, знает, когда, сколько и каких дров следует положить, чтобы получить известный эффект. Точно так же и относительно того, какая пища для какой работы способнее: при косьбе, например, скажут вам, требуется пища прочная, которая бы, как выражается мужик, к земле тянула, потому что при косьбе нужно крепко стоять на ногах, как пень быть, так сказать, вбитым в землю каждый момент, когда делаешь взмах косой, наоборот, молотить лучше натощак, чтобы быть полегче. Уж на что до тонкости изучили кормление скота немецкие ученые скотоводы, которые знают, сколько и какого корма нужно дать, чтобы откормить быка или получить наибольшее количество молока от коровы, а граборы

думаю я, в вопросах питания рабочего человека заткнут за пояс ученых агрономов. Оно и понятно, на своей кишке испытывают.

Я не физиолог, физиологией никогда не занимался, но все же читал кое-какие книжки о питании и, вероятно, знаю не менее, чем обыкновенный человек из интеллигентного класса, а между тем многое, что я слышал от рабочих о пище, было для меня ново и интересно. Потому-то я и решился написать об этом. Все мы, например, считаем мясо чрезвычайно важною составною частью пищи, считаем пищу плохою, неудовлетворительною, если в ней мало мяса, стараемся побольше есть мяса. Между тем мужик даже на самой трудной работе вовсе не придает мясу такой важности. Я, конечно, не хочу этим сказать, что мужик не любит мяса, разумеется, каждый предпочтет щи с «крошевом» пустым щам, каждый с удовольствием будет есть и баранину, и курицу—я говорю только о том, что мужик не придает мясу важности относительно рабочего эффекта. Мужик главное значение в пище придает жиру. Чем жирнее пища, тем лучше: «маслом кашу не испортишь», «попова каша с маслицем». Пища хороша, если она жирна, сдобна, масляна. Щи хороши, когда так жирны, «что не продуешь», когда в них много навару, то-есть жиру. Деревенская кухарка не скоро может привыкнуть к тому, что бульон должен быть крепок, концентрирован, а не жирен, ее трудно приучить, чтобы она снимала с супа жир; «что это за варево, коли без жиру». Если случится, что у меня обедает «русский человек», например, заезжий купец, то Авдотья непременно подает жирный суп и все кушанья постарается сделать жирнее. Желая хорошенько угостить на никольщине почетного гостя, деревенская баба, подавая жареный картофель или жареные грибы, непременно обольет их еще сырым постным маслом. В какой-то сказке про кота говорится: «жирно ел, пьяно пил, слабо б... ». Когда хотят сказать, что богатый мужик хорошо ест, то не говорят, что он ест много мяса, а говорят «он жирно ест», «масляно».

Что мясо для полного производства работы не составляет крайней необходимости, что растительных азотистых веществ ржаной муки и гречневой крупы совершенно достаточно, это видно из того, что при достаточном количестве жира и на постной пище можно выработать то же, что на скоромной с говядиной, иначе, я уверен, граборы, резчики, пильщики в посты ели бы скоромное. Сколько я мог заметить, скоромная пища потому только лучше постной—разница, несомненно, есть—что скоромные животные жиры лучше для питания, чем постные растительные масла. Это особенно заметно на людях, которые не привыкли к постному маслу. Но люди привычные и на трудных земляных работах едят очень часто, даже в скоромные дни, кашу с постным маслом.

Люди из интеллигентного класса с понятиями, что нужно есть побольше мяса, сыру, молока, скоро убеждаются, когда начинают *настояще работать*, что суть дела не в мясе, а в жире. Прошлой весной один обучавшийся у меня хозяйству молодой человек из интеллигентных занимался корчевкой пней. Делал это он, собственно, для практики, чтобы познакомиться с подобной работой. Человек он был силы непомерной, работал один, корчевал, разумеется, несколько подгнившие пни при помощи толстого железного лома и один снашивал выкорчеванное в кучи. Работа самая трудная, медвежья, даже крестьяне удивлялись его силе и трудам. Впоследствии я за подобную работу предлагал граборам такую плату сдельно, что, работая, как этот работник, они вырабатывали бы по рублю в день, но грабоpы отказались. Работа, значит, была настоящая. Уходил он на работу утром и брал завтрак с собой. И вот что он мне сообщил: съедая за завтраком кусок жареного, хотя и нашпигованного, тетерева, он не мог столько сделать—скорее уставал, более отдыхал,—сколько делал, когда съедал за завтраком кусок жирной свинины или даже просто кусок свиного сала.

Я думаю, что было бы очень интересно, если бы интеллигентные люди, знающие химию, физиологию, проверили наблюдения граборов, пильщиков и пр. относительно питания на собственной кишке.

Относительно гороха, например, наши представления сильно расходятся с понятиями тех, которые испытали горох на своей кишке. Зная, что горох содержит много азотистых веществ, полагали, что он может, в известном смысле, заменять мясо, что его следует ввести в состав концентрированной пищи. Было время горохового увлечения. Всем известно, какое значение придавали для питания войск пресловутой немецкой гороховой колбасе. Горох дешев, а между тем он содержит много азотистых веществ, следовательно, нужно стараться ввести его в употребление для питания, особенно во время постов. Другими словами, нужно стараться сделать горох дорогим. Производились опыты над питанием горохом, писались диссертации[1]. Никому и в голову не приходило, что горох потому и дешев—иногда дешевле гречневой крупы, даже дешевле ржаной муки и толокна,—что его мало едят. Граборы, пильщики, люди, производящие самые трудные работы, почти не употребляют гороха или очень мало. У мужика в постные дни горох идет как добавочное блюдо, да и то изредка. Его с удовольствием едят только с охотки, потому что горох претит, и часто его есть нельзя. Обыкновенно горох едят за завтраком, да и то лучше варить его пополам с крупой или даже просто с пшеницей. Гороховый

[1] Д-ром Ворошиловым. (Примеч. Н. Энгельгардта.—Ред.).

суп или гороховый кисель с охотки едят с удовольствием, как лакомство, не в счет другой пищи, но его нельзя есть ежедневно, он скоро надоедает. Между тем гречневая каша никогда не надоедает, и ее охотно едят каждый день.

Известно, что в нашей русской культуре бобовые растения—горох, бобы и т. п.—играют весьма подчиненную роль и заменяются *гречихой*; в нашей *трехпольной* плодопеременной *системе*—рожь, гречиха, пар—гречиха играет по отношению к злакам ту же роль, как бобовые. Ясно, что *мы должны питаться не гороховой колбасой, а гречневой кашей*, и мне теперь совершенно понятна та презрительная брань, которую я однажды слышал в городе: «Эх ты! немец! колбаса гороховая!...».

Но как же, скажут, в Германии-то гороховая колбаса играла такую важную роль в продовольствии войск? Не знаю. Мало ли что в Германии! Там существует и минорат, и майорат, а у нас и сам Петр-царь его привить не мог. Говорят, «что русскому здорово, то немцу смерть», должно быть, и обратно то же самое. Может быть, климатические условия другие, может быть, организация пищеварительного аппарата другая. И доктора знают, что одна диэта для барина, другая для мужика, что барина нужно лечить иначе, чем мужика, чиновника иначе, чем деревенского помещика Собакевича, что человек, привыкший к грубой пище, содержащей много непереваримых веществ, может заболеть сильным расстройством желудка от употребления изысканной, нежной пищи, содержащей очень мало непереваримых веществ, и потом выздороветь от употребления грубой пищи, к которой он привык. Надо мной самим был такой случай.

Дома я ем пищу простую, довольно грубую, *прочную* пищу, и пью водку в 30°, потому что водка не только приятна, но и полезна при грубой пище (по словам нашего фельдшера, водка «всякую насекомую убивает», о чем, как он утверждает, «и в патологии сказано»). Случилось мне однажды поехать за 60 верст на именины к одному родственнику, человеку богатому и любящему угостить—ну, довольно сказать, что у него в деревне повар получает 25 рублей жалованья в месяц. Хорошо. Наступили именины. В час пополудни завтрак—дома я в это время уже пообедал и спать лег—разумеется, прежде всего водка и разный гордевр. Выпили и закусили. Завтракать стали: паштет с трюфелями съели, бургонское, да настоящее, не то, что в уездных городах продают с надписью: «Нуй бургунский», выпили. Цыплята потом с финзербом каким-то съели. Еще что-то. Ели и пили часа два. Выспался потом. Вечером в седьмом часу—обед. Тут уж—ели-ели, пили-пили, даже тошно стало. На другой день у меня такое расстройство желудка сделалось, что страх. Им всем, как они привыкли к господскому харчу, нипочем, а мне беда. Доктор случился, достали где-то Tinctura opii, уж

я ее пил-пил—не помогает. Ну, думаю,—умирать, так уж лучше дома, и уехал на другой день домой. Приезжаю на постоялый двор, вхожу и вижу: сидит знакомый дворник Гаврила, толстый, румяный, и уписывает ботвинью с луком и селедкой-ратником.

— Хлеб-соль!

— Милости просим.

— Благодарим.

— Садитесь! Петровна, принеси-ка водочки!

— Охотно бы поел, да боюсь.

— А что?

Я рассказал Гавриле о своей болезни.

— Это у вас от легкой пищи, у вашего родственника пища немецкая, легкая—вот и все. Выпейте-ка водочки, да поешьте нашей русской прочной пищи, и выздоровеете. Эй, Петровна! неси барину водки, да ботвиньица подбавь, селедочки подкроши.

Я выпил стакан водки, подъел ботвиньи, выпил еще стакан, поел чего-то крутого, густого, прочного, кажется, каши, выспался отлично—и как рукой сняло. С тех пор вот уже четыре года у меня никогда не было расстройства желудка.

Нет никакого сомнения, что пища человека не может состоять из одних переваримых веществ, что она должна содержать известное количество непереваримых. Словом, выражаясь проще, нет сомнения, что насколько человеку необходимо есть, настолько же необходимо извергать. Мы, хозяева, занимающиеся скотоводством, очень хорошо знаем, что корову, например, нельзя кормить одними легко переваримыми питательными веществами, что ей необходимо давать и непереваримые вещества. Поэтому при кормлении скота мы комбинируем известным образом грубые кормы с тонкими концентрированными—солому с мукой, сено с овсом и т. п. Словом, кормим корову так, чтобы она давала молоко и навоз. Я не знаю, насколько физиологи и медики знают, как должны быть комбинированы в пище человека переваримые и непереваримые вещества, но мы, люди из интеллигентного класса, ничего по этой части не знаем и питаемся поэтому иногда очень односторонне, налегая преимущественно на животные азотистые вещества,—мясо, сыр,—которые, не знаю уже почему, считаются многими сами по себе достаточными для питания. Очень часто мы, интеллигентные люди, питаемся менее рационально, чем питается скот у хорошего хозяина, и это тем чаще случается, что у скота гораздо более развит инстинкт, так что если ему предоставлен свободный выбор между разными кормами, то он инстинктивно сам себе выбирает соответствующую норму кормления. Не в этом ли причина разных желудочных, кишечных и т. п. катаров? Как бы ни было, но я до сих пор еще не встречал доктора, который

дал бы мне положительный ответ на вопрос, как следует комбинировать пищу, сколько в ней должно быть неперевариимых веществ, сколько переваримых: азотистых, крахмалу, сахару, солей. Обыкновенно доктора, давая совет относительно пищи, стараются исключить из нее трудноваримые или неперевариимые вещества, например, не советуют здоровому даже человеку есть грибы, потому что в них много неперевариимой клетчатки, не советуют есть свинины, потому что она очень жирна, советуют есть побольше мяса и т. п.

Увлечение горохом, гороховой колбасой и разными искусственными консервами указывает, как мне кажется, на недостаточность наших знаний относительно рационального питания людей. Что же касается до той важной роли, какую придавали гороховой колбасе относительно питания немецких войск, то нужно принять во внимание, что привычка при питании играет важную роль, что тут важен не только состав, вкус, но даже известная форма пищи. Если подать, например, молоко в чистом, никогда не бывшем в употреблении ночном горшке, то мужик, не знающий назначения этой посудины, будет есть молоко совершенно спокойно, между тем многие из нас не в состоянии будут есть из такой посудины, а принудив себя к тому, могут даже заболеть. Один крестьянин рассказывал мне, что однажды ему подали на постоялом дворе очень вкусный студень, который он съел с большим удовольствием, но потом, случайно обратив внимание на косточки, бывшие в студне, увидал, что студень был приготовлен из жеребенка; это так на него подействовало, что он заболел и долго после того не мог есть студня. Вот нечто подобное могло быть и относительно гороховой колбасы. Немцы в огромном количестве потребляют колбасы, привыкли к ним, любят их, для немца колбаса то же самое, что для русского щи и каша, что для хохла галушки или какая-нибудь затираха. За неимением другой, немец ест в походе и гороховую колбасу с удовольствием, не потому, что она вкусна и хороша, а потому только, что это колбаса, которая по вкусу, может, и не подходит к той колбасе, которой он наслаждался дома, но которая, по своей форме, напоминает ему родину. Швейцарец, например, предпочитает плохой сыр, приготовленный по швейцарскому способу, хорошему честеру.

Рабочие люди, которые хорошо едят только, когда стоит хорошо есть, которые знают, сколько на какой пище можно выработать, без сомнения, знают о питании человека не менее, чем мы, хозяева, знаем о кормлении скота. Мне кажется, что прислушаться к их голосу, вникнуть в их представления о питании, о пище, было бы не бесполезно и ученым медикам, точно так же, как агрономам необходимо изучать мужицкие понятия о земледелии и скотоводстве.

Трудно, конечно, усвоить мужицкие понятия нам, которые даже не вполне хорошо понимаем мужицкую речь и не умеем говорить с мужиком понятным для него языком. Тут нужны массы исследователей, развитых наукой, которые не смотрели бы сверху, а, так сказать, слились бы с этой серой массой, проникли в нее, *испытывая все на своей кишке, на своем хребте.* Какое приобретение было бы для науки! Часто, слыша мужицкие поговорки, пословицы, относящиеся до земледелия и скотоводства, я думаю, какой бы великолепный курс агрономии вышел, если бы кто-нибудь, практически изучавший хозяйство, взяв пословицы за темы для глав, написал к ним научные физико-физиолого-химические объяснения.

В этом кратком очерке представлений рабочего о питании я вовсе не думаю дать что-нибудь цельное, полное. Мои наблюдения поверхностны, и если я сообщаю их, то только потому, что вообще мы мало знаем о мужике, и все это для многих будет довольно ново.

По-мужицкому, *кислота* есть *необходимейшая* составная часть пищи. Без кислого блюда для рабочего обед не в обед. Кислота составляет для рабочего человека чуть не бóльшую необходимость, чем мясо, и он скорее согласится есть щи с свиным салом, чем пресный суп с говядиной, если к нему не будет еще какого-нибудь кислого блюда. Отсутствие кислоты в пище отражается и на количестве работы, и на здоровье, и даже на нравственном состоянии рабочих людей. Уж лучше червивая кислая капуста, чем вовсе без капусты. При продовольствии войск в походах на войне, вопрос о щах, о кислой капусте, о *кислоте*, есть вопрос первостепенной важности. Если бы мы получше знали мужика и поменьше увлекались немцем, то скорее подумали бы о своей кислой капусте, чем о немецкой гороховой колбасе.

Щи из кислой капусты—холодные или горячие—составляют основное блюдо в народной пище. Если нет кислой капусты, то она заменяется кислыми квашеными бураками (борщ). Если нет ни кислой капусты, ни квашеных бураков, вообще никаких квашеных овощей, как это иногда случается летом, то щи приготовляются из свежих овощей—свекольник, лебеда, крапива, щавель—и заквашиваются кислой сывороткой или кислыми сколотинами, получаемыми при изготовлении чухонского масла. Наконец, в случае крайности, щи заквашиваются особенно приготовленным сырым кислым квасом или заменяются кислой похлебкой с огуречным рассолом, квасом, сильно закисшим тестом, сухарями из кислого черного хлеба (тюря, мурцовка, кавардачок).

Случается, что косцы на отдаленных покосах летом довольствуются пресною кашицею, но отсутствие горячей кислой пищи

всегда составляет большое лишение для рабочих, и они стремятся пополнить этот недостаток кислым молоком, что, однако же, не вполне удовлетворяет, потому что молоко есть *легкая* пища, к трудной работе не идущая, а косьба требует пищи *прочной*, крутой, густой.

С кислыми продуктами всегда бывает наиболее хлопот. Случайные недостатки в пище, например, неудавшийся, дурно выпеченный хлеб и т. п., могут быть вознаграждены лишней порцией водки и переносятся безропотно, но отсутствие кислоты—никогда. Понятно, что эта необходимость кислоты обусловливается составом русской пищи, состоящей из растительных веществ известного рода (черный хлеб, гречневая каша). Химики знают, что кислота, входящая в состав всех вышеназванных кислых продуктов—щей, квашеных бураков, соленых огурцов, сыворотки и пр.,—есть одна и та же, именно *молочная кислота*. Очевидно, что при известном составе народной русской пищи кислота эта и, по всей вероятности, сопровождающие ее соли существенно необходимы для питания.

Нет сомнения, что в кислой капусте главное значение имеет кислый сок—хотя я не отрицаю важности и других составных частей—и потому, если извлечь этот сок, сгустить его и приготовить кислый капустный экстракт, подобно тому, как приготовляется клюквенный экстракт, то этот капустный экстракт мог бы быть с пользой употребляем для заправки пищи в походах и вообще при таких обстоятельствах, когда нельзя иметь кислой капусты. Мне кажется, что можно было бы даже искусственно приготовлять молочную кислоту и употреблять ее для заправки пищи, подобно тому, как теперь употребляется уксус. Разумеется, при этом следует добавлять те соли, которые находятся в капусте, или еще того лучше, консервы из овощей.

Приготовление консервов из кислой капусты, как оно практиковалось еще в последнюю войну,—именно, приготовление сушеной капусты,—по-моему, не достигает цели, в особенности, если из кислой капусты предварительно выжимают сок, без чего ее трудно высушить. Тут теряется важнейшая составная часть, да и перевозка, и сохранение такой сушеной капусты дело вовсе не легкое. Очень бы любопытно было знать, в каком виде пришла к войскам за Балканы и какое значение, как питательный материал, имела та сушеная кислая капуста, которую прошлой зимой выбирали для отправки войскам в Турцию.

Крестьяне различают пищу на *прочную и легкую*, с множеством градаций, конечно. Жить можно и на легкой пище, например: грибы, молоко, огородина, но для того, чтобы работать, нужно потреблять пищу прочную, а при тяжелых работах—земляные, резка, пилка, косьба, корчевка и т. п.—самую прочную, такую, чтобы, поевши, бросало на пойло, как выражаются

мужики, чтобы захотелось напиться, так напиться, как пьет после сытного, прочного обеда здоровый работник, когда он приляжет губами к ведру с квасом и сразу вытянет чуть не полведра.

Прочною пищей считается такая, которая содержит много питательных, но трудно перевариваемых веществ, которая переваривается медленно, долго остается в кишке, не скоро выпоражнивается, потому что раз кишка пуста, работать тяжелую работу нельзя и необходимо опять подъесть.

Так как черный ржаной хлеб составляет главную составную часть пищи, то хлеб должен быть крут, не вадок, не тестян, хорошо выпечен, из свежей муки. На хлеб рабочий обращает главное внимание. Хороший хлеб—первое дело, но одного только хлеба для полной работы мало. Затем, прочная пища должна состоять из щей с хорошей жирной солониной или соленой свининой (ветчиной—только не копченой) и гречневой каши с топленым маслом или салом. Если при этом есть стакан водки перед обедом и квас, чтобы запить эту прочную, крутую пищу, то пища будет образцовая, самая прочная, такая, при которой можно сделать maximum работы, вывезти наибольшее количество земли, нарезать наибольшее количество дров, выпилить наибольшее количество досок. С такой пищей можно перейти Альпы, перетащить через Балканы, под звуки дубинушки, пушки, отмахать поход в Индию.

Совершенно понятно, что нормальная пища солдат—щи и каша—выработанная продолжительным опытом, совпадает с образцовой народной пищей, при которой можно произвести наибольшую работу. Никакие гороховые колбасы, никакие консервы не могут заменить этой простой пищи, и вся задача только в том, чтобы эта пища была хорошо приготовлена и из хороших материалов.

Щи и каша—это основные блюда. Уничтожить кашу—обед не полный, уничтожить щи—*нет обеда*. Разумеется, если добавить что-нибудь к такому прочному обеду, так не будет хуже. И после такого обеда артель в 20 человек с удовольствием съест на закуску жареного барана или теленка, похлебает молока с ситником, но все это уже будет лакомство.

В постные дни солонина в щах заменяется снетком, который кладется только для вкуса, или горячие щи заменяются холодными, то-есть кислой капустой с квасом, луком и постным маслом. Коровье масло или сало в каше заменяется постным маслом.

Солонины, говядины или свинины в скоромные щи кладется немного, так что крепкого бульона не получается—лишь бы только навару (жиру) было побольше, если говядина не жирна, то к ней прибавляют свиного сала.

Мы видим, что в этой образцовой пище много жиру, да и животные азотистые вещества употребляются в трудно переваримой форме: говядина заменяется солониной, свежая свинина—ветчиной.

Замена различных составных частей нормальной прочной пищи другими делает пищу *более или менее легкой*, то-есть такой, которая быстрее переваривается, быстрее выпоражнивается. Но тут необходимо еще заметить, что с понятием о хорошей прочной пище соединяется еще и то, что пища имеет густую консистенцию и бросает на пойло. «У него харч хороший; едят все густое, хлеб что не переломишь, каша—балиха, кисель—ножом режь».

Если солонину в щах заменить свежей говядиной, то пища уже будет менее прочная; она сделается еще менее прочною, если солонину заменить свежей свининой, потому что свежая свинина нудит. Замена солонины салом и, наконец, снетками еще понижает достоинство щей, но только в таком случае, если солонина жирная; при тощей солонине щи с салом предпочитаются.

Точно так же пища сделается менее прочною, если крутую гречневую кашу—самое любимое кушанье—заменить размазней, киселем, густой картофельницей, супом-крупником, хотя бы даже и с говядиной. Все эти замены сильнее понижают прочность пищи, так что уже оказывают влияние на количество работы, чем замена в щах солонины салом или снетком.

Молоко сладкое и кислое считается легкой пищей, только творог, который на треть с гречневой крупой, едят в пирогах или с лепешками, считается прочной пищей.

Я имел случай наблюдать, как питаются рабочие, работающие сдельно артелью на своих харчах *при условиях, когда выгодно хорошо есть*. Это были резчики дров, работавшие не у меня, но в соседнем лесу, и забиравшие у меня некоторые материалы для харчей. Народ—молодцы на подбор. Работали замечательно, дров нарезали количество непомерное. На харчи денег не жалели: каждый день водка, каша, такая крутая, что едва ложкой уколупнешь, с коровьим маслом, щи жирные. Но мяса ели мало, и вот тут-то я и убедился, что работающие люди вовсе *не придают значения мясу, как питательному веществу*; водку, например, предпочитают мясу во всех отношениях. Но я не могу сказать, чтобы это были пьяницы. Грешный человек, я сам предпочту обед, состоящий из стакана водки, щей с салом и каши, обеду, состоящему из щей, мяса, каши, но без водки. Я это испытал в путешествиях, когда лазил по оврагам Курской губернии для исследования фосфоритов, когда всходил на Качканар, когда плавал по озерам и речкам Олонецкой губернии. Думаю, что со мною согласятся интеллигентные люди, слу-

жившие солдатами в последнюю войну. Желал бы слышать и возражения только не теоретические, не немецкие, отзывающиеся колбасой гороховой.

Все время самых трудных работ проходит без мяса. Петровки, когда производятся земляные работы—а это самое лучшее время для таких работ: сухо и день велик—пост, да и пост-то самый неудобный, потому что даже огородина не поспела. В ильинский мясоед—трудное время покоса—мясо еще не поспело, бараны не выросли, скот не вполне отъелся, да и сохранить мясо, даже посоленное, в жаркое летнее время невозможно. И зимней солонины в это время достать трудно, потому что она начинает портиться: дух пускает, червяк заводится. Потом, опять пост—спасовки, время уборки хлеба. Да еще постоянно—середа да пятница, середа да пятница.

Конечно, и говорить нечего, если бы было достаточно мяса, сала, молока (т. е. творогу), то и в деревне летом никто постов не держал бы. В нынешнем году у меня летом нехватило постного масла, масло было дорого, да и достать его негде, между тем свиного сала было достаточно, я предложил рабочим есть скоромное. Все ели, за исключением одного очень богомольного. Когда поп приехал перед петровым днем собирать яйца—перед окончанием поста попы ездят по деревням разрешать на скоромину и выбирают в петровки яйца, в филипповки горох, великим постом не ездят потому, вероятно, что выбирать нечего, —то и разрешать было некому.

Какое малое значение придается мясу, видно из того, что рабочий человек всегда согласится на замену мяса водкой. На это, конечно, скажут, что известно, мол, русский человек пьяница, готов продать за водку отца родного и т. п. Но позвольте, однако же тот же рабочий человек не согласится заменить молочную кислоту нормальной пищи водкой, не согласится заменить водкой жир или гречневую кашу.

На сколько я мог заметить, *растительные азотистые вещества*, в особенности азотистые вещества злаков, вполне удовлетворяют потребностям питания работающего человека и при соответственном потреблении крахмала и жира дают ему возможность произвести maximum работы. Относительно азотистых веществ гороха и бобовых ничего сказать не могу, потому что эти вещества мало потребляются рабочим людом и не входят в состав народной нормальной пищи, замечательно, однако, что азотистые вещества бобовых сравнительно дешевле азотистых веществ злаков. Впрочем, я думаю, что наши химические сведения о растительных азотистых веществах чрезвычайно неполны—осмелюсь даже сказать, что мы ничего почти не знаем—и химики до сих пор еще предпочитают заниматься хлор-бром-нитробензолами, чем заниматься изучением состава гречневой

крупы (о которой, замечу в скобках, мы ничего почти не знаем). Оно и проще, и удобнее, и выгоднее.

Да и возможно ли ежедневно есть мясо?

Я утверждаю, что человек, который будет *собственными руками* обрабатывать землю, даже при самых благоприятных условиях—предполагая, что земли у него столько, *сколько он может обработать*, предполагая, что он не платит никаких податей—*не может наработать столько*, не может своим собственным трудом прокормить столько скота, *чтобы он и его семейство имели ежедневно вдоволь мяса*. Не может!

Самое большое, что он будет иметь—это вдоволь мяса по праздникам, хорошо если кусочек, для запаха в будни, и достаточно молока, яиц, мяса для питания детей, немощных стариков, больных.

Вдоволь мяса могут есть люди, на которых работают другие, и потому только могут, что эти работающие на них питаются растительною пищей. Если вы имеете ежедневно бифштекс за завтраком, бульон и ростбиф за обедом, то это только потому, что есть тысячи людей, которые никогда почти не едят мяса, дети которых не имеют достаточно молока. Все это сделается совершенно ясно, если высчитать, что может выработать человек и что нужно выработать для прокормления скота, потребного для мясного питания его семейства.

У нас теперь мясо чрезвычайно дешево. При обыкновенной продаже скота осенью в деревне хозяин получает за говядину от 80 копеек до 1 рубля 50 копеек за пуд, красная цена 2 рубля. Посчитайте, много ли при такой цене придется рабочему за труд, который он употребил для приготовления корма и на уход за скотом. Посчитайте. Вы удивитесь, как мало копеек придется косцу за его тяжелый труд.

Ведь это только нужда, необходимость уплатить подати, купить хлеба, продает мясо по таким дешевым ценам, и *чем дешевле мясо, тем, значит, более эта нужда*. Прошедшей осенью у нас говядина обходилась скупщикам скота по 80 копеек за пуд, знаю даже несколько покупок по 50 копеек пуд. Между тем ржаная мука была от 1 рубля до 1 рубля 10 копеек за пуд. Мужик приводил на рынок корову, продавал ее за бесценок и на вырученные деньги покупал ржаную муку.

Я верно говорю, и богатый чиновник, наслаждающийся сочным бифштексом из вырезки, и бедный студент, жующий подошву в кухмистерском супе, и извозчик, потребляющий пятикопеечную солонину во щах, *потому только* имеют мясную пищу, что масса земледельцев питается исключительно растительной пищей, а дети этих земледельцев не имеют достаточно молока. Не будь этой нужды, кто бы стал продавать говядину даже за три рубля пуд. В нынешнем году хлеб уродился лучше, уплата

налогов несколько облегчилась тем, что вследствие падения рубля ценность земледельческих произведений, идущих за границу, повысилась, нужды стало меньше, и потому скот тотчас повысился в цене, да и достать его негде. Мужик не продает скота: если корму достаточно, то он пускает лишнюю скотину на зиму, если мало—бьет сам.

Мы отовсюду слышим жалобы на невыгодность хозяйства и почти все согласны, что этому причиною бездоходность скотоводства. Дело дошло до того, что некоторые агрономы советуют даже вовсе уничтожить скот, а сено, мякину, солому прямо употреблять для удобрения, потому что навоз обходится дороже. И, право, в этом предложении хозяйничать по-японски есть известный смысл. Но где же лежит причина этой бездоходности скотоводства? Я не могу согласиться, что она заключается только и в недостатке умственных людей между хозяевами, только в недостатке производительности техники. Чтобы убедиться в этом, стоит только представить себе, что все хозяева умственные люди, все отличные скотоводы, и задаться вопросом: что будет тогда? сделается ли тогда скотоводство более доходным? Нет, я думаю, что корень лежит глубже. Я думаю, что причиною дороговизны навоза—дешевизна мяса, происходящая от бедности крестьян-земледельцев, питающихся исключительно хлебом. Известно, что в настоящее время все признают наиболее выгодным молочное скотоводство, и если это скотоводство более выгодно, то потому только, что молоко, масло, сыр стоят в хорошей цене. А это, в свою очередь, зависит от того, что крестьяне не продают молоко, но кормят им детей или едят сами. Известно, что артельные сыроварни, искусственно задуманные, потерпели фиаско, так что посредством этих артельных сыроварен не удалось вырвать молоко у крестьянских детей.

Я говорил, что человек не может сам выработать столько, чтобы всегда иметь вдоволь мяса. Каждый, кто посмотрит на дело просто, без предвзятых мыслей, согласится, что растительные азотистые вещества составляют естественную пищу человека. Естественнее человеку питаться растительной пищей, чем воздерживаться от нарождения детей или видеть своих детей мрущими от недостатка молока. Если из земли можно прямо получить растительные вещества, годные для питания взрослого человека, то зачем же предварительно стравливать эти вещества скоту, причем неминуемо произойдут потери? Другое дело дети, для них совершенно необходимы молоко, животные белковые вещества, так же необходимы, как яйца и творог для цыпленка. Курицу кормят овсом, однако, никто не станет кормить овсом цыплят, но даст им рубленые яйца, творог, молочную кашу.

Совершенно понятно, для меня по крайней мере, что при иных порядках люди не оставляли бы землю под травами для прокормления скота, а возделывали бы на ней хлеба, которыми непосредственно могут питаться люди. Конечно, тогда не воздерживались бы от нарождения детей, тем более, что с хлороформом этот акт совершается безболезненно.

Чтобы не остаться непонятным—а хуже этого нет,—еще поясню свою мысль.

Всем известно, что в последнее время среди интеллигентной молодежи есть стремление итти в земледельцы, чтобы трудами рук своих зарабатывать хлеб. Одни едут в Америку, чтобы сделаться там простыми работниками—это, конечно, самые слабые,—другие остаются в России и делают попытки сесть на землю и обрабатывать ее собственными руками.

Мне совершенно понятны эти стремления, я им вполне сочувствую, верю, что это историческое призвание русских интеллигентных людей. Я убежден, что появление в среде темных земледельцев таких интеллигентных людей есть залог величия, силы, могущества нашей родины, я убежден, что народ, наш могучий сильный народ, которого ничто не могло сломить, перетянет к себе, *всосет* в себя лучшие соки нашей интеллигенции. Моему сыну, когда он войдет в силу, окончит ученье и спросит меня: что делать? я укажу на пашущего мужика и скажу: «вот что—иди и паши землю, зарабатывай собственными руками хлеб свой. Если найдешь другого, который пришел к тем же убеждениям, соединись с ним, потому что двое, *работая вместе*, *сообща* сделают больше, чем работая каждый в одиночку, найдешь третьего—еще того лучше...»

Но, спросят, может быть, некоторые, неужели же, имея столько земли, сколько можно обработать и работая так, как работает мужик, неужели нельзя заработать столько, чтобы ежедневно иметь вдоволь мяса для себя, жены, детей, стариков? *Нет*, нельзя иметь достаточно своего мяса, то-есть мяса, произведенного собственным трудом. Я говорю *своего* мяса, потому что при теперешних условиях, если у одного достаточно земли, а у других недостаточно, то, разумеется, можно у нуждающихся купить говядину по 2, по 3 копейки за фунт, а им чуть не по той же цене продать свой хлеб.

Хорошо, если выработаешь столько, чтобы дети, старики, больные всегда имели достаточно мяса, молока, бульона.

Если соединяются вместе две, три, десять, двенадцать пар и будут работать сообща, каждый по силе и способности, то мясо чаще будет появляться на столе, будет иногда и баранинка в будни...

Однако, пора уже возвратиться к обедающим вареной картошкой граборам, замечание которых, что не стоит лучше есть,

когда работаешь с поденщины, за 45 копеек день, дало мне повод сделать такое длинное отступление. Я хотел сначала только рассказать о наших граборах, как об одном из самых интереснейших, *интеллигентнейших* и самобытных типов *артельных* рабочих нашей местности, но что же делать, если, говоря об этих людях, приходится постоянно отвлекаться. Простите.

Каюсь, что ужасно люблю наших граборов или, лучше сказать, граборские артели. В них есть что-то особенное, благородное, честное, разумное, и это *что-то* есть общее, присущее им, только как *артельным* граборам. Человек может быть мошенник, пьяница, злодей, кулак, подлец, как человек сам по себе, но как артельный грабор он честен, трезв, добросовестен, когда находится в артели.

Недалеко от меня, за Днепром, есть несколько волостей, населенных граборами, исконными, старинными граборами, которые еще при крепостном праве занимались этим ремеслом. Специальность граборов—земляные работы; рытье канав, прудов, погребов, отсыпка плотин, плантовка лугов, выкапывание торфяной земли, штыкование садов и огородов, отделка парков, словом—все работы с заступом и тачкой. Но, если требуется, граборские артели исполняют и всякие другие хозяйственные работы: корчуют пни, деревья, кусты, косят, пашут, молотят, словом—делают все, что потребуется в хозяйстве. Все хозяйственные работы граборы исполняют хорошо, потому что они сами хозяева и занимаются дома земледелием, а граборское ремесло служит им только подспорьем.

Исконные, старинные граборы, из поколения в поколение занимающиеся граборским делом, достигли в земляном деле высочайшей степени совершенства. Нужно видеть, как режет грабор землю, вырывая, например, прудок,—сколько земли накладывает он на тачку, как везет тачку! Нужно видеть, как он обделывает дерном откосок! До какого совершенства, до какого изящества доведена работа! Грабор работает, повидимому, медленно: он тщательно осматривает место работы, как бы лучше поладиться, тщательно выбирает такой дерн, какой ему нужен, режет землю тихо, аккуратно, так, чтобы ни одной крошки не осталось, ни одной крошки на свалилось с заступа,—он знает, что все это будет потеря работы, что все эти крошки придется опять поднять на ту же высоту, с которой они свалились. Нельзя не залюбоваться на граборскую работу, тем более, что вы не видите, чтобы грабор делал особенные усилия, мучился на работе, особенно напрягал мускулы. Ничего этого нет. Он работает, как будто шутя, как будто это очень легко: дерн, глыбы земли в пуд весом грабор отрезывает и выкидывает на тачку, точно режет ломтики сыру. Так это все легко делается, что кажется, и сам так бы сделал. Только тогда и поймешь, как трудна эта

граборская работа, сколько она требует науки, когда рядом с старым опытным грабором увидишь молодого, начинающего, недавно поступившего в артель. Старый уже выкидал свою дольку земли и сел трубочку покурить—залогу делает, а молодой еще возится на своей дольке, и глыбы земли у него не такие, и земля крошится, и подчистки много, и тачку опрокинул, не довезя до конца доски, подчищать нужно. Старые позаложили, отдохнули, пора за новые дольки браться, а ему и отдохнуть некогда, потому что нужно выгнать столько же, сколько и другие товарищи артели. Положим, в артели каждый получает за то количество кубов земли, какое он вывез, но ведь едят сообща, совестно отставать от артели. И вот, нервно пососав трубочку, отдохнув всего какую-нибудь минуту, молодой грабор опять берется за заступ и спешит на свою дольку. Искусство граборов в земляном деле еще более ярко выделяется, если посмотреть на эту же работу, когда ее делают обыкновенные крестьяне, не граборы. Мне достаточно посмотреть то место, с которого брали землю, чтобы безошибочно определить, кто работал: граборы или крестьяне. Где брали землю неграборы, тотчас видно, что люди делали огромную массу непроизводительной работы, бесполезно растрачивали силу. Крестьяне, впрочем, за настоящие граборские работы никогда почти и не берутся, и если в деревне нужно вырыть канаву или пруд, то нанимают граборов.

Инструменты грабора, заступ и тачка,—топор они употребляют очень редко и даже при корчевке кустов обыкновенно отсекают коренья заступом—доведены ими до высокой степени совершенства. Применяет грабор эти инструменты опять-таки наисовершеннейшим образом, да оно и понятно, что человек, который, совершенно точно знает, сколько на каком харче можно сработать, который считает, что на дешевой работе не стоит хорошо есть, такой человек не сделает лишнего взмаха заступом, не выкинет лишнего фунта земли, и для выполнения каждой работы употребит minimum пудо-футов работы. Понятно, что у таких людей и инструмент налажен наисовершеннейшим образом.

Нужно заметить, что наладка инструмента очень характеризует работника. У хорошего работника инструмент всегда отлично налажен и индивидуально приспособлен. Он всегда знает свой инструмент и свою работу. Когда я удивлялся этому, видя, что человек тотчас узнает свою завязку на мешке, след от своего лаптя и т. п., то один крестьянин заметил мне: «а разве вы, когда напишете что-нибудь, то не можете после того узнать, что это вы писали? Разве вам все равно, каким пером писать?».

Особенно хорошо поймешь всю важность наладки инструмента, когда увидишь, как работает человек из интеллигентных, которому нужны месяцы работы для того только, чтобы

понять всю важность и суть наладки—не говорю уже выучиться насаживать и клепать косу, делать грабли, топорища, оглобли, оброти и тысячи других разнообразнейших предметов, которые умеет делать мужик.

Сравнительное ли благосостояние, вследствие большого заработка, или особенности граборской работы, требующей умственности, тому причиною, но граборы очень интеллигентны и смышлены. Не говоря уже о том, что настоящий грабор, отлично определит, как нужно провести канавы, чтобы осушить луг, отлично спустит воду, сделает запруды и стоки, чтобы наидешевейшим образом исправить худое место на дороге—сам становой со всеми своими «курятниками» не сделает лучше,—вычислит емкость вырытого пруда (для этого всегда в артели есть особенный умственный человек), поставит лизирки, чтобы нивелировать местность. Замечательно еще и то, что граборы обладают большим вкусом, любят все делать так, чтобы было красиво, изящно. Для работ в парках и садах, при расчистке пустошей, если кто хочет соединить полезное с приятным, граборы—просто клад. Даже немцы-садовники, презирающие «русски свинь мужик», дорожат граборами. В самом деле, стоит только сказать грабору, чтобы он так-то и так провел дорожку, обложил дерном, перекопал клумбу, сделал насыпь, сточную канаву, и он тотчас поймет, что требуется, и сделает все так хорошо, с таким вкусом, с такою аккуратностью, что даже немец удивляться будет.

Расчищая на луга заросшие пустоши, я хотел так расчистить поляны между рощами, чтобы пустоши превратились в красивый парк. Стоит такая расчистка не дороже, а между тем и самому приятней, и для скота хорошо, если всюду есть чистые проходы, наконец, и ценность имения возвышается. Линии лужаек на пустошах определялись рощами, но необходимо было сделать опушки красивыми, оставить кое-где деревья на полянах, осушить низкие места, сделать просеки или дорожки, по которым пастух мог бы опережать стадо, и пр. Наняв для расчистки пустошей граборов с тем, чтобы они, расчищая, выбирали все годное на дрова, срезали кочки, давали, где нужно, канавки, я объяснил рядчику, чего бы мне хотелось достигнуть. Он понял с двух слов.

— Понимаю. Чтобы, значит, поляны были для травы, чтобы скот на виду у пастуха шел, чтобы красиво было. Понимаю: чтобы в роде гульбища было.

— Ну, да, да.

— Понимаю. А деревья какие на лужайках оставлять?

— Которые покрасивее.

— Раскидистые, значит, которые ни на какое дело не годятся.

— Разумеется. Да ты работал где-нибудь в парках!

— Работали, знаем, чтобы в роде, значит, гульбища. Дорожек только не будет. Понимаем.

— Ну, да.

— Понимаем, отделаем. Вот эту низину мы на этой неделе к субботе отделаем. Пожалуйте тогда посмотреть. Будете довольны. Знаю, что ребятам по стаканчику поднесете.

В субботу я пришел посмотреть расчистки. Поражен был—просто прелесть. Поляна уже обозначилась, опушки рощ были подчищены и выровнены, лом везде подобран, кусты и лишние деревья на поляне вырублены, кочки срезаны. Загляденье. Грабор тотчас же заметил, что я доволен.

— Вот сюда еще пожалуйте. Я здесь на лужке, в закоулке, сосенку подпустил, сосенка-то она не того, чтобы очень, пораскидистее бы нужно, да что делать, какая есть, все-таки хорошо будет на березе темным отдавать—вот отсюда посмотрите.

Действительно, на красивой лужайке, окруженной березовыми зарослями, была оставлена небольшая сосна, темная зелень которой превосходно оттеняла освещенную вечерним солнцем светлую зелень молодых берез.

Грабор сам любовался и сиял удовольствием.

— Это еще теперь осень, весною лучше будет,—заметил он,—да и воздух от сосны духовитый. Там над рвом на бичажку я еще дубок оставил, славный дубок, пряменький, на всякую поделку годен. Нет раскидистых дубков, а раскидистый бы лучше, и ни в какое дело не годится, целее бы был. Ну, да попытаем на счастье оставить.

— Да где ты этому всему научился?—восхищался я, осматривая расчистки,—ишь как вывел!

— Уж научились—знаем, как господам нужно.

— У немца где-нибудь работал, парк разбивали?

— Работали и у немцев тоже. В Петлине работали, дерева там сажали всякие. Да мы у самой Шепелихи работали, а уж та ли барыня не чудила. Чего-чего там не делала, на полях пруды рыли, дерном откосы обкладывали, дорожки по полям проводили, цветы сажали, горы насыпали. Уж так чудила, так чудила, аглицкую парку из всего имения сделать хотела, чтобы всюду чисто было, духовито. Коровы с колоколами. Уж на что ваша Брендиха чудит, каждый год кусты с места на место пересаживает, а про Шепелиху и говорить нечего. Чудная барыня, нужно чуднее, да не найдешь. Денег сколько хочешь—одних граборов больше ста человек артель, да и цены-то какие—60 копеек поденщина. Жаль, умерла эта барыня, много граборам работы давала. Как умерла, все работы прекратились... А вот тут канавку нужно дать,—остановился грабор.

— Зачем?

— Если тут канавку в ров дать, вся луговина лучше просохнет, важнейшая трава родиться станет. У вас тут с этой луговины сена страсть что будет.

— Хорошо.

— Так, значит, все и делать, как эту луговину?

— Да, да.

— Понимаю. Следовало бы ребятам четвертушку поставить, заморились за эту неделю во как, лозник, ведь, все, мокрота. Уж так старались.

Граборы в общей сложности принадлежат к числу зажиточных крестьян нашей местности. Некоторые деревни после «Положения» уже успели приобрести в собственность значительные помещичьи хутора, смежные с их деревнями. Они арендуют заливные луга большей частью на деньги. Дома граборы занимаются хозяйством, а зимою многие деревни занимаются обжиганием извести, выламыванием и доставкою известковой плиты. Граборские заработки составляют для них важное денежное подспорье. Главное для граборов—это иметь по возможности близко от дома заработок. На дальние заработки, на железные дороги граборы, по крайней мере, обстоятельные хозяева, не ходят—разве только какие-нибудь обедневшие одиночки, бобыли, бросившие землю.

Граборы ищут работы главным образом вблизи, у соседних помещиков. В настоящее время, когда помещичьи хозяйства поупали, работ стало меньше, граборы разбились на мелкие артели в 5—10 человек и очень дорожат работой у помещиков, особенно у молодых, рьяных, новеньких, которые садятся на хозяйство с деньжонками, мало знакомы с делом, любят проводить канавы на лугах и полях, копать прудочки, причем скоро ухлопывают деньжонки на дорогие граборские работы, часто для хозяйства совершенно бсеполезные. Не только граборские рядчики, но и большинство граборов отлично понимают хозяйственное значение своих работ и пользу, которую они могут принести. Если хозяин будет советоваться с грабором, не будет чудить, будет требовать от грабора, чтобы делалось то, что может принести пользу, то можно вполне положиться на рядчика, что он не сделает бесполезных работ. Хороший рядчик не только сумеет осушить луг, но, как хозяин, может наперед сказать, стоит ли осушать. Он точно так же может сказать, стоит ли расчищать какую-нибудь заросль под луг или поле, нужно ли провести те или другие канавки на полях. Я много раз слышал советы опытного рядчика, что такую-то луговину не стоит осушать, потому что травы на ней все равно не будет, а в сомнительных случаях советует попробовать сначала отделать небольшую частицу и т. п. Но если барин сам загадывает работы, сам назначает, где проводить канавы, где плантовать, где расчищать, то грабор не только беспрекословно будет исполнять, но даже

и замечаний никаких не сделает, хотя очень хорошо будет понимать, что пользы от работы не будет. Видя однажды, что граборы у соседнего помещика роют совершенно бесполезную, даже вредную канаву, я спросил у знакомого рядчика, зачем это?

— Приказал барин.

— Да неужели же ты не видишь, что от этой канавы вред будет?

— Еще бы не видать!

— Так что же ты барину не представил?

— Не спрашивает. А нам что? Денег, должно быть, у него много, деньги ведь ему ничего не стоят, а нам что! Приказано, ну и роем.

— Однако ж, и про рядчика скажут: ишь, где канаву провел! Ничего не понимает.

— Оно так. Да ведь не всякому сунешься говорить.

— Отчего ж? Коли резон представишь?

— Норовиты бывают. Да и резоны-то наши не всегда попадают. И из бар тоже умственные люди бывают. Кто его знает, для чего он делает, а смотришь—и толк иной раз выйдет. Мы тоже свет видали.

— А что?

— Да вот чугунку проводили. Тут насыпь, там выемку сделай, смотришь, и вышло. Мост и дамбу на Днепре делали, думали, ни в век не устоять в большую воду, а вот восьмой год держится. Говорили инженеру тогда, он только усмехается: вы мужики—дураки, говорит, ваше дело сыпать—сыпьте... Умственные люди бывают и из бар.

Но что особенно любят граборы—это господ, которые «чудят», которые, имея много денег, насмотревшись за границей на немецкие леса, парки, обсаженные тополями или плодовыми деревьями дороги, хотят сделать такие же парки в своих *Подъеремовках*. Такие «махонькие», как у нас говорят, *графини Сотерланд*—сущий клад для граборов. Цены большие, работы много: что там ни будет стоить, только бы было сделано ко времени. Все дело—лишь бы рядчик сумел *подладить* барину или барыне, выйти на линию, потому что у господ не в деле дело, а в том, чтобы понравиться, подладить. У панов ведь деньги вольные. Вот добрый пан, говорят мужики, всем помогает, прóстый, да и что ему стоит!

Кстати, скажу здесь, что вообще мужики так называемый умственный труд ценят очень дешево, и замечание грабора об инженере вовсе не служит доказательством противного. В одной деревне школьному учителю мужики назначали жалованье всего 60 рублей в год, на его, учителя, харчах. Попечитель и говорит, что мало, что батраку, работнику полевому, если счи-

тать харчи, платят больше. А мужики в ответ: коли мало, пусть в батраки идет, учителем-то каждый слабосильный быть может—мало ли их,—каждый, кто работать не может. Да потом и стали высчитывать: лето у него вольное, ученья нет, коли возьмется косить—сколько накосит!.. Тоже огород может обработать, корову держать, от родителев почтение, коли ребенка выучит,—кто конопель, кто гороху, кто гуся,—от солдатчины избавлен. Батраку позавидовали! Да научи меня грамоте, так я сейчас в учителя пойду, меду-то что нанесут—каждому хочется, чтобы дите выучилось.

Характеристичен рассказ одного знакомого мне дьякона, доказавшего мужику, что и их поповский труд не легок и что они недаром тоже получают деньги.

«Какая ваша работа,—говорит мне один мужик,—рассказывал дьякон,—только языком болтаете!».—А ты поболтайка с мое,—говорю я ему!—«Эка штука!»—Хорошо, вот будем у тебя служить на никольщину, пока я буду ектенью да акафист читать, ты попробуй-ка языком по губам болтать. И что ж, сударь, ведь подлинно не выдержал! Я акафист-то настояще вычитываю, а сам поглядываю—лопочет. Лопотал, лопотал, да и перестал. Смеху-то что потом было, два стакана водки поднес: «заслужил, говорит, правда, что и ваша работа не легкая».

Знал дьякон, чем доказать мужику трудность своей работы!

— Поступая в новый приход,—рассказывал мне один поп,—чтобы *заслужить уважение*, нужно с первого раза озадачить мужика: служить медленно, чтобы он устал стоять, чтобы ему надоело, чтобы он видел, что и наше дело не легкое, или накадить больше—нам-то с привычки, а он перхает.

Граборы *никогда не нанимаются на работу на целое лето*, но только на весеннюю упряжку, с 25 апреля по 1 июля, и на осеннюю, с 25 августа по 22 октября. Лето же, с 1 июля по 25 августа, следовательно, время сенокоса и уборки хлеба, работают дома.

Весною, как только сгонит снег, граборские рядчики отправляются по знакомым господам искать работы. Осмотрев и сообразив работу, рядчик определяет, как велика должна быть артель, договаривается насчет цены—почем поденщина, куб, сажень канавы—и затем уходит домой. Когда наступит время работать, рядчик является с своей артелью, в которой он—если артель не слишком велика и вся занята в одном месте, работает наряду с другими.

Насчет помещения граборы, как и все русские люди, начиная с богатого купца и кончая беднейшим подпаском, невзыскательны—была бы только печка, чтобы было где высушить мокрые онучи и изготовить кушанье. Нанимаются граборы обыкновенно на своих харчах и, если артель большая, то дер-

жат кухарку; если же артель невелика, то кушанье готовит один из граборов, что он успевает сделать до завтрака.

Рядчик, как я уже говорил, работает наравне с другими граборами, ест то же самое, что и другие. Рядчик есть посредник между нанимателем и артелью. Наниматель членов артели не знает, во внутренние порядки их не вмешивается, работ им не указывает, расчета прямо с ними не ведет. Наниматель знает только рядчика, который всем распоряжается, отвечает за работу, получает деньги, забирает харчи, имеет расчет с хозяином. В граборских артелях рядчик имеет совершенно другое значение, чем в плотничьих, где рядчик обыкновенно есть хозяин, берущий работу на свой страх, получающий от нее все барыши и несущий все убытки, а члены артели—простые батраки, нанятые хозяином-рядчиком за определенную плату в месяц на его, рядчика, харчах. В граборских артелях все члены артели равноправны, едят сообща, и стоимость харчей падает на свою заработанную сумму, из которой затем каждый получает столько, сколько он выработал, по количеству вывезенных им кубов, вырытых саженей и пр. Работа, хотя и снимается сообща, всею артелью, но производится в раздел. Когда роют канаву, то размеряют ее на участки (по 10 сажен обыкновенно) равной длины, бросают жребий, кому какой участок рыть, потому, земля не везде одинакова, и каждый, равным образом и рядчик, роет свой участок; если расчищают кусты или корчуют мелкие пни, тоже делят десятину на участки (нивки) и опять по жребию каждый получает участок. Словом, вся *работа производится в раздел*,—разумеется, если это возможно,—и *каждый получает по количеству, им выработанного*. В этом отношении рядчик имеет только то преимущество перед другими членами артели, что, сверх заработанного своими руками, получает от артели так называемые *лапотные деньги*, то-есть известный процент—5 или 10 копеек с рубля—с общей суммы заработка. Эти деньги рядчик получает за свои хлопоты: хождение за приисканием работы—от того и название лапотные деньги,—выборку харчей, расчеты с нанимателем, разговоры с ним относительно работы, причем рядчик теряет рабочее время, лишние расходы на одежду и пр. Но, главным образом, рядчик получает этот процент за то, что он заручился работой у знакомого нанимателя. Это видно из того, что теперь, когда работ стало меньше, процент этот повысился, потому что рядчик, особенно если он заручился хорошей работой, подбирая артель, старается понажать и выговаривает в свою пользу больший процент. Впрочем, все зависит от взаимных условий: отвечает ли, например, рядчик перед артелью за неплатеж денег нанимателем, состоит ли артель из старых, опытных граборов или из начинающих и пр. Рядчик, особенно если он не исконный

старый рядчик, а случайный или начинающий, не всегда есть умственный человек артели. Случается, что рядчик не силен в математических вычислениях, не может, например, быстро вычислить объем земли, вынутой из пруда сложной фигуры и т. п., в таких случаях в артели всегда найдется умственный человек, который делает подобные вычисления. Умственный человек никогда не получает особой платы от артели.

В артели граборы всегда отлично ведут себя, ни пьянства, ни шуму, ни буйства, ни воровства, ни мошенничества. Артель не только зрит за своими членами, но, оберегая от всяких подозрений свою добрую славу, наблюдает и за всем, что делается в усадьбе, дабы не случилось какого воровства, подозрение в котором могло бы пасть на граборов. Все граборы пьют охотно, любят выпить и, когда гуляют дома, то пьют много, по-русски, несколько дней без просыпу, но в артелях ни пьяниц, ни пьянства нет. Никто в артели не пьет в одиночку, а если пьют, то пьют с общего согласия, все вместе в свободное время, когда это не мешает работе. Поступая, например, на работу, пьют «привальную», оканчивая работу, пьют «отвальную», и тут пьют здорово; во время же работ пьют по-малости, когда холодно, сыро и есть особенно трудная работа. Все это, равно как и всякие изменения в харчах, делается с общего согласия. Вообще согласие в артели замечательное, и только работа производится в раздел, причем никто никогда друг другу не помогает, хоть ты убейся на работе.

В весеннюю упряжку граборы работают только до 1 июля. После петрова дня их уже ничем не удержишь. Вычитай, что хочешь, из заработка,—никто не останется—бросят все и уйдут. Рядчик разделывайся там, как знаешь. Возвратившись домой, артель производит расчет: из заработанной артелью суммы прежде всего выделяется, с общего согласия, известный процент в пользу местной церкви, на икону казанской божьей матери, особенно чтимой граборами, так как и весенняя, и осенняя упряжки кончаются к празднику казанской. Затем выделяются лапотные деньги рядчику, вычитается стоимость харчей, и остальное делится между членами артели, сообразно заработку каждого. Погуляв несколько дней, отпраздновав летнюю казанскую (8 июля), граборы принимаются за покос, непомерно работают все страдное время, так что даже заметно спадают с тела, в конце августа опять идут на граборские работы, на осеннюю упряжку, и возвращаются домой к зимней казанской (22 октября). Отпраздновав казанскую, погуляв на свадьбах, становятся на зимние работы.

В настоящих граборских артелях нет ни пьяниц, ни мошенников, то-есть они, пожалуй, и бывают, но сдерживаются артелью, потому что еще не совсем отпетые люди. Но, разумеется,

и между граборами есть вовсе отпетые пьяницы, есть и воры, которые способны воровать даже у своих братьев, граборов, есть и буяны, и мошенники, сварливые, нигде не способные ужиться люди, не артельные люди, как говорят мужики. Таких людей ни одна артель не принимает. Наконец, есть не мало слабосильных, стариков, недоумков, подупавших по хозяйству людей, которые в батраки наниматься не хотят, хозяйств не бросают, в артели же становиться не могут, потому что не могут задолжаться на всю упряжку. Все такие люди артелей не держатся или артели их не держат. Обыкновенно такие граборы ходят одиночками, нанимаются у помещиков, где мало работы— нехватает на артель. Лучшие из них, подупавшие от разделов или несчастия, ищут работы у знакомых ближайших помещиков, где прежде работали в артелях; худшие, пьянейшие, *старики*, нанимаются по деревням у крестьян рыть канавы, пруды и т. п. Иногда пьяницы-одиночки соединяются в артели, выбирают, которого побойчее, рядчиком и снимают где-нибудь работу. Но такие неправильные артели нередко оканчивают дело бесчестно: возьмут непосильную работу, напьют, наедят, наберут вперед денег, а работы не кончат и уйдут, когда наступит время покоса, оставив, например, недоделанным пруд, так что деревня остается на жаркое время без водопоя. Жертвами таких артелей бывают новички-помещики, а больше *добродушные на миру и доверчивые* крестьяне, которые иногда целой деревней нанимают артель граборов для очистки прудов и т. п. Опытные хозяева поэтому держатся раз облюбованных рядчиков и знакомых артелей.

Я говорил выше, что в общем граборы живут зажиточно, а в сущности и все могли бы жить хорошо и богато даже. Земли многие деревни имеют достаточно, даже более, чем нужно,— это те, которые после «Положения» сумели приобрести в общественную собственность смежные помещичьи хутора с уплатой за купленную землю работой в рассрочку на года. За эти купленные земли им приходится платить сборов безделицу, столько же, сколько платят за свои земли помещик, даже менее, потому что не нужно платить дворянский сбор. Весенний и осенний заработки дают граборам в очистку до 35 рублей на человека, а то и больше, смотря, какая работа выпадет, какова погода, из этого заработка можно уплатить повинности и взять в аренду заливные луга, что дает хороший заработок, если даже и продать сено, а не то что употребить на коней в своем хозяйстве. Наконец, в деревнях, где занимаются обжиганием извести, зимою тоже есть хороший заработок.

Казалось бы, как не жить при таких условиях, а между тем, хотя в общем, считая и богачей, благосостояние граборских деревень и выше благосостояния большинства прочих

крестьянских деревень, но все-таки и в граборских деревнях рядом с богачами, есть множество голых бедняков, бросивших землю, нанимающихся в батраки. Где же причина, корень этого явления? Причина этого в том, что и граборы, которые так хорошо устраивают свои рабочие артели, в *хозяйственных своих делах действуют разъединенно*, не могут, не пытаются, не думают даже об устройстве хозяйственных артелей для ведения хозяйства сообща.

В моих письмах я уж много раз указывал на сильное развитие индивидуализма в крестьянах; на их обособленность в действиях, на неумение, нежелание, лучше сказать, соединяться в хозяйстве для общего дела. На это же указывают и другие исследователи крестьянского быта. Иные даже полагают, что делать что-нибудь сообща противно духу крестьянства. Я с этим совершенно не согласен. Все дело состоит в том, как смотреть на дело сообща. Действительно, делать что-нибудь сообща, огульно, как говорят крестьяне, делать так, что работу каждого нельзя учесть в отдельности, противно крестьянам. На такое общение в деле, по крайней мере, при настоящей степени их развития, они не пойдут, хотя случается и теперь, что при нужде[1], когда нельзя иначе, крестьяне и теперь работают сообща. Примером этому служат артели, нанимающиеся молотить, возить навоз, косить. Но для работ на *артельном начале*, подобно тому, как в граборских артелях, где работа делится и каждый получает вознаграждение за свою работу, крестьяне соединяются чрезвычайно легко и охотно. Кто из нас сумеет так хорошо соединиться, чтобы дать отпор нанимателю (если бы не артели, то разве граборы получали бы такую плату за работу: граборы-одиночки обыкновенно получают дешевле, потому что перебивают работу друг у друга), кто сумеет так хорошо соединиться, чтобы устроить общий стол, общую квартиру?

Но, спрашивается, почему же невозможно вести хозяйство на артельном начале? Ниже, в этом же письме, я еще раз возвращусь к этому важному вопросу.

Лучшим примером того, какое значение в хозяйстве имеет ведение *дела сообща*, соединенное с общежитием, служит зажиточность больших крестьянских дворов и их обеднение при разделах.

Крестьянский двор зажиточен, пока семья велика и состоит из значительного числа рабочих, пока существует хотя какой-нибудь союз семейный, пока земля не разделена и работы производятся сообща. Обыкновенно союз этот держится только, пока жив старик, и распадается со смертью его. Чем суровее старик,

[1] Я знаю пример, что те же мужики, три отставных солдата—люди артельные, привыкшие на службе к делу сообща,—поселились в деревне и, взяв землю, *сообща* построили овин и *сообща* молотят на нем; сегодня все молотят хлеб, принадлежащий одному, завтра—другому.

чем деспотичнее, чем нравственно сильнее, чем бо́льшим уважением пользуется от мира, тем больше *хозяйственного* порядка во дворе, тем зажиточнее двор. Суровым деспотом-хозяином может быть только сильная натура, которая умеет держать бразды правления силою своего ума, а такой умственно сильный человек непременно вместе с тем есть и хороший хозяин, который может, как выражаются мужики, все хорошо «загадать»; в хозяйстве же хороший «загад»—первое дело, потому что при хорошем загаде и работа идет скорее и результаты получаются хорошие.

Но как ни важен хороший «загад» хозяина, все-таки же коренная причина зажиточности и сравнительного благосостояния больших не разделявшихся семей заключается в том, что земля не разделена, что работа производится сообща, что все семейство ест из одного горшка. Доказательством этого служит то, что большие семьи, даже и при слабом старике, плохом хозяине, не умеющем держать двор в порядке, все-таки живут хорошо.

Я знаю один крестьянский двор, состоящий из старика, старухи и пяти женатых братьев. Старик совсем плох, стар, слаб, недовидит, занимается по хозяйству только около дома, в общие распоряжения не входит. Хозяином считается один из братьев. Все братья, хотя и молодцы на работу, но люди не очень умные и бойкие, смиренные, рахманные, как говорят мужики, даже тупые, совершенно подчиненные своим женам. Бабы же, как на подбор, молодица к молодице, умные—разумеется, по-своему, по-бабьему,—здоровые, сильные, все отлично умеют работать и действительно работают отлично, когда работают *не на двор*, *а на себя*, например, когда зимою мнут у меня лен и деньги получают *в свою пользу*. Хозяйство в этом дворе в полнейшем беспорядке; бабы хозяина и мужей не слушают, на работу выходят поздно, которая выйдет ранее, поджидает других, работают плохо, спустя рукава, гораздо хуже батрачек, каждая баба смотрит, чтобы не переработать, не сделать более, чем другая. Все внутренние бабьи, хозяйственные работы производятся в раздел. Так, вместо того, чтобы поставить одну из баб хозяйкой, которая готовила бы кушанье и пекла хлебы, все бабы бывают хозяйками по очереди и пекут хлеб понедельно—одну неделю одна, другую—другая. Все бабы ходят за водою и наблюдают, чтобы которой-нибудь не пришлось принести лишнее ведро воды, даже беременных и только что родивших, молодую, еще не вошедшую в силу девку, дочь старшего брата, заставляют приносить соответственное количество воды. Точно так же по очереди доят коров; каждая баба отдельно моет белье своего мужа и детей; каждая своему мужу дает отдельное полотенце вытереть руки

перед обедом, каждая моет *свою дольку* стола, за которым обедают. Случилось, что в этом дворе были у трех баб одновременно грудные дети, которых нужно было подкармливать молочной кашей, между тем зимою во дворе была всегда одна рано отелившаяся корова, так что все молоко должно было итти на грудных детей. Казалось бы, чего проще хозяйке выдоить ежедневно корову и сварить общую молочную кашу для всех детей. Нет, ежедневно одна из баб-дитятниц, по очереди, доит корову, молоко разделяется на три равные части, и каждая баба отдельно варит кашу своему ребенку. Наконец, и этого показалось мало—должно быть, боялись, что доившая может утаивать молоко,—стали делать так: бабы доят коров по очереди, и та, которая доит, получает все молоко для своего ребенка, то-есть сегодня одна невестка доит корову, получает все молоко себе, и потом три дня варит своему ребенку кашу на этом молоке, завтра другая невестка доит корову и получает все молоко себе, послезавтра третья...

Даже в полевых работах бабы этого двора вечно считаются. Каждая жнет отдельную нивку и, если одна оставила высокое жнитво, то и все другие оставляют такое же. Словом, работают хуже, чем наемные батрачки. Бабы этого двора даже разные торговые операции делают независимо от двора: одна из баб, например, арендует у бедных крестьян несколько нивок земли, независимо от двора, на свои деньги, сеет ячмень и лен в свою пользу, другая выкармливает на свой счет борова и продает в свою пользу.

Однако и при таком безобразии, *все-таки двор остается* зажиточным: нет недоимок, хлеба довольно, семь лошадей и восемь коров, хорошая снасть, бабы в нарядах, у мужиков сапоги, красные рубахи и синие поддевки, есть свободные деньги. И дом называется «богачев» двор. А почему? Потому что *земля не разделена* на малые нивки, потому что *нивы большие*, работа производится *сообща*, молотят на *одном* овине, сено кладут в *одну* пуню, скот кормят на *одном* дворе, живут в одном доме, топят *одну* печку, едят из *одной* чашки. При хорошем хозяине, у которого бабы в струне ходят, у которого во всем порядок и есть хозяйственный «загад», такой двор, состоящий из десяти работников, будет быстро богатеть, скота и лошадей будет много, корму, а, следовательно, и навозу будет достаточно, своя земля будет хорошо удобрена и обработана—нивы-то широкие, можно и так, и так пахать,—да и на стороне хозяин снимет у подупавшего барина землицы под лен и хлеб, а то смотришь, и купит какую-нибудь пустошку или хуторок, из которого потом вырастет деревня. Такому двору и «курятник» не страшен; случится, что—кто же знает, все мы под богом ходим—плюнешь направо, а может, «закон такой есть», как говорил

жид, что нужно плевать налево,—такому и «курятник» не страшен, ну, сунул ему трояк либо пятерку. Да и «курятник» тоже человек, все-таки же помянет, что в таком дворе его всегда приветят—отойди ты только от нас—полштоф поставят, «исправницкую яичницу»[1] сделают, медком угостят. Такой многосемейный двор, даже и при слабом хозяине, хотя и не будет так богатеть, но все-таки будет жить без нужды; и недоимок не будет, и хлеба достаточно, и в батраки сельские заставляться не станут. А про то, чтобы в «кусочки» ходить, и говорить нечего. Но вот умер старик. У некоторых братьев сыны стали подрастать—в подпаски заставить можно. У одного брата нет детей, у других только дочки. Бабы начинают точить мужей: «неволя на чужих детей работать», «вон Сенька бросил землю, заставился к пану в скотники, 75 рублей на готовых харчах получает, а женку в избу посадил—ни она жнет, ни пашет, сидит, как барыня, да на себя прядет» и т. д. и т. д. Сила, соединявшая семейство и удерживавшая его в одном дворе, лопнула. И вот, несмотря на то, что «один в поле не воин», что «одному и у каши не споро», что «на миру и смерть красна», двор начинает делиться. Вместо одного двора является, например, три. Нивы делятся на узенькие нивки, которые и обработать хорошо нельзя, потому что не только пахать, но и боронить нельзя: кружит баба с боронами, кружит, а все толку нет. Каждый работает отдельно на своей нивке. Молотят на трех овинах, да еще хорошо, если, разделившись, возьмут силу построить три овина, а то овин остается общий на трех, и каждый молотит на нем по очереди отдельно свой хлеб—ну, как же тут поспеть во-время намолотить на семена и сохранить хлеб чистым? У одного рожь чиста, у другого—он вчера на семена молотил—с костерем. Никто за овином не смотрит, нет к нему хозяина, никто его во-время не ремонтирует. Сено убирают каждый отдельно на своих нивках и, если что выигрывается от того, что каждый работает на себя, а не на двор, то теряется вследствие того, что одному нет возможности урвать в погоду, как может это сделать артель. Кладут сено в три отдельные пуни.

---

[1] В кухонных книгах мне никогда не встречалась среди разных яичниц «исправницкая яичница». Это простая, пахнущая дымком яичница-глазунья, которую готовят на лучинках. Очень вкусна. Такую яичницу в старину подавали в деревнях исправникам. После «Положения», после мировых посредников, мировых судей, следователей, приставов, словом, в новейшее время, об исправницкой яичнице в деревнях уже позабыли. Исправник стал большой барин («notre chef», как его величают уездные дамы) и с мужиком в соприкосновение приходит редко, разве волостного погоняет за невзнос податей. Даже становые облагородились, не имея дела до мужиков, которые знали только свое сельское начальство. Все было хорошо, ладно, мужики отдохнули до прошлого лета, когда на них напустили пьяную орду урядников.

Скот кормят на трех отдельных дворах, и для ухода, для носки корма нужно три человека, тогда как прежде делал это один. На водопой скот гонят три бабы, а прежде гоняла одна. На мельницу молоть едут три хозяина. Печей топится три, хлеб пекут три хозяйки, едят из трех чашек. Все необходимые во дворе «ложки» и «плошки» тому, кто дела не знает, кажутся пустяком, а попробуй-ка, заведись всем: если большое корыто, в котором кормили штук шесть свиней на «богачевом» дворе, стоит рубль, то три маленьких корыта стоят уже не рубль, а, примерно, хоть два.

Высчитайте все, высчитайте работу, и вы увидите, какая происходит громадная потеря силы, когда из одного двора сделается три, а еще того хуже—пять.

Непременным результатом раздела должна быть бедность. Почти все нажитое идет при разделе на постройку новых изб, новых дворов, амбаров, овинов, пунь, на покупку новых корыт, горшков, чашек, «ложек» и «плошек». Разделились «богачи», и вот один «богачев» двор обыкновенно превращается в три бедные двора. Разумеется, бывает, что и при разделе дворы остаются зажиточными. Это бывает в тех случаях, когда «богачев» двор был уж очень богат, когда у «старика» было много залежных денег, когда он владел всей деревней, когда кроме его, «богача», все остальные были голь непроглядная, когда все остальные были у него в долгу. Тогда из разделившегося «богачева» двора образуется три «богачевых» двора, у которых вся остальная деревенская голь состоит в батраках. Но это бывает редко, обыкновенно, разделился «богачев» двор, и являются три бедные двора или два бедные и один зажиточный—это того из братьев, который, будучи при «старике» или после смерти старика, пока не разделились, хозяином, сумел что-нибудь припрятать из общих денег, или того, который, будучи любимчиком отца или матери, получил особенно припрятанные деньжонки, или того, который, ходя на заработки, в Москву, Петербург, сумел принакопить что-нибудь из заработанных денег, или, наконец, того, жена которого еще в девках попала как-нибудь на линию: барин какой-нибудь навернулся петербургский, которому сотенная нипочем, инженер, купец пьяненький, старичок-помещик.

Но как бы там ни было, а разделились, и из одного «богачева» двора делаются три бедные. Все это знают, все это понимают, а между тем все-таки делятся, потому что каждому хочется жить независимо, своим домком, на своей воле, каждой бабе хочется быть «большухой».

Говорят, что все разделы идут от баб. Поговорите, с кем хотите. И поп вам скажет, что разделы—величайшее зло и идут от баб. Поп-то это скажет так, по обычаю поддакивать, вторить,

потому что попу-то нечего быть против разделов, так как они ему выгодны: один двор—молебен, два двора—два молебна. С «богачева» двора сойдет на святую много, рубль (пять служб), а с пяти бедных, разделившихся дворов, сойдет мало если два рубля (по две службы). И волостной, и писарь, и сотский—все начальники скажут, что разделы—зло, так это очевидно, хотя и начальству, как попу, разделы выгодны. Положим, в «богачевом» дворе на никольщину поднесут «начальнику» два стакана, но в пяти бедных, если по стакану только, все же выйдет пять, притом же бедные одиночки почтительнее, боязливее, низкопоклоннее, потому что «один в поле не воин».

И мужик каждый говорит, что разделы—зло, погибель, что все разделы идут от баб, потому что народ нынче «слаб», а бабам воля дана большая, потому-де, что царица малахфест бабам выдала, чтобы их не сечь.

— А вот, говорят, еще пачпорты уничтожат?

— Говорят, что уничтожат,—подсмеиваюсь я.

— Ну, тогда бабы совсем от рук отобьются, никакого сообразу с ними не будет. Теперь, по крайности, баба, коли я ей пачпорту не дам, далее своей волости уйти не может, а тогда, что с ней поделаешь, села на машину—лови ее!

— Так что ж? Одна уедет, другая приедет. Без бабы не будешь.

— Оно точно, что не будешь.

— То-то. Теперь ты куражишься над ней только, паспорта не даешь, силу свою над ней показываешь, а что ей ты, коли ей Ванька люб! На что она тебе? Все равно с тобой не живет, да и сам ты с другой живешь. На что же она тебе?—припираю я в таких случаях.

— Жена должна мужу виноватиться.

— Зачем? Зачем она тебе виноватиться будет? Ведь и тебе она не люба, ведь и ты ее не жалеешь, ведь ты сам к Авдоне бегаешь, сахарная та для тебя. А?

— Я и жену не бросаю.

— То-то не бросаешь! В кои-веки и женку не оставишь, когда Авдони нет дома. Дурак ты—вот что!—начинаю я сердиться.

— Женка должна мужу виноватиться.

— Зарядил одно, должна виноватиться... зачем?

— Так в церкви дьячок читает.

— Дьячок читает! Дьячок читает, что муж должен любить свою жену, а ты разве любишь? Ты вон Авдоню любишь. Это-то расслыхал, что женка должна виноватиться, недаром дьячок конец на полштоф растягивает, а того не расслыхал, что жалеть жену должен.

— Чего Авдоню? Пристали с Авдоней.

— Чего Авдоню! Ты мне не крути, не на таковского напал. Ты вот полюби жену, может, она тебе и виноватиться будет.

— Чего не полюбить?

— То-то, чего не полюбить! Попробуй. Твоя Машка молодая, красивая, не то что Авдоня. Отчего тебе Машку не любить, хуже она, что ли, Авдони?

— Ну, уж вы наговорите всегда.

— И наговорю. Полюби Машку.

— А я все-таки Машке пачпорта не дам. Пусть тут мается, а в Москву не пущу.

— Ну, и дурак.

— И дурак, а потачки не дам. Должна мужу виноватиться. Не дам пачпорта—что вы ко мне пристали!

— Не давай. И не нужно. Машка теперь и сама в Москву не поедет. Она теперь вон у попа живет. На что ей Москва? Ей и тут Москва,—видел, какой у нее шерстяной платок? Нука, ты своей Авдоне справь такой.

— В волость подам, судиться буду.

— Судиться будешь! Судись. Что возьмешь судом? Так тебе суд ее и приведет. А Авдоня что? Так она тебе и позволила страмиться. Судиться тоже вздумал.

— Вот и буду судиться. Я за нее, коли что, отвечать должен!

Таким образом все, говорят, от баб, все дележки от баб, весь бунт от баб: бабы теперь в деревне сильны.

Действительно, сколько и я мог заметить, у баб индивидуализм развит еще более, чем у мужиков, бабы еще эгоистичнее, еще менее способны к общему делу—если это дело не общая ругань против кого-либо,—менее гуманны, более бессердечны. Мужик, в особенности если он вне дома, вне влияния баб, еще может делать что-нибудь сообща; он не так считается в общей работе, менее эгоистичен, более способен радеть к общей пользе двора, артели, мира, жить сообща, а главное—мужик не дребезжит, не разводит звяк, не точит. Мужик надеется на свой ум, на свою силу, способность к работе. Баба не надеется ни на ум, ни на силу, ни на способность к работе, баба все упование свое кладет на свою красоту, на свою женственность, и если раз ей удалось испытать свою красоту—конец тогда.

Я положительно заметил, что те деревни, где властвуют бабы, где бабы взяли верх над мужчинами, живут беднее, хуже работают, не так хорошо ведут хозяйство, как те, где верх держат мужчины. В таких бабьих деревнях мужчины более идеалисты, менее кулаки и скорее подчиняются кулаку-однодеревенцу, который осилил, забрал в руки баб. Точно так же и в отдельных дворах, где бабы взяли верх над мужчинами, нет такого единодушия, такого порядка в хозяйстве, такой спорости

в работе. Впрочем, нужно заметить, что если в какой-нибудь деревне, в одном-двух дворах, бабы взяли верх, то это распространяется на все дворы в деревне. А если раз бабы в деревне держат верх, то и каждая вновь поступающая вследствие замужества в деревню сейчас же попадает в общий тон. Удивительный в этом отношении происходит подбор; где бабы держат верх, там, разумеется, бабы молодцы—редкая не пронесет осьмину ржи,—сильные, здоровые, отличные, в смысле уменья все сделать; работницы, отличные игрицы; где мужчины держат верх, там бабы поплоше, забитые, некрасивые, изморенные. Выходя замуж, девка смотрит, в какую деревню итти: молодица идет в первую деревню, поплоше—идет во вторую, потому что в первой бабы забьют. И бабы тоже смотрят, кто к ним идет, и пришедшую обрабатывают по-своему.

Большую способность мужчин к общему делу можно объяснить тем, что мужчины более свободны, более развиты, более видели свет, более жили в артелях, прониклись артельным духом, сделались, как выражаются мужики, артельными людьми, то-есть людьми более гуманными, способными сдерживать свои эгоистические инстинкты, уступать другим, уступать общему духу, общим потребностям, общему благу.

Но зато у баб гораздо более инициативы, чем у мужчин. Бабы скорее берутся за всякое новое дело, если только это дело им, бабам, лично выгодно. Бабы как-то более жадны в деньгах, мелочно жадны, без всякого расчета на будущее, лишь бы только сейчас заполучить побольше денег. Деньгами с бабами гораздо скорее все сделаешь, чем с мужчинами. Кулакам это на-руку, и они всегда стремятся зануздать баб, и раз это сделано—двор или деревня в руках деревенского кулака, который тогда уже всем вертит и крутит. У мужика есть известные правила, известные понятия о чести своей деревни, поэтому он много не сделает, чтобы не уронить достоинства деревни. У бабы же на первом плане—деньги. За деньги баба продаст любую девку в деревне, сестру, даже и дочь, о самой же и говорить нечего. «Это не мыло, не смылится», «это не лужа, останется и мужу», рассуждает баба. А мужик, настоящий мужик, не развращенный подлаживанием барам, не состоящий под командой у бабы, ни за что не продаст. А проданная раз девка продаст, лучше сказать, подведет, даже даром, всех девок из деревни для того, чтобы *всех поровнять*. Охотники до деревенской клубнички очень хорошо это знают и всегда этим пользуются. Нравы деревенских баб и девок до невероятности просты: деньги, какой-нибудь платок, при известных обстоятельствах, лишь бы только никто не знал, лишь бы шито-крыто, делают все. Да и сами посудите: поденщина на своих харчах от 15 до 20 копеек, за мятье пуда льна 30 копеек—лен мнут ночью и за ночь только лучшая баба нами-

нает пуд,—за день молотьбы 20 копеек. Что же значит для наезжающего из Петербурга господина какая-нибудь пятерка, даже четвертной, даже сотенный билет в редких случаях. Посудите сами! Сотенный билет за то, что «не смылится», и 15 копеек—за поденщину. Поставленные в такие условия, многие ли чиновницы устоят? Что же касается *настоящего чувства*, любви, то и баба не только ни в чем не уступит чиновнице, но даже превзойдет ее. Я думаю, что тот, кто не знает, как может любить деревенская баба, готовая всем жертвовать для любимого человека, тот вообще не знает, как может любить женщина.

Вот для начальства бабы в деревне язва. Мужчины гораздо более терпеливо переносят и деспотизм хозяина, и деспотизм деревенского мира, и деспотизм волостного, и затеи начальства: станового, урядника и т. п. А уж бабы—нет, если дело коснется их личных бабьих интересов. Попробовало как-то начальство описать за недоимки бабьи андараки, так бабы такой гвалт подняли, что страх—к царице жаловаться, говорят, пойдем. И пошли бы. Начальство в этом случае, однако, осталось в барышах: бабы до тех пор точили мужчин, спали даже отдельно, пока те не раздобылись деньгами—работ разных летних понабрали—и не уплатили недоимок. Однако после того начальство бабьих андараков уже не трогало.

Все это я говорю, однако ж, не потому, чтобы нужны были какие-либо мероприятия для закрепления семейного союза и предупреждения разделов. Я противник всяких чиновничьих мероприятий, касающихся внутренней жизни.

Разделы вредны, разделы—причина обеднения дворов. Если бы крестьяне действовали в хозяйстве сообща, если бы деревни состояли из небольшого числа неразделенных дворов, сообща обрабатывающих землю, сообща ведущих хозяйство, если бы, еще того лучше, целые деревни вели хозяйство сообща, то, нет сомнения, крестьяне жили бы зажиточно и, так или иначе, прибрали бы все земли к своим рукам. Разделы вредны, но, повторяю, всякие мероприятия для закрепления семейного союза были бы нелепы и так же невозможны, как невозможно Мишку заставить любить Фрузу, а не Авдоню.

Все такие мероприятия никогда ни к чему не приводят, всегда ловко обходятся и только наносят вред народу, затесняют его и, по мнению мужиков, делаются только им в «усмешку». Точно вот—«на тебе, ходи вверх ногами!». И ходим, то-есть не ходим, а делаем вид, что ходим. Идешь обыкновенным порядком, встречаешь начальство—«отчего не кверху ногами?». «А вот сейчас, ваше-ство, отдохнуть перевернулся»,—и делаешь вид, что хочешь встать кверху ногами. Начальство само знает, что нельзя так ходить, но, довольное послушанием, милостиво улыбается и проследывает далее. К слову пришлось,

возьму самый пустой пример—*березки*, которые приказано садить по деревням вдоль улиц.

Надумали там в городе *начальники* от нечего делать, что следует по деревням вдоль улиц березки сажать. Красиво будет—это первое. В случае пожара березки будут служить защитой—это второе. Почему березки, насаженные вдоль узкой деревенской улицы, могут защищать от пожара? Ну, да уж так начальники придумали. Надумали, расписали сейчас наистрожайший приказ по волостям, волостные—сельским старостам приказ, те—десятским по деревням. Посадили мужики березки—недоумевают, зачем? Случилось в то лето архирею проезжать—думали, что это для его проезду, чтобы, значит, ему веселее было. Разумеется, за лето все посаженные березки посохли. Кто знает устройство деревни и деревенскую жизнь, тот сейчас поймет, что никакие деревья на деревенской улице расти не могут. На улице, очень узенькой, обыкновенно, грязь по колено, по улице прогоняют скот, который чешется о посаженные деревья, по улице проезжают с навозом, сеном, дровами—не тот, так другой зацепит за посаженную березку. Не приживаются березки, да и только—сохнут. Приезжает весною чиновник, какой-то пожарный агент (чин такой есть и тоже со звездочкой) или аге́л, как называют его мужики. Где березки?—спрашивает.—Посохли.—Посохли! а вот я... и пошел, и пошел. Нашумел, накричал, приказал опять насадить, не то, говорит, за каждую березку по пяти рублей штрафу возьму. Испугались мужики, второй раз насадили—посохли опять. На третью весну опять требует,—сажай! Ну, и надумались мужики: чем вырывать березку с корнями, прямо срубают мелкий березняк, заостривают комель и втыкают к приезду агента в землю—зелень долго держится. А по зиме на растопку идет, потому что за лето отлично на ветру просыхает. Не полезет же чиновник смотреть, с корнями ли посажено, ну, а если найдется такой, что полезет, скажут: «отгнило коренье»,—где ему увидать, что березка про́сто отрублена.

Но вот вопрос, откуда крестьянам взять березки? В наделах ведь их нет. Срубить у барина?—Полесовщик не позволит. Ну, и таскали по ночам.

Чудное, право, дело! То не позволяют на троицу «май» ставить около изб, потому де, что много березок на май истребляют, то приказывают каждый год березки на улицах сажать!

Что не подходит, того не сделаешь. На что уж строг был Петр царь, а и то много, что не подходяще, не мог заставить делать.

Обо всем этом столько говорено, что, казалось бы, и говорить более не стоило. Но кажется мне, что теперь именно время, когда говорить следует. Денег нет, а деньги нужны.

А что я значу без денег! «Денежки, что детушки, куда их пошлешь, туда сам не пойдешь».

Но кто осмелится сказать, что страна наша бедна? Кто осмелится сказать, что у нас не лежат втуне огромные богатства? И кто не понимает, почему эти богатства лежат втуне?

Теперь и мужик видит, что в самом деле денег нет, что, должно быть, нельзя так скоро наделать бумажек. Мужик, однако, утешает себя тем, что дядя «Китай» предлагает нашему царю денег, сколько хочешь...

Но где же этот «Китай»? Где этот таинственный, могучий, богатый «Китай»!? Он тут, он под ногами у нас лежит скованный, запертый замками немецкой работы, запечатанный двенадцатью печатями. Только снимите печати, только отоприте замки!.. Не мешайте нам, не водите на помочах—и мы будем платить хороший откуп. Денег будет пропасть, только дайте возможность жить, как нам лучше. Сгорит деревня—мы построим новую. Подохнет скот—новый вырастим. А сверх того и деньги будем платить, деньги, стало быть, будут. Положим, что и теперь мы обходим все приказы, делаем все только на показ, да чего это стоит? Я провел день за посадкой березок: день этот стоит мне мало 30 копеек. Не лучше ли мне отдать 15 копеек, чтобы не садить березок? Право, лучше 30 копеек отдать, чем, все равно бесполезно, зарывать их в землю.

Но отчего же двор, разделившись, беднеет? Может ли зажиточно жить пара—муж с женой—трудами рук своих?

Возьмем для примера, что пара, муж с женой, снабжена всем необходимым для хозяйства. У них есть двор, скот, орудия и столько земли, сколько они сами, вдвоем, могут обработать.

Чем обусловливается производительность хозяйства этой пары?

В нечерноземной полосе количество посева обусловливается количеством навоза, какое можно накопить, количество же навоза обусловливается количеством корма, количество корма обусловливается количеством сена, какое может наготовить имеющая достаточно лугов пара в промежуток времени от Петра до Семена. Это количество сена обусловливает у нас, так сказать, всю суть хозяйства, от него зависит количество скота, количество высева, количество хлеба, мяса, сала, молока, какое может потреблять наша пара. Другим мерилом для определения величины запашки служит еще возможность убрать народившийся хлеб в тот короткий срок, какой имеется для этой уборки.

Я полагаю, что буду недалеко от истины, если скажу, что пара может убрать столько хлеба, сколько его можно посеять соответственно количеству сена, какое может наготовить та же пара.

В страдное время (покос и уборка хлеба) предполагаемая пара должна будет работать из всех сил. Вся суть хозяйства заключается в том, сколько будет выработано в это страдное время. Каждый хозяин, каждый мужик понимает это. За страдное время мужик худеет, чернеет и доходит до того, что если долгое время стоит хорошая погода, в которую на *своем* покосе спят не более шести часов в день, то мужик, утомившись, втихомолку просит иногда у бога дождя, чтобы возможно было хотя сколько-нибудь отдохнуть. В хорошую погоду, как бы он ни был утомлен, он отдыхать не станет. Совестно.

В страдное время никто ни о чем другом, как о покосе, не думает, никто ничего другого не делает. В это время в деревне нет ни мастеровых, ни сельских начальников, ни попов, а если и исполняются дела, требы, то все это делается наскоро, поглядывая в поле и думая: «Эх! гребанули бы теперь сенца!». В страдное время и церковная служба совсем особенная, поспешная, по-военному. Все косят, все понимают, что ничем нельзя вознаградить того, что потеряно в это время. Городской житель может подумать, что в страдное время в деревне все сошли с ума. А нужно бы, однако, чтобы и городские жители понимали, что все, что они съедают и выпивают, дает именно это страдное время.

Но за исключением *страдного* времени, в остальное время года у нашей пары будет много свободного времени. Весною, с 25 апреля по 1 июля, и осенью, с 1 сентября по 1 ноября, пара не только успеет в прохолодь произвести все полевые работы по своей запашке, но у нее еще останется свободное время, которое она могла бы употребить на работы вне своего хозяйства, если бы могла из него отлучиться.Зимою, с 1 ноября по 25 апреля, у нашей пары будет еще более свободного времени, которое она тоже могла бы употребить на работы вне своего хозяйства.

Но что может сделать на стороне эта пара, которая должна, волей-неволей, сидеть без дела в своем хозяйстве? И вот, оставаясь одиночкой и работая в своем хозяйстве, она, как говорится, перебивается с хлеба на квас.

Соединись несколько таких пар, хотя бы так, как соединяются в артели граборы, для общего хозяйства—сейчас пойдет другое.

Обращаюсь опять к граборам, чтобы на примере из действительности пояснить, какое значение имеет, когда пары соединены для работы вместе. Я беру пример из жизни граборов, потому что это люди артельные, трудолюбивые и умелые работники.

Я знал очень зажиточное граборское семейство, состоящее из трех женатых братьев, следовательно, 6 работников.

Из такого семейства, весною и осенью, два брата уходят на граборский заработок в артелях, а один брат с тремя женками остается дома и успевает, исполняя в то же время должность сельского старосты, выполнить все полевые и домашние хозяйственные работы: у нас женщины пашут, молотят и в некоторых деревнях даже косят.

Следовательно, семейство из трех пар, без ущерба для своего хозяйства, может отпускать весною и осенью на сторонний заработок двух человек, или $^1/_3$.

К 1 июля два брата, находившиеся на граборской работе, возвращаются домой, где остаются до 1 сентября. В это время все шестеро самым усиленным образом работают в своем хозяйстве, в особенности на покосе, для чего и приберегают себя на работе в весеннюю упряжку.

В это время нанять грабора невозможно. Долее 1-го, много 8 июля, ни один грабор на работе ни за что не останется. Кто понимает хозяйство, тому это должно быть совершенно ясно.

У граборов, подобно тому, как и у других крестьян, в наделах нет, или очень мало, хороших заливных лугов. Даже на прикупленных после «Положения» некоторыми деревнями землях нет хороших покосов.

Поэтому зажиточные граборы арендуют хорошие луга, плятя за заливные от 12 до 15 рублей за десятину. Делают они это потому, что очень хорошо понимают, что недостаточно употребить на покос все время с 1 июля по 1 сентября, но необходимо еще, чтобы покос был хороший, потому что, чем лучше трава, тем в данное время больше наготовишь корму. Точно также граборы очень хорошо понимают необходимость все страдное время косить в свою пользу, и потому зажиточные из них никогда не берут покосов из части, разве уж арендовать негде.

Проработав страдное время дома, наготовив сена, убрав хлеб и посеяв озимь, два брата опять идут на граборский заработок, а один брат с тремя бабами остается дома и успевает убрать яровое и огородное, обмолотить хлеб, обработать лен и пр. Следовательно, осенью опять $^1/_3$ людей из двора уходит на сторонний заработок.

Зимою граборских заработков нет, и потому граборы занимаются другими работами: обжиганием и развозкой извести и плиты, резкой и возкой дров, молотьбой хлеба по господским домам, бабы же прядут и ткут полотна. Зимою двор мог бы отпускать на сторонние заработки или заниматься дома сторонними, нехозяйственными работами, $^2/_3$ или, самое малое, $^1/_2$ людей.

Кто ясно сознает *суть* нашего хозяйства, тот поймет, как важно соединение земледельцев для хозяйствования сообща

и какие громадные богатства получались бы тогда. Только при хозяйстве *сообща* возможно заведение травосеяния, которое дает средство ранее приступать к покосу и выгоднее утилизировать страдное время; только при хозяйстве сообща возможно заведение самых важных для хозяйства машин, именно машин, *ускоряющих* уборку травы и хлеба; только при хозяйстве сообща возможно отпускать значительное число людей на сторонние заработки, а при быстроте сообщений по железным дорогам эти люди могли бы отправляться на юг, где страдное время начинается ранее и, отработав там, возвращаться домой к своей страде. С другой стороны, делается понятным, как важно, чтобы на страдное время прекращались всякие другие производства, отвлекающие руки от полевых работ. На это время всякие фабрики должны были бы прекращать свои работы. Опять же огромное количество свободных рук указывает на необходимость развития мелких домашних производств. Нужны не фабрики, не заводы, а *маленькие* деревенские винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни и т. п., отбросы от которых тоже будут с пользою употребляемы в хозяйствах.

Разделение земель на небольшие участки для частного пользования, размещение на этих участках отдельных земледельцев, живущих своими домками и обрабатывающих, каждый отдельно, свой участок, есть бессмыслица в хозяйственном отношении. Только «переведенные с немецкого» агрономы могут защищать подобный способ хозяйствования особняком на отдельных кусочках. Хозяйство может *истинно прогрессировать* только тогда, *когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща*. Рациональность в агрономии состоит не в том, что у хозяина посеяно здесь немного репки, там немного клеверку, там немножко рапсу, не в том, что корова стоит у него целое лето на привязи и кормится накошенной травой (величайший абсурд в скотоводстве), не в том, что он ходит за плугом в сером полуфрачке и читает по вечерам «Gartenlaube». Нет. Рациональность состоит в том, чтобы, истратив меньшее количество пудофутов работы, извлечь наибольшее количество силы из солнечного луча на общую пользу. А это возможно только тогда, когда земля находится в общем пользовании и обрабатывается сообща.

Описанный выше граборский двор, особенно если земли достаточно, живет зажиточно, то-есть у него во дворе есть достаточно лошадей, скота, *своего* хлеба, есть снасть.

Я говорил выше, что некоторые граборские деревни после «Положения» приобрели земли в общественную собственность. Нужно несколько пояснить это, потому что иные могли бы подумать, что приобретение земель крестьянами могло бы все более и более распространяться. Не совсем это так.

Действительно, было время, вскоре после «Положения», когда многие крестьяневышли на выкуп и кгда крестьянам было легко приобретать земли в собственность. Явился даже особый род стряпчих, которые устраивали эти дела. В это время многие имения освободились от залога, и помещики получили возможность продавать из своих имений отдельные кусочки: пустошки, хуторки, отрезки. Вместе с тем выкупные суммы большей частью пошли в уплату старых долгов по залогам, а то, что было получено на руки, прошло, прожилось, прохозяйничалось. Железных дорог тогда еще не было, леса ценности не имели, банков, дающих деньги под залог имений, тоже не было. Все это было крестьянам на-руку—тут-то и возможно было им покупать земли. Нет у барина денег, а нужно рабочим платить, нужно в город за провизией посылать, нужно на выборы ехать. Проведавший все это под рукою мужичок—в этом случае не «мужик», а «мужичок»[1]—является торговать какую-нибудь пустошку, хуторок или отрезок, и покупает.

Разумеется, такие земли чаще всего покупались в частную собственность богатыми мужиками, у которых имелись старинные залежные деньги. Рассказывают, случалось, что при этом довольно значительные суммы выплачивались круглыми рублями и золотыми.

Многосемейные зажиточные крестьяне иногда садились на купленные земли, если это был отдельный хутор, и хозяйничали, занимаясь в то же время мелкой торговлей и маклачеством. Со временем из таких дворов крестьян-собственников образуются деревни, потому что дети, разделившись и построив отдельные дворы, землю оставят в общем владении и будут ею пользоваться пополосно. Такие отдельные хутора покупались преимущественно бывшими волостными старшинами, помещичьими бурмистрами и тому подобным людом, которому либеральные посредники и помещики сумели внушить понятие о собственности на землю, по крайней мере, настолько, что мужик с *господами* говорил о собственной земле. Я выражаюсь: «говорил с *господами*», потому что у мужиков, даже самых нацивилизо-

---

[1] Народ всегда говорит «мужик». «Мой мужик», говорит баба. «Наши мужики луг сняли», расказывает мужик. Форму «мужичок» придумали либеральные чиновники. Со мною было: много лет тому назад читал я в Петербурге публичные лекции. После одной лекции я увидел среди публики своего начальника с женой. Подошел. Разумеется, для меня, как для всякого служащего, дороже всего было мнение начальства. «Довольны ли, ваше—ство?», обратился я к ней. «Очень, очень! однако, вы, должно быть, устали, вы так горячо говорили». Действительно, горячась на лекции, я вспотел и раскраснелся; тем более, что перед лекцией выпил бутылку вина. «А я все-таки замечание сделаю»,—сказал генерал. «Какое, ваше—ство?». «Вы все говорите «мужик»,—это неловко».—«А как же говорить?»—«Крестьянин».—«Длинно, ваше—ство». «Ну, «мужичок», а то как же это... «мужик».

ванных посредниками, все-таки остается там, где-то в мозгу, тайничок (по этому тайничку легко узнать, что он русский человек), из которого нет-нет, да и выскочит мужицкое понятие, *что земля может быть только общинной собственностью*. Что деревня, то-есть все общество, может купить землю в *вечность*, это понимает каждый мужик, и купленную деревней землю никто не может отдать другой деревне, но чтобы землю, купленную каким-нибудь Егоренком, когда выйдет «Новое Положение» на счет земли, нельзя было отдать деревне, этого ни один мужик понять не может. Как бы мужик ни был нацивилизован, думаю, будь он даже богатейший железнодорожный рядчик, но до тех пор, пока он русский мужик—разумеется, и мужика можно так споить шампанским, что он получит немецкий облик и будет говорить немецкие речи,—у него останется в мозгу «тайничок». Нужно только уметь открыть этот тайничок.

Свою ниву, которую мужик засеял после раздела общего поля, точно так же как и ниву им арендованную, мужик считает своею собственностью, пока не снял с нее урожая. Как мне кажется, мужик считает собственностью только свой труд и накопление труда видит только в денежном капитале и вообще в движимом имуществе.

Я уже говорил в одном из моих писем, что после взятия Плевны в народе начались слухи, что скоро—вот только война кончится—будут равнять землю.

Нынешнею осенью зашел ко мне знакомый коновал, который вот уже восемь лет ежегодно четыре раза заходит, делая свой коновальский обход. Работы у меня на ту пору не случилось, но как не приветить такого нужного человека как коновал! Разговорились.

— А что насчет войны слышно, А. Н.?

— Да ничего. Война кончилась.

— То-то вот говорят, что кончилась. Мы тоже ведь сколько местов пройдем, свет видим, с разными людьми говорим. Все говорят, что кончилась... Кончилась-то кончилась, да словно и не кончилась...—загадочно проговорил коновал.

— А что?

— Об дельце об одном мне с тобой нужно бы поговорить...— И коновал стал собираться уходить.

Я понял, что коновал не хочет говорить при других—мы были на кухне.

— Ну, так выпей посошок.

— Благодарим. Это можно. Прощения просим.

Я вышел за коновалом и пошел с ним по дороге в поле.

— А что я тебя хочу спросить,—обратился он ко мне,— вы люди грамотные, ведомости читаете, пишут ли что насчет земли?

— Насчет какой земли?

— Слух у нас идет, что землю равнять будут.

— В ведомостях ничего не пишут. Да тебе-то что? Будут равнять, так будут.

— То-то, что не что. Видишь, в чем дело: помещик у нас один пустошку продает, просит дешево, по пяти рублей за десятину. Земля-то она пустая, а мне бы хорошо—мужику, сами знаете, все на пользу идет. Деньги есть, безвинно лежат, ну и хотелось бы купить.

— Так что же? И покупай, коли деньги есть.

— То-то страшно,—слух идет, что землю равнять будут. Я и с волостным старшиной—он же мне племянник—советовался. «Погоди, говорит, дядя, покупать, смотри, как бы деньги не пропали, с нового года ожидают, «Положение» насчет земли выйдет—равнять будут». Вот и боюсь.

— Чего бояться? Ты всегда свои деньги из земли выберешь, много ли по 5 рублей с десятины?

— Хорошо, как выберешь, а если не успеешь?

— Покупай, а то надумается помещик, да заложит все имение и с пустошкой в банк, тогда уж за 5 рублей десятину не купишь.

— Ой ли?

— Да так я уж говорю, верно.

— Правда, правда. Мы тоже примечаем, что все паны землю под казну отдают, денежки выхватывают.

— Ну, вот.

— Так покупать?

— Покупай.

Коновал был в нерешительности, покупать или нет. Видно, что этот вопрос давно его занимает и он, может быть, нарочно ранее, чем обыкновенно, зашел ко мне, чтобы переговорить.

— Я думал землю под деревню купить.

—Как под деревню?

—На деревню купчую сделаем, а я деньги заплачу.

—Можно и так.

—На деревню вернее бы.

Я говорил уже, что в тех редких случаях, когда многосемейный крестьянин, купив отдельный хуторок, сядет в него, впоследствии, при разделе, образуется деревня, в которой земля будет оставаться в общественном пользовании. На моей памяти, из двора вольного хлебопашца или крестьянина, водворенного на собственной земле, как стали звать вольных хлебопашцев с сороковых годов, образовалась целая деревня.

Крестьяне, купившие землю в собственность, в большей части случаев остаются в деревне и на собственную землю не выселяются. Если эти земли в смежности с деревней, то часто

случается, что эта купленная в собственность земля со временем делается общественною, деревенскою, причем—верно, однакож, не знаю—однодеревенцы, вероятно, постепенно выплачивают купившему затраченную им сумму.

Наконец, целые деревни приобретали земли в общественную собственность и иным путем. Помещик, испробовав агрономию, машины, кормовые травы, плодопеременное хозяйство, скотоводство, батраков, потратив, какие были деньжонки, переходил к старой системе хозяйства со сдачей земли на обработку кругами крестьянам. И если запашки у помещика было много, денег мало, а земли в избытке, то случалось устраивались так, что отдавали крестьянам в собственность какой-нибудь хутор, отрезки, пустошь, а крестьяне должны были за это известное число лет обрабатывать землю при господской усадьбе.

Теперь уже не то. Теперь приобретать землю таким путем стало гораздо труднее. Прежде всего помещики узнали, что такое *отрезки*, то-есть земли, отрезанные у крестьян, владевших при крепостном праве большим количеством земли, чем, сколько им пришлось получить по «Положению». Теперь помещики очень хорошо понимают, что посредством этих «отрезков», составляющих необходимость для крестьян, они всегда могут их стеснить и заставить за отрезки обрабатывать круги. Поэтому теперь крестьянам купить отрезок очень трудно, в особености за работу. Помещик знает, что и без того крестьяне, за право пользования отрезком, будут ежегодно работать ему столько кругов, сколько им под силу обработать.

Затем с проведением железных дорог пошли в ход леса и явился такой источник доходов, о котором никто не мечтал. Поднялись в цене леса, поднялись в цене и земли, крупные леса стали вырубать, мелкие заросли сберегать.

Наконец, явились банки, которые стали давать деньги под залог имений и тем затруднили приобретение крестьянами земель, потому что в банки имения закладываются в полном составе, со всеми отрезками, пустошками. Покупать целые имения крестьянам не под силу, да и не сподручно, а между тем и хотел бы помещик, нуждаясь в деньгах, продать какую-нибудь пустошку или отрезок—нельзя. Нельзя потому, что он заложен в составе всего имения. Конечно, со временем дело может устроиться так, что банки будут продавать земли крестьянам раздробительно. Сверх того в последнее время явилась еще поддержка—падение кредитного рубля. Это, впрочем, одинаково выгодно для всех земледельцев. Действительно, земля дает все то же количество пудов льна и пеньки, ведер молока, кулей ржи, и за все это немец платит золотом, хотя, положим, и скинет там малость. А между тем проценты в банк, повинности, акциз платятся все теми же бумажками. Тот, кому прежде для

уплаты процентов в банк приходилось продать пятьдесят пудов масла, может теперь разделаться с банком, продав всего 25 пудов—много 30. Прежде мужику, чтобы купить вина на свадьбу, нужно было за один акциз отдать 14 пудов пеньки, а теперь приходится отдать всего 7—10. И во всем так—только обходись своим, не потребляй ничего покупного, немецкого.

Но, представьте себе, что вдруг кредитный рубль все будет падать, падать, наконец упадет до копейки. Вдруг для уплаты процентов в банк достаточно продать только полпуда масла, а для уплаты акциза за ведро вина—всего один фунт пеньки. Вот уж тогда недоимок не будет! Детей сколько народится—страсть!

Теперь за газету приходится отдать $4^1/_2$ пуда пеньки[1], а тогда всего 2 фунта! Во всех деревнях газеты читать станут.

Зажиточно живет граборский двор, состоящий из трех женатых братьев. Но вот пошли ссоры, стали бабы точить мужей. У одного брата мальчиков много, у другого детей нет, у третьего всего две девочки. Принес брат, у которого нет детей, свой весенний граборский заработок и отдал хозяину—дело на виду, в артели утаить нельзя, это не то, что пошел куда-нибудь в Москву на заработок, где неизвестно, сколько заробил, можно частицу и жонке передать. Баба начинает точить: «Ишь, сколько рубах за весну на работе спарил—не наготовишься на тебя, а тут и прясть некогда: большуха-то дома сидит, а-ты то за водой, то корму скоту задай». Точит да и только, к себе не принимает: неволя ж нам на чужих детей работать, вон бардинский барин с охотой грабору сто рублей в год дает! Бросил землю—и концы в воду, чем так маяться, лучше ж в достатке жить». И пошла, и пошла точить. Сказано: бабе цена грош, да дух от нее хорош. Начинаются ссоры, попреки.

Дело кончается тем, что граборский двор разделяется, хорошо еще если на два, а то и на три новых двора. Что в результате будет бедность, нет никакого сомнения, в особенности, если в дворе нет залежных денег, если деревня не имеет иной земли, кроме той, которую получила в надел. Ко всем тем невыгодам от раздела, на которые я указал выше—три нивы, три избы, три молебна в праздник, три горшка,—присоединяется еще и то, что одиночка, даже грабор, знающий специальное дело, *не может* отходить на заработок, не может с пользой для себя употребить свободное от земледельческих занятий время. Прежде двор отпускал на весенний и осенний заработок двух человек, а теперь три двора не могут отпустить ни одного. Другие весною соединяются в артели, идут на заработки, возвраща-

[1] Старики говорят, что пенька когда-то, еще до «разорения», была 2 рубля, потом стала дорожать и дошла до 7 рублей ассигнациями, потом, когда пошел счет на «серебро», стоила 2 рубля, а теперь опять стала дорожать.

ются с покосу с деньгами, а как пойдет одиночка, на кого он оставит хозяйство, особенно если есть маленькие дети? Только урывками, когда дома главное дело сделано, уходит он на граборские работы, часто в одиночку, поблизости, к соседним помещикам. Но хорошо, если есть граборские работы поблизости. Нуждаясь в деньгах для уплаты податей, такому одиночке часто, волей-неволей, приходится брать на обработку землю и покосы у помещика, брать с половины.

Весною и осенью ничего, или почти ничего, на стороне заработать нельзя, потому что нельзя отлучиться от хозяйства. Половину самого важного страдного времени приходится работать на другого. Неминуемо является бедность. Хлеба нет, подати платить нечем. А тут еще малые дети пойдут, несчастье какое случится: скотина пала, лошадь украли.

Наконец, *земля осиливает мужика*, как говорят крестьяне, а раз земля осилила—кончено. А тут еще соблазн: вон, Петр кучером у барина ездит, 10 рублей в месяц получает, в шелковых рубахах ходит; Ванька из Москвы в гости пришел—в пальте, при часах и т. д...

Побившись так-сяк, мужик решается бросить землю. Если земля хороша и деревня землей дорожит, то мужик отдает землю под мир, который и платит за нее подати; если же земля плоха, так что за нее не стоит платить, и мир не соглашается взять ее под себя, то мужик отдает ее в аренду за бесценок какому-нибудь богачу на год, на два, пока из нее можно еще что-нибудь вытянуть, а затем оставляет пустовать и, не пользуясь ею, платит повинности из своего заработка. Если выйдет положение, что у неисправных плательщиков будут отбирать земли для отдачи в аренду, как об этом было писано в газетах, то такие крестьяне, которые бросают земли, будут очень рады избавиться от необходимости платить за земли, которыми не пользуются. Бросив землю, распродав лишние постройки, скот, орудия, оставив для себя только огород и избу, в которой живет жена, обыкновенно занимающаяся поденной работой, мужик нанимается в батраки или идет в Москву на заработки. Не посчастливилось ему, возвращается домой, но так как земли ему работать нечем и хозяйство разорено, то он, поселившись в своей холупенке, занимается поденной работой. Потом опять пытается поступить в батраки, опять возвращается и делается чаще всего пьяницей, отпетым человеком.

Но если он удачно попал на службу к барину, то служба его закаливает, и он предпочитает обеспеченную лакейскую зависимость необеспеченной независимости. Такой крестьянин, который, бросив землю, уйдя из деревни и поступив на службу, *попал на линию*, в деревню уже не возвращается и старается выписать к себе жену с детьми. Попавший на линию начинает

обыкновенно презирать черную мужицкую работу, предпочитает более легкую лакейскую службу, одевается по-немецки, ходит при часах, старается о том, чтобы у него было как можно более всякой одежи. Жена его стремится в барыни и завидует такой-то и такой-то товарке, которая ранее ушла из деревни в Москву, живет с купцом и имеет семнадцать платьев. Детей своих она водит, *как паничат* и, хотя бьет, но кормит сахаром и учит *мерсикать ножкой*. Мужицкой работы дети уже не знают, и, когда они вырастут, их стараются определить на хорошие места в услужение к чиновникам, где главное их достоинство будет заключаться в том, чтобы они умели ловко мерсикать ножкой. И муж, и жена, и дети уже стыдятся своих деревенских родичей и называют их *необразованными мужиками*, а те отплачивают им тем, что называют их *батраками*. А «батрак»—это такое бранное слово, хуже которого нет, которое выводит из себя самого ловкомерсикающего ножкой мужика—тайничок-то русский мужицкий у него в мозгу еще есть!

Попасть на линию!—для этого нужно не дело делать, а только *уметь* подладить начальнику или барину, попасть на линию—вот заветная мечта. *Суметь подладить*!—вот на что устремляются все способности и ради чего не пренебрегают никакими средствами, например, жениться для барина! Это характеристично для мужика, бросившего землю. Бросив землю, он как будто теряет все, делается лакеем!

В таких, попавших на линию, обчиновничившихся мужиках, которых зовут «человек», вы уже не увидите того сознания собственного достоинства, какое видите в мужике хозяине земледельце. Посмотрите на настоящего мужика-земледельца. Какое открытое, честное, полное сознания собственного достоинства лицо! Сравните его с мерсикающим ножкой лакеем! Мужик, если он «ни царю, ни пану не виноват», ничего не боится. Мужик, будь он даже беден, но если только держится земли—удивительная в ней, матушке-кормилице, сила,—совершенно презирает и попавшего на линию и разбогатевшего на службе у барина. «А хорошее жалованье получают эти курятники—250 рублей, да еще рвет с кого билетик, с кого трояк!»—говорил мне один мужик, истинный, страстный земледелец, непомерной силы, непомерного здоровья, ума и хозяйственной смышленности

— А ты бы разве пошел на эту должность?

— Я-то?

— Ну, да, ты.

— Избави меня господи! Я? В батраки!

Приехали ко мне как-то мужики покупать рожь на хлеб.

— Что же вы не покупаете у своего барина?—спросил я.

— Какой у нашего барина хлеб, наш барин сам в батраках служит.

И сколько презрения было в этих словах! Барин, из небогатых, действительно, служил управляющим у соседнего помещика.

Конечно, и теперь мужик, по старой привычке, стоит без шапки перед барином, перед исправником, перед волостным старшиной—волостной-то еще строже, попробуй-ка перед ним шапки не снять! Он ведь тоже из мерсикающих перед всяким начальником, но вы видите в этом мужике, что он человек независимый. Мужик стоит без шапки , но чувствует свою независимость, сознает, что ему не нужно бесполезно заслуживать, подлаживать. Не то с мужиком, когда он, не осилив земли, бросает ее и идет на службу к господам, где и старается подладить, заслужить, попасть на линию. Тогда чувство собственного достоинства, уверенность в самом себе, в своей силе, теряется, и человек тупеет, мало-помалу начинает чувствовать, что все его благосостояние зависит от того, насколько он сумел подладить, заслужить. Раз он укусил пирожка, лизнул медку, ему уж не хочется на черный хлеб, на серую капусту, в черную работу, в серую сермягу. Такие бросившие землю, попавшие на линию, на хорошую службу, крестьяне, обыкновенно не возвращаются в деревню на землю, и если земля состоит за ними, когда деревня по тяжести платежей земли на себя не принимает, то разбогатев, вносят выкупную сумму за свой надел и затем или оставляют землю пустовать, или отдают в пользование родственникам или, наконец, продают в частную собственность какому-нибудь постороннему лицу, которое пользуется, впрочем, ею чересполосно, по-мужицки, нивками.

Нужно заметить, однако, что мужики, попадающие на службе на линию, люди, без сомнения, в известном смысле способные обыкновенно и сами по себе не любят земледелия и хозяйства, и большею частью к хозяйству не способны.

Но много ли таких счастливцев, которые попадают на линию, в особенности теперь, когда есть массы бессрочных молодых солдат, редко возвращающихся на землю и презирающих необразованного мужика и его мужицкую работу? Поэтому большинство бросивших землю крестьян ни на какую линию не попадает и погибает в батраках и поденщиках. Что будет с их детьми?

Бедность и следствие ее—обезземеление—большей частью происходят от разделов. Но, конечно, не всегда раздел влечет за собою обезземеление; если земли у деревни довольно, если земля хороша, в особенности если хороши конопляники, если двор был богат и при разделе каждому досталось довольно лошадей, скота, денег на постройку, если при этом разделившиеся *все хорошие хозяева*, хорошие работники, любят землю, то и они могут оставаться до известной степени зажиточными.

Конечно, это бывает редко. Обыкновенно один из отделившихся, более благоприятно обставленный, поднимается, а другие или делаются нищими безземельными батраками или хотя и держат землю, ведут хозяйство, но вечно перебиваются кое-как, вечно живут в самой непроглядной бедности. Как бы ни было плохо мужику, но если он настоящий мужик-хозяин землелюбец, то держится земли до последней крайности и бросает только тогда, когда ему вовсе уже не под силу, когда его одолевают дети, бедность. Да и тут он старается удержать свой огород, свою усадьбу, свою коровку и овечку, свою холопенку, в которой могла бы жить его жена, куда он мог бы притти, как в свой дом. И часто случается, что самый последний, бедствовавший до крайности, но не бросивший земли и хозяйства, успевает как-нибудь вывернуться и, народив много сынов, выкормить их. Когда у него подрастут дети, он поднимается на ноги, берет больше земли, богатеет, делается зажиточным хозяином—вот и новый «богачев» двор. Потому что все дело в числе рук и в союзе.

Повторяю, даже при теперешних неблагоприятных для мужика условиях,—при недостатке земли, при обременении ее огромными налогами, при крайне неэкономическом отношении к мужику начальников, заставляющих его бесполезно тратить массу сил[1],—многосемейный дом, в котором несколько молодцов-работников, и хороший хозяин до тех пор, пока он не разделился, *пока все живут в союзе*, *пока работают сообща*, все-таки пользуется известным благосостоянием и зажиточностью. Что же было бы если бы вся деревня в союзе и сообща обрабатывала землю? Даже при таком союзе, какой представляют рабочие артели, то-есть где предоставляется каждому жить отдельно и соединяться в артель только для ведения сообща хозяйства, причем каждый работает в раздел и получает соразмерно работе, даже и при таком артельном хозяйстве результаты получились бы замечательные.

---

[1] Я уже много раз говорил о том, как неэкономично поступает начальство; конская повинность, сажание березок и т. п. Но вот еще пример: в последнее время пошли по деревням новые порядки, для строгости, как говорят мужики. Требуется, например, чтобы в каждой деревне было каждую ночь два караульных, которые должны барабанить в доски и опрашивать проезжающих. Согласитесь, не может же человек, не спавший ночь, работать днем, но допустим, что выносливый русский мужик, не спав ночь, будет потом спать только полдня. Следовательно, в деревне пропадает ежедневно один день работы, что стоит по меньшей мере 30 копеек, в год это составит около 110 рублей на деревню. Допустим, что вследствие учреждения караулов конокрадство совсем уничтожится чего, конечно, не может быть,—я не думаю, чтобы оно даже уменьшилось—выиграет ли деревня? Конечно нет. Сами посудите, возможно ли, чтобы в каждой деревне ежегодно украли на 110 рублей лошадей. А сколько силы потратится на ночные караулы!

Все дело в *союзе*. Вопрос об артельном хозяйстве я считаю важнейшим вопросом нашего хозяйства. Все наши агрономические рассуждения о фосфоритах, о многопольных системах, об альгаусских скотах и т. п. просто смешны, по своей, так сказать, легкости.

У меня это не какое-нибудь теоретическое соображение. Занимаясь восемь лет хозяйством, страстно занимаясь им, достигнув в своем хозяйстве, могу сказать, блестящих результатов, убедившись, что земля наша еще очень богата (а когда я садился на хозяйство, то думал совсем противное), изучив помещичьи и крестьянские хозяйства, я пришел к убеждению, что у нас первый и самый важный вопрос есть вопрос об артельном хозяйстве. Каждый, кто любит Россию, для кого дорого ее развитие, могущество, сила, должен работать в этом направлении. Это мое убеждение, здесь в деревне выросшее, окрепшее.

Мало того я, веря в русского человека, убежден, что это так и будет, что мы, русские, именно совершим это великое деяние, введем новые способы хозяйничанья. В этом-то и заключается самобытность, оригинальность нашего хозяйства. Что мы можем сделать, идя по следам немцев? Разве не будем постоянно отставать? И, наконец, полнейшая неприменимость у нас немецкой агрономии разве не доказывает, что нам необходимо нечто самобытное?

Вот почему в одной из моих статей[1] я говорил про крестьянское хозяйство: «хлеба никогда нехватает на прокормление, а чуть неурожайный год, крестьяне уже с декабря начинают покупать хлеб. А между тем дайте в мои руки ту же землю, тот же труд, то же количество скота—и в несколько лет я поставлю хозяйство на такую ногу, что хлеба не только хватит на прокормление, но еще и продать будет что. Стоит только для этого уничтожить нивки, разделить землю на десятины, и *обрабатывать землю сообща*. Я не только твердо убежден в этом, но знаю, что с этим согласится каждый крестьянин. Зажиточность неразделившихся дворов разве не доказывает этого?».

Описав там же мое хозяйство, я закончил статью следующим образом: «я достиг в своем хозяйстве, можно сказать, блестящих результатов, но будущее не принадлежит таким хозяйствам, как мое. Будущее принадлежит хозяйствам тех людей, которые будут *сами обрабатывать* свою землю и вести хозяйство не единично, каждый сам по себе, *но сообща*». И далее я говорю: «когда люди, обрабатывающие землю собственным трудом додумаются, что им выгоднее вести хозяйство сообща, то и земля, и все хозяйство неминуемо перейдут в их руки».

И додумаются.

---

[1] «Из истории моего хозяйства», напечатано в «Отечественных записках», 1878 г. (Примеч. Н. Энгельгардта). Ред.

Все крестьяне сознают, что жить большими семьями выгоднее, что разделы причиною обеднения, а между тем все-таки делятся. Есть же, значит, этому какая-нибудь причина? Очевидно, что в семейной крестьянской жизни есть что-то такое, чего не может переносить все переносящий мужик. Не в мужике ли оно? Вот у мещан, у купцов дележей гораздо меньше—там вся семья работает сообща: один брат дома торгует, другой по уезду ездит, третий в кабаке сидит и все стремятся к одному—сорвать, надуть, объегорить. Не оттого ли мужик делится, не оттого ли стремится к отдельной, самостоятельной жизни, что он более человек, чем поэт, более идеалист?

Если бы крестьянские семьи, расходясь жить по разным домам или по разным углам дома—бывает иногда, когда не на что выстроить новую избу, что живут и в одной избе в разных углах,—в то же время не разделяли хозяйства и сообща обрабатывали землю, подобно тому как это бывает в купеческих семействах, где иногда, разделившись и живя в разных домах, все-таки ведут торг сообща, то уже одно это имело бы громадное значение. Но я даже не видал таких попыток, и трудно предположить, чтобы люди, озлобленные друг против друга, как это всегда бывает при разделах, могли согласиться на общее дело. Гораздо скорее согласятся на это чужие, даже целая деревня, чем разделившаяся семья. Мне часто случается сдавать крестьянам покосы из части, на том условии, чтобы убирали сообща и затем делили готовое сено. Дело всегда идет отлично. Так, одна соседняя деревня ежегодно косит у меня с половины довольно большой луг, и косит *всей деревней*, потому что после покоса этим лугом и прилегающими пустошами деревня пользуется для выгона лошадей и скота. Крестьяне сначала хотели убирать луг в раздел, нивками, каждый двор отдельно—так убирают они свои собственные луга и луг соседнего помещика,—но я на это не согласился. Теперь, когда привыкли, оно уже так и идет из году в год, и сами крестьяне довольны, потому что при покосе сообща весь луг убирается сразу, до казанской, когда крестьяне еще не приступили к своим покосам, и скорее поспевает для выгона, тогда как при покосе в раздел тот, другой могут опоздать покосом, затянуть, и неубранная нивка будет препятствовать выгону скота. На покос деревня выходит вся за раз. Тотчас—это совершается чрезвычайно быстро—делят часть луга на нивки по числу кос, и затем каждый косит отдельно свою нивку, кончили один участок, переходят на другой, который тоже делят по числу кос, и каждый гонит свою долю и т. д. Весь луг скашивался за раз, хотя и в раздел, по нивкам. Я этому не препятствую, потому что это не производит никакой разницы в хозяйственном отношении. Косить сообща, огульно, идя в один ряд, крестьяне ни за что не соглашаются,

потому что, говорят они, в деревне косцы *неравные*, не все косят одинаково хорошо, а так как сено делится по числу кос, то выйдет несправедливо. На уборку сена деревня высылает людей по числу кос, и уже эта работа производится сообща, причем, распоряжается один из крестьян, пользующихся доверием деревни. Он смотрит, чтобы все хорошо работали и клали копны равной величины. Затем половина копен перевозится ко мне, а другую половину крестьяне делят между собою по числу кос.

Мне случается также сдавать покосы из части не целой деревне, а небольшим артелям из четырех, пяти человек. Так как в артель подбираются по взаимному согласию *ровные* между собою косцы, то они уже вовсе не делят покос на нивки, даже для косьбы, но косят сообща, все подряд, убирают вместе, и сено делят по числу кос. Так нынче пять человек из соседней деревни косили у меня с *половины* клевер на лядах сообща и делили сено по косам.

Замечу здесь кстати, что многие думают, будто крестьяне не понимают выгоду клевера и по рутине всегда предпочтут луговой покос клеверу. Ничуть не бывало. Соседние крестьяне тотчас поняли, что клевер отличный корм—овса коням не нужно,—что его очень выгодно косить и убирать, особенно если он хорош, и как только я предложил нынче косить у меня запольный клевер с половины, тотчас нашлись охотники, несмотря на то, что клевер был посеян по пшенице на ляде, где множество пней, лому, кустиков и, несмотря еще на то, что я требовал, чтобы работали сообща, не разделяя на нивки. Да еще как скосили! Все листочки целы. Правда, что и клевер был хорош, на лядах всегда родится замечательный клевер. Мужики потом хвастались в деревне, что у них нынче не сено, а клевер с тимофеевкой. В этой деревне своих лугов нет, и мужики берут, где можно, пустошки на скос с части или покупают. Разумеется, те, которые косили у меня клевер, хотя и с половины, наготовили корму более, чем другие, да и корм-то лучшего качества.

—Ишь ты! Клевер все таскают!—с завистью говорили другие крестьяне, купившие для покоса пустошки, поросшие белоусом и куманицей.

— И таскаем—не вашей щетине чета!

— Артельщики!

— И артельщики. Потому у нас союз!

Однако, сколько мне ни случалось сдавать покосов маленьким артелям, всегда в артель подбирались люди из разных дворов и никогда не соединялись люди из одного разделившегося двора. Разделившиеся никак не могут соединиться для общего хозяйственного дела, и нигде нет такой зависти, такой недоброжелательности, как между разделившимися, хотя, с другой стороны, при отражении врага, например, в драке, разделившиеся,

несмотря на вечные ссоры между собой, действуют чрезвычайно согласно, и хуже нет, как попасть под кулаки разделившихся братьев.

— А! Вы брата моего бить взумали!—кричит в кабаке один из отделившихся братьев и бросается на помощь к своему брату, с которым по хозяйству ежедневно ссорится за самые пустяки. То же и в деревне. Несмотря на развитие индивидуализма, на ссоры, зависть, являющуюся больше всего от желания всех *приравнять*,—чуть дело коснулось общего врага: помещика, купца, чиновника,—все стоят как один. Смешон тот, который думает, что в деревне, разделяя, можно властвовать. Помещику, купцу и хозяйничать невозможно, не понимая, что относительно деревни нужно действовать так, чтобы всей деревне, а не какому-нибудь Осипу, было выгодно.

Конечно, нужда, голод, неисходная бедность заставляют иногда и разделившихся братьев прибегать к соглашениям. Случается, например, что два разделившихся брата, живущие отдельными хозяйствами, ввиду необходимости стороннего заработка, так как иначе с голоду умирать приходится, соединяются вместе, нанимаются к соседнему помещику в батраки, двое за одного, и работают понедельно: одну неделю у помещика работает один брат, а другой работает у себя дома, другую неделю работает у помещика другой брат.

Есть еще одно очень важное, имеющее огромное значение обстоятельство, которое часто бывает причиною несостоятельности одиночных хозяйств—это *неспособность в работе*, *неспособность к хозяйству*, неспособность только вследствие недостаточной умственности в известном направлении. Это обстоятельство чрезвычайно важное и еще более подтверждает необходимость и важность артельного хозяйства.

Иные думают, что достаточно родиться мужиком, с малолетства приучаться к мужицким работам, чтобы быть хорошим хозяином, хорошим работником. Это совершенно неверно. Хороших хозяев очень мало, потому что от хорошего хозяина требуется чрезвычайно много. «Хозяйство вести—не портками трясти, хозяин,—говорят мужики,—загадывая одну работу, должен видеть другую, третью». «Хозяйство водить—не разиня рот ходить». И между крестьянами есть много таких, которые не только не могут быть хорошими хозяевами, не только не могут работать иначе, как за чужим загадом, но даже и работать хорошо не умеют.

Мало этого, есть много людей, которые, хотя и способны работать, но *не любят хозяйства*. Душа его к хозяйству не лежит, не любит он его, а интересуется чем-нибудь совсем другим.

Кому не случалось видеть в деревне так называемых *дурачков*? Я говорю не о таких дурачках, юродивых, божьих людях,

которые ходят по миру и собирают копеечки, а о тех дурачках и дурочках, которые живут при семьях, в дворах и занимаются, по мере способностей, работами.

Я знаю одного дурачка от рождения, который не может научиться рубить дрова. Пойдет, когда пошлют, а иногда и сам задумает рубить, но как? Иногда и хорошо рубит, но большей частью никак не может разрубить трехаршинное бревно—думает в это время, должно быть, о чем-нибудь другом—на три равные полена: то отрубит полено в поларшина, то в три вершка, то в два аршина—все дрова перепортит.

Знаю еще дурачка, который отлично плетет лапти, отлично колет, отлично пашет, но все это делает только, когда ему вздумается, если же заупрямится, то никакой силой его заставить работать нельзя. Пашет он отлично, но пашет через все нивы под ряд, и свои и чужие—прекрасный бы пахарь был при общем хозяйстве!

Знаю здесь в деревне девушку—в лицо взглянуть, видно, что сумасшедшая,—которая отлично работает, но совершенно механически, незная, что и к чему.

Знаю мужика-хозяина, который имеет свой двор—бедный, конечно, единственный бедный в богатой деревне,—который прекрасно исполняет всякие работы, даже плотницкие, окна присаживать может, который был бы отличным батраком и прекрасно исполнял бы всякую работу по чужому загаду. А между тем сам он, за своим загадом, ничаго делать не может и по хозяйству ничего не понимает: сена, например, высушить не умеет. Раз косил он у меня с половины лужок, выкосил отлично, под руководством старосты, отлично высушил сено, сгреб в копны, перевез мою часть в сарай, а свою оставил на лугу—завтра перевезу. На несчастие, пошел ночью дождик, и погода переменная стала: то дождь, то солнце. Что же? Недели две возился он с своими копнами—то растрясет под дождь, то сгребет сырое. Мы успели в это время отлично убрать большой луг и наложить два звена сена, а он все возится с своими копнами—никак подладить не может.

Знаю одного мужика, молодца, отличного работника, теперь уже бросившего землю и разорившего двор, у которого жена, здоровая, сильная, нельзя сказать, чтобы очень глупая, а даже старательная женщина, ничего не умеет работать. Не может нажать своевременно столько ржи, сколько нужно для прокормления семейства—у людей все сжато, а у нее еще стоит, другие бабы нажинают в день три да четыре копны, а она еле успевает сжать одну. Лен мнет: другие бабы наминают от 30 фунтов до пуда, а она 10—15 фунтов, да и мнет так плохо, столько спускает льна в костру, что ей можно платить, лишь бы она не ходила мять.

Есть у нас один дворовый человек Филат, очень способный на всякие ремесла, хотя ни одного хорошо не знает—неоценимый для деревни человек, потому что он и рамы сделает, и стекла вставит, и комнаты обоями оклеит, и печку, в случае нужды, сложит, и посуду вылудить может, словом, мастер на все руки. Филат, как бывший дворовый, земли не имеет и хозяйством не занимается, но он держит корову, овец и сам заготовляет для них сено. Ежегодно он берет у меня лужки на скос с части, и вот уже восемь лет смотрю я с удивлением на его уборку сена: никак не может подладить, разве уже неделю, две стоит такая звонкая погода, что всякий дурак уберет сено. А то, чуть погода переменная, как это у нас обыкновенно бывает,—смотришь, Филат сено спарил. На том же лугу, рядом с Филатом, люди убирают прекрасное сено, а у него нет-нет и попортилось: то разобьет не во-время, то сгребет сырое, спешит, никак в такт не попадает. Да мало того, что сено дрянь—на каждый пуд сена у Филата идет, по крайней мере, вдвое более труда, чем у других.

Если, с одной стороны, возьмем дурачка, который не может нарубить дров, а с другой—отличного мужика-хозяина, у которого всякое дело спорится, который может загадывать работу на огромную артель, то между этими двумя крайностями существует бесчисленное множество степеней. Если, с одной стороны, полные дурачки редки, то немногим менее редки и особенно замечательные хозяева. Преобладают средние люди и в числе их наибольший контингент составляют люди, механически выучившиеся, вследствие постоянного упражнения с малолетства, более или менее хорошо работать, неспособные единично вести самостоятельное хозяйство, а способные работать только под чужим загадом, под чужим руководством.

Пока семья не разделилась, то за загадом хорошего хозяина, или *за общим загадом всех*, в *общей* работе, все хорошо делают свое дело, работа идет споро и даже дурачок, если он не совершенный идиот, приносит свою пользу. Но разделилось семейство—а глуповатых бабы еще скорее подобьют на раздел—хозяевами делаются люди, не способные к хозяйству. Конечно, умея работать, такой хозяин все делает по общему деревенскому загаду: люди пахать—и он пахать, люди сеять—и он сеять. Но в частностях дело не спорится, нет хозяйственного соображения, некому загадать. И здоров, и силен, и работать умеет, а все не то. Работает много, а дело выходит, как у того Филата, которому каждый пуд сена обходится вдвое дороже, чем другим. Эта неспособность к хозяйству причиною, что даже в зажиточных деревеньках, стоящих в особенно благоприятных условиях, всегда встречается один-два бедняка, хозяйство которых резко отличается от других. И это даже тогда, когда все живут в одной деревне, сообща владеют землей, ведут оди-

наковое хозяйство, многое делают по общему загаду—время сева, например, всегда определяется с общего совета,—работают на нивках, недалеко отстоящих одна от другой. Рассадите же тех людей на отдельные участки земли, где каждый будет вести самостоятельное хозяйство, что тогда будет? Положительно можно сказать, что деревня и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от окончательного разорения.

Лучшим доказательством служат помещичьи хозяйства, в которых теперь за невозможностью, как при крепостном праве, иметь хороших хозяев, бурмистров и старост, сплошь да рядом ведется такое хозяйство, что массы труда засаживаются в землю совершенно бесполезно, иногда даже вредно, так что ценность имения не увеличивается, а уменьшается от такого нелепого хозяйства. Неспособность к хозяйству теперь доставляет главный контингент батраков и будет доставлять до тех пор, пока у крестьян не разовьется артельное хозяйство. Встретить между батраками, даже между старостами человека с хозяйственною головою, способного быть хорошим хозяином, необыкновенная редкость. Не оттого ли слово «батрак» считается таким обидным? И замечательно, что с каждым годом количество способных к хозяйству и даже способных вполне хорошо работать батраков уменьшается. Человек, способный к хозяйству, теперь разве только случайно может попасть в батраки.

Чтобы быть хозяином, нужно любить землю, любить хозяйство, любить эту черную, тяжелую работу. То не пахарь, что хорошо пашет, а вот то пахарь, который *любуется* на свою пашню.

А мало ли между крестьянами встречается таких людей, которые не склонны к хозяйству!

Ну, какой хозяин может быть из человека, который не любит пахать осенью, потому что скучно, и если пашет, то пашет плохо, кое-как, лишь бы поскорее отделаться. Напротив, весною любит пахать, хорошо пашет, потому что весною весело пахать—«птички разные, жаворонки играют». Какой же это хозяин?

Между пастухами часто встречаются такие люди: не умеет ни пахать, ни косить, выучиться этому не мог, ленив, ни к какому делу хозяйственному неспособен, недоумок, повидимому, а между тем пастух отличнейший, любит скот, до совершенства знает его нрав, отлично нагуливает, проводя со скотом целые дни под дождем, на ветру.

Охотники тоже.—Ну, стоит ли целый день таскаться за каким-нибудь тетеревом, за которого 20 копеек получишь?—сказал я как-то одному мужику-охотнику, принесшему мне тетерева.

— Двадцать копеек! Да разве в двадцати копейках дело. Тут охота. Вы вот до телят охоту имеете, а мне хоть их и не будь. Тут охота, а не двадцать копеек! Вы этого не понимаете,—обиделся мужик.

У нас в деревне есть мужик Ефер, молодой, большого роста, силы непомерной, когда напьется, всех разобьет, отлично может исполнять всякую работу, добрейшей души человек, такой человек, что нельзя его не любить, и вся деревня его любит, хотя и подсмеиваются над ним все. У Ефера страсть ко всем животным: голубям, курам, лошадям, собакам. Все, что касается животных, он знает отлично, все у него водится отлично, все животные его любят. Ефер сам хозяин, жена его, которую он очень любит, в таком же роде, как он, детей целая куча и здоровенные. Ефер самый беднейший из крестьян деревни. Бедность во дворе страшнейшая, избушка покачнулась, двор без крыши, ни телеги, ни вожжей, ни опрянуться самому. А между тем двор полон голубей, самых разнообразных пород, куры всяких сортов, собака, которая целый день рыщет, отыскивая себе пропитанья, а на ночь возвращается караулить двор, в котором и караулить-то нечего. У Ефера нет никакого интереса к хозяйству, никакого хозяйственного расчета. Кобыла у него старая-престарая, которую давно бы следовало продать на живодерню, а Ефер не продает--жалко. Жеребка у него есть, сам не доест, хлеба в доме нет, дети по деревне около других детей питаются, а жеребку воспитывает да и какая жеребка отличная! Сена к весне нет—да и откуда будет сено?—люди на покосе, а Ефер дома кур на речку гоняет поить, с голубями возится, детям раков ловит. Ефер по пудикам занимает у соседей, перебивается. На работу Ефер, нельзя сказать, чтобы был ленив, а не охоч, в особенности не любит зависимой работы, потому нанимается на работу только при последней крайности. В прошедшую голодную зиму—вследствие совершенной невозможности пропитаться дома—в «кусочки» ни Ефер, ни его семейство ни за что не пойдут, совестно, потому что деревня хоть и не богата, но все-таки ни недоимок нет, ни в «кусочки» никто не ходит—Ефер заставился ко мне на зиму работником на скотный двор. Отличный бы работник для скотного двора, до скота охоч, добр к животине, любит накормить, примечателен, и ему до известной степени удобно, деревня близко, можно и домой сходить, женку, детей, жеребку, кур, голубей посмотреть. Семь лет я не мог развести на скотном дворе голубей—не ведутся как-то, коршак ест. Несмотря на все старания состоящего при скотном дворе мальчика Матюшки, которому мною был отдан строгий приказ развести голубей, который и сам хотел иметь голубей, что мы ни делали, голуби не велись—коршак ест. Заводили и короткоклювых, по поросенку за голубя давал, заводили и простых—не идут на

руку. Стал Ефер на зиму—сейчас завелись голуби. Сначала появились простые, потом хохлатые разные, короткоклювые, мохноногие, какие-то банбенские, потом куры разные, петух какой-то необыкновенный, с перьями на ногах, так что еле ходит, проявился. Думал я совсем оставить у себя Ефера, пока дети его подрастут, предлагал выгодные для него условия.

— С жалованья будешь детей кормить, огород жена обделает, сенца овечкам накосить лужок тебе дам, землю запустишь, а потом, когда Самсон (сын Ефера) подрастет, опять подымешь. Земля отдохнет, хлеб-то какой пойдет.

— А с кобылой-то как быть?

— Кобылу и жеребку я у тебя куплю. На эти деньги потом новую купишь.

— А заведение все?

— Да какое же у тебя заведение?

— Куры тоже, овечки, свинья.

— Ну, это все при жене останется.

Посыкнулся было Ефер в год остаться, но потом раздумал. Мало того, даже до лета на скотном дворе не выжил. Пришла весна, заиграли ручейки, разлились реки, просится Ефер домой.

— Куда ты пойдешь, жрать что будешь? До Ильи ведь далеко.

— Пахать нужно.

— Когда еще пахать, через месяц еще пахать.

— Нельзя, А. Н., соху наладить нужно.

И ушел, взяв на остальные заработанные деньги четверку ржи. Потом, конечно, бедствовал, перебивался кое-как. С пробуждением природы Ефер уже не мог оставаться у меня на скотном дворе и кормить скот заведенным порядком, его тянуло к речке, ловить рыбу и раков, которыми он главным образом и пропитывал детей; его тянуло в поле, в лес, где весело играют всякие пташки...

Ушел Ефер—с ним улетели и голуби. Остались каких-то две несчастные пары, которые сколько ни вывели за лето детей, всех коршун подрал.

И счастлив же нынче Ефер! Весна была такая благодатная, какая может быть только в сто лет раз. Хлеб озимый родился превосходно, и чем хуже была унавожена земля, чем хуже обработана, чем реже была зелень с осени, тем лучше уродилась рожь, потому что не полегла. У Ефера была чуть ли не лучшая рожь в деревне.

И сколько таких Еферов! И какое бы значение имели эти Еферы, перебивающиеся теперь кое-как в хозяйственных земледельческих артелях, где каждому нашлось бы дело, к которому лежит его душа! Потому что ведь Еферов интересуют не их голуби, не их жеребки, а все голуби, все жеребки.

В настоящее время вопрос о крестьянской земле, о крестьянских наделах сделался вопросом дня. Все исследования, как известно, приводят к тому, что крестьянские наделы слишком малы и обременены слишком большими налогами. Огромные недоимки, частые голодовки, быстрое увеличение числа безземельных, которые, бросив землю, уничтожив хозяйство, распродав дворы, уйдя из деревень, только номинально считаются общинниками, а в действительности такие же безземельные, как и те, не получившие наделов, которые так и пишутся безземельными, ясно доказывают, что дело не совсем ладно. Наконец, и самые ходящие в народе слухи, что скоро выйдет «Новое Положение», указывают на трудное положение крестьянства. Вопрос, видимо, созревает.

Я не статистик, не политико-эконом, не публицист, а так себе, занимающийся хозяйством землевладелец, вращающийся в маленьком мирке и описывающий то, что подметилось. Все, что я пишу, относится к той маленькой местности, которую я знаю, если же выходит так, что в других местах то же самое, то это потому, что одинаковые условия порождают одинаковые явления. Прошу поэтому читателя быть нетребовательным к этим деревенским очеркам.

Что крестьяне наделены недостаточным количеством земли, что они обременены налогами, это несомненно. Точно так же несомненно для меня, что это затеснение крестьян, не принося пользы землевладельцам, наносит огромный вред государству, потому что огромные пространства земель остаются теперь непроизводительными, необработанными, а труд, который употребляется на обработу остальных земель, вследствие неразумного его приложения, не приносит того, что мог бы приносить. Мы бедны, все у нас идет ни так, ни сяк, денег нет, а между тем поезжайте, посмотрите, какие пространства лежат необработанными, заросшими лозняком и всякой другой дрянью. Но вот что главное, эти не бывшие еще в культуре земли содержат в себе массы питательного материала, и при самой поверхностной, грубой обработке могут дать огромные богатства. Но кто же, кроме мужика, может извлечь эти богатства?

И я, деревенский хозяин, и исправник, выбивающий недоимки, и комиссии, исследовавшие причины несостоятельности крестьян, не можем не видеть, что крестьяне наделены недостаточным количеством земли, так что даже уменьшение налогов будет только паллиативною мерой.

Первое, что бросается в глаза, это то, что во многих деревнях крестьяне получили в надел *менее* того количества земли, какое у них было в пользовании при крепостном праве. Вся лишняя за указанным наделом земля была отрезана во владение помещика и составила так называемые *отрезки*, *зацепки*,

зацепные земли. Где есть отрезки, там и крестьяне беднее и недоимок более. Очень часто можно видеть, что деревни, даже не имеющие полного надела, но получившие то количество земли, каким они пользовались при крепостном праве, живут зажиточнее, чем те деревни, которые, хотя и получили полный надел, но у них были отрезки. От этого же случается иногда видеть, что крестьяне, которые хорошо жили при крепостном праве, теперь обеднели, а те, которые были при крепостном праве бедны, теперь живут лучше.

Это совершенно понятно. Ясно, что при крепостном праве помещик, особенно если у него не было недостатка земли, оставлял в пользовании крестьян такое количество земли, которое обеспечивало бы исправное отбывание повинностей по отношению к помещику и казне. Если в пользовании крестьян было много земли, то это значит, что или земля нехороша, или не было у крестьян хороших лугов, недостаток которых нужно было наполнить плохими пустошами, или деревня лежала отдельно, не в связи с господской запашкой, окруженная чужими землями, так что нуждалась в выгоне. При наделении крестьян лишняя против положений земля была отрезана, и этот отрезок, существенно необходимый крестьянам, поступив в чужое владение, стеснил крестьян уже по одному своему положению, так как он обыкновенно охватывает их землю узкой полосой и прилегает ко всем трем полям, а потому, куда скотина ни выскочит, непременно попадет на принадлежащую пану землю. Сначала, пока помещики еще не понимали значения отрезов, и там, где крестьяне были попрактичнее и менее надеялись на «новую волю», они успели приобрести отрезки в собственность, или за деньги, или за какую-нибудь отработку, такие теперь сравнительно благоденствуют. Теперь же значение отрезов все понимают, и каждый покупатель имения, каждый арендатор, даже не умеющий по-русски говорить немец, прежде всего смотрит, есть ли отрезки, как они расположены и насколько затесняют крестьян. У нас повсеместно за отрезки крестьяне обрабатывают помещикам землю—именно работают круги, то-есть на своих лошадях, с своими орудиями, производят, как при крепостном праве, полную обработку во всех трех полях. Оцениваются эти отрезки—часто, в сущности, просто ничего не стоющие, не по качеству земли, не по производительности их, а лишь по тому, насколько они *необходимы* крестьянам, насколько они их *затесняют*, насколько возможно *выжать* с крестьян за эти отрезки. Понятно, что все это зависит от множества разнообразных условий.

Добро бы еще эти отрезки сдавались крестьянам за арендную плату деньгами, а то нет—непременно под работу. И что всего нелепее, очень часто вся эта работа не приносит поме-

щику, вследствие его неумелого хозяйства, никакой пользы, и бесплодно для всех зарывается в землю. В нашей местности я один только пример и знаю, что крестьяне платят за отрезки деньгами, да и то только потому, что имение находится в аренде у купца, который хозяйством не занимается и в крестьянской полевой работе не нуждается. И опять-таки, пускай и работой платят за отрезки, если бы крестьяне за отрезки производили какие-нибудь осенние, зимние или весенние работы, а то нет,— каждый норовит, чтобы за отрезки работали круги, да еще с покосом, или убирали луг, жали хлеб, то-есть производили работу в самое дорогое, неоценимое по хозяйству, страдное время.

Выше я старался разъяснить, какое значение имеет для земледельца страдное время, с 1 июля по 1 сентября, и как для него важно в это время работать на *себя*, потому что это страдное время готовит на весь год. А тут за отрезки мужик должен работать на пана самое дорогое время. Для многосемейных зажиточных крестьян, у которых во дворах много работников и работниц, много лошадей и исправная снасть, отработать за отрезки кружок или полкружка еще ничего, но для одиночек-бедняков, у которых мало лошадей, обработка кружков—чистое разоренье. «Богач»-то и пользуется с отрезков больше, потому что, имея деньги, он купит весною пару бычков за дешевую цену у своих же однодворцев, нуждающихся в хлебе, пустит их на общую уругу и, когда отгуляются, к осени продаст. Тут каждый отгулявшийся бычок принесет «богачу» по пятерке, мало по трояку—вот у него работа за отрезок и окупилась. Да еще мало того, «богач» обыкновенно только земляную весеннюю работу в кружке производит сам—сам только вспашет, засеет, навоз вывезет,—а на страдную работу, покос, жнитво, он нанимает за себя какого-нибудь безземельного бобыля, бобылку или еще проще, раздав зимою и весною в долг хлеб беднякам, выговаривает за магарыч известное число дней косьбы или жнитва и посылает таких должников жать на господском поле. «Богачи» всегда главные заводчики дела при съеме кружков, они-то всегда и убеждают деревню взять отрезки под работу. Бедняки и уперлись бы—«ну, как-нибудь и без кружков обойдемся, пусть штрахи берет, много ли у нас коней, мы на своей уруге прокормим»—уперлись бы, понажали бы владельца отрезков, заставили бы его сделать уступку, так как отрезки, не возьми их деревня, никакого дохода владельцу не принесут, да что с «богачами» поделаешь? «А вот я сам один возьму отрезки, скажет богач,—я не пану чета, у меня будете работать, я знаю что к чему». Да и что могут говорить бедняки против «богача», когда все ему должны, все в нем нуждаются, все не сегодня, так завтра придут к нему кланяться: хлеба нет, соли нет, не-

доимками нажимают. Вся деревня ненавидит такого богача, все его клянут, все его ругают за глаза, сам он знает, что его ненавидят, сам строится посреди деревни, втесняясь между другими, потому что боится, как бы не спалили, если выстроится на краю деревни. Но не скажу—грех огульно во всех бросать камень,—бывают и «богачи» артельные, союзные, мирские люди, миру радетели. Деревню, где есть такой «богач», ни помещик не затеснит, ни купец, ни кулак-кабатчик какой-нибудь. Такие деревни быстро поправляются, богатеют, и нужно сказать, что соседнему владельцу, если он понимает хозяйское дело, ведет настоящее хозяйство и не слишком барин, такие деревни гораздо сподручнее.

Положение крестьян, получивших в надел ту землю, которой они владели[1] при крепостном праве, у которых, следовательно, не было отрезков, несколько иное, пожалуй, лучшее, но и тут есть своего рода загвоздки.

Такие, пользовавшиеся при крепостном праве меньшим количеством земли, обыкновенно были крестьяне помещиков средней руки, и деревни их примыкали своими полями к господским запашкам. Есть, конечно, деревни, у которых земля особенно хороша, имеются заливные луга, отличные огороды и пр., вследствие чего помещик мог оставлять в пользовании крестьян меньше земли, но есть деревни, в которых ничего этого нет, а земли в пользовании крестьян при крепостном праве было все-таки мало. Такие деревни—обратите на это внимание—своими землями всегда прилегают к господским землям. В крепостное время крестьяне таких деревень, сверх *своей* земли, *пользовались еще и господскими землями*. Крестьянам во время работ отводились за яровым господские лужки для прокормления лошадей, во время вывозки навоза тоже отводились лужки, в покос мужицкие лошади кормились на выкошенных лугах, да, кроме того, каждый пригонник мог, хотя и под страхом наказания, увезти охапочку сенца для своих коней. После уборки лугов и полей крестьянские лошади и скот ходили по господским лугам и пустошам. Наконец, в случае крайности, помещик давал корму для лошадей или помогал в работе на господских полях своими лошадьми, особенно при бороньбе и возке.

В настоящее время установился такой порядок, чтобы пополнить недостаток в лугах, крестьяне берут у помещиков покосы с части, чтобы пополнить недостаток выгонов и приволья, берут на обработку кружки за известную плату, но с тем, чтобы поль-

[1] Следовало бы сказать «пользовались» но мы, помещики, еще при крепостном праве до такой степени привыкли говорить «крестьянская земля», «крестьяне владеют этой землей», что даже, узнав из «Положения», что это «наша» земля, по старой привычке все продолжаем делать описки.

зоваться правом выгона. Положение несколько лучшее, чем в тех деревнях, которые должны работать господскую землю за отрезки, потому что все-таки получаются кое-какие деньги за работу, да и нажать помещик так сильно не может, так как если поля смежны, стало быть и господская скотина тоже может зайти на крестьянскую землю. Но все же и тут лучшую часть времени приходится употреблять для работ на чужом поле.

Как ни кинь, все клин. Ясно, что у мужика земли мало.

И добро бы помещичьи хозяйства процветали! Можно бы тогда указать на высокое развитие земледелия, скотоводства, на богатство, на государственную пользу. А то и того нет. Крестьяне затеснены, помещикам от этого пользы никакой, земледелие в упадке и состоит в переливании из пустого в порожнее, паны ушли на службы. Государство бедно. Кому же, спрашивается, польза?

Вон, говорят, какой-то лорд подсмеивается, что скоро в Петербурге пара перчаток будет стоить сто рублей. И что же? И правда! Только одно и утешает, что мы—лорд-то этого и *понять* не может—если будут перчатки дороги, просто-напросто, *не будем носить перчаток*. Да и многие ли теперь их носят?

Я уже не раз говорил в моих статьях, что наши помещичьи хозяйства пришли в совершеннейший упадок, что все хозяйства сократили свои запашки, запустили свои земли и большей частью обрабатывают лишь то количество земли, какое могут обработать за отрезки или при сдаче земли на обработку кружками. Это очень характеристично. Это показывает, как существенно отличается наше хозяйство от западноевропейского, где у народа *вовсе* нет земли. Отчего же наша агрономия может существовать не иначе, как на казенный счет? Отчего же наши агрономы *могут только служить?* Отчего же они не могут создать *своей* самостоятельной агрономической науки?

А оттого, что им для этого прежде всего нужно сделаться мужиками, потому что все хозяйство в мужицких руках.

У нас можно по пальцам перечесть имения, в которых ведется обширное батрачное хозяйство с хорошей обработкой земли, с искусственными лугами, хорошим скотоводством, имения, в которых земли не упускают непроизводительно. Все такие имения на перечет, и счесть их нетрудно: одно, два, три... не обчелся ли? Существование таких хозяйств совершенно дело случая и, если определить *чистую* доходность таких имений, то часто она будет нуль, а иногда и отрицательная величина, так как хозяйство ведется просто для удовольствия—для «охоты». Все подобные хозяйства следует отбросить и принимать в соображение только те, которые составляют массу и которые характеризуют помещичье хозяйство настоящего времени.

Прошло уже семнадцать лет после «Положения», а помещичье хозяйство нисколько не подвинулось, напротив того, с каждым годом оно более и более падает, производительность имений более и более уменьшается, земли все более и более дичают. Ни выкупные свидетельства, ни проведение железных дорог, ни вздорожание лесов, за которые владельцы последнее время выбрали огромные деньги, ни возможность получать из банков деньги под залог имений, ни столь выгодное для земледельцев падение кредитного рубля, ничто не помогло помещичьим хозяйствам стать на ноги. Деньги прошли для хозяйства бесследно. А главное, до сих пор для помещечьих хозяйств нет основ, нет почвы это, так сказать, флюгарки.

Землевладельцы в своих имениях не живут и сами хозяйством не занимаются, все находятся на службе, денег в хозяйство не дают,—что урвал, то и съел,—ни в одном хозяйстве нет оборотного капитала. Усадьбы, в которых никто не живет, разрушились, хозяйственные постройки еле держатся, все лежит в запустении. За исключением некоторых особенно хороших имений, в которых имеются обширные заливные луга, имений, на которые находятся арендаторы, дающие владельцам самые ничтожные суммы, все другие находятся под управлением приказчиков, старост, разных *вышедших на линию* людей, презирающих необразованного мужика, людей, жены которых стремятся иметь прислуг, ходить как барыни, водить детей, как панинят, и учить их мерсикать ножкой. За отсутствием служащих владельцев, эти ничего в хозяйстве не понимающие услуживающие приказчики суть настоящие хозяева имений. На них-то и работают затесненные замлей мужики!

Большая часть земли пустует под плохим лесом, зарослями, лозником в виде пустырей, на которых нет ни хлеба, ни травы, ни лесу, а так растет мерзость всякая. Какие есть покосишки сдаются в части, а земли пахотной обрабытывается столько, сколько можно заставить обработать соседних крестьян за отрезы или за деньги, с правом пользоваться выгонами. Все эти хозяйства, как выражаются мужики, только и держатся на *затеснении* крестьян. Обработка земли производится крайне дурно, кое-как, лишь бы отделаться, хозяйственного порядка нет, скотоводство в самом плачевном состоянии, скот навозной породы мерзнет в плохих хлевах и кормится впроголодь, урожаи хлеба плохие. Производительность имений самая ничтожная и вовсе не окупает того труда, который употребляется на обработку земли. Доход получается самый ничтожный. Из этого дохода нужно уплатить повинности, истратить кое-что на ремонт построек, уплатить приказчику и другим служащим. За исключением всех этих расходов, владельцу остается ужасно мало, да еще хорошо, если *что-нибудь* останется, а то большей

частью ничего не остается. Иногда же на содержание хозяйства идут еще доходы с арендных статей, например, с мельницы, а бывает и то, что владелец даже приплачивает из своего жалованья, получаемого на службе. В сущности хозяйства эти дают содержание только приказчикам, которые, а в особенности их жены, *барствуют* в этих имениях, представляя самый ненавистный тип лакеев-паразитов, ушедших от народа, презирающих мужика и его труд, мерсикающих ножкой перед своими господами, которые, в свою очередь, мерсикают в столицах, не имеющих ни образования, ни занятий, ни даже простого хозяйственного смысла и готовящих своих детей в такие же лакеи-паразиты.

Я положительно недоумеваю, для чего существуют эти хозяйства: мужикам—затеснение, себе—никакой пользы. Не лучше ли бы прекратить всякое хозяйство и отдать землю крестьянам за необидную для них плату? Единственное объяснение, которое можно дать,—то, что владельцы ведут хозяйство только для того, чтобы констатировать право собственности на имение.

Мне, может быть, не поверят. Как же, скажут, в Петербурге, Москве и других городах существуют агрономические общества, которые имеют заседания, прения, обсуждают разные вопросы рациональной агрономии, издают журналы и т. п. Читая эти отчеты о заседаниях, выставках, читая эти ученые статьи, эти ученые описания рационально-агрономически устроенных имений нельзя, казалось бы, усомниться, что помещичье хозяйство сильно двинулось вперед и развивается с каждым годом.

Но если вы, подготовленный этою агрономическою литературою, поедете в провинцию и, минуя города, где для вас, если вы имеете известность агронома, устроят и заседания и прения, на которых будут толковать о клеверах, виках и т. п., если, минуя города, вы отправитесь в действительные хозяйства и будете смотреть их не из вагона, то вы будете поражены. Ни плугов, ни скарификаторов, ни альгаусских скотов, ни тучных пажитей и полей, а, главное, никакого дохода. Пустыри, пустыри и пустыри, а если где увидите болтающих господскую землю крестьян, затесненных недостатком земли, то что же в этом толку? Даже и в более или в менее благоустроенных имениях, даже и в них, если нет посторонних доходов, все держится только на *необыкновенной*, *ненормальной дешевизне* труда!

А и земля хороша, может отлично вознаграждать труд. Основ нет, почвы под ногами у хозяев нет. Вот почему я и говорю, что у этих хозяйств нет будущности.

Не верите тому, что я говорю о наших хозяйствах, послу-

шайте, что пишет (№ 1 газеты «Скотоводство») один агроном, В. Е. Постников, осматривавший хозяйства нашей губернии: «таких хозяев (помещиков), которые бы получали удовлетворительный доход от своих имений собственным ведением дела, здесь немного, они на перечет. Большинство перебивается арендными статьями с имений, оброками с крестьян, службой, наконец, продает леса и проживает оставшиеся капиталы». Вот что говорит свежий сторонний человек, осматривавший наши хозяйства не из окна вагона.

Да, действительность всюду окажется не тою, какою можно ее себе представить, читая отчеты наших агрономических обществ, состоящих из культурных чиновников. Всюду ложь, фальшь—бессознательная, конечно,—такая же фальшь, как интерес каких-нибудь сибирских инородцев к классическому образованию. Кто же заседает в этих ученых обществах?—культурные чиновники, которые никаким хозяйством не занимаются и настоящего положения вещей не знают. Кто пишет отчеты, статьи? Кто преет? Опять те же чиновники. А если попадет в столице в «собрание хозяев» какой-нибудь «Прокоп» из провинции, который знает действительное положение дел, так и тот, по пословице, «с волками жить, по волчьи выть», начинает вторить—мастера мы на это удивительные, именно мастера *вторить*,—втягивается в общую ложь и врет, врет, врет. И плуги-то у нас гогенгеймские, и скоты симментальские, и вику-то мы сеем, и табак-то мы разводим, и, соревнуя о народном образовании, «хозяйственные беседы» для народа на земский счет издаем. Чудеса разведет.

А тут получаешь газету и читаешь: «Вязьма» (корреспонденция «Нового времени»). В настоящее время в руках у следователя находится баснословное дело: «об *организованной шайке шулеров и игре крапленными картами в вяземском собрании сельских хозяев*». Вот тебе и на! Вот уже прискорбное явление, такое прискорбное!

Итак, с одной стороны, «мужик», хозяйство которого не может подняться от недостатка земли, а *главное*, от разъединенности хозяйственных действий членов общин; с другой стороны, ничего около земли не понимающий «пан», в хозяйстве которого другой стесненный мужик попусту болтает землю.

И у того и у другого затрачивается бесполезно громадная масса силы. То же количество пудо-футов работы, какое ежегодно расходуется теперь, будь оно приложено иначе, дало бы в тысячу раз более. Чего же ожидать? Чего же удивляться, что государство бедно? Какие финансовые меры помогут там, где страдают самые основы, где солнечные лучи тратятся на производство никому не нужной лозы, где громадные силы бесплодно зарываются в землю.

Ну, и дойдем до того, что пара перчаток будет стоить сто рублей! Наше счастье, наша сила только в том, что мы можем обойтись и без перчаток.

И крестьяне все это видят и понимают. «Зачем панам земля,—говорят они,—коли они около земли не понимают, коли они хозяйством не занимаются, коли земля у них пустует. Ведь это *царю убыток*, что земля пустует».

Не может быть никакого сомнения, что, будь крестьяне наделены землей в достаточном количестве, производительность громадно увеличится, государство станет очень богато. Но скажу все-таки, что если крестьяне не перейдут к артельному хозяйству и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами-крестьянами будут и безземельные и батраки. Скажу более, полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь. Несмотря на общинное владение землей, рядом с «богачами» будет много обезземеленных фактических батраков. Что же мне или моим детям в том, что я имею право на землю, когда у меня нет ни капитала, ни орудий для обработки? Что все равно, что слепому дать землю—ешь ее!

Я говорил выше, что главная причина обеднения при разделах лежит в том, что тут делится и земля, и хозяйство, затем каждый обзаводится своим домком, вследствие чего интересы чрезвычайно суживаются и устремляются на этот свой домок. Я не думаю, чтобы можно было ожидать, что крестьяне скоро перейдут к артельной обработке своей надельной земли, потому что такое соединение людей, уже разделившихся и обзаведшихся домками, дело чрезвычайно трудное. Еще там, где не нужно навоза, легче может быть достигнуто соединение земли для артельной обработки, но раз нужен навоз, необходимо общее содержание скота, общее заготовление корма и пр. Не скоро еще могут дойти крестьяне до такого соглашения, потому что для этого нужно, чтобы сильно поднялся уровень их образования.

Я уверен, что гораздо скорее можно рассчитывать на соединение крестьян для артельного арендования и артельной обработки сторонних земель, например, целых помещичьих имений в полном их составе. Мы знаем, что крестьяне чрезвычайно легко соединяются в артели для работ на стороне и устраивают свои артельные дела чрезвычайно практично. Почему же бы они не могли соединяться для артельного арендования целых имений с полным хозяйством, то-есть постройками, скотом? Слышно, что даже есть уже примеры подобных артельных аренд.

Обработка таких арендованных артелями имений могла бы производиться на тех же началах, какие лежат теперь в основании рабочих артелей: сообща производились бы только

такие работы, которые иначе производить нельзя, например, вывозка навоза, молотьба и т. п. Все работы, которые, без ущерба делу, могут быть производимы в раздел, и производились бы в раздел, причем каждый обрабатывал бы столько, сколько ему под силу, сообразно количеству рабочих рук, лошадей. Продукт делить соответственно количеству работы—по косам, сохам и пр. Собственно говоря, тут относительно способа работы нет ничего нового для крестьян, потому что и теперь, когда крестьяне работают у помещика с половины или работают круги за отрезки или за деньги, обработка производится подобным же образом.

Деревня берет на обработку, положим, десять кругов за общей круговой порукой с известной платой за круг, которая и выдается всей деревне. Хозяин далее ничего не знает, он только распоряжается работой и смотрит, чтобы она более или менее хорошо производилась. Деревня сама делает раскладку и определяет, кто сколько будет работать: кто круг, кто полкруга, кто четверть. Некоторые работы, например, вывозка навоза, молотьба, производятся сообща, причем деревня сама определяет, сколько должно быть выставлено на круг лошадей, рабочих, подростков и пр., а уравнение при общей работе происходит под общим наблюдением. Люди так изощрились, что если, например, взвесить возы навоза, то окажется, что на каждую лошадь положено одинаковое количество. Остальные работы, например—пахота, жнитво, производятся в раздел, а для других—сева, бороньбы—соединяются только работающие части кругов. В тех случаях, где нельзя сделать полного уравнения, бросают жребий[1]. Полученная за работу плата делится по кругам. Точно так же производилась бы обработка при артельном арендовании имений.

Я бы не стал и говорить об этом предмете, если бы не видал попыток к этому и не был убежден в возможности осуществления. Есть много примеров, что крестьяне сообща, целыми деревнями, арендуют помещичьи имения и хутора. Самый обыкновенный случай, что арендуют такие имения, в которых хозяйство было вовсе запущено, постройки и скот уничтожены. Тут деревня, собственно, арендует кусок земли, которым сообща пользуется, как выгоном, а покосами и пахотной землей пользуется в раздел нивками, как и своей надельной землей,

---

[1] При разделе сена, например, по косам делается так: все сообща накладывают возы, стараясь по возможности уровнять их, затем бросают жребий, кому какой воз взять, и каждый запрягает свою лошадь в доставшийся ему воз. Во время накладки возов постоянно идет спор, но бросили жребий, и уже тогда споров нет, разве какой-нибудь «жадный» станет обижаться, что его воз меньше. «Тогда бы смотрел, как накладывали»,—скажут ему.

с тою только разницей, что арендованную землю не удобряет. Более подходящий случай представляет обработка земли из полу. Вся деревня или артель однодеревенцев берет имение из полу урожая хлеба и сена. Обработка производится, как обработка кругов—некоторые работы делаются сообща, другие в раздел; половина урожая поступает владельцу, другая половина делится между артельщиками по числу кругов, обрабатываемых каждым. Разница здесь только в том сравнительно с обработкой кругов на деньги, что вместо определенной денежной платы получается неопределенная плата урожаем. При обработке изполу владелец сам заведует хозяйством, имеет своего старосту, сам ведет скотоводство, потому крестьяне здесь никакой самостоятельности не имеют и относятся к делу спустя рукава.

Наконец, есть примеры арендования крестьянами имений в полном составе. Деревня взяла в аренду имение с постройками, скотом за определенную плату и ведет хозяйство самостоятельно. Для охранения построек, собранных продуктов—зерна, сена и пр.—деревня нанимает *стороннего* человека, нечто в роде старосты, на обязанности которого лежит также присмотр за работами, чтобы работа производилась каждым артельщиком добросовестно, а также присмотр за скотником. Староста только смотрит за исполнением, а хозяйственные распоряжения производятся с общего совета всех артельщиков, которые с общего согласия определяют, где, что, когда сеять и пр. Замечательно, что этого старосту деревня не выбирает из своей среды, но нанимает на стороне, чтобы это действительно был сторонний человек, ничего общего с членами артели не имеющий. Нанимают старосту с общего согласия после тщательного обсуждения на сходке: кто-нибудь предлагает нанять такого-то, другие говорят свои мнения о нем и, обсудив, решают сообща, конечно, без баллотировки, нанять того или другого. Скотника нанимают таким же порядком. Обработку земли в арендованном имении крестьяне производят подобно тому, как и обработку кругов, т. е. каждый обрабатывает такое количество, *какое ему под силу*. Часть работ—возка навоза, молотьба, покос—производится сообща, другие работы враздел. Нечего говорить, что пропорциональное уравнение работ доведено до самой мелочной, щепетильной точности, и никто, полагаю, не сделает лишнего пудо-фута работы против других. Из добытых продуктов в имении оставляется вся солома и такое количество сена, какое необходимо для прокормления скота, остальное сено делится между артельщиками по числу кос. Весь хлеб молотится в имении, часть продается для уплаты аренды, а остальное делится между артельщиками, по числу кругов, которое каждый обрабатывает.

Конечно, такой способ артельного ведения хозяйства далек до идеала, но я и этому придаю огромное значение, потому что это шаг вперед.

Для крестьян такое артельное арендование имений выгодно уже потому, что дает заработок вблизи, не отлучаясь на сторону, не отвлекаясь от собственного хозяйства, что для одиночек притом и невозможно. Кроме того, раз крестьяне сошлись для артельного арендования, то делается гораздо более вероятным, что, видя на деле пользу от артельной обработки земли сообща, от содержания скота сообща и пр., они скорее бы переходили к артельной обработке и своих наделов, к общинному хозяйству, скорее бы уничтожилась та рознь, те эгоистические отношения, которые существуют в деревнях.

Мне рассказывали, что крестьяне деревни, арендующей имение, о котором я сообщил, отличаются замечательною дружбою. Говорят, например, что никогда нельзя встретить кого-либо из крестьян этой деревни одного в кабаке, а если вздумает деревня погулять, то в свободное от работ время все идут в кабак вместе и гуляют сообща. Говорят, что эта артель никогда не оставит своего однодеревенца пьяным в кабаке и никого из своих не даст в обиду. Рассказывают, что если кто-либо из крестьян этой деревни встретит где-нибудь подходящую работу, то берет ее, рядится за всю деревню и, если нужно дать задаток, а у него нет денег, он идет к богачу из своей деревни и берет, сколько нужно. Работу потом выполняют целой деревней, и, говорят, никогда не случалось, чтобы деревня отказалась от работы—хоть бы впоследствии оказавшейся невыгодной,—если подрядился один из однодеревенцев.

Конечно, таких, выражаясь по-мужицки, *союзных* деревень мало. Какую бы огромную пользу могли принести интеллигентные люди, желающие заниматься земледелием, поселяясь в деревнях и образуя между собой подобные артели!

Выучившись работать—а без этого ничего не будет,—они могли бы образовывать свои артели для аренды имений, и каким бы отличным примером для крестьян служили эти артельные хозяйства цивилизованных людей.

Но для этого нужно уметь работать, нужно уметь работать так, как умеет работать земледелец—мужик. Нужно выработать в себе такие качества, чтобы стать способным обходиться в жизни без мужика, нужно приобрести мужицкие ноги, руки, глаза, уши. Нужно выработать себя так, чтобы хозяин-мужик *согласился нанять тебя в батраки и дал бы ту же цену, какую он дает батраку из мужиков*. Достигнуть этого возможно. Уезжать в Америку не нужно. Учиться работать нужно у мужика, работая среди мужиков, наряду с ними и при той же, по возможности, обстановке. Несут же—должны нести—интеллигентные

люди солдатскую службу наравне с мужиком. Не милуют же их в траншеях под Плевной! Между интеллигентными людьми процент годных в земледельческую работу, по моему мнению, не менее, чем между мужиками. Я убежден—убедился в этом на опыте,—что при добром желании сделаться земледельцем, при неустанной работе, здоровый, сильный, ловкий, неглупый человек из интеллигентного класса может в *два года* приобрести качества *среднего* работника из мужиков, даже, пожалуй, может сделаться—если он особенно внимателен—способным обходиться без мужика, то-есть будет уметь сделать себе топорище, грабли, присадить косу и соху, сделать борону, сумеет убить и обделать скотину, выездить лошадь, срубить даже избенку. Если в *два года*, при постоянной работе, он не достигнет качеств среднего батрака-рабочего, то, значит, у него чего-нибудь да нехватает, значит, он нечто в роде того, что у мужиков называется «божий человек». Многим может показаться слишком малым назначаемый мною срок *два года*, слишком малым в виду того, что для достижения степени магистра химии или звания лекаря нужно тринадцать лет, но я имею в виду то, что тут будет действовать собственная охота, да еще то, что при воспитании интеллигентных людей они *все-таки* несколько приучаются к физической ловкости, деятельности: игры, драки и т. п. В этом отношении бурсаки будут иметь перевес над кадетами, а кадеты над гимназистами. Разумеется, чтобы сделаться *магистром-земледельцем*, таким, какими бывают *настоящие* мужики-земледельцы, нужно тоже лет тринадцать, нужно тоже учиться с малолетства.

По моему мнению, и для землевладельцев-помещиков самое выгодное было бы сдавать свои имения в аренду крестьянским артелям. Я говорил уже, что помещики большей частью состоят на службе, исполняют разные функции так называемых правящих классов, начиная с должности прокурора и кончая должностью публициста, литератора и т. п., и сами хозяйством не занимаются. Большинство даже с хороших имений, где есть заливные луга, получает самый ничтожный доход, многие и вовсе с имений никакого дохода не получают, иногда даже за удовольствие иметь хозяйство приплачивают. Доходность мала, потому что хозяйство ведется дурно, и большая часть доходов поглощается администрацией. Сначала, доходы еще были выше, пока возможно было пользоваться старым туком земли, пока были целы старые постройки, возведенные при крепостном праве, пока приказчики могли помаленьку пустошить леса, пока не перевелся хороший скот и т. п. Но теперь, чем дальше, тем хуже, и есть даже отличнейшие с заливными лугами имения, которые разорены и запущены. Владельцы теперь сами видят, что дело так итти не может, и ищут аренда-

торов, которым сдают имения за самые ничтожные суммы. А арендатор немец, который имение берет только, если есть заливные луга и если есть возможность заставить крестьян работать круги, платя, например, 1 000 рублей, сам хочет получить на свою долю, по крайней мере, еще 1 200 рублей—из чего же ему и биться? Да и где же владельцам самим заниматься хозяйством, и к чему? Крупным владельцам самим заниматься нельзя, потому что какая же есть возможность хозяйничать, например, на 10 000 десятинах, мелким—тоже не стоит самим заниматься, потому что всякая служба выгоднее, чем хозяйство, которое притом требует ума, познаний, способностей, много физического и умственного труда. Да и жить-то в деревне кто теперь захочет—нужда разве заставит. Каждому хочется жить в обществе своих, цивилизованных людей и иметь возможность дать детям образование. Люди из интеллигентного класса тогда только будут жить по деревням, когда они станут соединяться и образовывать *деревни из интеллигентных людей*.

Я думаю, едва ли кто из землевладельцев станет спорить, что для них единственное средство продуцировать свои имения—это сдавать их в аренду, имея в имениях лишь шато для летней резиденции. Кому бы не хотелось иметь богатых, с деньгами, фермеров, ведущих хозяйство по агрономии, откармливающих чудовищных быков, употребляющих для удобрения гуано и т. п. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что у нас этого никогда не будет, и что такое арендаторство, как в Западной Европе, у нас не имеет никакого смысла и никогда не разовьется. Класса мелких арендаторов, которые имели бы капиталы, умели сами работать, могли брать в аренду маленькие фермы, у нас нет, да и неоткуда ему взяться. Кроме того, у нас и ферм-то маленьких нет, да и быть их не может. Разделить имение на участки и настроить по ним ферм это все равно, что разделить деревню так, чтобы каждый двор сидел на отдельном участке. Да можно с тоски умереть, живя зимой на таких фермах, да и работы сколько будет каждому фермеру: очищать снег у своей фермы и протаптывать в снегу дорожки. Тут так занесет снегом, что и подъехать к ферме нельзя будет. Даже живя барином, в большой усадьбе, имея много скота и лошадей, человек 20 служащих и рабочих, приходится содержать человека, который почти исключительно занимается очисткой снега. А детей-то где учили бы эти фермеры? Нет, это совершенно невозможно. У нас жить можно только деревнями.

Есть, конечно, и у нас маленькие относительно (50—100 десятин) имения, для которых находятся арендаторы из крестьян. Обыкновенно такие имения арендуются зажиточными многосемейными крестьянами, которые сами с своими семьями их обрабатывают, но такие арендаторы в этих имениях не живут,

а живут в своих деревнях, где кроме того ведут хозяйство на своих наделах. Арендаторами более крупных имений являются разбогатевшие крестьяне, бывшие господские приказчики из крестьян и дворовых, изредка мещане и тому подобный люд, обладающий самыми ничтожными капиталами, да и кроме того понятия о том не имеющие, чтобы в хозяйстве можно было затрачивать деньги. Такие арендаторы сами обыкновенно не работают, да и работать не умеют, живут вроде маленьких панков, капиталов не имеют, а если и имеют, то к хозяйству не прилагают, ни знаний, ни образования не имеют и даже с этой стороны не могут усиливать производительности. Все их дело заключается в выжимании сока из мужиков. Хозяйство этих арендаторов ведется самым рутинным образом, обыкновенно соединено с торговлей, разным маклачеством, деревенским ростовщичеством и прочими атрибутами разжившегося простого русского человека. Никакого хозяйственного прогресса в таких хозяйствах не видно, все старание прилагается к тому, чтобы по возможности вытянуть из имения все, что можно. Если такие арендаторы имеют больше доходов, чем помещики, то это потому, что они не такие баре, живут проще, сами смотрят за хозяйством, не держат лишних людей, дешевле платят за работу, не делают лишних затрат, никаких прочных улучшений, а главное потому, что все это кулаки, жилы, бессердечные пиявицы, высасывающие из окрестных деревень все, что можно, и стремящиеся разорить их вконец. Там, где деревни позажиточнее, не стеснены господским имением и могут дать отпор кулаку—там таких арендаторов и не является.

Есть, наконец, еще один класс арендаторов—это иностранцы: немцы, швейцарцы, которые арендуют большие хорошие имения с заливными лугами и большей частью имеют в виду главным образом скотоводство и молочное хозяйство. Тут попадаются люди, обладающие знанием, образованием, умением работать—швейцарцы именно. У этих—опять-таки у швейцарцев больше—хозяйство идет хорошо, крестьян они так не затесняют, расплачиваются честно, кулачеством, маклачеством и всякой подобной мерзостью не занимаются, пользуются даже уважением крестьян—швейцарцы в особенности—которые всегда рады, если являются не сильно нажимающие их, дающие работу и сами работающие умственные люди, не баре. Мужик это сейчас видит и хотя всех называет немцами, но прекрасно отличает швейцарцев от немцев, которые работать не умеют и не любят, и чуть поправятся, относятся к мужику с презрением и с той подлой грубостью, которой вообще отличаются немцы, особенно наши русские. Мужик сейчас видит, что швейцарец—не то, что швейцарец—сам мужик, черной работы не боится, и в мужике видит человека.

Все эти арендаторы, как свои, так и чужие, хозяйства не поднимают. Я вижу только один способ сдачи помещичьих имений в аренду, выгодный для помещиков, крестьян и государства, это сдача целых имений в полном их составе в аренду на долгий срок за посильную плату крестьянским обществам, для ведения в этих имениях артельного хозяйства.

Такой способ сдачи в аренду целых имений крестьянским общинам был бы очень *выгоден для землевладельцев*—я очень настаиваю на этом, потому что помещики постоянно твердят о бездоходности сельского хозяйства,—так как общины, без сомнения, платили бы более, чем дает живущий на мужицкий счет приказчик или арендатор. Зачем тут еще посредствующие члены-паразиты. У общины, конечно, было бы гораздо меньше накладных расходов, работа стоила бы дешевле, потому что каждый работал бы на себя и не тратил бы силу бесполезно; все смотрели бы за общим делом, вследствие чего было бы меньше хозяйственных ошибок; наконец, в каждой общине наверно нашлось бы один, два, а то и более хозяев, смыслящих в деле, тогда как встретить между приказчиками-управителями и старостами настоящего хозяина большая редкость. Нет никакого сомнения—раз дело заведется и станет на прочную ногу,—что такие арендующие имения общины будут прогрессировать и скорее выработают правила наивыгоднейших способов хозяйствования для каждой местности. Теперь же владелец или арендатор имения—будь он даже сам профессор агрономии одного из наших агрономических заведений—попав на хозяйство, сейчас же бросит «агрономию» и станет думать уже не об улучшенных плугах, многопольных севооборотах, а о том, как бы половчее затеснить мужика выгонами и отрезками.

Это верно!

Совершенно понятно, что казарменно-фабричное батрачное хозяйство, если и может конкурировать с единоличным разрозненным хозяйством—да и то в таком только случае, если немногие лишь лица ведут батрачное хозяйство, вследствие чего батраки дешевле пареной репы,—то не может конкурировать с общинным кооперативным хозяйством.

Обыкновенно, частные арендаторы вовсе не хозяева, а маклаки, кулаки, народные пиявицы, люди, хозяйства не понимающие, земли не любящие, искры божьей не имеющие. Но мало того, что между арендаторами мало хозяев, они к тому же являются с голыми руками, с пустым карманом, рассчитывая только на возможность затеснить мужика. Совсем другое арендующая имение община—она является с гарантией, с капиталом: эта гарантия, этот капитал—ее общинная организация, ее круговая порука, ее крепость земле (а что представляет голоштанник-арендатор?), ее руки, ее рабочий скот, ее орудия.

Таких арендаторов, которые вели бы батрачное хозяйство с своим рабочим скотом, с своими орудиями—нет. Все арендаторы ведут хозяйство при помощи тех же крестьян, которых работать у них побуждает, вследствие недостатка крестьянских наделов, необходимость в отрезках, покосах, выгонах, лесе, деньгах.

Арендаторы хозяйничают теми же рутинными способами и в их хозяйствах никакого прогресса не замечается, ничего они не вводят—ни улучшенных систем, ни машин. Да и расчета нет делать это при существующей дешевизне труда и обилии земли, никакие машины не дают тех выгод, какие дает самое примитивное приложение труда к свежим землям, которых не оберешься. Арендатор или приказчик совершенно напрасно за свой ненужный труд посредника получает плату, которая извлекается из крестьян, да еще кроме того те же крестьяне платят за все ошибки арендатора, за всю его неумелость. Встретить между арендаторами настоящего хозяина, человека образованного, обладающего научными знаниями и хозяйственной опытностью, дающими ему возможность производительнее направить труд, необычайная редкость, такая же редкость, как встретить настоящего знающего хозяина между землевладельцами-помещиками. Вся сила как хозяйствующих владельцев, так и арендаторов, заключается в зависимости, бедности крестьян и в дешевизне труда.

Наконец и то сказать, арендатор чужой человек—сегодня он здесь, завтра там. Он стремится вытянуть из имения все, что можно, и затем удрать куда-нибудь для новой эксплуатации, или уйти на покой, сделавшись рантьером. Между тем арендующая имение община остается всегда тут, на месте, и будет всегда держать имение в аренде, если это ей выгодно. Для общины нет выгоды разорять имение, сводить его на-нет, и чем дальше, тем больше она будет нуждаться в нем, по мере увеличения населения, и все более и более будет разрабатывать пустующие земли.

Сдавая имение в аренду общине, владелец, если он желает летом жить в деревне, может оставить за собой усадьбу, которая общине, конечно, не нужна. Если владелец интересуется хозяйством, то опять-таки никто не мешает ему оставить за собой какую-нибудь специальную часть, например, скотоводство, или заниматься садоводством, огородничеством, иметь опытное поле, маленькую ферму... Да и сами общинники-крестьяне, если владелец есть человек дела, настоящий хозяин, без барских затей, не чудит, никогда не побрезгают его советами. Поверьте, что никаких препятствий для владельца не будет, если он захочет сделать какие-нибудь капитальные улучшения, ввести новую систему. Мужики, ей-богу, вовсе не так

глупы—они только любят, чтобы *настоящее дело* было, а не так: пшик! брык! туда, сюда—и ничего нет!

Я в особенности налегаю на то, что сдача имений в аренду крестьянским общинам для артельной обработки выгодна для владельцев и представляет единственный исход из их—не знаю, как выразиться—странного положения. Землевладельцы постоянно жалуются на невыгодность хозяйства, на дороговизну рабочих, точно желали бы или возвращения крепостного права, или какого-то закрепощения за дешевую плату батраков. Ни то, ни другое невозможно и никогда не будет. Своим нытьем они высказывают приговор своим способам хозяйствования. Очевидно, что им остается только служить, пока есть служба, а для изыскания способов эксплуатации земель обратиться к тем, которые около земли обходиться умеют.

Скажу еще раз: я не теоретически пришел к тем соображениям, которые изложил в этой статье. Действительная жизнь в деревне, жизнь, с которой я познакомил вас в моих письмах, наблюдения над положением крестьян и землевладельцев привели меня к этому. Я думаю, что каждый, кто вникнет в эту жизнь, придет к тем же заключениям.

Земли много—так много, что и обработать ее всю нет возможности. Земля богата и производительность ее может быть громадно увеличена. Труд земледельца может превосходно оплачиваться, будь он хотя немножко порациональнее приложен. Словом, все данные для развития хозяйства. Для благосостояния есть, а между тем... все, и владельцы и крестьяне, бегут от этой земли, от этого хозяйства. Поместное хозяйство—и дворянское, и купеческое, и мещанское, всякое поместное хозяйство—не имеет будущности. Общедеревенское крестьянское хозяйство в настоящем его виде тоже ничего хорошего не представляет, и в дальнейшем своем развитии жизнь деревни не придет ли к царству кулаков? Ни в поместном, ни в деревенском хозяйстве никакого хозяйственного прогресса нет, да и не может быть до тех пор, пока существующее хозяйство не заменится артельным хозяйством, на иных, новых основаниях. Понятно ли, что тут дело не в той или другой системе полеводства или скотоводства, а в самой *сути*, в самых основах.

Я устроил свое хозяйство прекрасно. Результатов, могу сказать, достигнул блестящих. Система хозяйства, если она не во всех частях у меня вполне проведена, то, по крайней мере, совершенно для меня ясна. И что же? Я вижу, что стоит мне, не то, что бросить хозяйство, а только заболеть, и все пойдет прахом—никто не будет знать, что делать, где что сеять. Это понимает и мой староста, и другие крестьяне. «Умрете—и ничего не будет, все прахом пойдет»,—говорит староста. «Кончится тем, что и вы сдадите имение в аренду немцу»,—говорил мне

один мужик. И действительно, умри я—и все разрушится, если дети мои не перейдут к *новой форме* хозяйства, не сделаются сами *земледельцами*, не сумеют создать *интеллигентную деревню*, работающую *на артельном начале*.

Человеку так свойственно желать, чтобы дело рук его продолжалось, жалко подумать, что все должно разрушиться после его смерти. И в самом деле, сделай так или иначе, а все-таки непременно кончится тем, что земли опять зарастут лозником, скот, выведенный с такою любовью, погибнет, рощи будут бестолково порублены, все придет в запустение и всем воспользуется какой-нибудь кулак-арендатор или приказчик. А между тем, перейди мое хозяйство в руки общины, *артельно*, сообща ведущей хозяйство, оно продолжало бы процветать и развиваться. За примерами ходить не далеко: что сделалось с стадами скота, тщательно подобранного и выведенного любителями скотоводства, которых и прежде бывало не мало? На моих глазах погибли здесь превосходные стада скота, и как погибли!—так, что даже и следов не осталось. И посмотрите, где у нас сохраняется хороший скот—в *монастырях*, только в монастырях, где ведется *общинное хозяйство*[1].

Нет никакого другого исхода, как артельное хозяйство на общих землях.

Рациональные агрономы скажут, может быть, да будет ли прогресс в хозяйстве, когда оно перейдет в руки невежественных мужиков? Все, что выработано агрономическою наукою, не будет известно невежественной мужицкой общине, которая станет держать простой скот в холодных хлевах, будет кормить его не по нормам, выработанным наукою, будет пахать простыми сохами и пр. и пр.

На вопрос отвечу вопросом. А где же теперь прогресс в хозяйстве? Кому же известно то, что выработано наукой, и кем оно применяется? Где, кроме дутых фальшивых отчетов, существует это пресловутое рациональное хозяйство? Что вышло из всех этих школ, в которых крестьянские мальчики отбывали агрономию? Что вышло из этих опытных хуторов, ферм, учебных заведений? Что они насадили? Да, наконец, куда деваются агрономы, которых выпускают учебные заведения? Одни идут чиновниками в коронную службу, другие идут такими же чиновниками на частную службу, где прилагают свои агрономические знания к нажиму крестьян посредством отрезок, выгонов.

---

[1] Говорят, что человек гораздо лучше работает, когда хозяйство составляет его собственность и переходит к его детям. Я думаю, что это не совсем верно. Человеку желательно, чтобы его дело—ну, хоть вывод скота—*не пропало* и продолжалось. Где же прочнее, как не в общине? В общине выведенный скот останется и найдется продолжатель. А из детей, может, и ни одного скотовода не выйдет.

Поверьте, что хуже не будет, потому что хуже теперешнего хозяйствования быть не может.

Напротив, когда устроится прочно хозяйство общин на артельном начале, то будет такой прогресс в хозяйстве, о каком мы и помышлять не можем. Сила, когда она сила, свое возьмет: при переправе через Дунай Скобелев исполнял должность ординарца!

Не бойтесь! Крестьянские общины, артельно обрабатывающие земли, введут, если это будет выгодно, и травосеяние, и косилки, и жатвенные машины, и симентальский скот. И то, что они введут, будет прочно. Посмотрите на скотоводство монастырей...

Если существуют странствующие коновалы, волночесы, трещоточники, швецы и т. п., то почему же не быть странствующим учителям, медикам, агрономам? Приезжал же в прошлом году известный агроном и скотовод Бажанов к нам просвещать наших хозяев и земство. Все будет. Если теперь у крестьян существуют *свои* неофициальные школы, *свои* бабки, *свои* костоправы, деды, знахари, то нет сомнения, что разбогатевшие при новом порядке общины не останутся в том же положении, как теперь, и заведут школы грамотности, агрономические и ремесленные училища, консерватории, гимназии, университеты. *Действительно полезная* наука проникнет и в общины. А пока, пока еще масса темна...

Мало ли теперь интеллигентных людей, которые, окончив ученье, не хотят удовлетворяться обычной деятельностью—не хотят итти в чиновники? Люди, прошедшие университет, бегут в Америку и заставляются простыми работниками у американских плантаторов. Почему же думать, что не найдется людей, которые, научившись работать по-мужицки, станут соединяться в общины, брать в аренду имения и обрабатывать их собственными руками при содействии того, что дают знание и наука.

Такие общины интеллигентных земледельцев будут служить самыми лучшими образцами для крестьянских общин. Такие хозяйства будут служить гораздо лучшими хозяйственными образцами, чем всякие образцовые казенные фермы или образцовые помещичьи имения. Если знание, наука может принести пользу в хозяйстве, то вот тут-то, в этих общинах, выкажется все ее значение.

Наконец, почему же бы выучившимся работать интеллигентным людям не вступать в союз с крестьянами для совместного арендования и обработки земель? Почему же бы интеллигентным людям не итти в крестьянские общины учителями, акушерками, докторами, агрономами, в качестве старост?

Покажи только, что ты действительно не праздно болтающийся, а настоящий, способный работать умственный человек—

и община примет тебя, признает тебя своим, будет слушать тебя и твою науку.

В настоящее время идут толки об устройстве народных сельскохозяйственных школ. Не менее важно было бы, по моему мнению, устроить по близости от университетских городов практические *рабочие* школы, где желающие могли бы обучаться земледельческим работам, то-есть могли бы учиться косить, пахать, вообще работать по-мужицки.

Батищево, 31 октября 1878 года.

VIII

Как вытряхнуло нас из колеи, так и сидим, разинув рты, и все чего-то ждем. Никак не можем опять зарыться в навоз, притти в то блаженное состояние, когда все наши мысли были сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, когда ни до чего другого нам дела не было.

Я писал вам, как и в наше захолустье стали врываться струи иного воздуха и полегоньку нас пошевеливать. Платки с изображениями предводителей и героев сербского восстания, барыни с трехцветными галстуками, бело-сине-красные карандаши. А вот и бессрочных забирают, лошадей требуют, кружки с красными крестами, книжки с красными крестами, побирающиеся по миру солдатки.

Посмотрели бы вы на нас, какие мы тогда были, как высоко мы тогда подняли головы. Нам казалось, что и мы нужны, что и мы чего-нибудь да стоим.

Войны мы не боялись, страхов никаких не разводили. Мы были уверены в своей силе, были уверены, что победим. «Неужто ж наша сила не возьмет? Как, денег нет? Нехватит денег—царь велит еще наделать. Какой там турок? И Кастиполь возьмем, и турецкую землю заберем—полно турку бунтовать! И англичанке в хвост ударим?».

Петербург, чиновник—тот боялся. Чего, чего там ни говорили: и солдаты-то наши распущены, молоды, выправки настоящей не имеют, и оружия-то у нас настоящего нет, и денег нет, и Европа-то вся против нас.

В начале ноября я как-то поехал на станцию. Так себе поехал: понюхать, узнать, что новенького, на проходящих солдат посмотреть. Приятно побыть в народе, когда чувствуешь себя в некотором роде единицей и ничего не боишься. Семь лет перед тем просидел я в деревне, чувствуя себя нулем, сознавая, что я ровно ничего не стою, что мне так только из милости дозволяется жить. И вдруг показалось, что и я на что-нибудь годен, что и я что-нибудь да стою.

Итак, еду на станцию. Мороз знатный, снегу много, гуськом

ездили. Подъезжаем. Подле станции костры, множество саней, запряженных мохнатыми мужицкими лошаденками, толпы баб, дожидающихся того или другого поезда, чтобы в последний раз взглянуть на сына, мужа, сунуть ему рублик, какую-нибудь рубаху.

На станции грязно, пахнет махоркой и особым солдатским духом, который слышится даже на улице, когда проходит рота солдат. Кроме обыкновенного «господского» буфета, в стороне особый стол с большими графинами простой водки, грудами булок, сельдей-ратников, каких-то заплесневелых колбасок, негодных для «господского» буфета, и прочей невзрачной солдатской закуски.

Тут я встретил станового, который суетился насчет какой-то мобилизации, и соседа-помещика, только что возвратившегося из-за границы. Я тотчас же почувствовал, что «не боюсь», не ощущаю того безотчетного страха, который ощущал перед начальником прежде, той нервной дрожи, которая заставляла прежде как-то ежиться. Да и становой точно не тот, не ходит козырем, а как-то пришипился, точно сам боится. Оно и понятно, тут офицеры, военные, молодцы все, на войну едут, что им какой-нибудь становой или господин помощник исправника! А ведь это, согласитесь, имеет влияние, когда видишь, что целая куча людей не боится того, кого ты боялся.

Разговорились с соседом-помещиком. Его, только-что возвратившегося из-за границы, видимо, поразила происшедшая во всем перемена. Разумеется, разговор тотчас же зашел о войне. Помещик, находившийся еще под влиянием заграничных и петербургских впечатлений, высказывал сомнение в успехе. Я же нисколько не сомневался, говорил с энтузиазмом, доказывал, что, когда люди сражаются за идею, они всегда побеждают, что тут дело не в более или менее усовершенствованном оружии, что и набранная от сохи мужицкая рать, вооруженная топорами, одержит верх. Становой, хотя и не горячился так, как я, но, как начальство, тоже меня поддерживал. Сосед приводил обыкновенное доказательство о молодости солдат, а я сыпал примерами из французских войск прошедшего столетия...

— А Дунай?

— Дунай. Этакие-то не перейдут!—указал я на ввалившуюся в комнату толпу здоровых, молодых солдат, которые, промерзнув в холодных вагонах, забежали погреться и, потопывая ногами, окружили солдатский стол с водкой.—Этакие-то не перейдут! Вы посмотрите только на них! И Дунай перейдем, и Балканы, и турецкую землю заберем, и Константинополь возьмем. Может, и побьют нас вначале, но в конце концов все заберем.

— Ну, положим,—согласился сосед,—что турок разобьем, но уж Константинополь не возьмем—того Европа никогда не

дозволит. Вы прочитали бы только, что пишут, что говорят заграницей.

— И Европу расколотим! И в Европе мужик будет за нас. Кто пишет против нас? Английские, немецкие, венгерские, турецкие баре. Вот кто пишет, а мужик и в Европе за нас будет.

Спорили, горячились, даже об заклад побились, становой и разнимал.

Все с нетерпением ждали войны. Перешли через Дунай; перешли через Балканы; под Плевной застряли—заминка вышла,—но и тут никто не сомневался, не падал духом. Опять перешли через Балканы. Кастиполь... Кастиполя не взяли.

Недоумение какое-то было. Появились раненые воины. Пошло ликование. Недоумевают, но все чего-то ждут, на что-то надеются. После войны будет лучше. Теперь за внутренние дела возьмемся, проговорили газеты.

Бог внял серой мужицкой молитве, увидел праведные серые мужицкие труды: урожай хлеба был на редкость, травы отличные, лен, конопелька, картошка—все уродилось. Цены на хлеб понизились на три рубля, скот сильно вздорожал. Все возликовали; мужик вздохнул свободнее. Хлеба и картошки вволю, по всем деревням свадьбы, чуть не все вековухи замуж повышли... Как вдруг *на мужика*, ни с того ни с сего, напустили новых начальников—и пошли разные «строгости».

Еще летом разнесся слух, что в помощь к прежним начальникам будут заведены еще новые начальники. Многие радовались этому, в особенности сидящие на своих унылых усадьбах слезливые барыньки, вечно боящиеся разбойников, поджигателей, грабителей, о которых и не слышно в наших палестинах. Барыни думали, что новые начальники, верхами на конях, будут разъезжать по своим участкам и за всем зрить, наподобие петербургских городовых или, еще того лучше, знаменитых лондонских полисменов. Поезжай тогда без опаски, куда хочешь: ни метелей, ни волков, ни разбойников тебе бояться нечего. Застигнет тебя метель—объезжающий участок урядник выведет на дорогу; напали на тебя волки, прилетит урядник—и всех волков своей шашкой изрубит. Об разбойниках и говорить нечего—всех разбойников, воров, конокрадов урядник переловит и в клоповник, куда волостных старшин за недоимки сажают, засадит. Не менее барынь радовались новым начальникам те помещики, которые вечно судятся с крестьянами. В самом деле, есть такие несчастные, которые все только судятся, так что им и хозяйством заниматься некогда. Все судятся—и в волости, и у мирового, и у начальников разных. То работники не живут, как ни сделают крепко условие, смотришь, поживет неделю-другую—и убежал; то крестьяне работ не исполняют, возьмутся, например, луг убрать,

скосят, все как следует, копны поставят, а там, смотришь, копны стоят да стоят, и снег уже выпал, а копны все на лугу стоят, то потравы, то порубы, на поденщину никто не ходит, ягод и грибов никто продавать не носит, в пастухи никто не нанимается, скот в поле некому выгнать. Ездит барин по судам, а толку все нет, навоз чуть не до августа остается не вывезенным, у людей все сжато и свезено, а у него еще не начинали жать. Большую надежду возлагали такие господа на новых начальников: *он* скрутит мужика в бараний рог, *он* заставит лентяев работать, *он* и работников, которые не живут, потому что их плохо рассчитывают, удержит, *он* потравы и порубы уничтожит, *он* и на поденщину ходить заставит, *он* ягоды и грибы продавать прикажет, *он* воровство всякое уничтожит, потому что первая забота его будет—охранять собственность.

Грешный человек, я сомневался, чтобы новым начальникам удалось предупреждать метели, волков, пожары, конокрадов. Что говорить о каких-нибудь деревенских начальниках, когда сама петербургская полиция—и та предупреждать не может. Вот еще недавно чуть полгорода водой не залило! Сомневался даже и в том, чтобы урядникам удалось способствовать открыванию преступлений: что само откроется, то и откроется. По старой привычке прибегать к книгам, я и в книги заглянул. Тут же кстати «энциклопедия ума» вышла. Захотелось вообще ума набраться, а откуда же, думалось мне, его легче набраться, как не из такой книжки, в которой собраны умные слова, высказанные умными людьми всех стран и всех времен. Книжица, вижу, небольшая, осилить не бог знает как трудно, дай-ка, думаю, почитаю. И вот в этой-то «Энциклопедии ума» начитал я умное изречение одного известного мыслителя, который говорит: «опытность доказала, что чем менее у народа начальников, тем лучше». Так ли это? Давно уже живу я в деревне, в таком захолустье, куда начальство в кои-то веки навертывалось, а между тем никаких преступлений не вижу. О грабежах, убийствах, преднамеренных поджогах уж и говорить нечего, но даже воровство за редкость, а если и случится, то такие пустяки, что и сказать нельзя, воровство это или шалость. Конокрадство, о котором уши протрубили газеты, на редкость. Если посчитать, что стоят новые начальники, да если притом считать не одно только жалованье, а всю ту массу невидимых расходов, которые несет мужик от разных начальнических выдумок и «строгостей», то составится такая сумма, что и десятой части ее хватит, чтобы откупиться от всех конокрадов и воров. Но мало того, именно конокрадов-то начальник и не изловит, потому что в настоящие конокрады идут что ни на есть умнейшие люди, а в новые начальники идут те, которые ни к какому другому месту прибиться не могут.

Слыша о том, что будут заведены новые начальники, я, признаться сказать, думал, что они будут не для начальствования, а так себе, для «формальности», для того, чтобы дать кусок хлеба заслуженным воинам. Мало ли попорчено людей за эту войну, отчего же не вознаградить их за службу, дав им приличные званию места?

Пускай себе ездит по участку усатый кавалер, верхом, при мундире—отлично! Губернатор ли поедет, архиерей ли—впереди становой, по бокам кареты усатые молодцы при шашках—красиво, а главное форменно. А то теперь едет архиерей, впереди волостной старшина верхом скачет, ни виду, ни посадки, мужик в зипуне, только медалишка на шее болтается, на лошади сидеть не умеет, локтями машет, иной еще на кобыле выедет. То ли дело ловкий кавалерист при форме.

Вышло, однако, совсем не так. Заслуженным воинам новых мест и понюхать не дали, в новые начальники поступили *благородные*, чиновные люди. Ташкентцы самого низшего разряда. Все, что не находило себе никакого исхода, все, что не могло пробиться ни к каким местам, все это попало в новые начальники. И чего же ожидать от этой орды «благородий», которой *отдали под команду мужика?* Самого поверхностного знакомства с этим людом достаточно, чтобы предсказать, *как* он будет управляться. Сочтите только, что если ему по полуштофу в день потреблять—а что ему полуштоф?—так и то нужно 72 рубля в год. Ну, где же тут «благородному» человеку на каких-нибудь 200 рублей жить!

Известно, как многое изменилось после «Положения». Были мировые посредники, наступили мировые суды. Народ стал отвыкать от порок, мордобитий, даже в судах стали говорить «вы». Полиция и та много изменилась. Прежние дантисты повывелись или присмирели при новых порядках. Ну, конечно, в случае чего, покричит начальник, посердится, поругается, а чтобы пороть или в морду—ни-ни. Я очень хорошо помню старое время, до «Положения», помню еще то время, когда в хороших домах становой с господами не обедал, а если и обедал, то где-нибудь на кончике стола; помню, когда и исправник, подъезжая к господскому дому, подвязывал колокольчик. Совсем другие порядки тогда были. Без водки, порки, мордобитий полицию среди мужика тогда и представить себе было невозможно. После «Положения» много изменилось. Исправник стал важным лицом, из города выезжает редко; ни к кому не лезет—неприлично; с мужиком в непосредственное соприкосновение не входит. Исправник теперь, по важности, стал вроде того, что прежде был губернатор; уездные дамы, если он молодой, называют его «notre chef», а нынешние деревенские бабы даже не знают, какая такая «исправницкая яичница» бывает. Исправ-

ник занимается теперь высшими делами. Предположить, что исправник сорвет с мужика трояк, это все равно, что предположить, что губернатор возьмет с кого-нибудь четвертную. В каких-нибудь двадцать лет все облагородилось, отвыкло от ручной расправы, даже становые не те стали, водки многие не пьют, в господских домах приняты, с господами обедают, прямо к парадному подъезду с колокольчиками подъезжают, так что старые слуги, привыкшие к прежним порядкам, только дивуются: «не те уж господа стали!».

Мужик в последнее время знал только своего волостного, своего старосту, своего сотского, своего писаря (кстати: говорят, что и волостные писаря тоже будут чиновниками, будут состоять на коронной службе, по назначению от начальства). В кои-то веки, бывало, проедет становой или пожарный «агел», или палатский чиновник—этот больше на мельницы, маслобойки, на торговлю налегает. Да и проедет начальник только по главным дорогам, от волости до волости, или по господам, за которыми недоимки есть, а в деревни, лежащие в стороне, и не заглянет. Теперь же не то, *этот* всюду шныряет. Он знает, что в глухой деревне скорее непорядок найдет и штраф сорвет. И что сделал мужик такое, что на него, ни с того, ни с сего, напустили орду «благородий»? А напустили-то *именно на мужика*. Помещику что! Какое *он* к нему отношение имеет? Разве заедет насчет установки вешек по дороге напомнить или насчет поправки какого-нибудь мостика, или повестки какие-нибудь завезет. К помещику он вежлив, почтителен, дожидается на кухне, не сядет без приглашения, хотя бы и из «благородных» был. Сорвать тоже с помещика нельзя, разве кто из милости овсеца лошадке пришлет или лужок плохонький пожертвует. Притом же тем помещикам, у которых поминутно бывают ссоры с крестьянами насчет порубов, потрав, неисполнения работ, и *он* человек нужный. Все-таки же приедет, накричит на мужиков, страху напустит, а мужик крика ужасно боится, сейчас робеет и чувствует себя виноватым, подобно тому, как робеем мы при появлении жандарма.

Словом сказать, помещикам, чиновникам эти новые начальники нипочем, они даже понять не могут, чего тут бояться.

Совсем другое дело—мужик...

Помещик может учреждать у себя в усадьбе ночные караулы или не учреждать—никому до этого нет дела, а в деревне, будь она хотя из двух дворов, приказано быть ночному караулу. Мороз ли, мятель ли—караульный не должен спать, должен всегда быть налицо, стучать в доску, опрашивать проезжающих. Задремлет человек, отлучится в избу погреться, трубочку покурить... вдруг налетел «он».

Помещик может строиться как он хочет, хоть посреди

сенного сарая овин ставь—никому до этого нет дела; помещик может обсаживать постройки деревьями или не обсаживать, может иметь кадки с водой или не иметь, может иметь пожарные инструменты или не иметь. А в деревне не так, строиться должен по плану, как начальники требуют, не разбирая, есть ли достаточно земли или нет, удобно это тебе или нет. Хоть под кручей овин ставь, а чтобы было узаконенное расстояние, хоть за версту по воду ходи. Приказано насадить по улице березки—сади, хотя бы это было совершенно бесполезно, неудобно и даже невозможно. Кадки чтоб везде с водой были, сческов чтоб на печах не сушили, инструмент чтобы у каждого положенный был, чтобы над каждым домом была дощечка с изображением того инструмента, с которым должен выходить на пожар хозяин. Налетел *он*: тут хлевушок для гусей без дозволения приделан, там амбарушка не на месте стоит, у того березки засохли, у того пожарной дощечки нет...

Помещик может отворять или не отворять форточку в комнате для очищения воздуха; может менять или не менять рубаху—кому до этого дело? А насчет мужика строго приказано было избы «студить», как выражаются мужики, то-есть растворять по нескольку раз в день двери в избах для очищения воздуха, приказано было для чистоты по два раза в неделю менять рубаху.

У помещика «он» тих, приезжает трезвый, с утра *просит* починить дорогу, при этом извиняется, оправдывается тем, что и на него начальство налегает, вот-де недавно сенатор какой-то проезжал четверкой, так на одном мостике у него лошадь провалилась, гонка от начальства была. На деревне же он *лют*, ругается—за версту слышно, ногами топочет, к морде лезет.

Нужно видеть, какой переполох, когда *он*, раздраженный, влетит неожиданно в избу, дети с перепугу плачут, забившись в угол, мужик стоит оторопелый, а *он* орет, топочет.—Как ты смел! Как ты смел!.. бац! мало кулаком—шашкой, разумеется, в ножнах. Я как-то рассказывал про такую сцену одному высшему начальнику. Неужели шашкой?—спросил он.—«Да, шашкой?—«Обнаженной?».—«Нет».—Начальник успокоился.

С этим новым начальством, особенно если деревня близко от усадьбы, за детей страшно, у кого есть дети на возрасте, гимназисты, студенты, приезжающие на летние вакации в деревню. Положительно страшно! Человек молодой, горячий, непривычный, может не вынести, видя такую неправду, может заступиться, а к нему могут пристать другие. А *он* возьмет да и застрелит, или еще того хуже, ведь он начальство, при исполнении своих обязанностей находится, тут чем пахнет?

Я как-то писал вам, что у нас теперь заведены «березки» по деревням. Пришел несколько лет тому назад приказ насадить

по деревням вдоль улиц березки. От пожара, говорят, березки, чтобы, значит, пожаров не было. Обыкновенно наши деревни построены так: все дворы стоят по одной стороне улицы, сплошь, двор к двору, как дома в городе, если же где дворы расставлены, то промежутки между ними завалены ломом, лесом, дровами. Если через деревню не пролегает столбовая дорога, то улица всегда преузенькая, а через улицу, на противоположной стороне, против каждого двора, стоят амбарчики, пуньки и т. п. Какая же может быть польза от того, что по улице, против каждого двора, насажены в один ряд березки, только затесняющие и без того узкую улицу? А между тем столько возни с этими березками: насадят весной, к осени посохнут, а следующей весной опять сажай. На улице грязь по колено, скот проходит, с возами проезжают. Какая же тут березка приживется и усидит? Так каждый год и сажают, а то, надумались, заострят комли и втыкают в землю. Мне случилось слышать очень интересное рассуждение начальника по поводу этих березок. Начальник соглашался, что сажать березки для предохранения деревень от пожаров совершенно бесполезно, но находил, что это все-таки необходимо «для строгости». После того мне стало понятно, когда мужики говорят, что караулы, березки и т. п. —все это для «строгости» заведено, чтобы, значит, «строго» было.

Опять-таки скажу, что если уже необходимы для «форменности», для приличия, новые начальники, то набрали бы их из заслуженных воинов, так как последние куда молодцоватее, форменнее, приличнее нынешних «благородий»!

Положим, и от заслуженных воинов пользы никакой не было бы, но все-таки для мужика было бы легче. Солдат проще, ближе к мужику, и потому довольствовался бы меньшим. У него и «благородных» потребностей, прихотей панских нет, но, главное, начальник из солдат законов не знает.

Положим, что и мужик, как только сделается «начальником», например, волостным старшиной, скоро обначальничивается, нацивилизовывается писарями и высшими начальниками, которые ему твердят, чтобы он мужика в бараний рог крутил. Положим, и он тоже требует, чтобы перед ним ломали шапку, оказывали ему всякое почтение, сорвать тоже старается, но все-таки он проще, он свой брат-мужик, с мужицкими понятиями, а, главное, законов не знает. Точно так же и какой-нибудь унтер-офицер наверное будет держать себя начальником, будет требовать почтения, будет считать мужика ниже себя, будет и рвать при случае, но опять-таки он проще, свой брат, и законов не знает. Да и ломаться над мужиком так не будет, как благородный, который одно только и умеет, что свой начальнический форс показать.

Пришла весна; радостные, мы приветствует ее песнями, особенными, весенними, троицкими песнями. Серый народ, просидев семь зимних месяцев в серых избах, в серых зипунах, на серых щах, радуется первой весенней зелени. В первый же весенний праздник, на троицу мужик украшает зеленым «маем»[1] свою серую избу, бабы отправляются в светлую майскую рощицу венчать березки, кумятся, поют песни, пляшут, угощаются водкой, пирогами, драченой. На заговенье опять идут в ту же рощицу, срубают березки, связывают их макушками, обряжают платками, бусками, крестами, надевают на головы венки из березовых веток и с песнями идут «топить май» в реке. «Страда» наступает.

— Стой!—кричит налетевший начальник,—опять березки на май рубите! Не знаете, что березки на май рубить запрещено. Штраф!

— Помилуйте, ваше благородие, мы не знали, нынче приказу не было.

— Не знала ты, не знала. Вишь, сколько народу собралось—расходиться!

— Помилуйте, ваше благородие!

— Расходиться по домам,—говорю вам.—Ты что тут стоишь, разиня, в шапке?—налетает он на зазевавшегося малого, позабывшего снять перед начальником шапку.

Не раз случалось,—об этом и в газетах пишут,—что разгоняли хороводы, вечеринки, игрища, посиделки, свадьбы. Министр внутренних дел даже вынужден был издать по этому поводу *особый циркуляр* от 23 октября 1879 года, коим разъясняет, что игрища и тому подобные увеселения народа не суть нарушения общественной тишины и спокойствия. Но если губернаторам нужно было делать подобное разъяснение, то как же нам-то знать, что можно и чего нельзя. Кто же все законы, распоряжения, постановления знает? А вдруг «он» запретит возить навоз толокой? Тоже ведь «сборище», да еще шумное, потому что сопровождается выпивкой, да еще все с железными вилами. Если ему могло притти в голову разгонять хороводы, посиделки, свадебные пирушки, то почему же не может притти в голову разгонять «помочи» и другие общие работы? Ужели сегодня разъяснять, что нельзя разгонять «толоки», завтра—что нельзя требовать, чтобы все проселочные дороги были окопаны канавами, послезавтра—что *он* не может требовать, чтобы все жители участка знали его в лицо, и т. д. А между тем, покуда что, как ты «его» не послушаешь? Может, он и прав, а если

---

[1] «Маем» у нас называют березки, которые ставят на троицу около изб. Таким же «маем» украшают церкви, и все в этот день приходят в церковь с букетами цветов. Ставить «май» теперь запрещено.

и неправ, как ты не послушаешься начальника, который находится при исполнении своих обязанностей. Чем это пахнет? Нет, уж лучше по-доброму разойтись.

— Сем-ка, ребята, угостим его,—смекает кто-то.

— Ваше благородие, не откушаете ли винца? Бабы, тащите-ка драчены его благородию. Пожалуйте, ваше благородие, выкушайте!

Сердце не камень, ведь и *он* человек. Выпивает, закусывает, смягчается. Вот развеселился, подтягивает песни, подмигивает бабенкам, подплясывает и веселый, с венком на кепке, идет топить «май». Не человек он разве? Неужели же ему не повеселиться на троицу? Так-то по-хорошему лучше...

И чего бы, кажется, жалеть березок? Мы и без того кругом заросли березками. Ни полей, ни лугов, все только березовые заросли. Ни хлеба, ни травы, ни скота, все лоза да березки, березки да лоза. А далеко ли уедешь на одной березовой каше-то? После «Положения» запущено более половины господских полей, которые сплошь заросли березняком и лозой. Пустоши тоже всюду заросли. Всюду лесная поросль одолевает нас. Теперь только то хозяйство у нас и можно считать хозяйством, в котором расчищают от зарослей старые запущенные поля и пустоши. Мужик ли купит земельку, барин ли возьмется за хозяйство—первое дело, чисти, корчуй, руби лесную поросль, жги ляда, разделывай под лен, хлеб, на луга. Только и хлеба, что с этих новин. Слава богу, что хоть это не запрещают. В восемь лет хозяйства я выкорчевал 80 десятин березовых зарослей и разделал на поля и пастбища. Да и теперь, как только пришла весна, так и пошли чистить пустоши, рубить и корчевать поросль, и конца этой чистке нет: в одном месте вычистил, а на другом, смотришь, новая поросль так и прет из земли. Что этих грудóв за весну навалим—страсть! Бывало, на троицу нужен «май», сейчас поедут и груду, который в тот день собран, выберут что ни на есть лучшие березки, привезут в усадьбу—ставь, сколько хочешь «маю» и около изб и около хлевов. А теперь—нельзя, запрещено. Корчуй, руби, столько хочешь, жги груды, а к дому, из того же груда, березку привезти не смей.

Жаркий июньский день. Гонит пастух стадо. Одиннадцатый час, жарко, пора и отдохнуть. Сосновая роща. Остановили стадо, коровы легли и смирно жуют, только бык угрюмо стоит, точно сторожит своих невест. Пастух присел под сосенку и закурил трубочку.

Вдруг...

— Ты что это делаешь? Не знаешь, что в хвойном лесу запрещается курить табак в сухое время?

—Да я, ваше благородие, не табак, а махорочку,—думает отшутиться пастух.

— Махорочку! Разговаривать еще! Вот я тебя!

Лайка и Босоножка, видя, что их хозяина ругают, с лаем бросаются ратовать. Бык, опасаясь, чтобы чужой человек не увел одну из его коров, грозится, мычит, сопит, роет землю.

— Вусь! Вусь!—натравливает собак один из подпасков.

— Утекай, утекай!—кричит пастух, видя, что бык свирепеет.—Утекай, убьет.

— Ко-ко-ко кудаах!—дразнится из-за куста подпасок.

— Утекай!—кричит пастух—бык!

Начальник скрывается.

— Ишь ты испугался быка-то,—говорит пастух почесываясь.—Одначе, нынче строго стало. О-го-го-го!..—подымает он стадо, вновь закуривая трубку.

И во все-то он, начальник, вмешиваться может, потому—под все закон подведен. Ты и не думаешь и не гадаешь, но смотришь, не по закону. Никогда ты не можешь знать, прав ты или нет. Ну, и боится человек.

— Ты для чего это березки рубишь?

— На метлы, батюшка, на метлы к овину.

— Ну, руби себе, руби.

— Спаси тебя бог, родименький, спасибо!

Одумался.

— Постой. Зачем теперь метлы, хлеб еще не поспел?

— Гатуем наперед, батюшка, наперед гатуем.

И всюду так, всюду ему нужно нос всунуть.

— Ты это что? Охотишься?—останавливает он мужика с ружьем.—А покажи-ка, какие у тебя пыжи? А! из пакли! А ты не знаешь, что это запрещено. Штраф!

— Что ты, батюшка, ваше благородие, помилуй, ослобони, ради бога. Не знал. Вот тебе зайчик молоденький, русачок!

Конечно, все эти законы, распоряжения издавались и прежде, потому что забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут! Все мы, интеллигентные люди, знаем и чувствуем, что живем мужиком, что он наш кормилец и поилец. Совестно нам, вот мы и стараемся быть полезными меньшей братии, стараемся отплатить ей за ее труды своим умственным трудом...

Мужик глуп, сам собою устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет. Ему бы только ухватить что можно, увидел тетерку на яйцах весной—бьет: все же, говорит, кусок скоромины во щи! И не думает, что уничтожает целый выводок, который доставил бы летом огромное удовольствие охотнику с хорошим сетером. Водится в озере сметок—он вылавливает его дочиста, такие уму-

дряются снасти строить, что немец даже позавидует, дочиста выловит, ни одной рыбешки не оставит. А для чего? Для того, чтобы снеток продать, подати заплатить, хлеба себе купить. А об том и не думает, что, вылавливая так снетков, он их переводит начисто, так что со временем в озерах снетков не будет, и не с чем будет в посты купцам и попам щи готовить. Найдет в лесу, да еще в господском, рябину, покрытую ягодами, рубит все дерево, чтобы набрать рябины на зиму. «Скусна,—говорит,—рябина, как ее морозом прохватит—не хуже яблок». Рубит целое дерево, чтобы потом есть такую дрянь, а об том и не думает, что если срубать деревья, то со временем не будет рябины и не на чем будет водку настаивать.

Повторяю, и прежде законов было много, но все же было легче, потому начальство было далеко. Выйдет распоряжение, отдадут приказ по волостям—ну, и исполняют по деревням, которые на значительных проезжих дорогах стоят. А затем так и остается. Без нового приказа никто исполнять не станет, все думают, приказано было только на «тот раз». Вышел приказ не рубить березок на «май», куда приказ дошел «окретно», там и не рубили тот год. На следующий год нет приказа—везде «май» ставят. Пришел «строгий» приказ насадить по улицам березки—насадили. Березки посохли. Нет на следующий год приказа—никто не подсаживает новых, да и начальство волостное само о приказе забыло. Притом же волостной староста-сотский, как мужики, то же по-мужицки думают, что распоряжение на этот раз только и сделано. Пришел приказ канавы по деревням копать, чтобы грязи на улицах не было, а как ее рыть? Каждому против своего двора—не подходит, сообща—где же тут сговориться. Авось, обойдется и так, авось, начальство позабудет. Иногда и обходится. Казалось бы, вешки по дорогам зимой уж положительно нужно ставить—сам же без вешек ночью заплутаешься,—однако без приказа никто вешек не поставит, потому привыкли приказа дожидаться. Подати теперь платить. Каждому бы можно из опыта знать, что подати нужно заплатить в срок, что их не простят, а все-таки без особенного, да еще строгого, приказа никто, ни один «богач» платить не станет. Може, и так обойдется, може, и не потребуют.

И еще повторяю, всегда было много законов, но прежде легче было. Наедет когда высший начальник, становой или сам господин исправник, где ему все помнить! Он только то и помнит и насчет того и едет, что «по времени» требуется. Проявилась чума—налегли на чистоту: избы студить, рубашки менять, рыбу тухлую не есть. Донимали чистотой. Мы уже боялись, как бы нам не запретили навоз на дворах копить. Мы-то радуемся, когда у нас много навоза, мы его любим, нам и дух его приятен, а начальство не знает, что «положишь каку, а вы-

несешь папу». После чумы насчет чистоты легче стало, ни изб студить не приказывают, ни тухлой рыбы есть не запрещают. Пожары набежали. Пошли березки, кадки, пожарные инструменты, постройки по планам, амбарушки срывать, трубки не курить, овины на пятьдесят сажен относить—земли-то у крестьян ведь много, так что ж тут какие-нибудь пятьдесят сажен значит? Проявились где-то злонамеренные люди, опять пошла тревога: паспорты и билеты спрашивают, оглядывают каждого. В город нельзя без вида поехать, даже друг к другу в гости с билетами стали ездить, потому что без билета, того и смотри, в холодную попадешь. Впрочем, ловля злонамеренных людей пришлась по вкусу, так что начальству тут не то что требовать, а скорее сдерживать нужно было. Мужики думали, что злонамеренные люди, студенты, то-есть, восстают против царя за то, что он хочет дать мужику земли; помещики думали, что злонамеренные люди хотят отнять у них земли; попы—что они настаивают на уменьшении количества приходов, о точной поверке свечных сумм и разных иных, неприятных для поповских карманов, новшествах; железнодорожные чиновники—что при столкновении поездов они-то и возбуждают протесты, рассматривают гнилые шпалы, списывают; наконец, что они хлопочут об уничтожении красных форменных фуражек, присвоенных начальникам станций. Словом, каждый спешил помочь начальству изловить их.

Прошла чума—прошла и чистота; прошли пожары—и амбарушки стоят на прежних местах; пройдут злонамеренные люди, пройдут и билеты. Но так как начальство не захочет сидеть сложа руки, то проявится еще что-нибудь. Например, чтобы птичьих гнезд не разоряли и кротко обращались с животными.

Так все скачками и идет. Понятно, что где же высшему начальнику, например, господину становому приставу, все помнить и знать? Он должен быть и архитектор, и химик, и врач, и инженер, и зоолог, и политик, и историк. Едет он и видит, что малец на дереве сидит и гнездо птичье разоряет. Это запрещено, но при сем есть исключение; гнезда хищных птиц разорять дозволяется. Вопрос, чье же он гнездо разоряет, воронье или голубиное, воробьиное или трясогузкино. Где же начальнику всех птиц знать, у которой птицы какое гнездо, какие яйца. К счастью, тут является на выручку следующее: истребление хищных зверей в запрещенные сроки допускается не иначе, как по предварительном о том каждый раз извещении уездной полиции.

— Эй! Петров,—обращается он к скачущему подле экипажа низшему начальнику,—извещал он тебя, что будет истреблять гнезда хищных птиц?

— Никак нет-с,

— Эй ты, мальчик!..

Но тут опять вспоминается, что правило сие не распространяется на владельцев и стрелков их, которые в собственных дачах могут истреблять хищных зверей во всякое время года и без ведома полиции.

— Эй, мальчик!

— Чаво?

— Из какой ты деревни?

— Из Подерева,—отвечает мальчик, слезая с дерева.

— Вы на выкупе?

— Чаво?

— Экий непонятный, на выкупе вы?

Мальчик, давай бог ноги, удирает в лес. Ко-ко-ко-ку-дах!— вдруг гулко раздается из лесу.

А что, например, щука хищный ли зверь. Мне недавно один охотник, господский стрелок, рассказывал следующий случай. Весною, когда щуки трутся, они всплывают к поверхности воды на мелкие места. В это время их стреляют из ружей. Охотник стрелял щук в господском прудке, как вдруг наехал «начальник» и придрался. «Весною, во время вывода молодежи, запрещено стрелять», говорит. Охотник возражал, что щуки разведены барином, собственные, господские, что этак весной, пожалуй, телят нельзя будет резать. Услыхав этот рассказ, я стал втупик. Знаю, что хищных зверей дозволяется бить, знаю, что щука рыба хищная, но не знаю, распространяется ли закон об охранении весною животных на рыб. Неводами, знаю, что и весною ловить не запрещается, но стрелять?..

Нужно заметить, что здесь дело коснулось охотника, служащего у богатого барина, имеющего значение. Охотник, человек опытный, видавший виды, понимающий, у кого он служит, и потому дело окончилось препирательствами. Ну, а попадись мужик—штраф и рыбу отберут.

Высшему начальнику, например, становому, нужно ужасно много знать. И гнезда всякие знай, и яйца у каждой птицы знай, и социалиста умей отличить, и просто опасного человека узнай...

Когда появились злонамеренные люди, то развелось такое множество охотников писать доносы, что, я думаю, целые массы чиновников требовались, чтобы только успевать перечитывать все доносы, все хотят выслужиться, авось, либо крайчик пирожка попадет если открытие сделать. Чуть мало-мальски писать умеет, сейчас доносы пишет. Совсем начальников загоняли, особенно к кому в стан попадет подозрительный человек, который ни с кем не знается, в земстве не участвует, занимается каким-то хозяйством, клевер какой-то сеет, с мужиками никаких судебных дел не имеет. Тут доносов и не обобраться.

Доносят, например, что к такому-то помещику, тогда-то приходила *толпа студентов*. Представьте себе, «толпа студентов»—ведь это что? Нельзя не сделать дознания. Едет начальник в деревню, подсылает для расспросов начальника пониже. Да, говорят мужики, были какие-то, к нему большой приезд, разный народ бывает, хозяйствовать учиться приезжают. Недавно вот один уехал, работать хотел, мужицкой работе научиться, не выдержал, кишку испортил и уехал. А кои и научатся, один был так ничего—до крестьянина куда,—а ничего, большую силу имел. Справляется начальник, расспрашивает и узнает, что действительно приходила целая толпа, что начальство одного учебного заведения прислало к помещику для обозрения хозяйства. Тьфу ты, черти!—бесится становой.

Потом доносят, что такой-то ходит на деревенские свадьбы, разговаривает с мужиками, расспрашивает о хозяйстве, «восстановляет против других помещиков», вследствие чего крестьяне у них не работают, а у него работают, держит в числе работников дворян, студентов, нигилисток. Опять дознание, расспросы по деревне. Как же, говорят мужики, бывает и на свадьбах. Вон онамеднись у Ильича на свадьбе был, дочка баринова до утра с нашими девками плясала. Бывает, вино пьет, песню до утра слушает, разговаривает, любопытный барин, примечательный. Хозяин, на расчет аккуратен—оттого к нему и на работу идут, у иных еще и не жато, а у него ни снопа в поле, он да безносовский барин первые на расчет господа, оттого у них и работают. Судов тоже не любит, никогда не судится, а что насчет потравы или поруба, так держи ухо востро. Порядок у него, топора, шкворня ни разу не пропало, потому что порядок, каждому на руки сдано. Разный народ к нему ездит, хозяйствовать учатся. И пашут, и косят, и молотят. У него, чтобы баловство какое—нет, в ряд со всеми гони... Как у него хозяйству не быть, расчет чистый, насчет денег первый сорт. У него денег много, ему из Питера присылают, он по деревням ходит, все разузнает. Разузнает, спишет, в Питер отсылает, а ему за это оттуда денежки присылают—сотни по три присылают. Любопытствуют тоже, как хозяйство ведется.

Доносит железнодорожный начальник, что к такому-то тогда-то двое весьма подозрительных молодых людей, черненький и белокуренький, приехали, и чемодан у них большой такой, тяжелый, еле втроем вынесли. Дознание. Оказывается, что к помещику дети-гимназисты приехали и чемоданчик у них с книгами—известно, гимназисты, им, чтобы не баловались летом, тоже кучу уроков задают.

Трудно и высшим начальникам: скачи за 35 верст, дознавай! Особенно нынешним летом трудно было, пока все не перемололось.

Знай все законы, все распоряжения, все бумаги. В особенности с бумагами трудно. Придумают что-нибудь, напишут, ты только что выучил, запомнил—глядишь, новое выдумали, а старое прочь. Когда-то и служил секретарем отделения в одном комитете. Ужасно трудно было сначала, пока не подладился. Что ни день, то бумаги. Нужно «сообразить с делом», собрать справки, подготовить журнал, прочитать в комитете, изменить, согласно замечаниям членов. Однако я скоро заметил, что составлять журналы по каждой бумаге совершенно излишне, потому что то и дело одна бумага отменяет другую. Вот и надумал я тогда гнездышко копить. Получу, бывало, бумагу и положу на полку, еще получу бумагу по тому же предмету—опять положу. Так гнездышко и коплю помаленьку. Бывало, председатель говорит: «Что же вы не докладываете бумаг». «Не время еще, ваше высокопревосходительство,—отшучиваюсь я,—еще в гнездышках лежат, может, и выведутся». И действительно, смотришь, бывало, и вывелись. Вдруг получаешь бумагу, которая похеривает все гнездышко, так что или вовсе не нужно писать журнал, или всего только один журнал на все гнездышко.

— Вывелось,—радостно докладываю я генералу. Смеется, бывало, старик, добрый был генерал. На улице, бывало, встретится, вытянусь, честь отдам.

— Не вывелось ли чего?—смеется.

— Насиживаются, ваше высокопревосходительство.

— Смотрите, чтоб не заглохло, чтоб заморышей не вышло.

— Смотрю, ваше высокопревосходительство, поворачиваю, разве болтун окажется.

Всем советую применять мой способ высиживания бумаг, много спокойнее служба будет. А то получат бумагу, гонят точно и нивесть что. Повремените, редко которая сама собой не выведется, а народу-то легче будет.

Учреждение урядников ознаменовалось тем, что по деревням заведены были ночные караулы. Требовалось ли это прежде или новые начальники завели—не знаю, только прошлую осень насчет караулов очень строго было. Всюду по деревням повешены были доски, в которые караульные должны были стучать по ночам. И действительно, стучали. Выйдешь, бывало, осенью на крыльцо—из всех окрестных деревень грохот слышится. Проезжающих всех останавливают, опрашивают. Чиновника одного акцизного, ехавшего ночью на завод,—вот тебе и старайся незаконные отводы спирта ловить,—в одной деревне остановили, приняли за злонамеренного человека и хотели в холодную засадить, да благо кто-то опознал.

А *он*-то летает орлом от кабака до кабака, и чуть где нет на улице караульного—штраф. В одной деревне, рассказывали крестьяне, пришлось бабе зимою быть ночью караульной,

с их двора черед, а муж был в отлучке. Вот она—известно баба, дура—и отвернись в избу ребенка грудью покормить, неженка, вишь, нашлась, не может на улице покормить и перепеленать. А тут на беду и налети начальство. «Это что? Где караульный?» Поднял крик, шум, всполошил всю деревню, на бабу пять рублей штрафу наложил. Пять рублей! У нас баба зимой за поденщину 15 копеек получает, за 20 копеек она целую ночь мнет лен. Пять рублей! да еще муж побьет. Баба испугалась, начала молить, чтобы помиловал, в ногах у него валяется, а он стоит, подбоченясь, смеется, куражится!

И зачем эти караулы по деревням? И кого это они ловят? Конокрадов, воров? Так конокрад с лошадьми мимо караула нарочно и поехал! Так ты вора и поймаешь—на лбу у него написано, что он вор.—«Кто едет?»—«Свои люди». Караульные видят, что действительно мужик свой человек, ну и ступай с богом. Так вор и станет одеваться по-барски, по-немецки, чтобы его караульные остановили. От пожаров караулы тоже не помогли. Никогда столько пожаров не бывало, как в прошлом году, когда завели караулы. Мужики объясняют, что караулы заведены для «строгости», чтобы значит, «строго». А что стоят мужику эти караулы! Не говоря уже о штрафах, о недосчитанных зубах, если оценить только время, потраченное мужиками на караулы, полагая всего по 30 копеек за ночь на двух человек, составится громадная сумма в сто рублей в год на каждую деревню. Сто рублей на каждую деревню! Да за эти деньги всех воров и конокрадов купить можно. Я в своем имении давно уже пришел к тому, что уничтожил сторожей и караулы, потому что, в общей сложности, это убыточнее конокрадства. Это то же самое, что починка проселочных дорог: если дорога, по-моему, хороша, то-есть я могу удобно проехать в телеге, то разных выдумок—окапывания канавами и т. п.—я просто не исполняю, пусть кто хочет починит сам и потом вытребует с меня деньги. Зимою насчет караулов легче стало. Наступили холода, пошли вьюги, метели, глубокие снега, долго ли заблудиться в глухом месте и замерзнуть... Притихли, много притихли зимой, зато весной расходились еще пуще прежнего.

Допекают мужиков, а уж как евреев доняли, так удивительно даже, как это евреи живут. Всегда еврей должен бояться, всегда можно к нему придраться, всегда можно его обидеть, сорвать с него, да и он сам знает, что без этого нельзя—бери только свое «полозоное». И это положенное как-то тотчас у них, евреев, определяется само собою. Явился новый род начальников, явилось для них и «полозоное».

У нас евреям прежде вовсе не дозволялось жить, теперь дозволяется жить только ремесленникам. Между тем, есть евреи, которых отцы тут жили, которые сами тут родились

и народили кучу детей. Разумеется, теперь это все красильщики, дистиляторы и т. п. Жить ремеслом в деревне, конечно, невозможно, да это и не в натуре еврея, а потому живущие здесь евреи содержат мельницы, кабаки, занимаются торговлей и разными делами. Все это запрещено, но все так или иначе обходится. Помещикам евреи выгодны, потому что платят хорошо и на всякое дело способны. Преимущественно евреи ютятся около богатых, имеющих значение, помещиков, в особенности, около винокуренных заводчиков. Как бы там законно ни было все оформлено, но придраться начальнику все-таки можно, и еврей это должен чувствовать и чувствует. Наконец, если сам еврей живет законно и у него все «билеты» в порядке, так опять-таки может оказаться, что у него незаконно проживает какой-нибудь родственник, какой-нибудь учитель для детей или просто наехали разные незаконные евреи к какому-нибудь празднику, свадьбе, шабашу. Евреев преследуют не постоянно, а как-то годами. Иногда их совсем не трогают и, отдавая свое «полозоное», евреи живут спокойно. Нет приказа свыше, а без особого приказа на каждый раз никакие правила, распоряжения, постановления, вообще все, что у нас называется законом, не исполняются и не требуются. Потому-то только и можно жить, ибо «если все по законам жить, то и самому господину становому приставу жить будет не можно», говорит один мой знакомый еврей. Иногда евреи подолгу живут спокойно без всяких ремесленных свидетельств—и ничего. В такие мирные времена в подходящих местах, близ строящейся дороги, близ винокуренных заводов, больших лесных заготовок, вообще, где предприимчивый умственный еврейский человек может орудовать и наживать деньгу, евреев распложается множество. В то время, когда я приехал в деревню, у нас был для евреев именно такой мирный период, когда их не гнали и не преследовали, к тому же перед тем строилась железная дорога и гешефту всякого было много: будки строить, шпалы резать, камень добывать, хлеб для рабочих доставлять, о водке и говорить нечего. Конечно, и дерево мужик режет, и камень мужик дробит, и водку мужик пьет, но без умственных евреев ничего этого он делать не может. В это время евреев здесь было множество, чуть не на всех, даже самых маленьких, мельницах евреи сидели, кабаки содержали и всякими гешефтами занимались, совсем мещан отбили, потому что куда же какому-нибудь мещанину против еврея.

Вдруг началось гонение на евреев. Не дозволяют жить тем, которые не имеют ремесленных свидетельств, а таковых ни у одного нет. Ну, евреи отмалчиваются, отсиживаются. Не помогает! Гонят, приказ за приказом, сотскому: выпроводить из уезда! Напоят сотского раз, напоят другой, сунут что-ни-

будь... опять приказ за приказом! Полетели евреи свидетельства добывать и «своих старших» просить, чтобы помогли, похлопотали. Иные добыли, другие нет, а тем временем, пока «свои» выше хлопотали, все идут приказы да приказы. Ничего не поделаешь, начались выпроваживания евреев из уезда в уезд. Нельзя на месте оставаться, нанимает еврей подводы, забирает весь свой скарб, пуховики, скот, кур, еврейку, детей, переезжает в соседний уезд, поселяется там и живет, пока не погонят и оттуда. Тогда он, смотря по обстоятельствам, едет или в третий уезд, или возвращается в прежний. Разумеется, такие перекочевывания не могли быть продолжительны. Поубавилось евреев, но оставшиеся жили довольно спокойно, а помаленьку стали и опять появляться новые.

Но вот наступили новые начальники. Эти скоро узнали, где раки зимуют, житья не стало евреям: никакое «полозоное» не удовлетворяет.

Однажды, обходя поля, я встретил еврейку, торгующую разным мелочным товаром.

— Барин, а барин, куда тут дорога ближе в город проехать,—остановила она меня. Я указал дорогу.

— А чи есть тут по дороге господа?.

— Да вот сейчас за леском начальник живет, он из «благородных», с семейством живет, может, и купят что!

— Начальник! Ах, миленький барин, нет ли другой дороги, не можно ли как начальника объехать?

— Можно. Да разве у тебя что не в порядке?

— Нет, все в порядке.

— Так чего же ты боишься,—он ничего.

— Миленький барин, долго ли бедную еврейку обидеть!

Разумеется, я указал еврейке другую дорогу.

И вот разнесся как-то слух, что *их* уничтожают.

Заехал ко мне знакомый еврей, который контрабандой родился здесь еще в то время, когда евреям не дозволялось у нас жить, контрабандой же вырос и контрабандой сам наплодил детей.

Я сейчас догадался, что еврей, проезжая мимо, не утерпел, чтобы не поделиться свеженькой новостью.

— Уництозают! Уництозают!

— Ну, и слава богу,—перекрестился я.

Еврей по ошибке тоже чуть не перекрестился.

— А все наси выхлопотали,—похвастался еврей.—Потому, всего им мало. Ну, возьми свое «полозоное», а то и денег, и муки, и круп, и петуха. Разве так мозно?

Потом оказалось, что вовсе не уничтожают, а еще, говорят, *он* будет и подати собирать, и за правильной продажей вина смотреть. Отлично. Чего доброго, налетит, увидит, что пунш,

сидя на балконе, попиваешь: «Зачем,—скажет,—водою разбавляете? Отчего не пьете как есть за печатью? Штраф! Ведь и водку полагается пить непременно узаконенной крепости и не менее определенного количества. Зимою как-то был я в городе, зашел после театра в ресторан и спросил рюмку коньяку.

— Рюмку коньяку нельзя-с.

— Разве у вас нет коньяку?

— Есть-с. Только рюмочкой пить нельзя-с.

— А как же?

— Извольте шкалик взять, за печатью-с.

— Мне маленькую рюмочку. Кто же коньяк шкаликами пьет?

— Нельзя-с, не дозволено.

— Так целый шкалик и выпить нужно?

— Целый-с.

И выдумают же эти акцизные—всех превзошли. Выдумали, например, заводы «тормозить». Слышу, рассказывает акцизный, что такому-то заводчику открытие завода «тормозят». Я и не понял сначала, а это вот, видите ли, что: если чиновники подозревают какого-нибудь заводчика, что он делает отвод спирта, и не могут его изловить, так «тормозят» ему открытие завода, то-есть делают разные придирки, чтобы тот вовсе отказался от винокурения. Отлично.

Проявилась чума. Такой страх эта чума нагнала, что барыни наши бежать хотели. Однако ж не бежали. Мужей, которые при «местах», покинуть пожалели, но боялись. Все-таки страшно.

Немец прежде испугался, так испугался, что своих же немцев не пожалел, сарептский бальзам к ввозу в Германию запретил. Немец последователен. Уж коли чума, думает, так она не только к рыбине пристанет, а и к бальзаму, не верит немец, что водка всякую насекомую уничтожает. Заперся немец, ничего к себе не пущает, окромя хлебушка: кушать и он хочет. Посыкнулся было из жалости прислать нам своих немецких чиновников за чумой смотреть, да не приняли, своих довольно.

Немец последователен, а мы... Хочется нам и икорки, и осетринки—тут же и масленица подошла,—и хочется и страшно: вдруг в этой самой икре чума сидит?

Пришел об чуме приказ. Не пущать чуму. Установили противочумное начальство. В одном из наших уездных земств предлагали назначить, с содержанием от земства, двух урядников, исключительною обязанностью которых должно быть—«не допущать заразы» в пределы уезда. Обратились и к врачам, в том же земстве врачи единогласно высказались за необходимость строгого осмотра паспортов у всех вновь прибывающих лиц. И врачи ничего другого выдумать не могли. Урядники и паспорты, паспорты и урядники.

Не пущать!

Предложению врачей насчет паспортов особенно повезло. На паспорты, билеты так усердно налегли, что и посейчас не ослобоняют. Прежде насчет паспортов просто было. Можно было не только к соседу, не только в уездный город, но даже в губернский без билета ехать, а теперь нет, шалишь, так настрочили сотских, десятских, старост, караульных, что не перескочишь.—«Кто вы такой»? «Можно у вас билет спросить?».

Мужики насчет билетов налегают больше на высший класс, на тех, в ком они заподозревают барчат, восстающих против царя, «за то, что он хочет дать народу землю». Своего брата, русского человека, мужика, попа, мещанина, купца, мужики не остановят, настоящего барина, который едет на своих лошадях, с «человеком», имеет барский вид, настоящие барские замашки, мужики тоже боятся остановить. Однако, все-таки, держась правила: «запас с бедою не живет и хлеба не просит», следует всегда «про запас» иметь билет, если не желаешь угодить в холодную или еще того хуже. В особенности, если попадешь в никольщину, покровщину, спасовщину, когда деревня гуляет, когда и сам начальник сторонится от гуляющих.

А *он*, он насчет паспортов более на мужика налегает, потому что тут ему пропиту более.

— Ты кто такой?—спрашивает он мужика, который идет из соседнего уезда, работы ищет или к родственникам в гости.

Мужик робеет.

— Не здешний?

— Из Подколиновки я, батюшка, не тутошний.

— Билет есть?

Мужик окончательно теряется.

— Штраф! Ступай за мной, ты беспашпортный тут шляешься... вот я тебя! Ступай, ступай за мной.

— Ослобони, батюшка.

— Штраф. Три рубля.

А газетчики все толковали, что паспорты вовсе будут уничтожены? А мы-то верили, думали что они там, в Питере, ишь все знают! Знатцы! Потом насчет «чистоты» пошло. Узнали что чума «чистоты» не любит, и налегли. Коленов, фельетонист «Смоленского вестника», рассказывает. что по волостям был приказ три раза в день избы «студить», то-есть для очищения воздуха растворять двери, и два раза в неделю белье менять. Это мужику-то, у которого часто всего-то-навсего две рубахи—два раза в неделю белье менять! Дырявую избенку, в которой и так еле тепло держится, студить по три раза в день. Оно, конечно, в избе, где дети, свиньи, телята, овцы, «дух» не очень-то хороший, но прежде, чем приказывать «студить» избы,

земство лучше бы похлопотало, как отвести мужику лесу на постройки и на дрова. Что тут «студить», когда у многих топиться нечем. Боялись мы, что для «чистоты» прикажут навоз с дворов возить и сожигать. Как не приказали мужикам ежедневно хорошо питаться, есть говядину, пшеничный хлеб? Говорят, во время заразы, это необходимо. Как это еще земство не издало такого приказа! Ведь удивлялся же, рассказывает Коленов, несколько лет тому назад один приезжий граф тупоумию смоленских мужиков, которые питаются черным хлебом вместо белого, более «питательного», и потому постоянно голодают, тем более, что рожь родится при урожае всегда сам-пять, а пшеница, как например, в Малороссии, дает сам-десять и более...

В чуму мы узнали также, что нужно употреблять в пищу свежие припасы. Всегда ели и солонину с душком, и тронувшуюся рыбу, и тухлую астраханскую сельдь-ратник. Ели прежде все это и вдруг оказалось, что все это яд. Приказано было врачам осматривать рыбу и, чуть заметят в ней чуму, полиция должна была уничтожать зараженную рыбу. Трудненько было с этим справиться. Случалось, и не раз, что сожигаемую, признанную вредною, тухлую рыбу, или рыбу, закопанную в землю и предварительно облитую нечистотами из отхожих мест, все-таки утаскивали с костров, вырывали из земли и пожирали. Случалось, что украденную рыбу, обмыв хорошенько нечистоты, даже продавали!..

Пошла потом дезинфекция, говорили, что рыбу нужно дезинфицировать. Но как дезинфицировать рыбу? Карболизировать? Охлорять? Просернивать? Любопытно, какой вкус охлоренной осетрины, карболизированной икры, просерненной севрюжки? Да это куда еще ни шло. А сельдь-то, сельдь, астраханская сельдь-ратник, которою мужик закусывает водку по всем кабакам, постоялым дворам, торжкам, ярмаркам? Сколько этой сельди приводится в каждый город, и в каждой селедке, может быть, чума сидит, каждая селедка может заключать условия противогигиенические, и каждой селедке ты в нутро посмотри, понюхай. Кому же все это выполнять? Кто будут эти противоселедочные охранители? Врачи? Урядники? Или иные, новые чины завести при форме, с медной селедочной головкой на кепке: санитар, дескать, дезинфектор. Да и продезинфицируй-ка каждую селедку, а как передезинфицируешь карболовой-то, может, и есть нельзя будет. Карболка тоже везде за нутро хватает.

И как это врачи узнают, что́ именно протухлое можно есть, а чего нельзя? Понюхает и узнает! Конечно, каждый из них по малой мере 12 лет учился в разных заведениях и все должен знать. А все-таки мудрено что-то. Носы им что ли как-нибудь там выделывают? Такое меня насчет этого сомнение

брало, что, как случится в городе быть, так я всякому встречному врачу на нос смотрю, не замечу ли чего особенного.

Понюхает и узнает! Мало ли есть таких предметов, которые мы употребляем в пищу в состоянии разложения, гниения, тухлости? Молоко, например, превращают в сыр, а что такое сыр, как не молоко, протухлое, находящееся в известной степени разложения, кишащее мириадами разных низших организмов? Ну, положим, честер, швейцарский сыр—куда ни шло, воняет, а все-таки еще ничего. А возьмите, например, лимбургский сыр, невшатель, бри. Что это такое? Какая-то протухшая, полужидкая, вонючая масса. А ведь едят же и не умирают. Да и кто же станет есть свежий бри или невшатель. А рокфор, который весь пронизан зелеными грибками, придающими ему особенный, специфический, грибной привкус?

Говорят, что и в сыре бывает иногда какой-то сырный яд, от которого можно умереть. Но как узнать, в каком сыре есть, яд, а в каком его нет? Где предел, до которого безвредно можно гноить молоко? Можно ли, посмотрев круг сыра и понюхав, узнать, есть ли в нем сырный яд?

Относительно употребления в пищу тухлых веществ, все дело в привычке, крестьяне, например, не привыкли есть сыр. Мужик ни за что не станет есть сыр, не выносит его запаха и удивляется, как это господа «могут есть эту сыру», дух-то от нее какой! И если бы мужику поручили по запаху браковать съестные припасы, то он забраковал бы всякий сыр и наверное пропустил бы тухлую рыбу. Тот же мужик, который не станет есть сыр, ест тухлые яйца, и бары есть такие охотники до тухлых яиц, что предпочитают их свежим, сверх того, мужик будет есть ржавую селедку, тронувшуюся коренную рыбу, давшую дух солонину. Известно, что камчадалы питаются кваше-ной в ямах рыбой, которая при этом превращается в страшно вонючий студень. Треска, в особенности соленая, всегда так воняет, что непривычный человек в комнате усидеть не может. Такой же тяжелый запах бывает, когда варится солонина с душком. А дичь-то! Настоящие охотники никогда свежей дичи не едят, а дают ей предварительно повисеть. Колбасы тоже—уж какой дряни туда ни кладут! Всякая что ни на есть последняя мясная дрянь вся в колбасы идет, срубиться, посолится, чесночком заправится... В обжорном ряду в городе все поедят, говорил мне один знакомый прасол. Мужик ничем не брезгует, лишь бы ему подешевле; в оттепели начнет говядина или телятина портиться, слизнуть—сейчас солим, разумеется, продаем подешевле, мужик не разбирает. «Человек не свинья—рыть не станет».

Все сходит. Ели и едят тухлую рыбу, тухлую солонину. Ничего. Прошла чума, и рыбы не жгут, в землю не зарывают.

Говорят, что есть какой-то колбасный яд, есть какой-то рыбный яд, от которого поевшие ядовитой рыбы умирают. Можно ли по запаху узнать, что в такой-то колбасе, в такой-то рыбе есть яд? Может ли это узнать каждый врач? Во время гонения на тухлую рыбу много рыбы уничтожали, и все по наружному осмотру врачей. Пахнет—уничтожай. Рыбу, признаную негодною, обливали керосином и жгли, или обливали нечистотами и зарывали в землю. И ту и другую рыбу растаскивали, вырывали из земли и ели. И никто не умирал. Ну, положим, облитая керосином рыба дезинфицировалась, а облитая нечистотами из отхожих мест?

Соседняя барыня строго запретила «людям» есть простые сельди, а мы ели и не заболевали, не умирали. Да и «люди» тоже ели, потому что барыня, запретив астраханские сельди, не купила для «людей» хороших голландских.

Простые люди, русские люди, мужики, мещане чумы не признавали, в чуму не верили, считали все это барской выдумкой.—Мало ли что баре ни выдумают, какая такая чума?

Хоть торговлю совсем бросай,—говорил купец,—зайдет это в лавку, нюхает, нюхает, точно знает, чем чума пахнет. Разоренье, рыбы что забраковали, в землю зарывают, а ее выроют и поедят! Чистоты везде ищут, теленка на дворе у себя не зарежь.

В нынешнем году в нашей губернии на лен напали черви, которые страшно всполошили хозяев. Первый всполошился вяземский помещик Шарапов и тотчас вызвал по телеграфу исправника. Получив отчаянную телеграмму, исправник испугался. Какие такие черви? Прискакал с становым приставом и двумя банками карболовой кислоты («Смол. вест.», 1879 года, № 56 и 57). Но черви ни карболовой кислоты, ни станового пристава, ни даже самого господина исправника не испугались: жрут лен, да и шабаш—никакого уважения к начальству. С легкой руки г. Шарапова посыпались статьи о черве и из других уездов Смоленской губернии. Все корреспонденты, сообщая о черве, пишут одно и то же: ест червяк лен, а начальство не смотрит. Крестьяне, не зная других средств, прибегают только к молебнам и крестным ходам, а начальство бездействует. Ни земство, ни администрация ни к каким мерам не прибегают!

В самом деле, ведь это ужасно! Червяк пожирает наш лен, а начальство смотрит, никаких мер не принимает. Ах, господа либералы, господа либералы! Ничего-то вы сами не можете сделать, все к начальству прибегаете. Да и что же начальству делать? Мало вам того, что по телеграмме прискакал сам господин исправник, да еще с становым и с двумя банками карболовой кислоты! Чего больше. Не губернатору же в самом деле ехать. Что карболовая кислота не подействовала, что червяк и исправника не испугался, так в чем же тут администрация

виновата! Червяк ведь не студентам чета, вишь, он какими тучами ползет. Исправник еще с чумы помнит карболовую кислоту, ну, и везет. Чего ж вам больше? Не новых ли начальников против червей завести, не паспорты ли особенные выдумать!

Я вам писал, что когда я уезжал из Петербурга, то на станцию, в числе других родственников и друзей, приехала меня провожать одна близкая моя родственница, не молодая помещица, долго жившая и хозяйничавшая в деревне, но давно приехавшая в Петербург искать новой деятельности.

— Не знаю,—говорила она,—дай бог тебе справиться с хозяйством. Может быть, оно у тебя и пойдет, только не знаю... Одного боюсь, сопьешься ты в деревне.

— Отчего?

— Так. Мало ли бывает таких, которые ехали в деревню полные сил, с жаждой—деятельности, а там спивались.

— Да отчего же?

— Ты подумай только, что ты всегда будешь один. Представь себе только зиму, зимние вечера! Если бы вас собралось несколько человек в одном месте...

— Не сопьюсь.

Так как я прежде пил водку, то и в деревне продолжал пить. Пил за обедом и потом спал, пил за ужином и потом спал. Мало того, говоря по-мужицки, «гулял» даже при случае. Свадьбы, никольщины, закоски, замолотки, засевки, отвальные, привальные, связывание артелей, и пр. и пр.—все это сопровождается выпивками, в которых и я принимал участие. Случалось «гулять» здорово, настояще. Однако все было ничего. И вот восемь лет прошло, а на девятом, предсказание родственницы сбылось—спился. Теперь это уже дело прошлое, а спился, заболел, виденья одолевать стали...

Как это случилось? А вот послушайте...

Нужно вам сказать, что я ужасно боялся всякого начальства, боялся безотчетно, нервно, как иные боятся мышей, лягушек, пауков. Никак не мог привыкнуть к колокольчикам, особенно вечером, ночью, когда нельзя рассмотреть, кто едет. Как заслышу колокольчик, нервная дрожь, сердцебиение делается, беспокойство какое-то. Только водкой и спасался. Сейчас—хлоп рюмку. Проехали. Ну, слава богу, отлегло от сердца. Если же на двор завернули, хватаю бутылку и прямо из горлышка... Так становой меня иначе, как выпивши, и не видал.

Прежде у нас становой был ужасно проницательный человек—сейчас заметит. И, спасибо ему, деликатный был человек, редко сам заезжал, все через сотских посылал, а сотских я не боялся: может потому, что мужик, не при форме. Ну, а уж если необходимо было становому самому заехать, так первое слово: «не беспокойтесь, ничего особенного нет». Славный был становой,

шесть лет я под его начальством пробыл, как у христа за пазухой жил, деликатный человек. Поступил потом другой становой, тоже прекрасный человек и наезжал редко. Ну, и я тоже всегда в аккурате был, чтобы и повода ко мне приезжать не было: подати внесены во-время, дороги в исправности, а если знаю, что высшее начальство поедет, велю и на исправной дороге по сторонам землю поковырять, будто чинили, чтобы начальству видно было, что о его проезде заботились, уважение имели. Приедут ли собирать с благотворительною целью—я и тут всегда в порядке; на крейсеров ли собирают, на крест ли, на лотерею ли—сейчас трояк отваливаю...

Наконец, и новое начальство наступило—тоже ничего, ко мне не заглядывает, потому все в порядке.

Но с прошлой зимы вдруг иначе пошло. Наезжает как-то начальник утром: разумеется, я, как заслышал колокольчик, сейчас хватил. Взглянув в окно, вижу начальнические лошади—еще хватил. Повеселел. Думал, за сбором—нет. Так, пустые бумажонки. Сидит, разговаривает, смотрит как-то странно, расспрашивает, кто у меня бывает, насчет посторонних лиц, что хозяйству учиться приезжают, справляется.

Узнаю потом, что и в деревне какой-то был, расспрашивал, и все больше у баб, кто у меня бывает, что делают, как я живу, какого я поведения, «то-есть, как вы насчет женского пола», пояснили мне мужики.

Через несколько дней, опять начальник из низших, из новых, заехал. Поп завернул, вижу, странно как-то себя держит, говорит обиняками, намеками, точно оправдывается в чем.

Стало меня «мнение» брать, а это уж последнее дело, мужики говорят, что даже «наносные» болезни больше от «мнения» пристают. Стал я больше и больше пить.

Дальше—больше. Вижу, навещают то и дело. А я всякий раз выпью, да выпью, и все в разное время: то днем, то утром, придется, выпьешь и натощак. Чтобы не бегать за водкой, поставил бутылку в камнату на письменный стол. В ожидании наездов стал потягивать и без колокольчика.

Слышу и между мужиками толки, подстраивают их: «будете вы, говорят, с барином своим в ответе. Что у него там делается? Какие к нему там люди наезжают? Видано ли дело, чтобы баре сами работали?».

Нужно заметить, что для интеллигентных людей, желающих сесть на землю, я признаю *одну науку* в хозяйстве—*работать учись*, по-мужицки работать, да еще в мужицкой шкуре. Желающему научиться хозяйству я говорю: «поступай в работники, работай, паши, коси, молоти, по мужицки работай, поживи с работниками, побудь в их шкуре». Русскому интеллигентному человеку именно недостает *уменья работать*, и нигде он этому

так не выучится, как побывав работником-мужиком. Интеллигентного человека, желающего быть земледельцем, я ценю лишь настолько, насколько он мужик. Я убежден, что нам более всего нужны интеллигентные мужики, деревни из интеллигентных людей, что от этого зависит наше будущее. Если бы ежегодно хотя 1 000 человек молодых людей из интеллигентного класса, получивших образование, вместо того чтобы итти в чиновники, шли в мужики, садились на землю, мы скоро достигли бы таких результатов, которые удивили бы мир. Я верю, что в этом призвание русской интеллигентной молодежи. И находились люди, которые соглашались с моей системой обучения хозяйству, которые поступали в работники, работали, как мужики, и *честно работали*.

Конечно, мужикам было странно, что вдруг барчата работают, по-мужицки работают, не «балуются», а настояще работают. Но мужики понимают, что это настоящее «дело», хотя и смотрят недоверчиво, даже презрительно, полагая, что барчонку никогда не дойти в работе до мужика. Мужики точно бояться, что если баре выучатся работать, то мужик потеряет все свое значение, все свое величие. Тут самолюбие мужика страдает. Вон из бар, а выучился и работает, «только где ему до всего дойти, далеко еще до мужика! Где ему быть хозяином, не с той стороны рыло затесано»,—точно утешает себя мужик. Подсмеивается мужик, когда видит начинающего работать из интеллигентных, он ему смешен, как смешна нам обезьяна, подражающая человеку; относится он презрительно, но не злобно. Совсем иначе относятся полубаре, все эти барствующие, деревенские и селянские люди, носящие «панью» и «пинжаки», презирающие необразованного мужика и его работу. Тут отношение вполне злобное. Как сын священника, грамотный, ученый, который мог бы быть псаломщиком, мог бы поступить на службу, мог бы дослужиться до чина, вдруг работает, да еще настояще работает, наряду с мужиками, с необразованными мужиками! Обидно. Ну, вот этакие-то больше и толковали, мужиков подтравливали, доносцы писали. Хотя мужики и говорили: «Что ж тут такого, они не таятся, на народе работают, ни баловства, ни пустых делов! Ты поди-ка попаши-тут не до баловства»,—однако, и на мужиков, казалось мне под конец, оказали влияние. Или уж, может быть, «мнение» меня одолело, только замечаю: отдаешь мужику деньгу—уж он вертит бумажку, вертит, рассматривает. Эге! думаю, подозревает, не делаются ли у меня фальшивые бумаги! Весною еще чаще стали наезжать начальники, билеты у всех спрашивают, прописывают, рассматривают приезжих, осматривают, приметы их списывают, «приказано всех в лицо знать», говорят. Дети приехали. Смотрю, и у маленького гимназистика, чего прежде не бывало, тоже билет, он даже

радуется, потому что теперь, как большой—при паспорте. Заехал начальник—я ему билеты детей представил для прописи.

— Ваших детей? Нет, помилуйте, не нужно.

— Да вы же говорили, чтобы у проезжих виды отбирать для прописки. А вдруг пойдет он на деревню с ребятами гулять, а десятский ему: «где билет?». Нет уж лучше пропишите.

Чем дальше, тем чаще стали наезжать начальники. И мне кажется, что расспрашивают, шпигуют, мужиков против меня подбивают. Стал я сильно пить, без перемежки. Заболел, ходить не мог, страшная одышка, грудь давит, сердцебиение, руки трясутся, выпьешь—на минуту как будто легче, а потом еще хуже. От дела отбился, явилась страшная раздражительность, всякий пустяк раздражает, беспокоит... Пойдешь в поле—нет сил итти, потом обливаешься, вернешься домой, возьмешь газетину, еще более раздражаешься, буквы сливаются в какой-то туман, и вдруг сквозь туман лезет лицо начальника в кепке... Сам понимаю, что уже до чертиков допился, сам знаю, что не нужно пить зелье, и не могу бросить, воли нет...

Однажды, под вечер, зашел ко мне *он*, подвыпивши. Так зашел, пошел прогуляться и зашел проведать. Выпили вместе, уходит он, пошел и я проводить, сошли с крыльца, идет по двору, вдруг *он*, не знаю уже почему, пришел в какое-то умиление, потрепал меня по плечу: «молодец,—говорит,—вы, А. Н., молодец! Наполеон! Настоящий Наполеон!..»

Через несколько дней ко мне приехал брат и ужаснулся. Приехали племянники и с ними знакомый доктор. Доктор посоветовал не пить и больше быть на воздухе. Я послушался—смерти испугался—и бросил.

Теперь здоров и не боюсь.

Вот как бывает.

Батищево, 17 ноября 1879 года.

IX

Весна 187* года была сырая и мокрая, вредная плодам... Всю весну мы горевали с посевами. Холода, дожди, к пашне подступиться нельзя. Наконец кое-как посеялись. Тут опять горе, наступила засуха—едва пробившиеся из земли всходы стали сохнуть. На яровое хоть не гляди. Овес пожелтел, заострился, лен взошел только по низинам.

Вот уж и навозы пришли, рожь зацвела. Однажды, в жаркий полдень, я обходил поля. Побывал на паровом—сушь, водни, мука-мученическая и для лошадей, и для людей. Выпрягли в одиннадцатом часу, невозможно работать. Прошел по клеверам—плохо. На яровое и глядеть тошно. Зато рожь радовала—стоит, матушка, стена-стеной и в полном цвету. Погода для цветения ржи самая благоприятная: тихо, жарко,

водней и всяких мух неисчислимое множество, в воздухе стоит гул от жужжания насекомых, над полем точно туман от цветочной пыли, пахнет хлебом, медом. Радостно, потому, если во время цветения ржи погода стоит тихая, жаркая, много водней и всяких мух, то жди урожая, рожь выйдет умолотна.

В ржаном поле мне повстречался знакомый поп.

— Здравствуйте, батюшка, откуда?

— Во имя отца и сына... из Подъеремина,—отвечал поп, благословляя.

— Из Подъеремина? Что ж, поминки были или петровщину выбиваете?

— Нет, богомолье было.

— По какому случаю?

—Дождя просили.

— Дождя! Зачем? Что вы это делаете, помилуйте, зачем вам дождь?

Поп встрепенулся...

— Как зачем дождь? Яровое совсем посохло, травы...

— Яровое посохло, яровое посохло... Эх вы! Хозяева! Что же такое? Яровое видите, а рожь не видите, вы на рожь посмотрите. Рожь цветет, а они дождя у бога просят, умницы!

— А и в самом деле,—надоумился поп.

— Рожь цветет, а они дождя просят, хороши! Да разве вы не знаете, что когда пойдут дожди, наступят ветры, холода, водни попрячутся, то и мы будем без хлеба. Разве вы не знаете, что если во время цветения ржи стоят холода, идут дожди, нет водней, то рожь бывает неумолотна, черезерница. Помните, как было в третьем году?

— Помню, помню, да яровое-то совсем посохло.

— Что ж, что посохло? Носится с своим яровым. Яровым мы сыты не будем. Яровым теперь дождь много пользы не сделает. Яровое пропало—и говорить нечего, а вы еще просите, чтоб и ржи не было. Без ярового еще пробиться можно, а как ржи не будет, тогда что? Рожь цветет, а они дождя просят? Вы бы лучше прежде дождя просили на яровые всходы, а то подогнали к самому ржаному цвету!

— Пока собрались.

— То-то, пока собрались. Мирское дело. Один говорит нужно богомоленье сделать, а другой—может, и так дождь пойдет! Вот и собрались, когда рожь зацвела. Во-время не просили дождя, теперь собрались.

— Да что вы...

— Я знаю, что я. Видал, как баба-бобылка пятак подает, чтоб и ее коровку-буренку помянули, чтобы и на ее грядку с бурачками дождичек прошел. Бурачки, видишь, у нее засохли, лень сходить за водой, да полить, тоже дождичка просит на

свою грядку, пятак подает, а об том, дура, и не думает, что рожь цветет, что как обобьет дождем цвет, да будет неурожай, да подымется рожь до 15 рублей за куль, так она же сама будет в будущем году жать за два рубля десятину, лишь бы кто вызволил, дал вперед денег зимой или весною.

— Это точно, необразование...

— А вы бы внушали. Сам Христос учил, что отец небесный лучше нас знает, что нам нужно. И мужики говорят: бог старый хозяин, бог лучше нас знает, что к чему. А чуть только засуха—просят дождика! Напали черви на лен—просят избавить от червей! А может, оно так и нужно. Чем бы внушать, вам бы только пятаки собирать, да яйца. Вам же ведь урожай лучше, вам же лучше, если народ, богаче, зажиточнее—за одно поминовенье что наберете!

— Оно точно...

— Вы не помещик, не чиновник. Вам выгодно, когда урожай, когда хлеб дешев, когда мужик благоденствует. Это барину-помещику выгодно, когда хлеб дорог, а мужик бедствует и дешев, потому что помещик хлеб продает, а мужика покупает. Это чиновнику выгодно, когда хлеб дорог, потому что чиновник хлеба ест всего крошку, а больше все мясцом пропитывается, а если хлеб дорог и мужик бедствует, так мясо и всякий чиновничий харч дешев. Нет хлеба, так мужик тащит на базар скотину и продает за ничто, лишь бы выручить денег на хлеб. Вам в урожай много лучше: и свадеб больше и молебнов, одной ржи что соберете в поповий зик[1]. Разве вот только, что, в хороший урожайный год помирать меньше будет, меньше земляного[2] дохода будет, так ведь земляной доход что! Вам, попам, выгоднее, когда мужик богат, зажиточен, благоденствует!

— Конечно.

— Да и мужики тоже! Сами же говорят, «бог старый хозяин, бог лучше нас знает, что к чему»—чего же тут дождя просить! Эх... вишь, гонит,—указал я на облако пыли, поднятое скачущим мужиком, верно за водкой!

Мужик вскоре поровнялся с нами, придержал лошадь и снял шапку.

---

[1] Летом, когда появляются овода около «Акулины задери хвосты» (13 июня), то они кусают и беспокоят скот, который от оводов бесится, бегает задеря хвосты, «зикует», как у нас говорят. Это время называется «коровьим зиком». Позднее, в июле, появляются другие овода, которые беспокоят лошадей. Это время называется «конским зиком». Конец июля и начало августа крестьяне называют «поповым зиком», потому что в это время попы ходят по деревням за «новью», рожь на посев выбирают.

[2] «Земляным доходом» поповские называют доход, получаемый за погребение умерших. «Нынче плохо,—жалуется иная попадья или дьячиха,—плохо нынче, земляного дохода мало—все больше дети мрут, нет, чтоб настоящие люди».

— Куда ты, Стефан?

— В Погореловку.

— Ну, так и есть. За вином?

— Да, миром решили еще полведерочки взять. У нас сегодня богомоленье, дождя у бога просили, еще сбрызнуть хотим, авось господь дождичка пошлет.

«Вот старый хозяин, бог лучше нас знает, что к чему». И в самом деле, где такой хозяин, который мог бы сказать, что нужно в данную минуту, дождь или погода, тепло или холод, не только всем, но даже ему, этому хозяину? Есть ли такой ум, который мог бы обнять всю сумму факторов, имеющих влияние в хозяйстве, и определить их истинное значение, все взвесить, вычислить, рассчитать? Мое огородное сохнет—нужно дождя, но у меня подкошено сено, для которого дождь вреден, а между тем, дождичка бы нужно и для хорошего налива ржи, и потому, что пары подбились, отавы на лугах растут плохо, скот голодает.

Стоит жаркая погода, уборка сена и клевера идет отлично, а на лен навалился червяк и жрет его, на глазах хозяина уничтожает всякую надежду на урожай.

Но вот пошли дожди, сено гниет, к уборке ржи нельзя приступить, отавы хороши, но от сильных дождей и недостатка солнечного света трава водяниста, малопитательна, а между тем от дождей и холодов червяк, пожиравший лен, погиб, и лен поправился. Как тут уловить, что к чему?

В прошлом году у нас какой-то червяк ел лен и так перепугал хозяев, что либералы хотели еще новых начальников завести, энтомологов каких-то выписать. И чуть было не выписали, а энтомолог сейчас обязательные постановления выдумает, потому что он, как и всякий чиновник, думает, что все просто и легко решить. За примером ходить недалеко. Вот, например, в нынешнем году в иных губерниях козявка какая-то рожь поизъянила, выписали энтомолога-профессора, тот сейчас узнал, какая козявка: гессенская муха, говорит. Сейчас определил, как эта муха живет, которого числа, какого месяца кладет яйца и пр. и пр. Все вывершил. А что же против этой мухи делать?—спрашивают. Знаю, говорит, и это. Целую лекцию губернским и земским начальникам прочел. Нужно, говорит, жнивья выжигать, нужно жнивья тотчас после уборки ржи запахивать, нужно рожь сеять не раньше 15 августа. Словом, все вывершил, все решил, остается только обязательные постановления выдать. Ведь энтомолог-то только свою гессенскую муху и видит, как баба-бобылка только свою грядку с бурачками. Энтомолог, конечно, никакого понятия о хозяйстве не имеет. Будет ли гореть жнивье или не будет? Есть ли хозяину возможность в самое горячее время, в страду, запахивать

жнивье? Будет ли хозяину время посеять рожь после 15 августа? Возможно ли срок озимого посева сократить на две недели? Что произойдет от позднего посева ржи, в противность долголетней практике, установившей ранние посевы до 15 августа? Не произойдет ли от этого позднего посева того, что в будущем году не только людям, но и самой мухе нечего будет есть? Ничего этого энтомолог не знает, ничего не понимает, он знает и видит одну только муху. Расчувствовались земцы, прослушав красноречивую, ученую лекцию профессора-энтомолога, да и нельзя же ничего не сделать, зачем же было ученого энтомолога приглашать? Одна глупость влечет за собою другую, сейчас—бац!—*обязательное* постановление: *сеять рожь не ранее 15 августа*. И вот земледельцы нескольких губерний должны, *обязаны*,сеять озимь в известный срок, по назначению начальников: какого-то энтомолога, каких-то земских чиновников. Господи, да что же это такое? Опыт миллионов земледельцев-хозяев, долголетняя практика показали, что рожь нужно сеять в *пору*, что эта *пора* начинается с конца июля, что эта *пора* для разных мест разная, и вдруг какой-то энтомолог решает, что пора эта должна начинаться не ранее 15 августа, а земство делает *обязательное постановление* и предписывает миллионам земледельцев сеять озимь в назначенный срок! Повторяю, понятно, что энтомолог только свою муху и видит, хотя непонятно, как такой энтомолог может быть профессором, но земство-то, не из энтомологов же одних оно состоит, должны же бы, кажется, в нем быть люди с рассудком! Или уже раз человек делается чиновником, так господь у него все способности отнимает? Это обязательное постановение для нескольких губерний—сеять рожь позже 15 августа—характерный факт новейшего времени. Посмотрите, с какою легкостью третируется вопрос наипервейшей важности для миллионов населения, вопрос, от которого зависит жизнь этих миллионов, посмотрите, с какою легкостью делаются обязательные постановления. Приезжает энтомолог, да и энтомолог-то пустой, как теперь вывершили другие ученые, и говорит, что нужно сократить на две недели срок посева хлеба, от урожая которого зависит благосостояние всего населения, и вдруг, в несколько дней, не обдумавши, решается такой важнейший вопрос и делается *обязательное* постановление. Но этого мало. Одно земство сообразило: сделаем мы обязательное постановление, а что если вдруг его исполнять не будут! И вот елецкое земство (см. «Земледельческую газету», 1880 г., № 31, стр. 513), сделав обязательное распоряжение не производить в нынешнем году посева озимых хлебов ранее 15 августа, в то же время поручило управе обратиться к начальнику губернии с просьбой о том, чтобы земской полиции было вменено в обязанность оказывать содействие

управе при исполнении ее постановлений. Но этого еще мало. Елецкое земство постановило *ходатайствовать пред правительством о том, чтобы, независимо от штрафа, налагаемого по закону* (29 ст. устава о наказ., нал. мир. суд.), *было разъяснено, что при неисполнении этого постановления собрания преждевременный посев, то-есть произведенный до 15 августа, подлежит запашке на счет виновного.* Не верится даже, но это так. Это сообщает сам энтомолог, который выдумал, что муха повсюду вынесется по 15 августа, и который предложил колоссально нелепую меру, обязать сеять рожь после 15 августа. Петр Великий за неисполнение своих приказов по хозяйству приказывал бить батогами, рвать ноздри, а таперь прогресс, цивилизация: за ослушание будут запахивать посев, произведенный не в то время, как назначали земские начальники! Бей не колом, а рублем. Мало показалось, что мировой оштрафует, мало того, что, если губернское начальство прикажет смотреть, чтобы не сеяли до 15 августа, так урядники нагайками станут гонять мужиков с пашни, нужно и еще: *запахивать на счет виновного посев, произведенный до 15 августа.* Расчетливый хозяин, разумеется, скорее согласится заплатить штраф у мирового, чем сеять рожь не в пору; и урядник, ежели сгонит с посева, тоже не беда—не будет же он целый день торчать на поле. Земство это поняло и задумало покрепче сделать. Посеешь раньше срока, который энтомолог назначил, сейчас приедет земство и *запашет твои всходы озими.*

Любопытно только, кто будет запахивать. Еще господские посевы запахивать, может быть, найдут кого-нибудь, а запахивать мужицкие посевы едва ли кто пойдет. Ежели урядников заставить, так они ведь из благородных, из интеллигентных набраны, пахать не умеют. И вот, ходатайство елецкого земства о запахивании преждевременных посевов, пишет энтомолог К. Линдеман, заваривший всю эту кашу, орловское губернское земское собрание не нашло возможным утвердить ввиду того, что предполагаемая мера в применении своем может вызвать чрезвычайное неудовольствие. Слава богу!

Когда у нас в прошлом году черви ели лен, то «поклонники науки» тоже кричали, что следует выписать энтомологов. Но, к счастью, у нас энтомолога не выписали, и потому никаких обязательных постановлений насчет червей не вышло. Сеяли мы и нынче лен вольно, когда хотели, где хотели и сколько хотели! И *что же* бы вы думали? Никаких нынче червей на льне не было, и ни одной былиночки черви не съели. Откуда черви в прошлом году взялись? Куда они девались? Отчего их в нынешнем году не было? Как бы то ни было, ничего мы в прошлом году против червей не делали, даже молебнов не служили. Ели черви лен, а мы смотрели и горевали. Да и что же было делать? В иных

местах в прошлом году выели черви лен начисто, в других только слегка тронули, и вдруг, неизвестно отчего, пропали. В нынешнем же году никаких червей на льне не было и, может быть, десятки лет их не будет. Я помню в сороковых годах какой-то червяк поедал озими и производил страшные опустошения. Потом этот червяк сам собою пропал, и вот десятки лет ничего о нем не слышно. То же самое может быть и с гессенской мухой: нынче она поела рожь, а в будущем году, может быть, и ни одной мушки не увидим.

Энтомолог видит муху, ему бы только муху уничтожить, а там хоть трава не расти. Конечно, и против мухи есть радикальные средства—совсем не сеять ржи, изменить принятую систему хозяйства, изменить систему обработки. Человек, у которого голова набита мухами, чиновник, который думает, что стоит только приказать, могут легко третировать подобные вопросы, но хозяин должен видеть не муху только, а все. А есть ли такой хозяин? Где он? Такой хозяин есть. Такой хозяин—все.

Эх, вот бы гребнули сенца, если бы постояла погодка, думает хозяин, глядя на свои подкошенные луга и радуясь, что нет дождя. А не мешало бы и дождика! Трава совсем посохла жарко, овода, скот голодает, думает тот же хозяин, проходя по выгону. Насколько потеряет в цене сено оттого, что пробудет под дождем? Насколько прибудет молока, насколько повысится в цене скот, оттого, что вследствие дождей поправятся выгоны? Кто может все это вычислить? Обыкновенно хозяин, так, зря, хочет дождя или погоды, видя только одно что-нибудь, что у него, под носом. Если бы хозяину дать власть над погодой, чтобы по его мановению шел дождь или делалось вёдро, словом, чтобы в его руках были все атмосферические изменения, то, я уверен, что не найдется хозяина, который, командуя погодой, сумел бы так все подладить, чтобы у него был наивысший урожай, наибольший доход. Увлекся бы, например, уборкой сена, напустил бы безмерно звонкую погоду и в то же время позабыл бы холодком ударить на какую-нибудь бабочку или муху. Ан у него червяк либо лен, либо хлеб пожрал бы или скот от язвы подох бы.

Да и то сказать, как всем угодить. Один горюет, потеряв отца, а другой радуется «земляному доходу». Одному нужен дождь, а другому погода. У одного сено подкошено, а тут-то дождик—сеногной, парит, нет уборки. Один радуется и говорит: «Благодать нынче, парит! Вишь как матушка поправилась, благодарение богу—ожидать урожая можно, хлебушка дешев будет», а другой тут же сердится: «Парит, парит, потом дождь ударит, ну, как тут быть дорогому хлебу!».

Вот и угоди на всех. Помещику, богачу-земледельцу, тому, кто производит хлеб на продажу, неурожай иногда выгоднее урожая. Не подумайте, что я это так говорю, для словца. Нет,

это совершенно верно. Выгоднее же продать 200 четвертей по 14 рублей, как нынче, чем 300 четвертей по 6 рублей, как было два года тому назад? То-есть, разумеется, самое выгодное, чтобы у меня урожай был сам-двенадцать, например, а у других чтоб был неурожай и хлеб стоял бы в высокой цене, этак рубликов по пятнадцати за четверть!

Конечно, никто прямо не скажет, что он желал бы неурожая, высоких цен на хлеб, никто не будет так откровенен, как какая-нибудь дьячиха, жалующаяся, что мало «земляного дохода».

Конечно, все желают урожая, все молятся об урожае, но это так только, потому что зазорно. А кто не радуется высоким ценам на хлеб? Кто не радуется, что хлеб по высоким ценам шибко идет за границу? Мужик только не радуется, но разве он, сиволапый, что-нибудь понимает в важных экономических вопросах ввоза и вывоза, восстановления ценности кредитного рубля и т. п. Ему бы только все жрать да чтоб хлебушка дешев был.

Для хозяев, ведущих свои хозяйства нанятыми руками, в особенности там, где обработка производится даже не батраками, а соседними крестьянами-хозяевами, с их орудиями и лошадьми, важно не только то, чтобы хлеб был дорог, но еще более важно то, чтобы был неурожай, чтобы мужик вынужден был наниматься на летние страдные работы еще с зимы за дешевую цену, чтобы он вынужден был запродаваться для того, чтобы упасти свою душу, как говорят мужики, словом, чтобы мужик *был дешев*.

Вы представьте себе только, что всюду, несколько лет подряд, превосходный урожай, что мужику нет надобности покупать хлеб, что тогда будут делать помещики с своими хозяйствами? Не нуждаясь в деньгах для покупки хлеба, мужик-хозяин, имеющий свою землю, свое хозяйство, не продает себя на лето, не хочет работать на другого, напротив, он сам принаймет покосу, земли. Если бы не недостаток хлеба, не нужда, кто стал бы, имея свое хозяйство, свою землю, работать на чужой земле, в чужом хозяйстве? Свой покос стоит, свое подкошенное сено лежит, а ты иди убирать чужой покос, потому что «обвязался», как у нас говорят мужики, еще зимой, «обвязался», чтобы упасти свою душу. Кто хоть сколько-нибудь знает хозяйство, тот поймет, что только нужда может заставить мужика-хозяина, имеющего свою землю, работать на чужой земле.

Мужик, который не обязывается летними работами, который лето работает на себя, богатеет, мужик, который обязывается летними работами—беднеет. Сколько раз приходится слышать, что мужика упрекают в лености, в нежелании работать, когда помещичьи хозяйства представляют столько заработка.

«Что же, что хлеб дорог,—говорят,—бери работу в господских имениях, вот тебе и хлеб будет». Но ведь нужно посмотреть, каков этот заработок, которого чурается мужик, от которого он готов бежать даже к кулаку. От этого заработка мужик беднеет, разоряется—вот каков этот заработок.

Мужик, имеющий свою землю, свое хозяйство, не должен итти летом на страдную работу к другому ни за какие деньги, потому что, работая летом на другого, он неминуемо упускает в своем хозяйстве. Непродажному коню нет цены, и счастлив тот, у кого есть непродажный конь. Непродажной работе нет цены, и счастлив тот, у кого есть непродажная работа. Но голод заставляет продать любимого коня, голод заставляет продавать и страдную работу.

Если вы живали когда-нибудь летом в гостях у помещика, то, без сомнения, видели, как беспокоится, как волнуется хозяин летом, когда дождь, например, мешает уборке сена или хлеба, видели, как помещик, староста, даже рабочие, приходят в волнение в виду заходящей тучи. Представьте же себе нравственное состояние мужика-хозяина, когда он должен бросить под дождь свое разбитое на лугу сено, которое вот-вот сейчас до дождя он успел бы сгрести в копны, бросить для того, чтобы уехать убирать чужое сено. Представьте себе положение хозяина, который должен оставить под дождем свой хлеб, чтобы ехать возить чужие снопы. Нужно быть самому хозяином, чтобы вполне понять то ужасное нравственное состояние, в котором находится человек в таких случаях, и нельзя не удивляться тому хладнокровию, с которым мужик, оставив свое поле, едет на господское. Только многие годы рабства, крепостной работы на барина, могли выработать такое хладнокровие. «Наше потерпит, лишь бы только ваше, господское, убрать»,—говорит барину и теперь еще, по старой привычке, мужик, повторяя то, что он привык говорить, когда был крепостным.

Но это хладнокровие только кажущееся. Нужно видеть, что делается внутри, в душе хозяина, как он клянет судьбу, как он закаивается брать в другой раз страдную работу. Проявляется это наружно только у молодых, незабитых крепостными привычками, да у баб. Батрак, безземельный, неимеющий своего хозяйства, ничего подобного не испытывает, но оттого у него и вырабатывается известная тупость.

Работа летом, в страду, в помещичьем хозяйстве разоряет мужика, и потому на такую работу он идет лишь из крайности, отбиваясь от этой работы елико возможно. Конечно, я говорю не о батраках, батрак—одно слово батрак. Это или безземельный, или неспособный к хозяйству человек, который не живет своим загадом, своей головой, который живет чужим

загадом, на всем готовом, предпочитает работать на другого, лишь бы только быть обеспеченным, предпочитает обеспеченную зависимость необеспеченной независимости. Такие люди есть, как и в интеллигентном классе—тут их еще более,—так и между крестьянами. И всегда они будут, пока крестьянские деревни не превратятся в настоящее общины, в которых работа будет производиться сообща и где тогда найдется место каждому.

Я говорю не о батраках, а о мужиках, землевладельцах-хозяевах, способных, было бы только с чем и над чем, работать к собственному загаду. Для таких сдельные работы в страду в помещичьих хозяйствах—беда, разоренье. От работ у помещика в страду мужик бежит. Он борется до последней степени и берет страдную работу только тогда, когда нет никакой возможности обойтись, когда нет хлеба, когда приступают к продаже скота за недоимки. Если можно как бы то ни было достать денег, хотя за большие проценты, мужик предпочитает занять, лишь бы только не обязываться летнею работою, в особенности постоянною, на целое лето, какова, например, обработка земли кругами в помещичьих имениях, состоящая в том, что крестьянин, за известную плату, обязывается в течение лета, с своими лошадьми и орудиями, произвести у помещика полную обработку земли в трех полях, подобно тому, как это делалось при крепостном праве.

Совершенно иное дело зимняя работа. На зимнюю работу мужик нанимается охотно и дешево, и если нет выгодной работы, то берет и такую, при которой только хлеб на навоз перегоняет, то-есть зарабатывает лишь столько, чтобы себя и лошадь прокормить. Вся суть дела для мужика заключается в выгодном зимнем заработке, потому что зимний заработок дает ему возможность работать летом на себя, не обязываться летними страдными работами на других. Хозяину-земледельцу, имеющему свое хозяйство, выгоднее зимою работать за четвертак в день, чем в страду за три рубля. Между тем помещичьи хозяйства зимою-то именно и не дают работы, или дают очень мало, а требуют летней работы. Интересы крестьян и помещиков, при существующих порядках, совершенно противоположны. Освободиться от летних работ на помещика—постоянная мечта мужика; заставить мужика работать летом у себя—постоянная мечта помещика.

Существование помещичьих хозяйств, таких, какие мы теперь встречаем, возможно только при существовании подневольных так или иначе—будут ли то крепостные по «Положению», или крепостные по экономическим причинам,—обязанных работать на помещичьих полях, потому что нет хлеба, нет выгона, нет денег.

«Крестьяне наши,—говорит А. Ростовцев[1] из Орловской губернии,—разделяются на две категории. Более зажиточные, которые имеют 3—4 лошади и такое же число взрослых работников во дворе и вообще *исправное хозяйство*, всеми силами *стараются приобрести себе землю или покупкою, или арендою* и потому *на сторонние работы не нанимаются ни за какие деньги*. Беднейшие же крестьяне, у которых всего одна и по большей части плохенькая лошадка и хозяйство неисправное, нанимаются на полевые работы с большею охотою». Про эту охоту прибавлю я от себя: «неволя велит и сопливого любить».

«Нанимаются, крестьяне,—говорит далее Ростовцев,—обыкновенно с осени, в сентябре и октябре, и берут все деньги вперед почти за год. Но «у зимы рот велик», говорит пословица, поэтому зимою обыкновенно бывают разные случаи. Бывает очень часто, что бедный крестьянин, нанявшись у одного землевладельца и взявши вперед деньги под отработки, среди зимы отправляется к другому землевладельцу, нанимается также у него, потом нанимается и к третьему. Когда придет время работать, его сразу вызывают к трем лицам. Он является к одному, сработает половину работы, потом бросает—к другому, у другого тоже только начнет работать и побежит к третьему и в конце концов бросает всех и бежит убирать свой *несчастный хлебишко*, *который к этому времени, наполовину уже осыпался*».

Существование помещичьих хозяйств *обусловливается* именно *существованием таких подневольных*, бедных крестьян, у которых не хлеб, а *хлебишко*, *да и тот осыпается*, пока мужик исполняет работы, на которые обязался зимой, у которой «рот велик». Зажиточные крестьяне не нанимаются ни за какие деньги. Следовательно, *чтобы было кому работать в помещичьих хозяйствах*, *нужно*, *чтобы были нуждающиеся*, *бедные*. Порядок ли это? Иные думают, что в этом-то и порядок. Один немец—настоящий немец из Мекленбурга—управитель соседнего имения, говорил мне как-то: «У вас в России совсем хозяйничать нельзя[2], потому что у вас нет порядка, у вас каждый мужик сам хозяйничает—как же тут хозяйничать барину. Хозяйничать в России будет возможно только тогда, когда крестьяне выкупят земли и поделят их, потому что тогда богатые скупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у вас будет порядок и можно будет хозяйничать, а до тех пор нет». Да, если постоят такие цены на хлеб, как нынче—от 13 до 15 рублей за четверть,—то порядок, про который говорит немец, может установиться и ранее.

---

[1] «Земледельческая газета», 1880 год , стр. 720, в статье о жатвенных машинах.

[2] Немец попал в местность, которую я, под названием «Счастливого уголка», опишу в следующем письме.

И теперь, как при крепостном праве, основа помещичьих хозяйств не изменилась. Конечно, помещичьи хозяйства, в наших местах, по крайней мере, упали, сократились в размерах, но суть, основа, система остается все та же, как и до 1861 года.

Прежде, при крепостном праве, помещичьи поля обрабатывались крестьянами, которые выезжали на эти поля со своими орудиями и лошадьми, точно так же обрабатываются помещичьи поля и теперь теми же крестьянами с их лошадьми и орудиями, с тою только разницею, что работают не крепостные, а еще с зимы задолженные.

Точно так же, как и прежде, и теперь землевладелец не только не работает сам, не умеет работать, но и не распоряжается даже работой, потому что большей частью ничего по хозяйству не смыслит, хозяйством не интересуется, своего хозяйства не знает. Землевладелец или вовсе не живет в деревне, или если и живет, то занимается своим барским делом, службой или еще чем, пройдется разве по полям—вот и все его хозяйство. Какой же он хозяин, когда он ни около скота, ни около земли, ни около работы ничего не понимает, и понимает только то, чему с малолетства учился,—службу. За барином следует другой барин, подбарин, приказчик, который обыкновенно тоже работать не умеет и работы не понимает, около земли и скота понимает немногим больше барина, умеет только мерсикать ножкой и потрафлять барину, служить, подслуживаться. Затем, если имение покрупнее, идет еще целый ряд подбаринов—конторщики, ключники, экономки и прочий мерсикающий ножкой люд, одевающийся в пиджаки и носящий панью и шильоны,—люд ни в хозяйстве, ни в работе ничего не понимающий, работать не умеющий и не желающий, и работу, и мужика презирающий. Наконец, уже идет настоящий хозяин, староста-мужик, без которого хозяйство вовсе не могло бы итти. Староста-мужик умеет работать, работу понимает, знает хозяйство, понимает и около земли, и около скота, но, главное, староста знает, что нужно мужику, знает, когда мужик *повычхался*, знает, как обойтись с мужиком, как его *забротать*, как на него *надеть хомут*,как его *ввести в оглобли*. Административный штат поместья только ест, пьет, едет и погоняет, а везет, работает мужик, и, чтобы запречь этого мужика, нужно чтобы у него не было денег, хлеба, чтобы он был беден, бедствовал. Зажиточный мужик старается арендовать землю и работать на ней на себя, на свой страх, на работу же у помещика не нанимается ни за какие деньги. Землевладельцев же, которые, подобно американцам-фермерам, работали бы с своим семейством, я между людьми интеллигентного класса еще не знаю. Говорят, что есть такие, но я не видал.

Не знаю и таких землевладельцев из интеллигентных, которые, имея батраков, работали бы сами наряду с батраками, у которых бы батраки, подобно тому, как у американских фермеров, жили бы, ели и пили вместе с хозяевами.

Не знаю и таких хозяйств, в которых бы все работы производились батраками с помощью машин, а сам хозяин-землевладелец, умеющий работать, понимающий работу и хозяйство, всем распоряжался, смотрел за работой и хозяйством, подобно тому, как в больших американских хозяйствах.

Ничего подобного у нас нет. И прежде всего, главное, землевладелец есть барин, работать не умеет, с батраками ничего общего не имеет, и они для него не люди, а только работающие машины.

Батрацкое хозяйство считается невыгодным, да оно, при существующих системах и порядках хозяйства, и невозможно, потому что если и возможно батраками обработать землю, то никак нельзя управиться в страдное время—в жнитво и в покос. Поэтому хозяйство ведется так: или вся земля сдается на обработку соседним крестьянам-хозяевам—сдача кругами, снизками,—которые обрабатывают ее своими лошадьми и орудиями, и тогда в имении нет ни инвентаря, ни рабочего скота, или часть работ, именно земляные работы, производятся батраками с экономическим инвентарем и рабочим скотом, а другая часть работ, страдные работы, покос, жнитво, производятся крестьянами за взятые по нужде зимой деньги и хлеб.

Между тем, как я уже говорил выше, для мужика-земледельца, имеющего свое хозяйство, дорого именно это страдное время, которое ему необходимо для работы на себя, в своем хозяйстве. Известно, что даже в тех местностях, где крестьяне занимаются отхожими или кустарными промыслами, как бы ни были выгодны эти промыслы, все-таки большинство крестьян на страдное время возвращается домой и работает в своем хозяйстве. Это совершенно понятно тому, кто знает, что теряет мужик, не работая летом в своем хозяйстве и не посвящая ему все свое время. Если мужик бросает летом выгодные сторонние заработки, чтобы работать в покос и жнитво дома, в своем хозяйстве, то понятно, что только крайняя нужда может побудить его работать летом на помещика.

Итак, с одной стороны, для мужика разоренье, если он должен летом работать на другого; с другой стороны, помещик не может вести свое хозяйство без летней работы мужика-хозяина. Поэтому между помещиком и соседними крестьянами-хозяевами идет постоянная борьба. Помещик хочет забротать крестьянина, надеть на него хомут, ввести его в оглобли, а мужик не дается, выбивается, старается не попасть в хомут. Все помышления помещика, его приказчика, старосты напра-

влены к тому, чтобы сдать мужикам на обработку землю за выгоны, за отрезки, за деньги; все помышления мужика, как бы обойтись без того, чтобы брать у помещика круги и вообще страдные работы. Тут вопрос вовсе не в величине заработанной платы, а в том, что мужик, имеющий свое хозяйство, вовсе не хочет работать в чужом хозяйстве. И вот, там, где мужик успевает отбиться от работ на господской земле, там, где он летом работает на себя, там крестьяне богатеют, поправляются. Напротив, там, где помещик забротал крестьян, надел на них хомут, там благосостояние крестьян ниже, там бедность, пьянство. Самое первое, самое важное средство, самая крепкая оброть, чтобы ввести крестьян в оглобли,—это *отрезки и выгоны.*

Уже в прежних моих статьях я говорил, что крестьяне повсеместно более всего нуждаются в выгонах. Там, где крестьяне в крепостное время владели большим количеством земли, излишек земли, по «Положению», от них отрезан, и эти «отрезки» поступили во владение помещиков; там же, где крестьяне не имели лишней земли, так что владеют тем, чем пользовались до 1861 года, они, при крепостном праве, пользовались еще господскими выгонами и не только у своего помещика, но и у соседнего, так как тогда было просто, и по снятии хлебов, скоту было ходить всюду вольно, тем болёе, что все смежные поля были обыкновенно под одинаковыми хлебами. В настоящее же время никто *даром на свою землю, даже по снятии трав и хлебов, не пускает.* Необходимость выгонов—теперь самое важное для крестьян. Если у крестьян есть достаточно своего хлеба, хватает хлеба до нови, если у них к тому же есть зимний заработок, то ничто, кроме нужды в выгонах, не может их заставить взять на обработку помещичью землю. Никакими деньгами крестьян-хозяев, занимающихся землею, соблазнить нельзя. Покос крестьяне могут снять за деньги или с части и в отдаленности от деревни; дров, лесу тоже могут купить на стороне; земли заарендовать тоже могут; только выгон они должны взять непременно подле деревни, у соседнего помещика. Оттого-то мы и слышим такого рода восхваления имений: «У меня крестьяне не могут не работать, потому что моя земля подходит под самую деревню, курицы мужику выпустить некуда», или «У него отличное имение, отрезки тянутся узкой полосой на четырнадцать верст и обхватывают семь деревень; ему за отрезки всю землю обрабатывают». Словом, при оценке имения смотрят не на качество земли, не на угодья, а на то, как расположена земля по отношению к соседним деревням, подпирает ли она их, необходима ли она крестьянам, могут или нет они без нее обойтись. Поэтому-то теперь, при существующей системе хозяйства, иное имение и без лугов, и с плохой землей, дает большой доход, потому что оно благо-

приятно для землевладельца расположено относительно деревень, а главное, обладает «отрезками», без которых крестьянам нельзя обойтись, которые загораживают их землю от земель других владельцев, так что не может быть и выгодной для крестьян конкуренции между владельцами, желающими каждый залучить крестьян на работу к себе.

Самое выгодное для крестьян—это если отрезки и выгоны они могут заарендовать на деньги или получить в пользование за какие-нибудь зимние работы, резку или возку дров, грузку вагонов и т. п., что бывает в тех случаях, когда имение купит какой-нибудь купец-лесопромышленник, на занимающийся хозяйством. В таком случае крестьяне тотчас поправляются, богатеют, потому что, заплатив за необходимые им выгоны или отрезки зимними работами, потом все лето работают на себя, накашивают много сена, арендуют землю под лен и хлеба. Корм, который они тогда свозят с чужих угодий, поедается их скотом на их же дворах, и получается навоз, который идет на удобрение их крестьянских наделов. Но если помещик сам ведет хозяйство, то ни выгона, ни отрезков за деньги не отдает и требует, чтобы крестьяне за выгоны и отрезки обрабатывали ему землю. Все искусство хозяина-помещика состоит в том, чтобы заставить нуждающихся в отрезках крестьян обрабатывать как можно более земли; все старания крестьян устремлены на то, чтобы работать как можно менее, а еще лучше вовсе не работать кругов и платить за отрезки и выгоны деньгами.

Таким образом между помещичьими и крестьянскими хозяйствами идет постоянная борьба, и, где крестьяне одолевают, там благосостояние их увеличивается, и помещичьи хозяйства, часто *к выгоде помещиков*, вытесняются. Да, *к выгоде*, потому что, вместо того, чтобы вести не приносящее дохода хозяйство, помещик тогда *сдает свои земли в аренду крестьянам* и получает более, чем он получал, когда вел хозяйство, при котором доход поглощался содержанием приказчиков и администрации.

Но покуда помещик ведет хозяйство, он вынуждает крестьян работать в этом хозяйстве. И мужик, оттесненный выгонами, недостатком земли, в ущерб себе, работает у помещика. И тот и другой теряют: один мало получает за землю, другой мало получает за труд.

Мужик угнетен, мужик бедствует, мужик не может так подняться, как он поднялся бы, если бы он не должен был попусту работать в глупом, пустом, бездоходном помещичьем хозяйстве и мог бы арендовать, или, еще лучше, купить ту землю, которую он *бесполезно болтает* у помещика. С другой стороны, и помещик от своего хозяйства не имеет дохода—все помещики справедливо жалуются на бездоходность хозяйств—потому что выработанный мужиком доход идет на содержание

администрации, орды не работающих, презирающих и труд, и мужика, дармоедов, из которых, когда они наживутся, выходят кулаки, теснящие народ. Кому же тут выгода? Никому, кроме будущих кулаков.

Труда мужицкого тратится пропасть вследствие неразумной эксплуатации земли и неправильного приложения, труд этот теряется бесполезно, зарывается в землю, а если что и вырабатывается, то идет не тому, кто работает, и даже не тому, кто считается владельцем земли, а постороннему, не работающему человеку.

Каждому понятно, что можно затратить много труда, но раз этот труд приложен, то неразумно, если в результате ничего полезного не получается. Бесплодно сожжено известное количество углерода, бесплодно зарыто известное число пудофутов работы. Вы хотите осушить луг, если вы правильно провели канавы, луг осушен и получается хорошее пастбище, если провели неправильно, то, несмотря на массу потраченного для рытья канав труда, луг не высох и остается все то же бесполезное болото.

Вот такое-то бесплодное толчение воды идет в большей части помещичьих хозяйств. Поистине, нелепое положение вещей. Что же тут удивительного, что при всех наших естественных богатствах мы бедствуем. Работает мужик без устали, а все-таки ничего нет.

Итак, первое, что заставляет крестьян работать в помещичьих хозяйствах,—это недостаток выгонов. Но это еще куда ни шло, если мужики зажиточны. Работать за выгон приходится немного. Но одними работами за выгоны помещичьи хозяйства удовлетвориться не могут, при дороговизне администрации, им обыкновенно нужно обрабатывать гораздо более земли, чем сколько крестьяне будут работать за выгоны, следовательно, нужно, чтобы крестьяне сверх того работали и за деньги. Между тем, так как для крестьян работать кружки разоренье, то обработку кружков за деньги крестьяне берут только тогда, когда нуждаются в деньгах для покупки хлеба. Вот это-то и определяет их положение. Если крестьяне берут кружки из-за денег, то это показывает, что положение крестьян очень плохое, что они бедствуют. Этот критерий до такой степени верный, что для меня, например, достаточно час, два поговорить с помещиком и крестьянами, чтобы определить положение крестьян.

Поэтому-то урожай или неурожай, дешевизна или дороговизна хлеба, имеют громадное значение для помещика, ведущего хозяйство трудом крестьян-хозяев. Если у мужика достаточно своего хлеба, то хотя бы хлеб и был дорог, мужик все-таки не пойдет напиматься на страдные работы к поме-

щику. Следовательно, для помещика важно не только то, чтобы хлеб был дорог—это, конечно, увеличивает доходность,—но важно еще и то, чтобы был неурожай, чтобы у мужика не было хлеба, чтобы мужик еще с зимы должен был запродавать свою летнюю работу. Только тогда можно забротать его, надеть на него хомут, ввести в оглобли. Пока с осени есть у мужика хлеб, он, хотя и панимается охотно и дешево на зимние работы,—умный расчетливый мужик и дешевой зимней работой не брезгует: «маленький барышок, да почаще в мешок»,—но в хомут на летние работы не идет. Нет более хлеба, вышел весь свой, но есть деньги—мужик покупает хлеб, хотя бы и по дорогой цене, но в оборот все еще не дается. Вышли деньги, мужик идет занять у кулака хлеба, денег за огромные проценты, но в оглобли все еще не дается. Наконец, как последнее средство—идет брать на обработку кружки в помещичьем хозяйстве. Мужик, значит, «повычхался». Ни одно хозяйство, в котором земля обрабатывается крестьянами-хозяевами, не знает вперед, будет ли сдана вся земля в обработку. Все зависит от положения крестьян, от урожая, от величины зимних заработков, от цены на хлеб. И тут опять-таки дело не в цене за работу, а в том, возьмут ли ее. Есть у крестьян хлеб, нет нужды—ни за какую цену не возьмут кругов; нет хлеба—возьмут и за дешевую плату, и, чем больше нужда, тем дешевле плата.

Я говорил, что в нашей местности большинство помещиков ведет хозяйства без инвентаря и рабочего скота, сдавая свои земли на полную обработку крестьянам. Но есть хозяйства, в которых имеется и инвентарь, и рабочий скот, и работа производится батраками. Однако и такие хозяйства одними батраками обойтись не могут и должны на страдное время, в особенности на жнитво, нанять крестьян. Батраками можно только произвести обработку земли, вывезти зимой навоз, убрать часть покосов, но на огульные работы, на жнитво, уборку, возку, вообще в страду, нужна сторонняя сила. Самое важное—жнитво.

Первыми на жнитво нанимаются безземельные бобылки, бабы, живущие своими маленькими хозяйствами, но без земли. Для бобылок жнитво самая важная работа, обеспечивающая их зимнее существование. Так как бобылка хлеба не сеет, своего жнитва дома не имеет, то она охотно нанимается на эту работу, и для нее важно, чтобы было как можно менее конкуренции, то-есть чтобы меньше было баб, имеющих свой хлеб, свое жнитво и взявших господское жнитво еще с зимы по нужде. Следовательно и для бобылки важно, чтобы был урожай, чтобы хлеб был дешев, а мужик дорог, чтобы меньше было нужды зимой. Но для помещика одних бобылок мало, нужно, чтобы и дворовые бабы, имеющие свое жнитво, оставив его,

шли жать на господские поля. Но раз наступило жнитво, раз поспел хлеб и можно если не спечь хлеб, то напарить ржаной каши, ни одна дворовая баба не бросит свою ниву, свое жнитво и не пойдет ни за какие деньги жать на чужом поле. Чтобы баба оставила хлеб на своей ниве осыпаться и пошла жать на чужом поле, нужно, чтобы эта баба обязалась вперед еще зимою. Раз наступило время жнитва, никого уже, кроме бобылок, нанять нельзя, пока дворовые бабы не пожнут своего хлеба. Поэтому, чтобы не остаться на жнитво с одними бобылками, нужно закабалить баб еще зимою, а это возможно только тогда, когда у мужика нет хлеба. Как ни кинь, все клин.

Ясно, что помещику нужно, чтобы хлеб был дорог, и не потому только, что он производит хлеб на продажу, а и потому, что *хлеб дорог—мужик дешев*, можно мужика ввести в оглобли. Напротив, мужику нужно, чтобы хлеб был дешев, потому что мужик хлеба не продает, а большею частью прикупает. Если даже у мужика и есть избыток хлеба, то он все-таки не продает, а хочет, чтобы у него хлеба хватило за «новь», чтобы можно было прожить своим хлебом и еще год, в случае, если бог обидит градом. Если мужик по осени продает хлеб по мелочам, то это или пьяница, который продает на выпивку, или бедняк, которому не на что купить соли, дегтю, нечем заплатить попу за молебны в праздник. Настоящий земельный мужик-хозяин хлеба не продаст, хотя бы у него был избыток, а тем паче не продаст по осени. Зачем продавать хлеб—*хлеб те же деньги*, говорит мужик,—и если продав пеньку, лен, семя, коноплю, он может уплатить подати, то хлеба продавать не будет, хотя бы у него была двухгодовалая пропорция. Он будет кормить свиней, скот.

Потому-то мужик искренно молится богу об урожае, о том, чтоб хлеб был дешев.

При существующей ныне системе хозяйства, при существующих отношениях, каждому производителю хлеба на продажу выгодно, чтобы хлеб был дорог. Никто, конечно, не говорит: «нынче, слава богу, неурожай», но разве не радуются, когда за границей неурожай, когда требование на хлеб большое, когда цены на хлеб большие? «У немца нынче недород, немцу хлеб нужен, требование большое, цены подымаются»,—ликуют все.

В третьем году продавали рожь по 6 руб. 50 коп. за четверть, в прошлом году по 9 рублей, нынче по 14 рублей. Платить-то в банк все одну сумму нужно, будет ли хлеб 6 руб. или 14. Как же тут не радоваться! Естественно, что радуются. Сердобольная помещица, продав ржицу рубликов по 14 за четверть, рассказывая о выгодной продаже, конечно, по христианству, вспомнит о бедном мужичке, каково-то ему, бедному, покупать

хлеб по такой цене. Так и дьячиха, смекая, сколько будет «земляного доходу», по христианству жалеет покойника и сердобольно утешает его родных на поминках.

Вот тут-то вся и разница. Барин желает, чтобы хлеб был дорог, мужик желает, чтобы хлеб был дешев. Мужик, даже богатый, никогда не радуется дороговизне хлеба. Эта потребность массы крестьян в хлебе, эта необходимость, чтобы хлеб был дешев, характеризуется тем, что никогда ни один крестьянин не скажет: «слава богу, хлеб дорог». Это более, чем неприлично, более, чем зазорно, это надругательство, это грех, большой грех, за который бог покарает.

«Как можно сказать, слава богу, хлеб дорог,—говорил мне один мужик,—это большой грех. Вот я вам расскажу случай, которому сам свидетелем был. Везли мы пеньку—вот и Евдоким с нами был, спросите у него, он то же самое скажет,—только приезжаем на постоялый двор поутру. Был праздник, хозяева только-что из церкви пришли. Убрали мы это лошадей, сели обедать. Вот хозяин стал хлеб резать, отрезал скибку, да и говорит невесткам—он с двумя невестками на постоялом жил, а сыновья в городе торговали: «Ну, слава богу, хлеб вздорожал, если такая цена постоит,—а у него хлеба было много скуплено,—продам хлеб, куплю вам, бабы, по шелковому платку.» Только сказал он это, а сам вторую скибку режет, зарезал, повернул хлеб, вдруг у него нож соскочил, да прямо в брюхо, пропорол так, что кишки вывалились. Все вскочили, кто на село за попом бросился, кто к нему, положили его навзничь, зашили брюхо, однако ничего не помогло, ехали мы назад—помер. Вот как говорить: «слава богу, хлеб дорог», вот бог и покарал. Нельзя этого говорить. Хлеб всему народу нужен, всему хрестьянству! Как же хрестьянину жить, если хлеб дорог! Оно понятно, дворнику радостно, что ему барыши большие, только говорить-то «слава богу, хлеб дорог» нельзя! Пусть будет по-божьему. Бог цены строит. Дорог ли, дешев ли хлеб, бог лучше нас знает, к чему. Вот оно что».

— Однако же говорят: «слава богу, скот нынче дорог!... Слава богу, мясо в цене»,—заметил я.

— Это другое дело. Хрестьянин скот продает. Мясо—другое дело: мясо можно есть или не есть, без мяса жив будешь. Мужик мяса не ест, а хлеб каждому нужен, без хлеба никто жить не может. Таких, что говядину едят, немного, а хлеб едят все хрестьяне. Большой грех желать, чтобы хлеб был дорог.

А мы-то, интеллигентные люди, радуемся, что хлеб дорог. Посмотрите, что было последние года. Третьего года урожай был у нас хороший, в степи хлеб родился хорошо, хлеба было много, и цена на него была невысокая, даже весною прошлого

года хлеб был еще дешев. Был дешев хлеб, скот был дорог, дорог был мужик, дорог был его летний труд.

Урожай—хлеб дешев, говядина дорога, мужик дорог, благоденствует.

Мужик ликовал, не нужно мужику закабаляться на летние работы, можно лето работать на себя.

Совершенно иначе относились интеллигентные люди, которые хлеба едят такую малость, что и в счет не ставят, которым лишь бы дешева была говядина, масло, молоко и всякий барский, чиновничий харч. С весны прошлого года газеты оповестили, что за границей не надеются на хороший урожай, что немцу много нужно прикупить хлеба, что требование на хлеб будет большое. Все радовались, что у немца неурожай, что требование большое, немцы крепчают. Да и как не радоваться, вывоз увеличится, денег к нам прибудет пропасть, кредитный рубль подымется в цене.

Действительно, хлеб стал дорожать, вывоз увеличился, прошлую осень цены на хлеб поднялись выше весенних, хлеб пошел за границу шибко, все везут да везут, едва успевают намолачивать. К зиме рожь поднялась у нас с 6 рублей на 9, но так как урожай третьего года был очень хороший, прошлого года изрядный, картофель, яровое и травы уродились хорошо, зимние заработки были порядочные, то и нынешней весной, несмотря на высокую цену хлеба—хотя это были только цветочки!—скот все еще не падал в цене, мужик был дорог и на лето не закабалялся. А хлеб все везут да везут и все мимо, к немцу. Но вот стали доходить слухи, что там-то хлеб плох, там-то жук поел, там саранча, там муха, там выгорело, там отмокло—неурожай, голод! И у нас тоже ржи оказался недород, яровое плохо, травы из рук вон, сена назапасили мало, уборка хлеба плохая. А старого хлеба нет—к немцу ушел.

Начали молотить, отсеялись. «Новь»—самое дешевое время для хлеба, а хлеб не то, чтобы дешеветь, все дорожает, быстро поднялся до неслыханной цены—12 рублей за четверть ржи в «новь». Ржаная мука поднялась до 1 рубля 60 копеек за пуд. А тут еще корму умаление—скот стал дешеветь, говядина 1 рубль 50 копеек за пуд, дешевле ржаной муки. Нет хлеба—ешь говядину.

Вот вам и неурожай у немца! Вот и требование сильное! Вот и цены большие! Вот и много денег от немца забрали! Радуйтесь!

Конечно, мужики хлеба не продавали. У мужика не только нет лишнего хлеба на продажу, но и для себя нехватит, а если у кого из богачей и есть излишек, так и он притулился, ждет, что будет дальше. Хлеб продавали паны, деньги получали паны, но много ли из этих денег разошлось внутри, потрачено на

хозяйство, на дело. Мужик продаст хлеба, так он деньги тут же на хозяйство потратит. А пан продаст хлеб и деньги тут же за море переведет, потому что пан пьет вино заморское, любит бабу заморскую, носит шелки заморские и магарыч за долги платит за море. Хлеб ушел за море, а теперь кусать нечего. Хорошо, как своим хлебом, *хоть и пушным*, перебьемся, а как совсем его нехватит и придется его у немца в долг брать! Купить-то ведь не на что. А в Поволжье народ, слышно, с голоду пухнуть зачал.

Вспомните, как ликовали в прошлом году газеты, что спрос на хлеб большой, что цены за границей высоки. Вспомните, как толковали о том, что нам необходимо улучшить пути сообщения, чтобы удешевить доставку хлеба, что нужно улучшить порты, чтобы *усилить сбыт хлеба за границу*, чтобы *конкурировать с американцами*. Думали, должно быть, и нивесть что у нас хлеба, думали, что нам много есть, что продавать, что мы и американцу ножку подставить можем, были бы только у нас пути сообщения удобны для доставки хлеба к портам.

Ничего этого не бывало. И без улучшения путей сообщения, и без устройства пристаней с удобоприспособленными для ссыпки хлеба машинами, просто-напросто, самыми обыкновенными способами, на мужицких спинах, так-то скорехонько весь свой хлеб за границу спустили, что теперь и самим кусать нечего.

И с чего такая мечта, что у нас будто бы такой избыток хлеба, что нужно только улучшить пути сообщения, чтобы конкурировать с американцем?

Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб. Американец-земледелец сам ест отличный пшеничный хлеб, жирную ветчину и баранину, пьет чай, заедает обед сладким яблочным пирогом или папушником с патокой. Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костерем, сивцом, пушниной, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет, да еще смеяться будет, что есть такие страны, где неженки-мужики яблочные пироги едят, да и батраков тем же кормят. У нашего мужика-земледельца нехватает пшеничного хлеба на соску ребенку, пожует баба ржаную корку, что сама ест, положит в тряпку—соси.

А они о путях сообщения, об удобствах доставки хлеба к портам толкуют, передовицы пишут! Ведь если нам жить, как американцы, так не то, чтобы возить хлеб за границу, а производить его вдвое против теперешнего, так и то только что в пору самим было бы. Толкуют о путях сообщения,—а сути не видят. У американца и насчет земли свободно, и самому ему вольно, делай как знаешь в хозяйстве. Ни над ним земского

председателя, ни исправника, ни непременного, ни урядника, никто не начальствует, никто не командует, никто не приказывает, когда и что сеять, как пить, есть, спать, одеваться, а у нас насчет всего положение. Нашел ты удобным, по хозяйству, носить русскую рубаху и полушубок—нельзя, ибо, по положению, тебе следует во фраке ходить. Задумал ты сам работать—смотришь, ан на тебя из-за куста кепка глядит. Американский мужик и работать умеет, и научен всему, образован. Он интеллигентный человек, учился в школе, понимает около хозяйства, около машин. Пришел с работы—газету читает, свободен—в клуб идет. Ему все вольно. А наш мужик только работать и умеет, но ни об чем никакого понятия, ни знаний, ни образования у него нет. Образованный же, интеллигентный, человек только разговоры говорить может, а работать не умеет, не может, да если бы и захотел, так боится, позволит ли начальство. У американца труд в почете, а у нас в презрении: это, мол, черняди приличествует. Какая-нибудь дьячковна, у которой батька зажился, довольно пятаков насбирал, стыдится корову подоить или что по хозяйству сделать: я, дескать, образованная, нежного воспитания барышня. Американец и косит, и жнет, и гребет, и молотит все машиной—сидит себе на козлицах да посвистывает, а машина сама и жнет, и снопы вяжет, а наш мужик все хребтом да хребтом. У американского фермера батрак на кровати с чистыми простынями под одеялом спит, ест вместе с фермером то же, что и тот, читает ту же газету, в праздник вместе с хозяином идет в сельскохозяйственный клуб, жалованье получает большое. Заработал деньжонок, высмотрел участок земли и сам сел хозяином.

Где же нам конкурировать с американцами! и разве в облегченных способах доставки хлеба к портам дело? Вот и без облегченных способов доставки, как потребовался немцу хлеб, так в один год все очистили, что теперь и самим есть нечего. Что же было бы, если бы облегчить доставку?

Когда в прошедшем году все ликовали, радовались, что за границей неурожай, что требование на хлеб большое, что цены растут, что вывоз увеличивается, одни мужики не радовались, косо смотрели и на отправку хлеба к немцам, и на то, что массы лучшего хлеба пережигаются на вино. Мужики все надеялись, что запретят вывоз хлеба к немцам, запретят пережигать хлеб на вино. «Что ж это за порядки,—толковали в народе,—все крестьянство покупает хлеб, а хлеб везут мимо нас к немцу. Цена хлебу дорогая, не подступиться, что ни на есть лучший хлеб пережигается на вино, а от вина то всякое зло идет». Ну, конечно, мужик никакого понятия ни о кредитном рубле не имеет, ни о косвенных налогах. Мужик не понимает, что хлеб нужно продавать немцу для того, чтобы получить

деньги, а деньги нужны для того, чтобы платить проценты по долгам. Мужик не понимает, что чем больше пьют вина, тем казне больше доходу, мужик думает, что денег можно наделать сколько угодно. Не понимает мужик ничего в финансах, но все-таки, должно быть, чует, что ему, пожалуй, и не было бы убытков, если б хлебушка не позволяли к немцу увозить да на вино пережигать. Мужик сер, да не чорт у него ум съел.

Еще в октябрьской книжке «Отеч. записок» за прошлый год помещена статья, автор которой, на основании статистических данных, доказывал, что мы продаем хлеб не от избытка, что мы продаем за границу наш насущный хлеб, хлеб, необходимый для собственного нашего пропитания. Автор означенной статьи вычислил, что за вычетом из общей массы собираемого хлеба того количества, которое идет на семена, отпускается за границу, пережигается на вино, у нас не остается достаточно хлеба для собственного продовольствия. Многих поразил этот вывод, многие не хотели верить, заподозревали верность цифр, верность сведений об урожаях, собираемых волостными правлениями и земскими управами. Но, во-первых, известно, что наш народ часто голодает, да и вообще питается очень плохо и ест далеко не лучший хлеб, а во-вторых, выводы эти подтвердились: сначала несколько усиленный вывоз, потом недород в нынешнем году, и вот мы без хлеба, думаем уже не о вывозе, а о ввозе хлеба из-за границы. В Поволжье голод. Цены на хлеб поднимаются непомерно, теперь, в ноябре, рожь уже 14 рублей за четверть, а что будет к весне, когда весь мужик станет покупать хлеб?

Те же самые газеты, которые в прошлом году ликовали по поводу усиленного требования на хлеб за границу и высоких цен, которые толковали о конкуренции с американцами, о необходимости улучшить пути, чтобы споспешествовать сбыту хлеба за границу, теперь, когда мы и без путей сбыли хлеб и дождались голодухи, запели иную песню, и толкуют о необходимости воспретить вывоз хлеба за границу. Говорят: гром не грянет, мужик не перекрестится. Выходит, однако, что мужик давно уже крестился, давно уже чуял беду, да не по его, мужицкому, вышло. Кто его, мужика глупого, слушать станет, его, который ничего в политической экономии не смыслит? Тому, кто знает деревню, кто знает положение и быт крестьян, тому не нужны статистические данные и вычисления, чтобы знать, что мы продаем хлеб за границу не от избытка. Такие вычисления нужны только для начальников, которые деревенского быта не понимают и положение народа не знают. Всякий деревенский житель очень хорошо понимает, что *чем дешевле хлеб, тем лучше для народа*, и только ненормальность хозяйственных отношений причиною, что есть такие, которым вы-

годно, что хлеб дорог, которые желают, чтобы был неурожай, чтобы хлеб был дорог.

Ну, разве это порядок, разве это добро, разве так нужно, разве так можно жить?

Автор статьи «Отеч. записок» доказывает, что остающегося у нас, за вывозом, хлеба нехватает на собственное прокормление. Этот вывод поразил многих, возбудил у многих сомнение в верности статистических данных. Составитель календаря Суворина на 1880 год, стр. 274, говоря о том, что для собственного потребления на душу приходится у нас всего $1^1/_2$ четверти хлеба, прибавляет: *если цифры о посеве и урожае верны, то можно вывести, что русский народ плохо питается, восполняя недостачу хлеба какими-либо суррогатами.* В человеке из интеллигентного класса такое сомнение понятно, потому что просто не верится, как это так люди живут не евши. А между тем это действительно так. Не то, чтобы совсем не евши были, а *недоедают*, живут впроголодь, питаются всякой дрянью. Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не станут есть всякую дрянь. Лучшую, чистую рожь мы пережигаем на вино, а самую что ни на есть плохую рожь, с пухом, костерем, сивцом и всяким отбоем, получаемым при очистке ржи для винокурен—вот это ест уж мужик. Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он еще *недоедает.* Если довольно хлеба в деревнях—едят по три раза; стало в хлебе умаление, хлебы коротки—едят по два раза, налегают больше на яровину, картофель, конопляную жмаку в хлеб прибавляют. Конечно, желудок набит, но от плохой пищи народ худеет, болеет, ребята растут туже, совершенно подобно тому, как бывает с дурносодержимым скотом. Желудок очень растяжим, и жизненность в животном очень велика. Посмотрите на скот. Кормите скот хорошо—он чист, росл, гладок, силен, здоров, болеет и околевает мало, молодежь растет хорошо. Стали кормить худо, впроголодь, плохим кормом—скот начинает слабеть, паршивеет, болеет, совсем вид его становится другой: тот же скот, да не тот, сгорбился, космат стал, грязен. Одна корова заболела—бог ее знает отчего—околела, другая заболела, телята что-то не стоят. Не все заболевают, не все околевают, но, чем хуже корм, тем процент смертности все увеличивается, являются и падежи—дохнет скотина, да и только. А все-таки не все подохнет, кое-что и живет, кое-что и вырастает, приспособившись к условиям жизни. Вот так и мужик—довольно хлеба, он и бел, и пригож, и чист, и здоров. Пришли худолетки—сгорбился, сер из лица стал, болеет: дифтерит, тиф, чума... Однако, не все вымирают, кои и приспособляются. Если бы скот всюду получал хорошее питание, то всюду был бы рослый черкасский и холмогорский скот;

если бы всюду народ хорошо питался, то всюду был бы рослый, здоровый народ.

Да, недоедают. Да, мы продаем не избыток, а необходимое. Все это так, верно.

Автор статьи «Отеч. зап.» говорит, что остающегося у народа хлеба нехватает на продовольствие, но из его вычислений количества хлеба, необходимого для продовольствия, видно, что он разумеет такое только продовольствие, которое составляет минимум, чтобы человек мог прокормиться, такое продовольствие, какое необходимо, чтобы, как говорят мужики, упасти душу. Но разве этого достаточно? Разве только это и нужно?

Четвертую часть производимой пшеницы мы отсылаем за границу, оставляя себе одну часть на посев и две части на прокормление.

Немец съедает третью часть остающейся нам за посевом пшеницы. Ржи мы отсылаем и пережигаем на вино около одной шестой того, что остается за посевом, и на это идет самая лучшая рожь. Конечно, «рожь кормит всех, а пшеничка по выбору», но почему же ей непременно выбирать немца, чем же немец лучше? Конечно, черный ржаной хлеб—отличный питательный материал, и если приходится питаться исключительно хлебом, то наш ржаной хлеб, может быть, и не хуже пшеничного. Конечно, русский человек привык к черному хлебу, ест его охотно с пустым варевом; на черном хлебе, на черных сухарях русский человек переходил и Балканы и Альпы, и пустыни Азии, но все-таки же и русский человек не отказался бы ни от крупичатого пирожка, ни от папушника. В тяжелой работе, на морозе и русский человек любит закончить обед из жирных щей и каши папушником с медом.

Почему русскому мужику должно оставаться только необходимое, чтобы кое-как упасти душу, почему же и ему, как американцу, не есть хоть в праздники ветчину, баранину, яблочные пироги? Нет, оказывается, что русскому мужику достаточно и черного ржаного хлеба, да еще с сивцом, звонцом, костерем и всякой дрянью, которую нельзя отправить к немцу. Да, нашлись молодцы, которым кажется, что русский мужик и ржаного хлеба не стоит, что ему следует питаться картофелем. Так, г. Родионов («Земл. газета», 1880 г., стр. 701) предлагает приготовлять хлеб из ржаной муки с примесью картофеля и говорит: «если, вместо кислого черного хлеба из одной ржаной муки, масса сельских обывателей станет потреблять хлеб, приготовленный из смеси ржаной муки с картофелем, по способу, мною сообщенному, то *половинное количество ржи может пойти за границу для поддержания нашего кредитного рубля*, без ущерба народному продовольствию». И это печатается в «Земледельческой газете», издаваемой учеными агрономами.

Я понимаю, что можно советовать и культуру кукурузы, и культуру картофеля: чем более разнообразия в культуре, тем лучше, если каждому плоду назначено свое место: одно человеку, другое скотине. Понимаю, что в несчастные голодные годы можно указывать и на разные суррогаты: на хлеб с кукурузой, с картофелем, пожалуй, даже на корневища пырея и т. п. Но тут не то. Тут все дело к тому направлено, чтобы конкурировать с Америкой, чтобы поддерживать наш кредитный рубль (и дался же им этот рубль). Точно он какое божество, которому и человека в жертву следует приносить. Ради этого хотят кормить мужика вместо хлеба картофелем, завернутым в хлеб, да еще уверяют, что это будет без ущерба *народному продовольствию*.

Пшеница—немцу, рожь—немцу, а своему мужику—картофель. Черному хлебу позавидовали!

Чистый, хороший ржаной хлеб—отличный питательный материал, говорил я, хотя и он все-таки не может один удовлетворить при усиленной работе. Но ржаной хлеб удовлетворяет только взрослого, для детей же нужна иная пища, более нежная. Дети—всегда плотоядные. Корову мы кормим соломой и сеном, курицу—овсом, но теленка поим молоком, цыпленка кормим творогом. Начинает подрастать теленок—мы не переводим его прямо с молока на солому и сено, но даем сначала сыворотку, сеяную овсяную муку, жмыхи, сено самое лучшее, нежное, первого закоса из сладких трав. Не скоро, только на третьем году, ставим мы теленка на такой же корм, как и корову. Точно так же и цыпленка мы кормим сначала яйцами, потом творогом, молочной кашей, крупой и, только, когда он вырастет,—овсом. То же для человеческих детей следует. Взрослый человек может питаться растительной пищей и будет здоров, силен, будет работать отлично, если у него есть вдоволь хлеба, каши, сала. Детям же нужно молоко, яйца, мясо, бульон, хороший пшеничный крупичатый хлеб, молочная каша. Кум первым делом дарит куме бараночек для крестника; бабамамка заботится, чтобы было молоко и крупа ребенку на кашку; подрастающим детям нужна лучшая пища, чем взрослым: молоко, яйца, мясо, каша, хороший хлеб. Имеют ли дети русского земледельца такую пищу, какая им нужна. Нет, нет и нет. Дети питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность детей куда больше, чем смертность телят, и если бы у хозяина, имеющего хороший скот, смертность телят была так же велика, как смертность детей у мужика, то хозяйничать было бы невозможно. А мы хотим конкурировать с американцами, когда нашим детям нет белого хлеба даже в соску? Если бы матери питались лучше, если бы наша пшеница, которую ест немец, оставалась дома, то и дети росли бы лучше и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти

тифы, скарлатины, дифтериты. Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаем кровь нашу, т. е. мужицких детей. А мы для того, чтобы конкурировать с американцами, хотим, чтобы народ ел картофель—полукартофельный родионовский хлеб какой-то для этого изобрели. «Конь везет не кнутом, а овсом», «Молоко у коровы на языке». Первое хозяйственное правило: выгоднее хорошо кормить скот, чем худо, выгоднее удобрять землю, чем сеять на пустой. А относительно людей разве не то же? Государству разве не выгоднее поступать, как хорошему хозяину? Разве голодные, дурно питающиеся люди могут конкурировать с сытыми? И что же это за наука, которая проповедует такие абсурды!

Цены на хлеб начали подниматься еще с осени 1879 года, но пока еще достаточно было хлеба в запасе от предыдущих годов, пока цены на хлеб росли только вследствие требования за границу, по мере того, как возрастали цены на хлеб, возрастали и цены на мясо и труд. Еще весною 1880 года цены на скот и на мясо были очень высоки. Но возрастание цен на мясо испугало интеллигенцию, и посмотрите, что запели все газеты весной 1880 года, когда возвысились цены на мясо.

Все радовались в прошлом году, что у немца неурожай, что требование на хлеб большое, что цены на хлеб растут, что хлеб дорог. Да, *радовались*, что *хлеб дорог*, радовались, что дорог такой продукт, который *потребляется всеми*, без которого никому жить нельзя. Но как только поднялись цены на мясо, на чиновничий харч, посмотрите, как все возопили. Оно и понятно, своя рубашка к телу ближе. Радуются, когда дорог хлеб, продукт, потребляемый всеми, печалуются, когда дорого мясо, продукт, потребляемый лишь немногими.

А между тем *дешев хлеб—дорого мясо, дорог труд—мужик благоденствует*. Напротив, *дорог хлеб—дешево мясо, дешев труд—мужик бедствует*.

Интеллигентный человек живет не хлебом. Что значит в его бюджете расход на хлеб, что ему значит, что фунт хлеба на копейку, на две дороже? Ему не это важно, а важно, чтобы дешево было мясо, дешев был мужик, потому что ни один интеллигентный человек без мужика жить не может.

Весною 1880 года мясо, действительно, вздорожало, но, это было не на долго, только пока не вышли запасы хлеба. Когда вышли запасы хлеба, когда увезли хлеб за границу и оказалось, что урожай плох, все изменилось, и мясо стало дешево. Чем более дорожал хлеб, тем более дешевело мясо. Прошлою осенью скот был нипочем, и в то время, когда ржаная мука продавалась по 1 рублю 60 копеек пуд, говядина стоила 1 рубль 50 копеек, значит, дешевле ржаной муки. Неурожай хлеба, неурожай трав, хлеб дорог—мужик ведет на продажу скотину про-

дает ее за бесценок для того только, чтоб купить хлеба. Но скот продан—нет и навоза. Дороговизна хлеба побуждает не только продать скот, но и продать самого себя. Мужик ищет работы, берет на обработку кружки, жнитво, покос, лишь бы получить вперед денег. Тут уж не до того, чтобы самому снимать покосы, землю, сеять лен,—тут только бы денег заполучить, купить хлеба, пропитать свою душу.

А не ошибочно ли мы радуемся, когда хлеб дорог и мужик дешев? Не ошибочно ли мы надеемся поднять наш несчастный рубль тем, что посадим мужика на картофель? Да и хорошо ли, действительно, живется интеллигентному человеку, хотя дешевы и мясо, и мужик? Не кажущееся ли это добро? Не позавидовать ли американцу? Ест американец хорошо, пьет хорошо, работает машиной, досуга у него довольно, да без досуга и машины не выдумаешь, богат он, себя не обижает и других хлебом наделяет. А у нас неурожай, бедность... Земли, что ли, у нас мало, земля, что ли, не хороша?

И земли много. Поезжай куда хочешь, все только пустыри. Плоха земля? И то нет—поднимай, где хочешь, родит отлично и лен, и хлеб, и траву. А углуби-ка ее, пропаши хорошенько, пробери ее так, как немец пробирает,—хлеба не оберешься. Удобрить нужно землю—и на это материалу пропасть—и извести, и торфу, и фосфоритов, столько добра, что немцам и во сне не снилось.

Нетронутой земли пропасть—есть куда раздаться.

Пашем мы всего на каких-нибудь два вершка, и если этот слой истощен, хотя и того нельзя сказать, так есть еще куда податься вглубь.

А между тем—неурожай, голод, бедность. Почему бы это так?

Не верится мне, чтобы, посадив мужика на кукурузу и картофель, можно было нажить богатство. Что-нибудь другое нужно, а что? Я недостаточно научен, чтобы отвечать на такие вопросы. Пусть ответят те, которые научены всяким наукам, а я, с своей стороны, ограничусь тем, что расскажу в следующем письме об одном «Счастливом уголке», где народ живет хорошо, где благосостояние крестьян за последние десять лет улучшилось, где и в нынешнем году, несмотря на дороговизну хлеба, нет большой нужды. Интересно, по-моему, указать причины, от которых зависит благосостояние земледельцев этого «Счастливого уголка».

17 декабря 1880 года.

X

В последнем моем письме я обещал рассказать об одном «Счастливом уголке», где крестьяне живут хорошо, где за последние десять лет положение крестьян много улучшилось, где

даже в нынешний бедственный, голодный год, когда еще до Николы цена ржи поднялась до 14 руб. за четверть, крестьяне не бедствуют и не будут бедствовать. Большинство этих крестьян просидит на «своем» хлебе до «нови», а те, у которых «своего» хлеба нехватит, найдут денег для покупки хлеба, не закабаляя себя на летние работы. Этот «Счастливый уголок»—несколько деревень около с. Батищева, из которого вот уже десять лет я пишу вам мои письма.

До сих пор я очень мало говорил о положении здешних крестьян, но все-таки из предыдущих моих писем вы могли видеть, что положение это было незавидное. Но вот прошло десять лет, и положение крестьян в «Счастливом уголке» заметно изменилось к лучшему, а если какие-нибудь особенные обстоятельства не попрепятствуют, то есть надежда, что оно все будет улучшаться. Район «Счастливого уголка» не велик—это каких-нибудь восемь, десять деревень. Не далеко нужно проехать, верст десять, чтобы встретить деревни, где положение мужика совсем иное, где мужик бедствует, запродается на летнюю работу с ранней зимы, бросает землю, нанимается в батраки, идет на заработки.

Я говорил в прошлом письме, что я недостаточно научен, чтобы говорить вообще о положении крестьян в России и даже о положении их в Смоленской губернии. Я говорю только о том, что *доподлинно знаю*, а в настоящем письме говорю о положении крестьян в «Счастливом уголке», в каких-нибудь восьми, десяти деревнях. Эти деревни я знаю хорошо, лично знаю в них всех крестьян, их семейное и хозяйственное положение.

Но к чему говорить о каких-нибудь восьми, десяти деревнях, которые составляют каплю в море бедствующего крестьянства? Какой интерес может представить то обстоятельство, что в каких-нибудь восьми, десяти деревнях какого-то «Счастливого уголка» положение крестьян за последние десять лет, улучшилось?

Не говоря уже о том, что если бы во многих местах России были произведены местными людьми, близко и лично знакомыми с крестьянами, точные исследования их положения, то эти исследования в сумме дали бы отличный материал для общих выводов,—я думаю, что и частное, единичное исследование может иметь интерес, если только *уяснены причины*, от чего зависит в данном случае то или другое положение крестьян.

Прожив в «Счастливом уголке» десять лет и притом не внешним только наблюдателем, а лично ведущим свое дело хозяином, который неминуемо должен был войти в близкие соотношения с окрестными крестьянами, я изучил их положение в данном месте и не только могу сказать, улучшилось или ухудшилось это положение за десять лет и в чем именно,

но могу также сказать, *отчего это произошло*. Весь интерес, по-моему, и заключается в *уяснении причин*, влиявших на изменение положения, потому что такие же причины должны иметь влияние и в других местах.

Говорю прямо, в «Счастливом уголке» *положение крестьян* за последние десять лет *улучшилось*, много улучшилось, *неизмеримо улучшилось*. Но прежде всего поговорим о том, что понимать под выражением «улучшилось» и чем измеряется это улучшение.

Если кто-нибудь, не знакомый с мужиком и деревней, вдруг будет перенесен из Петербурга в избу крестьянина «Счастливого уголка», и не то, чтобы в избу средственного крестьянина, а даже в избу «богача», то он будет поражен всей обстановкой и придет в ужас от бедственного положения этого «богача». Темная, с закоптелыми стенами (потому что светится лучиной) изба. Тяжелый воздух, потому что печь закрыта рано и в ней стоит варево, серые щи с салом, и крупник либо картошка. Под нарами у печки теленок, ягнята, поросенок, от которых идет дух. Дети в грязных рубашонках, босиком, без штанов, смрадная люлька на зыбке, полное отсутствие какого-либо комфорта, характеризующего даже самого беднейшего интеллигентного человека. Все это поразит незнакомого с деревней человека, особенно петербуржца, но не мало удивит его и то, когда он, зайдя в избу, чтобы нанять лошадей до ближайшего полустанка, отстоящего всего на шесть верст, услышит от мужика: «Не, не поеду, вишь, какая ростопель, мокроть на дороге, поспрошай в другом дворе, може кто и поедет, а я не поеду».

Бедная обстановка мужицкой избы и это нежелание ехать в дурную погоду за шесть верст обыкновенно очень удивляют людей, не знающих деревни. Судить по обстановке о положении и состоятельности земельного мужика, даже купца, живущего по-русски, торгующего русским товаром, никак нельзя, в особенности если *брать мерилом ту обстановку, в какой живут интеллигентные люди*. Конечно, и по обстановке можно судить о зажиточности мужика, но только по обстановке хозяйственной или, лучше сказать, по обстановке в смысле тех орудий, которые служат для ведения дела и для расширения его. Как о зажиточности мужика-кулака, занимающегося ростовщичеством, можно судить по количеству денег, какое он пускает в оборот, так о зажиточности земельного крестьянина, занимающегося землей, хозяйством, можно судить по количеству и качеству имеющихся у него лошадей и скота, по количеству имеющегося в запасе хлеба, по исправности сбруи, орудий. Но главное, самое верное средство для определения положения земельных крестьян известной местности—это знать, *насколько*

крестьяне обязываются чужими работами, например, на помещика, в летнее время, самое важное для хозяйства. Чтобы правильно судить о положении мужика, о его благосостоянии, о достаточности или недостаточности его надела, больше всего необходимо обращать внимание на *время*, в какое мужик *нанимается на чужую работу*. Благосостояние мужика—в земле, в хозяйстве, и если он должен продавать свою летнюю работу в ущерб своему хозяйству, то это дурной признак. Человек из интеллигентного класса, не понимающий хозяйства, может часто судить о деле совершенно ошибочно, не принимая в расчет значения времени в хозяйстве: *в иную пору мужик нанимается на чужую работу за рубль в день только из бедности, в другую пору и богатый охотно работает за полтинник в день*. Это нужно понимать, и этого очень часто не понимают. От этого и происходит, что летняя работа, которую может дать помещик, ведущий свое хозяйство, мужику-хозяину невыгодна, а зимняя работа, которую дает лесоторговец, мужику, напротив, выгодна. Только человек, не понимающий дела или недобросовестный, может упрекать мужиков в лености, нерадении, если они не идут к помещику косить, например, за 75 копеек в день; только человек, не понимающий дела, может думать, что он—благодетель крестьян, что он их кормит, дает им заработки, если он их нанимает на летние страдные работы.

Если я говорю, что благосостояние крестьян «Счастливого уголка» за последние десять лет улучшилось, то потому именно, что вижу уменьшение для них необходимости обязываться на летние работы у помещиков.

В наших местах крестьянин считается богатым, когда у него хватает *своего* хлеба до «нови». Такой крестьянин уже *не нуждается в продаже своего летнего труда помещику, может все лето работать на себя*, а следовательно, будет богатеть, и скоро у него станет хватать хлеба не только до «нови», но и за «новь». И тогда он не только не будет запродавать свою летнюю работу, но еще будет покупать работу мужика бедного, каких не в дальнем расстоянии от «Счастливого уголка» множество. Если у крестьянина хватает своего хлеба до «нови» и ему не нужно прикупать, то он обеспечен, потому что подати выплатит продажею пеньки, льна, льняного и конопляного семени, лишней скотины и зимним заработком; если же к тому есть еще возможность заарендовать земли у помещика для посева льна или хлеба, то крестьянин богатеет быстро.

Затем степень зажиточности уже определяется тем временем, когда крестьянин начинает покупать хлеб: «до рождества, до масленой, после святой, только перед «новью». Чем позднее он начинает покупать хлеб, тем зажиточность его выше, тем скорее он может обойтись теми деньгами, которые заработает на

стороне зимою, осенью, весною, тем менее он обязывается летними работами у помещика. Чем ранее мужик приест свой хлеб, чем ранее он *вычахается*, по выражению старост и приказчиков, тем легче его *закабалить* на летнюю страдную работу, тем легче *надеть* ему на шею хомут, *ввести* его в оглобли.

В течение десяти лет, что я занимаюсь хозяйством, я только один раз продал свою рожь гуртом на винокуренный завод, обыкновенно же всю рожь я запродаю на месте окрестным крестьянам. Так как рожь моя отличного качества, хорошо отделана, чиста и тяжеловесна, то крестьяне прежде берут рожь у меня и тогда только едут покупать рожь в город, когда у меня все распродано. Продавая рожь по мелочам крестьянам в течение десяти лет, я аккуратно записывал, почем продавал рожь, кому и когда, так что по этим десятилетним записям я могу судить, когда кто из окрестных крестьян начинал покупать хлеб, сколько покупал, по какой цене, покупал ли на деньги или *брал под работу* и под какую именно: зимнюю или летнюю. Так как ближайшим соседним крестьянам нет никакого расчета брать хлеб где-либо помимо меня, то мои записи представляют расходные книги соседних крестьян и дают прекрасный материал для суждения о положении этих крестьян за последние десять лет, восполняемый близким, личным знакомством с этими покупателями моего хлеба и вместе с тем производителями его, так как работы в имении производятся тоже большею частью соседними крестьянами.

Десять лет тому назад в деревнях описываемого «Счастливого уголка» было очень мало «богачей», то-есть таких крестьян, у которых своего хлеба хватало до «нови», не более как по одному «богачу» на деревню, да и то даже у богачей хватало своего хлеба только в урожайные годы, при неурожае же и богачи прикупали. Нужно еще заметить к тому, что тогдашние богачи все были кулаки, имевшие деньги или исстари или добытые каким-нибудь нечистым способом. За исключением этих богачей-кулаков все остальные крестьяне покупали хлеб, и притом лишь немногие начинали покупать хлеб только перед «новью», большинство покупало с великого поста, много таких, что покупали с рождества, наконец, много было таких, что всю зиму посылали детей в «кусочки». В моих первых письмах «Из деревни» об этой бесхлебице у местных крестьян и об «кусочках» рассказано довольно подробно.

В настоящее время дело находится в совершенно другом положении. В одной из деревень последние два года уже *все были богачи*, то-есть никто хлеба не покупал, у всех хватало хлеба до «нови», хватит и в нынешнем году. В этой деревне есть уже несколько таких дворов, которые нынче далеко за «новь» про-

сидят с прошлогодним, старым хлебом, до сих пор «нови» еще не кушали, следовательно, могут продать часть нынешнего хлеба или раздавать его под работы. В других деревнях почти на половину «богачей», которые просидят с своим хлебом до «нови», а остальные станут покупать хлеб только перед «новью» и будут иметь для этого достаточно денег из зимнего заработка, так что не будут вынуждены *из-за хлеба* закабаляться на летнюю работу. Разумеется, есть и теперь в этих деревнях несколько бедняков, которые должны покупать хлеб с рождества—о безземельных я не говорю—и при нынешней дороговизне хлеба вынуждены будут посылать зимой детей «в кусочки», но и тут все-таки будет разница против прежних лет в том, что дети эти не пойдут далеко, а будут побираться в своей деревне и много-много сходят в соседние деревни. Таких бедных дворов в «Счастливом уголке» стало очень мало, они все наперечет, подобно тому, как прежде наперечет были дворы богачей. Бедность этих дворов зависит или от того, что хозяин недоумок, плошак, не хозяйственный человек, или от каких-нибудь случайных особенных причин, например, от того, что хозяин-работник—один, а детей маленьких много, мало рабочих рук, много ртов, от того, что хозяин плошак, старший сын, умный, пошел в солдаты, а оставшийся дома младший плох.

Не стало такой нужды в хлебе, как было прежде, десять лет тому назад, не стало той нужды в деньгах, когда нужно платить подати, потому что явилась возможность вырученные от продажи пеньки, льна, скота деньги, которые прежде шли на покупку хлеба, обращать для уплаты податей. В «Счастливом уголке» подати не залегают, недоимок нет, ни о порках, ни о продаже скота за подати не слыхать, между тем, как в другой части той же волости—повторяю, «Счастливый уголок» небольшой район из восьми, десяти деревень—постоянные недоимки, продажа скота и пр.

В 1878 году у нас был хороший урожай. В 1879 году урожай тоже был удовлетворительный, хлеба крестьянам приходилось прикупать мало, заработки зимой были хорошие. Цены на хлеб в начале 1879 года были невысокие, а к осени, хотя и стали подыматься, но так как это происходило не столько от неурожая, сколько от сильного требования, то и на другие продукты, например, на скот, цены были высокие. К тому же урожай трав в 1879 году был превосходный, корму наготовили пропасть. В нынешнем, 1880 году, урожай хлеба тоже недурной, по крайней мере, в «Счастливом уголке», к тому же есть запасы старого хлеба, и хотя на траву урожай очень плох, но крестьяне все-таки продержатся соломой и хлебом и не будут продавать за бесценок ни скот, ни труд, как это делают крестьяне других местностей.

В «Счастливом уголке» крестьяне и нынче будут есть чистый ржаной хлеб, тогда как в других местах уже теперь едят хлеб с ячменем, овсом, картофелем, какой-то бараболей, мякиной, а инде, если нет хлеба, могут есть говядину, потому что там, где нет хлеба, говядина дешевле ржаной муки. Да, могут есть говядину, даже разумная «Земледельческая газета» советует есть говядину или баранину. В самом деле, в «Земледельческой газете», 1880 г. стр. 749, читаем: «одним из очень хороших средств замены, если не сполна, то отчасти, ржаного хлеба служит усиление потребления мясной пищи и именно баранины». «Земледельческая газета» советует поэтому «в тех местностях Поволжья, где картофель дешев, обратить особенное внимание на баранину». Что значит ученье, как подумаешь! Нет у тебя хлеба—ешь баранину. Мужик-то, дурак, тащит скот на продажу, продает за бесценок, на вырученные деньги покупает ржаную муку, мешает ее с овсяной, с ячной, с мякиной, чтобы только иметь хоть какой-нибудь хлеб, не знает, осел, что мясная пища, именно баранина, есть хорошее средство замены ржаного хлеба!

Конечно, нет хлеба—следует есть баранину и благодарить ученых агрономов «Земледельческой газеты» за хороший совет. Оно и тем еще хорошо, что съедят скот, съедят баранов, мякины к весне больше останется, будет из чего пушной хлебушка печь.

Великое дело наука, ученье. Агрономы «Земледельческой газеты» вычислили даже, на основании научных данных, что картофельный хлеб лучше, питательнее ржаного. Мужик считает несчастьем то худолетье, когда нужно прибегать к картофельному хлебу, а ученые агрономы, говорят, что такой хлеб даже лучше, «что им не побрезгают даже за богатым столом». Один агроном даже сам ест картофельный хлеб и детей своих им кормит («Земледельческая газета», 1880 г., стр. 752, статья Малышева). С чем и поздравляем! Советуем попробовать хлеб с конопляной жмакой, льняной мякиной, гнилым деревом (возьмут гнилую колоду, высушат, растолкут и прибавляют в муку), может, тоже вкусен покажется. А как бы поднялся наш кредитный рубль, если бы народ ел гнилое дерево, а рожь можно было бы всю отправлять за границу на продажу!

Нет, у нас в «Счастливом уголке» крестьяне не дошли до *такого несчастья*, чтобы есть картофельный хлеб—пусть его ученые агрономы «Земледельческой газеты» кушают! Едят у нас и в нынешнем бедственном году кислый ржаной хлеб, едят, разумеется, картошку с конопляным маслом, едят и баранину, но последнюю не для замены хлеба, а как роскошное блюдо в праздник.

Не имея нужды в деньгах для покупки хлеба, удовлетворяя свои потребности в деньгах—подати, попу, вино, деготь, соль—

продажею пеньки, льна, лишней скотины, крестьяне «Счастливого уголка» не нуждаются в продаже летнего труда, как это было прежде, десять лет тому назад. Раз же крестьяне не нуждаются в деньгах, чтобы запродавать свою летнюю работу, и работают летом *на себя*, снимают за деньги или исполу покосы, арендуют землю под лен и хлеб, они быстро заправляются, богатеют, потому что не только получают деньги за проданные продукты—лен, скот, семя,—но, имея много корму, держат более скота, получают более навоза, которым и *удобряют свои наделы*.

Конечно, и теперь, как десять лет тому назад, в «Счастливом уголке» есть крестьяне, которые бедствуют, не имеют хлеба, с ранней зимы запродают свой летний труд, но такие считаются единицами, тогда как прежде большинство было в таком положении. Десять лет тому назад и в «Счастливом уголке», несмотря на то, что было еще много помещиков, ведущих хозяйство,—лучше сказать, именно, потому что было много помещиков,—несмотря на то, что всюду требовалась летняя крестьянская работа, крестьяне работали круги за 25 рублей. То-есть за 25 рублей крестьянин обрабатывал у помещика круг, или три хозяйственных 3 200 кв. (саж.) десятины—паровую, яровую, ржаную—и производил на них все работы, включая и молотьбу. Значит, посеет и всыплет хлеб в закром за 25 рублей от круга. За 28 рублей работали круги из четырех десятин—паровая, яровая, ржаная и десятина покоса. Работа была дешевле пареной репы. Получая 25 рублей за круг, крестьянин получает за день работы, на своих харчах, с своими орудиями, не более 15 копеек. Что же как не крайняя нужда в деньгах для покупки хлеба и уплаты податей, может побудить продать свою летнюю работу за такую ничтожную плату! Та же причина, по какой теперь продается за бесценок скотина, влияет и на дешевизну труда: деньги нужны, чтобы не умереть с голоду, а потому, за что ни продать, лишь бы продать, получить деньги и купить хлеба. Прежде работать круги крестьяне брались не из-за того только, чтобы иметь выгон для скота—это еще другое дело, на это идут и богатые мужики,—но именно *из-за денег*, чтобы получить зимою вперед денег. Тогда землю на обработку можно было сдать не только огульно, известное число кругов, соседней деревне, но и отдельно по кружкам крестьянам дальних деревень. Не имея зимою денег на хлеб, крестьянин метался из угла в угол, брал кружок у одного помещика, брал у другого, и потом целое лето разрывался на работе то туда, то сюда, не имея возможности во-время обработать свою ниву. Я, между прочим, рассказал об этом давно, в одном из своих писем.

За последние десять лет, мало-помалу, все это изменилось в «Счастливом уголке». С каждым годом сдать круги станови-

лось все труднее, и теперь здесь уже нет крестьян, которые брали бы круги из-за денег. Если некоторые деревни работают у помещиков круги, то только для того, чтобы иметь выгон, если этот выгон они не могут нанять за деньги.

Цены за круги последние годы повысились; круги берут без молотьбы и покоса, а главное, *берут неохотно*. Каждая деревня старается взять как можно менее кругов—лишь бы только выгон получить, каждый хозяин тоже старается, чтобы на его долю пришлось как можно менее.

Прежде, когда крестьяне брали круги из-за денег, богачи работали менее, а главную массу работали бедняки, которым нужны деньги. Теперь же, когда крестьяне берут круги только из-за выгонов и никто уже не льстится на плату, не нужен был бы выгон ни за двойную плату, ни за какую бы не работали, стали делить работу по количеству лошадей и скота, так что богачу, который имеет много животин, наваливают и больше работы.

То же самое, что относительно кругов, сделалось правилом и относительно всяких страдных работ. На всякие зимние работы, на многие весенние и осенние, крестьяне идут охотно, но на летние страдные—нет. Несколько лет тому назад уже с рождества являлось много охотников брать покос подесятинно с платою четыре рубля за уборку хозяйственной десятины луга или клевера, точно так же брали жнитво ржи, овса, выборку льна и пр., только бы деньги вперед зимой получить. Но в настоящее время уже редко-редко кто из крестьян «Счастливого уголка» возьмет убрать десятину луга или скосить десятину клевера за деньги, между тем, как убирать из части все луга разбирают нарасхват.

То же и относительно батраков, поденщиц. Бывало около «Алдакей» (1 марта—Евдокии), когда начинают выбивать подати, ежедневно только и слышишь:

— Мужик из Д. пришел.

— Что тебе?

— Хлебца нетути, укусить нечего, нет ли работки какой?

— Нет, работы нет.

А теперь, в кои веки придет какой-нибудь унылый, лядащий Филимон, попросит денег под уборку десятины покоса. Между тем прежде во всех окрестных помещичьих хозяйствах велось хозяйство, всюду нужно было много рабочих рук, нужны были поденщики, жнеи, косцы, работы было пропасть, и всю эту работу выполняли окрестные крестьяне и получали деньги. И, несмотря на массу даваемой помещичьими хозяйствами работы, крестьяне были бедны, вечно нуждались, хотя хлеб был дешев (8 рублей за четверть тогда была дорогая цена, а теперь 14 рублей), недоимок было пропасть. *Не споры, должно быть, помещичьи денежки.*

Теперь же многие помещичьи хозяйства вовсе прикрыты, следовательно, работ не требуется, да и не нужны они никому, никто из крестьян этих работ не ищет, никто в них не нуждается. А между тем крестьяне разбогатели. Где прежде было в деревне 20 лошадей, там теперь 50, где было 40 коров—теперь 60. Кому нехватит своего хлеба, тот, не затрудняясь, прикупает по 14 рублей за четверть и подати уплачивает исправно.

Прежде работали в помещичьих хозяйствах и бедствовали, вечно искали работы, денег, хлеба. Теперь работают в своих хозяйствах, снимают у помещиков земли и богатеют. Правду говорит мужицкая поговорка: «бог труды любит», «бог больше подаст, чем богач».

Прежде, несмотря на то, что во всех имениях велось хозяйство и, следовательно, требовалась работа, не было отбоя от желающих продать свой летний труд и в то же время множество молодежи шло в Москву на заработки. Молодые ребята из многих дворов жили тогда в Моске на заработках из года в год, и зиму и лето, присылали из Москвы порядочно денег, а дворы все-таки были пусты—ни скота, ни коней. Остающиеся дома хозяева были вечно в долгах, пьянствовали. Теперь никто в Москву надолго не ходит. «Зачем в Москву ходить,—говорят мужики,—у нас и тут теперь Москва, работай только, не ленись! Еще больше, чем в Москве, заработаешь».

Теперь, если кто из молодежи идет в Москву, то разве только на зиму, свет увидать, людей посмотреть, пообтесаться, приодеться, на своей воле пожить. Ходившие прежде в Москву, вернувшись домой, засели за хозяйство, вплотную взялись за землю, старики отошли на второй план, перестали пьянствовать—молодежь не дозволяет,—сделались полезными членами дворов. «Есть старик во дворе—убил бы, нет старика—купил бы». Перестали ходить в Москву на заработки, *занялись землей*, и дворы стали богатеть.

Заметно *уменьшилось пьянство* в «Счастливом уголке», несмотря на то, что, вследствие уменьшения кабаков от возвышения цен на патенты, сильно распространена тайная продажа водки, которая есть во всех деревнях. Конечно, и теперь крестьяне гуляют на свадьбах, в общественные праздники, гуляют здорово, пьют много, больше, может быть, чем прежде, но отошли праздники—кончилась гульня, и пьянства нет. Нет пьянства. Куда девалась страсть к пьянству! Пьяницы сделались степенными мужиками, многие вовсе даже перестали пить. Встретить не в свадебный или не в общественно-праздничный день пьяного мужика не то что в будни, но даже в воскресенье—необыкновенная редкость. Гораздо чаще можно встретить пьяного попа, дьячка или урядника, чем пьяного мужика.

Вместе с уменьшением пьянства сильно развилась между крестьянами страсть к охоте. Чуть не все молодые люди—охотники, чуть не все имеют ружья, кое-где можно увидать и гончую собаку. В воскресенье, в праздник молодежь отправляется на охоту за рябчиками, тетеревами, зайцами.

Заметно также увеличивается стремление к образованию, к грамотности. Когда была мода на разведение грамотности, вскоре после «Положения», и у нас была при волости школа, но в эту школу приходилось собирать ребят насильно, отцы не хотели отдавать детей в школу, считали отбывание школы повинностью. Неохотно отдавали отцы детей в школу, неохотно шли и дети, да и до школы ли было, когда ребята зимой ходили в «кусочки»? Потом волостная школа, не знаю почему—мода должно быть прошла,—была закрыта. Позднее была открыта школа при селе, но и то для поповского сына, чтобы ему в солдаты не итти, говорили мужики, учеников же в школе было мало. В последние же годы стремление к грамотности стало сильно развиваться. Не только отцы хотят, чтобы их дети учились, но и сами дети хотят учиться. Ребята зимою сами просят, чтобы их поучили грамоте, да не только ребята, а и взрослые молодцы: день работают, а вечером учатся грамоте. Даже школы *свои* у крестьян по деревням появились. Подговорят хозяева какого-нибудь грамотея-учителя, наймут у бобылки избу—вот и школа. Ученье начинается с декабря и продолжается до святой. Учитель из отставных солдат, заштатных дьячков, бывших дворовых и тому подобных грамотеев, получает за каждого ученика по рублю в зиму и содержание. Относительно содержания учителя родители учеников соблюдают очередь. Во дворе, в котором находится один ученик, учитель живет, например, три дня, там же, где два ученика,—шесть дней и т. д., подобно тому, как деревенский пастух. Изба для школы нанимается родителями сообща, дрова для отопления доставляются по очереди, учебные книги, бумага, грифельные доски покупаются родителями.

Эти мужицкие школы служат примером того, что если является в чем потребность, то народ сумеет устроить то, что ему нужно. Потребовалась грамотность, и вот мужики устроили *свои* школы, завели *своих* учителей, подобно тому, как имеют *своих* коновалов, *своих* повитух, *своих* лекарей, *своих* швецов, шерстобитов, волночесов, трещеточников, живописцев, певцов и т. п.

Плохи, конечно, эти школы, плохи учителя, не скоро в них выучиваются дети даже плохой грамоте, но важно то, что это *свои*, мужицкие школы. Главное дело, что эта школа близко, что она у себя в деревне, что она своя, что учитель свой человек, не белоручка, не барин, не прихотник, ест то же, что и мужик,

спит, как и мужик. Важно, что учитель учит тут в деревне, подобно тому, как для баб важно, что есть в деревне своя повитуха. Положим, в земской школе учат лучше, но где она эта земская школа?—За десять верст где-нибудь! Положим, что земская акушерка лучше простой повитухи, но где она эта земская акушерка? А тут бабе приспело время родить. Все дело интеллигентных людей состоит в том, чтобы способствовать развитию этих мужицких учреждений, поддерживать, наставлять этих мужицких учителей, повитух, дедов. Необходима хорошая школа с хорошим учителем, но этот учитель должен знать все мужицкие школы своего участка, помогать им, направлять учителей. Необходима хорошая акушерка, но ее главное дело должно состоять в том, чтобы она знала всех повитух своего участка, направляла их, учила и сама являлась для помощи в экстренных случаях. Таково же должно быть отношение ученого врача ко всем фельдшерам, лекарям, знахарям, дедам, костоправам своего участка. *Трудно* это, конечно, но *гуманный*, истинно образованный, дельный, знающий человек не может не иметь здесь успеха. Вот это было бы настоящее дело, и за него мужик сказал бы спасибо.

А между тем эти мужицкие школы составляют предмет опасения. Как только проведает начальство, что в деревне завелась школа, так ее разгоняют, гонят учителя, запрещают учить. Конечно, пока-то еще начальство узнает о школе, пока еще волостной соберется вызвать учителя и заказать ему, чтоб он не держал школы, учитель все учит да учит, а там, смотришь, святая близко, все равно ученье кончается. На следующую зиму опять «ученье грамоте» заводится, тот же или другой учитель учит, иную зиму так и сойдет, начальство не узнает, а запретит, так опять кое-как до святой дотянется, а там осенью опять заводится школа, и так без конца. Запрещения начальства школы окончательно не уничтожают—так или иначе ребята грамоте учатся,—но, само собою, они служат помехой мужицкой школе. Если бы не запрещали эту свободную мужицкую школу, если бы не запрещади учить кому вздумается, то это принесло бы большую пользу народному образованию.

Мне как-то случилось разговориться об этих мужицких школах с одним умным мужиком—это был швец, который у меня в доме шил на меня и детей полушубки. Мужик спрашивал, почему разгоняют школы и запрещают каждому желающему учить ребят грамоте. Я объяснил, что это потому, вероятно, что если будет дозволено учить кому угодно, то может попасться такой учитель, который будет научать ребят чему-нибудь дурному.

— Чему же дурному может он научить?

Я затруднился объяснить. Сказать мужику, что в учителя может попасть злонамеренный человек, который будет «потрясать», будет говорить, что крестьяне обижены наделами и т.д. Но как же отвечать таким образом мужику, который и без того надеется, что царь прибавит мужикам землицы и уж прибавил бы, если бы не помешали паны, студенты и злонамеренные люди, которые бунтуют против царя за то, что он освободил крестьян? Обо всех этих вопросах мужик свободно говорит у себя дома при детях, на сельских сходках, и никакой злонамеренный человек *ничего нового* по этим вопросам ребятам не скажет.

— Может, против бога будет что говорить ребятам,—наконец сказал я.

Мужик посмотрел на меня с недоумением.

— Против царя, может...

— Как это возможно! Да если же учитель начнет учить моего детенка чему-нибудь пустому, разве я этого не увижу, разве я потерплю! Нет, не то, должно быть! Я думаю, что оттого запрещают грамоте учиться, что боятся; как научатся, дескать, мужики грамоте, так права свои узнают, права, какие им царь дает—вот что!

А какое бы громадное значение имело предоставление полной свободы всем и каждому учить ребят грамоте и заводить школы! Как бы подвинулось в народе образование, в котором оно так нуждается! Для того, чтобы конкурировать с американцами, нужно не пути сообщения устроить, а дать народу образование, знание, а для этого нужно только не мешать ему устраивать свои школы, учиться свободно, чему он хочет, *у кого хочет*. Только люди, совершенно не знающие мужика, могут опасаться каких-то злонамеренных людей, а между тем именно эти опасения и высказываются по поводу нелегальных мужицких школ.

Народу нужны образованные учителя, лекаря, ветеринары, акушерки, знающие сельские хозяева, механики, инженеры, но только не казенные. Дела для образованных, интеллигентных людей в народе много. Ступайте в деревню, и если вы будете учить попросту, без казенных затей, у себя в доме или у мужика в избе, то у вас не будет отбою от ребят, желающих научиться грамоте, просветиться светом науки. Если вы доктор или акушерка—у вас не будет недостатка в практике, страждущих много, помощи искать не у кого. Если вы хозяин, знающий и толковый и *работаете землю сами*, то и к вам придут за советом. *Садитесь на землю* и не опасайтесь, что вам нечего будет делать среди мужиков. Дела не оберетесь, дела пропасть.

Итак, увеличение урожаев хлеба, уменьшение необходимости продавать свой летний труд, увеличение возможности ра-

ботать летом на себя, уменьшение отхода на заработки, усиление стремления к хозяйству, к земле, уменьшение стремления бросать землю и итти в батраки, уменьшение пьянства, стремление к грамотности—вот что доказывает, что положение крестьян в «Счастливом уголке» улучшилось за последние десять лет. Посмотрим же теперь, от чего зависит это улучшение.

Первая общая причина—это увеличение урожаев хлеба на крестьянских наделах, вследствие постоянного усиленного удобрения и происходящего от того улучшения, удобрения, утучнения надельной земли.

Урожаи хлебов на крестьянских наделах возвышаются год от году. Это говорят сами крестьяне. Хлеба у крестьян стали родиться гораздо лучше, не только сравнительно с тем, как родились до «Положения», при крепостном праве, но и сравнительно с тем, как они родились десять лет тому назад. В «Счастливом уголке» это возвышение урожаев совершилось на моих глазах за последние десять лет. Произошло это, без сомнения, от *улучшения пахотных земель крестьянских наделов*, *от усиленного удобрения*, от лучшей обработки, от употребления лучших, более чистых, семян ржи, без костеря и сивца, от менее густых посевов. Если крестьянские хлеба в чем и уступают теперь господским, то не потому чтобы крестьянские земли были более истощены, хуже удобрены, чем панские, а потому, что они разделены на узкие нивки, которые и удобряются и обрабатываются каждым хозяином отдельно. Если бы крестьянские земли и обрабатывались, и удобрялись *сообща*, не нивками, а сплошь всеми хозяевами вместе, как обрабатываются помещичьи земли, с дележом уже самого продукта, то урожаи хлебов у крестьян были бы не ниже, чем у помещиков. С этим согласны и сами крестьяне. Узкие нивки, обрабатываемые каждым хозяином отдельно, препятствуют и хорошей обработке, и правильному распределению навоза. При обработке земли сообща эти недостатки уничтожились бы и урожаи были бы еще лучше.

Люди из интеллигентного класса, которые, научившись сами работать, сядут на землю, образуют *деревни из интеллигентных людей и будут сообща* вести хозяйство, *сообща* работать землю, своим примером могут иметь большое значение для крестьянских деревень, ибо крестьяне понимают, что работать сообща выгоднее. Но как это сделать?—Это должны показать интеллигентные люди на деле.

Что урожаи на крестьянских наделах увеличиваются, так это совершенно естественно, потому что, вследствие удобрения, земля постоянно улучшается. *Что она должна улучшаться, так это ясно, если вникнуть в систему крестьянского хозяйства.*

В наших местах как помещики, так и крестьяне удобряют землю навозом. Необходимость удобрения так вошла в сознание каждого, что хозяин все свое внимание обращает на то, чтобы назапасить как можно более навоза. «Навоз и у бога крадет», «Вози навоз, не ленись, хоть богу не молись», «Где лишнее навозу колышко, там лишняя хлеба коврижка», «Положишь каку, а вынешь папу». Но в то время, как помещик, продавая хлеб и скот, сдавая с части покосы, отдавая в аренду земли под лен и хлеб, истощает свои земли, вследствие вывоза почвенных частиц (главное—фосфорнокислых солей) с хлебом, скотом, сеном, крестьянин, напротив, приобретая на стороне хлеб, сено и пр., улучшает, утучняет свою землю, ввозя почвенные частицы извне.

У крестьянина часть земли находится под усадьбой, огородом, конопляником, часть под естественными лугами, да и то самая небольшая. Именно та земля, которая не годится под пашню, наиболее подходит для луговодства, например, заливные берега рек, овраги, низины на полях. А главная часть—под пашней. С своей земли крестьянин ничего или почти ничего не вывозит, а что и вывозит, так на то место он ввозит с избытком. Крестьянин прежде всего и больше всего продает свой труд; личный труд, заработок на стороне зимою, доставляет ему главный денежный доход. Затем он продает пеньку, лен, а это такие продукты, в которых не уносится почвенных частиц. Только с продаваемым им льняным семенем, коноплею, скотом он вывозит незначительное количество почвенных частиц. Напротив, ежегодно крестьянин ввозит на свой надел почвенные частицы со стороны.

Крестьянину недостаточно сена с своих лугов—он старается наготовить как можно более сена на стороне, для чего арендует покосы, если имеет на то средства, или косит у помещика с части. Все силы крестьянина употреблены на покос, во время покоса он работает до изнеможения, на покос и со сторонних заработков возвращается домой. Накошенное на чужих лугах сено крестьянин свозит к себе, кормит им коней и скот и полученным навозом удобряет свой надел.

Таким образом, с сеном крестьянин привозит почвенные частицы из других мест, и эти почвенные частицы остаются на его наделе, увеличивая собою сумму питательных веществ его земли.

Чем выше благосостояние крестьянина, чем менее он запродает свой летний труд, чем более он работает на себя летом, тем более он заготовляет сена, тем лучше удабривает свой надел.

Раз заправившись, крестьянин не ограничивает хозяйства своим наделом, потому что он может обработать более земли, чем у него в наделе, тогда он снимает в помещичьих имениях

землю под лен и хлеба, берет из части ляда и т. п. Выбранный лен, сжатый хлеб он опять-таки везет к себе: лен и семя продает, хлеб потребляет сам, костру, мякину, солому употребляет в корм своему скоту и в подстилку. Тут опять-таки получается навоз, который вывозится крестьянином на его же надел.

Все сено и солому с своего надела, сено и солому, добытые на стороне, и весь корм крестьянин стравливает на своем дворе. Весь свой хлеб, весь хлеб, купленный или добытый на стороне, овощи, молоко, часть мяса крестьянин поедает сам и экскременты оставляет на своем дворе.

Дрова, добытые на стороне, он сожигает дома, и зола опять-таки остается на его дворе. Все это, переработанное в навоз, с двора *он вывозит на свою землю.*

Ясно, что при таком порядке *крестьянин ввозит на свой надел гораздо более, чем вывозит*, и притом ввозит тем больше, чем больше возвышается его благосостояние, потому что, тем более тогда он работает на себя летом, тем более запасает всякого корму.

Крестьянские наделы, постоянно удобряемые почвенными частицами, привозимыми извне, с хлебом, кормом, дровами, неминуемо должны год от году утучняться и, нет сомнения, превратятся со временем в тучные огороды.

Все те обстоятельства, которые благоприятствуют развитию крестьянского хозяйства, увеличивают и плодородие крестьянских наделов. Относительно ввоза и вывоза почвенных частиц крестьянское хозяйство в наших местах поставлено наирациональнейшим образом.

Только агрономы-чиновники да либералы, не понимающие сути дела, могут думать, что крестьянам следует изменить трехпольную систему и заменить ее многопольною с травосеянием. Для крестьян, имеющих возможность работать лето на себя и заготовлять корм на стороне, *трехпольная система совершенно рациональна.* Крестьянам же, которые так затеснены отрезками и высокими платежами, что должны лето работать в помещичьих имениях и не могут готовить в страду корм для себя, *никакое травосеяние не поможет.*

Совершенно другое дело в помещичьих хозяйствах. Там почва всегда истощается, и хозяйство ведется истощающее землю. Помещики в наших местах всегда вели и теперь ведут истощающее землю хозяйство. При крепостном праве помещики и у нас производили огромное количество хлеба, который выпродавался из имений и уносил с собою массу драгоценнейших почвенных частиц, извлеченных из земли, уносил за море к немцам и англичанам, уносил в города, откуда эти частицы спускались в реки. Для пополнения того, что извлекалось продаваемыми на сторону хлебами с полей, помещики удобряли навозом,

который готовился из соломы, взятой с тех же полей, из сена, взятого из лугов, которые, если это были не заливные луга, по истощении запускались под заросли, а на то место из-под лесов разделывались новые луга.

После «Положения» запашки в помещичьих имениях значительно—полагаю, на две трети—сократились, все еще сокращаются и будут сокращаться, если благосостояние крестьян будет увеличиваться. Помещичьи хозяйства не имеют будущности, они должны уничтожиться, потому что *смыслу нет в том*, чтобы мужики-хозяева, имеющие свои земли, свое хозяйство, работали в чужих хозяйствах. *Это—нелепость.*

С уменьшением запашек, конечно, уменьшилось и количество хлеба, продаваемого из помещичьих хозяйств, следовательно, уменьшилось и истощение земель через вывоз хлеба. Но зато явился другой путь для истощения. Не имея возможности убирать все сено с лугов в свою пользу, помещики вынуждены сдавать луга с части, и таким образом из помещичьих имений вывозится часть сена. Затем те помещики, которые не могут затеснить крестьян отрезками и выгонами и иметь обязательных рабочих, вроде крепостных, не имея притом возможности вести хозяйство батрачное,—требующее и капитала, и знания, и труда,—вовсе прекратили хозяйство и стали раздавать крестьянам в аренду луга и пахотные земли. Все сено, весь лен, весь хлеб с арендованных крестьянами земель стали вывозиться из помещичьих имений. Помещичьи земли истощаются, а на счет их удобряются крестьянские наделы.

Улучшение крестьянской земли, вследствие ежегодного удобрения на счет помещичьих земель, есть, по моему мнению, одна из основных причин, почему улучшилось благосостояние крестьян «Счастливого уголка».

В течение последних десяти лет крестьянские наделы, на моих глазах, заметно улучшились, и урожаи увеличились. Ежегодно крестьяне из окрестных помещичьих имений везут в свои дворы сено, солому, лен, хлеб, дрова. Все это в деревнях превращается в навоз, который вывозится на крестьянские поля. Количество ежегодно вывозимого на крестьянские наделы навоза заметно увеличилось за последние десять лет. Удобряемые на счет помещичьих земель крестьянские конопляники и поля стали неузнаваемы. В будущем, там, где крестьяне заправились, наделы их превратятся в тучные огороды, на которых крестьяне будут вести интенсивное хозяйство. Эти наделы будут представлять оазисы среди пустынных помещичьих земель, которые будут экстенсивно эксплуатироваться теми же крестьянами.

Весьма важно, что в наших местах крестьяне получили сравнительно довольно большие наделы, хотя и дурного каче-

ства земли, которая не родит без удобрения. Эта земля составляет основной фонд, и лишь бы только *обстоятельства благоприятствовали*—возможность работать лето на себя,—крестьяне удобрят наделы, и положение их будет улучшаться. Благоприятствующие обстоятельства—это именно *возможность работать лето на себя*, а для того, чтобы иметь эту возможность там, где земли хороши, достаточно, если у крестьян есть выгодные зимние заработки; там же, где крестьяне затеснены отрезками, необходимо, чтобы эти отрезки, *по действительной* их стоимости, поступили во владение крестьян, дабы посредством этих необходимых крестьянам отрезков нельзя было выжимать у крестьян летние работы, нельзя было их затеснять. Наконец, есть и такие места, где необходимо, если не вовсе *снять с крестьян платежи*, то, по крайней мере, уменьшить их и *разложить на долгий срок*. В нынешний бедственный, голодный год многие уездные земские собрания положили ходатайствовать об отсрочке сбора недоимок и платежей за следующий год, но во многих местах требуется сделать это не *на один только* нынешний год, а вовсе уменьшить платежи, *разложить их на долгий срок*, чтобы дать крестьянам возможность заправиться.

Где, как в «Счастливом уголке», крестьяне уже заправились, удобрили наделы, взяли силу, там и в нынешний год нет недоимок, и уплата податей за следующий год не представляет больших затруднений. Когда и в других местах крестьяне так же заправятся, возьмут силу, то и там подати будут вноситься без затруднения, и исправникам не придется сажать старшин и старост в клоповни. Крестьяне, даже находящиеся в самых благоприятных условиях относительно земли, получившие хорошие наделы, с хорошей землей, хорошими лугами и огородами, пока эти наделы не были достаточно удобрены и не давали достаточно хлеба для собственного прокормления, не могли обходиться без сторонних заработков. И в «Счастливом уголке» на первых порах сторонние заработки играли весьма важную роль, да и теперь еще имеют значение, хотя и в меньшей степени, чем прежде. Но сторонние заработки в таком только случае способствуют улучшению положения крестьян, когда крестьянин, главным образом, занимается землей, хозяйством, а сторонние заработки, не мешая хозяйству, служат *только подспорьем*. Земля, хозяйство—вот *основа*, а сторонний заработок должен служить лишь подспорьем, как картофель служит подспорьем хлебу. Это уже не дело, если крестьянин видит основу в стороннем заработке. В деревнях, расположенных около городов, железнодорожных станций, фабрик, несмотря на обилие выгодного заработка, крестьяне редко живут зажиточно, хозяйственно. «На столе самовар кипит, а в хлеве трясцы»,—говорят мужики.

Это уже самое последнее дело, когда мужик не занимается землей, а смотрит на сторонний заработок. Заниматься землей трудно. Земля, хозяйство требуют заботы, постоянного внимания. Конечно, даром денег нигде не дают, и на стороннем заработке, на фабрике, в городе, тоже требуется работа, и не менее тяжелая, но та работа, батрацкая, не требут заботы, внимания и всегда дает определенный заработок. Хорошо ли, дурно ли отработал известное число часов, а там, что бы из работы ни вышло, получи жалованье. Человек, при таких условиях, привыкает беззаботно жить со дня на день, не думая о будущем, а вместе с тем привыкает к известной обстановке, к известному комфорту. В подгородных и подфабричных деревнях все рассчитано на сторонний заработок, а хозяйство опускается, земля, хозяйство являются уже подспорьем к заработку, а не наоборот. Поэтому в таких деревнях, где хозяйство должно бы процветать, вследствие удобства сбыта продуктов и возможности в свободное от полевых работ время иметь заработки, мы, наоборот, видим, что масса населения бросает землю, относится к земле и хозяйству спустя рукава и живет со дня на день. Обыкновенно в таких подгородных, подфабричных деревнях масса населения живет вовсе не зажиточно, и только несколько разбогатевших торговлею кулаков эксплуатируют своих односельчан.

Совсем другое дело сторонние заработки для земельных хозяйственных крестьян, которые в земле видят основу, занимаются хозяйством, влагая в него свою душу, всю свою умственную и физическую силу, а на сторонний заработок смотрят лишь, как на подспорье. Но для таких крестьян имеет значение только такой заработок, который не отрывает их от занятий в собственном хозяйстве, следовательно, никак не заработок в помещичьих хозяйствах летом.

В «Счастливом уголке», пока крестьяне не заправились, не удобрили наделов, сторонние заработки имели большое значение, именно заработки, доставляемые железною дорогою и лесоторговцами. Эти заработки подняли хозяйства крестьян, но не они одни, как увидим ниже, были причиною улучшения их положения. Сторонние заработки *только дали толчок*.

Гораздо больше значения, чем сторонние заработки, имеют заработки у себя, хозяйственные, когда крестьянин может снять в аренду земли, насеять льну, переработать его у себя дома зимой. Вот это—заработки, когда, сняв у помещика десятину облоги за 8, за 10 рублей, крестьянин посеет лен и продаст с десятины льна и семени на 100 рублей, а в урожайный год, да при хороших ценах, и на 150 рублей, и получит за свою работу от 90 до 140 рублей, занимаясь этим льном между делом, не упуская своего хозяйства, да еще кроме того в барышах

получит с этой десятины костру для подстилки, да мякины на корм скотине. Вот это заработки! В каком помещичьем хозяйстве, у какого кормильца-помещика мужик заработает такую сумму, работая даже изо дня в день, целое лето? И много ли работы на одной десятине льна? Конечно, тут риск. Может случиться неурожай, или червяк поест, но если даже лен уродится совсем плохо, если мужик выручит с десятины всего только 50 рублей—за 10 лет моего хозяйства у меня еще не было случая, чтобы десятина льна дала менее 60 рублей,—то и это все-таки будет хороший заработок между делом, не упуская хозяйства, заработок, какого не даст мужику ни одно помещичье хозяйство. Но, кроме десятины льну, крестьянин может еще обработать под хлеб десятину перелому из-под того же льна, а по перелому рожь и без навозу родится хорошо. Вот он и с хлебом. Да еще соломка, мякинка скотине на корм—вот и навоз.

Хлебушком с своего надела да с арендованной земли крестьянин прокормится сам, прокормит и свиненка и куренка—будет, значит, что и в варево кинуть. Продав пенечку, ленок, семячко, он выручит достаточно денег, чтобы заплатить подати, попу, купить на праздник вина, заарендовать в будущем году покос, десятину-другую земли под лен и хлеб. Всем хорошо: подать царю уплочена, мужик живет спокойно, ест сыто, на дворе у него копится навоз и надел все утучняется да утучняется. И пану—чем воловодиться с хозяйством да кормить на счет мужика приказчиков—получай прямо денежки за землю и живи в свое удовольствие! Для лучшего объяснения, как это совершилось, что в «Счастливом уголке» мужик за десять лет поправился так, что даже в нынешнем году не бедствует, я расскажу подробно о положении нескольких деревень.

Вот деревня Д.—Построена деревня около мерзкой болотистой лужи, в которой можно только скот поить. Воду для питья и варки кушанья крестьяне возят за две версты из соседней деревни. Лугов в наделе нет, лесу нет, полевая земля плохая, *отрезки*, отошедшие барину, врезались в самые крестьянские наделы, господский лес прилегает к наделам и местами врезывается в них. Скотину выпустить некуда, кроме своего пара, да и то гляди в оба, сейчас попадет или на господские отрезки или на пустоши соседних помещиков. Недалеко, верстах в пяти от деревни, идет железная дорога и находится небольшой полустанок, с которого отправляют лес и дрова.

При крепостном праве деревня Д. была одна из беднейших в округе. Помещик, говорят, был зверь—полицмейстером в старые года где-то служил, можно, значит, представить себе, что за птица,—запашки имел огромнейшие, мучил на работе, крестьяне из пушного хлеба не выходили. После «Положения»

хотя и полегчало, но все-таки еще десять лет тому назад, когда я приехал в деревню, крестьяне Д. были очень бедны, *ели пушной хлеб*, недоимок было много, скота и лошадей мало, постройки плохие, деревня была одна из беднейших в «Счастливом уголке». Чтобы иметь свободный выгон для скота, чтобы пользоваться отрезками, вообще господскими землями, прилегающими к их наделам, не трогая, разумеется, леса, крестьяне Д. работали у своего помещика в имении, отстоящем верст на 5 или на 6 от деревни, круги за деньги и косили заливной помещичий луг.

Помещик сам в деревне не жил, хозяйствовал староста. Хозяйство велось обыкновенным порядком: сено стравливалось скоту, который содержался для навоза, поля удобряли, но хлеб родился плохо. Земли пахалось только незначительная часть против того, что пахалось при крепостном праве, остальная была запущена, заобложила, занялась лесною порослью. За всеми расходами помещик имел самый ничтожный доход, и затесненные крестьяне лишь втуне болтали землю. Крестьяне Д. ,несмотря на то, что поблизости прошла железная дорога, которая дала заработок, когда в округе стали резать дрова, поправлялись туго, и если поправлялись, то не столько от того, что дорога давала заработок, сколько от того, что *занимались* лядами, снимали *у оскудевших* помещиков с половины годные для ляд леса, рубили с половины дрова, жгли ляда и сеяли с половины пшеницу. С этих-то ляд, с этой-то пшеницы крестьяне стали заправляться—свою половину пшеницы с ляд крестьяне получали снопами и везли к себе домой и зерно и солому, пшеницу продавали, а солома и мякина шла скоту.

Несколько лет тому назад помещик продал свой лес на сруб на значительное число лет с тем, что покупатель в течение этого времени может пользоваться и землею под лесом. Крестьянам это было на-руку. Явились, во-первых, домашние зимние заработки по резке и перевозке дров у себя подле самой деревни, явились заработки по нагрузке дров в вагоны на станции. Но это еще не все. Главное, что лесоторговец купил лес на сруб в года, с правом рубить лес, когда вздумает, и пользоваться землей в течение всего времени, на которое куплен лес. Но что же будет делать с землей лесоторговец? Разумеется, он сдал ее под ляда крестьянам и не с половины, а за известную плату, и притом не деньгами, а зимними работами по вывозке дров и т. п. И лесоторговцу выгодно и крестьянам отлично—каждому свое. Крестьяне за вывозку известного количества дров зимою—а возка близкая, так что ежедневно, отвозя дрова, возвращаются ночевать домой,—получили право распоряжаться землей из-под срубленного леса. По вывозке дров, крестьяне

жгли сучья и лом—дров для себя покупать им, конечно, не приходится—и сеяли по лядам пшеницу и ячмень. А как родится к году ячмень на лядах! Я знаю случай, что крестьянин посеял на ляде 9 мер ячменя и намолотил 15 кулей—ну, и богач, значит, с хлебом и кормом для скота. По снятии хлеба крестьяне пользуются лядами несколько лет для покоса и выгона скота. Жаль только, что крестьяне *не дошли* еще, чтобы на лядах по хлебу сеять клевер с тимофеевкой, которые родятся превосходно по лядам и дают отличнейшие укосы, так что на первый же год, несмотря на неудобство косить на свежем ляде, за множеством сучьев, пеньков, отростков, у меня посеянный на лядах клевер с тимофеевкой крестьяне охотно берут косить из половины.

Вскоре после продажи леса помещик все имение сдал в аренду купцу-лесопромышленнику. Купец взял имение вовсе не для того, чтобы вести хозяйство, так как он исключительно занимается лесною торговлею, а как центральный опорный пункт для конторы, да к тому же расчел, что, не занимаясь хлебопашеством, сдавая в аренду покосы и земли крестьянам, он все-таки не останется в убытке. Скот он сейчас же продал и получил капитал, который можно на все время, пока длится аренда, пустить в оборот. Заливные луга стал запродавать желающим на скос. Хлебопашество почти уничтожил и стал сдавать земли в аренду крестьянам под посевы льна и хлеба. Отрезки сдал в пользование крестьянам за известную с их стороны плату *зимними работами*.

Таким образом крестьяне Д. сделались *совершенно свободными*, им уже не нужно за отрезки убирать помещичьи луга и обрабатывать землю. *Все лето они работают на себя.* Имея лето свободным, они сеют хлеб на лядах, снимают покосы и заготовляют много сена для своих коней и скота, берут в аренду земли под лен. Зимою они работают в лесу, возят дрова, грузят вагоны. В несколько лет деревня стала неузнаваема: крестьяне обстроились, завели больше коней и скота, последнее время стали даже улучшать скот и покупать у меня заводских холмогорских телят—и акциз на соль еще не был отменен, а крестьяне стали улучшать скот!—стали лучше удобрять землю. Что же тут действовало? Ничего больше, кроме того, что крестьяне *получили возможность работать* летом на себя, не обязаны теперь попусту болтать землю у помещика и имеют отрезки и выгоны за денежную плату или за зимние работы. Прекращение купцом, заарендовавшим помещичье имение, полевого хозяйства имело благодетельное влияние не только на крестьян Д., но и на крестьян других, соседних, деревень. Купец сдает заливные луга на скос, берут эти луга крестьяне разных деревень и сено свозят к себе, сеном кормят скот и коней, получают

навоз, которым удобряют свои наделы. Купец сдает пахотные земли крестьянам под посевы льна и хлеба, крестьяне увозят к себе лен и хлеб в снопах.

По окончании срока аренды помещик уже не в состоянии будет возобновить прежнее хозяйство, во-первых, потому, что хозяйство уже будет опущено: скот нужно вновь заводить, постройки ремонтировать, а во-вторых, *главным образом*, потому что *заправившихся* крестьян *нельзя будет ввести в оглобли*. Да и к чему помещику заводить прежнее хозяйство, которое, как справедливо жалуются все помещики, не дает дохода и только стесняет крестьян? К чему это хозяйство для хозяйства, хозяйство, не дающее дохода и только мешающее развитию крестьянского хозяйства? Кому от этого хозяйства польза? Помещик жалуется, что хозяйство не приносит дохода, мужик затеснен, обязан производить бесплодную работу на помещичьем поле, мужик бедствует, недоедает и в недоимках. Я никак не могу понять этих, так ясно выраженных некоторыми гласными в прошлогоднем смоленском земском собрании, сетований на то, что если крестьяне получат кредит для покупки земель, то, приобретая неоходимые для них отрезки и выгоны, они заправятся и не станут работать в помещичьих хозяйствах. Сами же говорят, что хозяйничать невыгодно, что хозяйства не приносят дохода, а между тем непременно хотят вести эти хозяйства, хотят, чтобы крестьяне были затеснены для того, чтобы нужда заставляла их бесполезно болтать землю в этих не приносящих дохода хозяйствах!

Итак, по окончании срока аренды, помещик не может возобновить хозяйство, да и зачем ему заводить его? Сам он в деревне не живет, хозяйством не занимается, а если вздумает пользоваться деревней, как дачей, на лето, то усадьба к его услугам. Чем вести бездоходное, стесняющее крестьян хозяйство, не проще ли помещику поступить, как купец-арендатор, и сдавать свои земли крестьянам. Заливные луга, сдаваемые на скос, не могут истощаться, будут приносить доход постоянный, и доход этот будет даже увеличиваться с возрастанием благосостояния крестьян, так как они тогда выгоднее будут утилизировать сено, и при благосостоянии крестьян не будет такой нелепости, что говядина в городах будет продаваться по полтора рубля за пуд. За отрезки и выгоны крестьяне всегда будут платить хорошую цену. Если же дастся крестьянам возможность приобрести эти отрезки или выгоны в собственность с рассрочкой платежа, то помещик получит капитал, который будет приносить ему проценты. Наконец, и остальная пахотная и пустошная земля, сдаваемая в аренду под посевы льна, хлеба и на скос трав, если завести правильную систему сдачи этой земли в аренду, тоже будет приносить постоянный доход.

Помещик, не получающий, как он сам говорит, дохода при теперешнем своем нелепом хозяйстве, будет получать тогда хорошую ренту, которой будет жить, занимаясь службой. Помещик не будет, в разрез с желаниями всего народа, всего крестьянства, молить бога о том, чтобы хлеб был дорог и мужик дешев.

Если же дети этого помещика, наскучив службой, *захотят жить на воле*, захотят сесть на землю и сделаться свободными земледельцами, то, научившись работать и сдав лишнюю землю крестьянам, они заведут свое хозяйство и будут работать, как американские фермеры. Пригласят к себе интеллигентных безземельных пролетариев—им же нет числа—и образуют деревню из интеллигентных земледельцев, самолично работающих землю.

Вот тогда-то мы получим возможность думать о том, чтобы конкурировать на всемирном рынке с американцами.

Я верю, что наша молодая интеллигенция пойдет по этому пути, я живу этой верой. Что может быть ужаснее жизни в отчуждении от своего народа? Что может быть нелепее положения человека, который должен для своей выгоды желать бедствия для других?

Зажиточный мужик, говорит г. Ростовцев («Землед. газ.», 1880 г.), имеющий исправное хозяйство, *на посторонние работы не нанимается ни за какие деньги*; бедный же мужик набирает зимой множество работ у разных хозяев, а когда придет время работать, то, не окончив работы ни у одного, перебегает от одного к другому, наконец, бросает всех и бежит убирать свой *несчастный хлебишко, который к этому времени наполовину уже осыпался*. Чтобы пособить этому горю, г. Ростовцев ищет жатвенную машину, но разве жатвенная машина поможет? А с мужиком-то, набирающим зимой работы, что будет?

У американского фермера тоже жатвенная машина, собираются несколько фермеров с семействами на толоку, жнут пшеницу у одного, потом идут жать к другому, потом к третьему. На толоке весело, одна хозяйка старается перещеголять другую, угощает цыплятами под соусом, как сообщает один русский интеллигент, попавший в Америку, работавший у фермеров и бывший на их толоках.

Жатвенная машина и голодающий зимою мужик, которому не у кого набрать работы! Где тут жатвенным машинам быть! Американцы работают жатвенными машинами, которые они сами и выдумали; говорят, у них об серпах и косах уже забыли. Наши помещики ищут по нашим *модным магазинам сельскохозяйственных машин* жатвенную машину и не находят. Оно и понятно...

Счастлив тот, кто спокойно ест свой хлеб, зная, что он заработал его собственным трудом. Может ли человек быть спокоен,

счастлив, если у него является сознание, что он ест не свой хлеб? Счастлив ли наш интеллигент, которого интересы до такой степени противоположны интересам мужика, что, когда мужик молится о дешевизне хлеба, он должен молиться о его дороговизне.

Не от того ли так мечется наш интеллигент, не оттого ли такое недовольство повсюду?

Кто счастлив? Откликнись!

И чего метаться! Идите на землю, к мужику! Мужику нужен интеллигент. Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач, на место земледельца-знахаря—земледелец-учитель, земледелец-акушер. Мужику нужен интеллигент-земледелец, самолично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей.

Те интеллигенты, которые пойдут на землю, найдут в ней себе счастье, спокойствие. Тяжел труд земледельца, но легок хлеб, добытый своими руками. Такой хлеб не станет поперек горла. С легким сердцем будет есть его каждый. А это ли не счастье? Когда некрасовские мужики, отыскивающие на Руси счастливца, набредут на интеллигента, сидящего на земле, на интеллигентную деревню, то тут-то они вот и услышат: мы счастливы, нам хорошо жить на Руси!

Россия—государство земледельческое, русский народ—земледелец, русский интеллигент должен внести свет в русское земледелие, а внести свет он может только тогда, когда будет сам работать на земле.

Тогда мы, быть может, будем конкурировать с американцами.

Вот другая деревня С. При крепостном праве крестьяне ее были нищие. Помещик был строгий хозяин и вытягивал все соки из крестьян, жил он постоянно в деревне. Крестьяне по «Положению» получили в надел совершенно истощенную, плохую землю, лугов и лесу у них вовсе нет. Наделы, к счастью для крестьян, только с одной стороны прилегают к имениям прежнего помещика, с других же сторон прилегают к имениям чужих помещиков. *Отрезков*, отделяющих крестьян от других помещиков, нет и потому они могут примкнуть для выгонов или к своему, или к чужому помещику, куда им выгоднее. Крестьяне трудолюбивы, выносливы, умеют работать, работы не боятся, хозяйство понимают—это выработалось у них еще при прежнем строгом барине. Подбор—все неспособное к работе, невыносливое погибало, забивалось, сдавалось в солдаты. Десять лет тому назад я застал, что крестьяне не работали у своей барыни, но работали у другого, соседнего помещика. Они снимали у своего помещика под покос и выгоны большую пустошь, за что отрабатывали ему восемь кругов земли, сверх того, они

косили у того же помещика хорошие луга с половины и пользовались правом выгона по всей его земле. Так жили крестьяне девять лет и в это время несколько заправились скотом и удобрили свои наделы. Выгонов у крестьян С. тогда было вволю, сена они накашивали много, но своего нехватало, и денег от продажи пеньки, конопли, семени нехватало на уплату податей и покупку хлеба. Нужно было дополнять недостаток сторонними заработками. Зимою крестьяне резали и возили дрова, но всего этого нехватало—очень уж голы они вышли из крепостного права, и надел получили такой, про который говорится: «эту землю только зайцы удобряли, да и то наскоком». Многим для пополнения дефицита приходилось продавать свою летнюю работу: брали уборку покосов, жнитво, ходили на поденщину. В деревне был всего один богач, заправившийся сторонним заработком,—брат его торговал красным товаром в разнос и скупал тряпки, а потом поступил старостой к помещику,—несколько человек жили так себе, сводили концы с концами, остальные были беднота, жили со дня на день, некоторые стали было заниматься воровством и конокрадством. Несколько лет тому назад крестьяне С. перешли работать к своей барыне, стали ей работать восемь кругов за деньги с правом пасти свой скот вместе с господским на господских выгонах. Покосы, кто имел средства, брали на стороне за деньги, а другие, которые победнее, брали с части. Между тем подскочили довольно выгодно зимние заработки вблизи от деревни, наделы, постоянно удобряемые привозимым со стороны сеном, улучшились, хлеб у крестьян стал родиться лучше, так что у многих стало хватать хлеба до «нови», а если кому и приходилось покупать, то самую малость.

Наконец, барыня продала имение купцу-лесоторговцу и, получив денежки, уехала доживать свой век в Питер. Купец имение купил для лесу. Тотчас же он занялся резкой леса, что доставило крестьянам зимние заработки у себя дома. Хозяйство купец хотя и продолжал, но опустил. У барыни был прекрасный скот, который она отлично кормила, для чего прикупала, по недостатку своих лугов, отличное днепровское сено, сеяла клевер. У купца первый же год корму нехватило, ухода за скотом не стало—коровы перестали давать молоко, телята не стояли, процент убыли скота увеличился, на следующий год часть скота купец продал. Купец думал вести хозяйство задаром, хотел нажать крестьян, хотел, чтобы крестьяне работали ему известное количество кругов земли за самый пустой выгон, на котором пасется и купецкий скот, но это купцу не удалось, потому что крестьяне уже оправились, взяли силу, да и не затеснены его землей со всех сторон—рядом есть другие имения, столь же для крестьян сподручные. Крестьяне откинулись от купца

и сняли у соседнего помещика за половинную против того, что хотел взять за пустой выгон купец, работу—хороший пустошный луг, который и пустили себе под выгон. Купец обрабатывал землю кое-как, батраками, поденщиками и еще более опустил хозяйство. Нет сомнения, что купец-лесоторговец хозяйством заниматься не будет и, вырубивши лес, постарается или продать кому-нибудь имение, или выгодно заложить. Крестьяне очень желали бы взять это имение в аренду или купить в вечность с рассрочкой платежа на значительное число лет и могли бы это сделать и выгодно бы им это было, потому что они разработали бы новые, еще не выпаханные земли из-под вырубленного купцом леса, но как это сделать? Купец, который, очевидно, не будет и не может вести хозяйство, наделал новых построек, которые вовсе не нужны крестьянам, но за которые он захочет взять то, что они ему стоят. Должно полагать, что и постройки-то эти купец делает не для себя—выстроил скотный двор, например, а часть скота продал и т. п.,—а для того, чтобы всучить имение какому-нибудь охотнику заняться хозяйством. Купит кто-нибудь, похозяйничает и бросит, потому что имение для помещичьего хозяйства пустое—ни лугов, ни лесу, *ни отрезков, стесняющих* крестьян. И долго, может быть, протянется такое положение. Будет стоять земля без пользы—ни богу свечка, ни чорту кочерга,—а между тем, если бы разделить это имение на части и продать в рассрочку одну часть деревне Д., другую—деревне С., третью—деревне В., то крестьяне разработали бы всю землю и нашли бы в ней пользу. Для того, чтобы это делать, нужны такие местные учреждения—банки что ли,—которые скупали бы подобные имения, от которых землевладельцы рады отделаться, и, разделив на части, продавали в рассрочку крестьянам. Разумеется, учреждения эти должны быть местные, и агенты их должны быть не чиновники, а дельные, трудовые люди, которые бы настояще, не по-чиновничьи, занимались делом, вникали в суть его, знали, где что мужику нужно, и относились к нему не как начальники. Опасаться, что ценность имений сильно повысится, когда явится возможность их распродавать крестьянам, по моему мнению, нельзя, если только дело будет вестись правильно, потому что каждая покупка земли крестьянами, уменьшив их зависимость от помещиков, уменьшит для последних возможность вести свое хозяйство, нажимая крестьян. Если бы, например, сказанное имение купца было разделено на части и распродано в рассрочку крестьянам деревень Д., С. и В., то крестьяне этих деревень, обратив все свои силы на разработку купленной земли, которая в крестьянских руках тотчас бы стала приносить доход, не стали бы работать у других, соседних помещиков. Поэтому и те помещики *вынуждены* были бы продать таким же

образом свои земли. Смоленские гласные, которые говорили в земском собрании, что если бы устроилась продажа крестьянам необходимых им земель, то крестьяне не стали бы работать у помещиков, по-моему, *были совершенно правы*. Конечно, не стали бы. Но к чему же помещикам эти неприносящие дохода хозяйства? К чему это бесплодное болтание помещичьих земель затесненными в земле крестьянами? Двадцать лет прошло со времени освобождения крестьян, и помещичьи хозяйства нисколько не поднялись. Ни агрономии, ни рациональных культур, ни альгаузских скотов помещики не развели, не разведут и не могут развести, потому что почвы, основы для их хозяйств нет, так как нет ни крепостных, ни безземельных кнехтов. Если смоленские гласные и правы, говоря, что, получив возможность приобретать земли, крестьяне не будут работать у помещиков, то напрасно они думают, что это и без того не совершится. И без того, в конце концов, не будут работать, и без того нынешние помещичьи хозяйства уничтожаются. Они нелепы, и такое нелепое положение, как теперь, не может существовать вечно: Крепостное право уничтожено, а хотят, чтобы существовали такие же помещичьи хозяйства, какие были при крепостном праве! Ибо нынешние хозяйства отличаются от прежних только объемом, размером, да еще тем, что хозяин никогда не знает, удастся ли ему к следующему лету надеть на крестьян хомут. Разве это не бессмыслица!

Однако, возвращаюсь к рассказу о деревне С. Переход имения в руки купца благоприятно отразился на крестьянах. Вместо восьми кругов, которые крестьяне работали у барыни, они теперь работают только два круга за нанятый для выгона луг. Все лучшее страдное время они работают на себя, потому что, не обязавшись наперед с зимы, они работают купцу—притом за хорошую плату—только тогда, когда им свободно. Жали у купца только после того, как пожали у себя, косили у него пустоши осенью и т. д. Но, кроме того, по свозке дров из лесу, крестьяне, за разные послуги, стали брать годные места под ляда и сеять пшеницу и ячмень. Лишние земли купец стал сдавать в аренду под посевы льна и т. д.

Третья деревня, А., была еще при крепостном праве одна из самых зажиточных. Помещик никогда в имении не жил, а потому и в крепостное время крестьяне не были сильно угнетены. Народ в деревне А. особенный, отличающийся на весь округ, рослый, здоровый, трудолюбивый, сметливый, хозяйственный. Надел крестьяне получили хороший: есть хорошие луга, есть порядочная березовая роща, которую крестьяне берегут и из которой после «Положения» не вырубили ни одного прутика, отличные конопляники, превосходная полевая земля, одна из лучших по здешним местам. Одно из моих полей прилегает

к наделу деревни А., и это поле всегда дает от 3 до 4 четвертей ржи более, чем другие мои поля. Десять лет тому назад, когда я прибыл сюда, крестьяне этой деревни были самые зажиточные в округе, славились хорошими конями и скотом—и акциз на соль еще был—и назывались А-ми богачами. Только один двор в деревне был крайне беден, потому что хозяин был недоумок, лентяй, нерадивый, жена его от двора отбилась, по чужим людям шлялась, дети были еще малы. В этом дворе была страшная беднота: недоимки, нехватки хлеба и корму, необходимость брать летние работы, чтобы заполучить зимой несколько рублей. Теперь, когда подрос старший сын, здоровый, рослый детина, трудолюбивый и рачительный хозяин, и этот бедный двор стал поправляться—доказательство, что бедность двора зависела не от общих условий, а от частных, от неспособности самого хозяина.

Уже десять лет тому назад в деревне А. крестьяне жили изрядно, исправно платили подати. У многих хватало своего хлеба до «нови», другие должны были прикупать хлеба, но легко оборачивались продажей пеньки, скота и зимними заработками. Лошадей и скота у них было много. Для того чтобы иметь свободный выгон и не собачиться, как они говорят, с помещиком из-за потрав, они работали у помещика за деньги пять кругов без молотьбы и покоса. До моего приезда, говорят, из этой деревни ежегодно несколько человек ходили на заработки в Москву или на линию, но в последние десять лет никто уже на заработки не ходит. Один только парень ушел от отца за женой и живет ремонтщиком на линии. Этот парень женился по любви на хорошенькой девушке-крестьянке нежного сложения, которая была неспособна выносить тяжелую работу в этой трудолюбивой, жадной на работу деревне, не могла выносить и сурового свекра, иногда запивающего, зверя в пьяном состоянии. Пожив во дворе несколько месяцев, молодая женщина не выдержала тяжелой, грубой жизни в этой деревне—она была слишком нежна, воздушна, поэтична, если можно так сказать про бабу—и ушла к своему отцу, за ней ушел и влюбленный в нее муж.

Что за здоровенные молодцы крестьяне этой деревни, что за выносливые, ловкие работники, можно судить по тому, что эти крестьяне выезжают пахать с одной сохой на паре. Одну лошадь пустит пастись, а на другой пашет, потом переменит лошадь и опять пашет, а первая лошадь пасется, и так целый день без отдыха. Только и отдыхает, когда обедает, да немного залогует посреди упряжки.

В начале последнего десятилетия крестьяне А. зимой занимались сторонними заработками, а летом главное налегали на покос. Косили они ежегодно на запущенном хуторе од-

ного помещика с части, сено накашивали пропасть, и так как присмотра на хуторе за покосом не было, то на долю помещика доставалась пономарская часть, а поповскую крестьяне брали себе. Привозя домой огромное количество сена, крестьяне заправились конями—менее тройки нет даже у одиночек, и скотом—есть дворы, у которых по 20 штук скота, отлично справили свою и без того хорошую пахотную землю, так что в последние годы у них не только стало хватать своего хлеба, но у многих есть запасы вперед на год и излишки, которые они раздают в долг или под работу крестьянам дальних деревень.

Но что особенно поправило крестьян А., это возможность вблизи брать выгодно в аренду земли под посевы льна и хлеба.

Рядом с деревней А. находится помещичье имение, в котором они берут землю в аренду. После «Положения» владелец этого имения, старик-помещик, рьяный крепостник, один из рьяных противников освобождения крестьян не только с землей, но и без земли, много лет бился со своим хозяйством, но никак не мог устроиться—работал и кругами, работал и батраками, нажимал потравами, вечно судился с крестьянами. Ничего не брало. Хозяйство все опускалось и опускалось, как ни бился, дело не шло: никто не брал кругов, никто не нанимался в батраки. Наконец, помещик бросил все.

Продал на сруб свой отличный вековой лес, получил деньги и перебрался жить в Москву. Порученное старосте хозяйство совсем опустилось. Поля были запущены, покосы заросли, скот перевелся, коней покрали, постройки кои рушились, кои сгорели.

Несколько лет имение стояло в полном запустении. Наконец, попало в управление к одному сметливому дворовому человеку.

Тот догадался раздавать землю в аренду крестьянам. Первые взялись за это крестьяне деревни А., ближайшие соседи, поле с полем. Один попробовал, снял десятину за 8 рублей, посеял лен, лен уродился, выручил 100 рублей. Другой взял десятинку, и пошло—стали нарасхват разбирать землю под лен. Попробовали после льна по перелому без навозу сеять рожь—уродилась хорошо, коп по 15 на десятине, да и умолотна. Дальше, больше, в несколько лет крестьяне А. распахали в имении все поля, не нахвалятся барышами. Это не то, что круги у помещиков работать. Деньги, что за круги получаешь, не деньги, говорят теперь эти крестьяне, теми деньгами и сыт не будешь. Вот тут так деньги, тут стоит поработать, бог труды любит, бог за труды подаст больше, чем помещик.

Заплатил за землю рублей 8—10, а смотришь три четвертных получил, а не то и целую катеринку, да еще соломка, мякина—хозяину все в пользу. С этого имения крестьяне А.

сильно заправились. Некоторые батраков стали держать, хлеб под работы в другие деревни раздавать. Между тем и другие помещики, пооскудев, тоже стали бросать хозяйство и сдавать землю в аренду. Крестьяне деревни А., а за ними и крестьяне других деревень «Счастливого уголка», *найдя пользу в земле*, стали всюду пронюхивать, не сдают ли где землю в аренду, и, не стесняясь расстоянием, стали брать в аренду землю под лен и хлеб верстах в 10—15 от своих деревень, там где местные крестьяне еще не заправились или не «дошли» до того, чтобы решиться сеять лен на арендованных землях.

Крестьяне чрезвычайно косны, не вдруг принимаются за новое дело, долго высматривают, но зато уж если возьмутся, то дело идет. Когда я приехал в деревню и завел новое хозяйство, стал сеять лен, то помещики и крестьяне все утверждали, что я *затеваю пустое*. Помещики говорили, что лен истощает землю, что я испорчу льном всю землю, на что я обыкновенно отвечал: «Пусть себе истощает—лен дает чистого дохода—мало-мало—50 рублей с десятины, а земли можно купить сколько хочешь по 30 рублей за десятину». Крестьяне говорили, что напрасно я завожу посевы льна, что лен в наших местах не родится, что лен—хлеб опасный: постелишь, иногда снегом занесет, корму с него нет. Я говорил на это: «Подождите, сами лен сеять станете». Оказалось, что и у нас лен родится хорошо. Дает огромный доход, оказалось, что лен нисколько не более истощает землю и вовсе ее не сушит, как говорили крестьяне, разумеется, если его сеять правильно; оказалось, что после льна рожь родится превосходно.

Точно так же все были и против разных других новшеств, которые я ввел в свое хозяйство,—посев клевера, улучшение скота, введение плужков, железных борон, употребление в постилку костры, кормление скота и овец конопляной жмакой и пр. и пр. Все мои нововведения не имели значения для помещичьих хозяйств. Никто из помещиков ничего у меня не перенял. Но крестьяне кое-что переняли: плужков, над которыми подсмеивались, говоря, что я дедовского навоза, должно быть, хочу достать более глубокой пашней, приходят уже иногда просить для подъема земли под лен; железные бороны завелись у многих крестьян. Во всем округе развели высокорослый лен от моих семян. Рожь стали очищать, и начинают понимать, что, когда посеешь костерь, так костерь и народится; телят заводских, которые родятся в то время, когда телятся коровы у крестьян, раскупают у меня нарасхват, своих режут, а моих выпаивают на племя. Об клевере и говорить нечего, каждый рад косить клевер с части. Обо всем этом я говорю не для похвальбы, не для того, чтобы доказывать, что я своим примером в данной местности принес пользу крестьянским хозяй-

ствам, дошли бы и без меня, хотя, может быть, несколькими годами позже. Я очень хорошо понимаю, что не будь тех причин, которые обусловили развитие благосостояния крестьян «Счастливого уголка», они и до сих пор сеяли бы рожь с костерем, не сеяли бы льна, поили бы своих тасканских телятоk, отдавали бы жмаку за выбой масла и пр. и пр.

Крестьяне деревни А. в наших местах были первые, которые стали снимать земли под лен и хлеб, заводить хороший скот, они выбрали лучшие земли в ближайших имениях и получили их за дешевую плату. Когда лучшие земли были ими выпаханы, они оставили ближайшие земли другим, а сами двинулись далее, стараясь разыскивать новые земли в таких местах, где крестьяне еще не дошли, еще не заправились. Снимая всюду сливки, крестьяне деревни А. быстро богатели, но нужно иметь в виду, что крестьяне деревни А. и прежде были одни из самых зажиточных в округе, получили в надел прекрасные земли, с отличными конопляниками и лугами, получили всю землю, которой владели до «Положения», и *отрезков* у них не было.

Расскажу еще о четвертой деревне Б., которая отличается от вышеописанных тем, что в ней есть крестьянин-кулак, настоящий кулак, ростовщик-процентщик.

Известной дозой кулачества обладает каждый крестьянин, за исключением недоумков, да особенно добродушных людей и вообще «карасей». Каждый мужик в известной степени кулак, щука, которая на то и в море, чтобы карась не дремал.

В моих письмах я не раз указывал на то, что хотя крестьяне и не имеют еще понятия о наследственном праве собственности на землю, земля ничья, земля царская, но относительно движимости понятие о собственности у них очень твердо.

Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству, все это сильно развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому поблагоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплуатировать всякого другого, все равно крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду. Все это, однако, не мешает крестьянину быть чрезвычайно добрым, терпимым, по-своему, необыкновенно гуманным, своеобразно, истинно гуманным, как редко бывает гуманен человек из интеллигентного класса. Вследствие этого интеллигентному и бывает так трудно сойтись с мужиком. Посмотрите, как гуманно относится мужик к ребенку, к идиоту, к сума-

сшедшему, к иноверцу, к пленному, к нищему, к преступнику—от тюрьмы да от сумы не отказывайся,—вообще ко всякому несчастному человеку. Но при всем том нажать кого при случае—нажмет. Если скот из соседней деревни, в которой нет общности в выгонах, будет взят крестьянами в потраве, то они его не отдадут даром. Если крестьяне поймают в своем лесу порубщика, то вздуют его так, что он и детям своим закажет ходить в этот лес—потому-то в крестьянском лесу не бывает порубок, хотя там нет сторожей и полесовщиков. Как бьют воров и конокрадов—всем известно. Помещик скорее чем крестьянин, простит потраву, поруб, воровство. Так себе простит, помещику это ничего не стоит, он добро не своим хребтом наживал. Когда крестьяне деревни А., выпахав ближайшие земли, стали снимать земли в отдаленных местностях, где крестьяне бедны, просты, сильно нуждаются, то они—и притом не один какой-нибудь, а все—сейчас же стали эксплуатировать нужду тамошних крестьян. Стали раздавать им под работы хлеб, деньги. Каждый мужик при случае кулак, эксплуататор, но пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей это еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались, не действует в этом направлении. Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде. От такого земельного мужика вы услышите: «Я люблю землю, люблю работу, если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно, кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день». У такого земельного мужика есть и любимый непродажный конь. Такой мужик радуется на свои постройки, на свой скот, свой конопляник, свой хлеб. И вовсе не потому только, что это доставит ему столько-то рублей. Он расширяет свое хозяйство не с целью наживы только, работает до устали, недосыпает, недоедает. У такого земельного мужика никогда не бывает большого брюха, как у настоящего кулака.

Из всего «Счастливого уголка» только в деревне Б. есть настоящий кулак. Этот ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги. Этот не скажет, что ему совестно, когда он, ложась спать, не чувствует боли в руках и ногах, этот, напротив, говорит: «Работа дураков любит», «Работает дурак, а умный, заложив руки в карманы, похаживает да мозгами ворочает». Этот кичится своим толстым брюхом, кичится тем, что сам мало работает: «У меня должники все скосят, сожнут и в амбар положат». Этот кулак землей занимается так себе, между прочим, не расширяет хозяйства, не увеличивает количества скота, лошадей, не распахивает земель.

У этого все зиждется не на земле, не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует, который раздает в долг под проценты. Его кумир—деньги, о приумножении которых он только и думает. Капитал ему достался по наследству, добыт неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами, давно, еще при крепостном праве, лежал под спудом и высказался только после «Положения». Он пускает этот капитал в рост, и это называется «ворочать мозгами». Ясно, что для развития его деятельности важно, чтобы крестьяне были бедны, нуждались, должны были обращаться к нему за ссудами. Ему выгодно, чтобы крестьяне не занимались землей, чтобы он пановал со своими деньгами. Этому кулаку очень не на-руку, что быт крестьян «Счастливого уголка» улучшился, потому что теперь ему тут взять нечего и приходится перенести свою деятельность в дальние деревни. Кулак этот, как и все кулаки, имеет значение. Он поддерживает всякие мечты, иллюзии, от него идут всякие слухи; он сознательно или бессознательно, не знаю, старается отвлечь крестьян от земли, от хозяйства, проповедуя, что «работа дураков любит», указывая на трудность земельного труда, на легкость отхожих промыслов, на выгодность заработков в Москве. Он, видимо, хотел бы, чтобы крестьяне не занимались землей, хозяйством—с зажиточного земельного мужика кулаку взять нечего,—чтобы они, забросив землю, пользуясь хозяйством только как подспорьем, основали свою жизнь на легких городских заработках. Он, видимо, желал бы, чтобы крестьяне получали много денег, но жили бы со дня на день, беспечною жизнью, «с базара», как говорится. Такой быт крестьян был бы ему на-руку, потому что они чаще нуждались бы в перехвате денег и не имели бы той устойчивости, как земельные мужики: молодые ребята уходили бы на заработки в Москву, привыкали бы там к беспечной жизни, к легким заработкам, к легкому отношению к деньгам—что их беречь! заработаем!—к кумачным рубашкам, гармоникам, чаям, отвыкали бы от тяжелого земледельческого труда, от земли, от хозяйства, от солидного земледельческого быта, от сельских интересов, от всего, что мило селянину, что делает возможным его тяжелый труд. Молодые ребята жили бы по Москвам, старики и бабы, оставаясь в деревне, занимались бы хозяйством кое-как, рассчитывая на присылаемые молодежью деньги. Кулаку все это было бы на-руку, потому что ему именно нужны люди денежные, но живущие изо дня в день, денег не берегущие, на хозяйство их не обращающие. Нужно платить подати—к кулаку, ребята из Москвы пришлют—отдадим. И кулак может давать деньги совершенно безопасно, потому что, когда пришлют из Москвы, он уже тут—«за тобой, брат, должок есть». За одолжение заплатят процент да еще за *уважение* поработают денек-другой—как

не уважить нужного человека, который вызволяет? А у него есть где поработать, дает тоже в долг деньги помещикам, а те ему за процент либо лужок, либо лесу на избу, либо десятинку земли под лен: помещику это ничего не стоит, как мужику ничего не стоит поработать денек-другой. Сознательно или бессознательно поступает кулак—не знаю, но повторяю: все действия его таковы. Он всегда поддерживает разные мечты, иллюзии относительно земли, освобождения лесов, каких-то запасов хлеба у царя, заказов заготовить денег для выручки мужика. Он всегда толкует о трудности и невыгодности земледельческого труда, недостатке вольных выгонов, лесов, земель, о невозможности при таких условиях заниматься хозяйством. Он яркими красками рисует прелесть беззаботной жизни безземельного, ничем не связанного, легкость заработков и часто увлекает молодых людей, которые слушают его, бросают хозяйство и землю. Прежде крестьяне Б. были очень бедны, почти вся молодежь уходила на заработки в Москву, высылала порядочно денег, но все-таки хозяева постоянно были в нужде, должали, запродавали летнюю работу. В последнее время пример крестьян Д., С., А. подействовал и на Б., стали и они поговаривать «зачем в Москву ходить, у нас и тут Москва»; стали больше заниматься хозяйством, землею и, видимо, поправляются. Нынче уж никто из семейных в Москву не ходит, и слушаются кулака только сироты, приемышки, возвращающиеся молодые солдаты. Кулаку стало менее выгодно около крестьян, и он переносит свою деятельность на помещиков, около которых, по его словам, тоже пожива хороша.

Я думаю, четырех примеров достаточно, хотя мог бы привести их гораздо более. Но зачем—все будет одно и то же. Благосостояние мужика увеличивается там, где он занимается землей на себя и не запродает свой летний труд, где *он лето работает на себя*, где вы не услышите от мужика: «нет, нынче плохо, нынче не *вывернешься*, придется-таки взять у пана жнитво, придется взять кружок, нынче не вывернешься, наденешь хомут».

Здесь, в «Счастливом уголке», открывшиеся с проведением железной дороги зимние лесные заработки дали крестьянам возможность заправиться настолько, чтобы не закабаляться на летние работы к помещикам, чему способствовало еще и то, что от постоянного удобрения на счет помещичьих земель крестьянские наделы поправились и стали давать лучшие урожаи хлебов. Сокращение и полное прекращение многими помещиками хозяйства тоже благодетельно повлияло на благосостояние крестьян, потому что, прекратив хозяйства, помещики стали сдавать крестьянам необходимые для них отрезки и выгоны в аренду за деньги, не требуя, чтобы за пользование этими суще-

ственно необходимыми для крестьян землями, они непременно отбывали летние работы. С прекращением помещичьих хозяйств крестьянам явилась возможность дешево арендовать земли под посев льна и хлебов, что еще более способствовало возвышению их благосостояния и развитию крестьянских хозяйств.

Недалеко от «Счастливого уголка» есть кружок деревень, где крестьяне и до сих пор бедствуют, постоянно нуждаются в хлебе, накопили большие недоимки, набирают множество летних работ. Условия относительно зимних заработков и для тех крестьян такие же, но одного этого недостаточно: там у крестьян земли плохие, а *отрезки* огромные. При крепостном праве крестьяне пользовались большим количеством земли, так как она была плохого качества, и теперь за эти отрезки, окружающие их земли, крестьянам приходится работать летом на помещиков.

Еще раз скажу: я не знаю, как идет дело в других местах и отчего там бедствуют крестьяне—а что бедствуют, мы это слышим отовсюду,—я недостаточно научен разным наукам, чтобы рассуждать о таких важных вопросах. Но я знаю свой уголок, знаю его доподлинно и знаю верно, что в нем действуют именно те причины, на которые я указал.

Не раз случалось мне говорить об этом предмете с разными лицами. Помещики-хозяева, которые знают, что мужик берет жнитво и другие страдные работы только тогда, если нельзя иначе вывернуться, которые сами понимают, что мужику нужно насильно надеть хомут, насильно запрячь его в работу, для него невыгодную, тотчас же соглашались со мной, что крестьяне «Счастливого уголка» поправились именно от тех причин, которые я выставил. Мне возражали, однако, что такой порядок, как в «Счастливом уголке», вреден для дальнейшего развития хозяйства потому, что хотя таким образом крестьяне и доведут свои наделы постоянным удобрением до высокой степени плодородия, превратят их в тучные огороды, но зато они истощат остальные земли и превратят их в пустыри.

Конечно, это будет до известной степени так, пока народонаселение не возрастет, но дело в том, что то же самое все равно происходит и теперь, потому что, при существующих порядках и системах в хозяйствах, иначе и быть не может. Города всегда будут спускать в реки массу удобрительных веществ, драгоценнейших почвенных частиц и истощать таким образом земли, на которых производятся необходимые для потребления городов хлеб и другие продукты.

И теперь только в крестьянских хозяйствах, в которых почти вся земля под пашнею, почва не истощается, но ежегодно обогащается от ввоза удобрительных частиц извне. Ибо без этого ввоза извне крестьянские хозяйства и существовать не

могут, так как, по недостатку лугов в наделах, крестьяне необходимо должны добывать корм для своего скота на стороне. В помещичьих же хозяйствах и теперь, при существующей системе хозяйства, все равно производится постоянное истощение почв и опустошение. Такие хозяйства, в которых почва не истощается, например, хозяйства с винокуренными заводами, маслобойнями, сильно развитым скотоводством и т. п., все наперечет, считаются единицами, об них, значит, и говорить нечего. Но посмотрите на обыкновенные помещичьи хозяйства—разве тут не производится постоянное и самое усиленное истощение? Луга отдаются крестьянам на скос с части, следовательно, часть сена увозится на сторону, и потому, если луга незаливные, то они истощаются; хлеб, производимый на полях, тоже продается на сторону, и с ним увозятся драгоценнейшие частицы почвы; наконец, остающиеся дома солома и сено стравливаются скоту, и вырощенный скот продается, а с ним опять-таки вывозятся из имения почвенные частицы. Чем же это не грабительское, не истощающее почву хозяйство? И тут весь доход получается через истощение почвы, и тут имение мало-помалу превращается в пустырь, так что, наконец, хозяйство поневоле приходится бросать. Действительно, держатся только хозяйства в имениях с заливными лугами, а в других имениях мало-помалу хозяйства прикрываются. Начинается с того, что запашки все уменьшают да уменьшают, и, наконец, видя, что нет дохода, вовсе уничтожают и переходят, по необходимости, к сдаче земель в аренду. И в теперешних хозяйствах истощение производится наиотличнейшим образом, только толку от этого нет. Владелец, в деревне не живущий, хозяйством сам не занимающийся, получает ничтожный доход, крестьяне, поневоле попавшие в хомут, бесполезно болтают земли, и если кто имеет выгоды от такого порядка, так один только приказчик, который, нажившись, делается потом кулаком.

Между тем если помещик не будет вовсе вести хозяйства и будет сдавать землю в аренду крестьянам, то, при правильной организации сдачи земли, истощение будет не больше, чем нынче, и землевладельцы, не затесняя крестьян, не вынуждая их непродуктивно работать в своих хозяйствах, будут получать хорошую ренту, на которую могут жить, занимаясь службой и другими панскими делами. За отрезки и выгоны крестьяне будут платить деньгами, а то и выкупят их, если им будет оказан кредит. Заливные луга всегда будут ходить по высокой цене и истощаться не будут; пустоши будут истощаться не более, чем теперь, и, можно наверно сказать, скоро тоже пойдут в распашку и станут приносить доход; наконец, и пахотные земли, если только их не отдавать зря в аренду для того, чтобы сразу, как можно скорей, выхватить деньги, но сдавать в правильной

последовательности, давая земле необходимый отдых, будут тоже приносить постоянно хороший доход. При такой системе, уже практикуемой в некоторых имениях, землевладельцы будут получать более дохода, чем они получают теперь, балуясь хозяйством; крестьяне не будут затеснены, не будут бесплодно болтать помещичьи земли, себе в убыток и помещику не в барыш; масса труда не будет, как теперь, пропадать бесполезно, и земля будет производить гораздо более.

Могут возразить, что когда хозяйство перейдет в руки необразованных мужиков, то не будет никакого агрономического прогресса, мужики будут стремиться извлечь из арендованных земель как можно более, и хозяйство будут вести самым рутинным образом. Не будет ни альгаузских скотов, ни конского зуба, ни клевера. Но почему же думать, что мужики всегда будут оставаться во тьме, что никогда светлый луч науки, анализа не осветит их. Я уже говорил выше, что в «Счастливом уголке», чуть только положение крестьян улучшилось, пьянство уменьшилось, безобразно пьяное препровождение времени в кабаках заменилось охотою с ружьем, явилось стремление к грамотности, выразившееся заведением *своих*, *неказенных* школ, со своими учителями. Нынешняя деревенская, крестьянская молодежь в «Счастливом уголке» жаждет просвещения, хочет учиться, хочет знать. Зачем же ей препятствовать учиться? И как же не понять, что без полной свободы ученья мы все будем оставаться в хвосте?

Конечно, плохи мужицкие школы, плохи мужицкие учителя, плоха грамотность, но неужели же это всегда так и будет? Неужели стремления мужика, чуть он материально оправился, учиться так и останутся неудовлетворенными? Верится, что будет не так. Раз у мужика будет вольный хлеб, он станет учиться, и тогда явится такой агрономический прогресс, о каком мы и не мечтаем.

Да и кроме мужика, неужели же участь всех интеллигентных людей служить, киснуть в канцеляриях? Неужели же земля не привлечет интеллигентных людей? Мне кажется, что самые экономические причины, обилие людей, жаждующих мест на службу и вообще легкого интеллигентного труда, дешевизна платы за такой труд, вследствие большого предложения, при дороговизне материальных потребностей и дороговизне производительного мужицкого труда, неминуемо будут споспешествовать переходу интеллигентных людей на землю. Наконец, земля должна привлечь интеллигентных людей, потому что земля дает свободу, независимость, а это такое благо, которое выкупает все тягости тяжелого земледельческого труда.

Каждый интеллигентный человек знает достаточно, чтобы быть хозяином, и ему нужно только научиться работать, на-

учиться работать так, как умеет работать мужик. Затем формы, в каких умеющие работать интеллигентные люди будут заводить хозяйство, могут быть различны. Можно завести одиночное хозяйство, в котором хозяин, подобно американскому фермеру или зажиточному русскому мужику, будет работать сам с семейством, имея одного, двух батраков, которые будут работать наряду с ним и жить тою же жизнью, пока, в свою очередь, не сделаются самостоятельными хозяевами. Могут несколько лиц соединиться вместе, образовать деревню, подобно тому, как были деревни из мелкопоместных дворян, работавших иногда наряду с своими крепостными. Такая форма более подходяща, потому что, при наших климатических и общественных условиях, жить в одиночку интеллигентному человеку было бы очень трудно, в особенности на первых порах, пока таких хозяйств-одиночек было бы немного.

И интеллигентным людям, садясь на землю, удобнее было бы следовать примеру крестьян и соединяться в деревни, приобретать земли сообща, заводить хозяйство сообща, обрабатывать земли сообща.

Но не в формах дело.

Интеллигентный человек нужен земле, нужен мужику. Он нужен потому, что нужен свет для того, чтобы разогнать тьму. Великое дело предстоит интеллигентным людям. Земля ждет их, и место найдется для всех.

Батищево, 3 декабря 1880 года.

XI

Сегодня получил газеты за целую неделю и в один присест все прочитал. Счастливцы вы!

Зависть даже берет, какая кипучая деятельность: совещания, заседания, комиссии, заседания, комиссии, совещания...

Все затронуто, места живого не осталось. Сколько вопросов разрабатывается, да и какие вопросы! Пьянство, уменьшение выкупных платежей, урегулирование переселений, упорядочение начальства, направление самоуправления!

И как заказано в прошлом году, об иллюзиях ни слова. Да и к чему иллюзии! Чего еще? Уничтожение хищения, упорядочение, урегулирование—вот дело. Работай только и говори обо всем опрятно.

И все ко благу мужика. Теперь от всех только и слышим: подождите, все будет урегулировано. И урядник, и становой, и капитан, все начальники только и твердят: подождите, все будет урегулировано.

А мужик-то, представьте вы себе, так-таки ничего обо всей этой на его пользу деятельности и не знает. Да, мужик

ни об чем этом не думает, мало того, вовсе поднятыми вопросами не интересуется. Право, если бы я не получал газет, то, сидя в своем захолустье, ничего бы об упорядочении и не знал. Слухов, толков, разговоров и между мужиками достаточно, но мужик толкует вовсе не об том, так что, когда благодать снизойдет на мужика, то он будет, пожалуй, даже удивлен.

Об иллюзиях мужик вовсе не думает и понятия об них не имеет.

Насчет пьянства пронесся было слух, что с нового года вино будет по 25 рублей за ведро, но никакой сенсации этот слух не произвел. Будет вино по 25 рублей за ведро—пить не будем. Для мужика водка ведь не составляет ежедневной потребности, как для господ. Мужик не пьет ежедневно водку перед обедом, для аппетиту. У мужика и без водки аппетит всегда хороший, как вымахается на молотьбе, так и без водки хорошо ест. Мужик пьет водку для веселья, напивается праздничным делом, на свадьбе, все равно, как напиваются господа у Борелей, потому что при известной степени развития и известном случае жизни без вина нельзя. Будет водка 25 рублей за ведро—мужик с одним ведром свадьбу сыграет. Прежде и всегда справляли свадьбу одним ведром—это ведь недавно пошло, что на свадьбу десять ведер берут. А на никольщине, покровщине, михайловщине, егорьевщине, временщине и бражкой обойдутся. Для батюшки, конечно, в богатом дворе полштофчик припасут, потому каждый понимает, что ему, не подкрепившись, нельзя пятьдесят служб отслужить.

Чего ближе, кажется, для мужика вопрос о сложении недоимки и уменьшении выкупных платежей, но даже и этим он не интересуется. Говорят, кто платил, тому обидно, а кто не платил, с того и без того ничего не возьмешь. Эти недоимки сложат—новых наделают. Кому не подсильно платить, с того ничего не возьмешь, а вот у А—х и недоимок нет, как они землей не обижены. И насчет уменьшения платежей тоже говорят: по рублю скинут—для казны много денег, а нам и не видно, мы платить завсегда готовы, кабы только землицы.

Об уничтожении хищения, об упорядочении начальства, об направлении самоуправления между мужиками даже и слухов никаких нет. Мнения мужика насчет начальства так глупы и странны, что даже и сказать неловко. Знаете ли, как мужик насчет начальства думает? Не поверите! Мужик думает, будто начальство вовсе не нужно! Ни царю, ни мужику начальство не нужно, говорит он, начальство только для господ. При таких понятиях мужика для него не может быть ни лучшего, ни худшего начальства.

Но когда разнесся слух, что не будут позволять жениться ранее 25 лет—говорили, что начальство не хочет, чтобы же-

нились прежде, чем солдатскую службу каждый не отслужит, потому что теперь много баб с малолетними детьми без мужей остается,—то все бросились поскорее женить ребят, даже и не достигших полного возраста, что дозволяется с особого разрешения архиерея. Повторяю, о вопросах, которые у нас так разрабатываются, я знаю только из газет. Между мужиками никаких слухов и толков об этом нет, мужики ждут *только милости насчет земли*. И платить готовы, и начальство, и самоуправление терпеть и ублажать готовы, только бы землицы прибавили, чтобы было податься куда.

Поэтому насчет земли толков, слухов, разговоров и не оберешься. Все ждут милости, все уверены—*весь мужик уверен*,—что милость насчет земли будет, что бы там господа ни делали. Поговорите с любым мальчишкой в деревне, и вы услышите от него, что милость будет. Любой мальчишка стройно, систематично, «опрятно» и порядочно изложит вам всю суть понятий мужика насчет земли, так как эти понятия он всосал с молоком матери.

Никаких сомнений, все убеждены, все верят. Удивительно даже, как это люди слышат и видят именно то, что хотят видеть и слышать. Впрочем, то же самое мы знаем из истории колдовства, чародейства. Люди видели золото там, где его не могло быть, говорили с нечистой силой, верили в то, что они колдуны. Да и не то ли самое мы и сейчас видим на спиритах?

Я не получаю «Сельского вестника», ни одного номера этой «газеты для мужиков» не читал, но знаю, что в ней ничего насчет земли не могло быть напечатано, потому что, будь что-нибудь, так сейчас же в других газетах было бы сообщено. Между тем люди уверяют, что *сами читали* в «Сельском вестнике», что будет милость насчет земли, уверяют, что *сами слышали*, как читали в волости.

Толков, слухов, повторяю, не оберешься. И всем этим слухам верят, разубедить никого невозможно. Конечно, при господах говорят осторожно, деликатнее, но об том, что будет милость насчет земли и лесу, говорят всюду открыто. Замечательно, что слухи всегда идут в форме приказа. «Приказ» вышел, чтобы не наниматься к господам в работники, можно наниматься только к купцам и богатым мужикам, а к господам нельзя. «Приказ» вышел свои поля убирать и не итти к господам на жнитво и покос.

Весною, при сдаче земли в обработку, доходило до того, что хоть оговаривай в условиях, что-де, так и так, в случае если что выйдет «насчет земли», то условие считать недействительным. Я совершенно уверен, что волостному начальству такое условие не показалось бы даже странным, и оно бы его утвердило своей печатью.

В нашем захолустье ни об каких пропагандах не было слышно, а между тем слухов, толков даже чересчур было достаточно. Превратные толкования ничего не прибавили бы. Да и чего же еще, когда люди и без того так убеждены, что слышат и видят не то, что есть, а то, что им хочется.

Даже распоряжения высшего начальства и те объяснялись мужиками по-своему. Вышло, например, весною распоряжение, чтобы письма с железнодорожных полустанков отправлялись в волостные правления и чтобы там наблюдалось, дабы в письма, адресованные к крестьянам, не попали прокламации и фальшивые манифесты. Мужики же поняли это распоряжение так, что приказано письма, адресованные господам, в волостных правлениях распечатывать и публично прочитывать, дабы *следить за господами*. То-есть мужики и волостное начальство по́няли распоряжение так, что господа отданы *под надзор* мужиков. Этому способствовали также и низшие полицейские чины, урядники, а может даже кто и повыше, потому что урядники не пренебрегали никакими средствами, чтобы что-нибудь открыть. Мужики по поводу того, что некоторые господа были недовольны, что письма их будут распечатываться и прочитываться в волостных правлениях, наивно рассуждали, что у кого ничего худого в письмах нет, тому все равно, что письмо его будут читать на сходе. Но мало того, иные поняли это распоряжение еще и так, что письма приказано распечатывать в волости для того, чтобы господа не скрыли манифеста о земле. Тому, кто знает, что весь мужик убежден, что «все» сделали господа из мести за волю, тому, кто знает, что ближайшее к мужику начальство—староста, волостной, десятский, сотский—тоже мужики и как мужики совершенно убеждены, что бунтуют именно господа, будет совершенно ясно, какая в настоящее время существует в деревне путаница понятий.

Здесь, в деревне, поминутно натыкаешься на такие рассуждения, которые напоминают рассказ о солдате, который на вопрос, зачем ты тут поставлен, отвечал: «Для порядка». «Для какого порядка?». «А когда жидовские лавки будут разбивать, так чтобы русских не трогали».

Толки о том, что будет милость «насчет земли», только усилились нынешней весной, а начали ходить еще давно. Каждый, кто, живя в деревне, находится в близких отношениях к крестьянам, например, самолично ведет хозяйство, наверно слышал об этом еще в 1878 году, когда толки и слухи вдруг особенно усилились. После взятия Плевны о «милости» всюду говорили открыто и на сельских сходах, и на свадьбах, и на общих работах. Даже к помещикам обращались с вопросами, можно ли покупать земли в вечность, будут ли потом возвращены деньги тем, которые купили земли, и т. п., как я писал вам об

этом в моих прежних письмах. Все ожидали тогда, что в 1879 году выйдет «новое положение» насчет земли. Тогда каждое малейшее обстоятельство давало повод к толкам «о новом положении», приносил ли сотский барину бумагу, требующую каких-нибудь статистических сведений насчет земли, скота, построек и т. п., в деревне тотчас собиралась сходка, на которой толковали о том, что вот-де к барину пришла бумага насчет земли, что скоро выйдет «новое положение», что весной приедут землемеры землю нарезать. Запрещала ли полиция помещику, у которого имение заложено, рубить лес на продажу, толковали, что запрещение наложено потому, что лес скоро отберут в казну, и будут тогда для всех леса вольные: заплатил рубль, и руби, сколько тебе на твою потребу нужно. Закладывал ли кто имение в банк—говорили, что вот-де господа уже прочухали, что землю будут равнять, а потому и спешат имения под казну отдавать, деньги выхватывают.

Повторяю, после взятия Плевны, зимой 1878 года и в особенности летом 1879 года, о «новом положении» громогласно говорили повсеместно, нисколько не стесняясь и не скрываясь. Эта мысль глубоко сидит в сознании не только мужика, но и всякого простого русского человека не из господ. Понятием о земле простой человек резко различается от непростого. Эти понятия составляют самое характеристичное различие. Сумейте вызвать простого человека на откровенный разговор или, лучше, сумейте прислушаться к нему, понять его, и вы увидите, что мысль о «милости» присуща каждому—и деревенскому ребенку, и мужику, и деревенскому начальнику, и солдату, и жандарму, и урядннку из простых, мещанину, купцу, попу, и не только такому человеку, который, как мужик, мещанин, поп, не имеет собственной земли, а пользуется общественной, но и такому, который приобрел землю покупкою. Толки об этом никогда не прекращаются, но затихают до первого случая, до первого выходящего из ряда события.

До войны слухов и толков было меньше. Сильно толковать стали после взятия Плевны и как-то вдруг, сразу, повсеместно. «Кончится война, будет ревизия и будут равнять землю». Так как толковали совершенно открыто и повсеместно, то понятно, что обо всех этих толках скоро сделалось всем известно. Стали появляться в газетах корреспонденции из разных местностей России о ходящих в народе толках и слухах. Дошло, разумеется, и до начальства. Министр внутренних дел Маков, желая убедить народ, что никаких равнений не будет, так как правительство и закон ограждают собственность, издал в 1879 году известное «объявление». В сентябре того же года по военному ведомству сделано распоряжение, чтобы начальники воинских частей приняли меры к распространению в среде нижних чинов

«объявления» министра внутренних дел, так как слухи о предстоящем будто бы новом наделе земель проникли в войска, и вследствие этого некоторые унтер-офицеры отказываются от поступления на вторичную службу, надеясь получить, на основании указанных слухов, земельные участки.

«Объявление», однако, не достигло цели. Хотя некоторые газеты говорили в то время, что «положить конец недоразумениям всего лучше, став на почву права собственности, всем общего и понятного («Новое время»), но так как у мужика нет такой почвы, да и неоткуда было ей взяться, то оказалось, что положить конец недоразумениям невозможно. «Объявление» вызвало еще большие толки среди мужиков в направлении, совершенно обратном. Заметно только стало, что говорят осторожнее, не при всяком: «приказано не говорить пока о земле, до поры до времени». События 1879 года дали иное направление толкам, слухам. Толковали, что господа ставят препятствия, что если бы не злонамеренные люди, то было бы не то. Высокие цены на хлеб в 1880 году, недостаток хлеба и корма еще более повлияли в этом отношении. «Хлеба нет, хлеб дорог, мужику податься некуда, а у господ земли пустует пропасть».

Наконец, с весны 1881 года явилось полнейшее убеждение, что будет милость насчет земли.

Я очень внимательно следил за всеми этими слухами и толками и пришел к убеждению, что мысль о равнении землей циркулирует среди крестьянского населения настойчиво, издавна, без всякой посторонней пропаганды. Одно уже то, что толки об этом явились одновременно в известный момент (конец 1877 г.) повсеместно, во всей России, что говорили всюду, не стесняясь, без всякой опаски, что сами сельские начальники, сотские, старшины, поддерживали эти слухи, способствовали их распространению, служит, по моему мнению, несомненным доказательством, что слухи эти идут от самого народа, что мысль эта присуща самому народу.

Газетные корреспонденты совершенно ошибочно говорили, что слухи о переделе не продукт народной фантазии, как они выражались, совершенно ошибочно утверждали они, что слухи разносятся по селениям злонамеренными людьми, для которых нужно только смущать народ и нарушать общественное спокойствие. Все это совершенно неверно. Возможно ли допустить, чтобы какие-то злонамеренные люди вдруг могли разнести подобную мысль по всей России? Откуда взялась такая масса злонамеренных людей и куда они потом девались? И как они могли так обстоятельно привить мужикам известные убеждения, и не только взрослым, но и *малолеткам*, которые рассуждают совершенно так же, как взрослые, и, очевидно, сызмала всосали эти убеждения. Только люди, занимающиеся бумажным

делом, могут думать, что подобные убеждения прививают так легко: написал бумагу, циркуляр, передовую статью—прочитают и сейчас же убедятся. Как бы не так. Легко бы было прививать убеждения, если бы это делалось так просто. В наших местах, положительно можно сказать, не было ни злонамеренных людей, разносящих слухи по селениям, ни подметных писем, а между тем и у нас, как и везде, мужики после Плевны стали толковать, да и теперь совершенно убеждены, что будет «милость». Спросите любую бабу, любого малолетка, и он вам расскажет все совершенно обстоятельно.

Вот какие на моих глазах были случаи. Однажды утром пришел ко мне сотский и принес из стана бумагу, в которой требовалось, не знаю для чего, сообщить сведения о количестве земли, количестве построек в имении и т. п. Бумага самая обыкновенная, какие получаются очень часто. Начальство собирает статистику для какой-нибудь комиссии. Я взял бумагу, тотчас же на присланном бланке проставил требуемые сведения, запечатал, отдал сотскому для доставления обратно в стан. С сотским я ничего не говорил, никому из домашних о полученной бумаге тоже ничего не говорил, да и говорить было нечего, потому что ничего интересного в ней не было. Между тем, очень скоро, через несколько часов, я узнал, что в деревне на сходке уже толкуют о том, что барин получил бумагу насчет земли, что скоро выйдет новое положение, что весной приедут землемеры нарезать землю. В деревне ни от кого другого, кроме сотского, не могли узнать, что я получил бумагу, кроме сотского, никто не мог знать, что от меня требовали каких-то сведений о количестве земли. Стало быть, распространителем ложных слухов является полицейский сотский, который только кинул искру в готовый костер.

Дело объясняется очень просто: сотский в становой квартире или в каком-нибудь помещичьем доме, куда он заносит бумагу, слышал, что от помещиков требуют каких-то сведений насчет земли, построек и пр. Как мужик, да еще притом мужик бедный, плохой хозяин, неспособный к работе, сотский вместе со всеми мечтает о вольном лесе, вольной земле. Услыхав, что в бумаге требуют от помещиков сведений о земле, сотский вообразил, что это бумага «насчет земли», насчет «нового положения». Проходя по деревне, он сказал мужикам, что разносит по господам бумагу «насчет земли». Этого было достаточно. Собралась сходка, и пошли толки, разговоры. Слух тотчас же распространился и по другим деревням, где уже стали говорить: «сам видел бумагу, малахвест пришел к Б-му пану, сотский приносил». Чего проще? Никакого тут злонамеренного человека нет. И какого-нибудь сотского Ивана виноватить тоже нельзя, потому что точно так же поступил бы сотский Петр,

сотский Андрей, всякий сотский. Если бы становой и исправники стали убеждать сотских, что передела не будет, то еще того хуже было бы, сотские их не поняли бы, а напротив подумали бы, что вот тут-то скоро и будет: «сам исправник говорил». Вам может показаться это странным, но вот факт: нынешним летом бабы в деревне рассказывали, что приезжал становой и сам говорил, что будет милость насчет земли. Конечно, становой ничего не говорил или, если говорил что-нибудь, то совсем не то, но, повторяю, при известном настроении, охватившем всех, люди слышат и видят только, что сами хотят. Когда пошли строгости и приказано было осматривать у всех паспорты, останавливать проезжающих и пр., то все эти меры исполнялись мужиками очень усердно, потому что мужики думали, что, когда переловят господ, которые бунтуют, то вот тогда и будет «милость». Со стороны очень странно было видеть, как различно понимают дело разные люди: высшие полицейские чины «из господ» под злонамеренностью понимали одно, а низшие полицейские чины «из мужиков» понимали совершенно другое, противоположное. По одним, тот, кто думает, что нужно поравнять землю—злонамеренный человек, по другим—злонамеренный человек тот, кто думает, что не нужно равнять землю. Путаница понятий страшная, и выходит иногда очень комично.

И волостное начальство тоже нужно причислить к злонамеренным людям. В самом деле, мужик хочет купить у помещика землю и, ввиду слухов о переделе, советуется с своим родственником, волостным старшиной. И что же? Старшина не советует покупать, как бы деньги не пропали, потому что скоро, с нового года, «новое положение насчет земли выйдет».

Вот и волостной старшина является злонамеренным человеком. Или, может быть, этого старшину смутили какие-нибудь злонамеренные люди, стремящиеся нарушить общественное спокойствие? Ничего этого нет. Просто старшина, как и сотский, как и всякий мужик, верит и по родству предупреждает своего дядю, «чтобы деньги не пропали». А дядя, мужик, которого предупреждал старшина,—странствующий коновал. Каждое лето он обходит за своей работой тысячи деревень в разных губерниях. Неужели же он так-таки все и молчит? Как человек, желающий купить подходящую землю и опасающийся, чтобы деньги не пропали, он неминуемо будет стараться разузнать, что слышно насчет земли. Зайдя для работы ко мне, он и со мной посоветовался и меня расспросил, не слышно ли чего насчет земли по ведомостям. Точно так же, он непременно будет разговаривать и с мужиками, у которых работает, будет разузнавать, расспрашивать, сообщать свои опасения, свой разговор с старшиной. Этот странствующий коновал явится, таким образом, сам того не зная, распространителем ложных слухов. И за-

метьте, хотя этот коновал и посейчас остается при своих мужицких понятиях о земле, это все-таки не помешало ему купить землю. Он купил 90 десятин земли—земля продавалась очень дешево, кажется, по 5 рублей за десятину—и начал ее разрабатывать, выкорчевал и сжег часть зарослей, засеял рожью и, по моему примеру, хочет весною по ржи посеять клевер, для чего просил для него семян.

Я совершенно уверен, что если какой-нибудь простой человек разговорится по душе за стаканом пива с скучающим на станции в ожидании поезда жандармом о податях, о земле, о господах, то жандарм будет говорить то же, что и все мужики, потому что он, *как мужик*, имеет такие же убеждения.

Предостерегать в этом смысле сельское население, по меньшей мере, бесполезно. Точно так же бесполезно предостерегать солдат. И как ни подделывайся к мужицкому языку, бумага будет не понята или понята совершенно в обратном смысле.

«Читали,—скажут,—в волости бумагу насчет земли». «Насчет «милости» бумага пришла, равнять будут». Даже и грамотные, которые сами будут читать, и те ничего не поймут или поймут наоборот, а если кто поймет смысл бумаги, *то не поверит, чтобы это была настоящая бумага*. Это господа, злонамеренные люди, выдумали, а настоящая бумага должна быть не такая.

Сельское начальство предостерегали! Мало того, сельскому, волостному, полицейскому начальству вменено было в обязанность зорко и неослабно следить за появлением вестовщиков, а введенных в обман всячески вразумлять и удерживать от распространения вредных слухов. Но, спрашивается, как же сельское, волостное и низшее полицейское начальство будет предпринимать меры против распространения слухов, когда само это начальство *твердо убеждено*, что рано или поздно будет милость, само *с жадностью ловит* всякие известия, до этого предмета относящиеся, само *распространяет их*.

Кто будет принимать строгие меры против сотского, сообщающего в деревне, что он несет помещикам бумагу насчет земли? Не деревенский ли староста, жаждущий сам узнать что-нибудь насчет земли?

Кто будет принимать строгие меры против волостного старшины, предостерегающего дядю-мужика от покупки земли, чтобы деньги как не пропали? Уж не сотский ли? Только исправник, становой да иной урядник могут понять смысл бумаги и будут говорить, что ни теперь, ни в последующее время никаких дополнительных нарезок к крестьянским наделам не будет и быть не может.

Конечно, когда исправники пригрозили старшинам, чтобы не было разговору насчет земли, то и те, в свою очередь, при-

грозили старостам и десятским: «не велено, дескать, болтать зря насчет земли до поры до времени».

Что же касается приказа «следить», то это исполняется строго: Стой! билет есть? Тащи его в холодную. И тащат иной раз бедного акцизного чиновника, посещающего ночью подозрительный винокуренный завод.

Тем не менее газетные корреспонденты ошибочно передавали, что в народе ходят слухи, будто с предстоящей ревизией земли от помещиков отберут и передадут крестьянам. Толковали не о том, что у одних отберут и отдадут другим, а о том, что будут равнять землю. И заметьте, что во всех этих толках дело шло *только о земле* и никогда не говорилось о равнении капиталов или другого какого имущества.

В объявлении бывшего министра внутренних дел, г. Макова, совершенно верно было сказано, что в сельском населении ходили слухи и толки о *земле*. Именно толковали о том, что будут равнять землю и каждому отрежут столько, сколько кто может обработать. Никто не будет обойден. Царь никого не выкинет, каждому даст соответствующую долю в общей земле. По понятиям мужика, каждый человек думает за себя, о своей личной пользе, каждый человек эгоист, только мир да царь думают обо всех, только мир да царь не эгоисты. Царь хочет, чтобы всем было *равно*, потому что всех он одинаково любит, всех ему одинаково жалко. Функция царя—*всех равнять*.

Дело это, о котором столько говорят, мужики понимают так, что через известные сроки, при ревизиях, будут общие *равнения всей земли* по всей России, подобно тому, как теперь в каждой *общине*, в частности, через известные сроки, бывает передел земли между членами общины, причем каждому нарезается столько земли, сколько он может осилить. Это совершенно своеобразное мужицкое представление прямо вытекает из всех мужицких аграрных отношений. В общинах производится через известный срок передел земли, *равнение* между членами общины; при общем переделе будет производиться передел всей земли, *равнение* между общинами. Тут дело идет вовсе не об отобрании земли у помещиков, как пишут корреспонденты, а об равнении *всей земли*, как помещичьей, так и крестьянской. Крестьяне, купившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти «законным порядком за ними укрепленные земли» могут быть у «законных владельцев» взяты и отданы другим. Да и как же мужик может в этом сомневаться, когда, по его понятиям, вся земля принадлежит царю и царь властен, если ему известное распределение земли невыгодно, распределить иначе, *поравнять*. И как стать на точку закона права собственности, когда населе-

ние не имеет понятия о праве собственности на землю? Давно ли мужики, дотоле никогда не владевшие землями, стали покупать земли в собственность! Возможно ли, чтобы исконные понятия переменились так быстро? Да и много ли таких, которые купили земли? Могут ли единицы так быстро отстать от мира, стать с ним в разрез? Разве, купив земли, мужик купил вместе с тем понятие о праве собственности на землю, определенное законом? Мужик и законов-то никаких об укреплении земли не знает, точно так же, как не знает законов о наследстве. Мало того, мужик имеет даже смутное представление о праве собственности и на другие предметы, потому что если земля принадлежит обществу, состоящему из известных членов, то другие предметы, скот, лошади, деньги, принадлежат дворам, семьям. Этот конь наш, то-есть такого-то двора. Отец, хозяин двора, не может не дать отделяющемуся сыну лошадь. Мир его принудит разделить имущество двора по справедливости. Во всяком случае равнение, по мнению мужика, не может быть по отношению к кому-нибудь неправдой или обидой.

Видя, что у помещиков земли пустуют или обрабатываются не так, как следует, видя, что огромные пространства плодороднейшей земли, например, из-под вырубленных лесов, остаются невозделанными и зарастают всякою дрянью, не приносящей никому пользы, мужик говорит, что такой порядок царю в *убыток*. Хлеба нет, хлеб дорог, а отчего? Оттого что нет настоящего хозяйства, земли заброшены, не обрабатываются, пустуют. *Царю выгоднее*, чтобы земли не пустовали, обрабатывались, приносили пользу.

По понятиям мужика, земля—царская, конечно, не в том смысле, что она составляет личную царскую собственность, а в том, что царь есть распорядитель всей земли, главный земляной хозяин. На то он и царь. Если мужик говорит, что царю невыгодно, когда земля пустует, что его царская польза требует, чтобы земля возделывалась, то тут дело вовсе не в личной пользе царя—царю ничего не нужно, у него все есть,— а в пользе общественной. Общественная польза требует, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатывались, производили хлеб. Общественная польза и справедливость требуют равнять землю, производить переделы. Мужик широко смотрит на дело, а вовсе не так, как сообщают разные корреспонденты: отнимут землю у господ и отдадут крестьянам. Нет, это не так. Царь об общественной пользе думает. Видит царь, что земля пустует, и скорбит его царское сердце о таком непорядке. Видит царь что у одних земли мало, податься некуда, а у других много, так что они справиться с ней не могут, и болит его сердце.

И ждет мужик царской милости насчет земли, ждет нового царского положения, ждет землемеров к весне.

Весна. Нет корму, скот голодает, отощал. «Потерпим, теперь уж недолго, скоро даст боженька тепло». Показалась кое-где травка, овечка, слава богу, отвалилась. «Потерпим, теперь не к рождеству дело идет, а к петрову дню. Вот и Егорий, даст бог дождичка, станет тепло, касаточка прилетит, скотинка в поле пойдет. Потерпим».

Нет хлеба, голодают. «Потерпим, теперь уж недолго, только бы до Ильи дотянуть». Мужик мечется, хлопочет, как бы раздобыться осьминкой ржицы или хоть пудиком мучицы. Недолго теперь дожидаться, скоро и матушка поспеет «Недолго ждать, потерпим. Смилостивился боженька, цвела нынче «матушка» отлично. Бог не без милости, подаст что-нибудь за труды. Бог труды любит. Боженька больше даст, чем богатый мужик...». И живет человек в ожидании Ильи.

Смололи первую рожь. Все ликуют. Новь. Хлеб вольный, едят по четыре раза в день. Привезли кабатчику долги, заклады выкупают. Вышили. «Что пьянствуете,—говорит старшина, наливая из полштофа третий стакан,—чем подати платить будете?».—«Податя заплатим, Вавилыч, заплатим! Даст бог, семячко продадим, конопельку, пенечку—заплатим. Бог не без милости, даст бог, заплатим».

Продали семячко, конопельку, пенечку, заплатили податя, отгуляли свадьбы, справили никольщину, святки проходят, до Аксиньи недалеко. Хлебы коротки стали. Едят три раза в день. Новые подати поспевают. «Ничего не поделаешь,—придется, кажется, у барина работу, кружки брать. Не вывернешься нынче, хлеба мало, податями нажимают,—придется хомут надеть. Даст бог, отработаем».

Зима. Соберутся вечерком в чью-нибудь избу, и идет толк: «Царь видит, сколько у господ земли пустует,—это царю убыток. Царь видит, какое мужику затесненье, податься некуда, ни упруги для скотины, ни покоса, ни лесу. Вот придет весна, выйдет новое положение, наедут землемеры». Насчет лесу теперь какое закрепленье вышло: ни затопиться, ни засветиться. Вот скоро выйдет новое положение, леса будут вольные: руби, сколько тебе нужно на твою потребу. Подождем.

И идет какой-нибудь бедняга Ефёр с вечерней сходки в свою холупинку, мечтает о вольной земле, когда всюду будет простор. Пустил кобылу не путавши, и никто ее в потраве не возьмет, мечтает о вольном лесе, когда не нужно будет раздобываться лучиной и дровами: пошел в лес, облюбовал древо, срубил,—вот тебе дрова и лучина—топись и светись хоть целый день. А на утро тот же Ефёр идет к барину добыть осьмину ржи, «возьмусь убрать полдесятины луга да скосить десятину клевера», рассчитывает он.

Прислушиваясь к толкам массы, слышишь только жалобы, мечтания, упования, надежды. События вызвали массу легенд, рассказов, толков. «Это господа сделали, господа сговорились, подкупили, споили. Приказано смотреть за господами, приказано не наниматься к господам в работники, приказано прежде свой хлеб убирать, свой хлеб сыплется, а ты иди к пану работать! Как бы не так! Мало ли что обязался—не приказано. Приказано жидов разбивать...».

Так толкует масса. Этими отрывочными восклицаниями исчерпываются все толки, общий смысл которых понятен. Иначе, более определительно толкуют богачи, богатые мужички, кулаки. Конечно, и богач-кулак тоже непрочь позюкать на вечерней сходке, где мечтают о переделе, о новом положении, хотя богачи не придают большого значения этим неопределенным мечтаниям, упованиям и больше всего налегают на то, что господа бунтуют, господа мешают, и если бы не господа... Богачи-кулаки—это самые крайние либералы в деревне, самые яростные противники господ, которых они мало того что ненавидят, но и презирают, как людей, по их мнению ни к чему неспособных, никуда негодных. Богачей-кулаков хотя иногда и ненавидят в деревне, но, как либералов, всегда слушают, а потому значение их в деревне, в этом смысле, громадное. При всех толках о земле, переделе, о равнении кулаки-богачи более всех говорят о том, что вот-де у господ земля пустует, а мужикам затеснение, что будь земля в мужицких руках, она не пустовала бы и хлеб не был бы так дорог. Но что касается собственно толков о «равнении земли», то богачи-кулаки все это в душе считают пустыми мужицкими мечтаниями, фантазиями, иллюзиями. Принимая самое живое участие в деревенских толках, подливая масла в огонь, они на стороне с презрительной усмешкой говорят, что это мужики все пустое болтают. «Статочное ли дело,—говорят,—что так и отберут у всех земли! Теперь это уж и нельзя, потому что многие земли мужичками и купцами куплены. Просто так будет, что господские имения, которые заложены, как только барин не заплатит в срок, будут отбирать в казну и потом мужикам раздавать!». А то еще, рассуждают они, обложат все господские земли податями, по полтиннику или по рублю с десятины. Многие ли господа в силах будут заплатить такую подать?—Один, два. Те, которые на том только хозяйничают, что мужичка землей затесняют, разве в силах будут платить? Вот у таких земли будут отбирать и мужикам отдавать, которые возьмутся платить. А богатых мужичков с деньгами много найдется: деньги внесут, землю под себя возьмут и пользу в земле найдут, потому что мужичкам земля нужна. А то и так будет: найдется богатый мужичок, который деньги внесет, земля под общество пойдет,

а общество мужику выплачиваться будет. Богач найдет, с чего взять.

Много толков, много слухов, много разных легенд ходит в народ. Общий вывод, какой можно сделать из всех этих слухов и толков, тот, *что мужику мало этой земли, которою он наделен, что ему нужно еще земли*, что он *платить готов* и заплатит царю *более, чем кто другой*, лишь бы было из чего платить. Мужик видит упадок помещичьих хозяйств, всю несостоятельность их, мужик видит, что большинство этих хозяйств держится только нажимом, отрезками, выгонами и пр., он видит, что массы господских земель или пустуют, или истощаются беспутно, вследствие дурного хозяйства, сдачи в аренду на выпашку. Мужик говорит, что все это в убыток царю, государству, что от этого и хлеб, и все дорого, что это не порядок. И мужик терпит, ждет, уповает.

Интеллигенция не просмотрела это положение вещей, в литературе давно уже поднят вопрос о малоземелье, о недостаточности наделов, о несоответствии платы за землю с ее доходностью и пр. Исследования показали, в какой упадок пришли наши хозяйства в последнее время. В этом отношении исследования как частных лиц, так правительственных комиссий совершенно совпадают с мнениями мужика, выражающимися в его толках. Однако и в литературе есть органы, которые, противно голосу народа, доказывают, что малоземелья вовсе нет. Эти литературные органы говорят, что малоземелье выдумано либералами, что это только либеральный догмат, неожиданно, как лопушник, выросший поперек дороги («Русь», 1881, № 11). Они доказывают, что мужик наделен достаточным количеством земли, что никакой прибавки земли не нужно, что это даже было бы вредно, потому что мужик истощил бы и эту землю, как истощил свои наделы (?!). Они говорят, что расширение крестьянских наделов убьет всякую идею о выработке новых, лучших форм хозяйства. Не будучи в состоянии отрицать, что народ жаждет земли, что все его надежды и упования заключаются в этом, они говорят, что мужик, по глупости, хочет все больше и больше расширяться по земле и вести истощающее, грабительское, экстенсивное хозяйство. Агрономы «Руси», нахватавшиеся из популярных французских книжек кое-каких поверхностных химических знаний, говорят, что мужик наделен достаточным количеством земли, но только не умеет ею пользоваться рационально, а потому не получает с нее того, что следовало бы. Они указывают, как много получает немецкий мужик с такого же количества земли, они советуют мужику изменить систему хозяйства, вести хозяйство интенсивное, советуют мужику удобрять землю виллевскими искусственными туками. Идеал агрономов «Руси»: мужик, живу-

щий на интенсивно обработанном клочке земли. Мужичок в сером полуфрачке посыпает виллевскими туками свою нивку, баба в соломенной шляпке пасет свою коровку на веревочке по клеверному лужку. Восхитительная картина! Точно в Германии.

Вот уже целый год продолжается в «Руси» это выбивание либерального догмата, которым, однако, проникнут и весь мужик, чего «Русь» знать не хочет. Читая статьи славянофильских агрономов, удивляешься только нахальству и бесстыдству этих недоучек. Мужик глуп, мужик не понимает хозяйства, мужик не знает, что скот нужно хорошо кормить, чтобы он был производителен, мужик не умеет убирать сено, ухаживать за скотом, рационально утилизировать молочные продукты. Ест, дурак, сам молоко, творог, топленое масло, вместо того, чтобы приготовлять из него парижское масло и честер для продажи господам. Мужик не знает, что нужно удобрять землю, вести интенсивное хозяйство. А между тем мы видим, что этот мужик, который не знает, что скот нужно хорошо кормить, в страду, в покос работает по двадцати часов в день, убивается на работе, худеет, чернеет с лица и все для того, чтобы заготовить побольше корму для скота. Мы видим, что этот мужик, который не понимает, что нужно удобрять землю, плохо ест, мало спит, лишь бы только заготовить побольше удобрения.

Я сел на хозяйство в 1871 году и, смею думать, достаточно подготовленный научно. Теперь, прохозяйничав одиннадцать лет, доведя хозяйство мое, по его производительности, до блестящего состояния, я говорю, что в общем разделяю воззрения мужика на хозяйство. Я считаю, что хозяйственные воззрения мужика, в главных своих основаниях, чрезвычайно рациональны, если смотреть на дело с точки зрения общей, государственной пользы.

Если мы посмотрим на частные хозяйства, ведущие свое дело рационально, достигшие большой доходности, то мы увидим всегда, что эти хозяйства имеют значение только сами для себя и никакого общего значения их системы, приемы и пр. не имеют. Для себя эти хозяйства рациональны, но для общего хозяйства страны они не имеют смысла. Возьмем, например, хозяйство, в котором разведен отлично молочный скот, дающий огромный доход. Уход за скотом образцовый, сено заготовляется самого раннего закоса, скот летом подкармливается травой и пр., и пр. Все это, предполагаю, делается не для виду только, а действительно. Хозяин показывает вам жирных вычищенных альгаузских, голландских и иных скотов, дающих огромный доход и рассказывает, как рационально он их кормит, показывает вам великолепное сено, для которого трава убрана еще в полном соку. Все это прекрасно, отлично, положим, и выгодно, но все это прекрасно, рационально и выгодно только для него,

для этого хозяина и не имеет никакого значения для общего хозяйства страны, так что мужик, оставляющий свою траву подрасти, чтобы было побольше сена, поступает рациональнее, если мы посмотрим с точки зрения общей пользы хозяйства страны. Точно так же с этой точки зрения может быть более рациональным, когда мужик приготовляет топленое русское масло, сухой творог с маслом по-русски и пр. и пр. Точно так же и воззрения мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы «Руси» с виллевскими туками. Чтобы развить мою мысль, я должен обратиться к примерам специально из моего хозяйства.

Нынешним летом я пошел однажды, в праздник, в ржаное поле посмотреть отдаленный от дома участок ржи, посеянной *для испытания* на «нови», на самой плохой земле, какая только нашлась в моем имении.

Еще издали, подходя к участку, я заметил, что кто-то болтается около ржи, подхожу ближе, вижу, знакомый мужик из соседней деревни тоже прогуливается, так себе, без дела, осматривает мою рожь.

— Здравствуй, Потап, что, тоже прогуляться вышел?

— Да, праздничным делом, вышел рожь вашу посмотреть. Удивленье!

— Что ж? Хороша?

— Степь, как есть степь!

— А вы, небось, думали, ничего не будет. Смеялись, чай, как я этот участок драть начал.

— Правда, думали, что ничего не будет. Да помилуйте, как же можно ожидать было, что тут такая рожь будет! Самая пустая земля, трава не росла, а вы распахали.

— То-то вот. Это вы здесь привыкли на старой пахоте болтаться, а посмотри-ка в Бельщине, как за пустоши взялись, щетина, кочка, а он дерет—и с хлебом. Вот и я надумался за пустоши взяться, облоги-то у меня все распаханы. Какова ржица?

— Степь, как есть степь!

— Еще получше степи. Во всем поле у меня такой ржи нет, как на этом участке. Стебель-то, посмотри, какой—тростник. Раскустилась-то как! Тут, если господь все совершит, сколько хлеба будет?

— Много намолотите.

— На свежих землях у нас хлеб отлично родится. Сколько я облог поднял—какой везде отличный хлеб был. И мужики ведь говорят, что на переяловевшей земле хлеб отлично родится.

— То облоги, пахота прежде была. В облоги-то мы теперь и сами руку вломили. Сами знаете, снимаем в Б., сеем лен,

рожь—большую пользу нашли, всегда с хлебом теперь. А тут ведь пустак был, никто не помнит, чтобы тут когда хлеб сеяли, трава не росла,—кочки, щетина, лозник.

— А вот же. Не хуже, чем на облоге хлеб. Увидите, какой хлеб—не будете кочек, щетины бояться, сами станете пустоши снимать и распахивать. Задешево отдавать будут. Пустошей-то видимо-невидимо без пользы стоят.

— Да, пустует земля, а ведь вот какой хлеб мог бы родиться. Хлеб-то дорог, а земли пустует много.

— То-то.

— У вас вон сколько земли разделано, какое хозяйство развели, на всю округу гремит.

— Да если бы все такое хозяйство развели, как мое, так откуда бы батраков взять? Ты вот в батраки не пойдешь, сам норовишь где-нибудь землицы снять. Тоже из вашей деревни никто не пойдет, все норовят облоги снимать.

— Облог вблизи мало становится, все пораспахали.

— Довольно еще. Вон Ф. хозяйство уничтожается, станут на выпашку облоги отдавать. А там еще какое хозяйство уничтожается—опять облоги на выпашку. Облоги повыпашете, пустоши приметесь выпахивать. Много еще земли. Вон под В., говорят, все уже повыпахано, все пустыри стали, не скоро отдохнут, а у нас еще свежих земель довольно.

— А вы этот участок, верно, клевером засеете?

— Конечно, не сейчас только. В будущем году яровым засею, овсом частицу, ячменем, льном, всего понемножку, может даже и картофелю посажу, чтобы вы посмотрели, какой хлеб на кочке и щетине родится, а там опять рожь и по ней клевер.

— Так. И клевер, верно, будет хорош?

— Надеюсь, что будет. Года три буду косить, а потом под выгон, а там отдохнет, переяловеет, опять подыму, так кругом и пойдет. Знаешь мой порядок: новые земли распахиваю, а старые клевером засеваю. Вот у меня и хлеб, и травы.

— Знаю.

— А вы вот облоги снимете, льном, хлебом пересеете, пока что родится, а потом бросите, и стоит пустырем. Навозу не кладете, клевером под конец не обсеваете. Как повыпашете—все и будут пустыри, как под В.

— А что ж на чужую землю навозить и клевером обсевать, мы навоз-то на свою землю валим.

— То-то на свою землю валите. Со всех концов корм себе везете, а навоз на свою землю валите. Вот и возьми тебя в батраки.

— А что ж мне его на чужую землю возить, коли бы землицы побольше было, я бы тоже его разложил, сумел бы.

Действительно, рожь, посеянная на этом участке для испытания, была замечательно хороша, лучшая в моем поле, лучшая в округе, но всего замечательнее то, что земля в этом участке была самая пустая, не приносившая никакого дохода, таких земель у нас всюду пропасть. Даже сам я не ожидал такого результата. Правда, я всегда думал, что наши пустошные земли по большей части вовсе не дурные земли, но только одичавшие, истощенные поверхностно, и надеялся, что при культуре они будут не хуже пахотных земель, но все-таки я не ожидал, что они у нас с «нови» будут давать такие замечательные урожаи.

Участок, выбранный мною для испытания, величиной в две казенных десятины, лежит в конце поля и примыкает к лугу на речке. Место покатое, для пахоты удобное, не слишком сырое, хотя и обращенное к северу. Вероятно, когда-нибудь, лет пятьдесят тому назад, участок этот был под пахотой, но потом запущен и ходил то под покосом, то под выгоном, хотя это был и плохой покос, и плохой выгон. Я застал этот участок в самом диком, некультурном состоянии, он был покрыт моховыми кочками, местами паршивыми лозовыми кустиками, зарос мхом и густой щетиной, белоусом, сквозь который пробилась кое-где травка-дубровка, куманица. В те годы, когда участок приходился за паром, он был под выгоном, выгон это был плохой, скот и кони только проходили по участку, потому что взять на щетине было нечего. В те годы, когда участок был за хлебом, его покашивали, обыкновенно его брал «побить» с третьей копы какой-нибудь лядащий мужичонко, не успевший раздобыться покосом. Обыкновенно со всего участка накашивалось не более шести копен сена, из которого мне доставалось две. Вот такой-то пустак, дававший три копны плохого сена с десятины, я и задумал для испытания пустить в обработку, так как, по моим соображениям, этот пустак был потому только мало производителен, что земля, не находясь в культуре, одичала. Я надеялся, что и эта одичавшая земля, производящая только мох и щетину, как земля «свежая», «переяловевшая», будет с «нови» давать хорошие урожаи.

Осенью 1878 года участок, предварительно очищенный от кустиков лозы, был поднят шведским одноконным плужком № 29, причем посредине участка во всю ширину была оставлена неподнятою довольно широкая полоса, дабы впоследствии наглядно можно было видеть каждому, что достигнуто культурой на такой почти сплошь поросшей мхом и щетиной земле.

Весной 1879 года участок был хорошо разборонован вдоль пластов железными боронами и по пласту посеян лен, которого высеяно полторы четверти. Лен вышел не особенно хорош, неровен, местами был густ и высок, местами низок и редок. Однако все-таки с участка было собрано 30 коп, из которых намоло-

чено 6½ четвертей льняного семени и намято 45 пудов льну. Семя продано по 10 рублей 50 копеек за четверть, лен по 2 рубля 40 копеек за пуд. Следовательно, за семя было выручено 68 рублей 25 копеек, а за лен 108 рублей. Всего же с участка было выручено на 176 рублей 25 копеек в первый год, что он был под льном.

Участок давал прежде 6 коп сена, стоящего много 6 рублей.

Под льном он дал на 176 рублей 25 копеек семени и волокна, да еще мякину на корм скоту и костру на подстилку.

Льнище было оставлено непаханным. Зимою 1879—1880 года на участок было вывезено 200 одноконных зимних возов навозу. Весной навоз был запахан, в течение лета 1880 года участок был подвергнут паровой обработке и засеян двумя четвертями озимой ржи. Осенью 1880 года зелень на участке была прекрасная, весною нынешнего года зелень вышла из-под снега в хорошем состоянии и затем великолепно пошла в ход, так что скоро рожь стала лучшей не только в моем поле, но и во всем округе.

Поразительно было видеть такую великолепную рожь на пустой, повидимому, плохой земле, как свидетельствовала оставленная посредине участка непаханной полоса в первобытном виде, густо заросшая щетиной. Урожай превзошел все ожидания. На участке нажато 48 копен, *из которых намолочено 26½ четвертей ржи*. Так как посеяно 2 четверти, то, значит, рожь пришла *сам-13*. Урожай великолепнейший, лучшего не надо, такой урожай, какой у нас редко бывает на самых лучших, сильно удобренных землях. При нынешней цене, 12 рублей за четверть, с участка выручено за 26½ четвертей 318 рублей, да за солому и мякину (считая по 10 копеек за пуд, что еще дешево по нынешнему неурожайному на кормы году) нужно положить 42 рубля, итого с участка под рожью получено 360 руб.

Сопоставьте следующие цифры:

В диком состоянии участок давал 6 коп сена на 6 рублей.

Первый год под льном дал на 176 рублей.

Второй год под рожью дал на 360 рублей.

Всего за три года (так как один год участок был под паром) с участка получено на 536 рублей. Кладите, что хотите за семена, навоз, работу, и все-таки останется огромная польза. Я буду далее разрабатывать этот участок: в будущем году засею его яровым, потом, удобрив, засею рожью и по ней клевером с тимофеевкой, оставлю на несколько лет под покосом и выгоном, пока будет давать стоящие укосы, а затем опять лен, рожь и т. д. Но, если бы и не продолжать культуру, а, взяв один раз яровое, оставить под покос и выгон, то разве участок не будет давать те же 6 коп сена, которые давал прежде? Будет давать больше 6 коп и лучшего, чем прежде, качества сена.

Когда участок был под льном, то крестьяне еще не особенно им интересовались, но в нынешнем году, когда они увидали, какой вышел хлеб, и узнали, что, посеяв на участке 2 четверти, я намолотил 26 четвертей, то удивлению не было конца. В самом деле, 26 четвертей—ведь это целое богатство для нашего мужика, у которого нехватает хлеба для прокормления. 26 четвертей—ведь это достаточно для прокормления в течение года семьи из 10 душ. 26 четвертей при посеве двух! Мужик при посеве 2 четвертей на своем наделе, получает 8, много 12 четвертей, то-есть сам-6, в помещичьих хозяйствах урожай сам-6 тоже считается отличным.

Я постоянно удобряю все поле под рожь отличным навозом: скот получает клевер, сено, жмыхи, муку, овес. Кроме этого $^1/_3$ ржи всегда приходится по свежей земле после льна, посеянного на облогах или на десятинах, бывших шесть лет под клевером. Мой хлеб обыкновенно бывает один из лучших в округе, а между тем при посеве 1 ½ четверти на хозяйственную десятину в 3 200 кв. сажень, я имел последние годы следующие урожаи:

В 1876 году у меня рожь пришла сам—$6^1/_4$
В 1877 году сам - $6^1/_2$
В 1878 году сам - $8^1/_4$
В 1879 году сам - $6^1/_2$
В 1880 году сам - $7^1/_2$
А тут сам - 13!

На переяловевших землях хлеб всегда хорошо родится, говорят мужики. Они убедились в этом, арендуя облоги в помещичьих имениях и засевая их льном, а потом рожью, но и мужики в наших местах не знали—еще *не дошли*,—что пустоши, заросшие щетиной, могут давать урожаи хлеба не хуже облог.

— Вот тебе и щетина. Посеял 2 четверти, а намолотил 26,—хвастаюсь я.

— Все-таки же вы и навоз клали на эту землю,—заметил мне один мужик.

— Клал. По 100 возов на десятину положил. А вы разве не кладете навозу на свои земли? Ты разве мало положил навозу на подворную землю? А много ли ты намолотил? Из двух кулей 10 намолотил ли?

— Десять, должно быть, намолотил.

— А я 26! Вот тебе и щетина, кочка!

— Да, теперь и мы щетины и кочек бояться не будем. Во как пустоши драть возьмемся.

— И отлично будет.

В два посева выручено на 536 рублей с пустака, который давал всего по 6 коп плохого сена! А сколько *у нас таких пустошей стоят непроизводительными* в одной только Смолен-

ской губернии! Куда ни поедешь, везде пустоши и пустоши с самой скудной растительностью. Какое количество хлеба производилось бы, если бы эти пустоши распахивались! Теперь Смоленская губерния нуждается в привозном хлебе, но если распахать пустоши, то мы не только не нуждались бы в хлебе, но завалили бы им рынок. Распахать эти пустоши может только мужик, а нам говорят, что мужик должен вести интенсивное хозяйство с виллевскими туками на маленьких кусочках и что только таким путем может быть поднято наше упавшее хозяйство. В № 11 газеты «Русь» за 1881 год, в статье «Наше земское самоуправление», редакция, сообщая о том, что смоленское земство, по инициативе вяземского помещика Шарапова, взялось за земскую(?!) разработку вопроса об искусственных удобрениях, говорит: «таким образом, вопрос о поднятии сельского хозяйства смоленское земство поставило на совершенно новый путь и этим сразу отрешилось от всех рассуждений о малоземелье». «Быть может, вопрос о выгодности туков,—говорится далее,—разрешится на практике и отрицательно, важна лишь его постановка, основанная на сознании собрания, что *не в недостатке земли заключается зло, губящее сельское хозяйство, а в несоответствии этого хозяйства с законами природы, причем пропадает даром чуть не вся масса труда крестьянина*» (подчеркнуто в подлиннике).

Мы не знаем, что сделало смоленское земство по части земской разработки вопроса об искусственных удобрениях. Кажется, что ничего. Г. Шарапов предлагал организовать земский кредит на искусственные удобрения! В земствах не раз поднимался вопрос об организации кредита крестьянам для прикупки земель, коих у нас пустует множество, *но этому «Русь» не сочувствует, так как она считает малоземелье выдумкой либералов.* «Русь» сочувствует организации кредита на искусственные удобрения!

Однако что за бессмыслица такая! Огромные пространства земель, которые могут дать превосходные урожаи хлеба, доходящие до сам-13, чего и с виллевскими туками не достигнешь, мы оставим пустовать—ни богу свечка, ни чорту кочерга,—а сами засядем на маленькие кусочки земли и будем их удобрять виллевскими туками, в выгодности которых даже сама «Русь» сомневается.

Огромные пространства пустошей стоят непроизводительными, и пустоши эти владельцы готовы продать дешево, потому что владельцам, ничего или очень мало получающим с этих пустошей и только платящим за них поземельный налог, выгоднее продать земли и иметь капитал, с которого они могут получать проценты. Вместо того, чтобы помочь жаждущим земли, затесненным на своих наделах крестьянам скупать пу-

стующие земли, с которых они, распахав, могут выбрать суммы, имеющие с лихвою покрыть уплаченные за земли деньги, предлагают организовать кредит на искусственные удобрения! Этому «Русь» сочувствует, это она считает правильной постановкой вопроса. Что угодно, какие хотите делайте глупости, только не затрагивайте вопроса о малоземелье!

Мужик хочет земли, потому что он знает, что в земле найдет пользу. У землевладельца земля пустует, и он не знает, что с ней делать. И тому, и другому было бы выгодно, чтобы земля пришла к месту. Мужик нашел бы пользу в земле, землевладелец нашел бы пользу в капитале. Нет, пусть земля останется пустовать, а мы устроим кредит на виллевские туки. Ну, а если мужик, взяв деньги в кредит, не найдет пользы в виллевских туках, чем же он тогда платиться будет? Что же, у него тогда за долг последний надел отобрать?

Я рассказал выше, какие замечательные результаты дает распашка даже самых плохих, одичавших пустошных земель. Таких земель у нас пустует *видимо-невидимо*. Но вот что замечательно, что на старопахотных землях (старопахотными я называю крестьянские и помещичьи пахотные земли, которые обрабатываются), *даже при сильном удобрении* и хорошей обработке, получаются далеко не такие отличные урожаи, какие получаются при разработке «новей», пустующих теперь, одичавших земель, дающих лишь скудные урожаи трав. На этих облогах, пустошах, «с нови» хлеба родятся превосходно и *при слабом удобрении*.

Я в моих статьях много раз уже указывал на это обстоятельство и на вытекающую из него необходимость изменить систему хозяйства в нечерноземной полосе, но до сих пор я говорил только о необходимости расширять хозяйство на счет облог, то-есть запущенных, после «Положения», полей, теперь же я из опыта убедился, что не только облоги, но и пустоши—раз место не низко и годно для хлебопашества—могут с «нови» давать отличные урожаи хлеба, и потому расширение хозяйства может итти и на счет пустошей. В противоположность агрономам «Руси», которые говорят, что массы земель нужно оставлять пустовать и лишь на кусочках вести интенсивное хозяйство с виллевскими туками, я, на основании научных соображений, на основании многолетней практики, в один голос с мужиком говорю, что мы должны, наоборот, *вести экстенсивное хозяйство*, *расширяться по поверхности*, *распахивать пустующие земли*. Я утверждаю, что это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство, единственное средство извлечь те богатства, которые теперь лежат втуне, и, так как сделать все это может *только мужик*, так как *будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство*, то все старания

должны быть употреблены, чтобы эти *пустующие земли пришли к мужику*. Этого требует благо страны, благо всех.

Если верно, что смоленское земство поставило вопрос о поднятии сельского хозяйства на путь земской разработки виллевских туков и отрешилось от всех рассуждений о малоземелье, то смоленское земство вступило на ложный путь. Не верится что-то, чтобы это было так, не ошибается ли редакция «Руси»? И благо крестьян, и *благо самих землевладельцев* требуют совсем иной постановки вопроса о поднятии сельского хозяйства.

Крестьяне, мы это верно знаем, ждут милости насчет земли и живут упованиями, которые они, не стесняясь, громко высказывают. Землевладельцы не знают, что делать с своими пустующими одичавшими землями, бросают хозяйства, уменьшают запашки до таких размеров, чтобы земля обрабатывалась крестьянами безденежно, за пользование «отрезками», с радостью отдают крестьянам на выпашку до истощения «облоги», распродают леса, готовы дешево продать земли, лишь бы кто покупал. Нет, земство не может отрешиться от рассуждения о малоземелье. Только враг своей страны или какой-нибудь меднолобый может отрешиться от этого обострившегося вопроса, который составляет злобу дня. На «отдохнувших», переяловевших землях, на облогах, пустошах, *хлеб «с нови» родится превосходно*. Между тем те же облоги и пустоши в их теперешнем, одичавшем состоянии дают самые ничтожные укосы трав. Напротив того, как я убедился десятилетним опытом, *на старопахотных землях травы—клевер, тимофеевка—родятся превосходно*, так что мне случалось с одной хозяйственной десятины получать 50 коп клеверу, а в среднем я получаю не менее 30 коп. Обратите внимание на это обстоятельство: старопахотные земли дают превосходные урожаи трав, тогда как хлеб на них, даже при хорошем удобрении, родится не особенно хорошо; пустующие, одичавшие земли, облоги, пустоши, напротив, в естественном их состоянии дают скудные урожаи трав, но при распашке дают превосходные урожаи хлебов, даже и при слабом удобрении. Этого еще мало. На старопахотных землях, после того как они пробудут несколько лет под травой, хлеб родится лучше, чем прежде, а пустоши, пробыв под хлебом, будучи потом засеяны клевером, дают прекрасные урожаи клевера. Не естественно ли при таких условиях расширить хозяйства, *не увеличивая притом много посевы хлебов*, распахать облоги и пустоши, сеять на них хлеб, а на старопахотных землях, где теперь сеется хлеб, сеять травы: клевер, тимофеевку? Какую бы громадную производительность увидали мы даже в нашей бедной Смоленской губернии! Было бы много хлеба, было бы и много сена для корма скота, было бы, следовательно, много навозу, было бы из чего земледельцу-мужику

платить и казне, платить и рентьеру, платить и фабриканту, купцу, попу, учителю, доктору. Всем было бы хорошо. А теперь—голь, бедность, хлеба нет, скот кормить нечем, земли пустуют, и какие земли! Земли, которые сразу могут дать 13 четвертей с десятины! Ну, что толку для землевладельца, когда его земля пустует или беспутно выпахивается, что толку для фабриканта, что голодный рабочий дешев, когда фабриканту некому сбыть свой миткаль, кумач, плис? Да он, фабрикант, втрое будет платить рабочему, лишь бы только был сбыт на его товар. А кто же, как не мужик-потребитель, может поддержать и фабриканта и купца? На господах далеко не уедешь. Не тот фабрикант живет, который производит господский товар, а тот, который производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует русским, то-есть мужицким, товаром. Не оттого ли купец, фабрикант, мещанин, поп относятся так сочувственно к упованиям мужика на милость насчет земли? Да и кому же может быть невыгодно, если улучшается благосостояние мужика, если мужик сделается богат? А благосостояние мужика может улучшиться только тогда, если он так или иначе получит возможность увеличить свой надел, расширить свое хозяйство. Пустой расчет тех, которые думают, что, если мужик будет беден, то он будет дешево наниматься в работу в их хозяйство. Пожалуй, будет наниматься дешево, да что толку-то? Если бы только в этом было дело, то помещичьи хозяйства не разорялись бы, а мы видим, что они падают и падают. «Русь» говорит, что малоземелье выдумано либералами. Пусть же «Русь» и меня причтет к либералам («Русь» в № 18 за 1881 год, разбирая по поводу моих статей, что я такое, говорит, что я не подхожу к либералам: благодарю за аттестат), но пусть со мной причтет к либералам и всего мужика, который стонет от малоземелья. Я мужиком не гнушаюсь.

Я в своем хозяйстве давно уже принял экстенсивную систему и расширил запашку на счет облог, то-есть пахотных земель, запущенных после «Положения» (см. мои статьи «Из истории моего хозяйства», напечатанные в «Отеч. зап.» 1876 и 1878 годов), а теперь буду расширять ее на счет пустошей.

В нынешнем году у меня уже было поле, в котором все облоги распаханы и находятся под хлебом, а старопахотные земли—под клевером. Это поле наглядно доказывало верность проводимых мной хозяйственных положений. В этом поле всего 40 десятин, из коих 20 было запущено после «Положения». В 1871 году в этом поле было 20 хозяйственных десятин пахотной земли, которые засевались хлебами, и 20 десятин облог. Средний урожай ржи в имении за шесть предшествовавших 1871 году лет (1865—70) был 7½ четвертей с хозяйственной десятины, что при посеве 1½ четверти на десятину составляет

урожай сам-пять. 20 десятин облог были покрыты порослью березняка, олешника, лозы и представляли лишь скудный выгон. За десять лет эти облоги разработаны, и в нынешнем году в поле было уже 40 десятин в культуре, из коих 27 десятин были под рожью и 13 под травами. На старопахотной земле, которая до 1871 года была под хлебами, теперь был превосходный клевер с тимофеевкой, на прежних облогах—прекрасная рожь, гораздо лучшая той, которая родилась на том же поле до 1871 года. За 6 лет, предшествовавших 1871 году, средний урожай ржи был сам-пять, то-есть по 7½ четвертей с десятины, за 6 последующих лет (1872—77) урожай был сам-семь, то-есть по 10½ четвертей с десятины. Следовательно, урожай возвысился на 2 зерна или на 3 четверти с десятины. Из числа 27 десятин ржи некоторые уже опять были из прежних старопахотных, и рожь шла по клеверу. Эта рожь была превосходна, лучше той, какая бывала до 1871 года, следовательно, земля *не стала хуже родить оттого, что побыла шесть лет под травами.* Сравните же теперь, что давало это поле до 1871 года и что дает теперь!

Летом нынешнего года, прогуливаясь по этому полю, я подошел к мужику, который косил у меня с части полевые ровки и канавы. Разговорились о прекрасной ржи, которая густой стеной стояла у канавы, о клевере.

— Ну, что, Семен, хороша рожь?—спросил я.

— Преотличная.

— Ты помнишь, какая тут прежде бывала, до меня?

— Помню. Теперь куда лучше.

— А клевер?

— Отличный. Чудеса вы тут наделали. Пустаки все распахали, где прежде заросль была, там теперь хлеб, да и хлеб-то какой, лучше прежнего, где прежде хлеб был, там теперь трава. На полях луга завели не хуже заливных днепровских. Чудеса!

— Теперь уж так чередом и пойдет: где хлеб был—клевер будет, где клевер был—хлеб будет.

— Понимаем, что чередой пойдет.

— Вы ведь теперь тоже в это дело руку вломали, на меня глядя, тоже стали присевки делать, снимаете облоги, льном, потом хлебом засеваете.

— Да, и мы теперь стали этим делом заниматься.

— Выгодно ведь?

— Еще бы не выгодно. Снимешь облогу, льном засеешь, лен и семя продашь, а мякину и костру во двор—корм, подстилка. Как не выгодно! Да к тому же нам только за облогу заплатить, а за работу не платим, сами работаем, все же три четвертных, а то и целую катеринку, с десятины выручишь. Потом и по перелому рожь без навоза посеешь, хороша выхо-

дит—как не выгодно! Я летом с десятины 15 коп привез, четвертей 8 намолотил, а рожь-то была 14 рублей, вот и считайте, да еще мякина, солома во двор.

— Скоро вы выпашете Б., там клевера не засеют. Пересеете всю землю по нескольку раз—и конец.

— Это так.

Мужик этот был из соседней деревни А. (см. мое X письмо), разбогатевшей за последние годы присевками. Рядом с этой деревней имение, в котором хозяйство прекращено, господа уехали, и земли сдаются на выпашку. Так как там системы правильной, как у меня, не заведено, все, что снимается, увозится, земля выпахивается, то понятно, что имение превратится в пустырь, который нужно будет бросить лет на пятнадцать. Владелец теперь возьмет кое-что, а потом и стоп. Крестьяне пойдут искать других земель, опустошать другие имения. Не сидеть же им, в самом деле, голодными, пока будет устроен земский кредит на виллевские туки! Опустошили Б., опустошат и Ф. Доходно теперь владельцам, ну, а там банк, в котором заложено имение, и возьми его. В конце концов, конечно, все к мужику придет, так как что же банки с выпустошенными имениями делать будут? Нужно продать мужику—ничего больше. И чем скорее это совершится, тем лучше, потому что *будь эта земля у мужиков, они бы ввели точно такую же систему, как у меня*. Нашлись бы люди, которые научили бы и мужиков,— не все же такое время будет, что нельзя и учить. Стали бы сеять клевер, чередовать его с хлебом, раскладывать удобрение на большее пространство земли, а то теперь мужики, по необходимости, должны валить весь навоз на свои наделы (причем навоз не производит того, что мог бы производить), а чужие земли выпахивать без навоза.

Мужики снимают в прекращающих хозяйство имениях только облоги и пахотные земли и выпахивают их до истощения. Но кроме того, есть еще масса других пустующих земель—отрезков, пустошей, пространств из-под вырубленных лесов. Количество таких пустующих земель во много раз превосходит количество пахотных земель. И ввиду всей этой массы пустующих земель, которые, будь разделаны сейчас, могут дать громадные количества трав и хлебов, земледельцам советуют сидеть на маленьких клочках и интенсивно обрабатывать их, удобряя виллевскими туками! Но что такое эти виллевские туки, с которыми так носится газета «Русь»? Редакция «Руси» думает, что стоит только, когда земство организует кредит на туки, взять денег, купить виллевских туков, посыпать ими поля, обработанные, как они обрабатываются, и тотчас же получатся урожаи сам-20. Как бы не так. Редакция «Руси» целый год трубит о виллевских туках, попрекая всякий раз по пути каких-то

либералов, что́ они выдумали малоземелье, а между тем даже и вопроса об этих туках не изучила основательно. Прочитав кое-какие популярные книжечки об туках, ничего не смысля ни в науке, ни в хозяйстве, она тычется всюду с этими туками самым нахальным образом. Весь эффект статей «Руси» об этом предмете в том, что слово либералы поставлено в кавычках, и, кажется, для одного этого все статьи пишутся или скорей ради одного этого помещаются. Научно, дескать, в кавычки ставим.

Вопрос об искусственных удобрениях мне давно уже хорошо известен. Много лет тому назад, когда редактор «Руси» еще издавал «День», агрономической химией не занимался и с виллевскими туками не носился, я уже был профессором химии и работал над вопросом об искусственных удобрениях. Давно это было, как видите. Я очень увлекался гениальным учением Либиха, да и нельзя им не увлекаться. Истощение почв вследствие постоянного вывоза хлебных продуктов так просто объясняет причины неурожаев, что человек теории может легко поддаться тому, чтобы всегда объяснять причины неурожаев только истощением от вывоза. Кто раз вникнет в химическую сущность совершающихся в хозяйстве явлений, тому сделается ясной причина истощения почв и не менее ясно будет, что посредством искусственных удобрений можно извне ввести в почву извлеченные из нее вещества. Химическая теория совершенно верна. Истощенные почвы могут быть исправлены удобрением, и искусственные удобрения могут иметь огромное значение для хозяйства. Все это совершенно верно, но не менее верно и то, что к удобрению искусственными туками можно прибегнуть только *во-время*, при известном состоянии культуры.

Но еще важнее понять, что искусственные туки составляют только *подсобное* удобрение, что они *не исключают удобрение навозом*, что они должны быть употребляемы вместе с навозом для усиления его действия и, если могут быть употребляемы без навоза, то только на почвах высокой культуры, содержащих много перегноя и азотистых веществ.

Конечно, можно составить тук, так называемое полное удобрение, который может заменить навоз на хорошо обработанной почве, но такой тук употреблять невыгодно, а главное невозможно было бы достать материалов для приготовления туков в том количестве, какое бы потребовалось. Вот этого-то «Русь» и не знает.

Для того, чтобы составить полный тук, нужны минеральные соли, щелочи, земли, фосфорная кислота и азотистые вещества. В природе есть огромные запасы минеральных солей, но нет, или очень мало, запасов веществ азотистых, а потому

азотистые удобрения очень дороги, да и нельзя добыть их в сколько-нибудь значительном количестве. Нельзя основать хозяйство не только целой страны, но и одной Смоленской губернии, на употреблении полных искусственных туков, содержащих азотистые вещества, потому что азотистых веществ нехватит и на одну Смоленскую губернию. Искусственные туки, состоящие из минеральных солей, спору нет, очень важны; нужно способствовать распространению их в хозяйствах; но это только подсобное удобрение, и навоз, как удобрение азотистое и, пожалуй, самое дешевое из азотистых удобрений, всегда будет играть важную роль в хозяйстве. Задача хозяина в том и состоит, чтобы наидешевейшим образом собрать азот с большой поверхности земли, сконцентрировать в навозе и употреблять там, где нужно. Это есть основное, самое важное положение хозяйства, которого не знает редактор «Руси». В том-то его и ошибка. Впрочем, это всегда так бывает, когда люди, не изучившие основательно науки и дела, прочитав несколько популярных книжек, легкомысленно начинают применять науку вкривь и вкось для подкрепления своих мнений. Должно быть, это уже время такое у нас, что даже серьезные, повидимому, люди ограничиваются лишь чтением популярных книжонок. Нет, господин Аксаков, если вы желаете трактовать о таких важных вопросах, как поднятие хозяйства страны, то поступите сначала в школу, поработайте в лабораториях, позаймитесь хозяйством. Доказывайте, пожалуй, что крестьянские наделы достаточны, если это ваше убеждение, но не прибегайте для этого к науке, которой не знаете.

Если бы вы только могли знать, как смешны, чтобы не сказать больше, ваши химические и агрономические рассуждения в «Руси», произнесенные притом таким аррогантным тоном! Толки об искусственных туках и о том невозможном значении, какое им придала «Русь», вызвали в «Земледельческой газете» № 26, 1881 г, прекрасную статью об этом предмете. Советуем редактору «Руси» прочитать эту статью, она довольно популярно написана.

Однако как бы там ни было, но искусственные туки имеют громадное значение как *подсобное* удобрение, и применение их в хозяйстве может иметь важное значение. Но, говоря об искусственных туках, мы можем говорить только о минеральных туках, между которыми самую важную роль играет фосфорная кислота. Действительно, при культуре хлебов извлекается из почвы фосфорная кислота, запасы которой в почвах не особенно велики. Эта фосфорная кислота накопляется в зернах, при продаже которых вывозится из хозяйств, через что почва истощается. Это, несомненно, верно и понятно, что для пополнения извлеченной из почвы фосфорной кислоты следует

употреблять искусственные туки, приготовленные из костей, фосфоритов и тому подобных богатых фосфорной кислотой материалов. Немцы так и делают, и у них искусственные туки, именно фосфорнокислые туки, получили громадное значение, употребляются в громадном количестве, как подсобное удобрение, что, однако, не исключает употребления и навоза. Нет сомнения, придет время, и у нас будут употреблять фосфорнокислые туки. Я не сомневаюсь даже, что и теперь, может быть, выгодно сдабривать навоз суперфосфатом для усиления его действия. И не я, конечно, стану отрицать пользу производства практическими хозяевами опытов употребления суперфосфатов и других искусственных туков. Суперфосфаты имеют свое значение, но не они могут поднять наше упавшее хозяйство.

Каюсь, во время оно, я сам придавал фосфорнокислым тукам слишком большое значение и, не будучи знаком с положением нашего хозяйства, думал, что стоит только изыскать способы дешево приготовлять эти туки, чтобы они вошли в употребление. Почвы наши истощены относительно фосфорной кислоты, вследствие постоянного вывоза хлебов, думалось мне, поэтому удобрение фосфорнокислыми туками должно быть полезно и необходимо для поправления наших истощенных почв. Но если это так, то, казалось, стоило только найти способы приготовления туков, чтобы они распространились. В то время я не мог вполне оценить все значение положений профессора Стебута, который, в своей магистерской диссертации, проводил мысль о необходимости применения у нас прежде всего выгодной системы, введения травосеяния, известкования и фосфорнокислым тукам большого значения не придавал.

Много лет и много труда положил я на разработку вопроса о фосфорнокислых туках. Откуда взять фосфорной кислоты? Прежде всего—кости. Костей у нас много, кости пропадают без пользы, кости вывозятся за границу. Для того, чтобы кость вошла в употребление, нужно было изыскать практические способы приготовления костяного удобрения и притом такие, которые бы давали каждому возможность приготовлять удобрение из костей у себя дома. За границей костяную муку для удобрения приготовляют механическими способами на специально для того устроенных заводах, при этом способе необходимо кости, разбросанные повсеместно, собрать, свезти в известные пункты на заводы, переделать вмуку и эту муку отправить в хозяйство, то-есть туда, откуда были привезены кости. Каждому понятно, что вся эта процедура страшно увеличит ценность препарата, и действительно, кости по деревням можно скупить копеек по 10 за пуд, а приготовленная из них костяная мука возвратится обратно в деревни уже только за цену в 1 рубль, даже в 1 рубль 50 копеек за пуд. Между тем

если бы был дешевый способ превращать кости в удобрение тут же, у себя дома, в деревне, без содействия механических заводских приспособлений, то костяное удобрение обошлось бы хозяину много дешевле, потому что не было бы расходов на собирание костей, свозку их в известные пункты, перевозку обратно муки, причем кости должны пройти много рук, и все эти руки должны получить что-нибудь. Нужно было отыскать такой способ приготовления костяного удобрения, который давал бы возможность каждому мелкому хозяину, каждому крестьянину переделать в малом виде на удобрение то небольшое количество костей, какое он может собрать. Профессор Ильенков обратил внимание на возможность разлагать кости едкими щелочами и таким образом дал основание для требуемого способа. Я исследовал действие щелочей на кости при различных условиях и нашел удобный способ разложения костей посредством поташа или золы и извести для приготовления тука, богатого фосфорною кислотой и, кроме того, содержащего известь, щелочи, азотистые вещества, аммиак. Сам Либих хорошо отозвался об этом новом способе приготовления костяного удобрения. Раз найден удобный практический способ, посредством которого каждый, как бы ни было мало количество костей, имеющихся в его распоряжении, может сам у себя дома, в кадочке, приготовить из этих костей тук, то нелепо было бы собирать кости, продавать их на заводы, получать дорогую костяную муку. Нет сомнения, что, *когда придет время* употреблять костяное удобрение, то его и будут приготовлять по предложенному мною способу в самих хозяйствах.

Я произвел целый ряд опытов, добился практического способа приготовления костяного удобрения, способа особенно пригодного для *мелких* хозяйств, всеми силами старался пропагандировать этот способ, *но время еще не пришло, и способ мой остался без применения.*

Но костей вообще нельзя собрать много, костями нельзя восполнить ту убыль фосфорной кислоты в почвах, которая происходит от постоянного вывоза из хозяйств хлебов. Природа представляет нам другой источник фосфорной кислоты—это залежи фосфорнокислых минералов—апатитов, фосфоритов и т. п., которые могут заменить кости для приготовлния фосфорнокислых туков. Естественно, что от костей я перешел к исследованию русских фосфоритов, о существовании залежей которых в губерниях Курской и Воронежской уже имелись некоторые сведения. Я занялся исследованием русских фосфоритов и много поработал над этим вопросом. Я изъездил несколько губерний, исследовал залежи фосфоритов в губерниях: Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской. При содействии моих учеников, я исследовал фосфориты тамбовские, ниже-

городские, московские, нашел фосфориты под самой Москвой, на берегу реки Москвы, близ деревни Хорошева, сделал десятки анализов фосфоритов, сопровождающих их пород, окаменелостей и пр., сравнил наши русские фосфориты с суфолькскими и арденскими. Из всех этих исследований я пришел к убеждению, что у нас имеются такие запасы фосфоритов, что никогда не может быть недостатка в материале для приготовления фосфорнокислых туков. Наше земледелие навсегда обеспечено в этом отношении, и мы имеем неисчерпаемые источники для удобрения, так что бояться истощения нам нечего. Громаднейшие залежи фосфоритов у нас тянутся на сотни верст, и эти драгоценные в будущем для хозяйства камни употребляются для мощения дорог (Брянское шоссе, шоссе между Орлом и Курском вымощены фосфоритами), для мощения улиц, для бута при постройках, для фундаментов, сельских построек. Пыль на некоторых шоссе, уличная пыль в Курске есть порошок фосфорной кислоты. После моих исследований составилась компания для разработки фосфоритов и приготовления из них туков и устроился завод около Курска. В этом деле я никакого участия не принимал и об участи завода ничего не знаю.

Фосфоритные туки, однако, не пошли, потому что время для них еще не наступило, но опять-таки, как и относительно костей, я не сомневаюсь, что наши фосфориты будут иметь громадное значение в будущем, когда земледелие наше подымется, когда земли наши будут приведены в культурное состояние, когда хозяйство выльется в определенные формы, когда прекратится теперешнее хищничество, где каждый старается выхватить, что можно, точно опасаясь, что вот-вот ухватит другой.

Не для хвастовства рассказал я здесь о своих исследованиях костей и фосфоритов, а для того, чтобы не подумали, что я оспариваю мнения «Руси» так себе, зря. Не зря говорю я. Я имею право говорить и говорю о деле, над которым потрудился сам. Я давно, очень давно, когда г. Аксаков еще не трубил об виллевских туках и не доказывал, что при содействии этих туков даже кошачьи наделы будут давать достаточно хлеба для пропитания мужика, понимал все значение фосфорнокислых туков и, желая блага своей родине, желая, чтобы она вечно славилась своими буйными хлебами, работал, искал материалов для удобрительных туков. Искал и нашел и знаю, какими богатствами мы обладаем. Более даже, знаю, что нужно для того, чтобы эти богатства не лежали втуне. Я не только считаю себя вправе, но и обязанным разоблачить недоучек «Руси», которые только пакостят науку, которые стараются затемнить ясный вопрос о малоземелье, которые, идя в разрез с мужиком, работают во вред своей родине. Благо нашей родины зиждется

на благосостоянии массы земледельцев. Помещичье хозяйство, «grande kulture», не имеют у нас смысла, не имеют «raison d'être» и суть только тормозы для развития хозяйства страны.

Одиннадцать лет тому назад судьба меня бросила в деревню, и я сделался хозяином. Я сел на хозяйство без капитала, в небольшом, сильно запущенном, имении в 600 десятин. Я явился на хозяйство с убеждением, что земли наши вследствие постоянной культуры хлебов, которые всегда вывозились из имений, сильно истощены относительно фосфорной кислоты и требуют фосфорнокислых удобрений. Плохие урожаи, которые я застал как в своем имении, так и у соседних помещиков и крестьян, подтверждали это убеждение. Я даже начал с того, что стал скупать кости, пережигал их, молол и сдабривал полученной мукой навоз. Скоро я бросил это—хотя не отрицаю и теперь полезности такого и подобного искусственного удобрения,—потому что обратился к экстенсивной системе хозяйства, которая имеет смысл и значение для целой территории и разработка которой, по моему мнению, представляет общественный интерес, так как эта система может быть применена всеми, а не одним каким-нибудь лицом, хозяйство которого состоит в исключительных условиях.

Я нашел свое имение в следующем состоянии: всей земли 450 хозяйственных десятин в 3 200 кв. саж., из них под пашней было только 66 десятин (около $^1/_7$), так что всего $^1/_7$ *часть земли была в культуре*, хотя вся земля удобная. Затем в имении было еще $97^1/_2$— десятин земли, которая когда-то пахалась, но потом была запущена, заросла березняком. Из этих $97^1/_2$ десятин 42 были запущены уже давно (лет 40 тому), заросли березняком и представляли порядочные рощи и 55 $^1/_2$ были запущены после «Положения» и представляли или чистые облоги, или мелкие заросли. Естественных лугов по речке и оврагам было до 40 десятин, а остальная земля была под лесом и пустошами, которых было до 40 десятин.

Вот в каком состоянии находилось имение в 1871 году, когда я сел на хозяйство. Имение мое не из худших, не из самых запущенных, а среднее. То, что представляло мое имение, представляют и окрестные имения. Везде так. Везде *количество земли находящейся в культуре, составляет лишь небольшую долю всей земли*. Затем хорошо еще, если такое же количество земли находится под естественными лугами, остальное все облоги, пустоши, леса, пространства из-под вырубленных лесов. Такие угодья представляют помещичьи земли. Только на крестьянских наделах все распахано, за исключением неудобных для культуры хлебов низин, которые находятся под лугами. Если мы возьмем сумму всех земель и господских, и крестьянских, нашей губернии, то увидим, что вся территория представляет

то же самое, что представляло мое имение в 1871 году: культивированные земли (считая вместе и крестьянские, и господские запашки) составляют лишь небольшую долю (много если $^1/_5$) всех удобных земель, а затем необозримые пространства диких, некультивированных земель, пустаков, зарослей, пустошей, выпустошенных лесов и т. п. Что было в моем имении в 1871 году, то и на всей территории. Мое имение составляет известную долю всей территории, и я полагаю, что только ту систему хозяйства можно будет назвать рациональной и для той только системы стоило работать, которая будет годна как для моего имения, так и для всей территории, находящейся в таких же условиях.

Что должен был я делать в моем хозяйстве? Какую систему хозяйства должен был я ввести?

Следовало ли мне оставить пустовать все эти облоги, заросли, пустоши и пр., пользуясь с них лишь той скудной растительностью, какую они производили бы, оставаясь в некультурном, диком состоянии, и сосредоточиться на 66 десятинах, находившихся в культуре, и вести на них интенсивное хозяйство? Или следовало распространиться по всей поверхности, вести экстенсивное хозяйство, привести в культурное состояние всю землю? Я думаю, что прежде всего следовало бы привести в культурное состояние всю землю и потом уже можно перейти к более интенсивной системе. Таким путем я шел в своем хозяйстве, таким путем иду теперь и буду продолжать и полагаю, что в таком только случае хозяйство может служить образцом для всей территории. Все, что есть в моем хозяйстве такого, что не может быть обобщено, не годится для всей территории, не годится для всех хозяйств (считая все хозяйства в сумме: и мужицкие и господские), не имеет смысла, не представляет интереса ни для меня, ни для кого, не имеет будущности, не может упрочиться и служить ко благу всей территории.

Положим, что я, например, оставил бы всю землю моего имения в диком, некультивированном состоянии и завел бы такую систему хозяйства: со всей земли собирал бы траву, которая родится сама собою, без всякой культуры, скармливал бы эту траву скоту и весь навоз складывал бы на одну десятину при усадьбе и вел на этой десятине интенсивное хозяйство, разводил бы, например, спаржу, шампиньоны, ананасы. Это было бы очень интенсивное хозяйство, оно могло бы быть очень выгодно для меня, но что толку было бы в этой интенсивной системе хозяйства, какой интерес могла бы она представлять и стоило ли бы работать над этим?

От этой крайности пойдем далее. Положим, что, сев на хозяйство, я занялся бы культурой распаханных уже 66 десятин и оставил остальную землю пустовать. С пустующих земель

я пользовался бы покосами, выгонами или крестьянским трудом, сдавая эти земли под уругу затесненным на своих наделах крестьянам. На распаханных же 66 десятинах завел бы интенсивную, многопольную, плодопеременную систему с сильным удобрением. Для того чтобы иметь много навозу, скупал бы сено, жмыхи, завел бы винокуренный завод, на котором перерабатывал бы массы хлеба и картофеля. Я имел бы массу корма, интенсивно кормил бы скот, получал бы огромные количества молока и навоза, валил бы навоз на 66 десятин земли, привел бы землю в огородное состояние, получал бы отличные урожаи. Допустим, что такое хозяйство было бы выгодно для меня, но затем, что толку в этом интенсивном хозяйстве, какой общественный интерес могло бы оно представлять? Что бы я ни сделал, каких бы результатов ни достиг, ни для кого, кроме меня, это ничего бы не значило. Ничего в пример с меня не могли бы взять даже в самой технике моего хозяйства. Возьму простой пример: я развожу племенной скот и веду интенсивное скотоводство, для того, чтобы иметь хорошее, нежное сено, я кошу траву очень рано. Никто не станет отрицать, что такое сено превосходно, но нелепо будет, если кто-нибудь станет утверждать, что все так должны убирать сено. Нелепо было бы, если бы мы все так убирали сено, потому что задача наша на севере производить как можно более клетчатки, производить массу корма, которую мы можем сдобрить концентрированными кормами, привезенными с юга: хлебом, жмыхами и т. п. Барин, убирающий траву в полном соку, поступает менее рационально (для общей экономии страны), чем мужик, который растит траву, чтобы иметь большую массу сена. Точно так же, для общей экономии, рациональнее было бы, если бы готовилось из молока, по русскому способу, топленое масло, которое употребляли бы все с кашей, чем если бы готовилось парижское масло.

Наконец, редактор «Руси» думает, что рациональнее было бы, если бы я завел такую систему: главную массу земель оставил бы пустовать, траву с них продавал бы тем дуракам, которые содержат скот и удобряют поля навозом, уничтожил бы скот, как невыгодную статью в хозяйстве, и завел бы интенсивную систему с удобрением помощью искусственных виллевских туков. *Никакой ломки* в хозяйстве, все осталось бы по-старому: та же обработка, только вместо навоза поля посыпаются искусственно приготовленными по наукам и агрономиям виллевскими туками, которые так облюбовал г. Аксаков. Главное дело, ни думать, ни соображать не нужно, всякий дурак может хозяйничать. Сдал землю крестьянам на обработку кругами, за уругу и покосы, купил на взятые у земства в кредит деньги виллевских полных туков, посыпал ими поля, и дело

в шляпе—урожай сам-15, загребай денежки. Допустим даже, что такое хозяйство с виллевскими туками будет выгодно (чего, однако, на самом деле не будет, и земство, открыв кредит на туки для подобных хозяйств, прогорит), но редакция «Руси» упустила из виду одну только малость: если все заведут такие хозяйства, то азотистых веществ для удобрения (сернокислого аммиака, чилийской селитры) нехватит даже для одной только Смоленской губернии. Нельзя, почтеннейший господин, трактовать о подобных вопросах, не поучившись химии, хотя в элементарной школе. Естественные науки не то, что другое что-нибудь, тут измышлениями силы не возьмешь—*знание нужно*. Трубите, но на другой трубе.

Если иметь в виду только выгодность хозяйства в данном случае, то и интенсивное хозяйство с разведением ананасов, спаржи, шампиньонов, и интенсивное хозяйство с голландским скотоводством, травосеянием, прикупом кормов, винокурением—в особенности если отводить спирт,—и интенсивное хозяйство с искусственными туками могут быть выгодны, могут приносить выгоду хозяину. Когда дело идет о выгоде для хозяина, то и говорить нечего, хотя едва ли будет выгоднее употреблять свой капитал и интеллигентный труд на сельское хозяйство, чем на иные роды деятельности. Я полагаю, что гораздо выгоднее будет просто раздавать деньги взаймы, завести кабаки, арендовать казенные земли большими участками и потом раздавать по мелочам крестьянам, которые, по глупости, все за землей лезут, или, наконец,—в особенности кому бабушка ворожит—служить в банке или даже хоть в какой-нибудь палате.

Но все ли эти интенсивные системы хозяйства имеют какое-нибудь общее значение и могут быть образцами для хозяйства всей территории? Какой смысл в том, что необозримые пространства земли будут пустовать, принося ничтожную пользу той скудной растительностью, которую производят сами собой, без всякой культуры, одичавшие земли, а на маленьких клочках земли будет вестись интенсивная культура? Неужели не ясна вся нелепость подобной хозяйственной системы?

Не лучше ли было бы подумать о такой системе хозяйства, при которой земли не пустовали, но на всем их пространстве *находились бы в культурном состоянии*? Такая экстенсивная система хозяйства, раз она устроена рационально, без сомнения, будет выгоднее для страны.

Когда я садился на хозяйство, то передо мной стоял вопрос: оставить ли главную массу моей земли пустовать и на клочке завести интенсивное хозяйство или утилизировать всю землю, расшириться по поверхности, всю удобную землю привести в культурное состояние?

Я пошел этим последним путем, я стал расширяться по поверхности и постоянно стремился наипростейшими, всем доступными средствами привести всю имеющуюся в моем распоряжении землю в культурное состояние, утилизируя ее соответственно ее качествам. При этом оказалось, что вся эта масса пустующих у нас земель вовсе не представляет бесплодных земель, это одичавшие без культуры земли, которые, оставаясь в диком состоянии, в залежи, накопили в себе такой запас питательного материала, что, будучи подняты, дают тотчас же превосходнейшие урожаи, каких и при интенсивном хозяйстве можно достигнуть только с большим трудом, да и то не вдруг. Я привел выше пример того, что запущенная, одичавшая земля, не производившая ничего полезного, поросшая мхом и щетиной, будучи возделана, дала прекрасный урожай льна и затем урожай хлеба сам-13, такой урожай, какого при том же труде и удобрении невозможно получить на старопахотных землях.

Опыт моего хозяйства убедил меня, что в этих, повторяю, необозримых пространствах заброшенных, пустующих земель *втуне лежат громадные богатства*, которые легко, с небольшой сравнительно затратой, извлечь на пользу общую. Мы бедны, у нас нет хлеба, нет денег, а между тем в пустующих землях громадные богатства лежат втуне. Порядок ли это?

Система хозяйства, которую я веду, есть многопольная, с оставлением земли под травами на долгий срок. В этой системе хлеба чередуются с травами, между которыми главную роль играет клевер. Но мало того, я считаю в известных случаях рациональным ввести в полевую систему культуру *леса*, так чтобы систематически хлеб чередовался с лесной зарослью. Например, по одной системе, хлеб возделывается несколько лет, затем засеваются травы, и земля на известное число лет оставляется под травой, потом опять поступает под хлеб; по другой системе, после хлеба земля обсевается березой и стоит известное число лет под березовой зарослью, а потом опять возделывается под хлеб.

При обилии земель такие экстенсивные системы с травами или березовыми зарослями совершенно рациональны. Чем оставлять земли пустовать без всякого порядка, лучше вести на них систематически даже хлебно-лесное хозяйство. Иным это может показаться смешным, но я утверждаю, что в известных случаях введение систематической культуры березы, которая в системе будет занимать место клевера, может быть очень рационально. Такая, например, система: лен, пар без удобрения, рожь, овес, береза на пятнадцать лет, покос после корчевки и затем опять лен и т. д.

В моем имении в старину пахалось в трех полях 163½ десятины. В 1871 году я нашел в обработке всего 66 десятин, осталь-

ные 97½ были запущены и заросли березняком, 42 десятины были запущены давно и представляли березовые рощи, 55½ десятин были запущены недавно, после «Положения», и представляли мелкие заросли. Я начал с разработки этих 55½ десятин. Производилась эта разработка так: где березняк был уже довольно рослый, его корчевали, что производилось легко, так что хозяйственную десятину выкорчевывали в 30 дней; где березняк был мелок, его прямо подрубали. Мелкий березняк, прутья, сучья сожигались тут же на месте, из более крупного березняка выбирались дрова, и этими дровами корчевка окупалась. Во время корчевки место находилось всегда под выгоном для скота, на следующий же год после корчевки, особенно там, где березняк был густ и росл, появлялась прекрасная трава, при скосе которой получалось не менее 15 коп сена с хозяйственной десятины. Обыкновенно такой укос получался лишь первый год, как показали оставленные для опыта участки, следующие годы укосы были уже гораздо хуже, и затем выкорчеванный участок давал такие же скудные урожаи трав, как и обыкновенные чистые облоги.

Взяв после корчевки один укос, участок поднимали и по пласту сеяли лен. После льна земля оставалась в пару, слегка удабривалась навозом и засевалась рожью. После ржи следовал лен или овес, и земля поступала в общий введенный у меня 15-польный севооборот: 1) пар, 2) рожь, 3) яровое, 4) пар, 5) рожь, 6) яровое, 7) пар, 8) рожь, 9) трава (клевер с тимофеевкой), 10) трава, 11)трава, 12) трава, 13) трава, 14) трава (первые года на укос, потом на выгон), 15) лен. На распаханных вновь землях, безразлично, были ли это чистые облоги или заросшие более или менее крупным березняком, *всегда получались превосходнейшие урожаи льна, ржи*. Урожаи ржи, даже при слабом удобрении навозом, достигали иногда сам-12, при посеве 1½ четверти на хозяйственную десятину. Таких урожаев, какие получались на вновь распаханных землях, я никогда не получал даже при сильном удобрении на старопахотных землях, которые застал в обработке в 1871 году.

Для примера приведу результаты разработки одного участка в пять хозяйственных десятин.

Эти пять десятин были запущены, должно быть, тотчас после «Положения», потому что на них был уже порядочный березняк.

В 1876 году участок был выкорчеван. Зимой 1876—77 года выбраны дрова, весной 1877—сучья сложены в кучи, и участок окончательно подчищен.

В 1877 году с участка снято 75 коп прекрасного сена, по дешевой цене, считая на 75 рублей.

Осенью 1877 года участок поднят шведскими плужками.

В 1878 году по пласту посеян лен.

Получено: льняного семени $23^1/_2$ четверти на	235 рублей
льна намято 165 пудов на	330 »
Всего с 5 десятин на	565 рублей

Зимой 1878—79 года на участок вывезено по 107 возов навозу на десятину, летом 1879 года он подвергнут паровой обработке и засеян рожью по $1^1/_2$ четверти на десятину.

В 1881 году с участка было взято:

ржи 71 четверть на	994 рубля
ржаной соломы 1 136 пудов на	113 »
Всего на	1 107 рублей

В 1881 году три десятины участка были вновь засеяны льном, который вышел очень хорош, даже лучше, чем в 1878 году, и 2 десятины засеяны овсом, который был посредственный, но не хуже, чем на остальных десятинах того же поля.

Таким образом, *за три года с участка в 5 десятин, в виде сена, льна и ржи получено на 1 747 рублей или по 349 рублей с десятины.*

Чего еще лучшего желать!

И после этого участок остался в обработанном виде, дал прекрасный урожай ярового, земля на нем не хуже, чем на старопахотных десятинах. Обработанный участок теперь поступил в общий севооборот и после двух оборотов ржи будет засеян клевером с тимофеевкой, останется под травой шесть лет и затем вновь поступит под лен.

Вместо того, чтобы пустовать, давать ничтожные укосы травы и производить лозу и березняк, участок принес огромное количество сена, льна, хлеба, соломы и сделался производительным. Участок этот слишком хорош, слишком удобен для того, чтобы быть под лесом. Я нахожу более выгодным, чтобы он был под хлебами и клевером, причем он будет постоянно в культуре и, следовательно, потребует удобрения. Но если бы даже, по недостатку навоза или другим причинам, нельзя было продолжать культуру этого участка в общей системе хозяйства, то, взяв с него после корчевки сено, лен, рожь без навоза, яровое, стоило бы только оставить участок обсемениться березняком, что в наших местах, при обилии березовых рощ, совершается очень быстро, и запустить под березняк. Через 15 лет участок опять мог бы быть возделан под лен и хлеба.

Вот какие результаты дает разработка пустующих облог. Спрашивается теперь, неужели же я должен был оставить пустовать эти земли, с которых так легко и с таким малым трудом

можно получить массу льна и хлеба? Неужели же я должен был оставить втуне богатства, которые накопились в брошенной зря после «Положения» земле за то время, пока она пустовала? Неужели же я должен был, вместо того чтобы пустить в ход эти втуне лежащие богатства, вести на старой земле интенсивное хозяйство с искусственными виллевскими туками?

Не говоря уже о том, что описанная система хозяйства возможна, тогда как система, основанная на употреблении виллевских туков, невозможна, ибо азотистых туков нехватит на одну Смоленскую губернию, спрашиваю еще, *где доказательства*, что на старопахотных землях при содействии туков получатся при тех же затратах такие урожаи, какие получаются при разработке пустаков? Пусть редактор «Руси» докажет на деле, что участок земли в 5 десятин из средних крестьянских земель даст при удобрении виллевскими туками такие же урожаи.

Моему примеру последовали соседние крестьяне. Они тоже стали брать в заброшенных имениях облоги и сеять на них лен и рожь. Те деревни, которые поняли, какую Калифорнию представляют облоги, теперь всегда с хлебом, заправились конями, скотом и богатеют.

В моем предыдущем (X) письме я описал «Счастливый уголок», где крестьяне стали жить на счет облог. *Само собой разумеется*, что мужик, сняв землю в господском имении на год, на два, сеет на ней лен, рожь, овес без удобрения, выпахивает из нее все, что можно, и тащит на свой надел, который удобряет самым тщательным образом. Иначе мужик с *чужой землей* и поступать не может. Но если бы эта земля была его, мужицкая, то он поступил бы с ней так же, как и я, стал бы ее удобрять, ввел бы многопольную систему с посевом клевера и пр. «Мужик хоть и сер, да не чорт у него ум съел». Мужик вовсе не так глуп, как думает газета «Русь», в каждой строчке хозяйственных измышлений которой сквозит полнейшее презрение к мужику, не знающему виллевских туков и немецких агрономий. Мужик хоть и не читал популярных книжонок, из которых вы черпаете вашу премудрость, но понимает по хозяйству и *около земли* побольше вас. Да оно и понятно: мужик не на жалованье живет, а от земли-матушки.

В течение 10 лет я распахал все 55½ десятин облог и пустил лежащее в них богатство в оборот. И труда затрачивалось немногим более, чем прежде, потому что, распахивая облоги, я в то же время засевал старопахотные земли клевером с тимофеевкой. Количество ежегодно высеваемой ржи и ярового не увеличилось, но увеличилось количество корма, а, следовательно, увеличилось количество навоза, потому что на месте ничего не производивших облог явились клеверные поля.

Клевер на старопахотных землях родится отлично. Мне случалось первый год получать до 50 возов с десятины. Во второй год получается отличный урожай тимофеевки. Потом, по мере того, как клевер и тимофеевка начинают выпадать, появляются мелкие сладкие травы и белый клевер. Через 6 лет я подымаю клеверные поля под хлеб и таким образом, пока я разделал все пустаки, у меня уже поспели к подъему клеверные поля. Земля тем временем уже *переяловела*, *накопила питательный материал* и дает теперь после клевера прекрасные урожаи льна и хлеба. *Хлеб после клевера родится лучше, чем на старопахотных землях.*

При обилии у нас земли, теперь пустующей непроизводительно, такой севооборот с посевом трав на долгий срок превосходен.

В 10 лет я удвоил количество пахотной земли (было 66 десятин, теперь 121½), но все-таки и теперь у меня в культуре находится лишь немного более ¼ всей имеющейся земли. Каким же образом утилизировать остальную землю?

Луга по реке и рвам так и должны остаться лугами, земля эта другого назначения получить не может, потому что для хлебопашества неудобна. Для улучшения этих лугов я очистил их от зарослей лозняка, осушил канавами и пр. Луга эти дают порядочные укосы сена, хотя и плохого качества, осоковатого, кислого, годного только для лошадей. Конечно, луга могут быть еще улучшены, но я считаю это дело преждевременным, так как луга эти и теперь достаточно производительны, а у меня еще много таких земель, которые менее их производительны.

Затем остаются пустоши и леса. Пустоши—это пространства из-под лесов, разделанные на покосы. Разделка эта производится так: если место высокое, то в рубке леса лом и сучья выжигаются и сеется хлеб (пшеница, ячмень), после чего лядо поступает под покос; если же место низкое, то оно прямо разбирается на покос, причем сучья и лом сжигаются в грудах. И в том, и в другом случае пни от срубленных деревьев остаются на месте, пока сами собой не выгниют, и трава косится между пнями. На пустошах сначала травы родятся хорошо, но потом мало-помалу выраживаются и дают, особенно по высоким местам, лишь скудные укосы. У нас вообще замечено, что на пустошах травы родятся порядочно лишь до тех пор, пока не выгниют пни. После того укосы получаются ничтожные, пустоши зарастают щетиной и куманицей и представляют лишь скудные выгоны; в особенности плохо родятся травы на пустошах, которые постоянно находятся под выгоном и никогда не косятся, потому что скот выедает хорошую траву, а вследствие этого еще сильнее разрастается плохая, несъедобная. Тут то же явление, как при полке огородов, где вырывают

сорную траву, чтобы она не глушила овощей, только скот полет обратно, съедает хорошую траву и через это способствует росту худой, несъедобной.

В моем имении есть изрядное количество пустошей разного рода: и старых, на которых уже травы выродились, и свежих, наконец, ежегодно разделываются новые пустоши. В других имениях пустошей еще более, чем у меня, и есть такие местности, в которых все покосы на пустошах, наконец, так называемые «отрезки», «зацепки», то-есть, земли, бывшие до «Положения» в пользовании крестьян, а теперь от них отрезанные, все это тоже пустоши. Вообще пустоши у нас составляют главную массу земельных угодий. Как утилизировать эти пустоши—вот вопрос, который, по моему мнению, очень важен.

При разделе облог, запущенных полей, меня особенно поражал тот факт, что *всякие облоги*, косились ли они до того или нет, были ли чисты или заросли березняком, *все равно*, безразлично давали одинаково великолепные урожаи льна и хлеба. Даже такие облоги, которые давали самые скудные урожаи трав, так что и косить не стоило, будучи подняты, давали прекрасные урожаи льна и в особенности хлеба. Факт весьма замечательный, который показывает, *что облоги дают скудные укосы трав не оттого, что они истощены* вследствие ежегодного скоса травы и увоза сена—питательного материала в почве, значит, достаточно, если получаются такие великолепные урожаи льна и хлеба,—а оттого только, что земля задичала, оплотнела, задернела. Если такие выкосившиеся облоги дают при распашке их отличные урожаи хлеба, то почему же не будет того же самого на пустошах? А если при разработке пустошей будут получаться такие же урожаи, какие получаются на облогах, то культура пустошей будет очень выгодна.

Производительность пустоши ничтожна—это плохой покос и плохой выгон. Поднимаем пустоши, сеем лен, рожь, по ней клевер с тимофеевкой и запускаем под покос и выгон на несколько лет, чтобы опять потом поднять под лен. Система севооборота такая: лен, пар без удобрения, рожь, трава на несколько лет, опят лен и т. д. Если же бы оказалось невыгодным сеять после ржи травы, то следует принять такую самоудобрительную систему, при которой почва *удобрялась бы на счет подпочвенных слоев*. Для этого, подняв пустошь, взять с нее лен, рожь, овес и потом обсеменить или дать обсемениться березой и запустить под березняк лет на 15. Затем выбрать дрова и опять сеять лен, рожь и т. д. Система севооборота такая: лен, пар без удобрения, рожь, овес, березняк на 15 лет, лен и т. д. В то время, пока земля будет под березняком, она удобрится на счет подпочвы, опадающим листом и влиянием атмосферических деятелей. В сущности говоря, такая система и практикуется там,

где крестьяне занимаются полядками, срубают мелкие березняки, сожигают, сеют один хлеб и вновь запускают под березняк, только делается это крестьянами неправильно, а так, что выхватил, то и ладно.

На первый раз, для испытания, я распахал самый плохой пустошный участок, заросший мхом и щетиной, наименее производительный из всех моих пустошей. Результат превзошел все ожидания. Ко всеобщему удивлению, участок дал прекрасный урожай льна и превосходнейший урожай ржи—сам-13. Вы представьте только себе: пустошь, совершенно пустая земля ничего не приносящая, и вдруг на ней отличнейшая рожь сам-13! И таких пустошей у нас пропасть, видимо-невидимо, а ценность их самая ничтожная—5, 10, 15 рублей десятина.

В настоящее время у меня есть довольно большая пустошь, десятин 20, на которой пни уже выгнили. Пустошь эта дает самые скудные укосы сена, 3—5 коп с десятины. Я ее начал распахивать в нынешнем году—пашется хорошо, гнилые пни и коренья выворачиваются легко—и заведу на ней систему севооборота без удобрения, с посевом трав после двух-трех хлебов. По мере того, как будет разрабатываться одна пустошь, будут поспевать другие.

По вырубке леса я не оставляю вырубленные пространства в запустении, но тотчас же разрабатываю их на покосы. Я считаю в высшей степени нерациональным такие пространства из-под лесов, в которых годами накопилась масса перегноя и почва очень плодородна, запускать опять под лес. Гораздо выгоднее тотчас же разделывать эти пространства на луга, под хлеб и пускать в культуру, а леса разводить на выпаханных, истощенных полях. С проведением железной дороги у нас срублены громаднейшие пространства лесов, и вся эта плодороднейшая земля брошена и зарастает всякой дрянью. Между тем сколько сена, сколько хлеба можно было получить с этих земель, если бы приложить к ним хотя только тот труд, который прилагается теперь для обработки плохих, выпаханных земель! *Нет хозяина* для этих превосходнейших земель и зарастают они лозой, осинником. *Нет хозяина*, так говорит и мужик.

Вырубленные пространства я разделываю, как обыкновенно: низкие места разбираются, выбираются прямо под покос, высокие места выжигаются на ляда и засеваются хлебом. Тут я сделал только одно нововведение, которое дало прекрасные результаты: *на лядах по хлебу я сею клевер с тимофеевкой. Это весьма важное усовершенствование при обработке ляд.* Клевер с тимофеевкой превосходно родится на лядах. На другой год, после снятия хлеба, получается отличный урожай клевера, так что, несмотря на неудобство косить свежее лядо, где не выбиты еще мелкие пенушки—большие пни не мешают,—

косить все-таки выгодно. Крестьяне охотно берут косить с половины такой клевер на лядах. Таким образом, *лядо с первого же года после снятия хлеба делается производительным*, но этого мало: при косьбе, вместе с клевером срезается и весь отросток, вся лесная поросль, так что лядо получается чистым, и тотчас же образуется прекрасный покос. При обыкновенной же разработке ляд после хлеба трава появляется не сейчас, так что год-два косить нечего, и в то же время идет отросток, лесная поросль, которую потом, когда появится трава, нужно вырубить, чтобы превратить лядо в пустошный покос.

Не могу достаточно рекомендовать посев клевера на лядах, это самый лучший способ разработки пространств из-под вырубленных лесов. Я всем рекомендую этот способ и стараюсь распространить его. Подле дороги, идущей по моим пустошам, я нарочно выжег два ляда, одно засеял клевером с тимофеевкой, другое нет, чтобы проходящие и проезжающие могли видеть разницу: одно лядо чисто, зелено, представляет прекрасный покос, другое поросло осинником, между которым пробивается лишь скудная травка. Посевом клевера по лядам я достиг не только хороших пустошных покосов, но и хороших выгонов. Крестьяне очень интересуются такой обработкой ляд и *понимают всю выгоду* ее. Однако пример мой не находит подражателей: землевладельцы хозяйством не интересуются и не занимаются, у крестьян же в наделах ляд нет, а если крестьяне снимают у помещиков на ляда пространства из-под вырубленных лесов, то, сняв хлеб, бросают лядо на произвол судьбы. Только один крестьянин, купивший *в собственность землю*, хочет разрабатывать лядо по моему способу, он выжег лядо, засеял его рожью и просил меня выписать для него к весне семян клевера и тимофеевки.

Вот система хозяйства, которую я принял, и думаю, что при обилии земли, недостаточной разработке ее, слабости пахотного слоя никакой иной пока системы принять нельзя. Не естественнее ли, при обилии земли, прежде, всего воспользоваться теми богатствами, которые лежат в ней втуне. Нужно вести экстенсивное хозяйство, но, конечно, *нужно вести его правильно*, не хищнически, не истощать громадное пространство земель для того, чтобы переудобрять отдельные клочки, а равномерно распределять удобрение по всей земле. Я распахиваю пустовавшие земли, извлекаю то, что накопилось в них под влиянием атмосферических деятелей и удобряю те же земли, распределяя удобрение в правильной системе на всю находящуюся в культуре землю. Я всю мою землю стараюсь привести в культурное состояние и сделать в то же время одинаковой по качеству, тогда как вообще в наших хозяйствах оставляют главную массу земель в некультурном состоянии, извлекают

из них, что можно, и на счет их удобряют небольшие кусочки. В этом вся разница между моим хозяйством и хозяйством целой территории, хотя бы, например, Смоленской губернии.

То, что в малом виде представляло мое имение, представляет и вся территория, например, Смоленской губернии. Если мы соединим в кучу все земли и помещичьи, и крестьянские, будем рассматривать их в целой совокупности и посмотрим, какие угодья представляет вся территория в целости, то найдем, что вся территория представляет то, что представляло мое имение до 1871 года. Угодья всей территории состоят из следующих частей:

1) *Старопахотные земли*, находящиеся в культуре, удобряемые и засеваемые хлебами. Эти единственно находящиеся теперь в культуре земли (крестьянские наделы, небольшие клочки пахотной земли в помещичьих имениях, еще продолжающих вести хозяйство) *составляют лишь небольшую долю всей территории.*

2) *Облоги*, запущенные после «Положения» пахотные земли в помещичьих имениях, отрезанные от крестьян полевые земли. Количество таких запущенных пахотных земель, не находящихся в постоянной правильной культуре, полагаю, будет вдвое более, чем количество старопахотных земель.

3) *Луга* по рекам, речкам, оврагам, низины на крестьянских наделах.

4) *Пустоши* помещичьи, «отрезки» от крестьянских наделов. Этот род угодий преобладающий, занимает огромные пространства. Есть местности, в которых, кроме пустошных, никаких других покосов нет. Эти местности более всего страдают недостатком кормов, навоза, и к ним-то моя система наиболее применима.

5) *Пространства из-под вырубленных лесов*, большей частью брошенные зря и даже не разрабатываемые на пустошные покосы.

6) *Леса*, вырубленные, опустошаемые, уничтожаемые везде, где они имеют какую-либо ценность.

Система хозяйства, которая ведется на всей совокупности этих земель, та же, какая велась в моем имении до 1871 года. В культуре находятся только *старопахотные земли*, которые удобряются навозом, получаемым из сена, собираемого с облог, лугов и пустошей. Значительная часть этого сена поступает на крестьянские наделы, потому что обыкновенно господские луга убираются крестьянами из части. Так как крестьяне для прокормления своего скота (коней) неминуемо должны получать сено извне (на наделах почти нет лугов), и так как крестьяне хлеба не продают, но еще покупают для собственного продовольствия, то с крестьянских наделов ничего не вывозится, а, напротив, ввозится на них извне. *Возможностью*

такого ввоза со стороны обусловливается возможность крестьянского хозяйства, и, чем эта возможность более, тем выше хозяйственная зажиточность крестьян. Где крестьяне почему-нибудь не могут ввозить извне на свои наделы, там хозяйство крестьянское в упадке, а тем более там, где крестьяне должны вывозить, например, продавать для уплаты непомерных платежей за землю, сено в города или употреблять весь навоз на конопляники и продавать пеньку, коноплю.

Все эти как господские, так и крестьянские, составляющие первый разряд угодий, *старопахотные* земли удобряются на счет лугов, облог и пустошей. Увидав, какую пользу можно извлечь из облогов, мужики сильно взялись за распашку запущенных помещичьих полей. В настоящее время всюду стали делать то же самое, что я делаю в моем хозяйстве, крестьяне снимают в аренду облоги в помещичьих имениях и сеют на них лен и хлеб. Во многих имениях хозяйство совсем прекращено, в других чрезвычайно ограничено, и обрабатывается лишь такое количество земли, какое можно обработать за отрезки; свободные же земли, уже отдохнувшие, снимают крестьяне, распахивают, выпахивают и бросают. Сходство между моим хозяйством и хозяйством всей территории ограничивается, однако, только тем, что, как я распахиваю запущенные после «Положения» поля, так и по всей территории распахиваются такие же поля, но далее начинается разница. Распахивая новые земли, *я их присоединяю* к старопахатным землям, *привожу в культурное состояние*, *ввожу* в общую систему и, засевая новые земли льном, хлебами, в то же время засеваю старые земли травами, чтобы они, оставаясь под травой, отдохнули и потом сменили новые земли, когда те, пробыв известное время под хлебами, поступят под травы. На остальной же территории делается не так. Крестьяне, сняв в аренду новые земли, распахивают их и засевают льном, хлебом до тех пор, пока не истощат, а затем *бросают*. Все, что извлекается с этих земель, идет на удобрение крестьянских наделов, за исключением небольшого количества почвенных частиц, продаваемых с льном, семенем и отчасти хлебом. Таким образом, часть земель истощается и на счет ее удобряется другая часть, на которой ведется более интенсивное хозяйство. Следовательно, распахиваемые нови *не поступают в культуру* и, раз выпаханные, забрасываются, после чего надолго остаются непроизводительными, пока не придут в такое состояние, чтобы быть годными для новой распашки, старые же земли, хотя и удобряются на счет распахиваемых новей, но не приносят того, что они могли бы дать, не дают того, что дают у меня старые земли, оставаясь известное время под травами, пока распахиваются «нови». Пространство земли, состоящее из старой пахоты и «новой», в течение нескольких лет у меня дает

много более, чем такое же пространство, состоящее из крестьянских наделов, и арендуемых ими «новей». Все это происходит оттого, что *«нови» принадлежат одним лицам, а старые земли другим*. Крестьяне не могут поступать так, как я, потому что арендуемые ими земли *не их земли*, даже не могут быть ими взяты в аренду на *долгий срок*, не могут быть присоединены ими к своим наделам для *общей правильной систематической* культуры, какой следую я. Естественно, что крестьяне истощают арендуемые чужие земли и на их счет удобряют, скажу переудобряют, *свои* наделы. Понятно, что это будет продолжаться до тех пор, пока земли, так или иначе, не попадут в руки крестьян. *Крестьяне отлично понимают все безобразие такого хозяйства, всю невыгодность его для государства* и по-своему выражают это, говоря: царю в убыток, что земли пустуют, царю в убыток такой непорядок.

Пустошные земли до сих пор крестьянами под распашку в аренду не берутся и снимаются для покосов, но те пустошные земли, которые покупаются крестьянами *в собственность*, ими распахиваются под хлеб. Пространства из-под вырубленных лесов крестьяне охотно разбирают, если они годны на ляды, выжигают, сеют хлеб, год два, но потом бросают, не засевая их по хлебу травами, как это делаю я.

Из всего этого мы видим, что по всей территории ведется *неправильное*, хищническое хозяйство. Крестьяне, снимая в аренду земли на короткий срок, стараются только извлекать из этих *чужих* земель все, что возможно, и понятно, что иначе крестьяне поступать не могут. С другой стороны, и помещики не находят возможности иным образом эксплуатировать свои земли.

Никакой кредит на виллевские туки тут не поможет, не помогут никакие школы, склады, выписки скотов и прочие затеи. Единственное средство для поднятия нашего хозяйства, которое убыточно и для землевладельца, это устроить дело так, чтобы земли перешли к настоящему хозяину, к мужику. Мужик сумеет извлечь из них пользу. Крестьяне все это отлично видят и понимают и с часу на час ждут милости. Убеждены крестьяне, что эта милость будет полнейшая, и они повсеместно *открыто* говорят об этом.

Не из либерализма утверждаю, что единственное средство для поднятия нашего хозяйства—это увеличение крестьянских наделов, вообще переход земли в руки земледельцев. Не как «либерал», а как *хозяин*, говорю я, что у нас до тех пор не будет никакого хозяйственного порядка, что богатства наши будут лежать втуне, пока земли не будут принадлежать тем, кто их работает. Мне могут возразить, однако, почему же я не допускаю возможности поднятия хозяйства посредством развития помещичьих хозяйств, так называемой «grande culture». На это

я скажу, что «*grande culture*» *возможна только при существовании кнехта*, а у нас такого кнехта нет или очень мало, да и *нежелательно*, *чтобы он был*. Нельзя же считать десяток-другой процветающих *до поры до времени* хозяйств, к которым я причисляю и свое и для которых хватает кнехтов. Ну, что значат эти несколько хозяйств среди массы запущенных помещичьих хозяйств, которые не дают дохода своим владельцам, бесполезно для себя зажимают крестьян и заставляют их *бесплодно болтать* землю?

Крепостное право пало, вместе с ним пало и помещичье хозяйство. До 1861 года существовала известная система. Помещик в своем имении был властелин известного количества рук, имел в своем полном распоряжении известную рабочую силу, которую мог направлять, *как хотел*. При крепостном праве помещик, хороший хозяин, устраивал обыкновенно свои отношения так: крестьянам было отведено точно определенное количество земли, которая обыкновенно так и называлась крестьянской землею; крестьяне сами распоряжались этой землей, вели на ней свое хозяйство и за это доставляли, для работы на помещичьих полях, известное количество работников с лошадьми и орудиями и содержали этих работников. Часть крестьян, *хозяева*, жили в своей деревне, иногда верст за 20 и более отстоящей от господского дома, вели свое хозяйство самостоятельно и были до известной степени независимы; другая часть крестьян *пригонщики*—с лошадьми и орудиями жили на господском дворе и производили все работы на господских полях. Кроме того, в некоторых случаях, в страду, когда нужно было в известные моменты усилить число рабочих рук, делались *сгоны*, при которых являлись на работу все хозяева. Зная точно количество рабочих рук и их производительность, будучи полновластным распорядителем этих рук, имея притом возможность в известные моменты увеличивать количество рук, помещик мог вести свое хозяйство *совершенно правильно*. Это была система и, чем правильнее были определены отношения—а это так и было у помещика хорошего хозяина того времени—тем правильнее шло хозяйство.

С уничтожением крепостного права вся эта система рушилась и сделалась невозможной, и все хозяйство страны должно было принять новые формы. Но естественно, что люди, сжившиеся с известными порядками, желали, чтобы эти порядки продолжались. Думали, что и после освобождения крестьян будут продолжаться те же или подобные порядки, с той только разницей, что вместо крепостных будут работать вольнонаемные рабочие.

Казалось, что все это так просто выйдет. Крестьяне получат небольшой земельный надел, который притом будет обло-

жен высокой платой, так что крестьянин не в состоянии будет с надела прокормиться и уплатить налоги, а потому часть людей должна будет заниматься сторонними работами. Помещики получат плату за отведенную в надел землю, хозяйство у них останется такое же, как и прежде, с той только разницей, что вместо пригонщиков будут работать вольнонаемные батраки, нанимаемые за оброк, который будут получать за отошедшую землю. Все это казалось так просто, да к тому же думали, что, если станут хозяйничать по агрономиям, заведут машины, альгаузских и иных скотов, гуано и суперфосфаты, то хозяйство будет итти еще лучше, чем шло прежде, при крепостном праве. В начале было сделано много попыток завести батрацкое хозяйство с машинами и агрономиями, но все эти попытки не привели к желаемому результату. Чисто батрацких хозяйств у нас нет. «Grande culture» с работающими в хозяйстве вольнонаемными батраками оказалась невозможной, потому что она требует безземельного *кнехта*, такого кнехта, который *продавал бы хозяину свою душу*, а такого кнехта не оказалось, *ибо каждый мужик сам хозяин*. Количество обезземеленных крестьян, бросивших хозяйство, слишком мало для того, чтобы доставить контингент прочных кнехтов для помещичьих хозяйств, и поглощается фабриками, заводами, городами, помещичьими хозяйствами в качестве должностных лиц, а настоящего-то *кнехта сельского* и *нет*. А если нет прочного кнехта, то как же тут может быть батрацкое хозяйство и какая-нибудь «grande culture».

На выручку помещичьим хозяйствам пришло—но только *временно*—то обстоятельство, что крестьяне получили малое количество земли и, главное, должны были слишком много платить за нее. Земли у мужика мало, податься некуда, нет выгонов, нет лесу, мало лугов. Всем этим нужно раздобываться у помещика. Нужно платить подати, оброки, следовательно, нужно достать денег. На этой-то нужде и основалась переходная система помещичьего хозяйства. Помещики оставили машины, агрономии, батрацкое хозяйство, уменьшили запашки и стали вести хозяйство, сдавая земли на обработку крестьянам с их орудиями и лошадьми, сдельно, за известную плату деньгами, выгонами, лесом, покосами и т. п. Но обрабатывающие таким образом земли в помещичьих хозяйствах крестьяне сами хозяева, сами ведут хозяйство и нанимаются на обработку помещичьей земли только *по нужде*. Человек, который сам хозяин, сам ведет хозяйство и *только по нужде* нанимается временно на работу,—это уже не кнехт, и на таких основаниях ничего прочного создать в хозяйстве нельзя. Есть нужда—берет работу, и дешево берет; нет нужды—не берет. Чтобы иметь рабочих на страдное время, нужно закабалить их с зимы, потому что, раз поспел хлеб, уже никто не пойдет в чужую

работу: у каждого поспевает свой хлеб. Все помышления мужика-хозяина клонятся к тому, как бы не закабалиться в работу, быть свободным летом в страду, он все претерпевает, лишь бы сохранить свободу для своего хозяйства. Вся система нынешнего помещичьего хозяйства держится, собственно говоря, на кабале, на кулачестве. Есть при имении отрезки, можно выгонами, покосами или иным чем затеснить крестьян, «ввести их в оглобли», «надеть хомут», крестьяне берут помещичью землю в обработку, нельзя затеснить—не берут. Дошло до того, что даже *ценность имения определяют не внутренним достоинством земли, а тем, как она расположена по отношению к крестьянским наделам и насколько затесняет их.* Нет хлеба, нет зимних заработков—берут у помещика работы, закабаляются с зимы; уродился хлеб, подошли хорошие заработки—никто не нанимается. Какое же тут может быть правильное хозяйство? Мужик постоянно стремится освободиться от кабалы, он работает в помещичьих хозяйствах только временно, случайно, закабаляясь по нужде. Одолевает или не одолевает мужик, а все-таки в конце концов, подрывается помещичья «grande culture». Одолел мужик—он сам увеличивает хозяйство, не одолел—он уничтожает хозяйство, бросает землю и уходит. и в том, и в другом случае помещик остается ни с чем. Поэтому-то помещичьи хозяйства год от году все падают, сокращаются, уничтожаются, и землевладельцы переходят к сдаче земель в аренду на выпашку. Если же которые хозяйства и держатся—на два, на три уезда батраков хватит,—то это чистая случайность, ничего прочного в них нет, и будущности они не имеют. Без кнехта не может быть правильного, прочного хозяйства. Представьте себе, что не было бы людей, которые из чиновничьей службы сделали бы себе профессию. Представьте себе, что все интеллигентные люди были бы люди вольные, занимались бы своими делами, своими хозяйствами и, только в случае нужды, временно, нанимались бы на службу в чиновники. Неурожай, торговый кризис, дороговизна—пропасть желающих послужить для того, чтобы перебиться, пока поправятся дела. Урожай, хорошо идут всякие торговые и иные дела—нет никого, во всех департаментах и канцеляриях пусто. Ну, как же бы шла тогда служба? А ведь помещичья «grande culture» находится в таком именно положении.

Положим, что хозяин все науки знает, всякие агрономии произошел и за время, пока еще было можно заправиться, устроил хозяйство. Хлеба у него буйные, травы шелковые, скоты по полям ходят тучные, но все-таки же здание выстроено на песке. Нет у него прочного кнехта, который бы продал ему свою душу навсегда, хотя бы даже и за-дорого. Дело тут не в цене, а в прочности. Мужик в нужде задаром закабаляется, но души,

во-первых, не продает, он сам хозяин, и душа его в своем хозяйстве, а во-вторых, изменились условия, поправился мужик—он и прочь.

Да и то еще сказать, весело смотреть на роскошный клевер, которого становится 50 коп на десятине, но радость, как хотите, отравляется при виде мужика Михайлы, с зимы закабалившегося на уборку клевера. Не радуется Михайла, глядя на могучий клевер, в ужасе стоит он перед этой массой травы, которую он должен скосить и убрать. Думать тут, однако, нечего,—обязался, нужно скосить; там волостной, мировой, урядник, член, производитель... Положим, барин добрый, сам понимает, что клеверу народилась масса, что взятая еще зимой плата мала, и прибавляет Михайле рубль-другой. Мужик рад, кланяется, благодарит доброго барина... Но вот опять зима, пришло время сдавать работы, барин добрый—не обидит, но Михайлы нет.

— Что же ты, Михайла, не берешь клевер косить?—Говорит барин, встретившись с Михайлой.

— Нынче я не возьму,—весело говорит Михайла,—нынче я, слава богу, с хлебом, пенечку продал, подати уплатил, хлебушка есть.

Агрономия—прекрасно. Для агрономии, однако, нужен мужик. Но мужик сам агроном, зачем он пойдет чужую агрономию разводить? Чтобы шли все эти агрономии и «grande culture», нужно, чтобы у мужика не было хлеба, чтобы мужик был в нужде. Оно правда, что по-русски, попросту, по-божески, можно до известной степени вести хозяйство, но только чур—ничего не стремиться упрочивать. В прошлом году много наделал шуму процесс лютеричских крестьян, но, по-моему, это так только оборвалось на Бобринском и Фишере, да и то только потому, что они хотели завести прочную экономию. Почему Бобринский и Фишер? Да ведь *во всех* помещичьих хозяйствах то же или почти то же самое. Если пересмотреть условия, делаемые в волостных правлениях, особенно, если взять условия, которые сделаны *покрепче*, то встретится пропасть таких условий, как у Фишера. Да и как же иначе быть?

Бобринский хотел устроить рациональное хозяйство наподобие западноевропейских, с машинами, с рациональными севооборотами и пр. и пр. Завести хозяйство взялся немец Фишер, обыкновенный немец-агроном. Почему же Фишеру не вести хозяйство? Деруновы, Разуваевы, Колупаевы ведь хозяйствуют, почему же Фишеру не хозяйничать? Конечно, Дерунов берется за хозяйство, перекрестясь, а Фишер не перекрестился. Дерунов ни о каком прочном агрономическом хозяйстве не думает, а Фишер хотел устроить прочную немецкую агрономию. Дерунов перекрестится, урвет, ухватит, высосет

и пошел прочь, а то и так сидит, сосет, но дело в том, что Дерунов все по-божески, с крестом, Дерунов свой к тому же человек, русский, каждый, дай ему опериться, будет делать по-дерунovски. Дерунов делает по-божески, все на совесть, ни судов, ни контрактов, ни бумаг. Много-много если у него есть толстая книга, в которой крупными литерами записано: «Иван Петров—полштох, селетка». Пришла пора пахать, косить, жать—едут деруновские молодцы по деревням народ выгонять, и идут Иваны Петровы косить, жать. Пашут, косят, жнут, а там в книге все стоят нескончаемые «полштохи» и «селетки». У Дерунова все идет, как по маслу, делается все по-божески, по душе, без судов. Молодцы ездят по деревням «во-время». «За тобой должок есть—вези-ка к нам пенечку». А там, нужен под весну хлеб или полштоф к празднику, Дерунов не отказывает, разве что посрамит маленечко того, кто проштрафился чем. Идет все своим порядком, по-божески, по душе, чисто, хорошо, ни судов, ни судебных приставов, ни войск.

Если так по-божески, по душе, то можно даже и маленькую агрономию развести, не прочную, конечно, а так себе, божескую.

Но разве Бобринский мог поручить свое хозяйство какому-нибудь Дерунову? Он ведь хотел настоящую, прочную агрономию завести, немецкую. Взялся Фишер и начал орудовать. Немец, конечно, понял, что прочную агрономию нельзя завести без кнехта, без настоящего кнехта. У крестьян же, кстати, наделы кошачьи. Ну, и начал немец орудовать, думал, должно быть, прочного кнехта устроить. Взялся за дело по-немецки, с судами, с бумагами, думал все покрепче сделать—и оборвался. Не перекрестясь немец за дело взялся. А за что оплевали? За что? Что делал немец, то делают Деруновы, то делают *все*. Ну, положим, не так натягивают, а по существу-то все то же. У немца только хитрости, так сказать, нехватило, слишком прямо орудовал, не перекрестясь. Чтобы вести хозяйство без агрономии или по агрономии, недостаточно иметь только землю, машины, нужен еще мужик. «Дикий барин» думал было без мужика обойтись, да и обстыдился. Нужен мужик, а мужик-то сам хочет быть хозяином, а кнехтом быть не хочет. Это не то, что интеллигент, который в какие угодно кнехты готов итти, лишь бы только иметь обеспеченное положение. У люторичских крестьян нищенский, кошачий надел. «Крестьяне» не могут жить «наделом», говорил на суде адвокат люторичских крестьян. Работа на стороне и на полях бывшего помещика для них неизбежна, к ней они тяготеют не как вольно договаривающиеся, а как невольно принуждаемые, а в этом идея и смысл системы, практикуемой управляющим «графских имений».

Тут причиной нищенский, кошачий надел. Крестьяне не могут жить наделом, работа на помещика для них неизбежна,

и работают они не как вольно договаривающиеся, а как невольно принуждаемые, но где же мужики работают, как вольно договаривающиеся? Мужик-хозяин, имеющий свое хозяйство, никогда не работает на господском поле как вольно договаривающийся, а всегда как «невольно принуждаемый». Кто же, имея свое хозяйство, свою ниву хлеба, *добровольно оставит свой хлеб осыпаться* и пойдет убирать чужой хлеб?

Что-нибудь одно: или мужицкое хозяйство, или «grande culture». Иные думают, что хорошо, по агрономии организованная «grande culture» может платить мужику более, чем он получит из своего хозяйства, так что мужик будет бросать землю, чтобы итти батраком в «grande culture», подобно тому, как иногда бросает землю, чтобы итти в фабричные, в прислуги, в интеллигенты. Не говоря уже о том, что вовсе нежелательно, чтобы «grande culture» обезземеливала мужика, я думаю, что этого не может быть и не будет. Теперь мы такой «grande culture» не видим, а видим только не имеющие будущности, случайные, кулаческие хозяйства и массу падающих хозяйств, земли которых расхищаются выпашкой.

Старая помещичья система после «Положения» заменилась кулаческой, но эта система может существовать только временно, прочности не имеет и должна пасть и перейти в какую-нибудь иную, прочную форму. Если бы крестьяне в этой борьбе пали, обезземелились, превратились в кнехтов, то могла бы создаться какая-нибудь прочная форма батрацкого хозяйства, но этого не произошло—падают, напротив, помещичьи хозяйства. С каждым годом все более и более закрывается хозяйство, скот уничтожается, и земли сдаются в краткосрочную аренду, на выпашку, под посевы льна и хлеба. Пало помещичье хозяйство, не явилось и фермерства, а просто-напросто происходит беспутное расхищение—леса вырубаются, земли выпахиваются, каждый выхватывает, что можно, и бежит. Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству. Заводите какие угодно сельскохозяйственные школы, выписывайте какой-угодно иностранный скот, какие угодно машины, ничто не поможет, потому что нет фундамента. По крайней мере, я, как хозяин, не вижу никакой возможности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдут в руки земледельцев. Кажется, что в настоящее время и все это начинают понимать.

Батищево, 14 декабря 1881 года.

XII

(Посвящается памяти К. Д. Кавелина)

... И у нас открыто отделение крестьянского банка. И в нашем «Счастливом уголке» крестьяне, при содействии банка,

покупают земли. Пять деревень, смежных с моим имением[1], уже прикупили довольно значительное количество земли.

И выходит хорошо.

Владельцы довольны, что могут продать ненужные им земли, с которыми они не знают, что делать, с которых дохода не получают, на которые иных покупателей, кроме крестьян, найти трудно. Продаются, большей частью, отрезки, запольные земли, пустоши, отдельные запущенные хутора и т. д.

Крестьяне довольны, что могут прикупать нужные им земли «в вечность». Прикупленные земли они могут «привести к делу». Покупаемые земли всегда существенно необходимы для крестьян, многие из них, большей частью, и прежде—а иные с самого «Положения»—уже пользовались ими, отбывая за них владельцам работы,—обыкновенно обрабатывали «кружки». Но работы эти для крестьян в высшей степени стеснительны. Только необходимость—потому что «податься некуда»—вынуждает крестьян работать «кружки» за пользование этими землями. Пользование—самое невыгодное, обыкновенно пользование только тем, что земля дает, оставаясь в диком, некультурном состоянии. А земли у нас тощие, плохие, сами по себе дающие очень мало. Это плохие суходольные покосы и выгоны. Только при обработке и хорошем удобрении их можно «привести к делу», как говорят крестьяне; но это стоит дорого, и, пользуясь землей только временно—обыкновенно крестьяне снимают земли на год, много на три, без права распашки,—кто же станет влагать в нее труд и деньги!

Теперь, благодаря содействию крестьянского банка, дело, к обоюдному удовольствию и владельцев, и крестьян, отлично улаживается. Владельцы получают нужные им деньги—крестьяне приобретают необходимые им земли. Обе стороны довольны. Выходит хорошо.

Позвольте мне рассказать об этом деле то, что я знаю и вижу. Но прошу—имейте в виду, что я буду говорить только о «своем месте», о своем уезде, много—губернии, и только о том, что доподлинно знаю и вижу.

Вопросом о крестьянском банке я не занимаюсь, даже отчетов о действиях банка не читал. Я просто хочу рассказать, как идет дело тут у нас, около меня, да и говорить об этом деле намерен только с хозяйственной, с агрономической стороны. Давно уже, еще приступая ко второй серии моих писем «Из деревни»[2], я предупреждал, что «решительно ни о чем другом

---

[1] С. Батищево, Дорогобужского уезда, Смоленской губернии.

[2] Первая серия моих писем «Из деревни» напечатана под псевдонимом А. Буглима (название деревни, близ которой я прожил лето 1863 г.) в «С.-Петербургских ведомостях» 1863 года. Вторая серия печаталась

ни думать, ни говорить, ни писать не могу, как о хозяйстве. Все мои интересы, все интересы лиц, с которыми я ежедневно встречаюсь, сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, навозе». Теперь, просидев шестнадцать лет в деревне, я еще более погрузился в хозяйство...

Одна из деревень, купивших, при содействии крестьянского банка, землю, деревня Б., лежит, так сказать, внутри моих владений. Надел ее отделяется от той части моей земли, на которой я веду хозяйство, небольшой речкой. Сзади надела узкой полосой тянется моя же пустошь, недавно, при мне, в течение последних шестнадцати лет, разработанная из-под леса; пустошь моя прилегает ко всем трем крестьянским полям, и только с одной стороны крестьянский надел межует с землей соседнего владельца, которую крестьяне, при содействии банка, и купили в 1885 году.

Надел у крестьян довольно хороший как по положению, так и по качеству земли. Разумеется, когда я говорю, что земля хороша по качеству, то это только относительно: по-нашему, по-смоленскому—хороша, но все же требует неустанного удобрения и без навоза плохо родит хлеб. Есть у крестьян довольно хороший луг вдоль речки. У большинства своего хлеба для собственного прокормления нехватает, и хлеб нужно прикупать. Смотря по урожаю, иногда хлеб приходится прикупать с масленой, иногда со святой, редко кому перед «новью» только. Урожаи хлеба за последние пятнадцать лет заметно возвысились, что и понятно, так как крестьяне снимают на стороне много покосов с части, содержат изрядное количество лошадей, скота и удовлетворительно удобряют землю. Надел у крестьян не высший,—впрочем, до полного надела нехватает немного. Крестьяне получили в надел то, чем пользовались при крепостном праве, и прирезки земли до высшего надела сами не пожелали, находя, что им достаточно и той земли, которой они прежде пользовались; но, конечно, потом вскоре оказалось «затеснение в земле», стало «некуда подаваться». Луг у крестьян очень порядочный, пахотной земли было достаточно,—а выгона для скота мало. К тому, порядки-то после «Положения» пошли другие.

В крепостное время было гораздо вольнее относительно пастьбы скота уже потому, что везде велось одинаковое трехпольное хозяйство, и поля обыкновенно приурочивались так, что во всех смежных владениях сеялись одинаковые хлеба. К моему паровому полю, например, прилегали паровые поля деревень Б., Д. и Х.; к ним прилегало паровое поле соседнего помещика и т. д. Поэтому «уруги» (особняки) для скота—да

в «Отечественных записках» 1872—1882 годов, а потом вышла отдельным изданием.

и скота у крестьян тогда было много меньше—было достаточно, и остерегаться нужно было только от потравы хлебов и «заказных» лугов, насчет чего, конечно, было строго. После «Положения» все это изменилось. Положим, к крестьянскому паровому полю прилегает тоже паровое поле того или другого владельца, но уж это не только паровое поле, но и *чужое* паровое поле, на которое пускать скот нельзя, а хочешь пускать—послужи. Пустоши, прилегающие к паровым полям, даже луга по речкам и оврагам, находящиеся за паром, прежде поступали под выгон, на котором пасся господский скот и кормились лошади крестьян, работавших на барщине; теперь же, особенно там, где у владельцев нет своего инвентаря и обработка производится «кругами», то-есть крестьянами с их лошадьми и орудиями, часто и за паром «заказывают» часть пустошей. Прежде, бывало, после скоса травы и снятия хлебов было вольно; скот свободно ходил и по атавам и по жнивьям, а теперь и на скошенный луг и на жнивья *чужие*, если хочешь пускать скот—послужи. Вначале крестьяне долго привыкнуть не могли к новым порядкам. Отдельная пустошь, например, облегает крестьянские поля, владелец никогда на нее скота не пускает за дальностью от усадьбы или даже за невозможностью прогнать свой скот на эту пустошь. Пустошь эту владелец косит и «заказывает» не с «царя» (то-есть с 21 мая), как «заказываются» выгоны у крестьян, а с ранней весны, как только снег согнало. Скосил владелец пустошь, убрал сено, скота своего на нее на пускает, атава задаром пропадает, но пустошь *чужая*, и пускать на нее скот нельзя. Задаром пропадает атава,—а «не смей пускать на мою землю! *моя* земля!» Идут неудовольствия. Крестьяне, разумеется, пробуют пускать. Раз взяли лошадей «в хлев»—плати штраф за потраву; другой раз взяли скот «в хлев»; третий раз свиней загнали. Все неудовольствие. Чем постоянно «собачиться», лучше послужить. Ну, и служат. Пока хозяйство у владельца ведется по той же системе, как у крестьян, все кое-как улаживается. Но в последнее время пошли разные перемены в хозяйстве. Кое-где завелись многопольные севообороты, хлеба разные стали сеять, клевера. У крестьян, например, все то же паровое поле, как было в старину, а на прилегающем поле соседнего владельца, где в старину тоже был пар одновременно с крестьянским, теперь вдруг очутился клевер, или лен, или овес. Тут уже и «послужить» нельзя. Никто не дозволит и за послугу травить хлеб или клевер, это и крестьянин отлично понимает. Приходится сидеть в своих рамках, на своем наделе, и нанимать «уругу» если не для скота, то для лошадей, для «ночного», на стороне, водить туда лошадей в поводу. Тут уж и владелец, при всем желании, иногда ничем помочь не может.

И при полном высшем наделе разгуляться негде; о том, чтобы было «вольно», чтобы можно было беспечно пускать коня в отдышку, и говорить нечего, лишь бы только накормить хорошенько,—а тут еще не высший надел. Старики-то думали: довольно с нас и того, чем при крепости пользовались, жили ведь, —не захотели прирезки. В то время народ «пушной» был, как говорят теперь крестьяне. А потом пошли затеснения. Надеялись было, что еще земли прирежут, что будет передел...

Ну, и допекает же теперь молодежь стариков, что не умели и надела побольше получить, и земли лишней приобрести. Тогда-то это было легко. Можно было часто получить значительные прирезки пустопорожних земель за очень дешевую плату—за отработку в течение нескольких лет, как это и сделали крестьяне некоторых деревень. Земли тогда были очень дешевы.

— Не умели сделать дела старики, прозевали землю, пушнина!

В деревне Б. именно молодежь—молодое, новое поколение, выросшее после «Положения»,—и настояла на покупке земли при содействии банка. Старики все боялись— в «банку» платить нужно, помещику работать нужно (за дополнительный платеж), засеяться первый год на новой земле нужно. А там, не заплатить во-время в «банку»—землю отберут; это не то, что казенная недоимка. Старики, наверно, опять прозевали бы землю; тянули бы, сегодня так, завтра этак, дорого, мол, не совсем с руки, может, и так прирезка будет, новое «Положение» от царя выйдет, тоё да сё, воловодили бы да воловодили. А там кто-нибудь и купил бы, потому что участочек очень хорош.

Молодежь настояла на покупке земли. Дело сделано. Теперь все, и старики, даже бабы не нарадуются, что прикупили землю —с хлебом стали.

Деревня Б. прикупила к наделу участок пахотной земли с лужком вдоль той же речки, которая отделяет крестьянский надел от моей земли. Прикупленный участок прилегает к одному из крестьянских полей.

Покупка очень выгодная. Куплено около 50 десятин, что-то близко по 50 рублей за десятину. Часть денег дал банк; уплату же остальной части помещик рассрочил на шесть лет с тем, что крестьяне, кто как пожелает, могут платить деньгами или отрабатывать—«работать круги»—за определенную, довольно хорошую цену. Только два двора пожелали платить деньгами, остальные же взялись работать «круги». Работа эта их не очень стесняет и представляет еще ту выгоду, что, работая у помещика, крестьяне могут пользоваться для скота его «уругой», по крайней мере, по снятии трав и хлебов.

Купленная крестьянами деревни Б. земля очень хороша. Прекрасное, покатое на юго-запад поле пахотной земли, когда-

то отлично удобрявшейся и только запущенной, но еще не истощенной, за последние пять-шесть лет. Внизу, у подошвы поля, небольшой болотистый торфяной луг, по которому протекает речка.

Прежде в имении, небольшую часть которого составляет купленная крестьянами деревни Б. земля, велось обширное хозяйство, и земли отлично удобрялись. В этом имении жил сам владелец, у которого было тут же, поблизости, много, очень много, что-то около десяти тысяч десятин, земли, преимущественно под лесами; было у него несколько хуторов и множество «отрезков», за которые работали «круги» крестьяне разных деревень. В имении, где жил владелец, было очень интенсивное хозяйство. Скота содержалось в имении много, велось молочное хозяйство с прекрасной швейцарской сыроварней. Одного клевера было 150 десятин. С винокуренного завода, находившегося в другом имении, доставлялась сюда барда для корма скота, свозились сюда же, в случае надобности, кормы с других хуторов, употреблялось значительное количество конопляных жмыхов; сывороткой с сыроварни и хлебом откармливалось много свиней. Выгоны постоянно расчищались, из-под рощ разрабатывались новые земли. Навоза накоплялось множество, поля удобрялись отлично, хлеб родился превосходнейший, какой редко где можно встретить.

Когда я, в 1871 году, поселился в деревне, хозяйство в этом имении было в цветущем состоянии. Впоследствии, однако, мало-помалу дела владельца порасстроились. Обширные леса были распроданы, хутора—тоже. Нынешнему владельцу, наконец, досталось только это имение, состоящее из главного участка, на котором ведется хозяйство, и разных «отрезков», за которые крестьяне обрабатывают «кружки» в имении. Конечно, по мере уменьшения средств владельца, а также и за отсутствием его в течение некоторого времени, хозяйство стало опускаться. Не было уже того количества кормовых средств, не было ни барды, ни жмыхов,—одно время даже часть сена, клевера и соломы продавали. Скотоводство было сокращено. Навоза стало получаться меньше. Земли стали худо удобряться. Обработка тоже стала хуже. Но так как прежде, и много лет притом, земля очень сильно удобрялась, то она еще не истощилась, не потеряла старой силы, но только запущена, одичала. Стоит только настояще взяться за эту землю, и она тотчас же себя покажет.

Участок пахотной земли, приобретенный крестьянами, составлял прежде часть экономического поля, сильно удобрялся и давал великолепнейшие урожаи хлеба. Последние же годы этот участок сдавался исполу крестьянам одной малоземельной деревни, вовсе не удобрялся и обрабатывался до крайности плохо, кое-как, так что хлеб перестал родиться.

Но земля еще сохранила силу, что очень хорошо понимали крестьяне, покупая ее. Притом же крестьяне, купив этот участок по 50 рублей за десятину, вместе с тем купили и подготовленный материал для удобрения этой земли, или, лучше сказать, подготовленный материал *для заправки земли*—именно, подготовленную к вывозке на поля торфяную болотную землю.

Я сказал выше, что на купленном крестьянами участке, внизу, у подошвы пахотного поля, находится болотистый торфяной лужок. Лет десять тому назад, когда хозяйство в имении было еще в цветущем состоянии, владелец задумал употреблять для удобрения полей болотную торфяную землю. Облюбовав лужок, который теперь вместе с пахотной землей куплен крестьянами, он нанял граборов выкопать торфяную землю и сложить ее высокими саженными грядами, для того чтобы она выветрилась и окислилась до вывозки в поле. Года через два по выкопке часть этой торфяной земли была вывезена на ту же пахатную землю, которую теперь купили крестьяне. Действие этого торфяного удобрения было очень хорошее. Но потом, когда хозяйство пришло в упадок, вывозить на поля торфяную землю перестали, так что теперь остальная выкопанная торфяная земля досталась крестьянам.

Когда сделалось известно об учреждении у нас отделения крестьянского банка, то прежде всех возымели намерение приобрести землю при содействии банка крестьяне другой, соседней со мною, деревни О. Действительно, эти крестьяне и приобрели целый хутор, о чем я расскажу ниже. Вот это-то и дало первый толчок делу.

— Они, мол, купили землю, целый хутор!..

А так как крестьяне спят и видят, как бы иметь побольше земли, то, конечно, факт, что покупается земля при содействии банка, произвел сенсацию, заставил и других подумать, как бы и им, по примеру тех, приобрести землицы. Земли у нас дешевы, пустопорожних земель множество, предложение земель на продажу огромное...

Вскоре стало известно, что барин согласен продать земли крестьянам. Распространился слух, что он продает отрезки крестьянам деревень Д. и Х., которые давно уже на них сильно охотятся. Откуда-то узнали, что он непрочь продать участок земли, которая до сего ходила исполу, что крестьяне, которые до сих пор держали этот участок по контракту на несколько лет, купив теперь хутор, рады были бы избавиться от работы на этом участке исполу.

«А участочек-то—сливочки! Всего пятьдесят десятин, межа с межой; пахать ли, под выгон ли пустить—прелесть! Одной пахотной земли 36 десятин, да и земля-то какая; положим, запущена, но силы еще не потеряла; добра-то в нее что прежде зало-

жено; да и была тут когда-то деревенька, которую барин при крепости еще свел, так что часть земли—селитебной, на много лет сдобженной. Опять же и лужок внизу, овражки, покосец, хотя и не мудрый, а все же... Торфяная земля заготовлена. Речка внизу протекает. Отличный участочек—хоть кому! Если купить да построить хуторочек, земелькой заняться, торговлишкой какой-нибудь—отлично! Те же б-ские крестьяне за «уругу», даже «за вскок», сколько обработают! А рядом еще деревня С., Д., В.—все кругом. Да тут если настоящему человеку, хозяйственному, да с деньжонками, да «обходительному», чтобы то-есть «развратности» у него достаточно, так ему четыре смежные деревни задаром все обработают, «за вскок», да за то, что в нужде когда «вызволит». И цена небольшая—50 рублей за десятину; у кого есть деньги, чистыми можно отдать. Купит кто-нибудь, построится,—возжайся тогда с ним, хуже большого барина будет...».

А крестьянам купить можно: часть денег даст банк, а другую—барин рассрочит под работу. Сильно задумались крестьяне, как бы приобрести эту земельку, но если бы не молодежь, то весьма вероятно, что прозевали бы покупку земли и потом век бы каялись. Пока бы старики думали, да гадали, да бобы разводили, да почесывались, кто-нибудь и купил бы в частную собственность—вот бы и были у праздника! Или барин, продав разные «отрезки», раздумал бы продавать этот участок. Куй железо, пока горячо. Настояла, все сделала сельская молодежь. Однако, сначала только несколько человек из молодежи хотели, выделившись в товарищество, купить землю для себя и даже переселиться на нее. Но потом дело устроилось иначе: купила вся деревня. Помог деревне в этом отношении один молодой из образованных; он разъяснил крестьянам все дело, указал, как и что, уговорил купить всей деревней, в общественную собственность. Теперь, когда дело сладилось и вышло хорошо,—так хорошо, как нельзя лучше,—крестьяне, слыхал я, записали имя этого юноши в свои поминальницы, которые подают за обедней. «И это ему зачтется!»—говорят крестьяне.

— Уж зачлось!—сострил один мой знакомый.

— Как?

А помните, с расспросами и разведками приезжали.

Дело сладилось к весне 1885 года. С весны 1885 года помещик предоставил крестьянам покупаемую землю в полное распоряжение и пользование, с тем чтобы они убрали в его пользу рожь, которая была посеяна половинщиками в 1884 году.

Однако первый блин вышел комом. Часть земли крестьяне засеяли яровым, но в 1885 году у нас повсеместно был полнейший неурожай ярового. Все яровые хлеба—ячмень, овес,

лен—совершенно не уродились, так что местами еле возвратили семена. Урожай трав был тоже очень плохой. Урожай ржи был у крестьян средний, да еще нужно было из этой ржи посеять на прикупленной земле.

Предназначенную для посева часть земли крестьяне удобрили торфяной землей, о которой я упомянул выше, и тщательно удобрили; навоза положить не могли, потому что его нехватает у них для полного удобрения своей надельной земли. Осенью 1885 года зелень на этом поле была превосходнейшая, густая, темная цветом, лучше, чем на надельной земле. В прошедшем году урожай ржи был превосходный, так что крестьянам хлеба с своей надельной земли да с прикупленной хватит, без малого, до «нови», чего никогда прежде не бывало. Как тут беднякам было не записать имя «Виктора» в поминальницы!—Если бы, мол, не он—купили бы землю несколько товарищей помогутнее, посемьянистее, а бедняки да одиночки остались бы без хлеба—покупай тогда у товарищей! Ярового крестьяне на прикупленной земле нынче не сеяли, а обратили землю под рожь будущего года. Обработали пар тщательно, прошлой осенью вспахали на зиму, что у нас очень важно и полезно. Я всегда пашу пар на зиму—черный пар,—трою летом, и это имеет огромное значение. Крестьяне, однако, до сих пор не следовали моему примеру, потому что пар им необходим для пастьбы скота. Теперь же, как прикупили землю, ведут на ней ту же обработку, как и я, свой надельный пар оставили под скот, принаняли у меня участок—посечище недавно срезанного леса—для того, чтобы было где кормить лошадей, а на прикупленной земле завели настоящий черный пар, как у меня. Вот и глядите, толкуйте о косности мужика! Нет, в *хозяйственном* деле он не так косен, как это кажется на первый взгляд. Когда увидит дело и *найдет возможность* его применить—применит. Конечно, если вы станете разводить турнепсы в Смоленской губернии или садить кукурузу, конский зуб, для силосования, или разводить живокость, или что там еще есть нового,—росичка кажется?—то мужик перенимать у вас не станет. Мужик сер, да не чорт его ум съел! Прикупили землю—на зиму пахать стали, отлично обрабатывают пар, торфяную землю на поле возить стали...

Впрочем, прошлый год крестьяне торфяную землю на пашню не возили, потому что лето было мокрое, и вывозить торфяную землю из болота было трудно. Многие зато вывезли на прикупленную землю навоз, рассчитывая, что выгоднее положить его на хорошую, удобно расположенную, вновь прикупленную землю, чем на плохие, низкие нивы надельной земли. Зелень осенью прошедшего года на прикупленной земле очень хороша—поле видно из моей усадьбы, так что я постоянно могу следить

за ним,—и можно надеяться, что крестьяне в будущем году опять получат хороший урожай ржи. Интересно, что как только земля попала в крестьянские руки, и именно в собственность, или «в вечность», как говорят крестьяне, так и урожаи стали лучше, хотя, вообще говоря, в среднем, у крестьян большей частью урожаи хуже, чем у помещиков; но это зависит не от того, чтобы крестьяне хуже относились к земле, ленились ее обрабатывать, как думают некоторые, но от множества сложных причин.

Правда, крестьяне относятся очень недоверчиво к разным агрономическим затеям и нововведениям помещиков, но и то сказать, что и в самом деле нельзя иначе относиться—столько уже они видели неудач, ошибок, а главное дело, *легкомысленности*. Чего-чего не было перепробовано охотниками до агрономии и всегда с мыслью тотчас увеличить урожаи или удешевить производство, быстро разбогатеть, но на деле ничего не выходит, и помещичье хозяйство, в общем, за немногими исключениями, недалеко ушло от крестьянского. Да и понятно: научных знаний нет, да и практических знаний, как у мужика, который все же много знает, тоже нет. А по дурно понимаемой теории «здравого смысла», без знаний ничего не выходит.

Относясь недоверчиво к нововведениям, крестьяне, однако, внимательно следят за тем, что делается у соседнего помещика, и если дело действительно идет, установилось прочно, то крестьяне очень хорошо оценивают выгодность того или другого нововведения и применяют, если это возможно по условиям их хозяйства. Так, у нас, например, давно уже введен у крестьян посев картофеля на полях. Пятнадцать лет тому назад, когда я ввел у себя посев льна на облогах, крестьяне очень недоверчиво смотрели на это дело, а теперь, если только представляется возможность, арендуют облоги и сеют лен. Когда я стал улучшать скот, крестьяне тоже смотрели на это дело, как на барскую затею, а теперь постоянно покупают у меня телят и выращивают отличных коров.

Недоверчиво относились крестьяне, когда я стал пахать на зиму будущее паровое поле, троить землю под озимь, но скоро увидали, что это хорошо. Однако свое поле не пахали, несмотря на многократные мои убеждения, не пахали потому, что оно нужно им для пастьбы скота. Сколько раз я ни доказывал крестьянам, что им выгоднее пахать свой пар на зиму, а для выпаса скота нанимать землю у меня или у соседа-помещика, смотря по тому, как какой год будет удобнее, однако они все-таки оставались при своем и пар не пахали—вероятно, боялись попасть в слишком большую зависимость от «пана». Теперь же, как только сами крестьяне купили землю и явилась возможность вспахать ее на зиму и подтроить под озимь,—сейчас же

это и сделали. Явилась возможность удобрять поле торфяной землей — стали возить на пашню торфяную землю. Даже на такую, совершенно новую, вещь, как мои опыты удобрения *фосфоритной* мукой (см. мою статью «Опыты удобрения рославльской фосфоритной мукой», в №№ 40, 41, 42 и 43 «Земледельческой газеты» за 1886 год), крестьяне тотчас же обратили внимание, и двое из деревни Б. сделали опыты на своих нивах.

В 1885 году я сделал у себя опыты удобрения фосфоритной мукой, приготовляемой К. В. Мясоедовым из фосфоритов, найденных мной в Рославльском уезде в 1884 году (см. мою статью «Смоленские фосфориты», в «Земледельческой газете», 1884 год, № 39—40). Фосфоритная мука, употребленная мною для удобрения под рожь плохого перелома, одна, без навоза, произвела *поразительное* действие, которое *каждому было заметно прямо на-глаз*. С весны прошедшего, 1886 года, как только рожь тронулась в рост, участок, удобренный фосфоритной мукой, тотчас же резко отличился, и это отличие сохранялось все лето, так что каждый, по наружному виду ржи, всегда мог совершенно точно указать границы удобренного фосфоритной мукой участка. Рожь на нем была гуще и выше ростом, перистее, отличалась темной зеленью, ранее выколосилась, стала ранее зреть, так что, когда рожь на удобренном участке стала желтеть, остальная часть была еще вполне зелена, и потому удобренный участок можно было видеть издали. Ко времени жатвы рожь на удобренном участке была много спелее, на $^1/_2$ аршина выше ростом, толще соломой, колосистее. Когда рожь сжали, то на жнивьях совершенно резко было видно то место, которое было удобрено фосфоритной мукой, так что если бы фосфоритной мукой были сделаны надписи, то их можно было бы читать на жнивьях. Рожь на переломе, удобренном фосфоритной мукой, как небо от земли, отличалась, от ржи на переломе, ничем не удобренном, и была так же хороша, как рожь на переломе, удобренном навозом.

Весной, на троицу, у нас по обычаю ходят «завивать венки» в рощицу, непременно в ржаном поле. Завивание, а потом развивание венков—еще более веселый праздник, когда обряжают майское дерево и топят венки—разумеется, сопровождаются песнями, великолепными майскими песнями, с их мягкими, укачивающими напевами, пляской, небольшой выпивкой, закуской. Кроме своих рабочих, к нам под венки собирается много народа из соседней деревни, преимущественно молодежи. Десятина, на которой был сделан опыт удобрения фосфоритной мукой находится как раз около рощицы, в которой в нынешнем году завивали венки. Я воспользовался случаем и показал ребятам, какое поразительное действие произвела фосфоритная мука, которою я посыпал в прошлом году часть десятины, теперь резко

отличающуюся по виду зелени; все, конечно, знали, что эта десятина не удобрена навозом и что я на ней сыпал какую-то выписную землю. При этом я объяснил, что эта фосфоритная мука приготовляется из особого камня, который мелют в муку на простой мельнице. Мука эта, объясняю я обыкновенно крестьянам, почти то же, что зола, или лучше, подзол, который остается, когда из золы делают щелок. Такое объяснение понятно крестьянам, потому что наши крестьяне очень хорошо знают, какое отличное удобрение зола; с полезным действием золы, как удобрения, крестьяне отлично у нас знакомы, потому что часто сеют хлеб на лядах, на пожогах, выжженных после рубки леса простанствах, также на грудках, то-есть, сожженных кучах хвороста. Даже суволоку с конопляников, пеньковую костру и т. п. у нас крестьяне вывозят на нивы и сожигают: хлеб на таких местах родится лучше. В крепостное время в числе разных даней—баранов, кур, сушеных грибов и пр.— у нас, между прочим, выбиралась и *зола*, сколько помню, кажется, по осьмине с тягла. Эта зола употреблялась для удобрения особых десятин, на которых сеялись семенные хлеба; от навоза развиваются сорные травы. Вот оно когда еще была в ходу минеральная теория удобрения!

Потом все лето рожь на удобренном фосфоритом участке резко отличалась и ростом, и густотой. Крестьяне обратили внимание—и не то, что молодежь, а даже старики.

Раз как-то, нынешним летом, объезжая поля, завернул я к участку, удобренному фосфоритом. Подъезжаю, смотрю— стоит около ржи один уже немолодой крестьянин из соседней деревни, местный богач.

— Здравствуй, Прокоп. Что, рожь пришел посмотреть?

— Да, шел мимо,—в К. за сапогами иду,—зашел поглядеть. Видел овес, под который вы выписную землю сыпали: хорош, а рожь так еще лучше. Удивление! И откуда это земля такая берется?

— Камень такой есть, круглячками, в роде картофелин; зайдешь—покажу. В песке этот камень слоями лежит, вроде как картошка насыпан. Собирают, промывают, чтобы песок отмыть, и мелют на мельнице.

— На мельнице? на простой?

— Да, на простой.

— А у нас здесь такого камня нет?

— Нет. Где такой камень на полях водится, так там хотя и песчаная земля, а к году, без навоза, хлеб отличный родится.

— А может, и у нас есть?

— Нет, у нас нет. Недалеко отсюда, в Рославльском уезде есть.

— Это куда вы позапрошлый год ездили?

— Да.

— Доходят же люди! Немцы, небось, все?

— Конечно, немцы. У них огромные фабрики для этого устроены. Каждогодно десятки миллионов пудов камня в удобрение перерабатывают и этим удобрением поля посыпают. Отличный хлеб родится. Если бы да не это удобрение, у немцев никогда такого хлеба не было бы, какой у них родится. Еще больше у нас покупали бы.

— Ну, это хорошо, что мало покупают. Оттого, должно быть, у нас, слава богу, и хлеб дешев. А если это дело пойдет, если эта выписная земля себя окажет, то это большое дело будет, большое.

— Конечно, большое дело. Да отчего же не пойти, отчего не пойти? У немцев, говорю тебе, каждогодно десятки миллионов пудов удобрения из камня готовят... Не дураки же ведь. И у нас камня этого много, пропасть, видимо-невидимо, целые города есть, что этим камнем вымощены. Отчего не пойти? Ну, сам видишь, рожь не хуже, чем на навозе. Ведь ты знаешь, что здесь навоза не было положено, земля «пресная», двадцать пять лет, с «Положения», навоза не клали, облога была, трава совсем выродилась, в запрошлом году лен по пласту был. Вот только что перелом.

— Знаю что «пресная» и до «Положения» сюда навоза редко попадало. Перелом-то переломом, известно на переялевшей земле хлеб всегда родится, но все же навозца потрусить нужно. А здесь ведь, мы знаем, навоза не положено, да и угол, где немецкой землей посыпано, отменный: как отрезано, и в ту сторону, и в другую. Удивление! Мне Потапыч говорил: сходи, говорит, посмотри: в длину 20 сажен, а в ширину—10 сажен.

— Нет, в ширину не 10, а 11 сажен.

— Ну, все равно.

— Нет, не все равно. Как все равно? Нет, ты поди отмеряй шагами от угла по то место, по которое рожь отменна.

И я заставил мужика смерять шагами то место, на котором рожь «отменна». Я это заставлял нынче делать всякого, кто соглашался поехать со мной посмотреть рожь на участке, удобренном фосфоритной мукой. Приезжаю к участку, прошу указать, где рожь хороша—различие было так велико, что каждый, каждая барыня даже, мог отличить на-глаз, где рожь лучше,—и затем прошу обмерять шагами, где рожь отличается.

Я сам не ожидал, что фосфоритная мука, приготовленная простым размолом наших смоленских фосфоритов, употребленная одна, без совместного применения навоза, хотя бы, положим, и на переломе, окажет такое поразительное, видимое на-глаз, действие. Каждый день нынешнее лето я приезжал

посмотреть участок, который был удобрен фосфоритной мукой. Мой старый конь, неизменный мой слуга при объездах по хозяйству, так привык к фосфоритному месту, что когда я поворачивал в ржаное поле, конь шел прямо к опытной десятине и останавливался как раз у того места, где было посыпано фосфоритом—точно и он понимал. Каждый раз я слезал с бегунков, обходил участок, и —каюсь—идя, про себя шопотком считал шаги. Глазам своим не верил, думал, не сошел ли я с ума; не помешался ли на этом фосфорите; поэтому-то я и тащил каждого посмотреть рожь на фосфоритном месте и обмерять шагами. Вы подумайте только: двадцать лет тому назад, еще в 1866 году я объездил несколько губерний, разыскивая и изучая залежи фосфорита, четыре года занимался в лаборатории исследованием собранного, писал об этом очень много[1]. Делом тогда, повидимому, заинтересовались. Устроились заводы близ Курска и стали готовить фосфоритную муку. Предположено было произвести обширные опыты в казенных фермах при сельскохозяйственных учебных заведениях. Однако дело не выгорело, фосфоритная мука в ход не пошла, и заводы закрылись (см. мою статью «О применении фосфоритов для удобрения» в «Земледельческой газете», 1886 год, №№ 49, 50, 51 и 52). Только в остзейских провинциях за эти двадцать лет начали прививаться привозимые из-за границы суперфосфаты—тоже приготовляемые из фосфоритов, которые оттуда, мало-помалу стали распространяться в Псковской губернии и в Белоруссии. Пятнадцатилетний опыт собственного хозяйства убедил меня в необходимости искать подсобного искусственного удобрения, и я вновь занялся фосфоритами.

В 1884 году я исследовал залежи фосфоритов, указанных мной в Рославльском уезде еще в 1866 году, в 1885 году произвел первый опыт удобрения под рожь, и успех превзошел все мои ожидания. Да и подумать только, какое это «большое дело»! У нас масса пустопорожних, диких, некультивированных земель—пустошей, пустаков, кусточков, поросников, хмызников, лесных посечищ, облог, ляд и пр., в одном Дорогобужском уезде наберется несколько десятков тысяч десятин таких некультивированных, диких земель, которые, при содействии фосфорита, можно превратить в культурные. При содействии крестьянского банка крестьяне могут дешево скупить такие земли. Купили, сейчас расчистили, подняли по пласту лен. Вот земля и окупилась. По перелому не нужно навоза, я посыпал только фосфоритной мукой—хлеб богатейший. Не то, что из степи, как

[1] Результаты этих исследований напечатаны в Petersb., Akad. Bull., XII, 394, в журнале «Сельск. хоз. и лесов.» 1867—8, в моем отчете: «О фосфоритах в России», в статье: «Наши, втуне лежащие, богатства», «Спб. вед.» 1867, №№ 311, 312.

теперь, будем возить хлеб, а еще свой станем продавать немцам....

Мужик остановился.

— Тридцать четыре.

— Нет, у тебя шаг мал. Дай-ка, я отмеряю... раз, два, три... тридцать три.

— Да, большое дело, если пойдет.

— Отчего же не пойдет? Помнишь, пятнадцать лет тому назад, когда я приехал сюда и задумал сеять лен по облогам, ты сам, ты именно, говорил мне, что здесь лен не будет родиться? Помнишь, говорил: «ничего не будет, никогда здесь льнов не было и не будет!»—помнишь?

— Как не помнить, помню.

— А теперь сам лен по облогам сеешь. Льном торгуешь, в прошлом году у меня же на 1 200 рублей льна купил.

— Да ведь не знали.

— То-то, вы ничего не знаете. Неучи, а думаете про себя много. Мы-ста, да я-ста! Мы—хозяева; мы около земли ходим. Точно, что ходите, да только без фонаря ходите. Ты, вот, век лучину жег и еще бы век жег, если бы тебе не дали за 2 копейки фунт керосина. Вы, вон, от прирезки земли отказались, когда вам надел отводили.

— Пушной народ был.

— А теперь не пушной? Неучи! Только думаете, что много знаете. Помните, как градовой агент вас учил;

— Помню.

— А ведь не страхуете?

— Да кто ее знает...

— Ну да, знаю, «царю-Граду» молитесь.

11 мая (обновление Царьграда в 350 году) во многих деревнях крестьяне не работают, молятся царю-Граду, чтобы он, батюшка, поля не побил. Молебны служат. Иной, может быть, подумает, что это празднуют Кириллу и Мефодию, но очень ошибется.

— Ну, что же? Как ты думаешь насчет фосфорита?

— Нужно испытать эту «приспориту», как вы ее там называете. Только, вот, солдат Аким говорит, что можно этой «приспоритой» землю испортить. Будет, говорит, сначала родить, а потом и перестанет: «приспорита», говорит, весь сок, как есть, из земли вытянет.

—А ты и навоз не забывай. Испортить землю фосфорит не может а напротив, *заправит*, но все же навоз не следует забывать. Один раз фосфорит положишь, другой раз,—а потом навоз. Ведь ты возил на поле болотную землю—польза?

—Как же, возил. Польза есть.

—Что же ты думаешь, что одной болотной землей все и будешь удобрять? Ведь нужно и навоза положить.

—Знамо дело, что нужно и навоза.

—Ну, то-то же! А в фосфорите—конечно, где он требуется нужно испытания делать,—еще более прока, чем в болотной земле. Испортить им пашню нельзя, а польза—сам видишь—от него большая может быть. Вот хорошо будет, если после фосфорита клевер посеять, дать годика хоть два пояловеть земле, а потом лен, под рожь—опять фосфорит, а там—навоз. Вот вы теперь прикупили земли на четвертое поле,—можно часть и под клевер запустить, как я делаю. Клевер—корм коням и скоту, навоз, хлеб. Будете болотной землей удобрять, фосфоритом и навозом не забывать—лишний навоз под коноплю, под ячмень,—так ваши поля заправите, что чудо! Будет хлеба «и на семены, и на емены»,—и на продажу. А там еще земли прикупить можно; банк опять поможет, коли хорошо будете выплачиваться. Когда-нибудь все мое Батищево купите. Купили же соседи бывший княжеский хутор. Говорят, нынче на два года запас хлеба сделали.

— Нужно испытать... Уж вы, А. Н., выпишите и для меня мешочек этой земли. Что будет стоить—уплачу. Нужно испытывать.

Да, нужно испытывать и испытывать, а не рассуждать только теоретически. А то один Аким говорит, что фосфорит—«пустяки», «заблуждение»; другой—что нужно употреблять суперфосфат, да еще на хорошей земле, да еще не иначе, как с чилийской селитрой. Оказалось же, что фосфорит на наших плохих землях действует превосходно, и вот третий Аким говорит, что это так только на первый раз, что потом фосфорит землю испортит, весь сок из нее вытащит и т. д. и т. д. Все только умствуют, сидя в кабинетах, тогда как нужно испытывать, толково испытывать. Не мало уже потеряно времени. Все дожидаемся, пока американец долбней по лбу не ударит.

Впоследствие и еще крестьянин из соседней деревни просил меня выписать для него мешок фосфоритной муки. Разумеется, я был в восторге, потому что если мужики станут применять фосфоритную муку—дело сделано. В то время у меня не было фосфоритной муки, потому что всю фосфоритную муку, полученную весной, я уже рассыпал, частью под овес, частью по вспаханному на зиму пару под рожь. Из следующей выписанной партии, которая пришла перед мешанью, я дал крестьянам два мешка. Один из крестьян удобрил фосфоритной мукой ниву перелома, другой—ниву пресной земли. Осенью я поехал посмотреть, что вышло. Зелень на нивах, удобренных фосфоритом, была отменна, очень хороша.

Крестьяне, купившие землю при содействии банка, этого поистине благодетельнейшего учреждения, нынешний год ликовали. Земля отлично выручила. Хлеба довольно. Эту прику-

пленную землю крестьяне как-то особенно любят, говорят о ней с каким-то, если можно так выразиться, умилением. Постоянно думают и заботятся о том, чтобы заработать денег и в срок заплатить в банк. Помещику за дополнительный платеж работают превосходно, всегда исправно являются на работы, дружно, всей деревней, по первому заказу.

Не хуже справились с этим делом и другие деревни.

Две деревни, Д. и Х., купили у того же помещика отличную пустошь. И дешево купили—что-то около 27 рублей за десятину. Эта покупка еще лучше, чем покупка деревни Б. Прикупленная земля надолго обеспечивает деревни Д. и Х., и если они хорошо ее разработают,—а место превосходное для распашки,—то будут богачи. Для разработки этой пустоши применение фосфоритов будет иметь громадное значение. Лишь бы только убедить крестьян. Купленная ими пустошь одной стороной межует с моей землей; с других же сторон межует с наделами деревень Д. и Х., которые и разделили пустошь, так, что каждая деревня получила прилегающую к ней часть. Когда-то здесь был хороший березовый лес. Незадолго, должно быть, до «Положения» значительная часть рощ была вырублена на дрова, которые владелец хотел сплавить по Днепру на юг, но операция эта не удалась. Дрова, говорят, так и погибли. Вырубленные пространства крестьяне разделали на ляда и пустошные покосы.

С «Положения» деревни Д. и Х. постоянно пользовались этой пустошью за то, что обрабатывали владельцу 6 или 8 кругов. Сначала им предоставлялось разделывать удобные места на ляда, то-есть, выжигать и сеять на пожогах хлеб, чем крестьяне широко воспользовались, но потом воспрещено было рубить лес, расчищать и жечь ляда, так что крестьяне могли пользоваться этой пустошью только как покосом и выгоном. Владелец намерен был сохранить, что осталось, старого леса и вырастить новый из молодых зарослей, что со временем могло бы быть выгодно вследствие близости железной дороги. Но из этого ничего не вышло. Лес постоянно рубили и свои и чужие, кому только нужно, потому что дело заглазное, участок отделен чужими землями от хозяйства владельца; лес был без присмотра, да и вообще в хозяйстве не было, как у нас говорится, никакой строгости, то-есть порядка. Когда-когда наезжал лесной сторож или староста, но, конечно, что же он мог досмотреть. Так, мало-помалу, все, что было хорошего в лесу, выпустошили.

Когда крестьяне в прошлом году купили эту землю, она представляла обыкновенную у нас, дурно содержимую пустошь, то, что называется «земля под кустарником». По местоположению и качеству земли участок очень хороший и куплен 27 рублей за десятину—очень дешево. Я говорю: *дешево* не потому, чтобы цена была ниже средних у нас цен на пустошные

земли. В этом смысле—ни дешево, ни дорого. Пустошные земли ценятся у нас в среднем не дороже 25 рублей за десятину, и это хорошие пустоши; плохие же, поросшие белоусом, кустарником, и еще того дешевле—10—15 рублей за десятину. При покупке же целых имений, и хорошие пустоши, но запущенные, нечистые, вроде той, какую купили деревни Д. и Х., ценятся в общей сложности дешевле 25 рублей. И если считать по доходности для землевладельца, то такие пустоши более и не стоют. Оставленные в диком состоянии, сильно заросшие уже после «Положения», нерасчищаемые,—что же могут давать эти пустоши владельцу, особенно если не входят в состав хозяйства и не могут быть утилизированы даже для выгона? Такие «отрезки» только и дают доход—в виде работы,—когда затесняют крестьян, и необходимы им потому, что податься некуда. Конечно, если возделать эти пустоши, то они могут дать громадный доход. Но чтобы привести такие земли к делу, нужно затратить капитал и энергию...

Для крестьян же—совсем другое дело; для них покупка пустошной земли по 25—27 рублей дешева, потому что они имеют возможность «привести землю к делу». Притом же покупают крестьяне в кредит при содействии банка.

Я давно и много говорил об этом в моих письмах, печатавшихся в «Отечественных записках». Я всегда был убежден, что только с переходом в крестьянские руки эти земли будут возделаны, и не видел никакой возможности, чтобы это сделалось, пока земля будет в руках владельцев. Хозяину не трудно было предвидеть, какое благодеяние для страны будет, если эти земли перейдут в руки крестьян, которые приведут их в культурное состояние,—а они одни только и могут это сделать. Великое дело—учреждение крестьянского банка!

Мне часто приходилось говорить с крестьянами деревни Д. по поводу покупки пустоши. Объезжая свою землю, я часто заезжаю и на эту межующую со мной пустошь, изъездил ее во всех направлениях и знаю ее хорошо. Место прелестное в хозяйственном отношении, даже красивое. Есть ручеек, есть хороший овраг, кое-какой лесишко, пустошки возвышенные есть, самые хлебородные места,—разумеется, по-нашему, по-смоленскому. Если кому купить в собственность, построиться да распахать—можно хозяйство вести: две деревни в руках, за «вскок», что наработают. Только вот денег ни у кого нет!

Проезжая по пустоши, я часто встречал там, особенно в покос, крестьян, которые мне все, как ближайшие соседи, хорошо знакомы.

Давно уже советовал я крестьянам купить эту пустошь, которую, я знал, продадут рублей за 25—30 десятину. Крестьяне обыкновенно говорили, что дорого.

— Дорого! Двадцать пять рублей за десятину—дорого! Да ведь «в вечность» купите! И дети, и внуки, и правнуки ваши будут за это поминать вас. Сколько лет после «Положения» вы за пользование этой пустошью работали барину, а пустошь все же его, а не ваша. А купите в вечность—всегда ваша будет. Да и пользуетесь как... только покосом, выгоном; покосы вы не расчищаете, заросли на ляда жечь не можете, пустошный лес в порядок привести не можете, словом, не можете «привести землю к делу». Стоит пустырь—пустырем всегда и останется, только конокрадам убежище. Пустота, дичь. И чем дальше, тем хуже покосы будут зарастать, травы будут выраживаться, косить станет нечего, будут только кусточки для выгона, а работать вы за них будете все то же, потому что вам без этого выгона трудно обойтись. Купите же, раз заплатите; может, барин в рассрочку продаст на отработку. Трудно, положим, будет, но зато земля ваша будет в вечность. Вы ее скоро к делу приведете.

— Знамо дело.

— Лес приведете в порядок, и что закажете на дрова, то будет расти. Вам под рукой—деревней усмотрите, чтобы никто не рубил. Вон, по оврагу крутая сторона, только под лес и годится; какой тут прежде лес стоял, а теперь что—одни баклуши да кустарник. Опять овраг: если его расчистить да ручью ход дать—какой покос будет! А и работы, если всей деревней выйти, всего на каких-нибудь два-три дня. Пустоши все возвышенные, земля самая хлебопашественная. Покосы плохие, вон уже часть стала зарастать белоусом; а если эти пустоши распахать—что тут хлеба взять можно! Сейчас, по пласту лен. К году что на льне взять можно,—втрое против того, что за землю платите. Ведь вам не батраков нанимать—сами обработаете с семьями. Что ни возьмете за семя и лен—все ваше; все же выгоднее, чем на сторону в заработки ходить. Видали, какой у меня под Дедовым на пустоши лен был?

— Видали, как не видать! нарочно ходили смотреть.

— А здесь чем хуже место? Теперь, если по пластам даже овес посеять—тоже хорош будет к году. Какой у меня овес был на Ивановом ляде, тоже наверно видели? А потом по перелому если же посеять!

— Известно, на переяловевшей земле, да если еще навозцу потрусить, хлеб будет добрый.

— То-то! Тут и говорить нечего. Если бы вы купили эту землю, в несколько лет все деньги возвратились бы, а земля была бы ваша в вечность. И дети, и внуки, и правнуки поминали бы. За 25—30 рублей десятина «в вечность».

— Да как купить-то? Откуда денег взять?..

Блеснула было тогда надежда.

Несколько лет тому назад разнесся слух, что один из крестьян деревни Д., старик Антон Бабьяк, должен получить двести тысяч. Рассказывали, что племянник Бабьяка, живя в Москве, при хорошем месте, скопил деньжонок. Теперь этот племянник умер в Москве, и после его смерти остался билет, по которому его дяде, Бабьяку, приходится получить двести тысяч. Выходить эти деньги для Бабьяка взялась его сестра, живущая в Москве в прачках.

Через несколько времени подъявился ко мне и сам Бабьяк, посоветоваться насчет своего дела. Из его объяснений я сначала было подумал, что ему достался по наследству билет, на который пал выигрыш в двести тысяч, но при дальнейших объяснениях я уразумел, что ему просто достался выигрышный билет, но Бабьяк думал, очевидно, что всякий выигрышный билет стоит двести тысяч. Я ему объяснил, что такое выигрышный билет, но Бабьяк моим объяснениям не поверил и остался при убеждении, что ему следует двести тысяч, которые нужно только выходить. Из дальнейших туманных и таинственных его объяснений я пришел к заключению, что должно быть, билет получила его сестра, которой он дал доверенность. Бабьяк, конечно, никакого представления о двухстах тысячах не имеет, да едва ли даже умеет считать до ста.

— Ну, что же ты будешь делать с деньгами, если выходишь двести тысяч?

— А первым делом куплю под деревню С. пустошь. Потому, она нам очень нужна. Тогда мы заживем.

— Ну, а еще что?

Ничего Бабьяк более придумать не мог.

Однако Бабьяк и до сих пор ничего не выходил, а между тем открылось у нас отделение крестьянского банка, и крестьяне, при содействии его, тотчас купили пустошь.

Распоряжаться пустошью они начали с позапрошлого, 1885, года. Тогда они могли воспользоваться только покосом и распахать лишь незначительную часть лужков. По пластам посеяли—кто лен, кто овес. Первый год вышел неудачен, потому что в прошлом году яровое повсеместно пропало. Затем часть рощиц, что получше, крестьяне «заказали», чтобы иметь в будущем дрова, и установили очень строгие правила против самовольных порубов своими же однодеревенцами. О порубах чужими и разговора быть не может, потому—кто же пойдет рубить на крестьянской земле; деревня и без сторожей усмотрит, изловит и такую встрепку задаст, что по смерть помнить будет. Кустарник и плохие заросли крестьяне вырубили в прошлом году на ляда, выбрали дрова, а в нынешнем году подобрали, кто лядечками, кто грудками, сделали, словом, хозяйственно, выжгли весной и засеяли пшеницей, ячменем, а по снятии этих

хлебов тотчас засеяли рожью. Урожай на лядах в прошедшем году, особенно ячменя, был очень хорош. Из вспаханных в позапрошлом году нивок в прошлом году я видел только одну, по перелому, засеянную овсом, и овес был превосходнейший. Правда, прошедший год у нас урожай яровых был очень хороший, а овса—превосходнейший: у меня, например, хозяйственная десятина, 3 200 кв саж., дала на круг $24^1/_2$ четверти овса, чего еще ни разу не было за 16 лет моего хозяйства; были десятины, которые дали более 35 четвертей. К сожалению, на пустоши у крестьян только одна нивка была засеяна, а остальные пустовали, потому что в позапрошлом году был неурожай яровых,—семян к прошлому году было мало, цена овса весной доходила до 6 рублей, да и то достать было трудно. У нас было множество таких деревень, в которых яровые поля, за недостатком семян, остались незасеянными. На брошенных прошлогодних нивках, однако, трава выросла очень порядочная, чем крестьяне хотя немного выручились.

Вообще крестьяне деревень Д. и Х. в прошедшем году не так хорошо выручились с купленной земли, как крестьяне деревни Б., которые купили пахотную землю, но зато же и за землю заплатили вдвое дешевле. В будущем же крестьяне с свежей пустоши возьмут более и могут отлично устроить хозяйство.

Вопрос теперь в том, как будут далее пользоваться крестьяне купленной пустошью. Понятно, что все овраги, овражки и лощины должны итти под покос, потому что с них будут получаться хорошие урожаи трав; возвышенные же места, суходольные пустошные луга, дающие плохие укосы сена, следует распахивать, удобрять фосфоритом и, соединив с полевыми землями наделов, ввести посевы клевера. Очень интересно, как возьмутся крестьяне за это дело. Думаю, что хорошо, судя по крайней мере по тому, с каким интересом расспрашивали меня крестьяне о моих разработках пустошей, чем я уже столько лет занимаюсь.

В течениие моего шестнадцатилетнего хозяйства я постоянно распахивал новые земли: сначала облоги, то-есть запущенные после «Положения», вследствие уменьшения запашек, полевые земли, потом, когда все облоги были распаханы,—плохие пустоши. Обыкновенно я поступал при разработке этих луговых земель так: поднимал облогу или пустошь и по пластам сеял лен, иногда овес, иногда, но редко, больше на пробу, рожь. Надежнее и выгоднее сеять лен, а для крестьян лен и еще выгоднее, потому что для обработки его крестьянину не нанимать людей—все обработает своей семьей по осени, в глухое время, когда никаких заработков нет. Так как крестьяне не верили, чтобы на плохих пустошах, дающих самые ничтожные укосы сена, мог родиться лен, то я, после первого опыта, сделанного на свой

страх, чтобы приучить крестьян к разработке пустошей, поступал так: я давал землю и семена с тем, чтобы по осени крестьянин возвращал мне семена вдвое. На это нашлись охотники, потому что ничего не нужно было затрачивать вперед: ни семян, ни аренды платить за землю. Таким образом, я получал около 10 рублей за десятину и распаханную землю; крестьяне же получали отличную плату за труд, так как на мое и их счастье все разы этот труд отлично удавался.

После льна или овса, посеянного по пластам, по перелому, с половинным удобрением, «потрусивши навозцем», без чего нельзя, я сеял рожь и всегда получал великолепнейшие урожаи, гораздо лучшие, чем получались на мягких землях, при более сильном навозном удобрении. Для того же, чтобы не слишком увеличивать запашку и иметь достаточно навоза для удобрения, распахивая каждый год известное количество облог или пустошей и пуская их под пашню, я засевал соответственное количество мягкой земли травами (смесью клевера с тимофеевкой) на долгий срок—6 лет, чтобы потом эти залуженевшие десятины, когда в них накопится азот, вновь распахивать под хлеб. Опыт показал, что находившиеся долгий срок под травами, отдохнувшие без культуры земли, накопившие азотистые и перегнойные вещества, точно так же, как облоги и пустоши, дают при разработке отличные урожаи льна по пластам—и потом по перелому, с половинным количеством навоза превосходные урожаи ржи.

Этой системе переменного хозяйства,—при котором идет правильный круговорот, причем истощенные, относительно азота, культурой хлебов земли идут под травы, а обогащенные азотом, залуженевшие земли поступают под хлеб,—я обязан тем, что в пятнадцать лет урожаи ржи у меня более чем удвоились. Так, с одной хозяйственной десятины получилось ржи:

В	1869	году	9	четвертей	3 меры
»	1870	»	5	»	3 »
»	1871	»	5	»	2 »

Среднее за трехлетие 1869—71 гг. 6 четвертей 5 мер.

В	1884	году	12	четвертей	3 меры
»	1885	»	14	»	7 »
»	1886	»	15	»	7 »

Среднее за трехлетие 1884—86 гг. 14 четвертей.

Следовательно, теперь с каждой десятины получается, в среднем, на 7 четвертей 3 меры более, чем пятнадцать лет тому назад.

Последуют ли крестьяне моему примеру? Перейдут ли они к той же системе? Будут ли они, разрабатывая пустошь, удобрять ее навозом и в то же время соответственное количество мяг-

кой земли засевать травами? Теперь, прикупив пустошь, крестьяне, казалось, могли бы ввести эту систему, и, без сомнения, это было бы для них выгодно: количество кормовых средств увеличилось бы, увеличилось бы и количество навоза, хлеба стали бы родиться много лучше, особенно если ввести вспашку пара на зиму, лен и продукты скотоводства представляли бы доходную статью. При ведении экстенсивного навозного хозяйства вся система была бы правильна и разумна; хлеба, требующие азота, чередовались бы с травами, под которыми азот накопляется.

Однако я сомневаюсь, чтобы крестьяне ввели травосеяние,— по крайней мере, не думаю, чтобы они это тотчас сделали. Слишком большая ломка в крестьянском хозяйстве. Постепенно крестьяне дойдут до этого, но не сейчас. Конечно, они воспользуются, и хорошо воспользуются, прикупленной пустошью. Уже теперь они оставляют тот способ пользования, который практиковали до сих пор, пока пустошь им не принадлежала и арендовалась ими из года в год. До сих пор, арендуя землю, крестьяне, не расчищая ее, пользовались ею только как покосом и выгоном—способ пользования самый невыгодный. Купив пустошь, первое, что сделали крестьяне—стали расчищать покосы, вырубать кусты и заросли, жечь их на ляда и по пожогам сеять хлеб. Ляда всегда хорошо выручают. Взяв два хлеба, крестьяне будут оставлять полядки зарастать травами для покоса и выгона. Затем возвышенные пустошные лужки крестьяне стали поднимать, чтобы сеять по облогам лен. В прошлом году лен не удался, но он точно так же не удался на облогах, на полевых землях, как и на пустошах. Теперь уже посев льна по пластам на облогах и пустошах не новость в наших местах. Неудача прошлого года не остановит дела. В нынешнем году «придранные» нивки пустовали, по перелому не было посеяно, потому что не было яровых семян; но один из крестьян засеял прошлогоднюю нивку по перелому овсом, и овес был превосходный, что, конечно, заметили и все другие. Этого примера достаточно...

Крестьяне будут драть пустошь под лен, а по переломам сеять хлеб—это несомненно.

Конечно, такое экстенсивное пользование пустошью не даст возможности извлечь из нее всю пользу, какую можно извлечь, но все же крестьяне и при таком пользовании хорошо выручаются, с лихвой выручат очень скоро те 27 рублей, которые ими заплачены за десятину. Банк может быть совершенно спокоен за свои деньги. Деньги будут возвращены, а за благодеяние, им оказанное, крестьяне вечно будут благодарить и поминать. «И это зачтется!..»

Если же, взяв лен и хлеб с распаханных пустошей, простонапросто бросать нивы, подобно тому как были брошены у нас

после «Положения» массы полевых десятин в помещичьих хозяйствах, то нивы эти будут зарастать (самосевом) травой и давать не худшие урожаи трав, чем прежде получались с пустоши. Через несколько лет опять можно будет возвратиться к тому же самому, опять поднять и взять лен и рожь и т. д. Это, конечно, будет очень экстенсивное пользование, но все же оно интенсивнее того, какое было при арендовании пустоши крестьянами из года в год.

Наконец, и земля будет превращена из дикой в более или менее культурную. Поросшая кустарником, дикая пустошь превратится в чистое пахотное поле или суходольный луг. И будет всей местности «продух», как у нас говорят, а это здесь, при наших сырых почвах, имеет первостепенное значение. У нас всякая вырубка лесов, кустарников и расчистка из-под них земли благотворно влияет на окрестные поля и выгодно отражается на урожаях. Я это знаю из собственного опыта: вырубка мной и расчистка на луга леса, узкой полосой окружавшего— и, заметьте, с севера и востока—крестьянские наделы, а также расчистка и разделка облог и пустошей чрезвычайно хорошо повлияли и на мои, и на крестьянские поля. Весной наши поля просыхают гораздо ранее, чем у ближайших соседей, где поля окружены зарослями и кустарниками.

Я говорил выше—сомнительно, чтобы крестьяне, прикупившие пустоши, скоро взялись за травосеяние и ввели многопольные травяные севообороты. Совсем другое относительно фосфоритной муки. Я уверен, что крестьяне гораздо скорее могут *ввести в употребление фосфоритную муку*. Это дело гораздо проще, чем введение травосеяния и изменения севооборота удобопонятнее, не требует такой ломки в крестьянском хозяйстве, не требует согласия всего общества, притягивания тех, которым, по бедности или иным причинам, нельзя вводить травосеяние. Тут каждый, кто понял выгодность дела, может применить удобрение фосфоритной мукой на своей ниве, не мешая другим, никого не стесняя. Я говорил выше, что, когда явилась возможность, крестьяне деревни Б. стали удобрять свои нивы торфяной землей. Начали, конечно, богатые, семьянистые, а за ними, не желая отстать, и бедняки возили, кто сколько мог. Наконец, по моему мнению, введение в употребление фосфоритной муки теперь гораздо важнее, чем травосеяние (см. мою статью «О применении фосфоритов для удобрения» в «Земл. газ.» 1886 года, №№ 49—52), потому что, *заправив землю фосфоритной мукой*, мы легко может перейти к более интенсивному хозяйству, как это делается при разработке «ланд» во Франции.

Конечно, применение фосфоритной муки—дело новое; сам я первый опыт удобрения фосфоритной мукой произвел

лишь в 1885 году, и только в нынешнем году применил значительное количество—400 пудов. Но дело это должно пойти, не может не пойти, непременно пойдет. Нужно только поэнергичнее за него взяться и дать крестьянам возможность приобретать фосфоритную муку на месте так же легко, как соль. Я говорил выше, что двое крестьян взяли у меня для испытания по мешку фосфоритной муки и удобрили под рожь. Если и у крестьян фосфоритная мука так же себя оправдает, как при моих опытах, то примеру первых последуют и другие, разумеется, при известной поддержке, а затем применение фосфорита распространится в округе. Нужно проповедовать и словом, и делом, раздавать в кредит фосфоритную муку желающим, даже навязывать ее, наблюдать, чтобы она была правильно применена к месту. Образованный класс людей тут может много сделать.

Свои опыты применения фосфоритной муки я и начал потому, что совершенно убедился, что наши свежие земли, пустошные и обложные, которые долго находились под травами, следовательно, накопили азот, все же требуют, хотя и половинного, навозного удобрения, которое в этом случае действует своими минеральными веществами, а следовательно, может быть заменено искусственным, минеральным, туком, для чего самое подходящее—мука из наших фосфоритов. Опыты блестящим образом подтвердили эти предположения и даже дали более, чем я ожидал.

Опыт удобрения фосфоритной мукой переломов из-под облог и клевера показал, что фосфоритная мука, употребленная под рожь, производит поразительное действие и вполне заменяет навоз.

Еще важнее другой опыт применения фосфоритной муки на такой земле, с которой после разработки пустоши взято без удобрения навозом уже три хлеба. У меня была старая пустошь, давно уже разработанная из-под леса, так что пни совершенно выгнили. Трава на этой пустоши уже выродилась, укосы сена получались самые ничтожные, часто и косить не стоило, земля плохая, подзолистая, никогда не видавшая навоза. Я начал разрабатывать эту пустошь с 1882 года. С части пустоши был взят по пластам лен и овес, потом по перелому с легким навозным удобрением—25 возов на десятину—взята рожь, по ржи посеяны травы. С другой части пустоши взят лен, потом овес или яровая рожь, потом еще яровая рожь или овес—на разных десятинах чередовались разные хлеба. Взято три урожая без навоза; урожай льна был превосходный, но урожай хлебов был плохой. В нынешнем году я обратил эту часть пустоши под рожь в предположении будущей весной засеять травами. Половину земли я удобрил фосфоритной мукой (о том, сколько

было высыпано фосфоритной муки и как, см. «Земл. газету», 1886 год), а другую половину, для сравнения, оставил ничем не удобренной. Удобрение фосфоритной мукой произведено полосами: полоса удобрена, полоса—нет, полоса удобрена, полоса—нет и т. д., всего 6 десятин: 3 удобрены, 3—нет. 4-го августа посеяна рожь. Через три недели, 26 августа, все удобренные фосфоритной мукой полосы отличались так, что каждый мог их указать. Осенью рожь на удобренных фосфоритной мукой полосах была превосходная, такая же, как на самых лучших, сильно удобренных навозом поддворных ячных нивах рядом лежащего крестьянского поля. Большая проезжая дорога идет как раз мимо этого поля и подле удобренных полос. Я поставил столбы с надписями: «удобрено фосфоритом», чтобы проезжающие обращали внимание на это драгоценное удобрение.

Эти опыты совершенно убеждают в возможности обойтись без навоза при разработке наших смоленских пустошей и ограничиться, по крайней мере в течение первых лет, применением одной фосфоритной муки.

Фосфоритная мука представляет могущественное средство для поднятия хозяйств крестьян, прикупивших, при содействии крестьянского банка, пустоши. Если крестьяне деревень Д. и Х. при разработке пустоши применят фосфоритную муку, то результаты будут громадные. До сих пор эти крестьяне постоянно прикупали хлеб для собственного потребления, а тогда станут продавать. Применение фосфоритной муки на пустоши и вообще на пресной полевой земле даст им возможность усилить удобрение навозом поддворных ячных нив и увеличит конопляники. С увеличением урожаев хлеба увеличится количество получаемой соломы, а следовательно, количество корма и навоза.

Вообще в нашей Смоленской губернии, думаю, и в других соседних, применение фосфоритной муки представляет могущественное средство для поднятия хозяйств, в которых забота о навозе составляет главное, так как наши земли без удобрения ничего не дают. Замена навоза фосфоритом,—а что такая замена при известных условиях вполне возможна, доказывают мои опыты—сильно поднимает наши хозяйства и мы тогда уже не будем кланяться «степи», не будем есть плохую сыромолотную степную рожь: к нам идет из «степи» самый плохой хлеб, которого нельзя сбыть ни немцу, ни в Москву, никуда, где нет такой нужды, как у нас.

Не распространяясь далеко, возьму только наш Доргобужский уезд. По сведениям Доргобужской уездной земской управы, на 1883 год всей обложенной земли в уезде—324 904 десятины. Из этого количества:

Земель 1-го разряда (заливных лугов)	14 796	десятин	или	4,5%
Земель 2-го разряда (усадебной и о которой не доставлено сведений)	11 099	»	»	3,4%
Земель 3-го разряда (пахотной и пустошных лугов)	139 101	»	»	42,8%
Земель 4-го разряда (под лесом и кустарником)	159 908	»	»	49,2%

Из этих данных мы видим, какую ничтожную долю составляют в нашем уезде заливные луга—всего $4\frac{1}{2}\%$, и это при таких почвах, которые требуют неустанного удобрения навозом. Понятное дело, при таком недостатке лугов, какой же может быть корм, какой скот, какой хлеб! При самом благоприятном урожае крестьянам нехватает хлеба на прокормление, и в конце зимы приходится уже прикупать. Хлеб из помещичьих хозяйств раскупается тут же крестьянами, и еще нехватает, так что ввозится много степного хлеба. При малейшем же неурожае,—а это бывает очень часто,—крестьяне начинают прикупать хлеб уже с рождества, и тогда масса детей идет в «кусочки».

Во втором разряде показаны земли усадебные и такие, о которых недоставало сведений; сюда отнесены 2 494 десятины помещичьих земель, за которые владельцы должны платить по второму разряду. Это вроде штрафа за невнимание к делу, за недоставление сведений.

К третьему разряду отнесены пахотные земли и пустошные луга, причем неизвестно, сколько именно пахотной и сколько пустошных лугов.

К четвертому разряду отнесены земли под лесами и кустарниками, и эти земли составляют 49,2%.

Таким образом, половина земли в уезде находится под лесом и кустарником, то-есть вовсе остается некультивированной. Так как с проведением железной дороги леса сильно истребились и истребляются, огромные количества их, в виде дров, досок, теса и т. п., ушли в Москву, то можно безошибочно сказать, что большая часть земель четвертого разряда состоит из кустарников, лесных посечищ, зарослей, выпустошенных лесов, из которых выбрано все, что есть хорошего. Самое поверхностное наблюдение при проезде по уезду показывает, что все это в действительности так и есть, что огромное количество земель, принадлежащих владельцам, находится «под кустарником». Все это стоит без разработки, потому что землевладельцы не имеют ни средств, ни охоты разрабатывать эти выпустошенные лесные земли. Только после перехода в крестьянские руки эти выпустошенные лесные земли могут быть разработаны сначала на ляда, потом на пустошные луга и, наконец, распаханы.

Если обратиться к рассмотрению земель, принадлежащих в том же уезде крестьянам, то увидим, что у них большая часть земель находится в культурном состоянии.

По сведениям земской управы, в нашем уезде крестьянам принадлежит 139 645 десятин, что составляет около 43% всего количества земли в уезде. Из этого количества крестьянской земли:

Заливных лугов	7%
Усадебной	5%
Пахотной и пустошных лугов	76%
Под лесом и кустарником	12%

Заливные луга составляют лишь небольшой процент, и если бы они были распределены равномерно, то получаемого с них количества сена только что хватило бы для удобрения огородов, конопляников и поддворных ячных нив.

Главную массу крестьянских земель составляют земли второго разряда (пахотные земли и пустошные луга)—76%. Но так как у крестьян в наделах очень мало пустошных лугов, то большая часть земли из этих 76% находится под хлебами. И чем же удобрять эти земли? Конечно, сена с заливных лугов нехватит. Недостающее количество сена дополняется тем, что крестьяне нанимают у владельцев покосы или за деньги, или за работы, или, наконец, убирают с части. Поэтому у нас выкашивают все луга; даже самые плохие луга, состоящие сплошь из белоуса, не остаются нескошенными. Сеном, получаемым с владельческих лугов, крестьяне восполняют отчасти недостаток сена с наделов. Но и при всем том количество сена, накопляемого крестьянами, очень недостаточно и его хватает лишь для овец, телят и лошадей, да и то только в урожайный год.

Некультивированных земель у крестьян очень мало, и количество их ежегодно уменьшается, потому что при первой возможности крестьяне разрабатывают свои кустарники.

Совершенно иное отношение в распределении угодий у землевладельцев. Здесь главная масса земель находится в некультурном состоянии—76½%—и лишь незначительная часть под пашней и пустошными лугами—18½%. Эти отношения хорошо видны из следующей таблички:

	У землевладельцев:	У крестьян:
Всей земли	171 951 десятина	139 645 десятин
Из этого количества:		
Культивированной (пахотной и пустошных лугов)	31 873 десятины (18½%)	106 075 десятин (76%)
Некультивированной (под лесом и кустарником)	131 697 десятин (76½%)	16 917 десятин (12%)

Из этого видно, что у нас хозяйство ведется главным образом крестьянами. Владельцы же оставляют большую часть земель

пустовать. С переходом этих пустопорожних земель к крестьянам, при содействии банка, земли эти будут разработаны и приведены в культурное состояние.

Четвертая из смежных со мной деревень, деревня О., приняв в товарищи несколько человек из других деревень, купила при содействии банка целый хутор. А и деревенька эта небольшая, и земли у нее немного. Но народ бойкий, трудолюбивый, зажиточный. Еще прежде эта деревенька купила дешево небольшую выпустошенную лесную землю в некотором расстоянии от деревни и разделала ее на покос. Теперь же, как только открылось у нас отделение крестьянского банка, деревня О., первая в нашем округе, купила, при содействии его, землю да еще целый господский хутор. А еще в этой деревне есть кабак, то-есть не кабак,—я все забываю, что теперь в России нет кабаков,—а винная лавочка, такая лавочка, в которой продают водку в запечатанной посуде и пить ее тут не позволяют, так что купивший водку должен унести ее из лавочки и распивать в особой избе, специально для того предназначенной. Как называется эта изба—не знаю; мужики называют, по-старому, кабаком все это учреждение, то-есть лавочку и избу, где распивают. Мужики уверяют, что все это так устроено для удобства кабатчиков, чтобы их не беспокоили пьяные. Прежде водку пили в самом кабаке—ну, разумеется, для кабатчика беспокойство. Выпьют, шумят, галдят, сквернословят, песни поют, ссорятся, задерутся еще, а там кто и до бесчувствия напьется—убирай его; еще иной обопьется. Мне много раз приходилось слышать жалобы от кабатчиков на это беспокойство: «напьют на рубль, а насквернословят на десять; тут дочь—девица образованная, в училище училась, неприятно!». Большое беспокойство для самого кабатчика и в особенности для m-me кабатчицы. А у нас, сколько я заметил, главную роль в кабаках играют m-mes кабатчицы, потому что большая часть мужчин кабатчиков-мужей—сами пьяницы, которые вечно находятся в подпитии: сидит у бочки—ну, и наспиртуется. Кабатчицы же не пьют и всем делом правят. Конечно, большое спокойствие—ни шуму, ни ругани, чинно, благородно. Возьми водку в запечатанной посуде—меньше полбутылки не отпускают—и пей, где хочешь. Летом, конечно, можно пить и на улице, но зимой это не совсем удобно. Водка теперь везде крепкая, в 40°,—прежде у нас везде была водка слабая, 27—30°, дешевая, 3 рубля 40 копеек за ведро,—лавочка не отапливается, и водка имеет почти ту же температуру, как наружный воздух, так что зимой, если внести водку в комнату, то бутылка покрывается инеем. И вот такую-то холодную в 15°, а может и 20° R водку, да еще крепкую, да еще не менее полбутылки, нужно выпить на морозе. Тут, в большой мороз и губы к стакану

примерзнут. Специалисты говорят, впрочем, что холодная водка пьется легко, только горло пересыхает, почему зимой так много охрипших до совершенной невозможности говорить. Говорят, что выпитая крепкая 40° водка, да еще холодная, действует не вдруг, но потом сразу разбирает сильно, так что если проездом остановиться, выпить на морозе одну-другую полбутылочку, то сначала ничего, а потом, как проедешь несколько верст, сильно разбирает, до бесчувствия—можно замерзнуть или обморозиться. Это все говорят. Как ни нападают на бесчеловечность кабатчиков, но все-таки же и они люди, и у них «Христос» есть: они очень хорошо поняли, что пить холодную водку на морозе, на улице невозможно, вредно,—из гуманности устроили везде около винных лавочек избы, где можно распивать купленную водку, где есть и крючок, чтобы откупорить бутылку, и стаканчики, и закуска. Можно посидеть, поговорить, выпить в прохладу, не спеша; мало—еще спросить; кто не любит крепкой водки—можно спросить дешевой, разбавленной водой.

Я сначала не верил, чтобы винные лавочки были учреждены для спокойствия кабатчиков,—мужики всегда что-нибудь такое выдумают,—но потом, когда распространились слухи, что скоро будет введена казенная продажа водки, то и мне пришло в голову, что эти спокойные для кабатчиков винные лавочки, вероятно, учреждены для того, чтобы постепенно подготовлять народ к благочинию в кабаках. Понятно, что когда в кабаках будут сидеть казенные люди при форме, при каких-нибудь знаках, то шуметь там и сквернословить нельзя будет; без сомнения, тогда будут требовать, чтобы при входе в кабак снимали шапки, как теперь это требуется, например, в аптеках, даже не казенных учреждениях, а только привилегированных.

Так вот и кабак в деревне, а все-таки крестьяне не спились и купили целый хутор. Хутор, который купили они, принадлежал когда-то одному князю, хорошему хозяину, главное имение которого и резиденция находились верстах в 30 от этого хутора. Прежде на хуторе содержалось достаточно скота, сеялся клевер, и хлеб родился хороший. Пятнадцать лет тому назад я застал еще хорошее хозяйство на этом хуторе, хотя уже много полевой земли было запущено, и клевер перестали сеять. При хуторе было много хорошего березового леса. Затем, по смерти владельца, хутор был в аренде, но барин-арендатор сам в нем не жил, и хозяйство вел староста. Хозяйство еще более опустилось; стали заниматься льнами, чтобы утилизировать запущенные после «Положения» земли. Наконец, хутор этот, в числе прочих имений, был куплен купцом-лесоторговцем, который уничтожил хозяйство, вырезал лес на дрова и, наконец, про-

дал крестьянам деревни О. Крестьяне начали распоряжаться на хуторе с прошлого года: распахивают полевую землю, пользуются покосами и, главное, разделывают вырубленные рощи на ляда, жгут и сеют хлеб. Говорят, что в нынешнем году крестьяне получили хлеба столько, что им на два года хватит. Работа идет усиленная. Так как в сведенных купцом рощах осталось много лома, макуш, негодных на московские дрова дерев, то в нынешнем году крестьяне-владельцы сдают подборку дров и всего, что может годиться мужику в хозяйстве, другим крестьянам.

С нынешнего года некоторые крестьяне уже построились на купленном хуторе и переселились туда на жительство. Таким образом вырастает новая деревня, а на старых местах, с выходом многих лиц, станет свободнее относительно земли.

Смешной казус случился только с этим переселением. Я говорил, что крестьяне приняли товарищей из других деревень. Выселились на хутор: один крестьянин из одной деревни, другой—из другой. Вышло так, что один крестьянин был приходом в одно село, другой—приходом в другое село; самый же хутор, когда был за помещиком, был приходом в третье село. Крестьяне у нас очень держатся своих приходов, во-первых, потому, что каждая деревня празднует своему празднику—кто покрову-батюшке, кто троице-матушке, кто вознесению—и имеет соответственные свои образа; во-вторых, потому, что у каждого в своем приходе есть свои «могилки», и крестьяне очень строго держатся поминовений по усопшим и каждую родительскую отправляются на могилки поминать родителей.

Каждый из выселившихся крестьян на праздник, чтобы освятить дом, позвал попа из своего прихода; это еще ничего, потому что у нас есть такие деревушки, в которых часть дворов приходом в одно село, а часть в другое, но вступился в дело тот поп, куда приходом был прежде хутор, и не дозволил другим служить.

— Моя земля, говорит,—рассказывал мне один крестьянин,—не дозволю чужим на моей земле служить, образа отберу.

— Как отберет?—спрашиваю я.

— Так, говорит, не смеют на моей земле служить, возьму образа «в хлев»,—рассказывал мужик.

— Как в хлев?

Я сначала не понял, но потом разъяснилось, что крестьянин применил к образам то выражение, какое у нас обыкновенно употребляют, когда возьмут в потраве лошадь. Обыкновенно говорят: «взял в хлев».

Так чужие и побоялись служить. Крестьяне, говорят, наладили дело так, что пригласили отслужить в новых домах старого заштатного священника, который не побоялся и отслу-

жил великолепно,—не то что попы новой формации, которые обыкновенно служат быстро.

— Так уже хорошо служил старый батюшка, так хорошо,— рассказывал крестьянин,—не то что молодые: по целой свечке перед образами за службу сгорело, вот эстолько не осталось,— и он указал на кончик ногтя.

Крестьяне всегда измеряют службу количеством сгоревшей у образа свечи и сообразно с этим определяют, дорого ли берет поп, или нет. Попы новой формации у нас не возвысили цены за обыкновенные службы, без которых можно обойтись, возвысили только цены на свадьбы и пр., но служат менее, скорее: на четверть свечки, на осьмушку,—как выражаются крестьяне.

Потом вышло, говорят, разрешение крестьянам остаться при своих приходах.

Живут эти крестьяне хорошо, в хлебе не нуждаются, работают как нельзя лучше и на старой надельной земле, и на вновь купленном хуторе, не упускают, где кстати, и подходящих заработков на стороне—доски теперь зимой с паровой молотильни на полустанок возят, хотя и невелика нынче цена на извоз. Ничего не упускают—«хоть маленький барышок, да почаще в мешок»,—деньги накопляют в «банку» платить. Никогда эти крестьяне у меня ничего не работали, а нынче взялись сметать у меня в стоги жнитво с клевером и выполнили работу быстро, аккуратно, превосходно.

Я еще не видал, как разделали крестьяне купленный хутор: в будущем году, будем живы-здоровы, думаю, пробраться туда с фосфоритами. Эти, если поймут, да попробуют, да выйдет хорошо, так и у них дело пойдет,—еще склад фосфоритной муки на продажу откроют.

Пятая деревня, Д., опять-таки межующая со мной, тоже прикупила землю при содействии крестьянского банка. Эта деревня купила прилегающие к наделу «отрезки», которыми и прежде пользовались за послуги, работала круги помещику, имение которого лежит в нескольких верстах. Имение это купил купец-лесоторговец, который и продал крестьянам отрезки.

Крестьянам выгодно, когда имения переходят в руки купцов-лесоторговцев. Редко-редко купец станет вести сам хозяйство. Обыкновенно, он тотчас же начинает сводить лес, чем дает *зимний* заработок крестьянам, в особенности возкой. Вырубленные пространства, купцу не нужные,—товарником у нас не занимаются, жжением угля мало,—со всем ломом купец сдает крестьянам на ляда для выжега и посева по пожогам хлеба, и опять-таки сдает под работу, и не под летнюю работу, а под зимнюю, что крестьянам на-руку. Наконец, при содействии банка, купец продает крестьянам ненужную ему землю.

Так отразилось в наших местах недавнее открытие у нас крестьянского банка.

Отрадное впечатление производит это «большое дело». Половина земель в нашем уезде находится в диком, некультурном состоянии (кустарник, выпустошенные леса), но и затем еще из второй половины значительная часть находится в самом экстенсивном пользовании, в виде плохих пустошей, дающих самые ничтожные укосы плохого сена.

В ужасном виде находится наше несчастное дорогобужское хозяйство. Куда ни поедешь, всюду видишь печальную картину: кусты, заросли, пустоши, посечища и, как оазисы, тощие поля. Только и радует долина Днепра с его прекрасными заливными лугами; здесь и поля, и скот, и лошади—все иное.

Помещикам не с чего подняться. Выкупные свидетельства прожиты; деньги, полученные за проданные леса, прожиты; имения большей частью заложены; денег нет, доходов нет.

Только крестьяне могут разработать эти пустующие земли, потому что их рабочие руки—капитал. Но крестьяне могут разработать эти земли только тогда, когда они будут им принадлежать. Крестьянский банк дал «в нашем месте» первый толчок этому делу. Первый опыт дал блестящие результаты. Возможность простого и дешевого применения для удобрения фосфоритов еще более подвинет дело.

Интересно и весело смотреть на отношение крестьян к вновь прикупленным землям. Эти земли они особенно любят, на них возлагают надежды, с гордостью смотрят на свои приобретения. Понятно, что прежде всего приобретаются крестьянами самые необходимые для них земли, о которых они постоянно мечтали, которые волей-неволей снимали у владельцев, отрабатывая за них летние работы, трудные для крестьян, мало полезные для владельцев при теперешних условиях. Шла одна канитель. Банк всем развязал руки. Возможность приобретения земель при содействии банка здорово действует, устраняя бесплодные, только раздражающие, неосуществимые мечтания о переделах, вольных землях и пр.

Заботятся крестьяне о своевременной уплате в банк, очень боясь опоздать с уплатой, зорко смотрят в этом отношении друг за другом и имеют огромное нравственное влияние один на другого, побуждая зарабатывать деньги и не упускать случая, когда представляется какая-нибудь работа. Это особенно заметно на исключительных для деревни беспечных лентяях, которые обыкновенно ничего не делали с осени, пока есть хлеб, и ни на какую стороннюю работу не шли. Мне, как хозяину, требующему постоянно рабочей силы, в особенности поденщиков, все это очень заметно. Нахожу даже, что живут крестьяне трезвее; прежде как-то больше спустя рукава жили. Есть хлеб—

ну и ладно: «хоть не уедно, так улежно»; а теперь не то—каждый заработать денег гонится.

Все заплатили в банк своевременно и работы за дополнительные платежи исполнили хорошо. А между тем 1885 год был очень тяжелый,—сужу об этом не по тому только, что видел в крестьянском хозяйстве, но и по тому, что испытал в своем собственном.

В то время, как в позапрошлом году журналы толковали о перепроизводстве и ныли о дешевизне хлеба, у нас крестьяне просто-напросто голодали. Вот уже 15 лет, что я живу в деревне, прожил и те года, когда у нас рожь доходила до 14 рублей за четверть, но подобного бедствия, как в зиму 1885/86 года не видал. Я не знаю, что собственно на официальном языке называется голодом и где граница между недостатком хлеба и голодом, но в прошлом году сам видел голодных, которые по два дня не ели. Таких голодных, с таким особенным выражением лица, я давно уже не видывал. Когда несколько лет тому назад рожь у нас доходила до 14 рублей за четверть, такой голодухи не было,—не было такого множества ходящих «в кусочки», как в прошлом году. Не только дети, старики, женщины, но даже молодые девушки и парни, способные работать, ходили «в кусочки». Положим, из ближайших деревень, соседних со мной, тех, которые прикупили земли, мало кто ходил «в кусочки» совестились, старались так как-нибудь пробиться, забирали под работы, занимали,—но из дальних деревень ходили толпами, так что в застольной, где подают «кусочки», было заметное увеличение расхода на муку.

Не знаю как где, но у нас в предпрошлом году рожь вовсе не была дешева,—нынче дешевле. Привозную степную рожь в Вязьме предпрошлой зимой продавали 6 рублей 30 копеек за четверть. Крестьяне массами отправлялись в Вязьму покупать рожь. У нас тоже степная рожь продавалась по 7 рублей, а весной и дороже. Местная сухая рожь продавалась 7 рублей 50 копеек, под весну—по 8 рублей и дороже. Нельзя же эти цены считать дешевыми, и каких еще цен нужно! Разлакомились мы уж очень 14-рублевыми ценами за четверть, какие были несколько лет тому назад! Но ведь эти цены были исключительные. Не очень давно, в 70-х годах, обыкновенная цена на рожь у нас была 7 рублей за четверть, а давно ли то время, когда рожь продавали у нас 3—4 рубля за четверть.

Хотя урожай ржи в прошлом году был хороший, выше среднего в нашем округе, но зато все другие хозяйственные условия сложились самым неблагоприятным образом.

Вследствие необыкновенной засухи травы уродились очень плохо, и хотя во время уборки стояла хорошая погода, так

что с покосом убрались рано и сено получилось хорошее, но его было чрезвычайно мало.

Яровые хлеба тоже уродились плохо. Ячмень совсем пропал, так что многие и семян не возвратили. Овес тоже пропал. Вследствие неурожая яровых хлебов не было и яровой соломы—главного корма для скота.

Значит—ни сена, ни яровой соломы: за все, про все должна была отвечать ржаная солома.

Лен, пенька тоже не уродились, а между тем это—главный продажный продукт, дающий крестьянам деньги.

Вследствие недостатка корма скот по осени был нипочем, да и к весне цены на скот не повысились.

Заработков никаких. Даже заготовок дров для Москвы делалось мало. Цены на вывозку дров, досок и пр., что составляет главный заработок крестьян, понизились до чрезвычайности, несмотря на дороговизну кормов и совершенный недостаток овса. Вследствие этого понизились цены на все работы, главное же—никому рабочие не были нужны, даже даром, из-за харчей. Чтобы добыть денег, крестьянам приходилось забирать вперед деньги под летние работы в большем, чем можно выполнить, количестве. Но когда хочется есть, об этом не думают. Авось, как-нибудь выполним.

Ходили массами «в кусочки», но и в миру плохо подавали.

Рожь была вовсе не дешева. Да, кроме того, рожь отвечала за все. За отсутствием ярового—ни каши, ни крупника, ни лепешек, ни блинов, ни киселя. Один ржаной хлеб да картошка. Опять же нужно и свиненку, и куренку; овса нет—отвечает ржаная мука. Сена и яровой соломы нет, следовательно, и коням и скоту—резка из ржаной соломы, посыпанная опять же ржаной мукой.

Ну, так и перебивались. Недоедали. К весне и на людей, и на скот смотреть страшно было. Лошади весной были в таком виде, что пахарю приходилось только жаворонков слушать. Пройдет борозду и станет. «Ну, матушка! ну, матушка! ну!»—а матушка только хвостом помахивает. И стой, слушай, как жаворонки в поднебесье заливаются. Хорошо оно, весело жаворонков слушать, да не за сохой. Впрочем, пахать пришлось немного, потому что, за недостатком яровых семян, большая часть полей осталась незасеянной.

Отвалился скот—полегче стало. Осталась одна забота: прокормиться самому до «нови». А много еще нужно, потому—работа, день большой, хлеба много требуется. Хотя и говорится: «придет весна, потеплеет, люди подобреют», но нынче и весной никто не подобрел. Под работы все забрано, что только можно взять. Тут уж на все бросались. В самую рабочую пору запрягает мужик пару лошадей, едет на паровую лесопилку, нагру-

жает два воза досок и тащит на полустанок. Цена известно какая, когда мужику есть нечего. Тащит на полустанок доски, лошадей по дороге кормит—где пастись пустит, где травки накосит под вечер или ночью, где руками нарвет. Привезет доски, свалит—сейчас расчет, купит муки и живет неделю, а там опять за доски. Хорошо еще, что были доски. Возка досок многих спасла. С нови, все возрадовались. Урожай ржи великолепный. Хлеба—кому до нови хватит, кому до святой, самому бедному—до масленой. Долги все отдали. Ячмень, овес, конопля, лен, кто сеял, уродились на-славу—урожай небывалый. Ликуй, земледелец! Одно только плохо—заработков никаких опять нынче нет! Нет заработков, нет денег, а деньги требуют во все концы, благо начальство знает, что год нынче урожайный. А денег нет...

Батищево, 15 января 1887 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От Издательства III

В. И. ЛЕНИН. Прибавка народничества к «наследству» VII
В. И. ЛЕНИН. История хозяйства Энгельгардта XIII

ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ: Описание моего зимнего дня.—Кондитер Савельич.—Объяснение кухарке Авдотье опытов Пастера.—Легко ли получать с крестьян оброки.—Скотник Петр и жена его, скотница Ховра.—«Скотная изба».—Параллель между отставным профессором и отставным кондитером.—После обеда.—Народный календарь.—«Старуха».—Подаяние «кусочков».—Кто их собирает.—Как «старуха» лечит скот.—Доклад старосты Ивана.—Черно-желто-белый кот.—«Нытики».—Признаки светопреставления . . . . . 3—22

ПИСЬМО ВТОРОЕ: Деревенские интересы.—Зачем мужик идет к барину.—Костик—специалист, охотник и вор.—Пьяница ли мужик.—На благовещенье воры заворовывают.—Кулак Матов.—Суд над Костиком.—Случаи и слухи.—Насчет леченья.—Пушной хлеб.—Девка умрет—расходу меньше.—Организация медицинской помощи в деревнях.—«Попы».—Их доходы.—На станции.—На съезде.—Удобства нового судопроизводства . . . . . 22—42

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ: «Бабье лето».—Льняные «опыты».—Рубка капусты.—Бабьи песни.—Сидор и солдатка.—Как закисала капуста.—Толоки и помочи «из чести».—Нужно ли чинить дороги.—Степка-поваренок и его урок деревенской политики.—Вопрос о потравах.—Брать ли штрафы.—Воображаемое «зло».—Все от панов!—Почему Касьяну бывает в четыре года один праздник, а Николе два в году.—Лён и земляные блохи.—«Напущенные» сороки.—Агрономические книги.—Голодная весна.—«Обязанный» Дема.—Сеять или не сеять—весенний вопрос.—Еще о книгах и книжной мертвечине.—О грибах.—«Новь» на мельнице . . . . . 42—86

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ: Весна.—Табличка батищевских урожаев 1871—72 гг.—Вор ли мужик.—Ленив ли наш работник.—Особенности его характера.—Не знают меры работе.—Ретив ли чиновник.—Хозяйство после «Положения».—Необходимо изменить систему хозяйства.—О дороговизне рабочих рук.—Причина

бедности крестьян—разобщенность в их действиях.—Губернская сельскохозяйственная выставка.—Починка фрака.—Pas de culture.—О некоторых необходимых удобствах.—Полушубок или пиджак.—Ружье на «случай».—Выставочный скот.—Градоотвод и корчевальная машина.—Наказанное легковерие . . . . . 86—143

ПИСЬМО ПЯТОЕ: Выпив водочки и поужинав.—Батищевские собаки.—История Лыски.—Кому выл Цурик.—Передряга с кондитером Савельичем.—«Прихоти» Савельича.—Его изобретения.—Самодельная колясца.—Печенье из бобов.—Сердитый чиновник.—Как введены были в Батищеве посевы льна.—Вся сила в бабах.—Бабий труд и бабий сундук.—Введение плужной пашни в Батищеве.—Корчевка березняка.—Что пень собьем, то грош найдем.—По поводу Пастера.—Мятье льна.—Мужик сер, да не чорт его ум съел.—О коновалах . . . . . 144—197

ПИСЬМО ШЕСТОЕ: Приметы войны.—Ополченцев взяли.—Письмо солдата из Туречины.—Бумага насчет земли.—Коробочник Михайло и военные картины.—Еще солдатское письмо.—Митрофанова матка.—Буковский кабачок.—Определенные убеждения бессмысленных масс.—Народ понимает, за кого мы воюем.—Мобилизация.—Султана зарезали.—Черняев проявился.—«Гони—приказано».—Помер—все же легче . . . . . 197—231

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ: Граборы.—Бывает, что не стоит хорошо есть.—Физиология крестьянской пищи.—О горохе и неперевариых веществах.—«Прочная» и «легкая» пища.—Значение кислоты в мужицком обеде.—Хлеб.—Щи и каша.—Хорошая пища густа и «бросает на пойло».—Вдоволь мяса могут есть люди, на которых работают другие.—Чем дешевле в городе мясо, тем более в деревне нужда.—Граборская работа.—Важность в работе наладки инструментов.—«Чудящие» господа.—Легок ли поповский труд.—Устройство граборской артели.—Крестьянский индивидуализм.—Значение разделов.—Бабий индивидуализм.—Хозяев мало.—Деревенские дурачки.—Отрезки и зацепки.—Помещичье хозяйство и его основа.—Интеллигентные рабочие . . . . . 231—310

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ: Об урядниках.—Березки.—Забота о мужике.—Способ высиживанья бумаг.—Гонение на евреев.—Приказ о чуме.—Вредно ли есть тухлое.—«Он» . . . . . 310—337

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ: Молебствие о дожде.—Бог—старый хозяин.—Черви на льне.—Чиновничьи распоряжения.—Помещику неурожай выгоднее урожая.—Летняя работа.—Введение мужика в хомут.—Утеснение мужика землей.—Недостаток выгонов.—«Повычхавшийся» мужик.—Хлеб дорог—мужик дешев.—Радоваться дороговизне хлеба—великий грех.—Избыток ли хлеба продает Россия.—О чистом хлебе.—Дешев хлеб—дорого мясо, дорог труд, мужик благоденствует.—Противоположность интересов барина и мужика . . . . . 337—364

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ: «Счастливый уголок».—Уменьшение пьянства.—Мужицкие школы.—Нужен ли мужику интеллигент.—Интеллигентные деревни.—Помещичье хозяйство бессмысленно.—Значение для крестьян сторонних заработков.—Летняя работа на себя.—Идите на землю, к мужику.—Косны ли крестьяне.—Кулак.—Призыв интеллигенции в деревню . . . . . 364—402

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ: Мужицкие слухи.—Странное мнение мужика насчет начальства.—Слухи о земле.—Приказано следить за господами.—Понятие мужика о праве на землю.—Зло-

намеренные люди.—Функция царя—всех равнять.—Царь есть главный земляной хозяин.—Вопрос о малоземелье.—Разработка пустошей.—Интенсивное или экстенсивное хозяйство.—Все к мужику придет.—Спор с «Русью».—О фосфорно-кислых туках.—Помещичье хозяйство не имеет смысла.—Кнехта нет.—Дерунов и Бобринский.—Земля должна перейти в руки мужика . . . 402—453

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ: (Памяти Кавелина).—Открытие отделения крестьянского банка.—Покупка земли.—Посредничество интеллигента.—Это ему зачтется!—Первые опыты с фосфоритной мукой.—О травосеянии у крестьян.—Пустые земли.—Значение фосфорита . . . . . 453—488

Редактор Б. Брейтман. Технический редактор Л. Кошутина
Корректоры: Ф. Черномордик и М. Гольдбурт

Сдано в набор 27/II 37 г. Подписано к печати 8/VII 37 г. Формат $62\times 94/16$ печ. л. $31^3/_4$ Зн. в печ. л. 41952 ОГИЗ № 1886 заказ № 421 тираж 10 000 экз. цена книги 6 р. 50 к. переплет 1 р. 25 к. Уполномоченный главлита Б-1299.

16-я типография треста «Полиграфкнига». Трехпрудный, 9.

В 1937 году СОЦЭКГИЗ ВЫПУСКАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ ПО СЕРИИ:

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. **ПОСОШКОВ И. Т.** КНИГА О СКУДОСТИ И БОГАТСТВЕ (вышла)

2. **ФЛЕРОВСКИЙ Н. (БЕРВИ В. В.)** ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ

3. **ГУРВИЧ И. А.** ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

4. **МЕНДЕЛЕЕВ Д. И.** К ПОЗНАНИЮ РОССИИ

5. **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. Г.** ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. т. II, полутом I ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, (вышло)

6. **ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. Г.** ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. т. II, полутом II ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

7. **ЗИБЕР Н. И.** ДАВИД РИКАРДО И КАРЛ МАРКС (вышло)

8. **ЗИБЕР Н. И.** ОЧЕРКИ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

9. **ТУРГЕНЕВ Н. И.** ОПЫТ ТЕОРИИ НАЛОГОВ (вышло)

10. **ЭНГЕЛЬГАРДТ А. Н.** ИЗ ДЕРЕВНИ. 12 ПИСЕМ (вышло)

11. **ДЕМЕНТЬЕВ Е. М.** ФАБРИКА, ЧТО ОНА ДАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ЧТО ОНА У НЕГО БЕРЕТ